

ЛЕОНИД  
РАХМАНОВ

ЛЕОНИД  
РАХМАНОВ

ИЗБРАННОЕ



# ЛЕОНИД РАХМАНОВ

ИЗБРАННОЕ  
ПОВЕСТИ  
РАЗНЫХ  
ЛЕТ



ЛЕНИНГРАД  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
1983

ББК 84.Р7  
Р 27

Вступительная статья  
В. КАВЕРИНА

Оформление художника  
Л. ЯЦЕНКО

**Рахманов Л.**  
Р 27 Избранное /Вступ. статья В. Каверина. — Л.: Худож. лит., 1983. — 496 с., 1 л. портр.

В однотомник известного советского писателя и драматурга Л. Н. Рахманова вошли его повесть «Базиль», драматические произведения «Даунский отшельник», «Беспокойная старость», «Камень, кинутый в тихий пруд», главы из автобиографической повести «Люди — народ интересный».

Р  $\frac{4702010200-063}{028(01)-83}$  Без объявл.

ББК 84.Р7

© Вступительная статья, состав, оформление. Издательство «Художественная литература», 1983 г.



## СТРЕЛА ПРОВЕСА

(О творчестве Л. Рахманова)

Прошло больше полувека с тех пор, как двадцатилетний студент Ленинградского электротехнического института написал в маленьком городке Котельниче свою первую повесть — «Полнеба» — так началась литературная жизнь Л. Н. Рахманова, автора знаменитой пьесы «Беспокойная старость», на десятилетия вошедшей в репертуар наших и зарубежных театров.

Окинуть одним взглядом все, что он сделал, — соблазнительная задача. Однако я не взялся бы за нее по многим причинам, и на первом месте среди них оказалась бы его разносторонность. Он пишет повести, киноповести, пьесы, сценарии, статьи. Одна из его книг подчеркивает эту особенность. Книга так и называется: «Очень разные повести». Они действительно очень разные — в каждой из них автор сознательно стремится выйти за пределы жанра. Это уже не внешняя, а внутренняя разносторонность, и объяснить ее нелегко. И все же, мне кажется, можно найти точку опоры, которая поможет определить основную задачу Л. Рахманова, независимо от того, пишет ли он пьесу или повесть. Он стремится изобразить характер. Можно не сомневаться в том, что вся тщательная предварительная работа (а Рахманов один из самых тщательных писателей) сводится к тому, чтобы сперва найти, а потом открыть характер. Между этими двумя понятиями — бездна труда. Так был найден и открыт профессор Полежаев в «Беспокойной старости», — прообразом его был, как известно, Тимирязев. Так был найден и открыт Дарвин в отличной пьесе «Даунский отшельник». Примеров много, и они доказательны, — стоит лишь внимательно прочитать любое произведение Рахманова, писателя умного и немногословного. Широкий читатель (и зритель) знает его по пьесе «Беспокойная старость», в кино — «Депутат Балтики». Между тем он исторический писатель. Он пытается с помощью истории увлечь читателя современного. Он пытается заинтересовать его уроками старины, предсказывающей будущее. Он заставляет его взглянуться в современность, только что возникшую, потому что время не стоит, стрелки бегут по кругу. От повести «Базиль» (первая половина XIX века) к «Даунскому отшельнику» (1860-е годы). От пьесы «Камень, кинутый в тихий пруд» (начало Великой Отечественной войны) к повести, мало отличающейся от сценария, «Кто с

мечом войдет» (Александр Невский, 1240 г.). Не перечисляю других произведений. Они бесконечно далеки друг от друга. За каждым угадывается строгий отбор исторического материала, позиция автора, не вызывающая сомнений. Каждая имеет подзаголовок — и читатель охотно принимает эту игру: повести «печальная», «добрая», «старинная», «военная», «озорная» (Очень разные повести. Л., 1965).

Но вот проходят годы, когда литературный и жизненный опыт скрещиваются, и среди множества героев повестей, пьес и кинокартин появляется главное действующее лицо: размышляющий автор. Он судит себя и других, он стремится понять виновных и невиновных, он ясно видит незамеченное, забытое, утраченное, казалось, навеки. Вдруг оказывается, что он способен открыть те стороны собственной жизни, которые до сих пор казались слишком обыкновенными, для того чтобы на них упал свет художественного сознания. Многие из нас, переступив определенный возраст, невольно начинают спрашивать себя: что делать с письмами друзей, с сотнями читательских писем, с фронтовыми блокнотами, записными книжками мирных лет? Все это может остаться в немоте, в безвестности, в неопределенном ожидании того счастливого случая, когда кто-нибудь обнаружит их и приобщит к истории нашего искусства.

Но может произойти и другое: дух памяти ворвется в заброшенный архив и превратит опыт изучения характера героев в опыт самопознания.

Именно это, мне кажется, произошло, когда Л. Рахманов принялся за работу над автобиографической повестью «Люди — народ интересный». Она делится на две части: «Взрослые моего детства» и «Просто взрослые».

О детстве написаны сотни книг, и среди них такие шедевры, как «Детство» Л. Толстого или «Детские годы Багрова-внука» С. Аксакова. Б. Пастернак писал, что острота детского зрения осталась у Л. Толстого на всю жизнь и что сила его изобразительности связана с этой чертой.

Детской зоркостью проникнута и книга Рахманова, но ему в новом освещении удалось передать то трогательное чувство новизны, которое дети испытывают по отношению к взрослым. За каждой строкой его книги видны детские глаза, широко раскрытые от изумления. Так написаны мелочи обыденной жизни, — они не запомнились бы, если бы на них не упал — впервые — наблюдательный взгляд ребенка. Так — снизу вверх, медленно поднимающимися глазами он видит отца, мать, соседей. Острота этого взгляда такова, что все они встают перед читателем как живые. Это относится не только к людям, — к укладу, семейному и городскому, к подробностям историческим, потому что речь идет о двадцатых годах. Взрослые вызывают непреодолимый интерес подрастающего мальчика. Прием избран удач-

но: он позволяет отвести в сторону жизнь сверстников, а между тем именно они неизменно занимают важное место в книгах о детстве. Более того: он позволяет догадываться о пропасти между миром детей и взрослых, о непонимании взрослыми самого движения детского сознания. А это в свою очередь ведет к очень серьезным размышлениям, которыми заполнены страницы наших нынешних газет и журналов.

Книга начинается неожиданно: все запомнившееся, некогда поразившее воображение, горит, превращается в пепел. В мае 1926 года, когда Рахманову было восемнадцать лет, Котельнич, маленький деревянный город, сгорел почти до основания. Мастером описания пожаров я всегда считал Горького — с этим трудно не согласиться. Рахманов не менее точно и живо рассказал о трагическом пожаре, уничтожившем родной городок.

Однако безвозвратна ли его гибель? Со второй главы «Старый дом и его хозяйка» начинается медленное, терпеливое, неуклонное восстановление, и происходит оно с помощью слова. Прибавлю: с помощью одного из самых могучих орудий — русского слова. В «старом доме» семья Рахмановых жила до пожара, и вот он встает перед ним из руин со всей своей неторопливой жизнью, с чистым, густо заросшим двором, с деревянными мостками-тропуарами, с амбаром, погребом, курятником и, наконец, с ожившим «Семейным альбомом» (так называется третья глава). Главная черта и дома, и двора, и героев альбома, и соседей — чистота: в первом случае — практическая, вещественная, во втором — душевная. Детство писателя прошло среди людей, ценивших искренность, честность и правду. Тут-то и нашелся простор для опытной руки писателя — среди портретов-характеров, написанных сильно, потому что просто.

Кстати, здесь открывается и еще одна важная сторона автобиографической повести Л. Рахманова. Она написана без тени украшательства, без неприятной, почти физиологической точности, заставляющей слово служить изображению, а не смыслу, без щегольства и звона бубенцов под дугой. Она написана с той естественностью разговорной интонации, которой с времен Пушкина славилась русская проза.

Вторая часть книги «Просто взрослые» отличается от первой — пожалуй, ее можно назвать менее своеобразной. Однако и она заслуживает серьезного, пристального внимания. Первая глава называется «Стрела провеса». В 1925 году семнадцатилетний Л. Рахманов, работая учеником по монтажу высоковольтной линии электропередачи, проверял «стрелу провеса» — естественный прогиб провода, висящего между мачтами. Признаюсь, давно не читал я «производственного очерка», написанного с такой ясностью, скромностью и одновременно восхищением. Все как на ладони! И самый смысл работы, и люди бригады, и азарт нештучной задачи — подъем и натяжение кабеля

над Невой. Естественный прогиб в этом случае неизбежен. «Но если применить его к людям, с их людской прямоотой, темпераментом, чувством долга и чести, можно смело сказать, что наша бригада испытание на прогиб выдержала с минимальнейшим отклонением».

Мне кажется, что, рассказывая о встречах с Ю. Германом, Е. Шварцем, Н. Акимовым, Ю. Тыняновым и другими «взрослыми... юности и зрелого возраста», Л. Рахманов вольно или невольно следит за «испытанием на прогиб», прислушиваясь к этой мысли, как к камертону. Портреты известных деятелей нашей культуры при всей их подлинности остаются — как и в первой половине книги — автобиографическими. Есть в них такой же молодой восторг перед «даром предвиденья», которым обладал А. Пиотровский, перед трудолюбием П. Далецкого, который на детских санках привез в издательство огромный роман, чтобы потом вычеркнуть из него добрую половину, перед удивительным скрещением фантастичности с трезвым рационализмом (Н. Акимов).

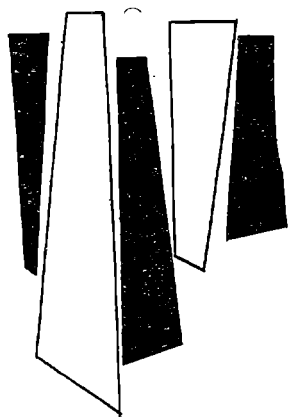
Мы — небрежливы. Много ли мы знаем о талантливом П. Далецком? О том, как Е. Шварц писал свои мемуары, которые он для краткости называл только первым слогом «ме». Всего не перечислишь! Скажу лишь, что в книге Л. Рахманова, написанной о литературном труде, так много неожиданностей, так много необыкновенных, хотя и очень просто рассказанных историй, так много острых поворотов, что ее, не отрываясь, прочтет и почитатель классической литературы, и любитель детективных романов.

И самое главное — рассказывая о художниках, ничем, кажется, не похожих друг на друга, Л. Рахманов не забывает об «испытании на прогиб», хотя впрямую об этом нигде не говорится. Перед нами один за другим встают люди, которые выдержали это испытание. Вот почему книгу интересно читать: она написана о «преодолении», о «стреле провеса», которая должна соответствовать идее долга и чести.

*В. Каверин*



**ПЬЕСЫ  
ПОВЕСТИ  
ВОСПОМИНАНИЯ**



# БАЗИЛЬ

## Печальная повесть

...огромность зданий, бесполезных обществу, суть явное доказательство его порабощения.

А. Н. Радищев  
«Путешествие из Петербурга в Москву»

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Пасха 1816 года

В пасхальную ночь на 10 апреля 1816 года певчие старой Исаакиевской церкви, вернувшись с крестного хода, спели «Христос воскрес» столь громогласно, что обвалился лепной карниз над правым клиросом. Многопудовый карниз рухнул с высоты шести сажен, и это было подобно землетрясению.

За первым ударом мог последовать второй, еще более ужасный, и, устрасаясь уже одной мысли об этом, все кинулись вон из храма, сокрушая друг друга. Произошла давка. Нарядные прихожане стояли с пасхальными свечами в руках и, ринувшись, подожгли на соседях и на себе одежды. Люди не сгорели лишь потому, что в сплошной давке огонь, стесненный со всех сторон, неохотно распространялся.

Причт, подобрав полы своих дорогих риз, убежал в алтарь, где был особый выход на площадь. Виновник обвала — певчий хор — в полном составе последовал за причтом, — это был второй крестный ход, только взбесившийся.

На другой день преосвященный викарий Владимир приехал к главнокомандующему столицей, чтобы лично уведомить о случившемся. Вязьмитинов, разумеется, обо всем узнал ранее и, выслушав в третий, или в четвертый, или, быть может, уже в десятый раз о событии, сказал по-французски:

— Черт знает что!

— Ась? — переспросил викарий, не понимавший по-французски.

— Бог знает, говорю, что такое, — по-русски сказал Вязьмитинов. — Распорядитесь, владыка, о прекращении богослужения в храме на ближайшее время.

— Почему такое? — недовольно спросил владыка.

— Как же иначе? Я подразумевал бы — на время осмотра и исправления повреждений. Государь для того назначит особый комитет из опытных архитекторов.

— Гм, — отвечал владыка, затаив, по-видимому, какие-то свои возражения. Но тотчас же не вытерпел и спросил: — Граф Сергей Кузьмич, а ведь можно, поди, отложить ремонт?

— А зачем, владыка?

Преосвященный вместо ответа закрыл глаза и прислушался к пасхальному звону за окнами.

— Хорошо-то как! — прошептал он умиротворенно. — Как хорошо благовестят! Душа замирает.

Граф прислушался, чтобы сделать удовольствие преосвященному, и преговорил, улыбаясь как можно мягче:

— Да, мастера звонить на Руси.

Но вслед затем он нахмурился и беспокойно глянул в окно.

— На Исаакиевской колокольне тоже звонят, владыка.

— Как же, как же, — простодушно отвечал владыка, — там мастера звонить.

Вязьмитинов заметно встревожился и изменившимся голосом стал выговаривать:

— Это нельзя, владыка, никак нельзя... С минуты на минуту колокольня может обрушиться, сохрани боже. Ведь собор ненадежен, владыка...

— Сохрани господи, — отвечал владыка, впрочем ничуть не пугаясь.

— Да и зачем звонить, коли там служба не производится, зачем звонить, я не понимаю!

Преосвященный благодушно посмотрел на Вязьмитинова и покойно заговорил, будто с ним соглашаясь:

— Я и говорю, уж если звонят, так пускай и служат. Пускай послужат с недельку. Вот пасха пройдет, тогда с богом и за ремонт.

Было совершенно очевидно, что викарий хитрил и чего-то не договаривал. Вязьмитинов улыбнулся и ответил:

— Увы! Нельзя! Никак нельзя!

Он отлично все понял. Викарий приехал ходатайствовать за исаакиевский причт, которому было обидно лишиться богатых пасхальных сборов. Просьбу викария можно было бы удовлетворить, но только в том случае, если государь даст согласие; между тем Вязьмитинов знал точно и определенно, что государь по поводу совершившегося отозвался:

— Обвал произошел как нельзя более ко времени. Моим всегдашним желанием было видеть храм заново и на сей раз окончательно перестроенным. Немедля назначить комиссию для осмотра храма и устройства архитектурного конкурса на лучший проект перестройки.

Естественно, что главнокомандующий столицей не мог предложить викарию ничего, кроме доброго совета — поместить исаакиевский причт на время строительных работ в какую-либо другую церковь, например в Сенатскую. Правда, в Сенатской церкви имеется свой причт и придется служить по очереди, но что делать, пускай потеснятся, пока правительство придумает лучший выход.

Так и пришлось поступить. Причт в тот же день, дабы не терять зря пасхального времени, переехал в Сенатскую церковь, и то, чего в глубине души опасался викарий, не замедлило совершиться: причты с первого дня затеяли ссору из-за свечных, кошелековых и братских доходов. Причты условились служить по очереди, а прихожане, не разбирая этого, посещали подряд все службы, и невозможно было узнать точно, кто поставил свечу божьей матери — сенатский или исаакиевский прихожанин.

Пасхальные ссоры неоднократно доходили до потасовки, причем каждый причт аккуратно записывал очередное событие в своей церковной летописи, перечисляя участвующих. С исаакиевской стороны каждый раз непременно участвовали: священники Михаил Наманский и Тарасий Дремецкий, дьякон Иоанн Петров и церковный староста купец Игнатий Горбунов. Последний, как не имеющий на себе благодати священного сана, мог схватываться лишь с равным себе. Певчие не участвовали в потасовках, но материальный ущерб, разумеется, сказывался и на них. Исаакиевский же певчий хор, кроме того, испытывал еще и моральное угнетение со стороны своего причта, считавшего певчих виновниками катастрофы.



В последний день пасхи дьякон так отозвался о певчих:

— Если бы не горлопаны, так мы бы и по сие время собором владели. А и обвалилось бы там чего сверху, так не в заутреню, может, а в простой день, втихомолку. Подобрали бы мы щикатурку, ан никто бы и не узнал. Никому бы и в голову не пришло наново собор перестраивать.

Услышав суждение дьякона, протоиерей счел долгом дать ему выговор:

— Не твоего ума дело, — сказал он строго. — Построение нового знаменитого храма несет торжество всему христианскому миру. Ты должен гордиться, а не суетловить, дьякон.

Допущенный к беседе церковный староста Горбунов осмелился возразить.

— Доживем ли, отец Михаил, — сказал он печально, — доживем ли еще до скончания перестройки, бог весть... Богомолка третьего дня сказывала, что, мол, храм наш не престанет строиться до тех самых пор, пока царствующая фамилия не иссякнет. Нарочно, мол, станут строить агромаднейшее здание и во веки веков его не закончат, чтобы царствующий дом сохранить...

— Нечестивец! — грозно вскричал протоиерей. — За такие слова мало лишить тебя гильдии и предать анафеме! Моли бога, чтобы от кощунственных твоих слов не колебнулся и этот алтарь подобно тому!

— Прости меня, отец Михаил! — закричал испуганный староста. — Прости за ради Христа...

Но не так-то легко было испросить у отца Михаила прощения, тем более что, усердно браня и стыдя старосту, протоиерей был в душе благодарен ему: бесхитростный пересказ легенды, только что, очевидно, родившейся в народе, надоумил протоиерея использовать интерес горожан к перестраиваемому собору. Протоиерей понял, что нужно немедленно испросить у правительства сооружения временной деревянной пристройки к существующим пока стенам собора и в этой пристройке отправлять службу. Народ, подогреваемый слухами, будет охотнее, чем когда-либо, посещать богослужения, совершаемые непосредственно на месте постройки.

Провидя неисчислимыя выгоды от быстрейшего выполнения этого плана, протоиерей решил тотчас же, даже не сообщая причту о своих намерениях, приняться за хлопоты. Прежде всего он отправится к преосвященному.

— Распорядись, чтобы мне подали лошадь, — сказал он старосте.

Бедняга вообразил, что протоиерей едет жаловаться на него, и упал в ноги.

— Помоги мне одеться, — сурово сказал отец Михаил, направляясь к шкафам с облачением.

— Прости меня, отец Михаил! — голосил купец, ползая за ним по полу.

— Моли господа о прощении, а мне дай одеться, — молвил отец Михаил менее сурово.

Купец поспешно вскочил и принялся подобострастно одевать протоиерея. Были поданы лошади, и протоиерей уехал, на прощание еще раз погрозив старосте пальцем. Для него самого было ясно, что хлопоты должны увенчаться успехом, ибо не было причины для отказа.

Действительно, в самое ближайшее время появилась пристройка к собору, внутренностью своей представлявшая настоящую церковь, довольно вместительную; причт стал служить в ней, не смущаясь производимыми рядом за стенкой строительными работами, и надежды протоиерея оправдались вполне. Причт был спасен.

Когда же, спустя три года, по свойству работ, состоявших главным образом в забивке свай на обширном участке, понадобилось убрать пристройку и причту было приказано отправлять священнодействие снова в Сенатской церкви, то на этот раз уж само начальство Сената решилось не допускать исаакиевский причт в свою церковь. Министр юстиции князь Лобанов-Ростовский категорически заявил о неудобствах как совместного, так и поочередного служения в Сенатской церкви двух причтов и вызвался великодушно помочь исходатайствовать для исаакиевских соборян отдельное помещение. За хлопоты принялись трое: преосвященный викарий Владимир, обер-прокурор святейшего синода князь Голицын и министр юстиции князь Лобанов-Ростовский. Они отнесли к морскому министру, маркизу де Траверзи, и когда оказалось, что маркиз ничего не имеет против устройства на казенный счет церкви в Адмиралтействе, осталось получить высочайшее разрешение и приступить к работам.

Все было сделано. Церковь в Адмиралтействе построили и оборудовали в кратчайший срок — в один год, исаакиевский причт переехал в нее к рождеству и уж мог отныне спокойно и счастливо там оставаться до окончания перестройки собора.

Причт более не чувствовал себя обиженным в настоящем, мог законно гордиться будущим своим знаменитым храмом, и пасхальное преступление горлопанов-певчих было почти забыто.

А предстояло строиться храму — сорок лет.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

У Нарвской заставы дилижанс стал: подосатый шлагбаум преградил ему путь. Пассажиры послушно вынули подорожные. Одним из последних подал свой документ невысокий молодой человек, приятный лицом, изящно одетый и совершенно без всякого провинциализма в манерах. Спутники его по дилижансу за время дороги успели узнать, что он едет из Парижа, где в продолжение нескольких лет получал образование, и принадлежит к славной дворянской фамилии, известной прекрасными поместьями. Прочие пассажиры были попроще, и этот родовитый молодой человек чрезвычайно понравился им. Они только несколько недоумевали, почему такой барич едет вдруг с ними в сравнительно недорогом дилижансе, а не в собственном экипаже. Очевидно, разгадка была в скупости родителя; но вполне возможно, что сын прокутился перед отъездом из Парижа, в чем не было ничего предосудительного для богатого юноши, счастливо закончившего в чужих краях образование и возвращающегося в отчий дом.

Молодой человек небрежно подал в окно дилижанса подорожную, готовясь так же непринужденно принять ее через минуту из рук стража. Он знал, что на обязанности того было — прочесть ее в сосредоточенном молчании, шевеля усами, а затем возвратить без всяких придинок, ибо документ был в полном порядке. К сожалению, одна досадная случайность испортила все: подорожная оказалась написанной крайне неразборчиво, и страж, вместо того чтобы прочесть ее молча, одними глазами, принялся читать вслух, по складам. Кто мог это предвидеть? Так или иначе, пассажиры услышали роковые слова:

— Кре-пост-ной че-ло-век гос-по-ди-на Че-ли-ще-ва...

Названная фамилия была в точности та, под которой представился им молодой человек. В карете невольно ахнули (а наиболее простодушные даже всплеснули руками), и все в тот же миг вперили негодующий взгляд

в подлое холопье лицо молодого человека, осмелившегося притворяться дворянским сыном. Тот побледнел, покраснел и сделал попытку улыбнуться открыто навстречу всем, как бы желая сказать: «Видите, как неудачно я пошутил», но тотчас же помрачнел, отвернулся и, не глядя ни на кого, протянул руку в окно за подорожной, прочтенной во всеулышание с начала до конца. Но испытания его на этом не кончились. Ему не вернули подорожной и вступили в оскорбительный разговор:

— Где же твой барин? А? Почему ты едешь один? Ну-ка?

— Попрошу вернуть мне мои документы, они в совершенной исправности, а до остального вам нет дела, — дрожащими от обиды губами выговорил молодой человек и еще раз протянул руку в окошко.

Но страж, видимо, решил доставить удовольствие пассажирам.

— Я не возвращу тебе это, любезный, — сказал он, — пока ты мне не объяснишь, слышишь, где и почему ты оставил своего барина. Может, ты его зарезал...

Молодому человеку пришлось сдержать до поры свое негодование и пояснить, по возможности не теряя достоинства:

— Господин Челищев был столь добр, что соблаговолил отправить меня в чужие края учиться. Я ездил один и прожил там четыре года.

Гораздо менее удовлетворенный ответом, чем хотел бы, страж отдал наконец подорожную. Он не посмел бы задерживать на лишние пять минут карету и вел бы себя бесконечно скромнее, если б заметил в числе пассажиров сановное или по крайней мере чиновное лицо, но ехала мелкая сошка: три неслужилых дворянина средней руки и два купца.

Дилижанс тронулся в молчании и, въехав в предместье, покотил по улицам, производя порядочный шум. Внутри кареты пассажиры усердно хранили безмолвие, чопорно застыв на своих местах. Лишь один из купцов, худой, рыжий, с пронзительными глазами, похожий скорее на изувера-сектанта, чем на толстосума, хотел было заговорить с молодым человеком, не то пожуричь его за обман, не то спросить, чему он учился в Париже, но, поглядев на своих спутников, ухмыльнулся, закрутил жгутом свою длинную, узкую рыжую бороду и не сказал ни слова.



Через пятнадцать минут дилижанс завернул во двор городской почтовой станции. Это был конец пути.

Когда молодой человек вылез из дилижанса и в некоторой растерянности стал подле крыльца, не зная, видимо, что ему далее делать, куда идти со своим чемоданом, рыжебородый купец приблизился к нему и сказал таким тоном, как будто они были земляками и только лишь несколько лет не виделись:

— Чему учился-то там?

Молодой человек, несмотря на неожиданность вопроса, ответил так же просто:

— Архитектуре, строительному искусству.

Купец быстро глянул на него прищурясь, затем, усмехнувшись, отворотился, чего-то ища во дворе взглядом, подманил пальцем извозчика, подъехавшего в этот момент к воротам, и снова оборотился к юноше:

— Жить в Питере будете, или как?

На этот раз юноша почему-то замаялся с ответом.

— Д-да...

— Фатерку имеете на примете?

— Нет, не имею, — он уже с удивлением посмотрел на купца.

— А желалось бы получить? — не унимался купец и, не дожидаясь ответа, бесцеремонно подтолкнул молодого человека к извозчику. — Отвезешь... барина в Галерную улицу, — приказал он тому, — в дом чиновника Исакия Исакиевича.

— ...С ним столкнетесь, с Исакием Исакиевичем, — продолжал он, обращаясь опять к юноше и как бы успокаивающим тоном: — Скажете, мол, Архип Шихин прислал.

Посмеиваясь, он посадил недоумевавшего юношу на дрожки, успев в то же время сердито цыкнуть на извозчика, чтобы тот пошевеливался с чемоданом.

— До свиданья! — махнул он рукой. — Еще увидимся, а сейчас-то уж мне сильно некогда. До свиданья.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В тот же день, благополучно сняв по неожиданной-негаданной рекомендации комнату у Исакия Исакиевича, маленького чиновника, жившего вдвоем со стряпухой, молодой человек вышел из дому, намереваясь посмотреть город. Он почти не знал Петербурга: до восемнадцати

лет жил в деревне, изредка наезжая в Псков, а последние четыре года провел за границей. Теперь был 1826 год, кончался май месяц, в апреле ему исполнилось двадцать два года.

Будем его называть именем, каким звали его друзья в Париже.

— Базиль, — говорили они ему, и он радостно откликнулся, начиная уже забывать свое русское имя.

Итак, Базиль отправился посмотреть сегодня хотя бы ближнюю часть Петербурга, называемую Адмиралтейским островом. Было известно ему, что здесь расположены Адмиралтейство и Зимний дворец, воздвигнутый великим Растрелли.

День был веселый, майский, а по жаре — скорее даже июльский. Но Галерная улица, по которой направлялся Базиль, была чрезвычайно узка, и до самой Сенатской площади он шел в непрерывной прохладной тени от домов и почти в одиночестве, никого не встречая и не обгоняя. Настроение было чудесное. Базиль шел и, как это часто бывало, восторженно думал о Леду, парижском архитекторе конца XVIII века.

«Ах, этот Леду! — восклицал про себя Базиль. — Его страсть ко всему исполинскому, физически колоссальному, напоминающему времена азиатских деспотов, не останавливавшихся перед самыми невероятными размерами сооружений!»

Базиль верно судил о Леду. Страсть эта нередко приводила Леду к безумию титанических форм, его школой открывается эпоха «исступленного грандиоза», когда каждый молодой архитектор мечтает о храме, колонны которого были бы по крайней мере равны Траяновой. Увы, когда ученики Парижской архитектурной школы выходили в жизнь, они с разочарованием видели, что Франции не нужны их сумасбродные затеи, от них требуется умение быстро и прочно строить банки и магазины. Скоро в традициях школы эти идеи замолкли. Но для восторженного русского юноши достаточно было их отголосков, оставшихся в школьных преданиях, чтобы услышать из глубины прошлой эпохи голос Леду. Кроме того, Базиль увлекся горячечным творчеством Пиранези, вдохновлявшим в свое время самого Леду. Джованни Батисто Пиранези, неистовый нагромождатель тысячетонных камней!

Размышляя столь высокопарно, Базиль вышел на площадь. Яркий полуденный отсвет и душный жар, исходив-

шие от солнечной мостовой, и странный, какой-то захлебывающийся, надсадный шум сразу хлынули ему навстречу. Тенистая тишина Галерной кончилась, такой жар и свет могли быть только на площади, а такой шум могла источать лишь толпа многих сотен людей.

На площади была человеческая толпа, Базиль увидел ее за памятником Петру. Но это не были идущие мимо или просто гуляющие, это не было сборищем праздных, а шум — праздничным: люди трудились.

Когда Базиль стал у памятника и, вытянув шею, стал всматриваться и вслушиваться, он понял — надсадный шум был пением. Пели «Дубинушку», и это скорее походило на эхо пения. Бросалась в глаза путаница снастей, канаты необыкновенной длины, тянущиеся через всю площадь, почти до самой Невы. Тянули их эти люди, а пели они так — с натуги.

Еще не видя, что тянут канатами, Базиль, сам напрягаясь всем телом, почувствовал, что это должна быть чудовищная, неизмеримая тяжесть, быть может подобная тем, какне двигал и громоздил Леду в своем воображении. У Базиля забилося сердце. Он был так взволнован, что не сразу решился взглянуть налево, где находилась таинственная тяжесть, — боялся разочароваться, и долгое время смотрел перед собой: на людей, на канаты, на бревна, лежащие на земле, чтобы принять на себя тот неведомый груз. И когда взглянул наконец туда, то увидел опять не самое главное, а все те же канаты, опутывающие что-то, людей вокруг чего-то, с длинными жердями в руках.

Он все еще не смел поверить, что это было то самое, о чем он мечтал: гениальная тяжесть Леду — гранитный монолит, будущая колонна к какому-то величайшему в мире зданию! Но он поверил тому через минуту. Он увидел свою мечту наяву и кинулся к ней, не помня себя.

— Ну так как, сударь, срядился с Исакием Исакиевичем? Чай, недорого он с тебя взял? Вот и скажи мне спасибо.

Человек, выросший вдруг поперек дороги, говорил знакомым голосом.

— А туда нельзя, — человек махнул своей рыжей длинной бородой по направлению к работам. — Нельзя. Караульные не пустят.

Ошарашенный столкновением, Базиль несколько секунд глядел, не узнавая. Архип Шихин молча наблюдал его недоумение, затем сказал:

— Посмотреть поближе желается? Успеете насмотреться, еще надоест двадцать раз. Служить-то, наверно, у нас станете?

Базиль еще больше опешил.

— Что?.. Где служить? — пробормотал он совсем в растерянности. — У вас?..

Купец нимало не удивился его волнению и сухо, подчеркнуто официально произнес:

— У господина главного архитектора Монферрана. В комиссии, учрежденной по высочайшей воле для окончательной перестройки церкви во имя святого Исаакия Далматского в Санкт-Петербурге.

Лишь только он произнес эти размеренные слова, как в тот же миг переменялся обхождением. Базиль навсегда запомнил, как дьявольски закрутилась (будто сама собой, как живая) рыжая борода купца, и, таинственно изогнувшись, пригнувшись к самому уху Базиля, купец пронзительно зашептал:

— Или господин Челищев к себе вытребуют? В деревню... курятники строить? А? Как ты, сударь, предполагаешь? Где тебе лучше?

Базиль с ужасом смотрел на всезнающего купца.

— Не... может быть, — произнес он наконец упавшим голосом.

Купец захохотал, довольный впечатлением от своих слов.

— Ничего, обойдется, — сказал он ласково и подмигнул юноше, — держись за Архипа Шихина.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Базиль плохо спал в эту первую свою петербургскую ночь. Он все старался себя уверить, что не было серьезных причин к беспокойству. Единственно, что непонятно, — и об этом он вчера откровенно сказал купцу, — это то, что Павел Сергеевич (так звали Челищева) неизвестно зачем спешно вызвал его в Россию, не дав закончить учение. Для Базиля это явилось полной неожиданностью: до конца учения оставалось около года. Теперь у него нет диплома, есть только рекомендации профессоров, а неизвестно еще, как взглянут на них в Петербурге. Да, он хочет служить в Петербурге, он не скрывает этого. И завтра же отправится к Монферрану. Но надеется еще поехать в Париж и закончить курс, когда недоразумение

разрешится. А может быть даже, Базилю следует завтра же поехать в деревню, скорее все выяснить. Конечно же, Павел Сергеевич звал приехать к нему лишь на время. Но хотелось бы также скорее узнать, есть ли возможность остаться служить в Петербурге на постройке этой огромной, судя по монолитам, церкви. Здесь он будет в центре архитектурного мира и скоро пробьет себе дорогу. Его уже манило искусство строить, а не только мечтать. И чем он хуже Монферрана? Базиль вспомнил, что имя Монферрана упоминалось в списках окончивших ту же архитектурную школу, где обучался Базиль. Монферран окончил школу лет десять назад. Он не был выдающимся учеником, в летописях школы его имя не вышлось над другими, а вот сделал же карьеру в России.

Одолеваемый противоречивыми мыслями, наконец Базиль заснул.

В восемь часов утра Исакий Исакиевич постучал в дверь. Базиль послушно проснулся и, странное дело, не удивился поступку чиновника, хотя помнил отлично, что не просил будить.

Вместе с Исакием Исакиевичем напились чаю. Не удивился Базиль и вопросу его:

— Итак, вы идете сейчас к главному архитектору господину Монферрану хлопотать о службе?

— Да, — ответил Базиль апатично и нехотя подумал при этом: «Уже знает от Шихина».

Исакий Исакиевич сказал, вставая из-за стола:

— Идемте вместе, я тоже там занимаюсь.

Базиль и эти слова выслушал без всякого изумления и без усмешки, хотя совпадение было несомненно смешно: Исакий Исакиевич служит в комиссии по построению Исаакиевского собора...

Встав из-за стола, чиновник сделался ниже ростом, чем был, сидя на стуле: он оказался необыкновенно коротконог. Впрочем, это ему не мешало быстрее иных долгоногих бежать на службу и еще непрерывно подгонять Базиля.

«Приятели!» — почему-то со злостью подумал Базиль в купце и чиновнике.

Базиль не вполне доверял Шихину. Рыжий купец ему не понравился, несмотря на горячее участие и здравые советы. Шихин все старался намекнуть, что никто не поможет Базилю, только он, Архип Шихин, сможет протянуть ему руку и вывести на верный путь.

Перед самым выходом с Галерной на площадь Исакий Исакиевич вдруг остановился и испытующе глянул на Базиля.

— Мне кажется, сам господин Монферран вряд ли захочет что-либо сделать для вас, — значительно произнес Исакий Исакиевич.

— Что вы имеете в виду? — спросил Базиль с трвогой в голосе. — Не примет на службу? Но я учился в той же архитектурной школе, из которой вышел сам господин Монферран. Я надеюсь, что он отнесется ко мне как к младшему товарищу. Наконец, у меня рекомендации...

— Я не о том говорю, вы меня, молодой человек, не поняли, — важно заговорил Исакий Исакиевич. — Господин Монферран не станет за вас хлопотать в том случае, если у вас возникнут неудобства в отношениях с вашим помещиком, между тем ходатайство влиятельного лица в этом случае...

Базиль поспешил перебить:

— Но почему же неудобства? Господин Челищев обещал не противодействовать моей карьере, он затем и послал меня за границу, что, заметив мои наклонности и способности, хотел для меня высшего добра, какого только я сам мог пожелать. Господин Челищев — это бескорыстный меценат...

— То есть великодушный покровитель наук и искусств, это вы разумеете под сим словом, — важно сказал Исакий Исакиевич, снова начиная передвигать свои короткие ножки по направлению к площади. — А что, молодой человек, если я не ошибаюсь, господин Челищев не освободил вас от крепостного состояния?

— Он обещал мне дать отпускную, как только я выучусь, — горячо возразил Базиль. — И даже больше, сударь, безмерно больше, не употребите только во зло мое признание, он хочет усыновить меня. Как видите, я имел вчера основание, правда, несколько преждевременно, называться его именем... Впрочем, вы ведь не знаете о вчерашнем...

Базиль мучительно покраснел, вспомнив о дорожном унижении.

— Нет, я знаю, — строго сказал Исакий Исакиевич.

Он прибавил шагу.

— Если хотите застать господина Монферрана в канцелярии, поспешим. Через полчаса он может начать обход всех работ, и вам не удастся поговорить с ним.

Площадь была окружена забором. Инвалид-гвардеец стоял на карауле у ворот. Исакий Исакиевич сказал ему два слова, кивнул на Базиля, и их пропустили внутрь.

Перед глазами открылось необъятное пространство площади, загроможденное красным питерлакским гранитом, серой бутовой плитой, кирпичом, песком, щебнем, глиной, известью. Гранит, плита, щебень лежали под открытым небом, остальное было сложено под деревянными навесами. Виднелись глубокие ямы для гашения извести.

Прямо перед воротами было *она*, строящееся здание, но Базиль старался не смотреть на него, приберегая впечатление на другое время. Он все же невольно заметил, что это было необыкновенно внушительных размеров сооружение, но пока там производились работы всего лишь по кладке фундамента и цоколя; то же, что возвышалось посредине, представляло остатки разрушенной старой церкви, ее центральные своды.

Везде копошились работные люди. В одном месте стоял большой копер для забивки свай, и люди с ухальем били сваи, поднимая на блоках тяжелую чугунную бабу; рядом отливали воду из котлованов, в другом месте укладывали бутовую плиту, а немного поодаль от сооружения, там, где был сложен гранит, камнетесы обрабатывали его киянками и шпунтами — самодельными, неуклюжими инструментами. Люди ползали на коленях вокруг огромных прямоугольных камней, присаживались на края их, поджав под себя ноги, и сосредоточенно и упорно били. Ноги их были обмотаны тряпками, предохраняющими от острого камня и щебня, но тряпки давно уже превратились в лохмотья, и, если всмотреться, можно было увидеть между лохмотьями голое тело с ссадинами. Руки тоже были обмотаны тряпками вместо рукавиц. Глаза как можно больше сощурены — это заменяло предохранительные очки. От напряжения должны были очень болеть мышцы век и самые глаза: чем уже сжимались щелки, тем зорче нужно было глядеть сквозь них.

Группы рабочих перекатывали гранитные камни саженой длины и аршинной толщины к самой постройке. Базиль вспомнил о несравненных колоннах и поглядел было налево от себя, по направлению к реке, но ничего не увидел, кроме каких-то сараев, закрывавших вид на Неву.

— Мастерские для окончательной отделки и отшлифовки колонн, — пояснил Исакий Исакиевич.

Исакий Исакиевич с удовлетворением отмечал про себя, что разнообразие строительных работ действовало на его спутника самым возбуждающим образом, хотя тот и старался до поры не разглядывать ничего.

Вдруг Базиль спросил со сдерживаемым волнением в голосе:

— Вы не знаете, какой высоты эти монолиты-колонны? И какого примерно веса?

— Восемь сажен. Восемь тысяч пудов, — сухо ответил Исакий Исакиевич.

Базиль был восхищен.

Постройку обогнули справа, пройдя меж известковых ям, и были уже шагах в ста от канцелярии строительной комиссии, как вдруг откуда-то издалека донесся знакомый голос:

— С добрым утречком! К Монферрану? Желая успеха.

Шихин стоял у кузницы и приветливо махал им картузом.

— Я забыл, а вернее, не догадался спросить Архипа Евсеевича, — сказал Базиль, обращаясь к чиновнику, — чем он занимается на постройке собора?..

— Архип Евсеевич с 1819 года и по сей день держит подряд на добывание гранитных колонн; — ответил Исакий Исакиевич.

— Как?! — невольно вскрикнул Базиль, хватая его за руку.

Он был поражен: Архип Шихин занят как раз этим делом?

— Да, — спокойно подтвердил Исакий Исакиевич.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Монферран, которого жаждал увидеть Базиль, еще не изволил прибыть в канцелярию. Или он случайно опоздал сегодня, якобы против обыкновения, или хитрый Исакий Исакиевич нарочно привел Базиля пораньше, чтобы тот подождал, потомился, как всякий проситель, и, упав духом, уяснил разницу между собой и ожидаемым высоким лицом.

Расчеты чиновника могли оправдаться. Страшась все пропустить Монферрана, Базиль не вышел на манящую его площадь, а остался терпеливо ждать в канцелярии. Исакий Исакиевич прошел за барьер и приступил



к исполнению обязанностей. Канцелярия наполнилась чиновниками и посетителями. Базиль с любопытством поглядывал на дверь, обозначенную дощечкой с надписью: «Чертежная и расчетная». Быть может, ему как раз там придется работать под руководством главного архитектора Монферрана. Монферран ведь когда-то так же приехал в Россию с рекомендательным письмом в кармане. Тому исполнилось десять лет. Монферран теперь не известный чертежник и ни у кого уже не просит милости, а, напротив, к нему вот пришел сейчас неизвестный чертежник с покорнейшей просьбой, сидит и с трепетом ждет появления самого Монферрана.

Монферран появился.

Полнощекый и белокурый француз средних лет быстро шел прямо на Базиля, не замечая его, и прошел мимо в дверь чертежной. Тотчас же послышался его заносчивый тонкий голос. За ним проследовал другой белокурый и полнощекый француз, помоложе и ниже ростом. Из чертежной теперь доносились два голоса, чрезвычайно похожих: один говорил по-французски, другой повторял сказанное, притом с теми же интонациями, по-русски. Было легко догадаться, что двойник Монферрана — это его переводчик.

Не успел Базиль вслушаться в разговор, как к нему подскочил Исакий Исакиевич, утративший свою важность.

— Давайте, давайте скорее, — задыхаясь шепнул он Базилю, — давайте же ваши рекомендации...

Базиль попытался было возразить:

— Я же хотел сам...

И хотел было сказать еще, что выбран не слишком-то благоприятный момент для беседы с раздраженным французом, но Исакий Исакиевич уже держал в руках драгоценные письма и через секунду исчез с ними за дверь чертежной.

С замиранием сердца прислушивался Базиль к малейшему звуку, но голоса смолкли: из чертежной был ход в кабинет, и все трое — Монферран, переводчик и Исакий Исакиевич — удалились туда. Раздосадованный Базиль остался ждать, как ждал до сих пор; настроение его во все упало. Ему до крайности не понравилась неуместная услужливость чиновника.

Минут через десять тот возвратился от Монферрана. На бесцветном лице его блуждала неопределенная улыбка. Он подошел к Базилю и подал письма.

— Господин Монферран благодарит за честь, — произнес он торжественно и довольно громко, так что присутствующие невольно наострили уши, — и высказывает глубочайшее сожаление, что не может принять вас.

С этими словами чиновник вежливо поклонился и неторопливо удалился за барьер к своему столу. Он сел и занялся бумагами, подставив скамеечку под короткие свои ножки, чтобы не затекали.

Далее все пришло в свой порядок. Ноги шаркали, бумаги шуршали, перья поскрипывали, посетители кашляли, молодые чиновники за спиной Базиля оценивали парижский его костюм.

Сам Базиль стоял как оплеванный.

Он не помнил, как вышел из канцелярии, кто провел его с площади на Морскую улицу через ворота, противоположные тем, в какие он час назад вошел на площадь; помнит одно лишь: навстречу попался вездесущий рыжебородый купец и заговорил с ним таким тоном, из которого было ясно, что Шихин отлично осведомлен обо всем происшедшем. Если б Базиль тогда был в состоянии здраво соображать, он тут же, на месте бы догадался, что Исакий Исакиевич действовал по указаниям Шихина и ему было поручено доложить Монферрану о молодом чертежнике:

Но для чего это нужно Шихину?

— Помни Архипа Шихина, — сказал купец, приближаясь вплотную к Базилю и смотря ему прямо в глаза. — Что бы ни случилось, приходи к Шихину, Шихин выручит. Ну, а сейчас-то мне сильно некогда. До свиданьица.

С этими словами купец повернулся прочь от Базиля, и так стремительно, что длинная, узкая борода его закинулась на плечо. И уже издали прокричал:

— Павлу Сергеевичу кланяйтесь от меня, сударь. На ярмарке мы с ним в Пскове недавно встретились. . . Архип Шихин шлет, мол, привет и сердечные пожелания. . .

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Генерал Бетанкур

Генерал Бетанкур не участвовал в наполеоновских войнах. Его обязанности были всегда гражданские. В 1807 году он был выписан из Испании в качестве придворного инженер-механика. Ему назначили содержание в год двадцать четыре тысячи рублей ассигнациями. Ко-

гда вскоре курс на ассигнации стал падать, он попросил прибавить ему содержание; ему прибавили, он попросил прибавить еще: ему еще прибавили, доведя наконец годовые до шестидесяти тысяч рублей. Заметив, что в стране, куда он приехал, чин и военный мундир превыше всего, он потребовал того и другого. Ему дали чин генерал-майора; он попросил прибавить, ему прибавили, произвели в генерал-лейтенанты. Когда государь пожаловал его анненской лентой, он попросил прибавить, и его пожаловали александровской лентой.

В 1809 году Бетанкура назначили главным начальником Института инженеров путей сообщения, который нужно было еще основать. Бетанкур немедленно основал институт и занял должность начальника. Директором института он определил Сенновера, эмигранта-француза без определенных занятий, и попросил для него чин генерал-майора. В экономаы он взял разорившегося богача армянина и достал для него чин инженер-капитана. Для помещения института был куплен за триста тысяч рублей дом князя Юсупова на Фонтанке у Обухова моста. Большую часть дома отделил себе под квартиру генерал Бетанкур.

После войны 1812 года Бетанкур был назначен на должность директора путей сообщения; это было почти министерское место, и тут он пришелся немного не ко двору. Вскоре он был понижен в должности, и в его постоянном заведовании остался лишь институт.

Весною 1816 года, отдохнув от военных забот, государь решил сделать Санкт-Петербург величавее всех европейских столиц, для чего учредил особый архитектурный комитет под председательством Бетанкура. Комитету было вменено в обязанность заботиться о наружной красоте города, рассматривать и утверждать проекты всех новых его построек, блюсти архитектурную чистоту его линий. Назначая Бетанкура председателем комитета, государь оказал таким образом лестное доверие испанскому инженеру, тем более что комитету скоро должно было быть поручено дело наивысшей ответственности: устройство архитектурного конкурса на предмет перестройки Исаакиевского собора.

Пока же, в начале лета, на заседаниях шли бурные прения по вопросу о тротуарах. Нововведение, столь благодетельное для пешеходов, оспаривалось как противоречащее петербургской классической архитектуре. Бетан-

кур был за тротуары; его мнение восторжествовало наконец.

В этот благоприятный день, вернувшись из комитета, генерал Бетанкур счастливо прогуливался в своем саду на Фонтанке. Было жарко, жена с замечательно умными дочерьми жила за городом на даче, генерал находился совершенно один в саду, и уже одно это доставляло ему удовольствие. В саду было подвешено восемь испанских гамаков, и, выбрав один из них, генерал лег вздремнуть до обеда. Но не успел он закрыть глаза, как заметил идущего к нему по аллее модно одетого молодого незнакомца, белобрысого, полнощекого и учтиво кланяющегося еще издали.

Приблизившись и принося извинения за самовольные поиски генерала в саду, незнакомец отрекомендовался Августом Монферраном, только что приехавшим из Парижа.

— Монферран? — как бы заинтересованно переспросил генерал, борясь с дремотой. — Это ваша фамилия? Насколько я помню, во Франции есть лицей Монферран?

Молодой человек почтительно отвечал, что память генералу не изменила, во Франции действительно существует лицей Монферран, и что он как раз там обучался и, посвятив себя после художественной деятельности, принял имя лицея, тогда как настоящее его имя Август Рикар. Молодой человек затем подал Бетанкуру письмо.

Письмо было написано старинным приятелем Бетанкура, знаменитым парижским механиком и часовщиком Брегетом. Брегет просил Бетанкура устроить подателя сего письма на какую-либо петербургскую службу с исполнением обязанностей архитектурного рисовальщика.

Глаза генерала непреодолимо слипались, но, к счастью, письмо оказалось не особенно длинным, и, прочитав его, Бетанкур сказал шутливо:

— Хорошо, я подумаю о вас во сне.

Монферран не знал, что ответить. Тогда Бетанкур повторил, отвалившись поудобнее и уже откровенно закрывая глаза:

— Мой друг, будьте уверены, во сне я позабочусь о вас еще лучше, чем наяву... Итак, до завтра...

С этим двусмысленным обещанием на устах генерал отошел ко сну, захрапев в ту же секунду, как произнес последнее слово.

Заранее приготовившись к долгому и любезному разговору с приятелем своего парижского покровителя,

Монферран был шокирован, почти оскорблен этим внезапным сном. Простояв с минуту подле мирно покачивающегося огрузшего гамака, Монферран наконец стряхнул с себя растерянность и решил использовать некоторые выгоды своего положения.

«Пока этот тюфяк спит, я смогу хорошенько изучить его лицо», — решил молодой француз, не в шутку считавший себя отличным физиономистом. Мстительно усмехаясь, он не менее десяти минут вглядывался в лицо спящего Бетанкура и с удовлетворением отмечал, что это смуглое стареющее лицо дышит благородством, а потому он, Монферран, может быть спокоен за свое ближайшее будущее: Бетанкур непременно исполнит просьбу Брегета. Однако это вовсе не означало, что Монферран должен чувствовать себя глубоко обязанным Бетанкуру. За что? Быть может, игра не стоит свеч.

На другой день, явившись к Бетанкуру, Монферран был принят им в деловом кабинете. От вчерашней садовой шутливости и сонливости не осталось следа. Строго официально генерал объявил Монферрану:

— Сударь! Я беру вас на службу к себе в комитет, предварительно назначив вам испытательный ценз до двух месяцев.

Погода он прибавил несколько мягче и даже как бы доверительным тоном:

— Вы приехали в благоприятное для вас время. Прошлой зимой я бы мог вас устроить, пожалуй, лишь на фарфоровый завод рисовальщиком, а для вас это было бы незаманчивой службой, не правда ли?

— О, я был бы и в этом случае бесконечно благодарен генералу! — скромно ответил молодой архитектор, а про себя подумал: «Прошлой зимой я был отлично осведомлен о том, что вы временно впали в немилость, генерал. Спрашивается, зачем бы я к вам поехал?»

После ближайшего воскресенья Монферран приступил к исполнению обязанностей архитектурного рисовальщика. Бетанкур, вначале не возлагавший на него особенных надежд, скоро был вынужден составить о нем более положительное мнение. Монферран оказался не только хорошим рисовальщиком, но и проектировал недурно, и Бетанкур поручил ему для пробы (вне конкурса «настоящих» архитекторов) набросать вчерне проект перестройки Исаакиевского собора. Собор этот, построенный еще при Екатерине и Павле, не нравился своим

видом государю и к тому же начал разрушаться из-за неправильной осадки стен и сводов.

Монферран нарисовал двадцать четыре рисунка, представлявшие вид будущего собора в различных вкусах. Тут все можно было найти: китайский, индийский, готический, византийский стиль, стиль эпохи Возрождения и, разумеется, чисто греческую архитектуру древнейших и новых памятников.

Бетанкур преподнес монферрановский альбом государю, прося удостоить выбором один из рисунков. Нельзя было не восхищаться искусством рисовальщика, и Александр на время оставил альбом у себя.

На другой день Бетанкур с каким-то таинственным видом подошел начальника своей канцелярии и наедине вполголоса сказал ему:

— Напишите указ придворной конторе об определении Монферрана императорским архитектором с жалованьем из сумм кабинета.

Начальник канцелярии изумился и не мог удержаться, чтобы не сказать:

— Да какой же он архитектор, он отроду ничего не строил, и вы сами едва признаете его чертежником.

— Ну, ну, — отвечал Бетанкур, — так и быть, помолчите о том и напишите указ.

Указ был написан, а после подписан самим государем.

Начальнику канцелярии было нетрудно заметить, что генерал Бетанкур сам пребывал в некоторой растерянности. Очевидно, желание государя возвысить безвестного Монферрана казалось ему слишком поспешным. Генерал не хотел признаться перед собой, что неожиданная удача Монферрана навела на горькие мысли его самого, стареющего франко-испано-русского инженера... Кроме того, он искренне недоумевал, как мог архитектор, убежденный художник, представить ему и государю на выбор двадцать четыре разнородных и прямо противоположных по стилю проекта одного и того же здания. Выходит, что Монферрану решительно все равно, в каком стиле сочинять и строить...

Размышляя таким образом, Бетанкур, однако, не высказал своих сомнений перед Монферраном и, поздравив его, пригласил на обед. А там, за шампанским, он снова поздравил француза, желая судить по его виду — загордился ли молодой человек или знает пока свое место.

После обеда, когда удалились дамы и остались они вдвоем с Монферраном, Бетанкур приказал подать еще вина и завел свободный артистический разговор об архитектурном искусстве, с тайною мыслью подстрекнуть Монферрана к высказываниям. Монферран, по-видимому, опьянел немного, и, когда генерал спросил его, какой из двадцати четырех рисунков более по душе ему самому, он напыжился и сказал:

— Все двадцать четыре рисунка мне одинаково дороги, ибо исполнены они все моею рукою с одинаковым прилежанием и искусством... — Тут голос его дрогнул, и он умоляюще посмотрел на генерала. — Не осудите меня, генерал... Я жажду признаться вам...

Бетанкур насторожился и поощрительно наполнил бокал Монферрана. Тот перегнулся через стол к Бетанкуру и страстно заговорил:

— Поверьте, я с детских лет раздраем противоречием. С одной стороны, я всего более люблю рисовать миниатюры, с другой стороны, всего более желаю воздвигнуть когда-нибудь гигантское сооружение, чудовищных, необыкновенных размеров здание, вавилонскую башню! И мне теперь кажется, генерал, что я примирил наконец мои разноречивые желания. Я понял, что, изобразив с истинным удовольствием двадцать четыре рисунка Исаакиевской церкви в различных стилях, я могу теперь с такою же вдохновенною радостью строить в любом из этих стилей, лишь увеличив в натуре здание в сто тысяч раз... Я понял, что суть только в увеличении. Любую миниатюрную модель можно увеличить в сто тысяч раз — и здание будет подавлять своим титаническим величием, как раньше оно умиляло изяществом крохотных форм. Таков главный, я утверждаю это, закон архитектурного искусства.

Бетанкур глядел на молодого француза и про себя радовался своей хитрости, развязавшей гостю язык.

Монферран опять перегнулся к нему и, взяв в руки бокал, заговорил несколько изменившимся голосом:

— Вы инженер, вам ведомы и подвластны все тайны механики. Для титанического собора нужно добыть и вознести гранитные скалы. Вы понимаете меня, генерал? Мы будем строить вместе. Вы придумаете гениальные машины, вы будете строить, а я стану у вас учиться, чтобы после сменить вас и прославить ваше имя

Монферран говорил пронзительным голосом и, вне себя, выронил зажатый меж пальцев хрустальный бокал

на пол. Быть может, он даже бросил его нарочно. Бокал разлетелся пронзительно, как его голос, и тотчас два перепуганных лакея вбежали в комнату.

Бетанкур махнул рукой на лакеев и, странно взглянув на горячего собеседника не то как на бесноватого, не то как на гения, поднялся и вышел вслед за лакеями.

Монферран сидел, вытянув шею и втянув полные щеки до впечатления худобы. Он не дышал. Он прислушивался к шагам Бетанкура, затихшим в далеком кабинете.

Через четыре минуты Бетанкур вернулся в столовую, неся перед собой сверток бумаги.

— Вы победили меня! — сказал он торжественно и в то же время с какой-то стареющей, жалкой улыбкой. Он подошел к Монферрану вплотную и развернул перед ним на ручке кресла тугой скрипучий сверток. — Вот машина, проект гигантского кабестана для поднятия особенных тяжестей. Это лучшее мое изобретение. С помощью моей машины мы построим ваш собор.

Генерал Бетанкур доверительно склонился к Монферрану, как десять минут назад Монферран склонялся к нему, и сказал почти жалобно:

— Правительство развратило меня властью, мне данной. Любимое занятие механикой я принес в жертву служебному честолюбию. Вы, мой друг, возвращаете меня в природное мое лоно. Благодарю вас от всего сердца!

Монферран молча встал навстречу Бетанкуру, и они облобызались. Затем они сели в кресла, с умилением смотря друг на друга.

— Мой друг, — сказал Бетанкур, — проводите меня к гамаку, я чувствую, что после перенесенного волнения мне требуется отдых на свежем воздухе. Да и вам не мешает прилечь, мой друг. Не стесняйтесь.

Они вышли в сад и согласно легли в гамаки, висевшие рядом. Пели птички в кустах, солнце склонялось к западу. Через минуту Бетанкур уже спал крепким сном, улыбаясь еще более счастливо, нежели в день победы над противниками тротуаров.

Монферран полежал немного, подумал, присматривая за Бетанкуром, затем сошел на землю и проворно побежал по направлению к террасе. Чинно войдя в столовую, он взял со стола оставленный Бетанкуром чертеж и, убедившись, что в комнате никого нет, молниеносно набросал в своей записной книжке эскиз машины и списал основные цифры ее расчетов. Он делал это на слу-



чай, если вдруг Бетанкур заупрямится и снова сокроет свиток.

Сойдя в сад, Монферран прошел к гамакам и стал почтительно, по-сыновнему, дожидаться пробуждения генерала.

Ему пришло в голову, что он, в сущности, сейчас потешался над Бетанкуром, как библейский Хам потешался над пьяным своим отцом Ноем... Отогнав чересчур резвые мысли, Монферран сказал про себя: «Я перехитрил, я очаровал старика. Теперь он до самой смерти не причинит мне ни малейшего зла. Добром же, надеюсь, воздаст и после смерти. Я разумею под этим добром его кабастан».

Генерал Бетанкур умер в 1824 году, заседая до самой смерти в бесчисленных комитетах и комиссиях. Творческий порыв, потрясший его под влиянием беседы с Монферраном, больше не повторялся. К Монферрану, впрочем, он относился и после с чрезвычайною благоприязнью.

Замечательные кабастаны были использованы Монферраном на стройке, где оказали великую помощь строителям. Монферран не выдал их за свое изобретение, но и бетанкуровскими они не прослыли.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Базиль выехал из Петербурга. Нанятый попутный ямщик оказался необычайно словоохотлив и не давал Базилю сосредоточиться, поминутно вступая в разговор. Базиль был вынужден наконец сделать ему шутливое замечание:

— Что ты стрекочешь, как нанятый!

Молодой ямщик заготовил во всю мочь, задрал круглое лицо к солнцу.

— Так я ж нанятый и есть. Ты ж за трешницу меня нанял, барин. До самой деревни, как есть...

— Ладно. Только барином меня не зови, я не барин.

— А кто ж ты? Одет по-господскому.

— Одет-то одет, а такой же, как ты.

— Сравнил. Я вот отвез своего молодого барина, офицера, в Питер, обратно еду, наше дело маленькое. А ты сам по себе. Захотел — поехал. А мне после попадет от старой барыни, как узнает, что чужого повез.

— Не узнает. Так не веришь, что я такой, как ты? И барин у меня есть.

— Ну-у! Так ты что, лакей евонный?

— Нет, я просто... Учиться он меня посылал в чужие края.

— Ого! Ишь ты!

Затем парень начал грубить, очевидно не поверив Базилю. Чтобы прекратить глупейший, как казалось ему, разговор, Базиль объявил, что желает заснуть, и для вида закрыл глаза. Парень послушался, замолчал и, кажется, сам задремал.

Базиль мог теперь размышлять на свободе. Мысли его не были тревожными. Последние слова Шихина — о знакомстве с Павлом Сергеевичем — открыли Базилю все. Особенности поведения и всезнайство Шихина разъяснились. Павел Сергеевич, наверно, предчувствовал, что Базиль заинтересуется и увлечется постройкой Исаакиевского собора, но почему-либо не хочет, чтобы Базиль оставался служить там, и потому просил Шихина сделать то-то и то-то. Отсюда можно заключить, что он вскорости снова отправит Базиля в Париж доучиваться.

А зачем он вызвал его в Россию? Почему не объяснил все в письме? Готовит сюрприз? Какой? Базиль догадывается, но не смеет верить. Впрочем, что может быть еще другое?

У Базиля радостно замирает сердце и возникает такое ощущение в голове и в груди, как будто их бречка несетя во весь опор. На самом деле лошади еле плетутся, ямщик дремлет, а Базиль взволнован мыслью, что скоро он в самом деле получит право называться господином Челищевым!..

Закрадывается сомнение: имеет ли он право мечтать об этом? Но радостная уверенность побеждает: «Да я-то ведь не лакей, не ямщик, как этот парень, это ему непростительно предполагать, что барин готовит ему такой презент. А я молодой архитектор, с чрезвычайно значительными художественными способностями, как пишут вот в этих письмах мои парижские профессора. В то же время Павел Сергеевич не грубый какой-нибудь офицер, который колотит своих денщиков чубуком по башке и пинает их сапогами. Павел Сергеевич — прирожденный меценат, таких благородных людей мало. Да и какой уж я крепостной?.. Я сирота, воспитанный в его доме. Ну что я? Точно еще убеждаю себя... Ведь он сам мне сказал, сам намекнул, когда отправлял в Париж. А я-то еще

смел сомневаться по приезде и раньше. Думал: зачем он меня только вызвал? Тревожился! Экое недоверие! Дудки! С заботами теперь кончено».

Успокоясь, Базиль заснул, пригретый самой природой. Впрочем, последняя его сознательная мысль была недоуменна:

«С какой стати Павел Сергеевич попал на ярмарку в Пскове? Никогда он не ездил по ярмаркам, с купцами не знался...»

Мысль эту Базиль благополучно заснул.

Пробудившись, Базиль читал, смотрел на поля вокруг, зеленеющие льном, и так холодно отвечал ямщику, когда тот пытался завязать разговор, что самому было неловко. Зато удалось добиться, что ямщик счел наконец давешнее его признание за барскую шутку и прекратил беседу с неровней. Так прошел день.

Покормив лошадей и поужинав на постоялом дворе, снова тронулись в путь и к утру были в Пскове.

Был ранний час, но солнце уже пригревало, и разморенный Базиль, желая побороть сон, пошел прогуляться по городу. Он любил этот старый город. Каменная архитектура кремля и пестрое разнообразие деревянных улиц своим исконным противоречием умиляли его еще в отрочестве.

Все здесь было ему знакомо. Вот он выйдет сейчас на базарную площадь. Как не похожа она на Сенатскую в Петербурге! Но лучше не вспоминать... там колонну сейчас тянули канатами... восемь тысяч пудов... Не надо пока о том вспоминать, все придет в свое время.

Поблизости расположен дом старой тетки Павла Сергеевича, в нем они жили, когда приезжали в Псков. Пойти посмотреть? Зачем? Тетка уже умерла, дом отошел к другим наследникам, с которыми Павел Сергеевич в ссоре.

Базиль почувствовал, приехав в Псков, что ему очень хочется поскорее увидеть Павла Сергеевича. И не для того чтобы высказать обязательные слова благодарности, нет, — просто соскучился. Привязан сильнее, чем ожидал. Подумать, четыре года не виделись. За это время стал взрослым...

Образ Павла Сергеевича живо вставал перед его глазами: сухощавый и стройный, изящно одетый, вечно молодое лицо, мягкий голос; он говорил всегда об искусстве, об антиквариатах, о восемнадцатом веке. Как приятно будет с ним поделиться своими мыслями о Леду...

Базиль вышел на площадь.

Возы, лошади, мужики, пыль, конский навоз, отрепья пакли, соломы и сена, колесный скрип, людской гам, лошадиное ржанье, запах пота, навоза и дегтя — поразили сразу все его чувства. Это была та Россия, какую он помнит с детства и без какой, по правде сказать, он не скучал за границей. Он никогда и не думал о ней: одно лишь искусство занимало все его помыслы. Так и сейчас: эта площадь не умилила его, как умилил древний кремль три минуты назад, и он почти пожалел, что вздумал сюда прийти.

Но было уже поздно. Возы стиснули его со всех сторон. Кипы льна и пеньки навалились на него своими мохнатыми боками. Он едва мог пробираться среди возов, даже людей не было видно: возы, возы... Базиль заблудился, как в лесу.

Увидев какой-то просвет, он с надеждой ринулся к нему и по узкой прогалине выбрался на поляну. Он облегченно вздохнул и осмотрелся вокруг.

На середине поляны стояли два человека и мирно беседовали. В руках у них были зажаты большие очески льна.

Один из собеседников был незнаком Базилю — какой-то купец, другой был Павел Сергеевич Челищев.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

За последние дни Базиль слишком часто оказывался жертвой всякого рода неожиданностей и случайностей, но все потом разъяснялось, и ему становилось понятно, что иначе не могло быть.

На этот раз его изумление было столь необъятно, что собеседники с пучками в руках успели перемолвиться добрым десятком неспешных деловых фраз, а он все еще пребывал в неподвижности, подобный столбу, к каким привязывали лошадей на площади.

— А, приехал. Отлично, — неопределенно сказал Павел Сергеевич, заметив Базилья и не выражая особенной радости. — Здравствуй, мой друг. Подожди тут с минутку, мы скоро пойдем с тобой.

Павел Сергеевич обернулся к кучу с намерением продолжать деловой разговор.

И разговор немедленно возобновился. Базиль снова услышал слова: лен, кудель, пряжа, холст, холстина, по-

чем за штуку и прочее, и прочее. Слышать эти слова из уст Павла Сергеевича было так же непривычно, как и видеть в его руках этот паршивый очесок, как видеть самого Павла Сергеевича на базарной площади. Базиль с трудом очнулся, когда Павел Сергеевич, попросившись с купцом, подошел к нему и, положив руку ему на плечо, сказал:

— Так идем, мой друг...

Ловко лавируя между возов, Павел Сергеевич шел впереди Базиля, такой же изящный, так же прекрасно одетый, как прежде, в годы беспечной жизни в мире искусства, только в левой манжете его застрял клочок пакли.

Когда выбрались с площади, Павел Сергеевич подождал несколько отставшего Базиля и, смотря на него, проговорил уже менее сухо:

— Да ты вырос, возмужал. Что ж, пора. Ну, как доехал, рассказывай.

— Архип Шихин вам кланяется, — неожиданно для самого себя сказал Базиль.

Павел Сергеевич ничуть не удивился.

— Ты видел его? Отлично, отлично. Он весьма молодец. Познакомил меня прошлый раз на ярмарке с достойнейшими людьми. Как раз всегодились.

— Что за люди?

— Все купцы, мой друг. Деловые люди.

— Павел Сергеевич! — не утерпел Базиль. — Давно ли вы стали знакомиться с деловыми людьми? Что с вами? Вы так изменились! Скажите мне, что с вами?

Павел Сергеевич нахмурился и заложил правую руку за спину, что предвещало длительный разговор.

— Ты, мой друг, забываешься. Ты забыл, что ты не в Париже беседуешь с приятелем. Со мной такой возбужденный тон неприличен. Ради первого дня нашей встречи я, так и быть, прощаю тебе эту дерзость, но в другой раз, запомни, в другой раз я тебя оштрафую. В каждом подобном случае, а также за иные провинности я стану тебя штрафовать.

— Штрафовать!

— Да, накладывать известного размера штраф или иначе — пеню. Такая метода воспитания работника применяется на английских фабриках и приносит положительные результаты. Такую же методику я введу и на своей фабрике.

— На своей фабрике?!

— На моей фабрике. Но что тебя удивляет, мой друг? «Все!» — хотелось крикнуть Базилю, но он удержался, потому что уже начинал понимать, что будет благо-разумнее вперед помалкивать и поддакивать, а уж Павел Сергеевич сам раскроет перед ним тайну своего нового увлечения. Пока же решил спросить по возможности деловым тоном.

— И порядочно давно приобрели вы себе фабрику, Павел Сергеевич? Большая, наверно, фабрика?

Вопрос был удачен, на взгляд Базиля.

— У меня еще нет пока фабрики, — спокойно сказал Павел Сергеевич. — Мой друг, я советую тебе хорошенько запомнить ту местную истину, что в нашей губернии при данных обстоятельствах несравненно выгоднее построить новую льнопрядильную и ткацкую фабрику, чем купить старую. Так вот сообщаю тебе, что этим же летом я начну строить фабрику у себя в имении. Но, — Павел Сергеевич улыбнулся (и улыбка-то у него была не прежняя, а какая-то деревянная), — что я говорю «я начну строить»? Не я, а ты начнешь строить, мой друг. . .

— Я?! — задохнулся Базиль.

— Ты, — подтвердил Павел Сергеевич, продолжая улыбаться своей новой улыбкой, — за тем я тебя и вытребо-вал. Довольно зряшного ученья, пора начать дело де-лать. Да ты не тревожься, что знаний не хватит. Я пони-маю, что учился ты не тому, чему следует. Занимался там разными архитектурными безделушками. Это уж моя оплошность. Уж если посылать за границу, так в Ан-глию, учиться льняному делу. Ну, ничего, все поправимо. Ты человек молодой, способный, где надо — специальные люди помогут. Да и строить тебе пока не сумею, я ведь знаю, а будешь приказчиком. За рабочими станешь при-сматривать, учет работам вести, да мало ли что, дело найдется. Когда фабрику выстроим, приспособлю тебя для закупок, станешь по ярмаркам ездить, лен, пеньку закупать. Ты — человек верный. А выучиться всякому делу можно. Жаль, конечно, что много я на тебя денег потратил, в Париже тебя пустякам обучал, ну да ты мне вернешь должок постепенно. По английской методе станем вычеты делать. А жалованье я тебе положу, ты не беспокойся. Жалованье для поощрения, чтобы ты старался. Старайся не ошибаться — и под штрафы не попа-дешь. Метода очень хорошая.

Павел Сергеевич продолжал говорить все в таком же роде. Что-то о пеньке, о канатной фабрике. Базиль хоть

и слушал, но перестал понимать: голова была забита этой пенькой до отказа.

Наконец Павел Сергеевич обратил внимание на болезненный его вид.

— Ты что нездоров?

— Не совсем, — промямлил Базиль.

— Скоро придем. Да вот уж мы почти дома.

Через минуту вошли в подъезд дома, памятного еще по детству. Базиль нашел в себе силы вопросительно взглянуть на Павла Сергеевича.

— Я помирился с родственниками, — ответил Павел Сергеевич, заноса ногу на ступеньку. — Я на паях с ними строю фабрику.

До этих слов еще можно было думать, что увлечение Павла Сергеевича не серьезно. Теперь же...

Его родственников Базиль знал за серьезных людей с меркантильными, как презрительно говорил прежде Павел Сергеевич, то есть основанными на голом расчете, коммерческими интересами. Уж эти-то скрутят Базилья.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Месяц спустя Базиль в горьком раздумье брел по той же базарной площади — «будь она проклята!...». Разумеется, это не было праздной прогулкой: строгие поручения Павла Сергеевича неотвратимо толкали в спину.

Прошел всего только месяц, но Базилью он не прошел даром. Одних штрафов скопилось на изрядную сумму... Но прежде всего изменилась его наружность. Сам Павел Сергеевич одевался по-прежнему, но от Базилья потребовал, чтобы тот снял свое европейское платье и взял пример с настоящего купеческого приказчика солидного толка: надел долгополый сюртук и научился с достоинством носить его.

Павел Сергеевич не уставал корить Базилья Парижем и однажды сказал, подведя его к зеркалу:

— У парижан есть единственное достоинство: они переимчивы, как обезьяны. Надеюсь, хоть эту-то пользу тебе оказал Париж? Научил перенимать чужие манеры? Так вот я тебе приказываю: научись в совершенстве подражать всем приемам Харлампия, что служит у купца Титкова. Сначала ты перед зеркалом выучишься держаться и разговаривать с работниками в точности как он.

— Неужели вы хотите, чтобы я раздавал зуботычины? — взмолился Базиль.

— Мой друг, штрафую тебя на двадцать копеек. Когда ты научишься владеть собой? Итак, продолжаю. Запомни, пожалуйста: я хочу сделать из тебя универсального помощника. Так или иначе, ты образован, развит, умен, одарен, но все это может оказаться бесполезным и даже вредным грузом, если ты будешь не у дел в моем хозяйстве. Скажу тебе откровенно, мой друг: такой человек, как Харлампий, мне больше бы пригодился, он золото, он совершенство в своем роде. Но такого у меня нет, и я решил сделать нужного человека из тебя. Тем более что меня давно уже беспокоила мысль, как мне тебя использовать в своем хозяйстве, чтобы ты не был лишнею спицей в колеснице. Я полгода над этим думал и только потому и не вызывал тебя из Парижа, что все не мог решить, как поступить с тобой в точном соответствии с моими принципами. А мой основной принцип таков: каждого из моих людей использовать как можно целесообразнее. Система в работе должна быть утонченной: штрафы и поощрения, как я тебе говорил, и наимыгоднейшее применение способностей каждого. С тобой несколько труднее. Повторяю: призови на помощь парижскую переимчивость. Скажу несколько слов относительно «зуботычин», как ты о них грубо отозвался. Не нужно фантазировать, мы живем в России — мой друг, ты видишь, как я откровенен с тобой, оцени это и считай поощрением, — я говорю: мы живем в России! Эти люди тебя уважать не будут, если ты не покажешь им свою власть, тем более что ты не барин. Так что советую, в твоих интересах и в интересах дела, учить их, когда это нужно. А сам, повторяю, учись у Харлампия, друг мой. Подражай Харлампию.

Увы! Базиль оказался бездарным учеником. Только вчера он был оштрафован на целый полтинник за то, что один пожилой работник назвал его Васенькой.

— Ты не должен допускать ни малейшей фамильярности, — выговаривал ему после Павел Сергеевич. — «Я тебе не Васенька, а Василий Иванович, штрафую тебя за дерзость на четверть дня. Отработаешь в субботу», — вот что ты должен был сказать старику.

«И это лучший из людей!» — с надрывом думал Базиль, шагая по площади.

Павел Сергеевич отлично понимал, как страшно Базилю видеть ту пропасть, что отделяла прежнего Павла Сергеевича от теперешнего. Однажды он попробовал объяснить Базилю, что пропасть не так-то уж велика



на самом деле и нужно смотреть на все проще. Он сказал:

— До сорока лет я проживал деньги, а после сорока стал наживать и впредь хочу наживать. Вот и все. Понимаешь?

— Понимаю, — глухо ответил Базиль.

Базиль многое понял. Вначале он был ошарашен свалившейся на него бедой: его, архитектора, свободного художника с творческими порывами и с лучшими аттестациями, да еще размечтавшегося об усыновлении его прекраснодушным меценатом, — вдруг засунули в мерзкую шкуру подневольного человека и словно для насмешки заставили притеснять других таких же подневольных людей... Ему все казалось сперва, что это недоразумение, и как только Павел Сергеевич перестанет водиться с деловыми своими родственниками и решит, что не дворянское это дело — затевать фабрику, то все пойдет по-хорошему, все пойдет по-старому. Павел Сергеевич отпустит Базилья в Париж.

Прошел месяц, но ничто не переменилось. И не переменится, должно быть...

«И впредь хочу наживать», — сказал Павел Сергеевич.

Впрочем, Базилью иной раз казалось, что он примирился бы уж со всем, лишь дайте ему любимое дело, дайте ему искусство... Он порой заставлял себя... подражать Харлампию, воображая, что получит за это награду — искусство, Париж... Иногда же, напротив, все казалось безнадежным.

— Барин? Так нет, не он... Или он? Он, он! Ей-богу, он! Одет не по-своему, а он самый. Оказия... Барин!

Эти возгласы исходили откуда-то сверху. Базиль поднял голову. Из окна двухэтажного дома, выходявшего дрянным фасадом на площадь, выставилось румяное круглое лицо, гримасничающее от удовольствия, что его заметили.

— А, это ты, — сказал Базиль, останавливаясь перед окном. — Ты что тут делаешь?

— Чай пью, — отвечало лицо. Пот катился с него и падал с высоты второго этажа на площадь.

— Кто же тебя тут чаем поит?

— Сам пью. Трактир, не видишь...

— Как ты в здешний трактир попал?

— А проездом.

— Куда теперь едешь?

— В Питер, за молодым барином-офицером. Письмо пришло. Посылайте, говорит, за мной Мишку. На Троицу, говорит, почтуй вас приездом.

— Вот оно что.

Базиль опустил голову и задумался. Парень еще раз внимательно оглядел его сверху, а затем спросил:

— А ты что так вырядился?

— Я не сам. Меня барин вырядил, — отвечал Базиль, смотря в землю и пощипывая докучный сюртук.

Парень свистнул.

— Вона что!

Помолчали. Парень не отрываясь смотрел на Базилья и точно ждал чего-то.

— Запрягать, может? — спросил он вдруг.

— А? — Базиль вздрогнул.

— Едем, говорю, что ли? В Питер-то, говорю, едем, что ли? — прокричал парень с налитым кровью лицом, свесясь за подоконник до пояса.

Базиль, опустив голову, стоял молча. Через полминуты он сказал очень бодро и просто:

— Запрягай.

И вдруг, повинувшись внезапно нахлынувшей злости, сорвал с головы безобразный картуз свой, швырнул на-земь и, стиснув зубы, приступил его ногою.

— Вот это по-нашему! — восхитился парень. — А все же картузик-то подыми, пригодится. Не близко ехать.

Парень резво вскочил с подоконника и, довольно похлопав себя по налитому чаем пузу, побежал запрягать.

Через полчаса Базиль катил в Петербург. Поручения Павла Сергеевича не толкали его в спину. Он снова катил сам по себе.

— Ну что, теперь веришь? — напряженным, нетерпеливым голосом говорил он, тиская парню плечо. — Веришь мне? А?

Парень в ответ хлестал по коням.

— Как не верить, — он хлестал шибче и шибче. — Только бы не настиг. Ты скорее в чужие края утекай.

Он еще и еще хлестал кнутом, и бричка на этот раз неслась во весь опор.

Перед Базилем встал образ дерзкого, хитрого рыжего изувера, спасающего его самым чудесным, неизвестным способом.

— Архип Шихин! — крикнул Базиль, привставая в бричке. — Выручай меня от мецената!

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Петербург встретил его безлюдьем. Белая ночь освещала улицы кладбищенским светом, дома стояли как вымершие. Базилью было немного не по себе.

В последний, быть может, раз обернулся к нему паренек с козел.

— Куда отвезти-то тебя?

— Никуда, — ответил Базиль, более всего не желавший сейчас видеть Исакия Исакиевича. — Я пойду так пока. До утра поброжу.

— Смотри, будочки заберут.

— Не заберут.

Базиль вылез из брички.

— Прощай, Миша. Спасибо. Возьми вот.

— Стану я от тебя братъ! — рассердился парень.

— Ну, спасибо, Миша.

Они расстались.

Базиль, уходя, слышал: бричка завернула в боковую улицу. Стук колес ее стал заглушаться шагами Базиля и скоро совсем пропал.

Базиль шел. Сначала он шел без цели и, лишь выйдя на Гороховую, поймал себя на мысли о том, что ведь желанное место находится неподалеку, прибавил шагу и через десять минут был на месте.

Исаакиевская площадь лежала за своим забором. Сотни тысяч пудов гранита отдыхали от людей. Это были огромные, тяжкие камни. Через три часа придут люди и станут опять кромсать, бить, переваливать с боку на бок, поволокут их куда-то, опустят в глубокие ямы или поднимут на страшную высоту. . .

Всю ночь у забора ходил молодой человек в мешковатом, постылом костюме и думал о камнях, называя их в мыслях «гениальной тяжестью». Он ходил все вокруг да вокруг, и если б не караульные, он перелез бы через забор. Но караульные инвалиды бодрствовали. Как вор, он тайком искал щели, чтобы взглянуть на камни.

В середине ночи его посетило дикое желание. Он мечтал: пусть будут камни его, а не Монферрана, пусть будет площадь его, а не Монферрана. К черту полнощеского француза. Это Базиль, а не Монферран, воздвигает великое здание.

Базиль не сошел с ума, он лишь сильнее, чем прежде, почувствовал вдруг, что ради такого счастья — строить из этих камней — готов пожертвовать многим.

Даже Парижем.

В четыре часа утра за забором на площади зазвонил колокол. Это была побудка. Базиль стоял на набережной Мойки, привалившись к парапету. Он устал, хотел спать, и сигнал на побудку болезненно отозвался во всем его теле. Сигнал неожиданно приравнял Базиля к тем людям, что, кряхтя, поднимались в эту минуту со своих нар в бараках.

Через полчаса колокол зазвонил во второй раз. Это был сигнал к работе. И Базиль послушно встряхнулся, отвалился от парапета, сжал кулаки и пошел — словно бы и впрямь на работу.

Караульный не пропустил его на площадь.

— Контора открывается в восемь, али не знаешь.

Базиль пошел к Неве. Может быть, там, у пристани, где выгружают колонны, он встретит Шихина.

Но в это утро не выгружали колонн. Какое-то судно стояло у пристани, готовясь, как видно, в скором времени отвалить.

По пристани из конца в конец ходил, отдавая приказания, неизвестный Базилю рябой человек.

Базиль решил спросить его.

— Купца Шихина не выдали сегодня?

— И не увижу, — был зловещий ответ.

— А... — заикнулся Базиль.

— Купца Шихина нет в Петербурге, — отрезал рябой человек.

Базиль побледнел.

— Где же он?

— В каменоломне.

— Скажите, это очень далеко?

Вместо того чтобы засмеяться над наивным вопросом, рябой с любопытством взглянул на Базиля. Он, как видно, заинтересовался молодым человеком, которого так встревожила весть об отсутствии купца Шихина.

— На острове близ Фридрихсгама, в Финском заливе, — серьезно ответил рябой и в свою очередь спросил юношу: — Нужно видеть Шихина, что ли?

Базиль от волнения и разочарования готов был заплакать.

— О! Очень нужно, — сказал он, умоляюще смотря на рябого, словно тот не пускал его к Шихину. — А скоро он оттуда вернется?

— Долго. Может, совсем не вернется; — сердито сказал рябой.

— Почему? — Базиль окончательно оробел.

— Там у него брюхом хворают да подышают, так он обещал за компанию и сам издохнуть.

Базиль понял, что незнакомец издевается над ним и над Шихиным, и печально отошел в сторону.

Рябой продолжал мерить шагами пристань и начальнически покрикивать на матросов. Когда все у тех было готово, он перескочил на судно и крикнул Базилью:

— Эй, молодец! Коли соскучился по Архипу, прыгай сюда, так и быть, отвезу. Коли сдохнешь — не жалуйся.

Базиль в пять прыжков очутился на палубе.

По Неве шли на веслах; выйдя в залив, поставили парус. Попутный ветер, как тот попутный ямщик, с которым расстались сегодня ночью, радовал сердце Базилья.

«Дуй, задувай, — восклицал про себя Базиль. — Скорой будем на острове!»

Не замечая, что люди над ним посмеиваются, Базиль вел себя крайне возбужденно: встав у борта на носу, разговаривал сам с собой, размахивал картузом. Переход от отчаяния к радостной уверенности был слишком велик. Скоро он снова почувствовал утомление, лег, где стоял, и тотчас заснул, по-простецки всхрапывая.

На остров пришли через сутки. Большую часть этого времени Базиль проспал.

После сна настроение его все улучшалось, а когда судно вошло в пролив, отделявший остров Питерлак от Фридрихсгамского берега, Базиль уж не мог спокойно стоять на месте.

На пристани стоял Шихин с группой рабочих.

— Гостя тебе привез! — крикнул рябой капитан. — Слышь, Архип Евсейч, гостя привез!

— Милости просим! — весело отвечал Шихин и о усмешкой прищурился на Базилья.

Но Базиль уже не боялся хитрой его улыбки, он доверился Шихину. Шихин должен его выручить. Напряженно улыбаясь, Базиль смотрел на него, не отрывая глаз и не говоря ни слова.

Судно стало у пристани.

Базиль мигом выскочил, и словно бы само собой получилось, что они обнялись с Шихиным и троекратно, по-русски, поцеловались. И Базилью это не показалось в диковинку.

— Вот, приехал, — смущенно сказал Базиль, — поговорить с вами надо бы...

— После поговорим, — сказал Шихин, щурясь на одежду Базилья. — После, милый. Сейчас-то уж мне сильно некогда. Погуляй пока, посмотри на нашу работу. А я во Фридрихсгам денька на два съезжу. Вон, легки на помине, уже подают лодку.

— Вы уезжаете? — испугался Базиль.

— Говорю, ненадолго. Дела, милый. Чего испугался? Раз приехал ко мне, бояться некого, рукой не достанут, вода кругом. Павел Сергеевич-то как поживают?

— Ах, о нём-то как раз... Надо все рассказать вам... Как же? Вы уезжаете?

— Погуляй, погуляй. Через два дня вернусь. Говорю ведь, теперь-то уж обойдется, раз ко мне приехал. Эх напугался. Поссорился, что ли, с Павлом Сергеевичем? Ладно, выручу. Сказал, Шихин выручит — и выручу. Живи себе, ни о чем не тревожься. А сейчас-то уж мне сильно некогда. До свиданьяца.

Ласково улыбаясь, Шихин сел в лодку.

Базиль начинал успокаиваться под влиянием его слов и совсем ободрился, когда тот крикнул какому-то высокочному мужику, стоявшему на берегу рядом с Базилем:

— Максимыч, ты позаботься о молодце. Ночевать положи в моей светелке. Покорми когда следует. Ну, с богом.

Лодка отчалила.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Снова оставшись один, Базиль в первую минуту не знал, что ему делать. Взгляд еще раз остановился на лодке, быстро удалявшейся от острова. Шихин сидел на средней скамеечке, лицом к Базилью, и приветливо махал рукой. Базиль ответил тем же и, кажется, окончательно успокоился.

В последний раз он взглянул на пролив. Вода и небо были прозрачные, утренние. С того берега поднималось солнце. Базилью не было никакого дела до моря, и он решительно повернулся к суше.

На пристани и на судне опустело, все ушли в бараки, расположенные где-то неподалеку. Но что ему было до людей! Перед ним открылись каменоломни, те самые таинственные недра, в которых волшебным, должно быть, способом добывались его монолиты. Вот они — каменные чудовищные стволы: Два из них лежат тут же на при-

стани, на бревенчатом широченном помосте, укрепленном на многочисленных сваях. Сваи были забиты в дно морское.

Дрожа от нетерпения, Базиль кинулся к монолитам. Там, в Петербурге, ему так и не удалось увидеть их близко. Но он понимал, что и здесь ему нужно быть хладнокровнее, нужно усвоить выдержку настоящего строителя, иначе он ничего не рассмотрит как следует. Сдерживая себя, он прошел рядом с колонной по всей длине ее. Оказалось тридцать шагов. Это был не совсем точный счет, потому что шагать приходилось не по ровному месту, а перешагивать через бревна, на которых лежали колонны (и по которым их перекатывали). Толщина монолита превышала рост Базилья с поднятой рукой и равнялась примерно одной сажени. Гранит был грубо обтесан, но тем большее впечатление производил общий вид монолита: как будто не кропотливые человеческие руки трудились над ним, а мощные длани каких-то титанов рубили сплеча.

— Чего смотришь, парень? Какие мы штучки работаем?

Позади Базилья стоял мужиченка в посконных портах и пропотевшей рубахе и скалил зубы.

— Ты на место ступай, погляди, как их откальвают. Так работаем, аж порода стонет. — Мужик хлопнул ладонью по монолиту. — Ишь ведь, идол какой.

«И вправду, каменный идол...» — подумал Базиль.

— А ты, может, сделаешь милость, проведешь меня в ваши каменоломни? — сказал Базиль.

— Так я ж затем и пришел, Максимыч прислал. Пойдем, милачок. Ты что, племянник Архипу-то Евсенчу будешь?

— Племянник, — солгал Базиль, не зная, что сказать о себе.

— Да ты, поди, есть хочешь? Максимыч тоже велел спросить.

— Не хочу, — сказал Базиль и опять солгал: ему хотелось есть, но еще больше хотелось скорее увидеть каменоломни. А забота о нем Максимыча и этого мужика ему очень понравилась.

Они отправились.

— Далеко это?

— Раньше ближе было. Вот где идем, тут и ломали. А теперь, видишь, подчистили наглядко. Теперь уж вон ту скалу колем.

— Как вон эту? Так близко все же?

— Ну, парень, пока от нее допрешь до пристани подола нашего, как раз с пупа сдернешь.

Подле самой скалы лежал отваленный, но еще не обтесанный четырехгранной формы обрубок. Длиной он был более восьми сажень, но один конец его был негодный, с порочной трещиной, и надлежало его обрубить. Странно звучали слова — обтесать, обрубить, словно орудовали так не с камнем огромных размеров и невероятной твердости, а с легким податливым деревом.

Немного поодаль от скалы лежали два монолита, уже начатые отделкой.

— А где же рабочие? — спросил Базиль, вовсе не видя людей в каменоломне.

Мужик снова оскалил зубы.

— Дай хоть позавтракать! Уж и так изморились... Дай два денька вздохнуть без хозяина. Ой, да, забыл я, что ты ведь племянничек ему будешь, — спохватился мужик.

Базиль внутренне побранил себя, зачем его угораздило назваться племянником Шихина, но было уже поздно оправдываться: из бараков валила толпа.

— Сколько их? — изумился Базиль при виде такой толпы.

— Да сотен пять. А вот сочти сам. На отколке вот этого — шестьдесят человек. Дыры бурят для отколки вон этого, что в скале, отсюда не видно, — тридцать человек. До сорока на этих отколотых. Тридцать кузнецов инструменты куют да вострят. Двадцать пять плотников. Шестьдесят черновых там да здесь работают. Ну, да целая сотня плиту добывают от той же скалы. Что от скалы остается — все в ход идет. Ну, счел, сколько?

— Четыреста тридцать, — ответил Базиль.

Эти четыреста тридцать уже явились, с гамом пройдя мимо них, и рассыпались по своим местам.

— Пора и мне, — сказал проводник Базиля, — легкого разговору понемножку.

— Ты тоже работаешь?

— Нет, я в ювелирной лавке брильянтами торгую!

Веселый мужик взобрался на скалу, и в руках его, откуда ни возьмись, очутился длинный бур.

— Ну, так лезь за мной.

Базиль поспешил вскарабкаться.

По боковой части скалы они подошли к месту отколки.



Шестьдесят человек с кувалдами в руках стояли вдоль желобка, высеченного в камне во всю длину будущей колонны. Стояли они — тридцать с одной стороны желоба и тридцать с другой, но не друг против друга, а в шахматном порядке. По дну желоба были пробурены дыры на расстоянии фута одна от другой и, как видно, на большую глубину. Из этих дыр торчали железные клинья.

— Начнем, — сказал крайний.

Все приготовились, крепко ухватив кувалды обеими руками и развернув корпус — откинувшись назад и немного вправо.

— Р-р-раз!

Все кувалды одновременно описали стремительную дугу в воздухе, полную окружность без малого, и ударили по клинью. Каждая просвистала возле самого уха соседнего работника.

— Р-раз!

Кувалды снова ударили.

— Р-раз! Да-а — р-раз! Да-а — р-раз!

Кувалды зачастили, но, ускоряя удары, никто не сбивался со счета, все ударяли по команде. Все шестьдесят человек представляли единую машину.

«Неужели же целый день так?» — подумал Базиль с загоревшимися глазами при виде такого совершенного инструмента в сто двадцать рук.

— Так часиков с четырех утра до девяти вечера как на музыке играют, — сказал над самым ухом Базиль знакомый голос. — Иной к вечеру так наиграется, что уж бьет, как во сне. Махать — махает, а куда махает — и сам не знает. Как сознание ему вскружит, он — раз! и махнет по чужой башке... Всяко бывает. Ну, пойдем, теперь на мою работу взглянешь. Наша работа не такая согласная, больше вразброд.

Позади откалываемой колонны, на той же скале, подготавливали отколку другой колонны: бурили отверстия, в которые потом будут вгоняться клинья. Это была еще более затяжная работа: нужно пробурить дыры саженной глубины, как раз до подслойка в породе. Держа в левой руке бур, его немного повертывали в ладони, перед тем как ударить по нему киянкой (киянка — молот более легкий, чем кувалда, раз в пять легче). Били действительно вразброд, как кому удобнее, каждый сам по себе: здесь не нужен был общий расклинивающий порода удар.

Не желая обидеть своего провожатого, Базиль минут десять постоял, посмотрел, как работают он и его товарищи, но это было менее интересно, чем смотреть на отколку, и Базиль снова вернулся туда, чтобы еще хоть немного полюбоваться на согласные взмахи полупудовых кувалд.

Базиль разглядел новую подробность: клинья не просто забивались в дыры, а вставлялись меж железных закладок. Это увеличивало расклинивающую силу.

Когда рабоче минуть на пять прекратили работу, чтобы отдышаться и покурить, Базиль спросил крайнего, скоро ли появится трещина.

Рабочий пробурчал что-то, свертывая сигарку. Базиль его не понял. Другой ответил резко:

— Когда мы треснем, тогда и она треснет.

Кто-то засмеялся, кто-то звонко сплунул. Базиль почувствовал, что здесь не расположены к беседе. Порешив осмотреть все в одиночку, он слез со скалы и пошел к группе, занятой обтескою монолитов. Это было сложнейшее дело, он станет осматривать его долго. Покончив с ним, он перейдет к кузнице. Покончив с кузницей...

Базиль улыбнулся своей деловитости. Может же он хоть немного отдохнуть от такого сухого, чинного распорядка, назначенного им самим. Может же он хоть немного помечтать. «Люди должны служить исполнительными механизмами: шестьдесят человек — сто двадцать рук — ударяют одновременно кувалдами. Так с утра до вечера. Искусство не ждет. Искусство должно создавать великие памятники».

— Слушай, я тебя обманул...

Базиль оглянулся с досадой. Это был опять тот бурльщик, он запыхался, спеша к Базилю, рубаха его прилипла к телу.

— Я тебя обманул... — повторял он с комичной тревогой. — Я сказал, что целая сотня будет сегодня на околке плиты, так я тебя обманул, парень... Я забыл, что она сегодня на перекате... И все черновые с ней... Гляди вон на пристань. Видишь?

Базиль устремил взгляд на пристань. Покоившиеся на ней монолиты окружала толпа. Через пристань на судно тянулись канаты. Значит, там перекатывают монолиты на судно. Вот куда надо бежать Базилю. Он так хотел видеть это вблизи... Колонны, по восьми тысяч пудов каждая, перекатят на палубу плоскодонного судна, как

бревна... Это уже само по себе искусство. Какое счастье, что это случится при нем!

Медленно, точно оттягивая удовольствие, Базиль двинулся с места.

— А там сейчас одного задавило, — тихо сказал бурльщик, — царство ему небесное. Сходи погляди, молодому все интересно.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Прошло два дня.

Базиль успел окончательно утвердиться в мысли, что искусство требует жертв, как и сама жизнь. Ему было жалко беднягу, лежавшего с раздавленной грудью в своей пропотевшей, как у всех у них, рубахе. «Но кто сказал, что поступь искусства легка? — думал Базиль. — Архитектура для своего воплощения нуждается в тяжести материала. Требуется камень, а камень давит людей».

Через два дня вернулся Шихин. Базиль не успел сказать ему и двух слов: Шихин, лишь только приехав, принялся с лихорадочной спешкой готовиться к приему важных гостей. В самое ближайшее время, может быть завтра, на остров должен прибыть господин главный архитектор в почетной компании с прусским генералом, пожелавшим взглянуть на редкое зрелище.

Кроме того, что нужно было все приготовить к ревизии, Шихин хотел поразить гостей неожиданным эффектом: откалываемый монолит должен был отвалиться от скалы в присутствии гостей — ни раньше, ни позже! А для того надлежало расширить трещину возможно больше, но до известного предела.

Базиль был посвящен в приготовления. Он волновался, сомневаясь в успехе затеи, не зная, как можно предугадать разлом.

Впрочем, не желая встречаться с Монферраном, он не собирался присутствовать при торжестве. Он все еще был в обиде, а по правде сказать, и завидовал, его брала досада, что Монферран живет в созданной им самим для себя титанической эпохе, о которой мечтал Базиль. Этот человек заставляет многие сотни и тысячи рабочих людей ломать и ворочать каменные горы для удовлетворения своей честолюбивой фантазии. Базиль был уверен, что полнощекый француз обуреваем манией величия.

По приезде Шихина работа шла почти круглые сутки, с трехчасовым перерывом на самое темное время белой финской ночи. Наутро всех здешних рабочих перевели во вторую каменоломню, расположенную на дальней оконечности острова: там они станут продолжать работать, там сегодня менее ответственный участок, а сюда перевели оттуда свежие силы, попросту говоря — выспавшихся людей.

Было все приготовлено к разлому: клинья забиты как только возможно глубоко; меж клиньев, в ту же щель, вставлены длинные прочные рычаги, к рычагам прикреплены канаты, тянущиеся к шпилям. В решительный момент шпили начнут действовать — их с силой завертят люди, — канаты натянутся, рычаги напрягутся, кувалды ударят по клиньям в последний раз, порода застонет — и расколется.

Монферран прибыл в десять часов утра на пароходе, принадлежащем Берду. Мистер Чарлз Берд, выходец из Англии, был владельцем большого механического и литейного завода в Петербурге и основателем первого пароходства на Неве. Первый пароход его представлял пока диковинку для Петербурга, но этим же летом комиссия по построению Исаакиевского собора наняла у Берда другой его, новый небольшой пароход для буксирования барж с колоннами.

Мистер Берд с супругой и дочерьми, Монферран с женой, приближенными и строительными помощниками и прусский генерал со свитой вышли на берег, представляя в своем лице три нации, а также три отрасли современного производства: металлическую промышленность, строительное искусство и военное дело. Жена и две дочери мистера Берда являли со своей стороны румяные образцы шотландского здоровья.

Впрочем, Базиль не разглядывал все это важное шествие, он ушел в глубь острова, хотя ему было и жаль лишать себя предстоящего зрелища.

Базиль вернулся после полудня, предполагая, что все уже кончено. Действительно, все увенчалось полным успехом. Узкий и длинный обломок скалы, обещавший со временем превратиться в колонну Исаакиевского портика, уже лежал, отваленный на заранее подsunутые бревна. По этим бревнам его перекачат люди куда захотят.

Базиль изменил своему прежнему намерению и подошел к высокопоставленной группе. Он стал, с таким рас-

четом примостившись у скалы, чтобы ему было слышно и видно, а его бы не видели. Этак вышло, пожалуй, еще оскорбительнее для его гордости — он будто подслушивал и подглядывал, но почему-то об этом Базиль не подумал.

Беседа заканчивалась, общее восхищение было выражено всеми способами, какне только допускает светское приличие, и Монферран пожелал сказать в заключение:

— В древности для расколки камня применяли силу небольшого, но непременно расширения деревянных клиньев, обливаемых кипятком. Эти деревянные клинья были вбиты в отверстия, продолбленные в камне. Но я, — Монферран победоносно огляделся, интересничая перед дамами, — я предпочел этому испытанному, но крайне медленному средству физическую силу русского работника, природной сметливости, ловкости и разумному покорству которого я неоднократно отдавал должное.

Монферран еще раз победоносно поглядел туда и сюда и взбил петушинный кок.

Дамы и мужчины захлопали в ладоши. Прусский генерал, натянуто улыбаясь, несколько раз приложил одну к другой свои белоснежные перчатки, в которых, казалось, не было рук, настолько вялы и безжизненны были их движения.

В это время рабочие закричали «ура». Шихин удачно распорядился, догадавшись, что Монферран хвалил себя и попутно — русских рабочих.

Осмотрев в течение дня остальные работы, гости уехали к вечеру. Перед самым их отъездом специально для дам был устроен — под видом технического взрыва в каменоломне — фейерверк. Дам уверили, что каждый технический взрыв непременно сопровождается у них на острове блестящим фейерверком, и нарочно повели посмотреть на последствия якобы взрыва — на заранее разбросанные в каменоломне гранитные обломки.

Дамам понравилась веселая работа в каменоломнях.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Тотчас же после отъезда гостей Шихин подошел к Базилю и очень серьезно, даже с нахмуренными бровями, сказал:

— Хвалю, что не торчал перед глазами Монферрана,

Пока еще рановато. А потом, может, сам попрошу возле него тереться.

— Разве он... — начал было Базиль.

— Знаю, что хочешь сказать. О службе у него. Так я тебе скажу: об этом и не мечтай. Монферран получил все надлежащие сведения о тебе, так что не захочет взять. Знает, что с тобой из-за помещика хлопот не оберешься. Да и без того бы не взял, заносчив он, брат.

— Я это знаю, — отвечал Базиль с деланным спокойствием.

— И хорошо, коли знаешь. А знаешь, так зачем ушел от Павла Сергеевича? Он ведь не прежний, приструнит тебя за побег. Бежал от него — на что надеялся?

Допрашивая, он прозительно из-под рыжих бровей смотрел на Базиля.

Не устрасаясь его глаз, Базиль нашел в себе смелость прямо ответить:

— На вас надеялся.

Лицо Шихина сразу поубавилось.

— Молодец, так и надо было ответить. Значит, поверил в мою заруку. Ну, раз уж ты такой молодец, так хочешь, молодец, у меня служить?

Шихин почти выкрикнул последнюю фразу.

Предложение не было уж столь неожиданным, и Базиль не затруднился ответить.

— Да, — сказал он, — хочу. Но... — он захотел сразу все выяснить, — вы скажите, во-первых, в качестве кого мне служить, во-вторых, как вам удастся выручить меня от Павла Сергеевича?

Шихин посмеивался, очевидно несколько удивленный решительностью ответа Базиля и деловитостью его вопросов.

— Ну-ну, молодец. Прежде скажу, как выручу, о другом-то дальше разговор будет. Очень просто выручу. Выкуплю, да и все тут.

— Что?! — Базиль не поверил ушам, да и возможно ли было поверить в такое счастье!

— И все тут, — подтвердил купец, похлопав себя по карману. — Мое почтение, за любезные денежки.

Базиль в радости не знал, что сказать.

— Вдруг не отпустит...

— Отпустит. У меня с ним свои дела. Да ему и надоело уж с тобой возиться, видит, что толку мало, а теперь уж и вовсе. Метода его для тебя самая неподходящая.

— Но как мне благодарить вас? — восторженно перебил Базиль, хватая Шихина за руку.

— Сочтемся. Ты послушай, что я тебе предложу, может, и служить не захочешь, завтра же поворотись с повинной к Павлу Сергеевичу...

— Никогда!

— погоди, погоди. Вот я вижу, на тебе одёжа приказчицы. У меня ты, смотри, тоже приказчиком будешь, не думай, что больше. Из приказчиков, значит, в приказчики.

— Я знаю, — тихо сказал Базиль.

— Хорошо, что знаешь. А это ты знаешь, что я тебя заставить делать?

На лице Базиля выразилось недоумение.

— Я тебя разыскивать заставлю. Вы-ски-вать, — с расстановкой повторил купец, вглядываясь в лицо Базиля.

— Вы-ски-вать? — Базиль уже догадался.

— Оно самое. Максимыч, приказчик мой, слаб, мало разыскивает. Потому как не ради дела, а ради денег служит, не за совесть старается. А на тебя я надеюсь, я тебя давно присмотрел, с первого раза. Ты ради дела, за совесть будешь служить, потому что ты молодой и увлеченный... Людей не будешь жалеть, а уж искусству своему послужишь. Так ли?

— Послужу, — покорно отозвался Базиль.

— Согласен?

— Согласен.

— По рукам, стало быть. А в свободное время проекты свои рисуй, не запрещаю. Даже сам пойду хлопотать, если путные будут. Меня везде уважают. А теперь вот что скажи мне... — Шихин сменил торжественный тон на секретный, доверительный. — Чего Монферран говорил напоследок? К месту ли я велел «ура» кричать?

Базиль перевел с французского почти дословно последние слова Монферрана. Шихину очень понравился конец фразы, и он попросил повторить. Базиль повторил. Эти слова ему самому понравились и запомнились:

«Испытанному, но медленному средству я предпочел физическую силу русского работника, природной сметливости, ловкости и разумному покорству которого отдаю должное».

Купец закрутил свою бороду с видом крайнего восхищения.

— Вот человек. Учись у него, Васёк.

И опять доверительным тоном Шихин сказал Базилю, во второй раз называя его непривычным именем:

— Вот видишь, Васёк... Ты мне этим еще пригодишься — по-французски знаешь. Я это тоже ведь рассчитал, когда о тебе думал. Ладно, догадался я, когда надо «ура» кричать, точно меня осенило, а ведь мог маху дать. В другой раз ты слушай, о чем они толкуют, да мне и говори потихоньку. И будет у меня собственный переводчик. В Питере это ой как нам пригодится. Всю конкуренцию вокруг пальца обведу. Ну, пойдем спать, пора.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Базиль целое лето прожил на острове Питерлаке, помогая Шихину, в отсутствие замещая его, усердно исполняя все поручения, и ни разу ему не пришло в голову спросить Шихина о тех обстоятельствах, при которых началась перестройка собора. Правда, кое-чего Шихин не знал сам, но все же о многом мог рассказать, потому что был умен, сообразителен, смел в догадках и, в противоположность Базилю, всем интересовался. Чужая во всем возможность выгоды, он подкупал чиновников, чтобы проникнуть в казенные тайны. Наибольшая полнота осведомленности — таков был девиз Шихина. Не беда, что многие сведения лежали в его памяти мертвым, как бы ненужным грузом; если сами они не приносили явной выгоды, все же они научали его разбираться в людях, событиях, знать что к чему, увеличивали житейский опыт.

Шихин мог рассказать интересную и скандальную историю начальной поры перестройки собора.

От своего родственника, церковного старосты купца Игнатия Горбунова, Архип Шихин знал все подробности ссор двух причтов.

Если бы Базилю привелось узнать о такой кровной заинтересованности соборного духовенства в свечных и кошелековых доходах, то он произнес бы любимое и прерзительное словцо прежнего Павла Сергеевича:

— Меркантильные интересы!

И ни в чем бы не разочаровался, даже в голову бы ему не пришло, что услышанные подробности могут находиться в какой-то связи с самой идеей постройки его здания.

Действительно, Базилю почти удалось убедить себя в том, что строится его здание, по проекту его, Базиля, а не какого-то Монферрана, которого он и знать не хочет.



Впрочем, иной раз он рассуждал довольно здраво. Стоя на берегу, он говорил себе: «Теперь я добываю колонны для чужого сооружения, это нужно признать. Когда мне понадобятся колонны для своего, тогда уж я не смогу заняться только этой работой, потому что главный архитектор должен быть занят общим руководством и не может уделять отдельным работам много времени. Надо пользоваться случаем! Представим себе, что я заготовляю сейчас монолиты впрок — для своих будущих сооружений. А они несомненно будут: я так молод еще и в своей жизни успею построить что захочу... Пока же — стану жить в моем каменном мире».

— Меньше думай, а больше делай, — сказал однажды Шихин, незаметно подойдя сзади. — Знай, что я тобою доволен, но был бы доволен и того пуще, ежели бы ты меньше думал, да больше делал. На-ка, прочти вот бумагу.

Базиль принял из рук Шихина договор, в котором шихинским ногтем был отчеркнут второй пункт:

«Поставленным на сем основании рабочим людям работать в продолжении всего года ежедневно, не исключая и праздничных дней, кроме воскресных, с утра до вечера, столько, сколько в каждое время года действительно возможно будет, и состоять во всем, что до работы относится, в совершенном повиновении и послушании».

— Ну и что? — сказал Базиль, прочитав отчеркнутый пункт. — Я это раньше читал.

— Ну и то, — сказал Шихин, — прочитай вот теперь мой рапорт.

В руках Базиля очутилась другая бумага, написанная, не без щегольства, самим Шихиным.

В комиссию, составленную по Высочайшей воле, для окончательной перестройки Исаакиевского собора

*От Санкт-Петербургского купца  
Архипа Шихина*

## Р а п о р т

На предложение оной комиссии от 31-го минувшего июля за № 180, последовавшее по поводу желательного изменения пункта 2-го нашего договора с комиссией, честь имею донести следующее. Ежели комиссии будет угодно, то мое решение таково, что каменотесцы и в воскресные дни должны на работу выходить безотговорочно, но только с тем, чтобы за каждый воскресный день, в ко-

торый происходит работа, комиссия должна производить мне плату за рабочих людей вдвое против обыкновенной.

Купец Архип Шихин.

*Сентября 7 дня 1826 года.*

Базиль прочел рапорт и молча отдал его купцу.

— Ну? — сказал тот и самодовольно усмехнулся: — Ловко написано?

— Ловко, — подтвердил Базиль без особого восхищения.

— Мне чужих грамотеев не для чего нанимать, — продолжал Шихин с тем же самодовольством. — Слышишь? Не для чего!

Базиль с опаской поглядел на рапорт и вдруг обмолвился резким словом:

— Это же несправедливости!

Шихин нахмурился.

— Ишь, выскочил! А и только себе хуже сделал, больше-то никому не повредил, не помог. Я хотел тебя в Питер с этой бумагой послать, а теперь не пошлю.

— Не пошлешь? — опять вырвалось у Базилия.

Шихин язвительно усмехнулся.

— Не пошлю. Думаешь, заявленьице в нужник брошу? Нет, брат, сам отвезу. Слышишь? А ты здесь останешься. Тебе весело будет здесь... заранее говорю.

Базиль все еще не понимал, чего от него хочет Шихин. Тот продолжал дразнить, не договаривая до конца. Потом, вдоволь натешившись, Шихин сказал очень серьезно:

— Все, что прикажу тебе, исполнять обещался?

— Да, — Базиль совсем присмирел.

— Какой завтра день?

— Воскресенье, — Базиль начал смутно догадываться.

— Так вот, я приказываю тебе вывести завтра всех на работу.

Базиль растерялся.

— Как? Я их должен заставить? ..

— Сумей. Остаешься один, я сейчас уезжаю. Чтобы завтра в обычное время работали все. До свиданья.

Шихин ушел в помещение; оттуда он спустится на берег к лодкам и кликнет двоих рабочих. На лодке он доберется до Фридрихсгама, из Фридрихсгама с попутным судном отправится в Петербург.

Базиль остался стоять, как стоял. Такое поручение его удручало. Но он уж не знал теперь, чем удручало оно — несправедливостью или тем, что его трудно выполнить?

Базиль стоял в каменной лощине. Солнце уже село; рабочие, поужинав, ложились спать в своих бараках. Вокруг Базиля, стоявшего в одиночестве, был его каменный мир.

В первый раз этот огромный гранит, цвета запекшейся крови, показался Базилю страшным. Вокруг были темные впадины, ямы, пещеры. Днем они жили, там работали люди. Сейчас они были мертвы, как могилы.

— И чего ты, Василий Иванович, тут поделываешь? Неужто за малой нуждой сюда из дому вылез?

То был веселый голос бурильщика, первого знакомого Базиля на острове. Несмотря на то что Базилю не раз приходилось его штрафовать (бурильщик подчас был рассеян, терял инструменты), он оставался, как в первый день, расположен к Базилю, не помня зла, был всегда добродушен и весел. Веселость была присуща его походке, его разговору; улыбка не сходила с его лица.

Базиль с болью подумал сейчас, как он станет завтра приказывать этому человеку работать, когда неугомонные ноги того хотят завтра плясать... Он готовит уже балалайку и новые лапти, он предвкушает радость: завтра он будет плясать, сам себе подыгрывая...

Странно звали его — дядя Корень (имя его было Корней). Эта кличка не подходила к его подвижности, к оторванности его от земли. Какой же он корень?

Базиль хмуро спросил, сопротивляясь жалости:

— А ты зачем сюда? Почему не спишь?

— Спать пусть Ванька спит, — был ответ, — а я погуляю лучше. Архип Евсеич прислал. Уезжает, хочет с тобой видеться.

— Я не пойду, — сердито сказал Базиль. — А ты иди себе, не мешай.

— Чего не мешай-то? Чего у тебя такое в котелке варится?

— Пошел! — закричал Базиль со слезами в голосе. — Пошел, спи!

Дядя Корень неодобрительно покачал головой, однако послушался и убежал, притопывая лаптями.

Базиль снова остался один со своими мыслями. К ним прибавился еще стыд за грубое обращение с дядей Кор-

нем, не помнящим зла. Базиль не хотел признаться себе, что у него всегда было особое чувство к Корню, какое-то родственное, чуть не сыновнее, напоминающее то братское чувство, какое он испытал, расставшись со своим ямщиком Мишей.

Базиль сел на камень, у самой стенки расщелины, привалился и не заметил, как задремал. Заснул, как наказанный мальчик.

Когда он пробудился, была ночь. Звездное небо, шум моря, голоса ночных птиц, свежесть воздуха — все было так не похоже на бледные сумерки, что до сна окружали Базиля.

Базиль пробудился значительно ободренный. Он увидел во сне, что Шихин еще раз пришел к нему и сказал лукаво:

«Искусство забыл? Не хочешь ему послужить?..» На это будто Базиль сказал: «Хочу, но как?..» Шихин улыбнулся еще лукавее, чем наяву, и шепнул на ухо: «Посули им чего-нибудь райского. Что для них и самого рая лучше и бога дороже...»

Окончательно пробудившись, Базиль вдруг вспомнил: Шихин однажды и наяву, в разговоре с ним, употребил то же самое выражение. Неужели прибегнуть к такому средству?

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В четыре часа утра Базиль приказал бить побудку.

В мутный сентябрьский предрассветный час неистово зазвонил колокол. Люди высыпали из бараков как были, полуодетые, заспанные, не понимая, зачем будят в праздник. Их было около тысячи. Половину нужно отправить немедленно в северную каменоломню, половину оставить в южной.

Став на крыльце шихинской светелки, Базиль в растерянности смотрел на великое полчище, галдевшее подле бараков. Он рассчитывал заговорить, как только они немного утихнут. В первый момент он самым настоящим образом струсил: он не различал в толпе ни одного знакомого лица, он боялся всех. Но если бы он и увидел в толпе хоть того же, например, дядю Корня, то не испытал бы сейчас стыдливой неловкости перед ним и давно не испытал бы жалости. Базиль чувствовал, что толпа зара-

нее настроена против того, что он ей сообщит. Он ощущал себя отчужденным и потому сам был настроен враждебно. Неестественно было лишь то, что он терпеливо ждал, когда люди утихнут и приготовятся слушать его, а люди всё продолжали шуметь. Шум был нечленораздельный, казалось ему.

«Как я им скажу, — с отчаянием думал Базиль, — когда они не хотят меня слушать?»

Он не понимал, что люди шумели как раз оттого, что он не приступал к делу, не объявлял, зачем их подняли. Люди требовали, чтобы он говорил, а он не различал в общем шуме ни одного человеческого слова, он был занят только собой и своим волнением. Шум все усиливался, и Базиль, отчаявшись наконец, как-то непроизвольно, по-детски открыл рот. В ту же секунду шум стих (так зорко они следили за Базилем).

Изумившись, Базиль шагнул вперед, к самому краю крыльца. Его встретила полная тишина. Несмотря на свою растерянность, Базиль все же не упустил возможности заговорить.

— Братцы! — сказал он как можно громче и затем во всеуслышание провозгласил все, что требовалось.

Договаривал он уже торопливо, почти механически, и с облегчением думал: «Как хорошо, что они молчат! Значит, приняли с покорностью...»

Базиль хотел было еще сказать очень бодро: «Что ж, по местам, за работу, братцы!», как вдруг передний ряд зашевелился — все так же молча — и пропустил на площадку перед крыльцом дядю Корня. На ногах дяди Корня были новые лапти, в одной руке он держал балалайку за гриф. Балалайка блестела, лапти поскрипывали.

Дядя Корень подошел к крыльцу, неспешно поднялся на две ступеньки и скромно подал Базилю свою драгоценную балалайку.

— На, позабавься, парень, а мы поработаем в свое удовольствие, — сказал дядя Корень обычным своим шутовским голосом. Лицо у него было тоже обычное, в веселых морщинках.

Базиль улыбнулся и доверчиво протянул руку за балалайкой, желая поддержать шутку. В ту же секунду он ясно увидел, как незнакомо перекопилось лицо дяди Корня: веселые морщинки слились в одну злобную, дядя Корень взмахнул балалайкой... Базиль отдернул руку, но было уже поздно: ладонь постыдно горела. Шутка

Корня на этот раз была злой. Да и вряд ли шутил дядя Корень: он стоял перед Базилем, дрожа от желанья еще раз ударить.

— Чтобы я, — бормотал дядя Корень, — чтобы мы сегодня... Вот я тебе, паскудыш!

Толпа между тем уж опять редела в один трубный голос, и трудно было понять — хохот это или гнев. Все равно, Базиль чувствовал, что то и другое направлено на его голову. Он чувствовал также, что сам смелеет и проникается злым желанием покорить толпу. И, словно обрадовавшись подоспевшей решимости, поторопился запальчиво крикнуть (скорее взвизгнул, чем крикнул):

— *Se taige!* — что означало по-русски: молчать!

Но никто не обратил внимания на смешную французскую его запальчивость. Тогда Базиль сошел с крыльца, подошел к дяде Корню, кричавшему в первых рядах, и молча вытянул его за плечо из толпы. Дядя Корень позволил увести себя в хозяйскую светелку, а там Базиль объявил ему:

— Можешь сказать всем, что Шихин выкатит бочку вина за то, что станете работать в праздник. Иди и скажи. А теперь уходи, пожалуйста... — добавил Базиль плачущим голосом и сел на лавку.

У него разрывалась голова от боли, от насильственных слов и мыслей. Он не смотрел на Корня и ждал только, скоро ли тот уйдет. Он знал, что теперь может быть «спокоен», рабочие поймут, здраво рассудят, что их и так, и без бочки, не сегодня, так в следующее воскресенье заставили бы работать, ну а бочка все-таки подсластит им оброк.

Это и было райское средство.

Дядя Корень переступил с ноги на ногу и сказал тихо и уж опять шутивно:

— На, парень, побереги ее, махонькую.

— Положи тут на стол, после работы возьмешь, — ответил Базиль не оборачиваясь.

Как-то особенно кротко улыбаясь, дядя Корень положил на край стола заветную свою музыку. Базиль уронил голову рядом с ней и закрыл глаза. Все так же жалостно улыбаясь, дядя Корень осторожно погладил красивые волосы Базиля и проговорил мягко:

— Слаб ты, парень. Да и я, знаешь, слаб. Ну, да Шихин нас с тобой выучит. И ты будешь без жалости, и я когда-нибудь буром тебя зашибу.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Стоит только начать. Стоило только Базиллю один раз потрафить купцу, как дальше пошло все своим чередом. Шихин давал поручения, Базиль исполнял. Шихин оставался доволен, хвалил, поощрял. Его поощрения; в сущности, походили на поощрения Павла Сергеевича, разница заключалась лишь в том, что Павел Сергеевич манерно подчеркивал: «Видишь, мой друг, как я откровенен с тобой, замечай и считай поощрением». Шихин тоже был откровенен, в награду за послушание посвящал Базиллю в свои коммерческие секреты, но у него это выходило проще, естественнее, как-то сердечнее.

Базиллю пока не приходилось жалеть о потерянном аглицком рае. Условия жизни на острове были бы очень трудны всякому, не увлеченному манией двигать горы для искусства, — Базиллю же было все нипочем. Летом обильные ночные туманы с моря, сажающиеся на камень, осень, воющая среди развороченных скал, люта́я зима... Но тем более нипочем ему были чужие беды, он к ним привык. Что ему ревматические боли, от которых стонали рабочие по ночам в своих дощатых бараках! Что грыжи от непосильных тяжестей, трясучие лихорадки!

Зимой люди отмораживали себе пальцы рук и ног, ничем не залеченные суставы пожирал антонов огонь, и люди умирали от заражения крови. Зато в морозы отлично раскалывался гранит. Это делалось так: в подготовленные днем небольшие трещины наливали воду, ночью мороз делал свое дело, и к утру скалу разрывало. Базиль вскакивал рано утром с постели в своей теплой светелке, набрасывал на себя подаренный Шихиным полушубок и резво бежал посмотреть на расколотую скалу. Так мальчик, едва стряхнув сон, бежит взглянуть на подмерзшую за ночь ледянку для катанья с горы, сколоченную им накануне.

Шихин наблюдал за ним в эти белые зимние дни с особенным удовольствием и не скрывал, что доволен. Длинная, узкая рыжая борода купца ярче обычного пылала на фоне снега. Купец улыбался как можно ласковее и говорил:

— Бегаешь — и о Париже небось забыл? Ладно, будет тебе и Париж на закуску, знай бегай. Не пожалей своего кармана, отправлю доучиться, авось будешь знаменитым архитектором, так и мою старость успокоишь. Повезло тебе, Васёк! Челищев не усыновил, так Шихин

сам навязался отцом быть под нищую свою старость. . .  
Кроме шуток, Васёк, на меня крепко надейся.

— Крепче, чем на каменную гору? — шутил Базиль, в то время как сердце его прыгало от радости.

Шихин отвечал самым серьезным тоном:

— Каменные горы на части дробим, а уж мое слово нерушимо.

В свою очередь Шихин доверял Базилью. Он все реже и реже теперь наезжал на остров, устраивал свои городские дела в Петербурге, поручив Базилью вести островные дела.

Так, в заботах по каменоломне, прошла для Базилья вима 1826—1827 года. Весна была ранняя, море скоро очистилось от льда, снова пришла пора отправлять заготовленные зимой колонны в Питер. Пристань отремонтировали, колонны накатали на пристань, ждали только прибытия судов, чтобы начать погрузку.

Суда прибыли 26 апреля. С ними явился и Шихин. Базиль не видел его целый месяц, не раз замечал, что скучает подчас без него, но теперь, когда Шихин приехал, Базиль почувствовал, что причина скуки в чем-то другом. Он сказал о том Шихину, и умный купец догадался, что Базиль бессознательно тоскует по городу, по изяществу улиц, людей, легких весенних деревьев, да мало ли еще о чем.

— В Париж далеко ехать, сейчас не пущу, а в Питер съезди, проветришь, — мудро решил купец. — Советую погулять. Деньжат тебе дам, приподенсья. Главное — по-французски болтай в кондитерских, больше болтай, а то здесь разучишьсья. Знай гуляй две недели.

— Заходить ли мне в канцелярию к Монферрану? — спросил Базиль.

— А чего ты там не видал? По Исакию Исакичу соскучился? Так с ним на квартире можешь наговориться, у него ведь, чай, остановишьсья.

Через три дня Базиль был в Петербурге.

— Здравствуйте, молодой человек, — серьезно приветствовала его Исакий Исакиевич. Он был все такой же на вид, неоригинальный и положительный. — Как поживает уважаемый господин Челлищев? — спросил он как ни в чем не бывало.

Базиль было сперва подумал, что чиновник действительно ничего не знает о перемене в его судьбе, но, взглянув на мертвенно-чистый лоб Исакия Исакиевича, Базиль все же как-то сумел догадаться, что тот ломает ко-



медню с тайной целью сбить его с толку. В самом деле. Исакий Исакиевич тотчас же добавил, с тем же равнодушным лицом:

— Впрочем, — сказал Исакий Исакиевич, — я видел господина Челищева после того, как вы с ним расстались. Он приказал вам кланяться и пожелать наивысших успехов на вашем новом поприще.

Базиль молча поклонился в ответ. Он был взволнован. Исакий Исакиевич испытующе поглядел на него с полминуты, а затем поднес руку к застывшему своему лбу.

— Да что я, — сказал Исакий Исакиевич все так же неспешно, — запомнил, что господин Челищев как раз теперь в Петербурге и обещался зайти ко мне по некоторым делам. Вот вам удобный случай увидаться с вашим покровителем. Он, кажется, намеревался пробыть в Петербурге около двух недель и высказывал живейшее желание, чтобы Архип Евсеевич отпустил вас на это время из каменоломен, предполагая всенепременно встретиться с вами здесь. Он к вам по-прежнему хорошо относится. В столицу он наезжает нынче довольно часто.

В тот же день Базиль выехал из Петербурга. Он был так напуган, что сотню раз во время своего бегства давал зарок — отныне в Петербург ни ногой без Шихина!

— Нагулялся? — встретил его Архип Шихин, как будто Базиль вернулся, действительно нагулявшись вволю.

— Вот чудачок! — сказал Шихин после того, как выслушал взволнованный рассказ Базилья о возможной встрече с меценатом. — Вот чудачок! Чего ж тебе бояться? У меня с ним свои дела. Мы сочлись за тебя, будь спокоен.

Про себя Шихин радовался своей хитрости и исполнительности Исакия Исакиевича: теперь Базиль был еще прочнее прикреплен к острову Питерлаку близ Фридрихсгама.

— Ну, так как, Васёк, успокоился? — спросил купец через день. — Еще не поздно вернуться в Питер, твой отпуск не кончился.

Базиль с сомнением покачал головой. Шихин усмехнулся.

— Не хочешь гулять — значит, давай дело делать. Довольно поел пирожков в кондитерских!

И Шихин шутливо хлестнул бородой по плечу Базилья.

В Петербург ни ногой без Шихина. . . Базиль исполнил этот зарок. Лето 1827 года он прожил безвыездно на острове Питерлаке.

Работы по добыванию монолитов были закончены к октябрю, и последние две колонны — сорок седьмая и сорок восьмая по счету — отправлены в Петербург 4 октября. Базиль ждал, что будет дальше, не оставит же его Шихин на обычных работах в каменоломне.

— Шлифовать поедем, — сказал ему Шихин. — В Петербурге жить станешь. В своем доме тебя поседю. Живи да радуйся.

Базиль успокоился. Остров ему надоел. Его манил Петербург.

— У меня-то разъездов много, — сказал Шихин уже в Петербурге, — мне сильно некогда самому смотреть за шлифовкой. Вот тебя и приставлю к ней. Здесь полегче тебе будет. Даже много легче. А к чему это я говорю? К тому, что должен ты, значит, стараться больше.

Последние слова запали Базилю в голову. Они снова вызвали мысли о справедливости, что не раз посещали Базилья на острове. Кому легче работать, тот должен больше стараться. . .

В огромных сараях на площади начисто обтесывали колонны, шлифовали, полировали их. Когда-то, еще в первые дни на острове, Базиль удивлялся: как это люди умеют все делать? Нигде не учились, никто не руководит их работой, и все делают сами. Каменотесы, не знающие не только что геометрии, но часто простой грамоты, искуснейшим образом превращают обломок гранитной скалы в безукоризненной формы цилиндр саженного диаметра. . . Потом Базиль перестал удивляться. Он увидел собственными глазами, что наука каменотеса передавалась из рода в род, от отца к сыну, от старшего к младшему, от опытного к новичку. Он не понял только одного, что и старшие и младшие, и опытные и новички были очень способные люди, зачастую талантливые, быть может талантливее самого Базилья. Они не только передавали и перенимали опыт, они совершенствовали его, придумывали новые, лучшие способы, ухищрялись подлинно из любви к искусству, — у них были золотые руки, светлые головы. Базиль не понимал, что многие из них незаурядны настолько, что могли б заткнуть его за пояс и в художестве. Базиль верил, что настоящий талант

создан для того, чтобы жить в прекрасной (даже изысканной) жизненной оболочке, в холе, в заботе окружающих. А эти люди обречены навсегда жить в бараках, работать, скотски надрываясь, потому что они не избранники, не таланты, а рядовые рабочие люди, хотя и старательные. Талант, думал Базиль, рано или поздно выбьется к прекрасному будущему и станет блистателем и почитаем. Для людей одного и того же сословия могут быть две разные доли: одна для избранных, одаренных, другая — для прочих: Базилю суждена первая доля, он будет блистателем и почитаем, когда пройдет ряд черновых производственных испытаний, закончит учение и станет наконец не только служить искусству, но и творить искусство.

Правда, в последние месяцы на Питерлаке Базиль часто хандрил — слишком уж долго тянулось первое его испытание. Базиль перестал ощущать связь того, что он делает в каменоломне, с большим миром.

К циклопическим размерам своих монолитов Базиль тоже привык за эти годы. Все стало ему казаться обыкновенным, однообразным, будничным, самая дикость природной островной обстановки как-то потускнела. Начал Базиль замечать погоду: в солнечные дни настроение улучшалось, в ненастье — портилось иногда настолько, что хотелось спать без просыпу. Стойкость и преданность искусству сдали. «Уж не миф ли весь этот грандиоз, для которого здесь так трудятся?» — восклицал Базиль иной раз со злостью. Еще немного, и он возроптал бы. Но тут подоспел переезд в столицу.

Желанный Петербург подогрел Базиля. Правда, Париж был еще желаннее, но Париж подождет. . . Петербург скоро увидит такое, чего никогда не увидит Париж: на март 1828 года назначен подъем и установление первой колонны северного портика Исаакиевского собора; в продолжение весны и лета последует установление остальных колонн.

Это будет тем более редкое предприятие, что оно совершится вне соблюдения принятых в архитектуре правил: все сорок восемь колонн четырех портиков будут установлены раньше возведения храмовых стен и тяжелых пилонов для поддержания купола. Так будет по приказу самого государя.

До января, пока подготовка к подъему колонн состояла в устройстве фундамента, цоколя и площадок портиков, Базиль усердно следил за вверенной ему шли-

фовкой колонн. Эта работа была спокойная, отнюдь уже не походила на борьбу с силами природы, какая велась в каменоломне. Пожалуй, Базиль был не прочь отдохнуть от страданий, с какими побеждали природу на острове. Сам-то он не страдал физически, но на чужие мучения посмотрелся достаточно и, хотя привык к ним, рассматривал их как должное, но в Петербурге все же вздохнул с облегчением, когда увидел, что шлифовальная работа полегче. Здесь люди лишь слепли от каменной пыли, а там сразу давило их насмерть. Базилю даже стало обидно за островных каменотесов. Ему пришла мысль, что разница эта — несправедливая разница.

«В самом деле, — думал Базиль, — нельзя ли тут что-нибудь сделать? Моя совесть не хочет мириться. . .»

Скоро совесть ему подсказала решение.

Привыкнув делиться мыслями с Шихиным, он завел разговор на интересующую его тему.

— Архип Евсеевич, как, по-вашему, в каменоломне работа тяжелая?

— Куда тяжелее, — ответил Шихин. — Сам знаешь, чего спрашиваешь?

— Значит, в каменоломне рабочим живется худо. Верно?

— Ну?

— А вот шлифовальщикам нашим в Питере живется получше, работа у них значительно легче.

— Ну?

— Это же несправедливо.

Шихин насторожился.

— Да ты к чему гнешь-то?

— А вот к чему. Нужно добиться справедливости.

Шихин нахмурился.

— Какой такой?

— А такой, чтобы никому не было обидно.

— Ну, а как это сделать? — серьезно спросил Шихин.

— Как? — Базиль задумался. — Надо, чтоб все поровну работали. . . Строже взыскивать с тех, кому легче работать, то есть со шлифовальщиков, скажем. Островным каменотесам не будет тогда обидно. Раз нельзя уравнивать по лучшему положению, так пусть по худшему.

Шихин громко захохотал.

— Ай да Васёк! Молодец, додумался. Ей-богу, молодчина!

Базиль смутился.

— А что, — робко спросил он, — разве не правильно?

— Правильно, парень, правильно, — успокоил Шихин. — Я от радости смеюсь, что ты у меня стал такой молодчина. Только я тебе вот что скажу: раз уж додумался, так и делай. Мысль в голове не держи без пользы. Возьми за правило — хорошую мысль не томить, сразу в дело пускай. Раз совесть тебе подсказала, что со здешних рабочих нужно постороже взыскивать, чтобы тамошним не обидно было, так ты совести слушайся.

— Ладно, — пообещал Базиль.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

С января началась непосредственная подготовка к подъему колонн. Были заказаны на заводе Берда мощные кабестаны, числом двадцать. В феврале кабестаны были доставлены на стройку. Это совсем не касалось Базиля, занятого по шлифовке, но из любознательности он посетил склад кабестанов. Ему было интересно представить себе, как поднимут они монолиты и поставят торчком, — он так привык видеть свои монолиты лежащими на земле. И самые кабестаны были ему интересны. Он еще раньше припоминал из истории архитектуры, что обелиск в Ватикане тяжестью более двадцати одной тысячи пудов был поднят посредством сорока воротов самого простого устройства. Исаакиевские же кабестаны были совершеннее и могли поднимать до тысячи пудов каждый. Особое устройство их заключалось в том, что канат накручивался не на один вал, а на два, это устраняло обычное неудобство простого ворота, который при тяге нужно было часто останавливать, чтобы спустить канат с вала. Новый ворот придумал когда-то генерал Бетанкур, благодетель самого Монферрана. Так сказал Шихин.

День подъема все приближался.

Площадка северного портика была окружена широчайшими деревянными помостами. Длинный наклонный настил тянулся к площадке: по нему вкатят колонну. На площадке установили огромный деревянный стан для подъема колонны, — множество блоков виднелось на нем. Он был выше колонны почти в полтора раза. Были привезены канаты особенной длины и прочности, наняты отставные матросы для снаряжения канатов в дело.

В комиссии шли споры о том, как снаряжать самые колонны. На монолитах, заготовленных еще до Базиля,

были оставлены при обтеске шипы, специально для удобства поднятия, чтобы не скользили канаты, чтобы было за что зацепить их. Но оставлять шипы при обтеске оказалось весьма затруднительно. Шихин спрашивал за такие колонны дороже, да еще после пришлось бы шипы стесывать на поставленных уже колоннах. Тогда порешили обойтись без шипов, придумали поднимать колонны с бревенчатой обшивкой. Для колонн с шипами было бы достаточно обертки войлоком или циновками, бревенчатая же обшивка сильно утяжеляла колонны. В комиссии стали спорить, как обойтись без нее. Спор оказался бесплодным, и для первого раза подымут колонну с шипами.

Базиль узнал об этом от Шихина и принял так близко к сердцу, что Шихин был уже не рад, что сказал. Базиль стал рассеяннo относиться к своим обязанностям, все время думал над усовершенствованием обшивки. Да и вообще с приближением дня подъема Базилью не сиделось в своем сарае, он то и дело бегал смотреть на приготовление.

Когда Шихин делал ему замечание, он горячо отвечал:

— Не могу я терять случай поучиться такому важному, интересному делу. Не забывайте, что мне самому придется когда-нибудь управлять постройкой.

На это Шихин лишь усмехался, и Базиль успокаивался. Базиль не мог пожаловаться на Шихина, тот относился к нему по-отечески, кормил, одевал, а Базилью пока и не нужно было большего. Когда же Базиль заговаривал с Шихиным о своем положении — до какого времени станет он продолжать работу у Шихина, когда наконец тот отправит Базилья в Париж доучиваться, купец отвечал:

— А вот когда меня царь наградит, тогда и я тебя награжу.

Базиль смеялся.

— Царь-то, может, и не подумает наградить! Значит, и я на бобах останусь?

— Как так не подумает, когда уже думает!

Базиль весело удивлялся.

— Вы и это знаете, Архип Евсеевич?

— И не только это, а знаю даже, чем наградит, — серьезно говорил Шихин. — Золотою медалью на андреевской ленте.

— Да? — уже искренне удивлялся Базиль. — Как же так знаете?

— Ты же знаешь, чем я тебя награжу.

— Это другое дело, я у вас сам просил о Париже.

— Ну, вот и я сам просил. В комиссии знают, чего мне хочется, я комиссию ублагодарю, а она обо мне комитету министров представит, а комитет — государю, вот я и ублагодарен тоже. Я даже то знаю, какими словами обо мне в заседании комитета министров напишут.

Шихин вытащил свой толстенный бумажник, достал из него записную книжку, тоже не тоненькую, в переплете свиной кожи, раскрыл ее и прочитал вслух торжественно:

— «Комитет министров постановил: купцу Шихину не как подрядчику, но как человеку, оказавшему особенную предприимчивость в работах со столькими затруднениями и убытками и доставившему казне значительную выгоду в сравнении с теми издержками, какие употребила комиссия при добывании колонн собственными распоряжениями, — пожаловать золотую медаль на андреевской ленте». Видал?

— Когда же комитет министров постановил?

— В тысяча восемьсот двадцать девятом году.

— Как? Но нынче всего пока двадцать восьмой. . .

— А вот я знаю, что так постановят и такими словами в протоколе напишут.

Базиль не верил ушам.

— Да я тебе дальше прочту, это уж даже не обо мне постановят, а я вот знаю. . .

Шихин зачитал дальше.

— «. . . что касаясь Жербина и Купцова, то в испрашиваемом награждении отказать, так как первый в деле сём есть обыкновенный подрядчик, а последний был у него приказчиком, награждения же за уступки и пожертвования по подрядам вообще воспрещены». Видал?

Базиль не знал, верить или принять за шутку. Он так и сказал Шихину.

— Чудачок, — отвечал Шихин, — мне интересу нет шутки шутить, да еще в книжечку их писать, а мне есть интерес все знать, что до меня касаясь. Чтобы знать все о себе, о приятелях, недругах, конкурентах, начальниках и подручных. Все пригодиться может. Понял?

Базиль был подавлен, но все же решился спросить:

— Приказчик Купцов — это тот рябой, что меня к вам на остров вез?

— Этот самый. Не будет ему награждения. А Жербину все-таки будет, он уже после этого постановления

награду выхлопочет. Это уж я по характеру его знаю. В порошок разотрется, а выхлопочет. А не то судиться пойдет с казной, такого сутяжника свет не видывал. Он никогда не простит, что уступки казне делал. Четыре процента с доставки каждой колонны — не шутка.

— Почему же комитет сначала откажет, раз Жербин уступки казне делал?

— Надо было, выходит, не казне уступки-то делать, а казенным людям.

Шихин подмигивал, складывал книжку в бумажник, бумажник — в карман, хлопал себя по карману, а Базиля по плечу.

Так он учил Базиля уму-разуму.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

### Парад колонн

Подъем был назначен на вторник 20 марта, на час пополудни. Последние приготовления были такие:

Колонну выкатили из сарая, втащили ее (по каткам же) наверх, на площадку, и вдвинули в стан между опорных станин. Над этим трудились больше недели.

Двадцать кабестанов установили на подмостках на двойном полу, расположив их полукругом от подъемного стана. Из числа двадцати кабестанов шестнадцать будут употреблены на поднятие колонн, прочие послужат для направления ее при постановке на базу.

Людей научили занимать места у своих снарядов по удару колокола, по удару же колокола начинать вращать кабестаны и прекращать так же.

Наступило двадцатое число. Приготовления заканчивались. Лишние люди были удалены от места подъема. Число занятых на подъеме было точно рассчитано.

У каждого кабестана — тридцать человек и один десятник; из них шестнадцать человек будут вращать ворот, два — опускать канат, и двенадцать человек будут находиться в резерве для смены уставших. Десятник при кабестане будет наблюдать за рабочими, направлять их в один ровный шаг и сменять по мере надобности, не прерывая действия.

Шестнадцать человек были поставлены наверху, на стане, для наблюдения за блоками, шестнадцать — внизу на тот же предмет, тридцать два человека приставлены к каткам и салазкам, оттаскивать их из-под вздымаю-



шейся колонны; шесть каменщиков приготовились подливать известковый раствор между колонною и гранитною базой; пятнадцать плотников с одним десятником находились в резерве для непредвиденных случаев.

Обязанности руководства главный архитектор распределил между младшими архитекторами и каменных дел мастерами.

Господину Адамини было поручено командовать всей операцией. Он не должен иметь постоянного места, а должен находиться там, где нужно для удобнейшего распоряжения, при нем состоят два десятника для исполнения приказаний.

Господа Глинка, Лукини, Паскаль и Яковлев должны находиться в четырех удобных местах для наблюдения за четырьмя направляющими кабестанами, они станут получать и отдавать приказания, не оставляя своих мест.

Господам комиссару и экзекутору поручено было все, что относилось до соблюдения порядка. В их распоряжении находились инвалиды-гвардейцы, а также конная и пешая полиция — полиция была вызвана, чтобы охранять заборы от любопытных: толпы любопытствующих горожан с утра хлынули к Исаакиевской площади.

Глубокое молчание должно быть сохраняемо во все время подъема; замечания, если какие нужно будет сделать десятникам, приставленным к кабестанам, пусть сообщаются через четырех помощников господину Адамини, который один сохраняет право давать приказания.

Все эти предписания о порядке были разработаны столь подробно, обусловлены столь строжайше и должны будут исполняться неукоснительно, потому что при операции будет высочайше присутствовать — ц а р ь.

В этом была вся особенность операции. В техническом успехе ее не сомневались, все было с великою точностью проверено на модели, и, кроме того, сделаны две пробы вытягивания канатов воротами, чтобы узнать направление канатов, подложить там, где нужно, катки и установить блоки на разных высотах. Кабестаны были испытаны, прочность канатов проверена.

Опасались за порядок выполнения. Понравится ли он государю? Сохрани бог, если нет. А понравиться было трудно, потому что идеальный порядок в глазах государя был только по счету марша: «Ать! два!»

Церемония была сначала задумана таким образом, что по прибытии государя императора первым долгом будет отслужен молебен с водосвятием, потом уже присту-

пят к закладке медали под будущую колонну. Накануне назначенного дня председатель комиссии получил от министра сообщение: «Его императорское величество изволил отозваться, что его величеству благоугодно, чтобы молебен был учинен до высочайшего прибытия».

Государь хотел сразу приступить к делу.

Так, по его желанию, в половине первого часа полюдни начался молебен. Молебен служили архимандрит с протодьяконом и три священника Исаакиевского собора с певчим хором. Священники были те самые, что десять лет назад участвовали в ссорах с сенатским причтом. Особенно тогда отличался отец Михаил Наманский, другой же участник, отец Тарасий Дремецкий, изрядно пострадал: лишился части волос.

Молебен искусно растянули до самого прибытия государя.

Высокие лица, в сопровождении свиты, поднялись на помост. Они были встречены всей комиссией, с председателем во главе. В это время рабочие у своих механизмов стояли ни живы ни мертвы, сняв шапки. Кричать «ура» им не приказывали, они в этот день должны быть безмолвными рычагами при кабестанах.

Государь прибыл с августейшей супругой и с их императорскими высочествами — великой княжной Александрой Николаевной и великой княгиней Еленой Павловной. Вся фамилия проследовала на отведенное для нее место — отдельный высокий помост, устланный коврами, находившийся на безопасном расстоянии от места работ.

Главный архитектор почтительно доложил председателю о готовности.

Председатель комиссии всеподданнейше доложил о том государю и испросил повеления приступить к закладке.

— Начать! — сказал государь коротко, с ударением на «ать».

Председатель отвесил по этикету поклон, отступил на шаг и обернулся вполоборота к правителю канцелярии, стоявшему наготове поодаль, с блюдом в руках. Правитель канцелярии приблизился и поднес председателю на серебряном блюде платиновую медаль и свинцовый ковчег для нее.

Председатель с подобающей важностью принял блюдо с медалью и с подобающей почтительностью поднес его государю.

Государь, не глядя на блюдо, протянул руку к платиновой медали (пальцы его были белее и холоднее, чем платина), взял ее, вложил в ковчег и отдал его председателю. Председатель отдал ковчег главному архитектору, главный архитектор поклонился, закрыл ковчег, поклонился еще раз и удалился на место подъема. Там он вложил ковчег (походивший на маленький ларчик) в сделанную для того впадину в гранитной базе, на которую встанет колонна, и вернулся с вторичным донесением о готовности к операции. Председатель испросил высочайшего повеления начинать.

— Ать! — сказал император.

Архитектор махнул платком.

Колокол, висевший на первом столбе у лесов с западной стороны, ударил один раз.

Это значило — приготовиться всем и слушать следующую команду.

Архитектор махнул платком во второй раз, ему ответил колокол, и люди пошли ходить вокруг кабестанов. Кабестаны пришли в действие, и канаты, тянущиеся по радиусам полукруга, какой образовали кабестаны с подъемным станом в центре, напряглись, как шестнадцать спиц.

Колонна, полузакрытая от глаз зрителей, пошла одним концом вверх. Движение это было почти неприметно, как движение часовой стрелки, и даже еще медленнее; как сочли после, колонна поднималась в продолжение сорока пяти минут, описав концом четверть круга.

Через час все кончилось. Выламывали, обтесывали, шлифовали, полировали колонну долгие месяцы; поднялась она, став на место, где будет стоять, пока будет стоять самый собор, — за сорок пять минут. Вырубили ее дико и трудно, подняли чинно и как бы с великою легкостью; первое творилось подспудно, в тени, второе — напоказ, как парад.

Комиссия и весь штат комиссии — архитекторы и мастера — могли быть покойны и счастливы: должный порядок был соблюден.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Всего один человек считал себя самым несчастным в день подъема колонн, — то был Базиль: он не присутствовал на церемонии. Его не пустили как неучаствующего

к делу. Он был принужден наблюдать операцию изда- лека, с середины площади. Можно представить, как ве- лико было его горе.

Колонны ставились в продолжение полутора лет. Базиль много раз после присутствовал на подъемах, воз- награждая себя за потерянный первый, но должность его оставалась все той же: не то приказчик, не то десятник при шлифовальном сарае. Одно и то же зимою и летом. Это так ему опостылело, что он стал не слишком-то рев- ностно относиться к своим обязанностям.

Шихин однажды сказал ему:

— Выдохся, парень, ты.

Базиль не хотел отрицать, он лишь сказал убежден- ным тоном:

— Значит, пришло время в Париж отправляться. Ах, как мне хочется! Ну, ничего, дотяну, скоро уж. . .

— Скоро, — подтвердил Шихин.

С Базилем он был хорош по-прежнему, часто бесе- довал с ним, рассказывал обо всем, что случалось в ко- миссии, в канцелярии, во всех углах самой постройки. Он знал, сколько тысяч рублей Монферран задолжал и просрочил к уплате по векселям своим кредиторам и сколько сотен шпицрутенгов получил провинившийся ка- раульный солдат при строении.

Подходил к концу 1829 год. Сорок семь колонн всех четырех портиков несуществующего здания были постав- лены, осталось поставить одну, последнюю. Так было сде- лано по приказу царя: сперва колонны, потом здание. «Ать! два!» Сорок восьмая колонна поставлена с точно такую же церемонией в высочайшем присутствии, как и первая. Так же молебен был отслужен перед прибытием государя. Это был сорок восьмой по счету молебен. Полу- чая за каждый по 150 рублей, священники получили всего 7200 рублей. Деньги им выдавались из сумм, ассигнован- ных на канцелярские расходы (Шихин и это знал!). Ко- гда церемония кончилась и Шихин с Базилем пришли до- мой пить чай, Шихин сказал:

— Ну, не прав ли я был, когда предвещал себе орден! Базиль встрепенулся.

— Вас наградили?

— Я награжден, — сказал Шихин торжественно. — А посему. . . — Базиль ждал затаив дыханье. — Я решил наградить и тебя.

Базиль просиял.

— Я уже хлопотал за тебя, — продолжал Шихин, —

я передал по назначению письмо, в котором хвалю тебя всячески, похвалил и себя заодно, что, мол, я, Архип Шихин, а не кто другой, сумел тебя выучить исполнять поручения точно и добросовестно.

Базиль был польщен и в то же время разочарован.

— Вы хотите устроить меня в Петербурге? В Архитектурном комитете? А как же Париж? В другое время я был бы до чрезвычайности рад воспользоваться вашей рекомендацией, но, право, сейчас бы я предпочел Париж любой самой выгодной службе. . .

Шихин взглянул на него с любопытством и переспросил:

— Любсй? Самой выгодной?

— Да, — твердо ответил Базиль.

— Даже службе у Павла Сергеевича?

Базиль засмеялся. Шихин тоже заухмылялся.

— А что, в самом деле, — сказал он, — поезжай-ка к нему, он тебе рад будет. Я бы вас помирил. . .

Базиль продолжал снисходительно улыбаться затянувшейся шутке, но Шихин уже не смеялся. Он опять с любопытством смотрел на Базиля. Под его взглядом Базиль вдруг затомился, еще улыбаясь, но уже жалкой улыбкой.

— Полно, — сказал он невнятным голосом, — полно пугать меня. . .

Шихин заговорил медленно и непреложно:

— Павел Сергеевич готов простить тебя за побег. Я послал ему официальное письмо, в котором, могу повторить, хвалю тебя за исполнительность, а себя за то, что сумел выучить. Ну, а теперь поезжай, вот тебе деньги на дорогу, поезжай с богом.

В ту минуту, когда Шихин вытаскивал свой бумажник, можно было подумать, что происходит талантливая мистификация, и кончится она тем, что Шихин, достав бумажник, вынет из него деньги на дорогу в Париж.

— На, бери, — сказал Шихин и протянул Базилю тридцать рублей. — На дорогу хватит, а с Павлом Сергеевичем у нас свои счета. Ямщик заказан, завтра утречком выедешь. Павлу Сергеевичу я обещал, что отпущу тебя ровно через три года, а уж и то опоздал на два месяца. А теперь вот что: ты на меня не сердись, Васёк. . . Я сказал тебе, что выкуплю тебя от Павла Сергеевича и даже что выкупил уж, — так это я жалеючи тебя обманывал. Павел Сергеевич разрешил мне только на время тебя арендовать, на три года, надеялся, что я тебя сделаю за-

правским приказчиком. А я, грешный человек, решил тебя использовать, очень ты мне приглянулся еще до знакомства, еще по рассказам Павла Сергеевича. Он мне письма твои показал, пожаловался, что ты в них только об искусстве одном и пишешь, ради него готов в огонь и в воду. Тогда и запала мне мысль. . . Ну, спасибо тебе, за честность твою спасибо. Ты верно служил мне. Хоть и скучал иной раз, а все старался потрафить. А больше мне тебя не надо, скажу по правде, а то ты совсем скоро выдохнешься. Не сердись на меня, Васёк, поминай добром. Может, еще пригожусь. Жалко мне тебя, ну да ведь знаешь пословицу: «Жаль тебя, да не как себя». . . Что могу, сделаю. Если понадобится — свисти сивку-бурку.

Уезжая утром, Базиль из саней сказал стоявшему на крыльце Шихину — сказал сухо, подчеркнуто деловито, без признаков страдания в голосе:

— Ежели вы действительно имеете какое-нибудь влияние на господина Челищева, если он действительно чем-нибудь обязан вам в делах, то попрошу вас повлиять на него, чтобы он назначил меня к конторщицкой работе, а не приказчицкой. Из того, что я был приказчиком на постройке Исаакиевского собора, вовсе не следует, что я захочу теперь закупать лен и паклю для Павла Сергеевича. Вы сделаете, что я прошу?

— Сделаю, — сказал Шихин. Ему понравилась выдержка сегодняшнего Базиля.

И Шихин сдержал слово.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Государственная ошибка,  
или Рассказ о том, как безбедный питерский мещанин  
в худой час был сочтен за простого рабочего человека  
и о последовавшей затем плачевной его судьбе

Очистку отхожих мест при строении Исаакиевского собора откупил в свое время Петр Байбаков, питерский мещанин и домовладелец. Принадлежавший ему ассенизационный обоз должен был в определенные ночи каждого месяца обслужить рабочие казармы, дома для служащих, мастерские, контору, караульню и самую постройку.

Только что перед заключением контракта с Байбаковым там же, в канцелярии строительной комиссии, был заключен неизмеримо важнейший контракт с коммерции

советником Жербиным, взявшимся доставлять монолиты-колонны с финляндских гранитных ломов в Санкт-Петербург, к месту строения собора. Это была большая и дорогая работа. Письменный договор на нее был уже почти оформлен, когда Жербин решился дополнить его одним немаловажным примечанием.

— Особенности верноподданнические чувства, — сказал он растроганно, — велят мне поступить так, а не иначе. Объявляю во всеуслышание, что я сам наложил на себя обязательство уступать в пользу казны четыре процента из стоимости доставки каждой колонны. Господа, прошу занести мое устное обязательство в письменный наш контракт, а еще покорнейше вас прошу, господа, довести об этом до высочайшего сведения государя императора.

Коммерции советник Жербин был кляузник и тяжбист. Его великодушная уступка легко объяснялась желанием создать себе добрую гражданскую славу, полезную для успешного разрешения многочисленных его судебных процессов. Несколько тысяч, громко пожертвованных им здесь в пользу казны, после помогут ему оттянуть от своих врагов по суду уж никак не меньше ста тысяч. Честолюбие будет также удовлетворено. «Северная пчела» охотно превознесет имя истинно русского человека и бескорыстного патриота, поставив его в пример всем купцам и подрядчикам.

Впрочем, не нужно было далеко ходить за достойными подражателями. В тот же час канцелярия официально засвидетельствовала слова, произнесенные с не меньшим воодушевлением:

— Как я есть верноподданный, уступаю в пользу казны пять процентов из каждой бочки. Прошу довести до любезного сведения государя императора.

В контракт на очистку нужников было внесено дополнение, под чем мещанин Петр Байбаков согласно приложил руку. А затем молодые чиновники могли наблюдать, как, отойдя от барьера, Байбаков понюхал свои ладони, одну и другую... — привычка, свидетельствующая о том, что когда-то, прежде чем стать содержателем ночного обоза, он самолично участвовал в промысле, и теперь все казалось ему, что руки еще не отмылись. Сделав такое наблюдение, молодые чиновники сначала хихикнули, затем брезгливо поморщились, а по уходе Байбакова приказали служителю открыть форточки.

Им привелось после с добрый десяток лет открывать форточки в определенный день каждого месяца: Байба-

ков являлся в присутствии ежемесячно для получения денег, и с наступлением каждого нового хозяйственного года с ним аккуратно перезаключался контракт.

Разумеется, молодые чиновники год от году взрослели, а потом и старели, и уже никаких смешков при появлении или при уходе Байбакова не было и в помине: все обстояло совершенно по-деловому, даже форточку открывали по-деловому.

Наступила зима тысяча восемьсот двадцать девятого года. Еще ранней осенью была поднята и поставлена последняя колонна восточного портика. Церемония прошла в высочайшем присутствии их императорских величеств и их императорских высочеств.

Желание государя исполнилось: вопреки принятым в архитектуре правилам, все сорок восемь колонн портиков были установлены раньше возведения храмовых стен и тяжелых пилонов для поддержания купола. Государь пренебрег правилами, предотвращающими неравномерную осадку здания, и мир впервые в истории архитектуры мог любоваться зрелищем сорока восьми монолитов-колонн, ставших николаевскими шеренгами вокруг хаотических ям незаконченного фундамента.

Вместе со всем просвещенным населением столицы любовался зрелищем и коммерции советник Жербин, к тому времени выигравший более десятка судебных процессов, но все еще не удовлетворенный своими успехами. Как истинный честолюбец, он не был удовлетворен также и орденом — высочайшей наградой, пожалованной ему за успешную перевозку колонн, из которых была им утеплена лишь одна. С несравненно большею радостью он получил бы вместо нарядного ордена простую медаль, с правом положить ее под основание колонны при торжественном подъеме. Увы, этой чести были достойны только члены августейшей фамилии. . .

Зимой в России появилась холера. Вокруг столицы немедленно были созданы карантинные пункты, не допускавшие болезнь из зараженных местностей, но меры эти не помогли: холера явилась в Петербург.

Усилившаяся к весне, болезнь представляла уже немалую опасность. Именитые и чиновные горожане всячески избегали общения с зараженными кварталами, забыв о том, что в центре со дня на день может открыться рассадник болезни: рабочий городок на Исаакиевской площади.

Правда, городок этот был уединен за забором, но



уединение не было еще тогда полным, и несовершенный забор пока оказался полезен лишь тем, что навел на мысли о карантине.

Догадавшись о наличии опасности, градоначальство приняло меры: рабочим при стрессе Исаакия было объявлено категорическое воспрещение выходить за пределы своей постройки и жилых казарм. Забор был заперт и уж теперь в самом деле отъединял от мира.

Забор сколотили на славу, почти без щелей, да и в щели все равно б не позволила смотреть стража, в изобилии расставленная на площади.

Начальство, сперва заикнувшееся было о прекращении работ на время эпидемии, было высочайше одернуто: «Ни в коем случае!» — и работы пошли своим ходом. Нанимались все новые артели каменщиков, плотников, кузнецов (из здоровых уездов), и число занятых на постройке рабочих скоро достигло обычной для летнего сезона цифры — трех тысяч людей. Замкнутые в кольцо забора, они были предоставлены своей участи.

Однажды июньским утром по необъятной площади, загроможденной строительным камнем, шел главный архитектор Монферран в сопровождении свиты из двух чертежников, двух приказчиков и личного секретаря-переводчика господина Буржуа.

Монферран в продолжение всего утра хмурился, его полные щеки кривились и прыгали. Он тряс головой, вспоминая о неприятностях. Вчера в заседании строительной комиссии состоялись крупные дебаты по поводу усилившейся эпидемии и чрезвычайных мер борьбы с нею. Все эти споры о том, прямо ли вывозить за город содержание выгребных ям или же предварительно засыпать его в ямах известью, волновали главного архитектора непрерывно повторяющимися словами: болезнь, эпидемия, зараза, холера, инфекция. Попросту говоря, Монферран трусил.

«Это дело всей моей жизни, как я люблю называть его, может теперь принести мне смерть, а ведь только оно удерживает меня в зачумленной России», — трагически думал господин Монферран, шагая по площади и с озлоблением порой взглядывая на строящуюся громаду.

— Господин Монферран!

Монферран сердито оглянулся на секретаря.

— Господин Монферран, комиссар поручил мне спросить вас, как быть с ассенизационным подрядом.

— Комиссия решила вчера засыпать известью. Что еще ему надо?

— Но, господин Монферран, в контракте, заключенном с подрядчиком, нет пункта о предварительной засыпке известью, следовательно, мы не можем требовать от подрядчика исполнения несуществующего параграфа.

— Можем, — строго сказал архитектор, — это чрезвычайная правительственная мера, он обязан подчиняться.

Путь продолжался в молчании. Шли из полировочных мастерских в главную контору, путь пролегал через всю площадь. Стоявшие там и сям гвардейские инвалиды брали на караул, увидев главного архитектора, но он не замечал их.

— Господин Монферран!

Монферран негодуяюще вскинул голову, чтобы оборвать надоедливую секретаря, но тут секретарь совершил еще более непочтительный поступок: схватил архитектора за руку и силой удержал его на месте. Впрочем, это бывало и прежде, когда впереди была какая-нибудь строительная опасность: грозила, например, развалиться и ушибить огромная клетка небрежно сложенного кирпича. В подобных случаях гнев архитектора обращался против основного виновника катастрофы.

На этот раз было совсем иное. Впереди, в нескольких шагах от них, лежал на строительном мусоре человек без шапки, вниз лицом, руки его были запущены в кучу мусора, сапоги замазаны глиной, известкой, жидкой грязью. Секунд пять он лежал неподвижно и вдруг закорчился, изгибая спину и вороша руками мусор, в который они зарылись по локти; он икал и мелко дрожал всем телом.

Монферран попятился. Из толпы приблизился к нему лекарь Доннер, видно, желая сообщить что-то. Монферран попятился и от него.

— Редкий случай сухой холеры, или, иначе, молниеносной холеры, господин Монферран; через полчаса последует смерть.

Секретарь перевел слово в слово.

Монферран, овладев собой, кивнул на больного.

— Зачем вы его положили на кучу?

Секретарь перевел. Доннер забеспокоился.

— Вы хотите знать, господин Монферран, зачем я велел положить его вниз лицом? Это облегчает ему. . .

— Я хочу знать, — закричал Монферран, не слушая, — зачем вы его оставляете, сударь, лежать здесь, а не у-во-зи-те немедленно?!

Доннер побледнел, готовый упасть на ту же кучу.

— Вы, сударь! — продолжал кричать Монферран вне себя. — Так-то вы соблюдаете чрезвычайные меры, которые вчера диктовались вам! Увезите немедленно!

— Увезите немедленно! — провизжал переводчик, пораженный его горячностью.

Человек пять из толпы стремглав кинулись к куче.

— Стой!

Все замерли.

Господин Буржуа с недоумением обернулся к патрону. Щеки того все еще прыгали в приступе бешенства, но глаза слезились, что бывало в минуты, когда его посещала вдохновенная мысль и он сам умилялся перед своей гениальностью.

— Бросай его в яму, — повелительно, но довольно спокойно сказал Монферран, обращаясь к пяти.

Те замерли в нерешительности.

Все молчали, больной икал и ворошил мусор.

Монферран нетерпеливо показал на глубокую яму для гашения извести, расположенную поодаль.

— Господин Монферран, он еще жив пока! — с нескрываемым ужасом вскричал Буржуа и даже всплеснул руками по-простонародному.

Монферран поглядел на него проницательно и сказал с величайшим внутренним убеждением:

— В случае молниеносной холеры бросать в яму и засыпать известью, не теряя ни минуты. В молниеносности действия мы должны опередить самую холеру. Вы слышали, что через полчаса он и так умрет? Попрошу вперед не возражать. Де-лать!

— Де-лать! — провизжал переводчик.

Главный архитектор со свитой, страстно желавшей в этот момент перешептываться, делясь впечатлениями, но сдерживающейся при строгом патроне, удалились по направлению к канцелярии.

Секретарь растерянно отдал дальнейшие распоряжения и побежал догонять свиту.

Через полчаса Монферран стоял в канцелярии, говоря с секретарем об очередных делах. До слуха их неожиданно долетели слова, произнесенные кем-то из находившихся за барьером.

— Царство небесное, значит, Байбакову. Все хотел,

бедняга, со своим вонючим делом в купцы залезть, ан, шалишь, бог-то раньше прибрал, — так говорил за барьером коммерции советник Жербин.

Монферран вопросительно и тревожно взглянул на секретаря, почуяв что-то недоброе.

Секретарь перевел по возможности дословно.

— Как? — грозно вскричал архитектор, почувствовав вдруг, что отчаянно струсил. — Подрядчик Байбаков умер?

Жербин приблизился с печальной ухмылкой.

— Закопали, ну, стало быть, царство небесное, бог прибрал.

Хитрый Жербин легко разгадал причины смутения главного архитектора и сейчас скромно ждал растерянных его вопросов.

Монферран в это время мучительно думал: «Какая оплошность! Какая оплошность! Велел зарыть в известь состоятельного человека, подрядчика, патриота... Если даже не вспомнится никому, что он был... не совсем еще мертв... все равно может разыгаться скандал, — его родные потребуют выдать им тело. Разумеется, я распоряжусь сейчас же отрыть его, но все равно плохо... Ах, черт возьми... что я наделал!»

Но вслед за тем господин Монферран взял себя в руки, и настолько успешно, что мог здесь же без замедления сказать Жербину несколько ловких фраз, укоряюще-льстивых:

— От вас я не ожидал, господин Жербин. Мы с вами давно знаем друг друга, почему вы не предупредили меня, будучи сами на месте этих злосчастных событий?

Переводчик стеснительно перевел. Жербин виновато улыбнулся и поклонился. Он торжествующе подумал про себя: «Ну, посадил я тебя в лужу, приятель! Это для тебя хуже ямы. Ай да я! Авось пригодится...» — и сказал вслух почтительно:

— Полно, господин Монферран, ошибки бывают во всяком деле. Вы проводили чрезвычайные меры по поручению правительства, так сказать, государства; здесь тоже неизбежны ошибки, но они всецело оправдываются высокой целью.

Сказав это, Жербин поклонился и отошел в сторону.

Так возвеличился честолюбец, и не только в сравнении с конкурентом, но и над самим начальником.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Майским утром 1836 года конторщик господина Челищева, подведя итог за прошлый месяц, аккуратно присыпал песочком чернильные цифры и поглядел на часы: было без пяти минут десять. Вчера вечером, ложась спать, он решил, что, закончивши утром ведомость, он пойдет ровно в десять часов к Павлу Сергеевичу и заявит ему свою просьбу. До назначенного срока осталось всего пять минут. Он сел поудобнее, чтобы еще раз собраться с мыслями.

Ровно в десять часов Василий Иванович постучался в дверь кабинета.

— Апрельская ведомость, а также отдельный расход по ремонту амбара в текущем мае подсчитаны, — доложил он Павлу Сергеевичу.

— Хорошо, можешь идти, — ответил Павел Сергеевич. — А впрочем, мой друг, — Павел Сергеевич поднял взгляд от образчиков полотна, лежащих перед ним на столе, — обожди здесь с минуту. Я хочу сделать тебе весенний подарок.

— Я только что намеревался просить вас о том же, — спокойно ответил Василий Иванович.

Павел Сергеевич нахмурился, на лице его явно изобразилось желание наложить ординарный штраф за дерзость, но изобразилось также и некоторое удивление, и даже проглянуло любопытство.

— Что такое, мой друг? — сказал он с холодностью.

— Разрешите мне испросить у вас позволения выехать в Петербург на один год или, в крайности, на полгода, — сказал Василий Иванович.

— Как! — сказал Павел Сергеевич, вовсе нахмурился. — Ты все о том же?

— Да, я прошу вас о том, о чем просил ежегодно и в чем вы регулярно отказывали.

— Откажу и нынче, — желчно сказал Павел Сергеевич.

— Я смею думать, что нынче вы не откажете, — неожиданно возразил конторщик и улыбнулся.

Улыбнувшись, он стал похожим на прежнего Базиля, лицо его выиграло в милости. Впрочем, оба они, и Павел Сергеевич, и его конторщик, были чрезвычайно молоджавы, они мало изменились внешне за прошедшие десять лет. Оба остались стройны и изящны, как юноши,

хотя одному успело исполниться тридцать два года, другому уже перевалило за пятьдесят.

Как бы желая выказать в этот момент свою статность, Павел Сергеевич встал из-за стола и жестко выпрямился. Это обозначало гнев. Василий Иванович побледнел, что обозначало отнюдь не боязнь, а скорее напряженную, страстную решимость. Затем он сказал весьма деловитым тоном:

— Павел Сергеевич, ваши родственники опять учинили подвох на закупке. Убыток для вас будет простираться до тридцати тысяч рублей ассигнациями, если подвох этот не обезвредить заблаговременно.

Павел Сергеевич встrepенулся.

— Сделай все, что нужно, чтобы обезвредить, — сказал он строго.

— Разумеется, — ответил Василий Иванович, — но сделаю не раньше, чем вы дадите слово, что беспрепятственно отпустите меня в Петербург.

— Требование? Ко мне? Это бунт? — вскричал Павел Сергеевич, скорее изумившись, чем в гневе.

— Я не хочу, — упрямо ответил конторщик, — я совсем не хочу оказаться в столь же глупом, униженном положении, как в прошлый раз, когда я прежде обезвредил подвох, а после с радостною уверенностью в успехе своей просьбы обратился к вам за разрешением на поездку, и вы с легким сердцем мне отказали. Теперь я решил сохранить до поры до времени в своих руках козырь. Вы знаете, что я открыл секрет их нынешнего подвоха, но вам-то секрет этот неизвестен, и никто не поможет вам открыть его, вырвать его у меня, не станете же вы меня пытаться. Вам бесполезно даже знать о готовящемся мошенничестве, когда сами вы не можете его предупредить, а могу только я. К суду вы не прибегнете, не желая бесчестить фамилию, а главное фирму, — они отлично знают вашу щепетильность. Короче говоря, Павел Сергеевич, я оказался способным конторщиком, наградите же вы мое усердие. . .

Василий Иванович задрожал даже, когда произнес последние злые слова.

Павел Сергеевич молча стоял, отвернувшись к окну, спиною к способному своему конторщику.

— Павел Сергеевич, — продолжал тот свое нелегкое объяснение, — вы же знаете. . . — тут голос его снова дрогнул, — вы знаете, что десять лет тому назад я не осмелился бы выставять подобные требования и разго-

варивать с вами таким тоном, но... вы обучили меня деловитости, Павел Сергеевич... Вы вкупе с Шихиным...

Базиль (совсем прежний Базиль) робко (по-прежнему робко) опустил голову. Павел Сергеевич медленно повернулся, лицо его выражало прежнюю брезгливость к меркантильности людских интересов.

— Отпущу на полгода, — задумчиво заговорил Павел Сергеевич, подбирая слова, — паспорта не дам, поедешь на правах беглого, через полгода вытребую по этапу. Свои сбережения передашь мне, поедешь с двадцатью рублями. Отвечай: зачем едешь?

— Это мое дело, — тихо ответил Базиль.

Челищева передернуло.

— Ступай. Стыдно! Ты стал шантажистом и наглцом.

Базиль поклонился и вышел.

«Вы, благодетель мой, называете это шантажом и наглостью, я называю это житейским опытом, — думал он по пути в свою комнатку. — Полагаю, что с таким благоприобретенным качеством я сделаю теперь себе карьеру».

На прощанье, перед отъездом Базиля, Павел Сергеевич сказал ему:

— Не обольщайся мыслью, что ты вынудил меня уступить тебе. Я уступил с умыслом. Я, как в себе, уверен, что Петербург снова выбьет из тебя дурь.

«Рассказывай! — думал Базиль, улыбаясь. — Просто тридцать тысяч пожалел! Уж раз после сорока лет решил наживать, то после пятидесяти как можно снова начать проживать, бросаться такими тысячами! Рассказывай, меценат!»

Мысли Базиля значительно поглубели с тех пор, как приехал он из Парижа в Россию. Он это чувствовал сам и искренне радовался, видя в этом залог удачи в построении своей нынешней карьеры. Сидя за спиной ящика, он изыскивал мысленно всевозможные способы. Один способ давно уже казался ему самым надежным и безошибочным. Базиль уповал на него потому еще, что, как и последнее средство, примененное в отношении Павла Сергеевича, этот способ походил на «шантаж»... Тоже в своем роде райское средство!

— Нет, это уж адское средство, — сокрушенно и с убеждением произнес Базиль.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Базиль прибыл в Петербург в самом конце служебного дня.

— Галерная улица, в дом чиновника Исакия Исакиевича, — приказал Базиль ямщику.

«Нужно сразу быка за рога», — думал он, убеждая себя в неотложности предстоящего делового свидания.

Пришлось еще научить ямщика, как, куда нужно ехать: это ведь деревенский ямщик, а не городской извозчик.

Галерная в этот раз оказалась совсем не тенистой: солнце с запада било прямо вдоль улицы. Солнце слепило Базилью глаза, и он прятался за спину своего ямщика, словно бы опасаясь, что глаза утомятся и не смогут проникнуть в темную душу Исакия Исакиевича.

— Стой! — сказал наконец Базиль.

Бричка остановилась у желтого деревянного домика. Сощурысь, как бы в подражание коварному Шихину, Базиль вылез и постучался в калитку. Отворила ее та же противная, рябая стряпуха, рябая, как говорили, не от оспы, а оттого, что она выводила когда-то угри с лица крепкой водкой. Она всплеснула кургузыми ручками и гаркнула во все горло:

— Матушка-мохнатушка! Никак, Василий Иванович!

У хозяина ее были короткие ноги, у нее неестественно короткие были руки; он семенял при ходьбе ногами, она учащенно размахивала руками.

— Дома? — кратко спросил Базиль.

Тут Исакий Исакиевич сам показался на крылечке. Он уже успел переодеться после службы и вышел в мягких туфлях. Лицо его порядочно постарело, в лице появилась какая-то дряблая важность, присущая раньше лишь голосу. Он сразу узнал Базилья, но по-прежнему не выказал удивления.

— Здравствуйтесь, молодой человек, — Исакий Исакиевич внимательно посмотрел на возмужавшего Базилья и переменял обращение: — Здравствуйтесь, сударь. Чему я обязан вашим посещением?

«Ага! — злорадно подумал Базиль. — Предчувствует неудобства от моего посещения».

— Извините меня, уважаемый Исакий Исакиевич, я к вам с покорнейшей просьбой, — скромно сказал Базиль.

— К вашим услугам. Пройдемте в комнаты, сударь, — ответил Исакий Исакиевич.

Они уселись в гостиной, причем Исакий Исакиевич



все всматривался в Базиля, будто опасаясь бесчинств со стороны незваного гостя. Заводить посторонние разговоры было неуместно, молчать тоже нельзя, и Базиль решился сказать сразу то, что хотел.

— Исакий Исакиевич, устройте меня на службу, я употреблю все способности, чтобы вы не ошиблись в своем протекже, — сказал он довольно робко, но тотчас оправился и попробовал заглянуть в сидящую перед ним темную душу.

Исакий Исакиевич сидел на низком креслице, ноги его доставали до полу, и он чувствовал себя здесь законным хозяином. Он оскорбительно равнодушно усмехнулся в ответ на ожидающий взгляд Базиля и произнес:

— Что вы, что вы, сударь! Разве я могу сомневаться в ваших дарованиях! Но ведь, я полагаю, вы знаете, что мое мнение и мое влияние в соответствующих кругах слишком ничтожны.

Базиль приготовился пылко возражать.

— Что вы, что вы, сударь! — сказал он с горячностью. — Я знаю только одно, что вы слишком скромны. Я вот, напротив, возьму на себя смелость утверждать, что ваше мнение в соответствующих кругах очень высоко ценят и ваше влияние превозможет любые препятствия. Вы легко устроите меня в чертежную Архитектурного комитета. Право, очень прошу вас и очень надеюсь, что вы не откажете.

— Как раз откажу! — промолвил Исакий Исакиевич, как бы в шутливом тоне. В сердце Базиля действительно закралась надежда, что удастся его убедить, не прибегая к адскому средству. Только хотел он, поправ самолюбие, попросить умильнее, еще раз польстить чем-нибудь, как вдруг Исакий Исакиевич встал с места, явно показывая этим, что считает визит Базиля оконченным. Базиль тоже поднялся.

«Должно быть, так просто не обойдется, — подумал он. — Что ж, как раз теперь время. . .»

— Имейте в виду, — сказал Базиль, жестко выпрямившись, подобно Павлу Сергеевичу. — Имейте в виду, сударь, что мне известны те обстоятельства, при каких комиссионер Суханов продавал казенный гранит за собственный. Мне известно имя чиновника-попустителя. — Базиль отступил на шаг и поднял указательный перст до уровня лица чиновника-попустителя. — Я донесу на вас, милостивый государь, ежели вы не исхлопочете для меня архитектурную службу!

Вытянутый вперед палец дрожал от стыда и отчаяния, жогда Базиль произносил свое требование. Ненавистное лицо равнодушно белело перед ним; и, чуть не касаясь пальцем этой проклятой безжизненной кожи, Базиль испытывал отвращение.

Затем Исакий Исакиевич опустился в кресло, чем дал повод Базилю порадоваться: «Ага, подломились твои ножки!»

— Настасья! — громко сказал Исакий Исакиевич, оглядываясь через плечо. — Настасья, отвори-ка сударю ворота.

С этими словами Исакий Исакиевич взял со столика «Северную пчелу».

«Чтобы скрыть свой испуг», — догадался Базиль и, шагнув к чиновнику, хотел вырвать из его рук газету. В это время появилась в дверях стряпуха и страшным голосом завопила:

— Матушка-мохнатушка! Ой, убьет!

«Недоставало только, чтобы я еще дрался с ними», — брезгливо подумал Базиль, вдруг остыв, и ему представилось, как дружно выпихивают его из дома хозяин и стряпуха.

Он мысленно плюнул еще раз, взглянул на хозяина, спокойно читающего газету, и вышел. Настасья успела открыть перед ним все двери и выскочила сама на крыльцо.

— До завтра! — крикнул Базиль со двора сквозь распахнутые двери сеней, прихожей, гостиной.

Настасья с крыльца погрозила ему увесистым кулаком:

— Сдохнешь до завтра! Помяни мое слово, сдохнешь!

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

На следующее утро Базиль явился в канцелярию Строительной комиссии. Он попросил швейцара вызвать к нему в приемную Исакия Исакиевича. Против ожиданий, Исакий Исакиевич немедленно вышел, и, не дожидаясь новых угроз Базиля, сам заговорил с ним. Милостиво заговорил:

— Вы, сударь, имеете какие-либо письменные доказательства?

— Доказательства чего? — переспросил Базиль, удивившись деловитости избличаемого преступника,

Исакий Исакиевич повторил, твердо выговаривая каждое слово:

— У вас имеются на руках письменные обоснования вашего доноса? Какие-либо расписки заинтересованного лица, письма?

Базиль покраснел.

«Так и назвал, — подумал он, — назвал доносом! Ах, до чего я дошел! Но разве я сам? Меня довели. Есть от чего решиться на крайнюю меру. . .»

Утешив себя, он уже со спокойною совестью объяснил чиновнику:

— Того, что вы называете письменным доказательством, у меня не имеется, но зато я могу перечислить десятки подробностей этого крупного мошенничества, подробностей, с разных сторон уличающих заинтересованное лицо.

— Кому вы намерены подать свой донос?

— Главному архитектору.

— Господину Монферрану?

— Да.

— В этом случае вы изложите донос по-французски?

— Ну разумеется!

Недоумение Базиля росло перед деловитой заботливостью Исакия Исакиевича. Последний расспрашивал таким тоном, точно был заинтересован в успехе доноса, написанного по всей форме.

— Я потому спрашиваю, что переводчик может исказить. Но вам в данном случае хорошо пригодится ваше парижское воспитание, — с язвительностью заметил Исакий Исакиевич. — Да и дело не в этом. А вот вы не думаете, что господин главный архитектор заинтересован в сохранении тайны, так сказать, коммерческой тайны?

Исакий Исакиевич говорил шутливым тоном. Лоб его был лучезарно чист, все морщинки исчезли, он говорил и от всей души радовался правде своих слов.

— Я подам донос председателю комиссии, — хмуро сказал Базиль.

Исакий Исакиевич также нахмурился.

— Довольно об этом. Вам никто не поверит. Я не могу объяснить вам особенности этого дела, здесь не место для таких разговоров. Я и то чересчур снисходителен, разубеждая вас. Если желаете уяснить безрассудность подобных доносов, повидайтесь с Архимом Евсеевичем. Это ведь он когда-то вам рассказал о злоупотреблении? Он рассказал не все, и тем ввел в заблуждение вас. Со-

ветую повидать и расспросить. А за сим честь имею откланяться.

Исакий Исакиевич любезно распрощался и удалился.

Базиль стоял с полминуты, прислушиваясь. К чему прислушивался — он сам не знал: за дверью в чертежной и канцелярии было тихо, в приемной никого не было. Может быть, Базиль слушал, не войдет ли кто с площади? Он думал:

«Судя по тому, что Исакий Исакиевич упомянул имя Шихина, следует заключить, что тот уже знает о моем приезде, как это всегда бывало, и находится где-нибудь здесь неподалеку. Я уверен, что, выйдя отсюда, я встречу моего рокового купца. Что ж, с удовольствием, у меня нет зла на Шихина, он был по-своему прав».

Выйдя из канцелярии, Базиль старательно осмотрелся вокруг, ожидая увидеть рыжую бороду или услышать насмешливый голос, но предчувствие обмануло: Шихина он не встретил.

Прямо перед Базилем было оно. Таинственное оно, наконец-то заполнившее пустое место между великолепными портиками. Великое множество строительных лесов окружало его. Базилью было не до того, чтобы всматриваться и угадывать сквозь леса красоту или безобразие. Для воодушевления прежнего Базилия было бы достаточно одного сознания, что оно представляет собой титанический памятник и что он, Базиль, участвовал в создании такой твердыни. Нынешнему Базилью было не до того. Нынешний Базиль думал:

«Хоть прямых результатов пока еще нет, а все же шантаж мой имеет успех: Исакий Исакиевич струсил. Он откровенно струсил, иначе бы он не разговаривал сейчас со мной, да еще в присутственном месте и в присутственные часы. Покинул свой стол и принялся заговаривать зубы!»

Базиль в этот раз был прав. Вообще он делал значительные успехи. Служба у Павла Сергеевича не прошла даром. Он отлично понимал, например, что мошенничество комиссионера Суханова с казенным гранитом не обошлось без участия высших чиновников Исакиевской комиссии и потому не удастся вывести дело наружу. Но тем более должен бояться Исакий Исакиевич. Властные люди, чтобы замаять историю, легко свалят вину на мелкую сошку. Из всех виновных и попустителей погибнет один Исакий Исакиевич. И сам Исакий Исакиевич понимает это, оттого он и струсил, и при соответствующей на-

стойчивости, с терпением и умением можно добиться от него согласия устроить Базиля на службу. Шихин же теперь ни к чему. Упоминание о Шихине — хитрость Исакия Исакиевича, который хочет запутать Базиля.

Базиль шел по городу. Петербург изменился с 1830 года. Липовые деревья, росшие посредине Невского проспекта, были пересажены по приказу государя к тротуарам; деревянные колеи для экипажей были заменены торцовой мостовой во всю ширь проспекта. Появилось еще больше кондитерских. Зайдя в одну из них, Базиль выпил кофе и взял в руки какой-то журнал (старый-престарый, за 1820 год), раскрыл и прочел:

«Любопытство публики обращено теперь на модель новой Исаакиевской церкви, показываемую каждую среду в доме Шмидта, что у Семеновского моста на Фонтанке. В день сей и сам архитектор господин Монферран бывает при том для объяснения подробностей господам посетителям. Модель поставлена на огромном столе из красного дерева, который раздвигается с помощью пружины на две равные половины и дает возможность любопытствующим видеть самую внутренность храма.

Перед входом в комнату, где поставлена сия модель, можно видеть для сравнения и модель старой церкви. Кроме несравненно изящнейшей отделки первой перед второю, господин Монферран умел и побочными предметами придать особый блеск своему произведению. Комната, в которой она поставлена, украшена картинами, а по полу натянута богатый ковер, что распространяет какую-то приятную мрачность, — и вот искусство, особенный дар иностранцев, которое мы, русские, еще у них не переняли!»

Прочтя это без особого трепета, Базиль задал себе вопрос: почему он ни разу не полюбопытствовал прежде взглянуть на эту модель? Чтобы не спугнуть убеждение в том, что он служит гениальному архитектору? Но такого убеждения у него никогда не было. Значит, другое: чтобы не спугнуть мечту о том, что он служит себе и своему любимому искусству, которому дано двигать горы? «Кажется, так, — решил Базиль, — но и давно ж это было. . .»

Выпив кофе, Базиль расплатился и вышел, сказав самому себе:

«Мне теперь надо знать одно: мне тридцать два года, надо спешить. А сегодня нужно подумать над тем, что мое посещение Исакия Исакиевича в канцелярии взволновало его больше, чем дома. Значит, и впредь следует так поступать — пугать его в канцелярии, а не дома».

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Нельзя было рассчитать вернее, чем рассчитал Базиль. Исакий Исакиевич сдался в третье его посещение.

— Хорошо, — сказал Исакий Исакиевич, — я согласен, приходите завтра, я доложу о вас.

Можно было не сомневаться, что он все устроит, не ограничась одним обещанием: человек этот явно спасал свою шкуру, а представляло ли смысл обещать, не намереваясь исполнить? Это бы означало подпасть под удвоенный гнев Базиля.

С легким сердцем вышел Базиль из приемной, с иным чувством, чем в прошлые дни, поглядел на строившийся собор: теперь это снова была его постройка. Что ему до того — прекрасно здание это или безобразно, единственно важно то, что на его постройке Базиль сделает себе наконец карьеру. Не все же быть ему крепостным-неудачником. Он чувствует прилив жизненных и творческих сил. Он повернет свою жизнь так, что будет богат, независим (или приятно зависим, на выгодной службе), через десять-пятнадцать лет сделается известным, уважаемым архитектором, дарование его развернется, его станут наперебой приглашать туда и сюда, и независимо от того, что он примется строить — грандиозное или малое, сдвинет и вознесет гранитные скалы для крепости, замка, дворца, собора, соткет ли из мрамора изящнейший павильон, — все это будет одинаково превосходно. Мания титанизма прошла вместе с юностью. Базилю нужны теперь деньги, почет. . . Из приказчика и конторщика — в знаменитые архитекторы. Не сразу, конечно, не так, как хочется мечтательной юности.

Базиль запасся терпением, после семи лет конторской службы в деревне ему нипочем десять-пятнадцать лет постепенного продвижения в Петербургском архитектурном комитете. Тем более, знает он, не скоро придет богатство: он честен, не станет обкрадывать казну и брать взятки с подрядчиков, — но и богатство придет в свое время, вместе с почетом. Если даже предположить самое

худшее — что художественные способности его выдохлись, — все равно тужить нечего: многолетняя деловая выучка непременно сделает из него инженера, расчетливого строителя.

Не желая быть праздным зевакой на строительной площади, которую ощущал сейчас как-то особенно поделовому, Базиль предпочел сегодня быть праздным гулякой, бродить по городу, и притом не заглядываясь на здания, а скорее уж заглядывая внутрь зданий — в магазины, кофейни, меняльные лавки. Скоро все это предстанет в его распоряжение. Мечтательная юность не видела повседневных мелких богатств жизни, пришедшая ей на смену энергическая молодость видит, жаждет и добивается; наступающая зрелость будет держать все в своих руках.

Проведя в таких мыслях день и вечер, наутро Базиль прибыл в Исакиевское присутствие пунктуально, в назначенный час, ничуть не раньше, чтобы не ждать, как когда-то, в униженном положении беззащитного просителя. Исакий Исакиевич вышел к нему с такою же точностью и, только что выйдя, еще в дверях осведомился:

— У вас при себе необходимые документы и рекомендации?

— Да, и надеюсь, при мне они и останутся, — ответил Базиль со спокойной дерзостью. — Я сам покажу их, когда это будет действительно нужно. Вы согласились исхлопотать наименее удобную для меня службу; как, какими средствами исхлопотать — полностью ваше дело. Вы понимаете меня, любезный Исакий Исакиевич?

— Да, я понимаю вас, сударь, — глухо ответил Исакий Исакиевич, действительно понимавший, что сила пока на стороне Базиля. — Но все же вы разрешите мне просмотреть рекомендующие вас письма, чтобы я знал, как характеризовать вас выгоднейшим образом, что передать в точности, как по писаному, что убавить и что... — Исакий Исакиевич даже принудил себя улыбнуться улыбкой сообщника, — и что прибавить!

Базиль, не раз обманутый прежде, остерегался подвоха и глядел на чиновника подозрительно, как на профессионального мошенника.

— Что вам смотреть мои письма, — ворчливо сказал Базиль, — они написаны по-французски, вы все равно не поймете.

— Хорошо, — терпеливо сказал Исакий Исакиевич, — так прочтите мне вслух сами, по-русски.

Против этого ничего нельзя было возразить, и Базиль нехотя достал письма. Исакий Исакиевич быстро глянул на них.

— Здесь всё, решительно все письма и документы?

— Здесь всё, — подтвердил Базиль и еще дальше отнес руку с бумагами. Его почти испугал хищный взгляд Исакия Исакиевича, можно было подумать, что коротконогий чиновник готовится к прыжку.

Между тем Исакий Исакиевич не только не намеревался прыгать и выхватывать из рук документы, но в эту минуту, напротив, вздохнул с облегчением: он нашел, за что зацепиться.

— Скажите, сударь, — произнес он уже со строгостью, предугадывая ответ, — ваш паспорт также у вас на руках?

Все было кончено. В этот вечер Исакий Исакиевич законно торжествовал, сидя в низком, удобном креслице в домике на Галерной. Торжествуя, он все же немного бранил себя в мыслях: отчего он так растерялся, что только в последний момент догадался спросить о паспорте? Ведь можно было сразу с уверенностью решить, что Базиль был на положении беглого или беспаспортного; стоит лишь пригрозить полицией, и жало его завянет.

Отныне враг был обезврежен.

— Настасья, — сказал Исакий Исакиевич, уходя утром на службу, — если он сюда придет, знаешь, как поступить?

— Знаю, — ответила баба, — обозвать Васькой и пригрозить таской!

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

### Золочение через огонь

Заводчик Чарлз Берд в конце лета явился в Исакиевскую комиссию и попросил разрешения видеть господина председателя.

— Для конфиденциального сообщения, — сказал он чиновнику.

Чиновник доложил председателю, и заводчик был провожден в кабинет.

— Ваше сиятельство, — сказал мистер Берд, — мне очень жаль, но я вынужден отказаться от вашего почтеннейшего заказа.

Граф сидел молча, с поднятой бровью.



— Ваше сиятельство, — сказал мистер Берд, — поверьте, мне очень жаль, но в силу одного обстоятельства я буду вынужден отказаться от золочения листов меди для купола Исаакиевского собора.

Мистер Берд был умен и довольно образован; неизвестно, был ли умен граф Ланской, но совершенно ясно, что граф Ланской ничего не смыслил в металлургии. Мистер Берд решил восполнить такой недостаток в образовании графа, чувствуя, что без этого не удастся его убедить. Кратко, но достаточно ясно он изложил основы золочения меди. Ланской не перебивал его, и мистер Берд в конце счел нужным добавить, вызывая на разговор:

— Как видите, ваше сиятельство, способ золочения через огонь путем амальгамирования не слишком сложен.

Произнося это, мистер Берд внимательно присмотрелся к графу, и в сумраке кабинета ему показалось, что тот задремал: брови не были удивленно приподняты, как в начале беседы, напротив — опустились вовсе и будто надавили на веки, так что те, в свою очередь, опустились, прикрыв глаза. Сделав такое наблюдение, мистер Берд решил сказать как бы про себя:

— Да, этот способ достаточно прост, им может воспользоваться всякий, кто пожелает себе наиболее мучительной жизни и не менее болезненной смерти.

— Что это значит?

Мистер Берд ужасно перепугался. Граф проснулся под действием последних слов Берда или не спал вовсе.

Фраза мистера Берда была неприлична и походила на какое-то нравоучение. Разумеется, ему не следовало забывать.

Далее мистер Берд пояснил, что операция выпаривания ртути, помимо своей трудности, помимо того, что требует большого навыка, принадлежит еще к числу наиболее вредных производств, потому что при ней рабочие подвергаются пагубному влиянию паров ртути.

Тут граф опять спросил, но уж менее строго:

— Что это значит?

Было совершенно очевидно, что он не знает и никогда не слышал о каком-либо пагубном действии ртути на человеческий организм, а может быть, даже вспомнил о том случае, когда ненароком схваченная неаполитанская болезнь была успешно вылечена при помощи ртути, именно ртути — «лежу с ртутием в крови», — и слова мистера Берда показались ему противоречащими воспоминанию юности.

Во всяком случае, граф отнесся недоверчиво к заявлению Берда, и это смутило заводчика окончательно. Мистер Берд попытался еще раз перейти к дидактическому тону.

— Сделавшись жертвой страшной болезненности, — с чувством сказал мистер Берд, — они должны будут владеть жалкое существование, ибо в большей части случаев горестные признаки отравления ртутью проявляются только некоторое время спустя.

— Почему вы так думаете? — спросил граф.

— Я это знаю наверное, ваше сиятельство. Мне приходилось наблюдать отравленных ртутью рабочих.

Граф был не в духе.

— Вы знали это, милостивый государь, вы думали обо всем этом, почему же вы согласились принять заказ?

— Я надеялся предотвратить сильные отравления, ваше сиятельство. Я предполагал рассеять пары ртути тем, что наиболее вредные операции будут производиться под открытым небом. Но... — мистер Берд показал на окно рукою.

Граф поглядел туда.

— Что такое?

— Дождь, ваше сиятельство.

— Ну?

— Нам помешала ранняя осень, ваше сиятельство. Стало невозможным производить работы под открытым небом. Между тем грандиозность и срочность заказа не позволяют нам пережить неблагоприятные месяцы, время дорого, ваше сиятельство. Мы попробовали построить сарай с вытяжными трубами...

Граф отмахнулся.

— Какое мне дело до ваших вытяжных труб, говорите об этих вещах с архитектором.

— Но, ваше сиятельство, — поторопился закончить свое сообщение мистер Берд, — трубы отказались действовать, почти нет тяги. Осень, ваше сиятельство.

Мистер Берд опять показал на окно, выходящее на Фонтанку, серую и рябую под моросившим дождем.

Граф снова произвольно взглянул туда и, раздосадованный, ворчливо сказал:

— Милостивый государь, что вам угодно от меня? Вы хотите, чтобы я своим собственным ртом дул в ваши дурацкие вытяжные трубы?

— Простите, ваше сиятельство, — тихо сказал Берд, — но я не имею права рисковать чужой жизнью или по крайней мере здоровьем моих рабочих людей.

Граф быстро взглянул на заводчика.

— Они ваши люди? — он подчеркнул слово «ваши».

— Да, ваше сиятельство, часть из них — мои крепостные люди, а часть — наемные.

Ланской оказался умнее, чем ожидал мистер Берд, он усмехнулся и произнес:

— Одним словом, вы не хотите, чтобы ваши, — граф опять подчеркнул «ваши», — рабочие люди теряли способность к труду?

Мистер Берд немного замялся.

— Да, откровенно говоря, да, ваше сиятельство. Заказ такой крупный, мы будем заняты им в продолжение целого года, а то и больше. Непрерывная работа над золочением окончательно подорвет здоровье моих рабочих...

— Другими словами, вы хотите, чтобы правительство заплатило вам за утраченную способность к труду ваших людей (о наемных нет речи). Еще проще говоря, вы хотите, чтобы правительство выкупило их после, уже явно негодных, по сходной для вас цене?

Смушенный определенностью высказываний председателя правительственной комиссии и неожиданной его проницательностью, мистер Берд вынужден был еще раз пробормотать:

— Да, откровенно говоря, да, ваше сиятельство.

В тот же день в контракт было внесено соответствующее дополнение. Граф Ланской оказался не только более проницательным, чем то предполагал мистер Берд, но и несравненно более уступчивым, нежели можно было заключить по тону, каким вел он беседу с заводчиком.

Но для уступчивости были свои причины. Только что недавно на собственную его, председателя, очередную записку о ходе работ по сооружению храма, поданную на высочайшее имя, последовало высочайшее замечание:

«Изыскать способы скорейшего окончания оно́го» (то есть строения).

Стало быть, теперь не должно входить в излишние препирательства с подрядчиками касательно денег. Необходимо лишь оговорить соответствующую поблажку в контракте как премию за быстроту выполнения подряда или заказа. И уж, разумеется, не следовало чинить препоны в таком важном деле, как золочение купола, ибо

эта работа знаменовала собой окончание почти всех наружных работ по сооружению храма. Государь велит в 1840 году перейти к украшению храма внутри.

Через несколько дней мистер Берд снова посетил председателя.

— Ну, — сказал тот, — вы опять с претензиями?

— О нет! — улыбнулся Берд. — Я не с претензией, ваше сиятельство, нет... Я лишь хочу спросить вас, не разрешит ли нам его высокопревосходительство господин генерал-губернатор брать на работу по вредному производству... брать этих... — Берд, как и в прошлый раз, вдруг замаялся.

— Ну, ну, — подбодрил председатель.

Берд перегнулся через письменный стол к председателю и тихо договорил:

— Беглых. Брать беглых, без паспорта. Это значительно упростит дело.

Граф улыбнулся.

— Я думаю, — он улыбнулся в первый раз за обе аудиенции, — я думаю, разрешит. Действительно, это благоразумно.

— Это будет экономично, ваше сиятельство.

— Я и говорю, это будет благоразумно и экономично.

Через несколько месяцев в кабинете состоялась аудиенция, ничуть не похожая на посещения графа заводчиком. На этот раз его посетила какая-то сволочь. Ее вид так поразил чиновников и лакеев, что они не сумели ее задержать и сами вбежали в кабинет не раньше, чем тот успел напугать графа. Затем, расталкивая всех, прибежал, запыхавшись, инвалид караульной гвардейской инвалидной команды при строении собора и тоже протиснулся в кабинет. Всем им представилось страшное зрелище.

Граф стоял во весь рост за своим столом, как бы отгородившись им от ворвавшегося незнакомца, а незнакомец стоял посреди комнаты и молча смотрел на графа.

Вид незнакомца был поистине ужасен. Мало сказать так: он был просто невероятен. Суть была не в его одежде, хотя и одежда выглядела в кабинете скандально, суть была в том, что изо рта этого человека торчал распухший, как у повешенного, язык и непрерывно лилась слюна, обливая грудь и кадая на зеркальный паркет.

— Что? — как-то робко сказал граф, напрягая шею, чтобы отворотиться, но не преодолевая обратного желания — смотреть на того не отрывая глаз. — Что? — визг-

ливо закричал граф, отворотившись наконец, но сейчас же опять глянул на человека, как бы и впрямь сорвавшегося с виселицы.

Чиновники и лакеи хотели было по-молодецки подскокнуть, схватить, утащить и вытолкать вон, но отпрянули, когда он обратил к ним свое ужасное лицо. Лишь инвалид гвардейской инвалидной команды бойко вынырнул на первый план, подбежал и схватил того за руки, привычно вывернув их назад.

— Что? — опять крикнул граф.

Инвалид струсил, вообразив, что окрик относится к нему, и выпустил руки.

— Держи! — закричал граф, в свою очередь струсив.

Зато инвалид ободрился и с удвоенной силой заломил вражьи руки за спину, причинив, должно быть, немалую боль, потому что тот замычал. Замычал именно так, как только может замычать, а не застонать человек с распухшим языком, не помещающимся во рту.

— Кто таков? — граф старался смотреть мимо страшного лица на красное от излишней натуги, но ничуть не страшное лицо инвалида, выглядывавшее из-за плеча незнакомца.

— Работный человек, ваше высокосиятельство! — радостно закричал инвалид гвардейской инвалидной команды.

— Сумасшедший? Водобоязнь? Пьяный? — отрывисто спрашивал граф, понемногу успокаиваясь и мысленно перебирая еще другие возможные причины для столь мерзкого вида.

— Так точно, больной, ваше высокосиятельство, — подхватил инвалид.

— Чем болен?

Тут все присутствующие заметили, что больной вдруг затрясся всем телом, задрыгал коленками, и безобразный язык его зашевелился, пытаясь убраться в рот и помочь губам выговорить какие-то слова, вроде:

— Туть... атушка...

Граф было снова забеспокоился, но инвалид живо устранил недоразумение.

— Ваше сиятельство, это он хочет сказать: ртуть-матушка. Они, ваше сиятельство, все говорят то же самое... мол, ртуть-матушка.

В это время инвалид был вынужден весь спрятаться за спину работного человека, потому что тот вдруг обратил лицо к нему.

— Дюже смердит, ваше сиятельство, — оправдывался инвалид, выглядывая из-за другого плеча больного, — дых у них смрадный, а он как дыхнет на меня! . .

— Уведите его, — слабо проговорил граф, не пробуя и не желая спросить больного или хотя бы всезнающего инвалида, что тому нужно, зачем он сюда явился.

— Прикажете наказать его, ваше сиятельство? — с готовностью спросил инвалид.

Граф затопал ногами.

— Уведите его! Уведите его!

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Борода Шихина утратила свой ярко-рыжий цвет: она поседела. В остальном Шихин не переменялся ничуть. Базиль постарался увидеться с ним тотчас же после краха. Он откровенно рассказал купцу все как было. Огорчение его было слишком велико, чтобы думать в эти минуты о соблюдении осторожности в разговоре с купцом. Да и к чему теперь скрывать?

Базиль сказал под конец:

— Я давно уже не сержусь на вас, Архип Евсеевич. Вы безжалостно со мной поступили, но вы были по-своему правы. Да и не о старом я пришел поминать. Вы умный человек, Архип Евсеевич, я пришел к вам за советом. Я ведь иной нынче, я не прежний.

— Пора, Василий Иванович. Чай, ведь тебе за тридцать? Что же ты бороду не растишь? Молодишься, или Павел Сергеевич не велит?

— С бородой надо богатым быть. Это не шутка, а правда, Архип Евсеевич. Надо богатым быть, вроде вас.

— Верно, правда, — подтвердил Шихин. — Я-то богат. Богат, хоть и вором не был. Мое богатство честное.

— Ваше богатство честное, — подтвердил Базиль.

— Откуда ж оно взялось? — спросил Шихин.

Базиль молчал. Шихин сказал наставительно:

— Во Владимирской губернии у Покрова говорят: нет выгоднее торговли плотниками. А я скажу: нет выгоднее торговли каменотесцами. Прикажи только — горы ворочают. Для кого там каменные горы, а для меня — золотые, выходит.

— Это так, — согласился Базиль (они пока удивительно спокойно и согласно беседовали). — А вот мне вы

все же неладно советовали. . . Ради дела, говорили, работай и ни о чем не заботься. . . Ради дела, ведь это значит — ради вас, для вас золотые вам горы ворочай. Как раз то же, что и от каменотесцев требовалось.

Шихин захохотал.

— Ай да Василий Иванович! Поумнел! Извини меня, Василий Иванович, но ты поумнел! Прямо скажу, поумнел! До всего дошел! Ну, так слушай. Ты пришел ко мне, как к умному купчине, совета спросить, и я тебе отвечаю. Не ко времени ты поумнел, Василий Иванович, умному-то тебе будет труднее жить. Раньше легче жил, все равно как в ангельском чине. А теперь поумнел, сразу почет и деньги для самого потребовались, не хочешь больше для купца загребать, а не худо бы, говоришь, для себя. Ох, зря! Василий Иванович, вот что скажу тебе: обстоятельства здесь для тебя невезучие, поезжай-ка ты подбурпоздорову к Павлу Сергеевичу, господину Челищеву, постарайся ему угодить, заслужи — и в довольстве весь век проживешь. А, Василий Иванович!

— Что?

— Не слышишь? В довольстве да в холе, говорю, деревенской не хочешь жить?

— Прощайте, — резко сказал Базиль.

— На что рассердился? А говорил, не сердись. Поезжай, не упрячься, так лучше будет.

— Прощайте. Вы правы, наверное, как всегда, но я еще молод, и у меня есть самолюбие. Я возвращусь не раньше, чем Павел Сергеевич вытребует меня по этапу. А за это время авось что-нибудь выйдет. Как вы не понимаете, что мне сейчас лучше разбойничать, чем вернуться в деревню! Умный вы человек, а не понимаете, что я чувствую наступающую зрелость, а с ней — такой прилив сил, что и вы, наверное, были бы не прочь перемениться со мной.

Шихин сощурился.

— Э-э-э, Василий Иванович! Я, брат, еще могу своей бородой тебя по рукам, по ногам скрутить! Ну, до свиданьца, что ли, препираться с тобой не хочу, да и сильно некогда!

Свиданьице наступило через три месяца. Исхудавший и побледневший, Базиль в сентябре пришел к Шихину. Шихин встретил его с ухмылкой.

— Пришел денег просить на дорогу? Так и быть, дам на доброе дело. Говоришь, смирился?

— Я пришел к вам затем, — сурово сказал Базиль, —

чтобы сообщить, что я поступил на работу, и попросить вас...

— К кому на работу? — перебил Шихин.

— К иностранцу, — уклончиво отвечал Базиль.

— К французу? — Шихин подразумевал Монферрана.

— Нет, к англичанину.

— Ой, неужели к Берду? — Шихин как будто даже испугался.

— К Берду. К тому, что, помните, приезжал на остров.

— Знаю, милый, знаю такого.

Шихин сокрушенно качал головой, но Базиль делал вид, что не обращает внимания на его явное огорчение.

— Полагаю, — сказал Базиль, — что он меня заметит. Англичанин этот настолько свободомыслящий, что принимает на свой завод и беглых, лишь бы они хорошо работали. Должно быть, ему пришлось дать приличную взятку полиции, чтобы иметь возможность поступать так, но не в этом дело. О, я уверен, что он ценит людей.

— Васёк, дурачок ты мой в тридцать два года, да ведь он тебя уморит, затем лишь и взял... Ничего-то не знаешь ты... Секрета не знаешь, а секрет-то простой...

— Обождите, — строго остановил Базиль, — дайте мне досказать. Я пришел попросить вас не сообщать Павлу Сергеевичу о месте моей работы. Вы-то сами такой всезнайка, что и без меня бы все обо мне узнали. Но вам нынче нет корысти меня выдавать. Прошу вас! Между тем в это время я успею добиться чего хочу. Несмотря на многие неудачи, я продолжаю чувствовать уверенность в себе. Не подумайте, что я поступаю к Берду с отчаяния, — напротив, я знаю, за что бы я сейчас ни принялся, я во всем успею. Дайте мне честное слово, что вы не станете мне мешать. По рукам?

— Обожди теперь ты, — строго сказал Шихин, — дай спросить: к работе еще не приступал?

— Нет.

— В мастерской еще не был?

— Не был.

Шихин начал опять ухмыляться.

— В таком случае по рукам! Даю слово, что умолчу и к этапу тебя не представлю. Потому что ты раньше срока с завода сам убежишь без задних ног.

— Вы меня, должно быть, не знаете, — сказал Базиль, — прощайте.



На Гутуевском острове, приморской окраине Петербурга, ранним осенним утром, под дождиком, моросившим с вечера, стояли перед конторой вновь принятые рабочие. Их было более десятка, стояли они шеренгой, как приказал мистер Берд.

Сам мистер Берд производил опрос рабочих, чтобы узнать, кто к чему годен, кого можно приставить к самостоятельному и трудному делу, кого сдать в подручные.

— Кто из вас будет смысленный малый? — спросил мистер Берд.

Шеренга молчала, понутив головы. Только один человек, стоявший на левом фланге, пошевелился как бы в нерешительности.

— Кто смысленный малый, выйди вперед, — повторил англичанин.

Человек на краю шеренги шагнул вперед. Англичанин уставился на него.

— Ты?

— Я.

— А почему ты смысленный малый?

— Я обучался в Париже.

— Дворянин?

— Дворовый.

— Чему же ты обучался в Париже — господские тарелки лизать?

— Я обучался архитектуре.

— Значит, не очень смысленный малый, если обучался архитектуре в Париже, а нынче пришел ко мне заниматься тереть мочалкой и нюхать ртуть!

Мистер Берд засмеялся, довольный своей шуткой. Базиль побледнел от обиды, хотя ничего не понял из его слов.

— Но, но! — сказал Берд, нахмурясь. — Если ты такой нежный, не к чему было приходить сюда. Пойдешь в подручные.

Мастерская представляла собой обширный сарай, без пола, без потолка. Когда Базиль впервые вошел сюда, еще будучи полон обиды на Берда, в мастерской было тихо. Эта работа не походила ни на какую работу большого механического завода: здесь не ковали, не прокатывали, не плавляли и не отливали, не резали, не сверлили и не обтачивали металл. Не было оглушающего

грома молотов, ослепляющего сверканья вагранок, пронзительного визга напильников. Длилась какая-то тихая, малоподвижная работа, люди над чем-то склонялись в разных местах в полутьме сарая, и что-то поблескивало под их руками и ниже — у их ног и еще где-то сбоку. Сразу нельзя было понять, что это блестели разные вещи, блестели по-разному, и все отличительные особенности мастерской заключались в этих разных блесках.

Тлели не слишком раздутые угли особенных очагов, открытых сверху, широких и плоских, с двумя решетками, на одной из которых лежали угли; отсвечивали листы красной меди, очищенные кислотами, приготовленные к покрытию амальгамой; совсем тускло и жидко мерцала ртуть в каменных чашках, и, наконец, присутствовал как бы совершенно отличный от всех этих незатейливых технических блесков, единственный в мире, ни с чем не сравнимый блеск — сияние золота.

Золото было не в слитках. Это золото было тончайшим слоем в малую долю миллиметра наведено на медь, но тем ярче оно горело. Можно себе представить, как оно будет гореть под солнцем! Знатоки предсказывали, что позолоченный купол Исаакиевского собора будет виден в окрестностях за сорок верст. Знатоки уже разглашали это на всю Европу.

— Раззява! Эй, раззява, пошел на место! — так крикнул мастер в самые уши Базилью.

Так начался его трудовой день. Базиль послушно отправился к ближайшему горну, куда его послали чуть не тычком, и с усердием принялся за дело.

То, что заставили его делать, было несложно, «смышленный малый», каким в самом деле был Базиль, мог надеяться скоро перейти на другую работу, более самостоятельную.

Да и весь процесс золочения был несложен. Ртуть подогревали в каменных тиглях, растворяли в ней золото, образовавшуюся амальгаму заворачивали в кусок кожи и обжимали для отделения от нее избытка ртути. Очистив наждачными порошками поверхность медного листа, подлежащего золочению, смачивали ее слабою азотной кислотой и затем с помощью щеточек из латунной проволоки накладывали на металл амальгаму, распределяя ее как можно ровнее по поверхности. После этого медный лист подвергали слабому нагреванию над

горящими углями для того, чтобы выпарить ртуть. С целью получить по возможности ровную позолоту обрабатывали при этом амальгамированную поверхность мягкой щеткой или тряпкой. Когда ртуть испарялась, что узнавалось по золотистому цвету поверхности, для быстрого охлаждения лист погружали в холодную воду. Обычно золотили не за один, а за два раза, — повторные операции производились точно таким же путем. Затем посредством стальных гладил наводили политуру на золотую поверхность. Наконец после всего, обмыв и просушив позолоченный лист, его натирали различными порошками.

Несмотря на то что Базиль обучался в архитектурной школе, общее техническое образование его было крайне невелико: он почти не имел представления о металлургии с ее многообразными отраслями и производствами, к которым принадлежало и золочение металлов. Базиль, как и все его школьные сверстники, плохо знал, а теперь уже и вовсе позабыл основы химии. Амальгамирование для него явилось совершенно новым делом, которым он, как и всяким новым делом, относящимся к технике или к искусству, всерьез заинтересовался. К сожалению, ему некогда было наблюдать за всеми подробностями процесса, а сегодняшняя его работа подручного была слишком проста и груба. Он придерживал медный лист на верхней решетке над очагом, в то время как наводчик-мастеровой растирал по листу амальгаму; подбрасывал в очаг угли, раздувал их, менял воду в чане, вдвоем с мастером переносил листы с места на место, подносил другие вещи. Хотя работа эта была не очень тяжелая, с непривычки Базиль скоро устал. Но все-таки он был молод, здоров и за время обеда успел отдохнуть; кроме того, физические силы его поддерживала нервная энергия, и потому, несмотря на усталость, он смог кое-как дотянуть до конца долгого заводского дня. Пошатываясь, он добрался до барачков, где предстояло ему отныне жить вместе с другими рабочими. Ничего не замечая вокруг себя, он свалился на нары и в ту же секунду заснул. Заснул еще крепче, чем в тот день юности, когда он плыл на судне к Архипу Шихину и спал прямо на палубе, по-простецки всхрапывая.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Утром Базиль встал вместе со всеми. Тело немного ломило, но он быстро размялся и снова принялся работать. В сущности, его, как и прежде, как и всегда, воодушевляла надежда на будущее, близкое будущее или далекое — все равно. Он знал, как делаются инженерами в чужеземных странах: образованные молодые люди работают по выбранной специальности начиная с самого низа, с подручной работы, и, овладев таким образом всеми деталями мастерства, умея все делать собственными руками, становятся наконец инженерами. Такого инженера уже никто не собьет с толку, не сможет ни обмануть, ни ввести в заблуждение, такой инженер знает все секреты.

Так и Базиль. Он быстро продвигается: из подручного превратится в мастерового, из мастерового — в мастера, из мастера — в инженера. Причем вовсе не обязательно быть ему инженером по металлургии: когда Берд увидит, оценит его способности и узнает его желания, он непременно представит Базиля в архитектурных кругах Петербурга как подающего большие надежды молодого практика. Рекомендация этого богатого англичанина много значит. Главное, что он иностранец. Правда, он обрусел, и обрусел больше, чем Монферран, но тем большие у него связи, он единственно крупный в Петербурге заводчик: все правительственные заказы на механическое оборудование для чего бы то ни было отдаются ему. Монферран — легкомысленный карьерист; Берд — трезвого ума практик. Пусть он груб с Базилем, это также входит в систему своеобразного испытания. Да к грубости Базиль уже привык раньше: разве не был иной раз груб, издевательски груб Шихин, и разве не хуже того во сто крат вежливый деспотизм Павла Сергеевича? Конечно, Базилю придется здесь жить среди особенной грубости: бок о бок с рабочими и мастеровыми. Это темный, понурый народ, живущий дико и грязно; мало радости спать и есть вместе с ними, но и это Базиль принимает как испытание. К тому же это опрошенное состояние ненадолго. Да что толковать, Базиль знает, что все превозможет, любые временные лишения, лишь бы выбиться из постоянного положения неудачника, лишь бы высокие люди его оценили — сначала Берд, потом в комитете.

Так размышлял Базиль в утренние часы второго дня,

когда носил воду и наполнял ею чаны, делая это почти механически.

Потом размышлять стало некогда. Приступив к работе у горна, надо было поворачиваться живее, тем более что Базиль решил возможно быстрее, не теряя ни минуты драгоценного времени, усвоить навыки мастера-наводчика.

Дело наводчика казалось Базилю самым ответственным в золотильной мастерской. Наводчик накладывал на металл амальгаму и растирал ее при выпаривании. Требовалась особая тщательность, чтобы получалась ровная, гладкая позолота.

Базиль, держа лист и раздувая угли, непрерывно следил за каждым движением наводчика и к концу дня настолько проникся уверенностью в своем знании сути дела, что попросил наводчика разрешить ему попробовать растирать по листу амальгаму. Излагая просьбу, Базиль впервые за эти два дня взглянул в лицо наводчика: во время работы, вчера и сегодня, он смотрел лишь на его руки, а за обедом вообще ни на кого не глядел, сосредоточенно думая о своем.

Взглянув на лицо, Базиль поразился его безучастности: руки мастера-наводчика жили работой, а лицо было совершенно мертво. Даже жаркие отсветы угля и золота не оживляли его, глаза оставались пустыми и мутными. Мастерской часто сплевывал, но при этом выражение апатии на лице не менялось: едва отвернув лицо в сторону от очага, но не двигая ни единой лицевой мышцей, он чуть приоткрывал угол рта, изо рта выливалась обильная слюна, и рот закрывался снова. Так и сейчас, когда Базиль попросил уступить ему на время тряпку, наводчик тягуче спустил изо рта накопившуюся слюну и равнодушно подал Базилю тряпку, не проявив ни малейшего беспокойства перед возможной порчей позолоты. Базиль, сбодренный его молчаливой поддержкой — так истолковал он его бессловесность, — принялся уверенно и довольно ловко растирать амальгаму. Через некоторое время Базиль вспотел от жара, исходившего от очага, лицо горело, руки ныли от непрерывных движений, но он был доволен собой — он справился с трудным делом, позолоту он не испортил.

Базиль решил: через несколько дней он попросит мастера или даже самого Берда, чтобы его перевели из подручных в наводчики, разумеется испытав честь по чести его умение.

Гордость, довольство собой поддерживали уверенность в будущем, уверенность в будущем поддерживала выносливость в настоящее время, и во второй этот день Базиль чувствовал себя менее утомленным, чем вчера.

Придя с работы в барак, Базиль не завалился сразу же спать, а стал ужинать вместе со всеми. Он словно ольянел от работы, мысли путались, голова кружилась, зато, проголодавшись, он ел с удовольствием.

Берд кормил лучше, чем Шихин: щи были с мясом, каша гречневая была не затхлая, масло в каше не горькое.

«Молодец Берд!» — решил про себя Базиль.

Его удивляло лишь, что не многие ели с таким аппетитом, как он: одни вышли из-за стола, едва похлебав щей, другие остались есть кашу, но тоже не особенно на нее налегали и к тому же поминутно отплевывались, точно им было противно есть. Между тем шихинские каменотесцы были всегда голодны, им не хватало приварка, не хватало хлеба, они часто жаловались, что брюхо подвело с голодухи. И то было понятно: как же не проголодаться рабочему человеку, гнувшему спину в продолжение четырнадцати-пятнадцати часов. А бердовские рабочие знай отплевывались, а не ели в свое удовольствие. Под конец, когда Базиль уже насытился, ему стало даже противно от этой массы мужицкой слюны, извергаемой подле него под стол.

«Что с ними?» — брезгливо подумал Базиль и взглянул искоса на своего соседа. Это был тот самый наводчик, с которым работал Базиль вчера и сегодня. С таким же апатичным выражением лица, как днем на работе, он поднес ложку ко рту. Рот был открыт, наготове, мастеровой с трудом протолкнул ложку между распухшими, бледно-серыми, беззубыми деснами и, давась, не жуя, проглотил кашу.

Базиль посмотрел на других, кто сидел рядом: десны их также казались распухшими и слюнявыми.

Стараясь не обращать больше ни на кого внимания, он торопливо доужинал и отправился в свой барак спать.

Он улегся удобнее, чем вчера, но не сразу заснул, долго ворочался беспокойно, точно решал и не мог решить что-то важное, а когда засыпал, то наполовину уже во сне вспомнил, что можно было бы расспросить соседа по нарам. Базиль держался здесь на заводе настолько в особицу, считая свое положение временным,

что ему и в голову не пришло разговориться с мастера-выми за ужином, да и все показались ему слишком угрюмыми, все молчали.

«Потом», — сонно подумал он и заснул. Сквозь сон будто бы еще показалось ему, что сосед дрожал рядом с ним, так сильно дрожал всем телом, что тряслись нары.

Базиль спал. В половине ночи он пробудился, ему понадобилось выйти на двор. Натыкаясь на нары, побрел он вдоль всего барака к выходу. В углу над бочкой с водой висел фонарь. То, что увидел Базиль неподалеку от фонаря, заставило его окончательно пробудиться, и заснуть в эту ночь ему больше не удалось.

Отдельно от общих нар стоял топчан, и лежащий на нем человек был привязан к топчану веревками. Только благодаря веревкам он мог лежать на топчане — с такой силой его трясло. Стоило лишь развязать веревки, и человек скатился бы на пол. Однако он спал. Он мог еще спать в таком состоянии, и это поражало всего более.

Вид спящего был отвратителен: из открытого рта вытекала слюна на бороду, распухший язык, как видно не помещавшийся во рту, торчал меж распухших беззубых десен, зловонное дыхание отравляло воздух, мокрое от пота и от слюны лицо казалось зеленым под жалким светом, а может быть, и в самом деле было зеленым. Базиль смотрел на это трясущееся, но словно бы неживое лицо, как на шевелящееся само собой гнилое мясо, — казалось, вот-вот из отверстого рта выползут черви.

На несколько секунд дрожь затихала, затем начинала снова подбрасывать тело. Веревка врезывалась в напрягшийся живот, голова и пятки стучали по топчану, а человек продолжал спать, и это было самое страшное: это значило, что такие припадки бывают с ним ежедневно, утомление же от дня превозмогает все, и он спит, обезопасив себя лишь от падения. С каким чувством он должен с вечера привязывать самого себя веревкой?..

Базиля мутило, он больше не мог стоять над большим, этот ужасный смрад, этот распухший и высунувшийся, как у повешенного, язык казнили его любопытство. Ах, зачем он остановился в проклятом углу? Базиль начинал сознавать, что припадочный и те, что плевались за ужином, ели, не жуя, выставя дурные де-

сны, больны одной и той же болезнью, и болезнь эта происходит от одного и того же.

От чего?

Мучаясь полусознанием, полудогадкой, Базиль сам начал дрожать от предчувствия чего-то ужасного, еще более ужасного, чем увиденное в углу. Он брел по проходу меж нарами, вглядываясь в спящих, тайно желая, чтобы хоть один из них пробудился в эту минуту и рассказал, объяснил Базилю, что здесь такое творится. Но все спали. Многие дрожали во сне, не так буйно, как тот, но все же дрожали заметною дрожью (не от холода — в бараке было жарко), стало быть, тоже были больны.

Базиль все шел, давно уже пройдя мимо своего места, шел и все обманывал себя, будто еще не догадался.

Ему было стыдно и страшно.

Стыдно своего невежества: он слышал раньше, что существуют какие-то вредные ядовитые производства, но до сих пор не имел о них ясного представления; забыв химию, он и не подозревал об отравляющем действии ртути.

Ему было страшно потому, что он понял сейчас, куда он попал и на что обречен, обречен, как и все эти спящие.

Когда Базиль понял, что от себя ему больше не скрыть правды, он тихо вернулся к своему месту на нарах, смиренно улегся на спину и твердо решил поразмыслить о том, как спасти себя. Ясно было одно: следует уходить с завода. Куда? Об этом как раз и нужно было подумать. Но Базиль не мог думать. Он, в свои тридцать два года решивший во что бы то ни стало построить блистательную карьеру, перевернулся ничком на грязных и жестких нарах, вздохнул раз-другой и заплакал.

Он заплакал не только оттого, что был обречен на болезни, на раннюю смерть, как все эти спящие, — он ощутил себя одиноким.

## ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

На другой день он работал подручным, уже не допуская и мысли взять в руки тряпку наводчика, наклониться над амальгамой и дышать отравой. . .

Еще утром, за завтраком, он приглядывался к рабочим. Большинство выглядело худо после ночи. Руки и



ноги дрожали, лица были серые. Ночью они бредили, днем их мучили поносы. У многих были язвы во рту.

В первые дни Базиль обращал внимание только на производство, не замечая людей; сегодня же он не сводил глаз с людей, работал небрежно и делал промахи. Мастер не раз прикрикивал на него, но Базиль не принимал это близко к сердцу и продолжал разглядывать своих соратников, словно бы сортируя их мысленно на больных, тяжело больных и пока здоровых. Здоровых было очень немного.

Прошло еще несколько дней. Нужно было что-то предпринимать, пока не поздно, пока Базиль сам не успел отравиться, но он почему-то не мог решиться покинуть завод. Он не мог дать себе ясный отчет, что удерживало его на заводе, временами ему казалось, что эта задержка находилась в какой-то связи с его слабостью, с его плачем в бессонную ночь. Да и эта бессонная ночь не была единственной, теперь он почти каждую ночь проводил в беспокойстве, в смятении, просыпался часто, и самый сон его был беспокойным, он бредил. Бредил о том, о чем он старался теперь не думать, бодрствуя: о карьере. Базиль как бы твердил во сне цифру своих лет:

«Мне тридцать два года, тридцать два года, тридцать два года, нужно успеть сделать карьеру...»

Потом вдруг пугался во сне же:

«А вдруг мне уж не тридцать, а сорок два года, я могу не успеть сделать карьеру!..»

Потом тосковал, убедив себя:

«Ах, вот мне уж не тридцать, не сорок, а пятьдесят два года, значит, я опоздал сделать карьеру...»

В эту секунду он просыпался и насмешливо говорил:

«Милый мой, тебе все равно не дожить до пятидесяти двух лет, ты отравишься раньше, о чем тебе беспокоиться?»

Однажды, проснувшись ночью, он почувствовал, что ему непременно сейчас же, сию же минуту нужно начать действовать — привести в исполнение какое-то свое давнее решение.

Базиль вскочил и пошел по проходу. Все спали. Он дошел до угла, взял кусок мела, лежавший у фонаря на полочке, и медленно, осторожно, чтобы не разбудить никого, пошел вдоль барака. Безучастно прошел он мимо топчана с привязанным, как обычно, трясущимся человеком. Этот уже не выходил теперь на работу. Пробо-

вали выгонять его силой, но он был явно не способен к труду, — Берд мог поместить его фамилию в записной книжке, в списке тех, кого правительство должно выкупить и на чью долю достанется помирать или нищенствовать на будущей Исаакиевской паперти, прислонившись к колонне.

— Этот мне не годится. Падаль, — тихо сказал Базиль, направляясь дальше.

Внимательно вглядываясь в спящих, бормоча про себя: «Этот. Годится. Этот. Годится. Эти все — нет. Годится...», Базиль прошел вдоль всего барака, отмечая мелом на нарах.

Годилось немного, всего десяток. Это были те самые, которых он днем еще отсортировал от больных. Они еще не успели отравиться. Кроме того, среди них Базиль отметил тех, кто был помоложе и побойчее. Он за ними следил и на работе, и за обедом, и перед сном; много раз намеревался заговорить с ними, но все откладывал. Это были четыре парня, как на подбор белобрысые, жилистые и крепкие. Они так и спали — все четверо в ряд.

Базиль долго стоял возле них и думал:

«Разбудить или нет? Что я скажу им? «Ребята, я вот хочу бежать с завода. Побежим вместе! Я больше не могу один. Довольно, один я набегался». Что они могут ответить мне? Выругаются и перевернутся на другой бок... Скажут еще, пожалуй: «Тебе, может, есть куда бежать, а нам куда? В болото? Тоже бегун выискался...» Они будут правы, бежать им некуда».

Вздохнув, Базиль отошел от них.

— Хватит, — сказал он себе, — хватит, натешился! Наметил крестов. Учинил заговор!

Потом он лежал, продолжая говорить с собой иронически:

«Скажите пожалуйста! Я устал быть одиноким! Мне понадобились товарищи! Но когда же я был одиноким? Десять лет назад со мной были мои мечты об усыновлении сироты Базиля Павлом Сергеевичем Челищевым, и тогда же со мной неразлучно было мое искусство... Скоро барское усыновление сгинуло, но зато появился и был со мной Шихин, тоже усыновитель... Потом он меня прогнал... Посещали ли меня мечты о мести? Нет, не посещали. Мечты о чистом и беззаветном служении искусству тоже постепенно выдохлись. Зато на смену им появились трезвые рассуждения о карьере, карьере во что бы то ни стало, и я стал ждать удобного случая».

Я не чувствовал себя одиноким: со мной были уже не пустые мечты, а практические соображения и расчеты. Затем я их привел в исполнение. Кончилось крахом. Я сделал еще попытку. Что из этого получилось? То, что я не сплю по ночам. Отчего же я не сплю? Оттого ли, что мое положение безнадежно, что, как видно, я зря уповал на Берда и никакой мне карьеры не сделать здесь, а использует он меня до конца на проклятой работе и скажет — пошел с богом!.. на паперть или в могилу... Впрочем, не сразу в могилу и не на паперть, а я еще могу сыграть шутку... Я использую крепостническую пунктуальность Павла Сергеевича. Я вернусь к нему инвалидом, ни к чему не пригодным, и Павел Сергеевич, верный своим справедливым принципам, будет обязан кормить меня до самой смерти и любоваться моим веселым видом!.. Все равно что усыновит меня! Право, это остроумно, и, пожалуй, так оно и будет».

Базиль засмеялся.

«...Вот и опять я не одинок. Со мной снова моя старая мечта об усыновлении...»

Базиль вздрогнул на нарах. Он что-то припомнил, лицо его выражало страдание, но он продолжал казнить себя.

«...Кстати, мысли у меня ведь бывали и небесполезные. Разве плохая мысль — «райское средство»? Правда, его я не сам выдумал. Но сам ли я выдумал, или не сам — я решился его применить. Впрочем, эта мысль еще безобидна... По сравнению с более поздней и уж бесспорно моею собственной. Моя теория справедливости! Нынче она мне не в бровь, а в глаз!.. В каменоломне рабочим живется худо, работа у них тяжелая. Шлифовальщикам колонн в Петербурге живется лучше, работа у них значительно легче. Это несправедливо. Стало быть, следует строже взыскивать со шлифовальщиков, по крайней мере хоть строже взыскивать, а то каменотесцам будет обидно. Раз нельзя уравнивать по лучшему положению, придется сравнивать по худшему...»

Базиль громко захохотал, не заботясь о том, что соседи на нарах могут проснуться. Но никто не проснулся. Оба соседа, справа и слева, спали, укрывшись, как всегда, с головой. Для Базиля и то было счастьем, что он не видел их лиц, а только заплаты на их армяках.

«...Ежели теперь применить мою справедливую теорию, — продолжал издеваться Базиль, — то придется от-

равить всех в России, чтобы никому не было обидно, чтобы мне первому было не обидно!»

Когда Базиль засыпал, его последняя мысль была чуть ли уж не всерьез:

«...Отравить всех, чтобы мне было не обидно!..»

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Утром Базиль проснулся раньше побудки. Проснулся от смеха — не своего, а чужого: где-то неподалеку смеялись дружно и зычно.

Базиль поднял голову, искренне пораженный: здесь не такое было место, чтобы весело скалить зубы. Базиль поглядел в ту сторону, где спали четверо белобрых. Так и есть, смеялись как раз они. Молодые, здоровые, они гоготали от всего сердца, свободно развалившись на своих нарах, закинув жилистые руки за голову.

«Они надо мной потешаются, — подумал Базиль, — они видели ночью, как я ходил, мелком метил и над ними стоял...»

Но парни и не оборачивались в его сторону, они преспокойно лежали себе, глядя в потолок; скажут друг другу несколько слов — и опять загогочат дружно. Базиль успокоился и ждал с интересом, что будет дальше.

Действительно, происшествие было странное. Немного погодя все рабочие, в том числе и Базиль, поднялись, оделись, поели, собрались уходить на работу, а четверо белобрых парней всё лежали себе, нимало не беспокоясь, и никто, казалось, кроме Базиля, не обращал на них внимания. Но все же нашелся, должно быть, такой, что доложил мастеру. Прибежал мастер, принялся ругать парней, ткнул одного кулаком в скулу, — парни и ухом не повели. Народ стал собираться к их нарам. Базиль подошел вместе с другими, смотрел и слушал, но ничего не понимал, бессмысленная ругань мастера ровно ничего ему не объясняла.

Вот мастер принялся отгонять всех от нар, ругал уже не парней, а тех, кого отгонял от них, и наконец самолично погнал всех на работу. И все пошли. Все, кроме тех четырех. Они остались, потешаясь над суетливостью мастера, над тем, что он на ходу совал кулаком в чью-то шею, затылок и все попадал в воздух, потом изловчился и угодил, ко уже в другой затылок.

Вышли на двор. Шагая со всеми, Базиль начал, кажется, понимать (как часто он что-нибудь важное понимал не сразу). Для подтверждения догадки он обратился с вопросом к своему наводчику. Тот равнодушно ответил, едва шевеля губами:

— Не хотят.

— Чего не хотят? — добивался Базиль.

— Травиться, — буркнул наводчик.

Базиль ахнул и завернул обратно, бегом в барак.

— Куда? — кричал ему вслед мастер. — Куда, сукин сын?

Забежав в барак, Базиль прокричал еще с порога:

— Ребята!

И, подбежав к ним, едва выговорил от волнения:

— Ребята, бежим вместе!

Парни захохотали.

Сейчас уж и в самом деле они засмеялись над ним.

Базиль отпрянул, и это было так же смешно. И над этим захохотали парни.

— Я хотел с вами, — растерянно сказал Базиль. — Чего смеяться?

Можно было ожидать, что они опять загогочат. Но парни, как сговорившись, все четверо поглядели на Базилья вполне серьезно, и один сказал даже строго:

— Чего не смеяться, пока можно. Завтра вот отобьют печенку, так не очень-то посмеешься.

Другой потянулся и сказал с упоением:

— Ух ты, завтра! Чего только будет!

— А чего будет? — спросил третий.

Четвертый был самый младший. Он сказал наставительно:

— То будет, что, может, нас не будет.

— Что ж, — сказал первый, обращаясь к Базилью, — если того же себе желаешь, ложись с нами рядом. Можно ему с нами, ребята?

Ребята захохотали.

— Ложись! — скомандовал старший.

Базиль послушно взобрался на нары.

— Только помни, — сказал старший, — бежать мы никуда не побежим. Так вот и будем лежать.

— Так ему обиднее, понимаешь, — сказал второй.

— Злее, значит, — пояснил третий.

— Кому? — спросил Базиль.

— Берду. Мы лежим, а ему берданку спирает. Эх, скажет, не хотят работать, мерзавцы.

Парни оживились, и каждый стал думать вслух, представляя злобу хозяина.

— Уж мы ему досадим!

— Он-то на нас рассчитывал!

— Нас бы ему надолго хватило.

— Вот мы какие!..

— Чего толковать, здоровые!

Они с восхищением оглядывали друг друга, напрягали руки, грудь и важно откашливались.

— Вы — братья? — спросил Базиль, совсем освоившись.

— Не, — ответили все в один голос.

— Почему вы других не подговорили?

— Куда этим дохлым! — презрительно сказал старший. — Им обещали пенсию дать, когда работу закончат.

— Лешего им дадут, — сказал младший.

Базиль лег поудобнее и закинул руку за голову.

— Да, — сказал он задумчиво, — пенсию не дадут.

— Пенсией нам и не надо. Мы все здоровые, — сказал младший. — Нам подавай другое...

— Чего другое?

— А вот чтобы мы здоровые остались.

Базиль заволновался.

— Но ведь вы говорите сами, избыют завтра? Может, насмерть... Как же тогда?

Парни захохотали. Их рассмешило его недоумение.

И Базиль уж не обижался, напротив, он любовался отчаянными парнями, и ему казалось, что выход найден: стоит положиться на них, и все будет обстоять очень просто.

Он жалел об одном лишь — что он не умел шутить и никогда не умел веселиться. А как бы это теперь пригодилось: они бы признали его своим.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Все обстояло просто. Ночью Базиль лежал на широких, просторных нарах один, ни справа, ни слева от него никого не было. Его не захотели и слушать, когда тех уводили, когда он твердил мастеру и полиции, что он вместе с теми.

— Проспишься, очухаешься, — сказал мастер и добродушно ударил Базиля в висок.

Парней увели. Наступил вечер. Люди пришли с работы, легли спать, никто и не вспомнил о парнях.

Была ночь. Люди спали. Базиль ничего не хотел решать. Он бормотал, смотря на фонарь в углу:

— Миша! Был Миша, ямщик мой, — я его потерял, никогда не видал больше. Был дядя Корень — его потерял. Были четверо — их потерял. — Базиль водил руками по нарам, трогал то место, где они недавно лежали. — Четверо, — бормотал он, — их уже нету. С кем я теперь?

Он злобно стучал зубами, оглядывая барак. Обреченные люди храпели. Базилью было их жалко, и в то же время они были ему противны.

«Падаль, — думал Базиль, — мертвечина. Я — подлый, а они — мертвечина».

Присев на корточки с краю нар, он с тоской смотрел вдоль барака, потом осторожно слез на пол и на цыпочках, крадучись, побежал к фонарю.

Минуту спустя Базиль носил сухое тряпье под крайние пустые нары, в один и другой конец барака; притащил свой тюфяк, разорвал его и разворошил солому. Дверь была заперта изнутри на засов. Базиль привязал запор веревкой и затянул узлы накрепко. Когда все было готово, он поджег солому под нарами в одном углу и, не оборачиваясь, побежал в другой, подпалил и там, отбежал к стенке, прижался к ней и стал ждать, когда разгорится. Большой пук соломы, немного слезавшейся, запылал не сразу... но вот запылал, осветил пол, проход между нарами. Можно было теперь ожидать, что люди проснутся. Они проснулись, казалось, все сразу, но разбудил их один, завопивший жалобно:

— Братцы! Он подпалил нас, он сжечь нас хочет!..

Дальше все обстояло просто, еще проще, чем днем.

Когда с пожаром покончили (его потушили водой из бочки, босыми ногами и мокрыми армяками), кто-то сорвал запор с двери — не удержала его веревка, — люди двинулись на Базиля, прижавшегося к стене, и он понял все.

Он вскочил на нары, чтобы успеть прокричать:

— Трусые смердящие! Жизни вам жалко! Да вы и без того дохлые! Лучше сгореть, чем гнить заживо! Я, вас жалеючи...

Его сдернули за ногу на пол.

— А пенсии вам не дадут, — закричал он с полу, — я знаю! Я от хозяина знаю!

Его ударили кулаком, ногою, плюнули ему в лицо своей страшной слюной, потом навалились, мелькнул засов, — и, когда через минуту толпа расступилась, Базиль уже не был живым молодым человеком, талантливым, одиноким, желавшим себе блистательной карьеры.

Тело его запихали под нары и тут же, в проходе, стояли, опять сбившись в кучу, трясаясь от болезни и возбуждения, стояли, не понимая, зачем посягал он на их жизнь, и без того загубленную.

— Ой, вы! — тихо сказал наводчик, тот, что работал с Базилем. — Ведь зря убили. А заодно отвечать, так рушь все, братцы!

Когда прибыла рота солдат, оцепила двор и постройки завода, золотильная мастерская была уже разрушена.

Можно было считать, что ее разнесли во славу Базиля.

### ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Высочайше утвержденный церемониал поезда  
их императорских величеств и их императорских высочеств  
из Зимнего Дворца на освящение Санкт-Петербургского  
кафедрального Исаакиевского собора  
30 числа мая 1858 года

1. В 10 часов утра, по разосланным повесткам, соберутся особы, участвующие в поезде с Их Императорскими Величествами и Их Высочествами, в Зимний Дворец, а члены Государственного Совета, министры, сенаторы, придворные дамы и кавалеры, статс-секретари, генералитет, штаб- и обер-офицеры гвардии, армии и флота, гражданские чины первых четырех классов, все прочие знатные обоюго пола особы и купцы первых двух гильдий, не участвующие в поезде, — прямо в Исаакиевский собор.

2. К этому времени будут расставлены войска по распоряжению гоенного начальства.

3. Рота дворцовых гренадер в целом составе, со знаменем, будет занимать почетный караул при Исаакиевском соборе, как равно и посты при входных вратах оного.

4. В десять с четвертью часов Государь Император и Государи Великие Князья с Их Королевским Высочеством принцем Виртембергским, герцогом Мекленбург-Стрелицким и принцами Ольденбургскими изволят вый-



ти из Дворца и в воротах оногo сесть на коней, после чего Его Величество изволит принять начальство над находящимися в строе войсками.

5. Вслед за сим Государыни Императрицы и Государыни Великие Княгини, выйдя из внутренних покоев Ее Величества Императрицы Александры Феодоровны, в сопровождении свиты, изволят шествовать через Концертную и Николаевскую залы по парадной лестнице на Посольский подъезд, у которого приготовлены будут парадные экипажи.

6. Когда Государыни Императрицы и Государыни Великие Княгини изволят сесть в экипажи, тогда поезд двинется из ворот Зимнего Дворца по Дворцовой и Адмиралтейской площадям к Исаакиевскому собору в следующем порядке:

Лейб-гвардии Кавказский казачий эскадрон Собственного Его Императорского Величества конвоя по-зводно.

Старший юнкер взвода грузин эскадрона Собственного Его Императорского Величества конвоя.

Двенадцать юнкеров взвода грузин того же эскадрона по два в ряд.

Обер-офицер того же эскадрона.

Конюшенный офицер.

Их Императорские Величества Государыни Императрицы — в парадной золоченой карете цугом в восемь лошадей, у каждой лошади по конюшенному служителю; у правого колеса экипажа обер-штабмейстер, у левого — командир Собственного Его Императорского Величества конвоя; за ними четыре камер-пажа, по два с каждой стороны, и четыре конюха, все верхами.

Государь Император изволит ехать возле кареты Их Императорских Величеств.

За Его Величеством — Их Императорские Высочества, Его Королевское Высочество Наследный принц Виртембергский, герцог Мекленбург-Стрелицкий, принцы Ольденбургские и министры: Императорского Двора и военный, генерал-адъютанты свиты Его Величества, генерал-майоры, флигель-адъютанты и адъютанты Их Высочеств.

Четыре юнкера грузин лейб-гвардейского Кавказского эскадрона Собственного Его Императорского Величества конвоя, по два в ряд.

Их Императорские Высочества Великие Княгини Александра Иосифовна и Александра Петровна с Их

Высочествами Великими Князьями Алексеем Александровичем и Николаем Константиновичем — в парадной золоченой карете цугом в шесть лошадей; с каждой стороны экипажа по шталмейстеру; за ними два камер-пажа и два конюха верхами.

Четыре юнкера грузин лейб-гвардейского Кавказского эскадрона Собственного Его Императорского Величества конвоя, по два в ряд.

Их Императорские Высочества Великие Княгини Ольга Федоровна и Мария Николаевна — в парадной золоченой карете цугом в шесть лошадей; у каждой лошади по конюшенному служителю; с каждой стороны экипажа по шталмейстеру; за ними два камер-пажа и два конюха верхами.

Четыре юнкера грузин лейб-гвардейского Кавказского эскадрона Собственного Его Императорского Величества конвоя, по два в ряд.

Их Императорские Высочества Великие Княгини Ольга Николаевна и Екатерина Михайловна — в парадной золоченой карете цугом в шесть лошадей; у каждой лошади по конюшенному служителю; с каждой стороны экипажа по шталмейстеру; за ними два камер-пажа и два конюха верхами.

Четыре юнкера грузин лейб-гвардейского Кавказского эскадрона Собственного Его Императорского Величества конвоя, по два в ряд.

Их Императорские Высочества княжны Романовские, герцогини Лейхтенбергские: Мария и Евгения Максимилиановны, с наставницей, в парадной карете цугом в шесть лошадей; у каждой лошади по конюшенному служителю, с правой стороны экипажа шталмейстер, а с левой камер-паж, за ними два конюха, верхами.

2-й взвод лейб-гвардейского Кавказского эскадрона Собственного Его Императорского Величества конвоя.

### В парадных каретах:

Статс-дамы и камер-фрейлины.

Фрейлины Их Императорских Величеств.

Гофмейстерины Их Высочеств.

Первые чины Двора.

Фрейлины Их Высочеств.

Вторые чины Двора.

Дежурные камергеры.

Дежурные камер-юнкеры.

### В з а м к ё:

Конюшенный офицер верхом.  
Шесть конюхов верхами.

### В з а к л ю ч е н и е:

3-й и 4-й взводы лейб-гвардейского Кавказского эскадрона Собственного Его Императорского Величества конвоя.

### П р и м е ч а н и е

Все чины придворные — в парадных кафтанах, дамы — в русских платьях. Лакеи, кучера, фореиторы и конюхи — в статс-ливреях.

*1932—1933*

# БЕСПОКОЙНАЯ СТАРОСТЬ

*Революционная повесть*

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

- Полежаев Дмитрий Илларионович, профессор, действительный и почетный член многих научных обществ, университетов и академий всего мира, за исключением Российской Академии наук, где он был забаллотирован, 74 лет.
- Марья Львовна, его жена, 62 лет.
- Воробьев Викентий Михайлович, доцент, ученик Полежаева, 32 лет.
- Бочаров Михаил Макарович, студент, 24 лет.
- Куприянов, матрос, начальник патруля.
- Дворник.
- Солдат.
- Кухарка.
- Первый студент.
- Второй студент.
- Первая студентка.
- Вторая студентка.
- Красногвардейцы, понятияе (присутствующие при обыске).

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

*(происходит в 1916 году)*

Гостиная в квартире Полежаева. Прямо — дверь в кабинет. Налево — дверь в прихожую. Направо — окна на улицу. Много цветов и зелени в жардиньерках, на подоконниках. Очень чисто и очень тихо. Узкая дорожка тянется из прихожей через всю комнату. Один стул от окна отставлен на середину комнаты, как раз на дорожку. На стуле спит кошка. И вдруг поехал стул с кошкой. Дорожка тихонько скользит по паркету в прихожую. Когда стул доехал почти до двери, движение остановилось. Входит, смеясь, Марья Львовна в белом переднике поверх нарядного платья. В руках у нее щетка на длинной палке.

Марья Львовна *(кошке)*. Ну, прости, пожалуйста. Я и не видела тебя на стуле. *(Идет и открывает дверь в кабинет.)* Миша, у вас как дела?

Ей тотчас же приходится посторониться: огромный Миша в студенческой тужурке тащит кадку с каким-то деревом. Стал посреди комнаты и беспомощно оглядывается. Марья Львовна командует.

Ставьте сюда. Это сюда! Жардиньерку налево. Ящик. Так. Нате щетку, вон в углу паутина. Выше. Еще. Ух какой молодец! Все. Садитесь и отдыхайте. Куда вы — на кошку! Возьмите на руки. А зачем кверху лапами? Фу, обращаться с кошкой и то надо учить.

Бочаров *(сел, держа кошку, как хрупкую вещь; густым басом)*. Кажется, хорошая кошка.

Марья Львовна *(орудуя щеткой возле самых его ног, так что он беспокожно их подбирает)*. Не кажется, а это бесспорно.

Бочаров *(глубокомысленно)*. Моей породы.

Марья Львовна. Что-о?

Бочаров. Сибирская. Я из Омска.

Марья Львовна *(многозначительно)*. Ну, Миша, ваше счастье, что сегодня Дима приедет. *(Подойдя вплотную, понизив голос.)* Может, скажете, что с вами делается?

Бочаров молчит.

В такую рань явился! Побриться даже не успел. Глаза бессонные. *(Инквизиторски присматривается к нему.)* Уж я вижу, что-то есть. В университете, да? Да или нет?

Бочаров. Марья Львовна, потом.

Марья Львовна *(с горячностью)*. Ах, потом! То есть когда придет. Дмитрию Илларионовичу только можно сказать. Ему одному доверие. Ну, так и сидите в его кабинете. С глаз долой! Прочь!

Бочаров встает. Марья Львовна гонит его, концом щетки толкая в спину.

Носа не смейте высовывать, пока не позову. *(С сердцем захлопывает дверь.)* Нет, какой студент пошел, ни капли доверия, ни грана уважения к профессорше! Возмутительно! Я же сама была когда-то студенткой... Мы читали даже экономку любимого профессора. Даже его пивную кружку. Мы готовы были целовать у нее ручку.

Голос Бочарова *(из кабинета)*. У экономки?

Марья Львовна *(запальчиво)*. Нет, у пивной кружки. Да как вы смеете там подавать голос! *(Постояв немного около двери.)* Миша, вы на меня не сердитесь?

Голос Бочарова. Нет, Марья Львовна.

Марья Львовна. Вот и хорошо. Занимайтесь, больше я вам не помешаю. *(Взглянув на часики, висящие у нее на груди на тонкой цепочке, заторопилась к окну.)* Не понимаю, почему его до сих пор нет. Вечно он не позволит встретить — и жди его дома. Всю душу вымотаешь. Другой раз я вообще не останусь, а с ним поеду. Почему раньше я была ему полезна на международных съездах, а нынче все Воробьев? *(Лукаво.)* Нынче и Воробьев устарел. *(Громко по направлению к кабинету.)* Не правда ли, господин Бочаров? *(Бочаров в кабинете не отвечает.)* Держу пари, что в следующий раз в Стокгольм или в Лондон поедет не Воробьев и не госпожа Полежаева, а вы, Миша. Что на это скажете?

Пауза.

Голос Бочарова. Ничего, Марья Львовна.

Марья Львовна *(удивленно)*. Что такое? *(Приоткрыла дверь.)* Миша, я знаю, у вас мрачные мысли. Война не кончается. Это?

Голос Бочарова *(очень серьезный и даже важный)*. Примерно да, Марья Львовна.

Марья Львовна (*убежденно*). Не надо думать об этом, Миша. Подумаешь! Ну не дождемся конца, ну и умрем. Недоделали многого? Так мы и на том свете будем работать! Может, еще и лучше. На этом свете Дмитрия Илларионовича лишили лаборатории... Из университета пришлось уйти... С дураком министром разругался. С проектом еще неизвестно что... А там, в раю, может, и министры лучше... и лаборатория уже приготовлена для Дмитрия Илларионовича...

Голос Бочарова. Лаборатория — это скорее по части ада.

Марья Львовна. Миша, довольно вам говорить о смерти... Когда я подумаю, что через год ему семьдесят пять... Неужели мы позволим ему умереть раньше меня?..

На пороге показывается Бочаров.

Бочаров. Марья Львовна, пожалуйста... Нет, вы оба, чтобы как можно дольше...

Марья Львовна. Хорошо, Миша. (*Толкает его опять в кабинет и закрывает за ним дверь.*) Разрешаю курить, только откройте форточку. Спички ваши куда я спрятала?

Голос Бочарова. В прихожей, Марья Львовна.

Марья Львовна идет в прихожую. Едва вступив туда, вскрикивает от неожиданности и роняет щетку. Тотчас слышатся невнятные восклицания, поцелуи, мужской смех с теноровыми, звонкими нотами. В гостиную вваливается дворник с большим чемоданом. В дверях кабинета появляется и сразу же опять исчезает Бочаров. Разговор суругов начинается еще в прихожей.

Голос Марьи Львовны (*крайне взволнованный*). Хорош! Вместо недели — месяц.

Голос Полежаева (*не менее взволнованный*). Ты что, смеешься? Все английские университеты объехать... Вкруговую, да еще через минную зону, да разные заграждения, формальности, препоны.

Голос Марьи Львовны. Постой, где ты был?

В дверях гостиной появляется спина Полежаева, он в пальто и шляпе.

Полежаев. Понимаешь, не утерпел. Из Стокгольма проехал в Англию, побывал в Кембридже, куда меня опять звали. Представляешь, как это сложно нынче? А на обратном пути банкеты в честь меня устраивали.

Нашли время! То минами, то шампанским меня взрывать.

Марья Львовна (*показываясь за его плечом*). Чтобы я еще раз отпустила тебя одного!.. Я-то думаю: почему он сидит в Стокгольме, что там делать? Только получить премию. А он — смотрите. И ни одного письма. Авантюрист! А как ты домой попал без звонка?

Полежаев (*пятился, пропуская вперед Марью Львовну*). Смешно! Да ключ-то у меня с собой.

Марья Львовна (*недоверчиво*). Ну-ну, я была уверена, что ты его потерял... Обронил в минной зоне...

Полежаев (*довольный и оживленный, в элегантном пальто с черным бархатным воротником, с небольшим саквояжем в руке проходит в комнату*). Вот еще! На, посмотри, пожалуйста. (*Безуспешно роется в карманах, тревожно оглядываясь на Марью Львовну*.) Неужели я его действительно обронил?

Порывается бежать в прихожую, но оттуда в этот момент выставился до половины туловища дворник и тянет руку с ключом.

Дворник. Дмитрий Илларионович, так я же вам сейчас открыл. А ключ вы еще в прошлый раз в двери оставили. Только вы уехали, гляжу: торчит в скважине. (*Заботливо обтерев о полу, отдает ключ.*)

Полежаев (*молча, косясь на Марью Львовну, выхватывает ключ*). Скважина!

Марья Львовна. Не сердись на него, Дима.

Дворник уходит. Полежаев, веселый и улыбающийся, идет к окну, с удовольствием осматриваясь вокруг себя, нюхая цветы, расправляя листья. Особенное внимание уделяется рослому кактусу.

Полежаев (*с нежностью гладит его и, наколовшись, отдергивает руку*). Смотри, как он вырос без меня! Молодец! Ну да мы тоже не теряли времени. (*С живостью оборачивается.*) Какую я речь закатил!..

Марья Львовна. Пожалуйста, раздевайся. Расскажешь все по порядку.

Полежаев. По порядку неинтересно. Сначала я главное покажу. Не ходи, не ходи за мной. (*Исчезает в прихожей, утаскивая за собой чемодан.*)

Марья Львовна усаживается на стул против двери. Полежаев чинно выходит в мантии и шапочке доктора естественных наук Кембриджского университета, важно откашливается и начинает речь.



Милостивые государи! Когда Гулливер осматривал академию в Лапите, он обратил внимание на человека сухопарого вида *(с легкой улыбкой оглядывает себя)*, сидевшего, уставив глаза на огурец, запаянный в стеклянном сосуде. На вопрос Гулливера диковинный человек пояснил ему, что вот уже восемь лет, как он погружен в созерцание этого предмета — в надежде разрешить тайну солнечных лучей. *(Небольшая пауза, легкий поклон в сторону аудитории.)* Я должен признаться, что перед вами именно такой чудак. Около сорока лет я провел, уставившись на зеленый лист в стеклянной трубке. И внимание мое как раз было занято тайной улавливания и запасания впрок солнечных лучей. *(Стоит, выдерживая минутную паузу, пока Марья Львовна выражает свое восхищение, и милостиво улыбается ей.)* Что, интересно? А дальше не очень...

Марья Львовна *(умоляюще)*. Дима!

Полежаев. Понимаешь, я расчувствовался, и конец получился гораздо скучнее.

Марья Львовна. Дима, я рассержусь.

Полежаев *(смеется)*. Вот дурочка! *(Далее говорит серьезно, почти грустно.)* Мой труд, я сказал... как и жизнь моя... близится к концу. Через год я надеюсь опубликовать результаты. Хочется думать, что к тому времени война кончится, кончится и разъединение ученых Европы. И через год, празднуя праздник мира, вы уже с легким сердцем снова соблаговолите выслушать меня здесь, в стенах этого старейшего университета. *(Стесняясь пышности своих слов, поясняет.)* Это я говорил в Кембридже, не забывай. *(С увлечением.)* Тогда-то и началось. Все встали, причем совершенно молча. Стоят, молчат и на меня смотрят. Прямо страшно... Точно клятва. Верность до гроба. Все в мантиях, старики вроде меня, еще древнее. Вокруг готика, зал высокий. Под потолком мрак. Черные стены резные. К стенам огромные фолианты на цепях прикованы... Самая средневековая обстановка.

Марья Львовна *(плачущим голосом)*. Взглянуть бы! Почему я не ученая?

Полежаев. Потом церемонии начались, латынь. *(Произносит несколько звучных латинских фраз.)* Потом штуку эту на меня надели *(одергивает мантию)*, и стал я доктором естественных наук Кембриджского университета. Все. *(Стоит, улыбаясь, мантия его распахнулась.)*

Марья Львовна (*всплескивая руками*). Поверх пальто надел!

Полежаев (*сконфуженно запахивается*). Смешно, я же торопился. Девочка, да мы с тобой еще не здоровались по-настоящему.

Марья Львовна прячется в складках мантии, но вдруг отскочила: в кабинете гулко откашливается Бочаров.

Марья Львовна (*хохочет*). Посадила его и забыла. (*Тихо.*) Почему-то, не знаю, пришел рано — я комнаты убирала. (*Открывая дверь.*) Миша, вылезайте из своей берлоги. Вот несчастный! Спички-то я забыла вам принести. (*Уходит в прихожую, трясясь от смеха.*)

Бочаров (*неловко протискиваясь в дверь, Полежаеву*). Поздравляю вас. Я все слышал.

Полежаев (*строго*). С чем вас и поздравляю. (*Добреет.*) Впрочем, спасибо, голубчик. Очень рад вас видеть. А вы тоже соскучились?

Бочаров бормочет что-то конфузливо. Долго трясут друг другу руки.

(*Скрывая растроганность.*) По-английски надо здороваться. Как я вас учил?

Бочаров ретиво следует совету учителя, и тот, кряхтя и потирая плечо, отскакивает в сторону.

М-да! Вот так примерно.

Марья Львовна (*входит*). Миша, из вас вышел бы идеальный арестант.

Бочаров (*странно взглянув на нее*). Вы думаете, Марья Львовна?

Полежаев. Почему арестант? Кстати, перед отъездом мы так торопились, что забыли даже присесть, как полагается при проводах. Может, это сейчас не поздно?

Смеясь, рассаживаются. Полежаев сразу же углубляется в свою записную книжку.

Марья Львовна (*тихо Бочарову, пока Полежаев занят*). Никогда не сознается, что устал. Ну, хоть угомонился. А впрочем, я страшно рада, что он веселый. Все-таки развлекся поездкой. Он ужасно переживал войну, сидя здесь. Последнее время его поддерживала одна надежда на проект, который он представил перед отъездом министру. Что? Он не слышит, когда читает...

Полежаев (*закрыв блокнот*). Сейчас примемся за работу.

Марья Львовна (*обиженно*). Да ну вас! Сейчас будем чай пить.

Полежаев. Какой чай после пяти банкетов!

В передней раздается звонок.

Марья Львовна (*со вздохом идет открывать*). Ох как не хочется сейчас больше никого видеть!

Полежаев (*живо*). Муся, это, наверно, Викентий Михайлович; он раньше меня вернулся в Питер. (*Бочарову.*) Вот и другой помощник явился.

Входит Воробьев, худощавый блондин.

Воробьев (*здоровается с Полежаевым, сразу же беспокойно Бочарову*). Ты уже сказал, да?

Бочаров (*невозмутимо*). Нет.

Воробьев. Почему?

Бочаров (*пожимает плечами*). Еще не сказал.

Воробьев. Глупо. Я нарочно пришел сейчас, пока Дмитрий Илларионович не успел уйти в университет. А ты еще раньше здесь — и молчал.

Бочаров. Я и сейчас молчу.

Воробьев. Совершенно тебя не понимаю. Тебе это было гораздо удобнее. А теперь, когда мы уже встревожили Дмитрия Илларионовича...

Полежаев (*иронически наблюдая за ними*). ...то не худо бы ему объяснить, в чем дело. Долго вы будете пререкаться?

Воробьев (*растерянно*). Дмитрий Илларионович...

Полежаев (*резко*). Да, я. В чем дело?

Воробьев (*совсем потерянно*). Дело в том... (*И вдруг разрыдался.*)

Общий переполох, во время которого Полежаев незаметно для всех исчезает из комнаты. Воробьева усаживают в кресло, приносят воды.

Марья Львовна. Еще попейте, голубчик. Миша, еще воды!

Бочаров (*гладит его по плечу*). Успокойся, Викентий.

Воробьев (*пьет воду, зубы его стучат о стакан*). Миша, я не могу... Миша, так жалко...

Бочаров. Успокойся.

Воробьев. Ты расскажешь? Все? Да?

Бочаров. Да, да, успокойся.

Воробьев. Не обращай на меня внимания. Это сейчас пройдет. (*Ему неловко. Ко всем просительно.*) Не обращайтесь на меня внимания... Мне очень стыдно перед Дмитрием Илларионовичем...

Смотрят — Полежаева в комнате нет.

Марья Львовна (*немного смущенно*). Должно быть, ему надоело, и он пошел заниматься. (*Видя, что Бочаров направился в кабинет.*) Миша, пока не надо. Остынет, тогда позовет или сам выйдет. (*Воробьеву, с виноватой улыбкой.*) Ужасно не любит семейные происшествия.

Бочаров (*ворчит про себя*). И я не люблю, признаться.

Марья Львовна. Миша, молчите, пожалуйста. (*Воробьеву.*) Викентий Михайлович, что случилось?

Воробьев молчит, совсем подавленный.

(*Переводит взгляд на Бочарова.*) Что-нибудь очень плохое, должно быть? Да? (*Нетерпеливо.*) Да или нет?

Бочаров (*спокойным и густым басом*). Проект похоронен, Марья Львовна.

Пауза.

Марья Львовна (*тихо*). Не понимаю.

Воробьев. Докладная записка Дмитрия Илларионовича, которую он подал перед отъездом, об учреждении Академии прикладной ботаники в помощь России, поражаемой недородами...

Марья Львовна (*нетерпеливо*). Да знаю, знаю... Мне ли не знать?! Ну?

Воробьев (*нервно*). Проект отвергнут министром.

Марья Львовна (*быстро*). Причина?

Воробьев. Сочи невыполнимым в настоящее время. Война, разруха...

Бочаров (*спокойно*). Есть и еще причина. Проект полежаевский. (*Подчеркивает последнее слово.*)

Пауза.

Марья Львовна (*тихо*). Да, конечно,

Пауза.

Никто не видит, как в дверях кабинета неслышно появился Полежаев и слушает.

(Тихо.) А он-то радовался: вернется — и сразу за это дело.

Воробьев. Все пропало!

Марья Львовна (*задумчиво Бочарову*). Так вот вы что от меня скрывали, когда я вас сегодня спрашивала! (*Пристально смотрит на Бочарова*.) Понимаю, не хотел портить встречу... счастливое настроение. Ах вы, милый!

Воробьев (*нетерпеливо*). Мне кажется, без Дмитрия Илларионовича надо обсудить главное: как сообщить ему обо всем.

Полежаев делает два шага вперед, злой, колючий.

Полежаев (*насмешливый полупоклон Бочарову*). Поздравляю вас, я все слышал. (*Всем, сухо*.) Благодарю за проявленную заботу обо мне... а также о моем проекте. (*Смотрит на часы. Бочарову и Воробьеву*.) Идемте, господа.

Марья Львовна. Куда?

Полежаев (*идя в кабинет*). Работать.

Бочаров в свою очередь вынимает огромные серебряные часы и нерешительно кашляет.

(С порога.) Ну, что стоите?

Бочаров. Это верно. Мне бы уж, собственно, надо ехать. (*С испугом смотрит на Полежаева*.) Только как же с работой? (*Воробьеву*.) Придется тебе, а?

Полежаев секунду смотрит на него, потом вдруг хватает длинной, цепкой рукой за плечо и утаскивает за собой в кабинет. Недоумевающие Марья Львовна и Воробьев остаются одни. Воробьев встает и идет в кабинет.

Марья Львовна. Викентий Михайлович!

Воробьев молча оглядывается через плечо.

Не ходите! Пусть они поговорят.

Воробьев не слушается и берется за ручку двери.

(Строго.) Сядьте. Как вам не стыдно! Ведь я же вижу. Чудак! Ревнует профессора к новому способному студенту.

Воробьев (*с горечью*). Именно. Когда-то я, теперь он. Очевидно, он способнее.

Марья Львовна. Да вы институтка! Не приват-доцент, а форменная институтка.

Воробьев (*останавливается перед ней*). Вы не знаете еще одной новости... Вероятно, ее он и сообщает Дмитрию Илларионовичу. (*Значительно.*) При характере Дмитрия Илларионовича она чревата последствиями гораздо большими, чем разгром проекта.

Марья Львовна (*скрывая тревогу*). Говорите.

Воробьев. Издан новый закон: студентов, замеченных в революционных волнениях, отправлять на фронт.

Марья Львовна (*гневно*). Какая мерзость! Но это неслыханно! Неужели не будут протестовать?

Воробьев. Успокойтесь. Вы знаете, что намерены предпринять либеральные профессора?

Марья Львовна (*просто*). Подать в отставку.

Воробьев. Да, но они ждут, чтобы кто-нибудь сделал это первый.

Марья Львовна (*так же просто*). Ну, так это сделает Дима. (*Беспокойно.*) А что, разве в это время в университете были волнения?

Воробьев молча наклоняет голову.

(*Еще беспокойнее.*) А Миша? Замечен?

Воробьев молчит.

(*Как бы успокаивая себя.*) Вряд ли. Он у нас такой тихий. Правда, он не участвовал?

Воробьев (*жестко*). Он не участвовал в университетских беспорядках. Ему было некогда. Он устраивал беспорядки во флоте.

Марья Львовна. Во флоте?

Воробьев (*нетерпеливо*). Агитировал среди матросов.

Дверь кабинета открылась. Выбегает Полежаев, ни на кого не обращая внимания, бежит к окну и выглядывает на улицу. Бочаров выходит за ним.

Полежаев (*крайне встревоженно*). Как будто никого? Но, может, лучше останетесь? Отсидитесь у меня, а там видно будет.

Бочаров. Нет. Если я смогу, я должен уехать. Вы знаете, я говорил вам.

Полежаев. Да, да. *(Опять бежит к окну.)* Никого нет. Но на всякий случай пройдите двором. Я вас выпущу через черный ход. *(Марье Львовне.)* Ну что, ну что? Ну, скрывается от ареста. Ну, поднимал восстание... Что тут такого особенного? Должен уехать. По-сылают в другой город. Это же лучше, надеюсь, чем в тюрьме сидеть... Хотя он и идеальный, по-твоему, арестант...

Марья Львовна. Пойдите, я ничего не понимаю...

Бочаров *(протягивает ей руку)*. До свидания, Марья Львовна. *(Добавляет с улыбкой.)* В тюрьме-то мне не придется сидеть! Слышали новый закон?

Полежаев *(кричит)*. Мерзавцы! Додумались! Мало им крови! Я ненавижу войну с первого ее дня...

Марья Львовна *(растерянно)*. Так если поймут? Мишенька...

Бочаров. На передовые позиции. В какую-нибудь штрафную роту. *(Многозначительно.)* Ну что же. Это к лучшему. Мне там и следует быть.

Полежаев *(останавливаясь перед ним)*. Как?

Бочаров *(с расстановкой)*. Мне там и следует быть.

Марья Львовна неожиданно срывается с места, подбегает к одному, к другому, хватая за рукав, за лацкан.

Марья Львовна. Миленькие, прошу... Уйдите. На одну минутку... Уходите из комнаты... Все, пожалуйста... Кроме Миши... На одну секунду... И ты, и ты, Дима... Очень нужно. Страшно серьезно.

Все уходят, не устояв перед таким натиском. Заставив двери стульями, Марья Львовна подбегает к Бочарову.

Миша... миленький... Это-то вы хоть знаете? Мы вас как сына любим. И я и Дима... Он не скажет, а я говорю. *(Тихо.)* Так вы, пожалуйста, берегите себя. Куда бы вы ни попали, помните обо мне и о Диме. До свиданья, голубчик... *(Вместо платка вытаскивает из кармана спички.)* Ну что это? Ваши спички. Так и не собралась отдать. *(Сует их Бочарову.)* Мне еще много надо сказать...

Дверь начинает открываться, сдвигаются стулья.

Ну, уже лезут. (*Недовольно.*) Войдите.

Полежаев и Воробьев входят.

(*Лукаво.*) Теперь Дмитрий Илларионович скажет: выйдите все из комнаты, хочу с Бочаровым пообщаться..

Полежаев. Нет, Дмитрий Илларионович скажет другое. (*Подходя к Бочарову.*) Дайте мне слово, что при первой возможности вернетесь в университет.

Бочаров (*растерянно*). Боюсь, что такая возможность... представится только после революции.

Полежаев. Все равно. Дайте слово.

Бочаров наклоняет голову, но Полежаеву этого мало.

Не так, а по-настоящему. Скажите: даю слово!

Бочаров (*послушно*). Даю слово!

Полежаев (*сразу подобрел*). Так, так. Это что же значит? (*Лукаво.*) Чем скорее революцию сделаете, тем скорее ко мне вернетесь? (*Понизив голос.*) Так уж вы постарайтесь, голубчик. Приналягте. Это и в ваших, и в моих интересах.

Все грустно улыбаются.

Марья Львовна. Миша — революционер! Агитатор! Да я скорее бы на себя подумала...

Воробьев и Бочаров глядят друг на друга.

Воробьев. Ты извини, если что... я ведь часто бывал неправ.

Бочаров. Ерунда!

Обнялись.

Полежаев (*ищет по всем карманам и не находит*). Где это опять ключ? (*Нашел в пальто, оставленном подле двери на стуле, отдает Бочарову.*) Возьмите на всякий случай. Если не уедете, у меня сегодня будете ночевать. И вообще — как домой. Со своим ключом... Прощайте, голубчик. Пусть все у вас будет хорошо. (*Долго трясут друг другу руки. Полежаев бор-*



*мочет.) По-английски надо, по-английски... Как я вас учил...*

Но Бочаров обвиняет его, и они троекратно целуются. Через некоторое время Полежаев благополучно выходит из бочаровских объятий.

Это уж скорее по-русски!

Уходят.

В комнате остаются Марья Львовна и Воробьев. Пауза.

Воробьев. Для меня непостижимо одно.

Марья Львовна (*рассеянно*). Что?

Воробьев. Что он так легко принял известие о разгроме его проекта. (*Горько.*) Отъезд Бочарова взволновал его куда больше.

Марья Львовна (*рассеянно, все как будто прислушиваясь к чему-то*). Мы с ним привыкли ко всяким передрягам.

Воробьев (*настойчиво*). Да, но отъезд Бочарова...

Марья Львовна (*порывисто обернувшись*). Это для нас страшнее... Вам непонятно? Вам тридцать, а нам с Димой — сто тридцать. Мы боимся терять людей. С нас хватит.

Воробьев хочет что-то сказать. Марья Львовна делает ему знак молчать и вновь тревожно прислушивается. Хлопнула дверь, одна, другая. Вбегает Полежаев. Он останавливается посреди комнаты, задыхаясь и ничего не видя вокруг себя. Его обступают Марья Львовна и Воробьев. Он отстраняет их и через силу бежит к окну. Цветы и любимый кактус мешают ему смотреть на улицу — он сталкивает их на пол. На улице ничего не видно. Оборачивается. У него перекошенное лицо.

Полежаев (*хрипло*). Арестовали. (*Идет вдоль окон, роняет еще один цветок. Марья Львовна и Воробьев застыли на своих местах, не сводя глаз с Полежаева. Тот медленно, далеко обходя Марью Львовну и Воробьева, идет в кабинет. Останавливается на пороге. Еще раз оглядывает их. Неожиданно кричит.*) Не смейте ко мне входить! Никто! Никого мне сейчас не надо! (*Щелкнул замком.*)

Занавес

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

(происходит в ноябре 1917 года)

Та же гостиная, что и в первом действии. Только в ней больше мебели и вещей, собранных из других комнат. Большой стол посредине, буфет у двери. Но тот же рояль и диван и много цветов. Теперь это гостиная и столовая вместе. На столе горит керосиновая лампа. В комнате никого. Как и прежде, тихо. В дверь заглядывает *Марья Львовна* в старенькой шубке. Заглянула и скрылась, затем появляется снова, уже без шубки, но в шляпке и в теплом платке поверх шляпки. Идет прямо к столу и зябко греет над лампой руки.

*Марья Львовна.* Дурацкая погода. Слышишь, Дима? Стужа, а сверху поливает. И ветер страшный. Ничего не поделаешь: ноябрь в Питере — он такой. (*Старательно греет руки.*) Ноги еще туда-сюда, а вот руки — главное. Сейчас переписывать для тебя, а руки как грабли. (*Прислушивается.*) Ты слушаешь меня?

Никто не отвечает.

Ничего не слышит. (*Кричит.*) Дима!

Молчание.

А еще говорил: ты нужна сейчас, приходи скорее, кроме тебя никто не разбирает мои каракули... Это верно. (*Осторожно приоткрыла дверь, заглядывает в кабинет.*) Готово, Дима? Можно переписать?

*Голос Полежаева.* Сейчас, сейчас. Последняя страница.

*Марья Львовна* решительно стаскивает с головы платок и шляпку и входит в кабинет.

Ты знаешь, вот здесь я сам не могу разобрать, что написал.

*Голос Марьи Львовны.* Здесь? Ну что ты! «Гражданское мужество»... Я сразу прочитала.

*Полежаев.* Молодец!

*Голос Марьи Львовны.* Так я пойду переписывать.

*Голос Полежаева.* Пожалуйста, Муся, а то в типографии не разберут. Известно, газетные торопыги. Придется в следующем номере извиняться перед читателем: напечатано «пуговица», читай «богородица».

*Марья Львовна* выходит из кабинета, устраивается с чернильницей и бумагой за столом, у лампы. Пишет, прочитывая некоторые слова вслух.

Марья Львовна. «Всего месяц назад, в октябре тысяча девятьсот семнадцатого...», а это? «Свое славное кра...», «свое славное...». Не понимаю.

Выстрел за окнами. Марья Львовна вздрагивает и прислушивается. Затем снова склоняется над бумагами.

(*Озабоченно.*) Вот здесь и я не могу разобраться. «Кра... кра...», что такое?

Голос Полежаева (*укоризненно*). Кра! Кра! Красное... Ну конечно, красное знамя. Дай я поправлю...

Марья Львовна. Стучат. (*Бежит в переднюю.*) Это вы, Викентий Михайлович?

Гремят засовы.

Голос Марьи Львовны. Я уже начала тревожиться. Я услышала выстрел.

Воробьев быстро входит, почти вбегает. В пальто с поднятым воротником, в черной шляпе. В одной руке сверток, в другой — мокрый зонтик.

Воробьев (*задыхаясь*). Вы слышали выстрел?

Марья Львовна. Перед самым вашим приходом. (*Испуганно.*) Это не в вас стреляли?

Воробьев. Нет. Но лучше бы в меня. Такую сцену... перенести еще раз...

Марья Львовна. Что случилось?

Воробьев. Я был свидетелем... отвратительного убийства. На моих глазах схватили и расстреляли человека.

Марья Львовна. Как? Без всякого повода?

Воробьев. Грабил вагон с хлебом. Его застиг патруль. Он отстреливался. В результате кровавая расправа. Вся очередь приняла участие в охоте. (*Болезненно усмехнулся.*) Кроме меня, разумеется. Но и то... О, я никогда не забуду его лица!

Марья Львовна. Лица бандита? Вы видели его близко?

Воробьев (*нервно*). Нет. Его я старался не видеть. Я говорю о начальнике патруля. Я никогда себе не прощу... Он заставил меня писать протокол... Когда я уже уходил, раздался выстрел. Я оглянулся. Последнее, что я увидел, это опять матрос, стоящий посередине улицы с дымящимся револьвером в руке. Убийца!

Пауза.

Ма́рья Львовна (*сочувственно*). Да, вам не стоило оглядываться. (*С облегчением.*) Хорошо, что я ушла. Успокойтесь, Викентий Михайлович. (*Берет из его рук зонтик.*)

Воро́бьев (*приходя в себя*). Мокрый! Надо его раскинуть в кухне.

Воро́бьев кладет пакет на стол, поспешно снимает пальто и шляпу. Ма́рья Львовна уносит вещи в прихожую и возвращается.

Ма́рья Львовна. Озябли? Я уж бранила себя, зачем оставила вас в этой проклятой очереди.

Воро́бьев (*серьезно*). Напрасно. Я исполнил долг. (*Неожиданно улыбнулся.*) «Исполнил» называется... Хлеба нет и не будет сегодня. Выдали одни селедки. (*Кивает на стол и с омерзением нюхает пальцы.*) Фу, какая мерзость!

Ма́рья Львовна (*с удовольствием развернула сверток*). Нет, ничего, кажется. Это салака. Давно ее не было. (*Видит, что Воро́бьев брезгливо смотрит на свои руки.*) А воды нет. Хотите одеколоном? (*Подает флакон.*)

Воро́бьев (*вытирает руки одеколоном, показывает на кабинет*). Дмитрий Илларионович там?

Ма́рья Львовна. Да.

Воро́бьев. Работает?

Ма́рья Львовна. Конечно.

Воро́бьев (*с горечью*). Счастливцев! Лично я совершенно выбит из колеи. Не могу сосредоточиться, не могу думать о диссертации.

Ма́рья Львовна (*виновато отодвигает сверток с селедками*). Действительно гадость, что я заставила вас заниматься этим.

Воро́бьев. Нет, нет, я бесконечно рад помочь. Но ведь там хуже, чем это. (*Показывает на окна.*) Там льется кровь...

Ма́рья Львовна (*тихо*). Кровь давно льется. Наверно, пролил свою кровь и Миша.

Воро́бьев (*рассеянно*). Какой Миша?

Ма́рья Львовна (*грустно*). Уже забыли.

Пауза.

Что ж, скоро год, как о нем нет известий.

Пауза.

Воробьев. А, вы про Бочарова... Ну, если и пролил, то лучше на фронте, чем здесь. Честный бой — или позорная драка... За что? За власть, как бы она ни называлась. Непонятно, ненужно, дико. Мне ничего не нужно, кроме моей науки. *(Пауза.)* Я бы хотел только... *(Замолчал, видя, что Марья Львовна пишет.)*

Марья Львовна. А вы говорите что хотите. Я могу и писать и слушать. *(Бормочет, переписывая.)* «Если послушать старого идеалиста...»

Воробьев *(тихо)*. Как вы думаете? Я не очень ему помешаю, если пойду и просто положу на стол... *(Вынимает из кармана тетрадь.)*

Марья Львовна. Что это?

Воробьев *(смуценно)*. Это мои воспоминания...

Марья Львовна *(удивленно)*. Воспоминания? О ком?

Воробьев *(после минутной нерешительности)*.  
О Дмитрие Илларионовиче.

Марья Львовна *(даже испуганно)*. Он же еще не умер! Вы что, с ума сошли?

Воробьев. Почему? Это так естественно! Живя рядом с большим человеком, запоминать, записывать его мысли, его высказывания, мельчайшие черточки его бытия... *(Убежденно.)* Именно так появилось множество мемуаров о великих людях. Так Эккерман писал о Гете. Почему я не имею права?

Марья Львовна *(смеясь)*. Ну, пожалуйста, если вы считаете его великим!

Воробьев *(настойчиво)*. А вы не считаете его великим?

Марья Львовна *(лукаво)*. Это мое дело. Кстати, раз уж вы пишете про бытие, значит и меня прихватили?..

Воробьев *(уклончиво)*. Да, немного...

Марья Львовна *(иронически)*. Очень обязана. А интересно взглянуть. *(Протягивает руку.)*

Воробьев поспешно отдергивает тетрадь.

*(Подозрительно.)* Может, дурой меня там назвали.

Воробьев. Марья Львовна... Я хотел, чтобы он прочел прежде. *(Убежденно.)* Я обязан ему отдать это не позже завтрашнего дня.

Марья Львовна. Почему?

Воробьев. Вы забыли, что завтра Дмитрию Илларионовичу исполняется семьдесят пять лет?

Марья Львовна. Ну и что? Лучше вас знаю.

Воробьев. Вы видите, что происходящие события (*показывает на окна*)... не позволят ученым отпраздновать юбилей. Поэтому...

Марья Львовна. Подождите. Кто не позволит? Мы отпразднуем дома день его рождения. (*Доверительно.*) У меня даже две бутылки вина припасено. Придут гости. Я всех позвала.

Воробьев (*горько*). Дома! Гости! Разве этого он заслуживает?.. (*Горько.*) Марья Львовна, я обязан ему показать. (*Берет тетрадку.*) Чтобы он видел, знал, как преданы ему ближайшие ученики... что ни одно его слово не пропадет для потомства. А кроме того, это мой личный дар... (*Решительно идет к двери.*)

Марья Львовна. Викентий Михайлович!

Он не слушает, взялся за ручку двери.

Викентий Михайлович!

Воробьев открыл дверь. Марья Львовна, покачав головой, принимается снова за переписку.

Голос Полежаева. Кто это? А, это вы, Викентий Михайлович! Очень рад. Впрочем...

Воробьев (*сделал было шаг в кабинет*). Что, Дмитрий Илларионович?

Марья Львовна с улыбкой прислушивается.

Голос Полежаева. Лучше ступайте, дружок. А то помешаете мне. Идите себе, работайте. Как диссертация, подвигается?

Воробьев (*идет к письменному столу, угол которого виден из гостиной; взволнованно*). Дмитрий Илларионович, вот... я хотел... прочитайте сегодня вечером... перед сном...

Голос Полежаева. Что это? Диссертация? Да вы молодец, Викентий Михайлович! Лучше меня стали работать.

Голос Воробьева. Дмитрий Илларионович...

Голос Полежаева. Хорошо, хорошо. Непременно прочту. Идите, голубчик. Хотя подождите. Раз диссертацию кончили, я вам работу дам.

Пауза.

Бумажный шорох.

(Торжественно.) Да вы знаете, что я вам даю? Держите крепче. Что, у вас никак руки дрожат? Или это у меня? (Волнуясь.) Книга моя, последняя глава. Закончил сегодня. Как раз поспел ко дню рождения. А? Небось вы мне никакого подарка не приготовили, а я о себе позаботился. Ну, держите. Ведь это шесть лет моей жизни. Завтра пораньше встаньте — и в типографию. Сегодня проверьте формулы. Не напачкайте там ничего. Ну, идите, дружок... Всего хорошего!

Воробьев (выпровоженный из кабинета, выходит с рукописью; торжествуя Марье Львовне). Слыхали? Отдал. Взамен получил вот это.

Марья Львовна смеется и машет на него рукой. Воробьев пристраивается с другой стороны стола и принимается за работу. Марья Львовна бормочет что-то про себя, переписывая. Дальний выстрел. Воробьев сразу резко захлопывает рукопись.

Опять!

Марья Львовна (рассеянно). Что опять?

Воробьев (жалобно). Стреляют. Как сейчас вижу... Вагон стоял на трамвайных путях. Человек побежал, отстреливаясь. Его схватили. Матрос прочел приказ: «Мародеров, бандитов и спекулянтов... вполне изобличенных, расстреливать на месте». (Горячо.) В одном этом слове заключена вся бессмысленная жестокость произвола. «На месте!»

Вскакивает из-за стола. Марья Львовна прилежно пишет.

(Решительно.) Дальше, от всего дальше. Замкнуться на ключ, не слышать, не знать, не видеть. Только наука, только книги.

Молчанье. Марья Львовна продолжает писать, озабоченно произнося некоторые слова вслух.

Марья Львовна. «Только глупец может отделять... Глупец... отделять науку от...»

Воробьев. Но, может быть, этого мало? Надо открыто сказать, что мы уйдем в отставку. (Пауза.) А почему бы не так? Прежде мог же Дмитрий Илларионович в знак протеста уходить из университета. (Тихо.) Марья Львовна...

Марья Львовна (отмахиваясь). Подождите, здесь самое интересное... «И я призываю...»

Воробьев. Со мной говорили сегодня... профессор Кумов и другие. Они ждут только смелого слова. Кто-то должен выступить первым. *(Смотрит на Марью Львовну. Тихо.)* Раньше бы вы не задумываясь ответили: это сделает Дима. Почему вы теперь этого не говорите?

Марья Львовна кончила переписывать, сложила вместе листки.

Марья Львовна *(просто)*. Он уже сделал это. Поднялась со стула, держа в руке и показывая Воробьеву бумаги. Воробьев поднимается с другой стороны стола.

Воробьев. Что это?

Марья Львовна не успела ответить. В кабинете гремит гневный голос.

Голос Полежаева. Это что за мерзость?! Воробьев, пожалуйте-ка сюда!

Воробьев и Марья Львовна испуганно переглянулись.

*(С каждой фразой грознее.)* Так вот он что мне подложил! Я думал — диссертацию, а он мне акафисты! Гляжу: что такое? Эккерман, Гете! Дмитрий Илларионович — гений, мировая величина... Да вы что? Воробьев! Где вы прячетесь?

Марья Львовна. Я вас предупреждала...

Голос Полежаева *(как гром)*. Чтобы духу этого не было! Вон! За дверь! Я в печку брошу.

Воробьев *(жалобно)*. Дмитрий Илларионович, ради бога!

Бросается в кабинет, но в это время раздается громкий стук в наружную дверь.

Марья Львовна с лампой в руках спешит в прихожую. Воробьев, спотыкаясь, выбегает из кабинета. Замолчал Полежаев. В комнате сразу стало темно.

*(Вслед Марье Львовне.)* Марья Львовна, не открывайте. Грабят не только вагоны... из той же шайки... очень возможно...

Воробьев не договорил. В комнату, еще не освещенную, вваливается несколько человек, гремя сапогами. Марья Львовна идет за ними с лампой в руках. Матрос Куприянов идет прямо на Воробьева. Воробьев смотрит на него, отступает.

*(Едва слышно.)* Вы?.. Он... Не может быть...



Куприянов. Что — я? *(В свою очередь, смотрит на Воробьева.)* А-а, старый знакомый... *(Обращаясь к отряду.)* Это который нам протокол составлял. Скоро встретились. Вы хозяин квартиры?

Воробьев. Нет. Нет.

Еще отступает на шаг и показывает на дверь кабинета. Но когда матрос Куприянов направляется туда, Воробьев спохватывается и загораживает ему дорогу.

Я его помощник. Что вам угодно?

Куприянов *(отстраняет его)*. Нам не приказчика, нам самого хозяина надо. *(К Марье Львовне.)* Хозяин там, что ли?

Марья Львовна *(идет вперед и открывает дверь)*. Дима, к тебе.

Голос Полежаева *(оживленный)*. Пришли из газеты?

Марья Львовна *(делает знаки)*. Дима!

Полежаев *(показывается на пороге; к матросу)*. Вы за статьей?

Куприянов. За какой статьей? За хлебом.

Полежаев. За каким хлебом?

Куприянов. Давайте показывайте. Где скрыли излишки? Муку. Непонятно? Хлебные излишки.

Полежаев *(увидя на столе сверток)*. Маша, ты что? Вероятно, ошиблись в лавке, тебе дали лишнее? Конечно, верни сейчас же.

Марья Львовна. Да нет... Я совсем сегодня не получила хлеба. Викентий Михайлович стоял и тоже не достал. Принес одни селедки.

Воробьев хочет что-то сказать. Куприянов осаживает его.

Куприянов. Где запасы?

Марья Львовна. Уверяю вас...

Куприянов *(усмехнулся)*. Да вас что, первый раз обыскивают?

Солдат *(пришедший с ним)*. Свежинка, значит.

Куприянов *(останавливает его)*. Но, но!

Заметил, что другой из его отряда уже начал шарить по углам комнаты.

Погоди шерстить. *(Полежаеву, хмуро.)* Не знаете постановлений? Совет народных комиссаров постановил... должны выявить излишки у буржуев. Хлеба в Питере не хватает, Народ голодает. Понятно вам?

Полежаев (*Марья Львовне*). Ключи от кладовки! У нас есть что-нибудь?

Марья Львовна спешит к буфету, достает ключи, отдает матросу. Тот хладнокровно берет ключи и кладет в карман.

Куприянов (*хлопая по карману*). Теперь не уйдет ничего из кладовки. (*Идет в кабинет.*) А здесь что?

Полежаев (*сухо*). Здесь я работаю.

Куприянов (*пренебрежительно*). Какая ваша работа?

Воробьев (*не выдержал*). Профессор пишет книги.

Куприянов открывает обе половины двери. Виден кабинет: стены, сплошь заставленные книжными полками, письменный стол, на котором горит свеча.

Матрос (*насмешливо*). Пишет книги? Эти все написал? (*Показывает на полки.*)

Воробьев (*вызывающе*). Да, эти все.

Куприянов (*вдруг разозлился*). Но, но! За такое вкручивание...

Воробьев (*очень взволнован, однако не выказывает страха*). Что вы мне сделаете?

Полежаев (*сердито*). Довольно! Что зря молоть! Расхрабрились. (*Обернувшись к матросам.*) А вы тоже! Пришли с обыском, так обыскивайте. Зря отнимаете время. Обыскивайте, что стоите?

Один из отряда уселся у двери и перезаряжает револьвер, другой переобувается. Начальник патруля шагнул в кабинет. У самой двери на стенке книжного шкафа висит черное бархатное одеяние с малиновыми отворотами. Матрос зацепился за него маузером, снимает с крючка, возвращается в комнату и рассматривает его у лампы, которую держит Марья Львовна.

Куприянов. Э-э, да у вас тут молельня. (*Распялил на руках мантию.*) Ряса архиерейская, что ли?

Полежаев (*возмущенно*). Такую мантию носил сам Ньютон!

Куприянов. Кто?

Полежаев (*кричит*). Ньютон! Знаменитый физик!

Куприянов (*оглянувшись на свой отряд*). А, физик. (*Отдает Воробьеву мантию. Отряду грозно, даже со злостью.*) Пошли! Нечего тут. (*Одному зазевавшемуся парнишке.*) Ты что физику выставил?

Шумно уходят. Марья Львовна идет закрывать за ними дверь.

Полежаев (*сердито кричит им вслед*). Я говорю, зря отняли время. Могли бы прочесть на двери, что не буржуй живет!

Марья Львовна (*умоляюще обернулась*). Дима!

Полежаев. Что — Дима? Не «Дима» же там написано, а «профессор Полежаев».

Воробьев. Это ему простительно. Он, верно, читать не умеет.

Полежаев (*хмуро*). Вы думаете?

Воробьев (*торопится объяснить*). Я знаю его. Я сегодня...

Полежаев не слушает и уходит.

(*Торопится, пока он не ушел.*) Дмитрий Илларионович... Вы написали... статью в газету?

Полежаев (*подозрительно*). Да, а что?

Воробьев (*взволнованно*). Вся интеллигенция ждет вашего слова.

Полежаев (*опять не выдержал*). Какого слова? Вы знаете, что я не признаю такого хвастливого слова «интеллигенция». Я десять лет назад запретил вам его произносить.

Воробьев. Да, да, я забыл. Простите.

Полежаев уходит в кабинет.

(*Марье Львовне.*) Как он стал раздражителен. Я понимаю его. Даже при царизме к вам не ломились с дурацкими обысками. Помните, когда арестовали Бочарова? Его поджидали внизу, у двери, чтобы не беспокоить профессора. (*После раздумья, грустно.*) Но я боюсь, что теперь навсегда потерял его расположение...

Марья Львовна (*успокаивая*). Ничего. Отойдет, как всегда. Потерпите немножко.

В комнату заглядывает Полежаев.

Полежаев (*весело*). Господа, вы заметили, как матрос Ньютона испугался? Прямо глаза вот такие от страха стали. Он думал, что я его как-нибудь осрамлю перед его отрядом. Славная у него морда. (*Марье Львовне.*) Чем-то похожа на твою тетку Веру Васильевну.

Воробьев (*с ужасом*). На Веру Васильевну? Да вы знаете, что он сейчас стрелял в человека?

Полежаев. За что? Где?

Воробьев. Какой-то бандит грабил вагон с продовольствием. Но не в этом дело...

Полежаев (*не обращая на него внимания, бежит к двери в переднюю*). Муся, матрос ушел?

Марья Львовна. Ушел, давно ушел.

Полежаев (*с досадой оборачивается к Воробьеву*). Что же вы раньше молчали? Мы сидим здесь, а он воюет. . . И я на него накричал. Может быть, он внизу, у Веры Васильевны?

Бежит в прихожую. Воробьев с испугом глядит ему вслед. В это время опять постучали в дверь. Открывает сам Полежаев.

Марья Львовна (*с тревогой*). Неужели вернулись?

Голос Полежаева (*строгий*). Это опять вы?

Голос Куприянова. Я к супруге вашей.

Полежаев (*в дверях*). Муся, к тебе!

Куприянов (*сконфуженно*). Еще раз здравствуйте. (*Гремит ключами в кармане. Не может вытащить, зацепились.*) Я тут у вас, кажется, ключики подхватил. Извиняюсь. (*Отдает ключи Марье Львовне.*) До свиданья-ца. (*Уходит.*)

Полежаев. Подождите. (*Устремляется в кабинет.*) Муся, ты переписала? Где статья?

Марья Львовна (*бежит за статьей в свой угол*). Переписала, переписала.

Полежаев (*появляется с письмом в руке, матросу*). Будьте любезны. . . Муся, давай статью. Если вас не затруднит, отошлите с кем-нибудь из ваших людей по этому адресу. (*Отдает письмо.*) Письмо. . . и статью.

Куприянов (*прочитал про себя адрес, шевеля губами; с уважением*). О-о!

Воробьев шагнул, чтобы прочесть адрес, но матрос уже спрятал письмо за пазуху.

Полежаев. Одну минуту. (*Подходит с Марьей Львовной к столу, вместе проверяют статью.*) Сейчас, только проверю.

Куприянов (*подходит к Воробьеву. Громким шепотом*). Чего он профессор?

Воробьев. Ботаники. Физиологии растений.

Куприянов. Так. А вы?

Воробьев. Тоже.

Куприянов. А как его фамилия будет?

Воробьев. Полежаев. (*Совсем осмелев.*) На двери же написано. . .

Куприянов (*перебивает*). Как?

Воробьев. Что?

Куприянов. Фамилия.

Воробьев. Полежаев.

Куприянов. Так это верно?

Воробьев (*пожимает плечами*). Да вы чудак, любезный.

Куприянов (*грозно*). Но, но! (*Бормочет.*) Неужели тот, про которого мне Гуляш говорил? Не может быть! (*Идет к Полежаеву.*) Извиняюсь, знакомого у вас не было? Гуляш — кличка, а фамилия как, не помню.

Полежаев (*рассеянно*). Профессор Каллаш?

Куприянов. Нет, Гуляш. . .

Полежаев. Не было. (*Опять занялся статьей.*)

Куприянов (*огорченно*). Значит, не тот. Профессор, да не тот. Бывает.

Полежаев (*отдает ему статью*). Кто не тот? Вот передайте, пожалуйста, кому следует.

Куприянов. Есть. (*Уходит.*)

Полежаев (*кричит ему вслед*). Не потеряйте!

Захлопнулась дверь. Марья Львовна гремит засовами.

Воробьев. Вы. . . ему доверили вашу статью?

Полежаев. А что? Он же с оружием. Уж у него не отнимут мазурики. (*Похлопал по рукописи, лежащей на столе, которую дал Воробьеву еще до обыска.*) Посмотрим, как вы понесете завтра вот эту штуку. Вас бы только никто не ограбил. (*Бережно передает рукопись Воробьеву; тот бережно ее принимает.*) Да нет, вы чувствуете? Ведь это та самая, которую я до войны начал. (*Грустно.*) Миша мне помогал. А теперь вы один у меня остались. . . помощник.

Пауза.

Воробьев стоит с рукописью.

И зачем вам понадобилось свою ерунду мне давать читать? Разозлили меня не вовремя.

Воробьев. Дмитрий Илларионович. . .

Полежаев. Не обижаться! Все-таки я родился завтра. Мне многое позволительно. (*Подмигивает Марье Львовне.*) Ничего, ничего, Маша, отпразднуем!

За окном пулеметная очередь. Все замерли. Короткая пауза, и опять.

Марья Львовна. Дима!

Полежаев. Ну и что? Мы им не помешаем.

Занавес

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Та же столовая и вместе гостиная. Стол раздвинут во всю длину комнаты. Полежаев в праздничном сюртуке и Марья Львовна в нарядном платье накрывают стол скатертью.

Полежаев. Слева, слева заходи... Ну что же ты! Тяни за левый угол. Вот, а теперь криво. Тяни за правый угол. Заходи справа, справа заходи.

Марья Львовна. Дима, оставь, я сама.

Полежаев. Что значит — сама? Кто именинник: я или ты?

Марья Львовна. Ты. Ну и сиди как именинник.

Полежаев. Хорошо. *(Демонстративно садится в угол. Через минуту не выдержал.)* А ты всех позвала? Телефон-то молчит. Кумовых пригласила?

Марья Львовна *(расставляя приборы)*. Да.

Полежаев. Кислицына?

Марья Львовна. Да.

Полежаев *(перечисляет по пальцам)*. Грум-Гржимайло? Семенова? Буша? Пршедецкого? Великатова? Гуляша?.. Тьфу, матрос меня спутал... Каллаша?

Марья Львовна. Да, да, да.

Полежаев. Молодец! А Тихона Алексеевича?

Марья Львовна. Боже мой, ну конечно. Да если бы вдруг не позвала, что он, сам не знает? Тридцать лет ходит.

Полежаев. Тридцать лет, тридцать лет... Нынешний год особенный.

Марья Львовна. А что особенного? Свету нет? Так, может, будет еще сегодня. А хорошо бы. К ужину. Хотя знаешь... *(Смеется.)* В темноте не так совестно... угощать картошкой... *(Серьезно)*. Ботаник, ты бы хоть салат вывел — весь ноябрь я тебя об этом прошу.

Полежаев вдруг срывается с места.

Ты куда?

Полежаев. На угол, за газетой.

Марья Львовна. Викентий Михайлович принесет.

Голос Полежаева *(уже из прихожей)*. Не могу я больше ждать. Теперь уж не только утренние, а вечерние вышли. До сих пор свою статью не читал.

Хлопнула дверь, Марья Львовна расставляет на столе приборы. Три стука в дверь. Бежит открывать.

Голос Марьи Львовны. А Диму разве не встретили?

Голос Воробьева. Он пробежал мимо. Я пытался догнать, окликнул, никакого внимания.

Марья Львовна (*входит*). Увлечен идеей купить газету. Прямо пылает.

Воробьев (*идет за ней, холодно*). Почему так вдруг загорелся?

Марья Львовна. Ну, я не знаю. Вероятно, желание автора увидеть свое произведение напечатанным.

Воробьев. Это у профессора Полежаева такое желание? Его труды напечатаны на шести языках...

Марья Львовна. А вы все еще кипите?

Воробьев молчит.

Все из-за вчерашнего?

Воробьев молчит.

Почему молчите, как Бочаров? Хотя Бочаров-то молчал, молчал, а оказался вдруг агитатором. Может, и вы...

Воробьев (*резко*). Не говорите мне о Бочарове.

Марья Львовна. Почему?

Воробьев. Я ему никогда не прощу. Он отнял у меня Полежаева.

Марья Львовна. С ума сошел! Да Бочарова уже год как в живых-то нет, может.

Воробьев. Все равно.

Марья Львовна (*вспылив*). Ах, вам все равно?

Воробьев хочет что-то сказать.

Молчите лучше.

Воробьев. Хорошо. Тогда вот. (*Достает из кармана газеты, протягивает их Марье Львовне.*)

Марья Львовна. Газеты? Спасибо. Я говорила Диме, что вы принесете.

Воробьев (*помогает ей развернуть газету и тычет пальцем в столбец*). Вот, пожалуйста.

Марья Львовна (*близоруко*). Что такое?

Воробьев. Читайте.

Марья Львовна. Очки.

Воробьев подает ей очки.

(*Читает*). «С грустной иронией мы должны заметить, что если бы это не было злым кощунством, позволительным лишь бульварному юмористическому листку, мы заклю-

чили бы в траурную рамку наше сегодняшнее сообщение. Поистине-глубокую скорбь может вызвать подобное ослепление знаменитого ученого, в свои семьдесят с лишним лет перешедшего в стан насильников и врагов культуры». Это про Диму?»

Воробьев. Читайте дальше.

Марья Львовна. Да как они смеют?! Траур! В день юбилея.

Воробьев. Это не все, Марья Львовна. *(Подает ей другие газеты.)* Вот, пожалуйста.

Марья Львовна. О нем? Эти дикие заголовки?

Воробьев. Да, к сожалению.

Марья Львовна. Боже мой, не показывайте ему...

Воробьев. Не забывайте, что он сам пошел за газетами.

Марья Львовна *(с надеждой)*. Но он ведь пошел за той, где напечатана его статья.

Воробьев. За этой? *(Достает из кармана еще одну газету.)*

Марья Львовна. Да, да. А те, быть может, не падутся ему на глаза.

В это время хлопнула дверь. Марья Львовна прислушивается. В прихожей два голоса: мальчишеский бас и мальчишеский дискант.

Первый голос. Профессор — шпион! Профессор — шпион!

Второй голос. Бывший знаменитый ученый продался большевикам. Бывший знаменитый ученый!..

Воробьев *(испуганно)*. Кто это?

Марья Львовна. Это Дима. Значит, уже знает сам.

Полежаев *(показывается из прихожей, мрачно)*. Слыхали? Похоже кричат газетчики? На каждом углу. Хотите еще?

Марья Львовна и Воробьев молчат. Полежаев, усталый, садится в кресло. Увидел газеты.

А, вы уже читали? *(Воробьеву.)* Что вы на это скажете?

Воробьев. Я?..

Полежаев. Хотя вы ничего не скажете. *(Отвернулся.)*

Воробьев. Скажу.

Полежаев. Интересно, что... .

Воробьев. Что подло травить вас сразу же за один необдуманный шаг.



Полежаев. Как?  
Воробьев (*упрямо*). Подло...

Пауза.

Полежаев (*с минуту смотрит на него*). А ну вас!  
(*Тяжело идет в кабинет.*)

Марья Львовна. Дима!  
Воробьев. Дмитрий Илларионович!

Кидается за ним. Полежаев его отстраняет.

Полежаев (*устало*). Поговорили без меня — и хватит.

Воробьев (*искренне взволнованный*). Дмитрий Илларионович, нет...

Полежаев (*упрямо*). Я юбиляр. Пожалуйста, думайте сегодня только об этом.

Марья Львовна. Да, да... Скоро гости.

Полежаев ушел в кабинет. Воробьев уныло побрел в переднюю.

Викентий Михайлович, вы куда?

Воробьев. Домой.

Марья Львовна. Дима, ты его опять обидел?

Полежаев (*показываясь на пороге*). Викентий Михайлович, ну-ка, идите сюда.

Воробьев молча приблизился.

Голубчик, я не на вас сержусь. И даже не на эту идиотскую брань. Подумаешь! Ее следовало ожидать. (*Доверительно*). Но вы понимаете, какая обида! То, за что меня здесь бранят, — не достал. Утренняя газета. Все раскупили, пока я собрался выйти. (*Оживившись*). Может быть, вы купили?

Воробьев. Я? (*Твердо*.) Нет.

Марья Львовна. Как? Вы же мне показывали?

Полежаев (*настороженно смотрит на Воробьева*). Ну?

Воробьев (*упрямо*). У меня нет этой газеты. К сожалению, я не могу вам доставить радость...

Полежаев. Что такое?

Воробьев (*договаривает*). ...радость автора увидеть свое произведение напечатанным.

Полежаев (*Марье Львовне*). Смотри, смотри, интеллигент показывает характер. (*Добродушно*.) Ладно. Кстати, о моих печатных произведениях. Вы сдали книгу в типографию?

Воробьев. Увы, да.

Полежаев. Почему опять замогильный тон?

Воробьев (*понижив голос*). Дмитрий Илларионович, я боюсь за судьбу вашей книги. С ней там может случиться все.

Полежаев. Крысы, что ли, ее съедят?

Воробьев (*горячо*). Вы знаете, что новые власти хотят занять типографию под свою газету? Ну да, вот под эту самую.

Воробьев сгоряча выхватывает газету из кармана. Полежаев радостно выхватывает ее в свою очередь у Воробьева.

Полежаев. Я говорил, что она у вас. (*Спешит в кабинет.*)

Воробьев (*вдогонку*). Они прикажут рассыпать набор вашей книги.

Полежаев. Чепуха! (*Исчезает за дверью.*)

Воробьев. Может, издать ее за границей?

В кабинете молчание.

(*Умоляюще, Марье Львовне.*) Он совсем не желает меня слушать. Кончится тем, что он меня выгонит.

Марья Львовна. Правда, шли бы лучше домой, пока я к приходу гостей готовлюсь. Все равно ведь не помогаете.

Воробьев (*вынул часы*). Собственно, я сейчас должен бы читать лекцию.

Марья Львовна. Вот и хорошо. И ступайте, читайте на здоровье. Потом приходите ужинать.

Воробьев. Вы думаете — в университете? На корабле — матросам.

Марья Львовна. А что я вам говорила? Вы идете по стопам Бочарова. Он год назад агитировал среди матросов.

Воробьев (*мрачно*). Действительно, большое сходство. Только он сам пошел, а меня... (*Делает выразительный жест.*) попросили.

Марья Львовна. Вот как! Ты слышишь, Дима?

Полежаев (*показывается на пороге, веселый и оживленный, в руках газета*). А я все свою статью читаю. (*Блестя глазами.*) Молодец, право! (*Спешит пояснить.*) То есть, я хочу сказать, молодец матрос, доставил ее по адресу. Не обманул, вояка.

Марья Львовна (*Воробьеву*). Уж не он ли вас пригласил?

Воробьев (*неохотно*). Да, явился сегодня в университет, отыскал меня. . . (*Садится.*)

Марья Львовна (*удивленно*). Что ж вы садитесь? Пора идти, вы сказали. . .

Воробьев. Я раздумал. Они теперь так уважают Дмитрия Илларионовича, что я, кажется, не рискую подвергнуться страшной мести, если послушаюсь.

Марья Львовна (*прислушивающемуся Полежаеву*). Дима, ты понял, о чем он говорит?

Полежаев (*холодно*). Как будто. В котором часу вы должны читать лекцию?

Воробьев. В шесть часов.

Полежаев. Сейчас половина седьмого. Почему вы опаздываете?

Воробьев. Я. . .

Полежаев. Извольте сейчас же пойти. Это что? Непременно извинитесь за опоздание. Вы доцент и мой помощник. Хотите осрамить университет, мое имя?

Воробьев (*волнуясь, встает со стула*). Я, Дмитрий Илларионович. . .

Полежаев. Одевайтесь.

Воробьев (*опять сел*). Я не пойду.

Пауза.

Полежаев (*сурово*). Не пойдете?

Воробьев (*беспокойно*). Я не могу читать лекции матросне.

Полежаев. Как? Повторите!

Воробьев. Они не поймут ни одного слова из моей лекции.

Полежаев бежит в кабинет. Молчание. Марья Львовна, глядя на Воробьева, укоризненно качает головой.

Полежаев выбегает из кабинета, роняя и подхватывая на бегу какие-то тетради.

Полежаев (*пробегая мимо Воробьева*). Стыдно!

Марья Львовна. Дима! Неужели ты хочешь сам? (*Спешит в прихожую. Вполоборота к Воробьеву.*) Стыдно!

Полежаев (*показывается в пальто*). Адрес?

Воробьев (*неохотно*). Корабль «Амур».

Полежаев. Где стоит?

Воробьев. На Неве.

Полежаев. В каком месте, точно?

Воробьев. У Николаевского моста.

Полежаев. Вас ждет шлюпка?

Воробьев покорно кивает головой.

Марья Львовна (*охнув*). Шлюпка!

Полежаев исчезает.

(*Вслед.*) А гости?

Хлопнула дверь. Марья Львовна выходит из комнаты, мечется, надевая шубку.

Ночью... на шлюпке...

Воробьев. Марья Львовна!

Марья Львовна. Я не могу отпустить его одного, он простудится.

Воробьев. Я догоню. (*Бежит в прихожую.*)

Марья Львовна. Скорей! Это вы все наделали. Захватите шарф. Помиритесь с ним.

Хлопнула дверь. Марья Львовна возвращается в комнату, скинула шубку, устало садится в кресло.

Как можно было при нем говорить о лекции! Дура я! Наизусть ведь знаю. (*Оглядывая гостиную.*) А у меня все готово. Только хозяина нет. Укатил на шлюпке. Чему удивляться? Помню, когда в Париже я замуж за него выходила. Гостей вот так же позвали, а его нет. Три часа ждали. (*Мечтательно.*) Понятно, когда вся жизнь впереди, три часа подождать нетрудно...

Марья Львовна привертывает фитиль в лампе. Откинулась на спинку кресла, закрыла глаза.

Некоторое время на сцене темно. Бьют часы.

(*Встрепенувшись и прибавив света.*) Уже восемь часов. Гостям прийти время. Поздно-то нынче и выходить бояться.

Звонок.

Ну вот. (*Бежит в переднюю, но тотчас возвращается при повторном звонке.*) Нет, это телефон зазвонил. Неужели с Димой что-нибудь? (*Держит трубку, не решаясь ответить.*) Неужели с Димой? (*Говорит в трубку.*) Я у телефона. Варвара Никитична? Здравствуйте, Варвара Никитична. Что вы так долго? Мы ждем... Как не придете?... А? Что такое? (*Растерянно.*) Разъединили, или повесила трубку...

В передней стучат в дверь. Марья Львовна бежит открывать. Слышатся чей-то визгливый, невнятный голос и голос Марьи Львовны.

Голос Марьи Львовны. Кто прислал? Ничего не понимаю. Кухарка от Кумовых? Идите сюда, ближе к свету.

Марья Львовна (*показывается в дверях, за ней какая-то женщина*). Говорите толком.

Кухарка. Мне что, я скажу. Господа велели сказать, что они не придут и больше их звать не велят бесконить.

Марья Львовна. Как это понимать?

Кухарка. А так. Вот и вся недолга. (*Хищно смотрит на праздничный стол.*) А барин, так тот прямо выругался. С таким, говорит, и за стол-то зазорно сесть. Про вашего-то. Мне что, я так и передаю. До свиданья-ца. (*Укоризненно.*) Ай-ай-ай!

Марья Львовна (*придя в себя*). Уходи, уходи, пожалуйста.

Кухарка. Ну, ну, не очень. Другой раз в очередь не пушу. (*Уходит.*)

Марья Львовна закрывает за ней, возвращается.

Марья Львовна (*упавшим голосом*). Понимаю. Я думала, мне показалось в очереди, что Анна Ивановна мне не ответила, когда я ей поклонилась. А кто-то совсем отвернулся. И зашипели. И вот теперь... За что? И в такой день.

Опять стучат. Радостно бежит в переднюю.

Конечно. Не может быть, чтобы настоящие друзья не пришли.

Стук открываемой двери. Откашливание. Топот ног.

Голос Марьи Львовны. Вам что, господа?

Мужской голос. Профессор дома?

Женский голос. Скажите профессору, что пришли студенты.

Голос Марьи Львовны. Профессора нет дома.

Женский голос. Неправда!

Другой женский голос. Он дома, он прячется, господа.

Мужской голос. Какое ребячество!

Другой мужской голос. Какая низость!

Все разом показываются в дверях, отеснив Марью Львовну. Двое студентов, две студентки.

Марья Львовна (*проталкиваясь в столовую*). Господа, я не понимаю. Что вы хотите? А вы куда?

Первая студентка (*заглядывая в кабинет*). Действительно, его там нет.

Вторая студентка. Ну ничего, мы подождем. (*Садится.*)

Первый студент. Разумеется.

Марья Львовна (*возмущенно*). Вчера нас обыскивали матросы...

Вторая студентка (*презрительно*). Их обыскивали!..

Марья Львовна. Но они не были и наполовину столь развязны и грубы, как вы, молодые люди. Что с вами?

Первая студентка. Рассаживайтесь, господа. Мы во что бы то ни стало его дождемся.

Марья Львовна. Вы немедленно покинете мою квартиру.

Все демонстративно садятся, кроме первого студента.

Первый студент (*растерянно*). Господа, кажется, мы это слишком...

Студентки дергают его за рукав, заставив сесть.

Второй студент (*привстав, поясняет Марье Львовне*). Видите ли, мы делегация студентов, имеющая предложить профессору Полежаеву...

Его также дергают за рукав: «Да будет вам!.. Чего объясняться! С самим будем говорить!»

(*Солидно заканчивает, уже сидя.*) ...отказаться от его сегодняшней статьи, в которой он признал большевиков и призывает к такому признанию всю интеллигенцию.

Вторая студентка (*насмешливо*). И какое признание они намерены сейчас отпраздновать. (*Показывает на стол.*)

Марья Львовна. Вы не уйдете добром? (*Идет в прихожую.*)

Вторая студентка. Куда это она?

Первая студентка. Ни за что не уйдем. Пусть хоть дворника зовет.

Марья Львовна (*возвращается в шубке*). Господа, я открыла вам дверь на лестницу. Прошу.

Вторая студентка. Но это просто невежливо!

Первая студентка. Безобразие!

В передней показывается Воробьев.

Воробьев (*удивленно*). На лестницу дверь открыта. Зачем? (*Увидел студентов.*)

Студенты (*все вместе*). Господин Воробьев! Викентий Михайлович!.. Ни на что не похоже!.. Вы можете на него повлиять!.. Сначала на нее!..

Воробьев. Господа, успокойтесь, пожалуйста! Марья Львовна, что происходит?

Марья Львовна. Где Дмитрий Илларионович?

Воробьев (*оскорбленно*). Я был прав, он меня прогнал.

Марья Львовна. И вы его оставили одного?

Воробьев. Я вам говорю, он прогнал меня от себя.

Марья Львовна молча начинает застегиваться.

Марья Львовна, что вы хотите?

Марья Львовна. Встретить его. А вы развлекайте гостей. (*Показывает на студентов.*)

Воробьев. Марья Львовна, голубушка, пожалуйста, успокойтесь. Его проводят с лекции. Так и сказали. Он сразу же там снискал всеобщую любовь, овалы, что угодно.

Марья Львовна. Да? Проводят, сказали? Ну, в таком случае!.. (*Расстегивает шубку.*)

Воробьев. Вот и хорошо. Господа, пройдемте сюда. (*Открывает дверь в кабинет.*)

Марья Львовна становится на пороге.

Марья Львовна. В его кабинет? Ни за что!

Воробьев. Марья Львовна, но там есть и мой угол для занятий.

Марья Львовна. Там теперь я сижу. Это мой угол. (*Запирается в кабинете.*)

Все растерянно глядят друг на друга.

Студенты. Викентий Михайлович, мы пришли объявить бойкот профессору.

Воробьев (*морищется*). Господа, бойкот — это пустяки. Этим нас не проймешь. (*Болезненно улыбается.*) Мы с Дмитрием Илларионовичем привыкли ко всяким передрягам.

Студенты (*все в один голос*). Что же делать? Скажите! Мы вам верим, Викентий Михайлович!

Воробьев (*скромно*). Спасибо! (*Тихо, но внушительно.*) Есть еще одно средство. (*Похлопав по объемистому портфелю.*) Крайнее средство, господа, не скрою.

Но прежде я надеюсь на одно неожиданное для него известие. (*Заговорщически что-то шепчет им. Громко.*) А теперь, я думаю, вы сами, господа, видите, что вам лучше всего не демонстрировать в профессорской квартире, а мирно уйти. (*Тихо.*) Да, да, господа, я надеюсь, что один я буду действовать успешнее.

Все послушно уходят.

(*Тихо.*) Туда, туда. (*Показывает.*) Подождите меня на кухне. (*Громко.*) Марья Львовна, они уходят.

Марья Львовна (*показываясь в дверях кабинета*). Очень рада. Спасибо, что уговорили. Скоро гости придут, а у нас чуть не драка!

Воробьев (*грустно*). К вам никто не придет, Марья Львовна.

Марья Львовна. Вы думаете?

Воробьев (*грустно*). Я знаю.

Хлопнула дверь. Шаги в передней.

Марья Львовна (*торжествуя*).. А это что? Слышите? Вы не закрыли дверь.

Голос Полежаева. Тьфу! Все еще света нет! (*Уронил стул.*)

Марья Львовна. Это Дима.

Голос Полежаева (*он опять что-то уронил*). Да зажгите спичку или вашу зажигалку.

Мужской голос. Есть.

В прихожей стало светло.

Марья Львовна (*радно*). Видите, он не один. Кажется, с Тихоном Алексеевичем. (*Удовлетворенно.*) Ну вот, начали собираться. (*Торопливо уходит.*)

Воробьев. Куда вы, Марья Львовна?

Голос Марьи Львовны. В кухню, самовар ставить.

Воробьев с беспокойством бежит за ней. Из прихожей показались Полежаев и матрос Куприянов.

Полежаев. А я устал немножко. Это от лестницы.

Куприянов. Высоко живете, товарищ профессор.

Полежаев. Чертовская одышка!

Куприянов (*сочувственно*). Видно. (*Приглядывается к нему.*) А что: деревья тоже дышат?

Полежаев. Дышат листьями.

Куприянов. Интересно рассказывали про жизнь природы, товарищ профессор.



Полежаев (*оживленно*). Вам понравилось?

Куприянов. Не только мне, все ребята определенно довольны.

Полежаев. Верно? Это хорошо. А то, когда я к вам добирался, по улице шел отряд. Я — по панели, а они — по мостовой. И на углу тоже матросы. Кричат отряду: «Куда, братишки?» — «На лекцию!» — «Про что?» — «Про жизнь природы!» — «Э-ге, тыща слушает, один врет». — «Начнет врать, мы его!..» (*Сунув два пальца в рот, свистит.*) Что, похоже на ваших? Да, но мне каково было слушать? А пришел — так замечательно встретили. Я очень доволен. А вы знаете, ведь про жизнь природы у меня много книжек написано.

Куприянов. Как же, знаю. (*Нерешительно.*) Поди, книжек сто будет?

Полежаев. Сто не сто... Самую главную книгу я как раз вчера заканчивал, когда вы ко мне пришли.

Куприянов (*кашлянул*). Извините, что мы вас за архиерея приняли.

Полежаев (*смеется*). Ничего, бывает. Да вы раз-давайтесь. Гостем будете. Я сегодня родился.

Куприянов (*почтительно*). Поздравляю...

Полежаев. Спасибо. (*Прислушивается.*)

Голос Марьи Львовны. Господа, вы обещали...

Полежаев. А без меня гости пришли. Хорош хозяин! Но почему темно? (*Куприянову.*) Оставайтесь, с другими профессорами познакомлю.

Куприянов. Другой раз, спешу.

Полежаев. Куда?

Куприянов. Хотим поработать, разгрузить уголь для электростанции. У вас же свет будет! А потом на губу.

Полежаев. Это еще что такое?

Куприянов. Гауптвахта. Десять суток.

Полежаев. Десять суток? Вам? За что?

Куприянов (*исчезая за дверью*). За самовольный обыск у профессора Полежаева. Будьте здоровы!

Полежаев. Всего хорошего!

Марья Львовна вносит лампу, студенты идут за ней.

(*Удивленно.*) Молодежь? Муся, а где же?..

Марья Львовна. Дима! (*Делает ему знаки.*)

Полежаев (*приглядываясь к студентам*). Здрав-

ствуйте, господа. Чему обязан видеть вас дома, а не в университете? Кстати, вы стали манкировать занятиями. . . Да, да, вот вы не бываете, и вы, и вы.

Вторая студентка. И не будем ходить.

Полежаев. Вам же хуже. Берете пример с почтенных сановников, предпочитающих саботаж честной работе?

Первый студент. Люди, отказывающиеся служить насильникам, — не саботажники. Ваша статья — предательство по отношению к русской интеллигенции!

Второй студент. И мы на фракции меньшевиков постановили. . .

Полежаев. Это мне неинтересно, что вы там постановили.

Первая студентка. Вам говорят правду, которая вам колет глаза.

Вторая студентка. Мы не хотим слушать лекции большевистских прихвостней.

Все (*кричат в один голос*). Да, да, не хотим! Мы не посмотрим на имя!

Воробьев. Господа, господа, я прошу вас, это все лишнее. Господа, перестаньте.

Полежаев (*Воробьеву*). Вы опять тут как тут!

Воробьев (*оскорбленно*). Вы решительно не хотите меня видеть?

Полежаев. Сегодня совершенно решительно.

Воробьев. Ах, так! (*К студентам, с достоинством.*) Господа, вы слышите? Профессор обращается со мной так, что, казалось бы, я должен тотчас же уйти и никогда не возвращаться. Но я слишком люблю моего учителя и даже в минуту высшей несправедливости ко мне стараюсь платить добром за зло. (*Внушительно хлопывает по портфелю.*)

Полежаев (*Марье Львовне*). Что он мелет? Что у него в портфеле?

Марья Львовна. Я не знаю.

Воробьев. Помните, Дмитрий Илларионович, я говорил вам утром про типографию, где печатается ваша книга?

Полежаев (*тревожно*). Книга?

Воробьев. Случилось именно так, как я и предполагал. (*Пауза.*) Типографию заняли большевики и. . . и. . .

Полежаев. «И-и»! . . . Говорите без этих ослиных междометий.

Сдержанный смех студентов.

Воробьев. И теперь это типография Петросовета.

Полежаев. А моя книга?

Воробьев. Не беспокойтесь, вот она. (*Поднимает портфель.*) Я едва успел ее спасти. Я взял ее оттуда буквально в последнюю минуту.

Полежаев (*гневно*). Без моего разрешения?

Воробьев (*не понимает*). Ну конечно, они не подумали даже спроситься, что печатает типография. Им наплевать на все наши ученые труды.

Полежаев (*наступает*). Где книга?

Воробьев. Книга здесь, но надеюсь, вы завтра же поручите мне отправить ее за границу. (*К студентам.*) Да, да, господа, несмотря на войну, можно русскую книгу напечатать за границей.

Полежаев. Отлично!

Воробьев (*увлекаясь*). Они там отлично издают книги.

Полежаев (*спокойно*). Так. А теперь... (*Пауза.*) Давайте рукопись и... и... (*Показывает на дверь.*)

Воробьев. Вы?.. Меня?..

Полежаев. Я жду.

Движение среди студентов.

Воробьев. Я это предполагал. (*Вызывающе, с расстановкой.*) Я не возвращу вам книгу (*пауза*), пока вы публично не откажетесь от своей статьи, помещенной сегодня в большевистской газете. (*С чувством.*) Дорогой учитель, когда пройдут первые дни вашего заблуждения, вы извините предпринятые мной радикальные меры.

Полежаев (*вмолтную приблизился к Воробьеву*). Дорогой ученик! Когда у вас заживут синяки после вашего падения с лестницы (*подталкивает Воробьева к передней*), вы извините предпринятые мною радикальные меры.

Марья Львовна. Дима... Викентий уйдет. Он сам...

Воробьев (*к студентам*). Господа, что вы смотрите! С него станется все. Господа, помогите!.. (*Вырывается от Полежаева.*)

Полежаев. Хорош субчик! (*Отпускает его.*)

Студенты стоят в нерешительности. Общий шум. Марья Львовна незаметно уходит в прихожую. Вдруг сильный стук в дверь. Слышно, как Марья Львовна кому-то открывает.

Голос Марьи Львовны. Дима, к тебе матрос.

Полежаев. Вот это кстати. (*Воробьеву.*) Отдавайте рукопись.

Воробьев (*открывает портфель, достает рукопись*). Можете получить.

Воробьев кладет рукопись мимо стола, почти бросает. Рукопись разлетается на сотни листков. Студенты невольно ахнули, один из них кинулся подбирать листки. Воробьев сам испуган тем, что наделал, но бодрится перед студентами и, оправдываясь, показывает на Полежаева.

Это он, он! Он вчера точно так же поступил с моей рукописью. Он выбросил ее за дверь.

Марья Львовна (*в дверях прихожей*). Вы лжете! Полежаев (*показывает на дверь*). Вон!

Все торопливо уходят. Воробьев и студент, подбиравший листки с пола, замешкались.

(*Усталым голосом.*) Вон!

Все уходят. Полежаев их провожает. Марья Львовна собирает разлетевшиеся страницы. Откуда-то с лестницы доносится умоляющий голос Воробьева. Слышно: «Я забылся — простите. Я встану на колени. Мой учитель! Я боготворю вас!»

Голос Полежаева (*методично повторяет*). Вон! Вон!

Последний раз хлопнула дверь. Появляется Полежаев.

Марья Львовна. Дима! (*Протягивает рукопись.*) Кажется, все, ни одного листочка не потерялось.

Полежаев. Спасибо. (*Ложится на диван.*)

Марья Львовна (*испуганно*). Тебе нехорошо?

Полежаев. Нет, ничего. (*Садится с усилием.*)

Марья Львовна. Лежи, лежи. Дать подушку?

Полежаев. Не надо. (*Пауза.*) А где матрос? Ах да, ты нарочно. (*Сидит с закрытыми глазами. Медленно говорит.*) Ослы никогда не живут до семидесяти пяти лет. Это первый случай в природе, когда обыкновенный домашний осел дожил до этого возраста.

Марья Львовна. Дима!

Полежаев. И даже отпраздновал юбилей. (*Пауза.*) Пригреть врага в своем доме! Десять лет держать его около себя. . . (*Пауза.*) Как я ошибся! И как я теперь расплачиваюсь! (*Обводит рукой вокруг.*) Одиночеством. Самым полным. . .

Марья Львовна (*робко*). Одиночеством? . .

Полежаев. Конечно, я только терпел его. Я давно

в нем разочаровался. Но я не сделал главного. Надо было найти другого, настоящего ученика. Настоящего, понимаешь?

Марья Львовна *(тихо)*. Ты нашел Бочарова.

Полежаев. И сразу же потерял. *(Пауза.)* Если бы Бочаров был жив! *(Замечает, что Марья Львовна дрожит.)* Ты дрожишь, тебе холодно? Я принесу тебе шаль.

Марья Львовна. Не надо. Не беспокойся, пожалуйста.

Полежаев. Нет, нет. Я принесу. *(Идет.)*

Марья Львовна *(вслед)*. Ты не найдешь, она в спальне.

Полежаев. Да, да, я знаю.

Полежаев скрывается в дверях кабинета, а Марья Львовна торопится без него поплакать. Она плачет и вытирает слезы, не на лице, не у глаз, а уже на платье, на груди, на коленях. Потом, справившись наконец с собой, встает с места.

Марья Львовна. Дима, ты не найдешь. *(Открывает дверь в кабинет.)*

Полежаев *(стоит у самой двери; испуганно)*. А? Что? *(Отворачивается и прячет лицо в кембриджской мантии, висящей около двери, незаметно вытирая ею глаза, делает вид, что нюхает.)* Э, да она нафталином пахнет. Это ты ее на лето?.. *(Не дожидаясь ответа, бежит в спальню, кричит оттуда.)* Сейчас найду шаль.

Марья Львовна ставит лампу на рояль, садится спиной к инструменту. Полежаев выходит из кабинета, тихо накрывает ей плечи теплым платком. Пауза.

Одн. . . Теперь уж как будто прочно. Все я, все я. Ну, побрани же меня немного.

Марья Львовна. Нет. Не за что.

Полежаев. Спасибо.

Марья Львовна *(опускает голову)*. Грустный у нас праздник.

Полежаев *(тревожно)*. Тебе очень невесело?

Марья Львовна. А тебе?

Полежаев. Мне ничего. *(Пауза.)* А ты что сюда села? *(Нерешительно.)* Может, сыграем?

Осторожно повертывает ее вместе со стулом, садится с ней рядом, и они играют в четыре руки. Сейчас очень заметны их старость и одиночество.

Марья Львовна *(прерывая игру, виновато трет руки)*. Сбилась, очень пальцы озябли.

Полежаев. Озябли? *(Дышит ей на руки.)* Так лучше?

Марья Львовна. Лучше.

Играют.

Полежаев. Надо затопить печку.

Марья Львовна. Нет дров, не принес дворник.

Полежаев. Дрова внизу, в сарае? Я сейчас принесу.

Марья Львовна. Дима, разве можно тебе?

Полежаев. А что? Книга кончена, надо и поразмяться. Сыграй мне марш, я сейчас. *(Скрывается.)*

Марья Львовна играет марш. Полежаев появляется в какой-то старой тужурке, кепке блином, с веревкой и топором в руках. Марья Львовна смеется, завидев его; стоя, он наклоняется над клавишами и играет вместе с ней. Медленно зажигается электрический свет. Нити в лампочках накаливаются постепенно: сначала едва краснеют, потом все ярче и ярче. . .

Полежаев *(кричит)*. Свет, свет! Не обманул матрос, разгрузил уголь!

Полный свет. Супруги играют все веселее и громче. Вдруг Полежаев видит: в дверях стоит Бочаров в военной шинели.

Кто это? *(Встает, смотря туда во все глаза и машинально продолжая ударять по клавишам. Звучит все один и тот же аккорд.)*

Поднимается Марья Львовна.

Бочаров *(сконфуженно)*. Извините. Я без спросу, со своим ключом. *(Показывает.)*

Полежаев. Миша!

З а н а в е с

## ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Та же комната. Яркий февральский день. На диване лежит больной Полежаев. Подле него на стуле сидит Бочаров в военной форме.

Полежаев *(деловито отмечает в блокноте)*. Так, с этим кончено. Переходим к следующему вопросу. Помещение. Помещение мы найдем, я думаю?

Бочаров. Любой дворец.

Полежаев. О, даже так?

Бочаров. Конечно. Разве мало их освободилось?

Полежаев. Это верно. *(Озабоченно.)* Только имейте в виду, Миша, я буду требователен. Я ведь не удовлетворюсь каким-нибудь дворцом-замухрышкой. В пыльном месте, без зелени — мне такой дворец и даром не надо.

Бочаров *(скрывая улыбку)*. Хорошо, я понщу лучше.

Полежаев. Понщите, Миша. И чтобы непременно кругом была зелень. Какой может быть ботанический институт без сада! Теперь вот что, Мишенька, нельзя ли поскорее с этим?

Бочаров. С помещением, Дмитрий Илларионович?

Полежаев. Помещение. . . И вообще смастерить бы все, пока жив.

Бочаров *(протестуя)*. Дмитрий Илларионович?

Полежаев. На всякий случай же я говорю. Помирать я не собираюсь. Зачем? Сколько лет мечтал о своем институте. *(Отмечает в блокноте.)* Так. Об этом договорились. Следующий вопрос. Научный штат. Да, Миша, это уже сложнее. Боюсь, ох боюсь.

Бочаров. Чего, Дмитрий Илларионович? Или кого?

Полежаев. Всего и всех, Миша. Вы уверены, что нам удастся найти честных людей, которые захотят работать?

Бочаров. Давайте искать, Дмитрий Илларионович. Вы знаете много людей. И все знают вас.

Полежаев *(грустно)*. Друг мой, я всю жизнь думал, что меня знают и я знаю тех, кто меня окружает. Тем не менее в ноябре, когда все это произошло. . . *(Машет рукой.)* А. . . Вы сами всему свидетель.

Бочаров *(мягко)*. Дмитрий Илларионович, это другая крайность. Вы — и вдруг пессимизм. Ведь то, что делалось в ноябре. . .

Телефонный звонок. Полежаев хотел было подняться со своего дивана.

Это меня, меня, извините. *(Бежит к телефону.)* Слушаю. Бочаров. Состоится. Думаю, что не посмеют. *(Решительно.)* Ну конечно, будем начеку. Хорошо! *(Вешает трубку, возвращается к Полежаеву. Мягко продолжает прерванный звонком разговор.)* Да, так вот я и говорю: То, что делалось прошлой осенью с большинством наших обрзованных, у многих успело переболеть, смягчиться.

Власть оказалась более устойчивой, чем предполагали некоторые. Да наконец еще одно обстоятельство.

Полежаев (*кротко*). Какое, Мишенька?

Опять телефонный звонок. Бочаров бежит к телефону.

Бочаров. Слушаю. Так... В Смольном... Нет... Да. Ждите меня. (*Вешает трубку.*)

Полежаев (*с досадой*). Опять вас.

Бочаров. Вы извините, пожалуйста, я из вашей квартиры устроил что-то вроде штаба.

Полежаев (*хмуро*). Ничего. Только...

Бочаров. Что, Дмитрий Илларионович?

Полежаев. Да что ж, обидно: вы всем нужны, а меня в эти дни никто и не спросит...

Бочаров (*жалобно*). Дмитрий Илларионович, так я же всем запретил беспокоить вас, пока вы больны, а то бы они... (*Смеется.*) Заботливый, нечего сказать, помощник. Мне-то сюда все равно трезвонят.

Полежаев (*кротко*). Мишенька, вы не договорили, какое же обстоятельство?

Бочаров. Пример, который вы показали всем, всему ученому миру.

Полежаев (*ворчливо*). Не знаю, не знаю. (*После паузы.*) Вы думаете, это все-таки сыграло роль?

Бочаров. А вы не думаете? Для чего же вы обращались к интеллигенции?

Полежаев (*раздраженно*). Не произносите всерьез это фанфаронское, самохвальное слово! Оставьте его для Воробьевых...

Бочаров (*улыбаясь*). Извините. Я забыл, что вы недолюбливаете...

Полежаев (*сердито*). Смешно! Сколько раз я вам говорил.

Бочаров. Знаю, знаю. Я хочу только одну поправку: интеллигенты ведь тоже бывают разные. Опять о себе забываете, Дмитрий Илларионович.

Полежаев. Не льстите, не льстите. Пожалуйста, не привыкайте к такой политике. Воробьев попробовал со мной этак — живо полетел вверх тормашками.

Бочаров (*смеется*). Положим, Воробьев полетел не только поэтому. (*Серьезно.*) А кроме того, не забывайте о новой интеллигенции, из народа. Ленин знает, что ее будет больше и больше. А как же! На то и революция, Дмитрий Илларионович...

Полежаев (*взволнован*). Миша, нельзя, нельзя так



спорить. Я знаю, вас фронт выучил агитировать. Сказали — Ленин, и я ни о чем больше. . . А, да что скрывать! Миша, я горжусь быть его современником. Я уверен, что он приведет человечество к счастью. . .

Бочаров (*тоже взволнован*). Дмитрий Илларионович, это вы замечательно! Ну, я страшно рад. Нет, разрешите. . . (*Шагает прямо через кресло пожать Полежаеву руку.*)

Полежаев (*растроганно*). Только не по-английски. Из постели выдернете.

Бочаров. Ваши слова я на всю жизнь запомню.

Полежаев (*доволен*). Спасибо. Хоть и похоже на лесть, все равно спасибо. Садитесь. Хотя подождите. (*Приглядывается к Бочарову.*) Нет, до сих пор не могу поверить. (*Кричит.*) Муся! Ты нам нужна.

Марья Львовна (*появляется в комнате*). На что я вам? Не нужна совсем.

Полежаев. Не обижайся, а лучше надень очки.

Марья Львовна (*послушно*). Надела.

Полежаев. Смотри на него.

Марья Львовна. Смотрю.

Полежаев. Что ты скажешь?

Марья Львовна (*радостно*). Глазам не верю, что Миша у нас.

Полежаев (*с досадой*). Да не то. Про это уже сто раз говорили. Ты смотри, как он переменился. В один год стал совершенно другим человеком. Не знаешь, как с ним теперь говорить. Прямо государственный деятель какой-то!

Марья Львовна. А об этом уже двести раз говорили.

Полежаев. Ступай, ступай! (*Машет на нее рукой.*)

Марья Львовна уходит.

Бочаров. А вот вы несколько не переменились, Дмитрий Илларионович. Сейчас еще нездоровы, а вообще такой в точности, как в прошлом году.

Полежаев. Э-э, тут нет ничего хитрого, старики не меняются. Подсыхают только постепенно. Вы придите меня проверить лет через сорок. (*Смотрит на часы, испуганно.*) А время-то как бежит! Миша! Скоро отправляться на заседание, а мы о главном не поговорили. Доклад-то вы сумеете сделать?

Бочаров. Как вам сказать, Дмитрий Илларионович, . . . Конечно, вы сами бы лучше сделали.

Полежаев. Видите, видите. Тогда я лучше пойду.  
(Опускает ноги с дивана.)

Бочаров. Марья Львовна!

Прибегает Марья Львовна.

Марья Львовна. Что случилось?

Бочаров. Хочет встать! Это я виноват.

Полежаев. Муся, я пойду на заседание. Я не могу доверить ему такой доклад. Это слишком для меня важно. Проект ботанической академии! Это вам не на фронте агитировать! Довольно с меня того, что царский министр мой проект провалил. Вдруг он по вашей милости опять провалится. Нет, нет, я пойду.

Марья Львовна. Что с тобой? Как ты пойдешь?

Полежаев. Так и пойду. (Показывает.) Закутаюсь и пойду.

Марья Львовна. Миша, вы слышите?

Бочаров (успокаивает ее). Никуда Дмитрий Илларионович не пойдет.

Полежаев (кричит). Я не пойду? На заседание Петросовета? Где мой проект будет рассматриваться?

Бочаров. Пойду я вместо вас.

Полежаев. Вы? А кто вы такой?

Бочаров. Ваш ученик и помощник.

Полежаев. Да член-то Петросовета я или вы?

Бочаров. Как раз мы оба.

Полежаев. Мальчишка! Я туда избран моряками Балтийского флота.

Бочаров. А я — рабочими Путиловского завода.

Выразительная пауза.

Да, наконец, если бы Ленин узнал, что вы нездоровы, он запретил бы вам выходить.

Полежаев. Ленин? Ну, батенька (прикладывает руку ко лбу Бочарова), больны-то вы, а не я. Он и не видел меня никогда и не знает совсем. (Тихо.) Скажите, а вы видели Ленина?

Бочаров (просто). Много раз, в Смольном.

Полежаев. И разговаривали?

Бочаров. И разговаривал.

Полежаев (недоверчиво). И про меня ему говорили?

Бочаров (улыбается). Должен сознаться, нет.

Полежаев (разочарованно). А-а...

Бочаров. Я больше слушал, он мне про вас говорил.

Полежаев (*радостно*). А-а... (*Вздыхнул*.) Ну уж идите вместо меня на собрание. Доверяю.

Бочаров (*с облегчением*). Уф, вот хорошо. (*Поспешно встает*.)

Полежаев. Стойте, стойте! Разве можно так сразу!

Бочаров возвращается.

(*Взволнованно*.) Я давно так не волновался, точно у меня первый экзамен. Голубчик, пожалуйста, извинитесь там за меня, что я заболел. И не забудьте сказать о книгах. Я могу свою библиотеку пожертвовать.

Бочаров. Не беспокойтесь. Книг мы достанем.

Полежаев. Да, да, главное — книги и люди. Кстати, скоро моя-то книга выйдет? Жду, жду.

Бочаров. Теперь уже скоро, Дмитрий Илларионович.

Полежаев. Что-то вы меня за нос водите. Пожалуй, Воробьев был прав. (*Смеется*.) Надо было за границей напечатать.

Бочаров. Будьте спокойны. Так я пойду, Дмитрий Илларионович.

Полежаев. Идите, идите. Постойте, я вас провожу до двери.

Марья Львовна (*умоляюще*). Дима, тебе велели лежать.

Полежаев. Успею налегаться, пока они там заседают. (*Провожает Бочарова*.) Счастливо, голубчик. Ни пуха вам, ни пера!

Бочаров. Будьте здоровы!

Полежаев. Возвращайтесь скорее. А впрочем, проведите все обстоятельно...

Закрылась дверь. Полежаев стоит еще некоторое время, прислонясь к косяку.

Марья Львовна. Дима, ложись, пожалуйста. (*Хочет помочь*.)

Полежаев. Сам, сам. (*Идет и ложится*.)

Марья Львовна. Ты хочешь побыть один или тебе скучно будет?

Полежаев. Сядь сюда. Ты же никогда мне помешать не можешь. Я могу думать вслух.

Марья Львовна садится.

Пауза.

По правде сказать, я немного устал. Уж этот мне Бочаров! Давай условимся, что сейчас ни слова о нем.

Марья Львовна (*послушно*). Хорошо, если ты так хочешь.

Полежаев. Расскажи мне что-нибудь.

Марья Львовна. А что? (*Вспомнила.*) Да, ты знаешь, что Миша сегодня...

Полежаев. Опять?

Марья Львовна. Хорошо, хорошо, не буду.

Пауза.

Полежаев (*оживленно*). А ты знаешь, что Бочаров...

Марья Львовна. Ну вот!

Полежаев (*смеется*). Хорошо, говори, ты первая начала.

Марья Львовна. Миша принес нам сегодня петуха, вот такого. Знаешь, какой он хозяйственный. (*Басит.*) Это, говорит, вам на два дня. Какое на два, и в три не съешь!

Полежаев (*задумчиво*). Как ты думаешь? Заседание уже началось?

Марья Львовна. Не знаю, Дима. Пожалуй, уже началось.

Полежаев. И, пожалуй, он уже говорит?

Марья Львовна. Наверно. Знаешь что, попробуй не думать о заседании. Отдохни от этих мыслей.

Полежаев. О Бочарове нельзя, о Петросовете нельзя... Знаешь, о ком мы давно не вспоминали? О матросе. Давно он у меня не был. С тех пор, как они меня в Петросовет выбрали. Смешно! Воробьева он недолюбливал. Жалко, что Бочаров с ним не познакомился, в разное время у меня бывали. А помнишь, добивался, нет ли у меня Гуляша знакомого?

Марья Львовна. А что это за Гуляш?

Полежаев. Не знаю. Кушанье, кажется, флотское.

Марья Львовна убегает.

Куда?

Марья Львовна. Петух переварился.

Звонк в прихожей.

Полежаев (*кричит*). Муся!

Голос Марьи Львовны. Слышу, бегу.

Лязг замков и засовов.

(*Испуганно.*) Кто это?

Дверь сразу захлопнулась,

Марья Львовна (несколько ошеломленная, появляется в комнате с толстым пакетом в руках). Это для тебя, должно быть. (Подает ему.)

Полежаев (раскрывает обертку). Книга! Моя книга! Кто принес?

Марья Львовна. Я боюсь ошибиться, темно на лестнице. Сунул — и убежал. Но, кажется, как раз тот самый.

Полежаев. Кто?

Марья Львовна. Матрос.

Полежаев (кричит). Верни его, Муся, скорей! Как это ты Куприянова не узнала?

Марья Львовна (бежит и кричит на лестнице). Товарищ Куприянов! Товарищ Куприянов!

Полежаев (лихорадочно перелистывает страницы). Все, все напечатано. И чертежи, и вкладные листки с формулами. Ох, если бы только без опечаток! И предисловие, Муся!

Марья Львовна (возвращается). Ищи ветра в поле.

Полежаев. Не догнала? А вот и статья, которую ты переписывала. «Кра-кра», помнишь? А на самом-то деле — красное.

Марья Львовна (заглядывает через плечо). Верно — «красное знамя».

В передней звонок. Марья Львовна бежит открывать.

Голос Марьи Львовны. Почему так скоро?

Бочаров быстро входит.

Полежаев. Миша!

Бочаров молча идет к дивану, садится рядом с Полежаевым.

(Тревожно.) Я чувствую... Миша, с проектом что-нибудь?

Бочаров. Нет, Дмитрий Илларионович...

Полежаев. С проектом?.. Говорите.

Бочаров. С проектом как раз все обстояло великолепно. Мое сообщение о нем вызвало аплодисменты.

Полежаев. Естественно, нужный же очень проект.

Бочаров. Положим, есть и еще причины, чтоб приняли хорошо.

Полежаев. Какие?

Бочаров. Проект полежаевский.

Полежаев (торопливо кивает). Дальше, дальше, Миша!

Бочаров. Дмитрий Илларионович. . . Я пришел попрощаться.

Полежаев (*хватается за сердце*). Я так и знал! Марья Львовна. Миша, зачем вы. . .

Оба они кидаются к Полежаеву.

Полежаев. Ничего, говорите все, добивайте.

Бочаров. Противник нарушил перемирие и надвигается на Петроград. Уже взяты Псков и Нарва. Мы должны ответить контрударом. Наши отряды выступают немедленно. Заседание Петросовета прервано. Все делегаты, способные носить оружие, идут на фронт.

Полежаев. Все? А я?

Бочаров (*с улыбкой поправляет за его спиной подушку, на секунду обнял его за плечи*). Дмитрий Илларионович, дорогой!

Полежаев. А вы?

Бочаров. Конечно. Мой отряд пройдет через полчаса мимо вашего дома.

Полежаев. Через полчаса. . . Опять на фронт, опять у меня ни вас, ни проекта.

Бочаров. Дмитрий Илларионович, не горюйте. Все будет хорошо.

Полежаев. Молчите. Не надо больше об этом. Положите часы на столик. Чтобы я видел, сколько вы еще у меня.

Бочаров кладет часы. Молчание. Марья Львовна уходит из комнаты.

Бочаров (*увидев книгу*). Получили? Я успел забежать в типографию. . .

Полежаев. Спасибо. Одно утешение мне. (*Перелистывая и оживляясь*.) Великолепно же напечатано. Бумага приличная. Пойдите, а с кем вы послали? В дверь сунул и убежал.

Бочаров. Ему было некогда. Вы его еще увидите. Марья Львовна появляется с бутылкой, молча отдает ее Бочарову.

Что это? Вино? Настойка?

Марья Львовна. Берите, берите.

Бочаров. О, да оно горячее.

Марья Львовна. Это бульон из вашего петуха.

Бочаров. В таком случае. . . (*Отставляет бутылку*.)

Марья Львовна (*решительно*). Держите, а горячо — вот вам салфетка.

Полежаев. Не шуми, Муся. Сколько еще осталось?

(*Глядит на часы.*) Поговорим спокойно. Хорошо я, Миша, сделал, что к научной книге приложил политическое предисловие?

Бочаров (*хлопая себя по лбу*). Забыл о главном. Настолько хорошо, Дмитрий Илларионович, что я, простите, не удержался и первый экземпляр вашей книги передал. . . каюсь. . .

Полежаев (*беспокойно*). Кому, Миша?

Бочаров. Одному товарищу. . . Не догадываетесь?

Полежаев. Нет.

Бочаров. А ну?

Полежаев (*понижив голос*). Ленину?

Бочаров. Да.

Пауза.

Полежаев. И он скоро прочтет?

Бочаров (*смеется*). Не знаю. Мое дело было от-  
дать.

Полежаев. Молчите, молчите, потом все расскажете. (*Глядит на часы.*) Только когда же потом? Десять минут осталось. (*Волнуясь.*) Миша, вдруг ему что-нибудь не понравится в предисловии? (*Поспешно рвется в книгу. Читает.*) «Революция должна положить предел безудержной оргии капитализма, милитаризма и клерикализма. . .» (*Сокрушенно.*) Здесь этих «измов» много. (*Читает дальше про себя, шевеля губами.*) А тут слишком сухо. . .

Марья Львовна. А самый конец. Я ведь помню: он всего лучше.

Полежаев. Что значит «лучше»? Я нищу, где хуже, а не лучше.

Марья Львовна. Я знаю, я же переписывала.

Полежаев (*читает*). «Только наука и демократия, знание и труд, вступив в свободный, основанный на взаимном понимании, тесный союз, осененные общим красным знаменем. . . (*значительно смотрит поверх очков на Марью Львовну*) символом мира во всем мире, все превозмогут, все пересоздадут на благо всего человечества». (*Пауза.*) Пожалуй, это более или менее. . .

Бочаров (*серьезно*). Очень хорошие слова, Дмитрий Илларионович.

Марья Львовна. Я знаю, что говорю.

Бочаров прислушивается.

Полежаев. Что вы, Миша?

Бочаров. Идет отряд.

Полежаев. Не может быть. Я не слышу.

Все трое слушают. Издали едва слышно пение революционной песни.

Бочаров. Идут. *(Встает.)*

Полежаев *(приподнимается на диване)*. Миша!

Бочаров. Лежите, Дмитрий Илларионович, лежите, пожалуйста.

Полежаев. Значит, опять, Миша, опять все теряю. Ох, худо мне без вас будет!

Бочаров. Ничего, Дмитрий Илларионович. Ненадолго.

Полежаев. Все равно. Неизвестно, сколько я протану.

Марья Львовна и Бочаров *(вместе)*. Дима! Дмитрий Илларионович!

Полежаев. Не бойтесь, не буду плакаться. Давайте прощаться. *(Прислушивается.)*

Песня приближается.

Бочаров. За мной зайдет мой помощник.

Полежаев. У вас есть помощник? Примерно, как вы у меня. Интересно взглянуть. Уж, наверно, так часто и надолго, как со мной, вы не расстаетесь.

Бочаров *(улыбаясь)*. Расставались, Дмитрий Илларионович, и, представьте, ровно на столько же.

Стук в дверь. Марья Львовна бежит открывать.

Голос Марьи Львовны. Почему вы стучите? Теперь звонок действует.

Мужской голос. По привычке. Как с обыском приходил. Здравствуйте. . . не успел поздороваться, когда притащил книгу. Товарищ Бочаров тут?

Марья Львовна *(показываясь в дверях)*. Здесь, здесь.

Полежаев *(нетерпеливо)*. Все мы здесь.

Куприянов появляется в дверях, молча козыряет.

Вы?

Куприянов. Я. *(Докладывает Бочарову по-военному.)* Товарищ начальник, отряд прибыл и ждет у дома.

За окнами «Варшавянка».

Бочаров. Хорошо, пока можете сесть, товарищ Куприянов.

Куприянов. Есть. *(Козыряет, но не садится.)*



Полежаев. Садитесь же.

Куприянов. Есть. *(Козыряет, садится.)*

Полежаев *(доволен)*. Сразу видно, что я здесь старший начальник. *(Нетерпеливо.)* Ну, объясняйте, как вы-то с ним познакомились?

Бочаров *(улыбаясь)*. Мы с ним давно знакомы, уже больше года. Верно, Куприянов?

Куприянов. Верно, товарищ начальник. Еще с девятысот шестнадцатого. Как расстались, целый год друг друга искали. Я на морском был фронте.

Бочаров. А я на сухопутном.

Полежаев. А я в тылу — и поэтому ничего не понимаю.

Бочаров. Он был на том корабле, где вы читали лекцию, Дмитрий Илларионович.

Полежаев *(живо)*. На «Амуре»?

Бочаров. На «Амуре».

Полежаев *(с нетерпением)*. Ну?

Бочаров. Только ровно за год до вашей лекции.

Полежаев *(взволнованно)*. Все понял! Ваша агитация, моя лекция — и как раз все на том корабле. Друзья мои! А на улице — те матросы, что меня слушали, а потом избрали делегатом?

Куприянов. Товарищ профессор, они пришли с вами проститься.

Полежаев вскакивает с дивана, бежит к окну.

Марья Львовна. Дима!

Бочаров. Дмитрий Илларионович!

Куприянов. Товарищ профессор!

Полежаев. Помогайте мне. Это все к черту! *(Сдирает с окна портьеру, роняет горшки с цветами, вскакивает на стул, обдирает вьющуюся вдоль окна зелень.)*

Марья Львовна *(испуганно)*. Что ты делаешь, Дима?

Полежаев *(кричит)*. Неужели вы не понимаете? Помогите мне выставить это окно!

Марья Львовна. Окно? Зимой?

Полежаев *(обрывая бумагу, которой заклеена щель)*. Какая зима?! На носу март, весна. Выставляйте!

Куприянов. Есть, товарищ начальник... товарищ профессор... *(Открывает окно.)*

Врывается пение, ветер.

Марья Львовна и Бочаров накидывают на плечи Полежаева пальто, закутывают его. Полежаев подбегает к окну, его увидели с улицы, пение стихло.

Бочаров (*поддерживает его*). Осторожно, Дмитрий Илларионович.

Полежаев (*обернувшись к нему*). Миша, сначала вы. Я хочу им сказать. . .

Бочаров. Хорошо. (*Становится рядом с Полежаевым.*) Товарищи! Профессор Дмитрий Илларионович Полежаев, знаменитый мировой ученый, избранный вами в Петросовет; хочет сказать вам несколько слов.

Гремит ура.

Профессор нездоров, много мы ему говорить не позволим.

Полежаев (*отстраняет его*). Красногвардейцы и революционные моряки!

Снова гремит ура.

Вы идете на фронт бить врага, нарушившего перемирие и вступившего на поля нашей родины. Я уже стар, мне, пожалуй, не удержать винтовки, но мысленно я с вами, мои товарищи! Ничего, что я сижу в кабинете. Пока перо не вывалилось из пальцев, пока глаза различают буквы, я буду по-своему защищать революцию от врагов. (*Увлечшись.*) Я буду топтать их ножками моего письменного стола!

Смех, аплодисменты на улице.

А вы кончайте с ними на фронте и скорей возвращайтесь в Питер для нашего общего социалистического труда. До свидания, красные воины! А ведь красный цвет непобедим. Помните, я говорил вам на лекции, — это не только цвет крови, это цвет созидания. Это единственный животворящий цвет в природе, наполняющий жизнью побеги растений, согревающий все. До свидания!

На улице громовое ура.

(*Полежаев закашлялся.*)

Бочаров и Марья Львовна уводят его в глубь комнаты, усаживают на диван, но он снова встает, и они обнимаются с Бочаровым.

(*Борясь с кашлем.*) Голубчик, увидимся ли хоть еще раз?

Бочаров. Непременно, Дмитрий Илларионович.

Полежаев. А вы там скорее. (*Шутя берет Бочарова за горло.*) Вот так берите врага. Это и в ваших, и в моих интересах. Так уж вы, пожалуйста, приналягте. Ну, прощайте, голубчик.

Марья Львовна (*не может дождаться, когда уступит ей Бочарова*). Мишенька, берегите себя. Одно вам могу сказать, как всегда: любим как сына.

Полежаев (*прощаясь с Куприяновым*). Ну, ну, вояка! Встретились и опять расстаемся. Хоть с ним-то не разлучайтесь. (*Показывает на Бочарова*.)

Куприянов. С Михаилом Макарычем? (*Твердо*.) Куда он — туда и я.

Полежаев. Вот и чудесно, голубчик! Берегите один другого.

Куприянов (*увлекшись*). Мы с Гуляшом, мы горой друг за друга.

Полежаев. С каким Гуляшом?

Бочаров (*укоризненно Куприянову*). Эх, ты, обмолвился таким словом.

Куприянов (*конфузясь*). Извиняюсь. Это когда-то мы товарищу Бочарову кличку дали, революционный псевдоним, чтоб не засыпался.

Полежаев. А почему Гуляш?

Марья Львовна. Это, кажется, кушанье? (*Лукаво*.) Уж я чувствую, в чем тут дело.

Куприянов. Н-да, конечно. . .

Бочаров. Говори, раз начал, срами меня.

Куприянов. Здорово как-то позавтракал с нами Михаил Макарыч. За разговором съел гуляша две миски. Агитировал, агитировал, не заметил, как умял.

Смеются.

Марья Львовна. Выдал, выдал начальника. Я такой грех за ним знаю — покушать. (*Показывает на бутылку*.) Непременно возьмите.

Куприянов (*скрывая смущение, обратил внимание на бутылку; Бочарову*). На дорожку, товарищ начальник. . . Можно?

Откупоривает и наливает в стакан. Все с интересом следят за ним. (*Вежливо, Полежаеву*.) Ваше здоровье! (*Лихо пьет. На лице его недоумение и гримаса. Все хохочут*.) Что это?

Марья Львовна. Куринный бульон. . .

Бочаров (*направляясь к двери*). Пошли, Куприянов!

Куприянов (*осторож*). Буль. . . бульон? (*Уходит*.)

Марья Львовна (*бежит за Бочаровым*). Голубчик, Миша. . .

Бочаров *(негромко)*. Будьте около Дмитрия Илларионовича. Это ему сейчас пригодится больше, чем когда-либо. *(Оборачивается к Полежаеву.)* Дмитрий Илларионович, только вы не расстраивайтесь, с проектом уладится.

Полежаев *(сердито)*. Идите, идите, пока не рассердился. О проекте сейчас не хочу и слышать.

Бочаров уходит. Дверь хлопнула. Пауза. Слышна только песня уходящего отряда.

*(Укладывается на диване.)* Вот и все.

Марья Львовна *(грустно вторит)*. Все.

Полежаев. Миши нет. Один, совсем без помощника остался. Да и для чего? Делать мне теперь нечего... Вот похвораю пока, проведу время. А? Ты что сказала?

Марья Львовна. Я ничего не говорю. *(Отвернулась.)*

Полежаев *(ворчливо)*. Вижу, что ничего не говоришь. *(Гладит ее по спине.)* А то, может, скажешь что-нибудь?

Марья Львовна. Скажу. *(Серьезно смотря на него.)* Ты говоришь, нет помощника. А я? Разве я не могу тебе помочь?

Полежаев *(нетерпеливо)*. Я знаю, Муся.

Марья Львовна *(настойчиво)*. Нет, ты не знаешь. Думаешь, переписывать только. Я все повторила, чему училась в юности. Да, да, сначала с Мишей прошлой зимой занималась, потом одна. Хочешь, я покажу тебе свои тетради? *(Пауза.)* Ты не сердись на меня, Дима?

Полежаев. Милая ты моя!

Телефонный звонок.

Я сам, сам. *(Поднялся с дивана, идет к телефону.)* Наверно, это опять Бочарову. *(Снимает трубку.)* Слушаю. *(Резко.)* Сразу предупреждаю: у телефона не Бочаров, а Полежаев. *(Удивлен.)* Что, меня и надо? Вот удивительно. Я уже отвык от звонков. Что, что? *(Запальчиво.)* Никаких проектов! Пока война не кончится, не хочу и слышать. Именно потому, что старая моя мечта. Утвержден? Позвольте, кто со мной говорит? *(Пауза.)* Ленин? *(Пауза.)* Здравствуй, товарищ Ленин! *(Отчаянной жестикуляцией зовет к себе жену; та подбегает и старается тоже услышать, склонив ухо к трубке.)* Несмотря на войну... вы лично... уже утвердили! Владимир Ильич... Слушаю. Помощники? Как не, быть! *(Кладет*

*руку на плечо Марьи Львовны.)* Найдутся помощники! Нет, нет, я здоров, вполне здоров. Вы мне за что, Владимир Ильич, спасибо? Ах, вы прочли мою книгу... Ну, даже счень? Как говорите? Особенно мои замечания против буржуазии и за Советскую власть... *(Счастливо смеется.)* Да, теперь обязательно встретимся. Что? Помилуйте, какая беспокойная старость! Это как раз по мне. Как рыба в воде. Пожалуйста, не тревожьтесь. Как? Спасибо, я ей передам. И вашей супруге тоже привет. Будьте здоровы. *(Медленно вешает трубку. При звуке отбоя опять торопливо снимает и напряженно слушает.)* Нет, это так. *(Вешает трубку, оборачивается к Марье Львовне, деловито.)* Ну вот и поговорили.

Марья Львовна. С кем, Дима?

Полежаев. С Владимиром Ильичем Лениным. Он тебе кланяется.

Марья Львовна. Мне?

Полежаев. Тебе, тебе.

Марья Львовна *(оторопев)*. Спасибо.

Полежаев. После, после поблагодарить. *(Подталкивает ее в кабинет.)* Пойдем работать.

Уходят.

Занавес

1936—1937

# ДАУНСКИЙ ОТШЕЛЬНИК

*Добрая повесть*

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Чарлз Дарвин.  
Эмма Дарвин, его жена.  
Энни, 8 лет  
Фрэнсис, 12 лет } их дети.  
Джордж, 14 лет }  
Чарлз Лайель, знаменитый геолог.  
Джозеф Гукер, директор Ботанического сада.  
Альфред Уоллес, путешественник.  
Томас Гексли, биолог.  
Климент Тимирязев, русский студент.  
Броди-Инес, священник.  
М-с Броди-Инес, его жена.  
Чарлз Аллен.  
М-р Аллен, его отец.  
Муррей, издатель.  
Епископ Уилберфорс.  
Морской офицер.  
Садовник.  
Почтальон.  
Кормилица.  
Али, малайский юноша, помощник Уоллеса.  
Первый носильщик.  
Второй носильщик.  
Первый слушатель.  
Второй слушатель.  
Студенты в Оксфорде, нарядные дамы, шеголы, пожилые джентльмены и квакеры.

## КАРТИНА ПЕРВАЯ

Веранда, увитая зеленью; от нее прямая аллея в глубину сада. Узкая дорожка к калитке. От калитки к веранде идут м-с Дарвин и Броди-Инес. Он в длинном сюртуке, в черной шляпе, с широким простым лицом.

М-с Дарвин. Мы не сразу здесь поселились. Когда Чарлз вернулся из путешествия, мы еще несколько лет жили в Лондоне. За город мы переехали, чтобы Чарлзу лучше работалось.

Броди-Инес. Вы замечательно поступили. Подумать только, ведь иначе мы не были бы с вами соседями.

М-с Дарвин. С тех пор он каждое утро гуляет по этой аллее. Ходит и думает, а потом садится работать, как бы плохо себя ни чувствовал.

Броди-Инес. Кажется, не было ни одного дня за последние годы, чтобы мистер Дарвин чувствовал себя вполне здоровым?

М-с Дарвин. Он болен с тех пор, как вернулся из кругосветного путешествия. Двадцать лет неустанной борьбы с болезнью. Это ведь только легко сказать — двадцать лет!

Броди-Инес. Я понимаю вас.

М-с Дарвин. Но он находит в себе силы не переставая трудиться.

Броди-Инес (*наивно*). В этом отношении он напоминает мою жену. (*После паузы.*) Все-таки отчего это с ним? Говорят, на корабле он через силу боролся с морской болезнью?

М-с Дарвин не отвечает, погруженная в свои мысли.

О, это было ужасное испытание! (*Красноречиво.*) Представляю: корабль; буря... и молодой ученый в своей каюте...

М-с Дарвин. Я испытала все средства, чтобы помочь ему. Нынче ему опять стало хуже.

Броди-Инес (*решительно*). Надо, надо что-то еще предпринять. (*Роется в карманах.*) Вчера я получил

письмо от моего брата, викария. Он пишет, что... Нет, я оставил его дома. Он очень хвалит водолечение. Прекрасное современное средство. Что, если нам попробовать?

М-с Дарвин. Другим это помогает.

Броди-Инес. Да? Вы тоже слышали? *(Убеденно.)* Значит, поможет и мистеру Дарвину. Кстати, я знаю отличное заведение доктора Гулли на побережье.

М-с Дарвин. Да, но...

Броди-Инес. Потом доктора Ламба в Мур-Парке...

М-с Дарвин. Все это хорошо, но Чарлз не поедет.

Броди-Инес. Я его уговорю. Завтра, через неделю, но мистер Дарвин должен поехать. И провести, скажем, там весь июнь.

М-с Дарвин. Целый месяц? Да он не может решиться даже на один день оставить свою работу. Я не встречала более терпеливого к своим страданиям человека, он никогда не жалуется, но я знаю: он всегда думает, что его труд может совсем прерваться...

Броди-Инес. О!

М-с Дарвин. Да, да. Он страшится его не закончить. Он хочет успеть. Эта мысль мучает его больше болезни. Успеть, успеть!.. Один бог знает, как помочь ему!

Броди-Инес. Поэтому не надо отчаиваться. Занятия мистера Дарвина столь мирны, я осмелюсь сказать, столь угодны богу... *(Он обводит рукой вокруг себя, и добродушное лицо его сияет.)* Голуби, растения, цветы — эти кроткие создания занимают все его помыслы. А его трогательные заботы о детях...

М-с Дарвин. Он так добр ко всем! Его великодушные часто служат во вред ему самому.

Броди-Инес. Это ничего. Нет, нет, я уверен, дорогая миссис Дарвин, господь пошлет вашему мужу здоровья на долгие годы.

М-с Дарвин. Как я молюсь об этом! И чего бы я не дала за то, чтобы он сам о себе помолился...

Броди-Инес. Но разве...

М-с Дарвин. Лучше не будем об этом говорить.

Пауза.

Подросли дети. Вот Фрэнси интересуется ботаникой, проводит с отцом много времени. Даже Энни, хотя ей всего восемь лет, часто спрашивает его о том, о другом. Но



ведь в главном труде никто ему не поможет... Никто не подскажет верную мысль.

Броди-Инес. Только бог.

М-с Дарвин. Только бог!

Замечают, что к веранде приближается Дарвин, в коротком плаще, в мягкой войлочной шляпе, с тяжелой палкой в руке. Он задумчиво глядит себе под ноги и идет большими шагами, размахивая палкой.

Чарлз, к нам пришел преподобный Броди-Инес.

Дарвин поднимает голову и еще издали приветливо протягивает гостю руку.

Броди-Инес. Вы успели уже погулять, мистер Дарвин?

Дарвин (*удовлетворенно*). И даже успел поработать немного.

Броди-Инес. Верно, вы чувствуете себя здоровее сегодня?

Дарвин. Нет. Но болезнь — это моя вторая жена, она тоже не слишком мешает мне работать. (*Добродушно смеется и делает знаки жене, чтобы она не обиделась.*) Разница в том, что я приноровился к ней, а не она ко мне, в отличие от моей дорсгой Эммы...

Идет вперед и открывает перед гостем двери в гостиную. Тот делает шаг через порог и вдруг отшатывается, схватившись за лоб.

Броди-Инес (*с испугом*). Что это?

Дарвин. Шмель... Он сильно ушиб вас? (*Виновато.*) Это я напустил их туда. Я пробую перекрестное опыление моих орхидей.

Броди-Инес. Это очень интересно... Но, может быть, останемся лучше здесь? Да, так что происходит с орхидеями?

Дарвин. Я думаю, что лет через десять добьюсь значительного укрепления их организма.

Броди-Инес (*особенно улыбаясь м-с Дарвин*). Так! А я думаю, что к тому времени вы добьетесь большего.

Дарвин. Большого?

Броди-Инес. Я хочу сказать — будете знамениты. Разве возможно, чтобы такие усердные труды остались без награды?

Дарвин. Без награды я еще могу обойтись. Лишь бы мне... (*Взглянув на м-с Дарвин.*) Впрочем, в моло-

дости я был честолюбив. Помню, мне доставила необыкновенное удовольствие мысль о том, что в какой-нибудь лондонской коллекции появится величественная надпись под редким жуком: «Взят в плен Чарлзом Дарвином». . . Этого, мне казалось, достаточно для славы любого человека! (*Смеется.*) И тут же я был наказан за свое тщеславие. Обе мои руки были заняты, и я второпях сунул редкого жука в рот, чтобы не упустить другой редкостный экземпляр.

Броди-Инес. Боже мой! И вы его проглотили!

Дарвин. Хуже. Я выплюнул его и навсегда потерял. Эта злочка выпустила мне на язык какую-то ужасно едкую жидкость.

Броди-Инес. Должно быть, с тех пор вы и стали ученым?

Дарвин (*улыбаясь*). Кой-чему я научился. По крайней мере, я больше не беру жуков в рот.

Броди-Инес (*маниакально дстрагивается до своего лба. Удивленно*). А ведь шмель набил мне порядочную шишку! Это ничего. Нет, сегодня, я вижу, у вас хорошее самочувствие, мистер Дарвин. Дай бог, чтобы всегда было так. А для этого. . . (*значительно смотрит на м-с Дарвин*) для этого вы должны поехать на морские купанья. Нет, нет, не отказывайтесь! Вы и не подозреваете, какое это радикальное средство! Брат пишет мне в письме. . . (*ищет по карманам*) ах, да. . . но все равно. . . Он пишет, что доктор Гулли в Мельворне творит настоящие чудеса. К нему приходят калеки, а он отпускает их от себя здоровыми крепышами. . . Обязательно к нему поезжайте. Ваш труд потом только выиграет. Увидите море, вспомните, как вы путешествовали. . .

Дарвин. Благодарю вас, мистер Броди-Инес, об этом мне всегда приятно вспомнить. Я непременно подумаю о вашем предложении. Или это твоя мысль, Эмма?

Броди-Инес. Нет, это моя мысль.

Дарвин (*после небольшой паузы*). Значит, здоровье мое так сильно расстроено, что обо мне должны все заботиться. А я думал, это совсем незаметно.

Броди-Инес. О, это так и есть, мистер Дарвин!.. Да, но что я еще хотел сказать?.. Может быть, вы покажете мне свои орхидеи? Ах, туда нельзя. . . А какживает ваш опыт с червями?

Дарвин. Благодарю вас, очень хорошо. (*Жене.*) Мистер Броди-Инес говорит о том опыте, который я предпринял на нашем пастбище пятнадцать лет назад.

Помнишь, я тогда перед рождеством засеял его восточную часть углями и мелом? (*Броди-Инесу.*) Вот ведь подумаешь, какое малое значение имеет голая мысль, не подкрепленная фактами! В 1837 году я прочел в Лондонском геологическом обществе сообщение о содействии земляных червей перегнойю почвы. И никто-то не обратил внимания на мое сообщение. А когда я буду располагать фактами, я надеюсь, мне удастся кое-кого заинтересовать ими. Вот почему я не тороплюсь выпускать в свет и мой главный труд. Чтобы натуралисту уснуть кое-что сделать, ему надо непременно долго жить. Говорят, наибольшим долголетием отличаются...

Броди-Инес. Кажется, слоны или карпы?

Дарвин. Нет, среди людей — священники. Правда, мистер Броди-Инес, вы могли бы с успехом стать садоводом или ботаником.

Броди-Инес. Да я с удовольствием. (*Бормочет.*) Попробовать, что ли, свинцовой примочкой?.. До свиданья, мистер Дарвин, не стану мешать вам. Пожалуйста, не провожайте меня, миссис Дарвин. (*Торопливо уходит.*)

Дарвин (*подходит к краю веранды, смотрит ему вслед*). Ты не думаешь, Эмма, что мистер Броди-Инес мог на меня обидеться?

М-с Дарвин. Из-за шмеля?

Дарвин. Нет. Не знаю, почему-то мне часто кажется...

М-с Дарвин. Что тебе кажется, Чарлз?

Дарвин. Он очень хороший человек, мистер Броди-Инес. Зато я, должно быть, плохой человек.

М-с Дарвин. Почему?

Дарвин. Я никак не могу отделаться от мысли, что иногда он приходит ко мне, чтобы исполнить свой долг...

М-с Дарвин (*пристально смотрит на него*). Ты так думаешь?

Дарвин. Только он всякий раз забывает его исполнить! (*Смеется.*) Впрочем, наверно, я ошибаюсь. Но все-таки лучше бы он был не священником, а простым малым, вроде меня. А что? Ему только не надо лениться самому поливать свои цветы утром и вечером, как иногда ленюсь я. (*Берет лейку.*)

М-с Дарвин (*наблюдая за ним*). Чарлз, а ты не забыл, как ты сам собирался когда-то стать священником?

Дарвин. Но ведь это было очень давно, Эмма. Еще до моей женитьбы.

М-с Дарвин. Ты не хочешь сказать, что женитьба этому помешала?

Дарвин. Как это может быть, Эмма? Нет, стало быть, я неточно выразился. Это было много раньше, до моего путешествия.

М-с Дарвин. Да. Разумеется, это все теперь такое далекое прошлое... Но разве и в этом случае ты не мог бы заниматься наукой? Быть может, ты чувствовал бы себя еще спокойнее. Ты сам сказал, что священники всегда так долго живут... Должно быть, я говорю глупости, ты пошутил, но... Чарлз... не мог бы ты... иногда... просто ходить со мной в церковь?.. Нет, Чарлз, я помню, что обещала никогда не говорить об этом...

Дарвин (*мягко*). Я знаю, Эмма. И я мог бы пойти с тобой, но боюсь, что это будет нечестно.

М-с Дарвин. Нечестно? О чем ты говоришь, Чарлз?

По дорожке к веранде бежит Энни, держа двумя пальцами червяка.

Энни. Смотри, смотри, папа. Я все-таки взяла его в руки, хотя мне это еще неприятнее, чем ему... Наверно, он думает, что его подняли на небо.

Дарвин подставляет ладонь, и девочка с облегчением опускает туда червяка.

Дарвин (*ласково*). Давай поэтому отпустим его на землю, и пусть он живет там как ему хочется. (*Направляется в сад.*)

Девочка бежит впереди. Наткнувшись за дверью на возвращающегося Броди-Инеса, присела перед ним.

Энни. Ах, извините, преподобный мистер Броди-Инес! Я чуть не раздавила вас...

Броди-Инес показывается на ступеньках веранды.

Броди-Инес. Забыл вам сказать, мистер Дарвин... Забыл сказать, пока вы не уехали... Община просит позволить занести ваше имя в книгу почетных посетителей нашей церкви.

М-с Дарвин порывисто обернулась к Дарвину. Пауза.

(*Растерянно.*) Это ничего, что вы не бываете... Все знают... Ваша болезнь... Ваши занятия... Это ничего,

это ничего. Между тем наши добрые прихожане обидятся, если...

Пауза. М-с Дарвин показывает мужу на Энни, ожидающую его в стороне.

М-с Дарвин. Чарлз, при Энни...

Дарвин. Передайте им, пожалуйста, мою благодарность.

М-с Дарвин вздыхает. Лицо Броди-Инеса просияло. Он поднимается на одну ступеньку и заглядывает в ладонь Дарвина.

Броди-Инес. Один из ваших питомцев?

Дарвин. Энни принесла для меня червяка. Глодать ему меня еще немножко рано, не правда ли? *(После паузы.)* Извините, я неудачно пошутил. *(Уходит в сад.)*

Энни весело убегает с ним.

Броди-Инес. Я никогда не видал более великодушного человека. Но эта грустная шутка... Нет, миссис Дарвин, главная наша с вами задача — поправить его здоровье. Собирайте его поскорей к доктору Гулли в Мельворн... или к доктору Ламбу... Миссис Дарвин, вы чем-то расстроены? Вы, кажется, недовольны?

М-с Дарвин. Сказать вам правду, преподобный Броди-Инес... Вы не обидитесь на меня?

Броди-Инес. Нет, миссис Дарвин. А что такое?

М-с Дарвин. Должно быть, я напрасно упоминаю об этом, но... когда вы заговорили с Чарлзом о церкви... Я так хотела, чтобы он... А вы... Ах, преподобный Броди-Инес!

Броди-Инес *(чувствуя себя виноватым)*. Миссис Дарвин! Право, я не подумал... Но это ничего. Ведь мы только что говорили, помните... Безупречная жизнь, доброта... дети...

М-с Дарвин смотрит на его доброе лицо, которое так ясно выражает его искренние попытки уладить все.

М-с Дарвин *(твердо)*. Да, вы правы. Не будем мучить его. Пожалуйста, забудьте все, что я вам сказала.

Броди-Инес. С удовольствием... Дорогая миссис Дарвин! *(Голос его крепнет.)* Собирайте его скорее на морские купанья, я уверен, что он вернется поздоровевшим и с новыми силами примется за свой благочестивый труд. *(Идет к калитке.)* А вот куда именно ему поехать, к доктору Гулли в Мельворн или к доктору Ламбу, это

мы с вами еще обсудим, непременно обсудим, потому что ведь это вещь важная, может быть это даже поворотный пункт в вашей жизни, а это, наверное, так и есть, если меня не обманывает предчувствие и если только (*открывает калитку*) мистер Дарвин окончательно согласится поехать к доктору Гулли (*скрывается за калиткой*) или к доктору Ламбу (*голос его все глуше доносится из-за изгороди*), в сущности, это почти все равно: оба они, доктор Гулли и доктор Ламб, пишет мне брат викарий...

В наступившей тишине м-с Дарвин долго смотрит в глубину сада, несколько раз кивая головой своим мыслям, и на лице ее устанавливается спокойное выражение, когда она видит приближающегося к веранде Д а р в и н а. Он очень оживлен.

Д а р в и н (*еще издали*). Эмма, ты не знаешь, какое у нас событие! В деревне родился ягненок с одним лишним позвонком! Это совершенно случайно заметили, а ведь это такой важный пример изменчивости... Я сейчас же пойду его смотреть. Ну, Эмма, еще несколько таких примеров, и я буду просто счастлив. Я смогу тогда доказать справедливость своих взглядов любому сельскому хозяину. Правда, сейчас хозяин этой овцы ничего еще не поймет... На все это нужно время и время...

М-с Д а р в и н. У тебя оно будет, Чарлз. У тебя впереди еще много, много спокойных счастливых дней для твоих занятий...

Д а р в и н (*задумчиво*). Ты думаешь, Эмма?

## КАРТИНА ВТОРАЯ

Берег моря. Широкая бухта. Вдали виден корабль на рейде. Двое мужчин, гуляющих вдоль моря, то и дело придерживают от ветра шляпы. Один из них Д а р в и н, другой — Ч а р л з Л а й е л ь. Лайель суше и старше Дарвина.

Д а р в и н. А вы, Лайель, не испытываете зависти, смотря на корабль?

Л а й е л ь. Я уже слишком стар, чтобы завидовать путешественникам.

Д а р в и н. Я тоже. Значит, мы завидуем их молодости.

Л а й е л ь (*угрюмо*). Я говорю — нет. Всякому овощу свое время.

Д а р в и н (*задумчиво*). Пожалуй, я этого не скажу. Я приехал сюда накопить здоровья, но кажется, больше

хотел бы вернуть молодость. Отлично помню, как я сам отправлялся в плавание. Тогда был настоящий ураган. Наш десятипушечный бриг три раза отбрасывало обратно в гавань, пока наконец удалось выйти в открытое море. Моряки уверяли, что это происходило оттого, что кто-то держал черную кошку под лоханью... Не скрою, когда наш старый «Бигль» начинал скрипеть, сердце у меня тоже поскрипывало... Стоило бороться с плохим отношением капитана Фиц-Роя к моему носу, чтобы пойти на дно у самого дома!

Лайель удивленно смотрит на широкий нос Дарвина.

Разве я вам не рассказывал о моем главном затруднении? Меня не хотели брать на корабль. Капитан был убежденным физиономистом и очень долго сомневался, обладает ли юноша с таким носом, как у меня, энергией и решимостью, необходимыми для кругосветного путешествия.

Лайель (*сочувственно хлопывая Дарвина по спине*). Впоследствии, думаю, он имел случай не раз убедиться, что ваш нос обманул его. У вас достало решимости не только на путешествие, вы сделались ученым!

Дарвин. Вы же знаете, что этим я гораздо больше обязан вам, дорогой Лайель.

Лайель. Право?

Дарвин. Я взял с собой на корабль две книги, одной из них были ваши «Основы геологии». Для меня эта книга оказалась настоящим откровением. Да и для всех также. Можно сказать, вы потрясли науку о земле действительно до самых ее основ. Помните, какой это произвело шум?

Лайель (*с удовольствием*). Еще бы! Я думал, я сам погибну от этого землетрясения. Меня чуть не объявили еретиком. Если бы такой способ не вышел из моды, меня бы сожгли на костре. Но... вот прошло уже около тридцати лет, а я жив!

Дарвин. Теперь вы станете жить вечно, вашу теорию преподают в школах. Должно быть, рассматривают ее как поправку к священному писанию...

Лайель. Да. Гм... А вторая книга? Вы сказали, что взяли с собой две книги?

Дарвин. Второй была как раз Библия. Ведь тогда я еще собирался стать священником. Лишь ваша книга натолкнула меня на иные мысли.

Лайель. Слуга покорный! Представляю, как опол-

чатся на вас священники за те мысли, что вы собираетесь развить в своей теории.

Дарвин. А я им скажу, что я только применил к биологии ваши мысли и методы... Это та же самая теория развития и тот же принцип: никогда не придумывать неизвестных сил для объяснения явлений, которые объясняются известными нам силами.

Лайель. Не знаю, не знаю. На словах ваша теория меня ни разу не убеждала. А в книге, как видно, вы ее еще не скоро изложите.

Дарвин (*с сожалением*). Мне не хватило и двадцати лет, чтобы подкрепить ее всеми возможными фактами. Я уж хочу быть вполне добросовестным.

Лайель. Вы слишком медлите, это также никуда не годится.

Дарвин (*задумчиво смотря на морского офицера, вышедшего из шляпки и прохаживающегося у самой воды, крепко держа шляпу за поля*). Позавчера дул такой же ветер от берегов Франции, и знаете, что я увидел? Семена чертополоха летели прямо в глубь Англии. Я сказал себе: господи помилуй, как много, должно быть, чертополоха растет во Франции! В воображении я уже писал вам об этом письмо... Но когда я обогнул мыс, я увидел за ним на берегу целую полосу отечественного чертополоха. Каждая большая волна уносила с собой далеко в море семена цветов. А потом они возвращались по воздуху, ветер поднимал их вместе с брызгами. Видите, как опасно опубликовывать торопливые выводы, дорогой Лайель?

Лайель. Как раз я это всегда говорил вам.

Дарвин. А я всегда слушал вас.

Лайель. Напрасно.

Дарвин. Почему?

Лайель. Потому, что идеи тоже носятся в воздухе. Кончится тем, что кто-нибудь вас опередит.

Дарвин заметно уклот, качает головой. Морской офицер подходит к ним.

Офицер. Простите, вы кого-нибудь ждете?

Лайель. Ждем? Нет.

Офицер. Значит, мне показалось... (*Вытаскивает часы и, ворча что-то про себя, отходит.*)

Лайель. Не знаю, почему ему показалось... (*Резко поворачивается к Дарвину.*) Вы мне не ответили на мое замечание.



Дарвин (*спокойно*). Что меня могут опередить? Ну что ж! Ведь вы до сих пор не согласны с моими выводами, по-видимому мне не суждено вас убедить... Пусть это сделает другой. Я только не понимаю, зачем вы угорвариваете меня опубликовать мой труд.

Грустно и выжидательно глядит на Лайеля, сердито рассматривающего сквозь очки, потом через лупу поднятый им с земли камень.

Лайель. Я уважаю ваше огромное трудолюбие, с каким вы собрали невероятное количество примеров и фактов: уже одна справедливость требует одобрения такой деятельности, но... (*ворчливой скороговоркой*) если следовать за вами в ваших выводах, можно договориться, чего доброго, до того, что люди произошли от обезьян!..

Дарвин не успевает ответить. На набережной появляется Альфред Уоллес, высокий блондин, и его помощник Чарлз Аллен, худенький юноша, на вид лет шестнадцати. За плечами и в руках у них ружья, патронташи, сачки для бабочек. Но силящики несут за ними багаж. Их встречает морской офицер.

Офицер. Добро пожаловать, мистер Уоллес. Шлюпка давно ждет вас.

Уоллес. Ух, как я торопился! Наконец-то я опять буду на корабле. Ведь прошло три года, как...

Офицер. Сюда, сэр, сюда. Пусть они сначала уложат багаж.

Уоллес с офицером идут мимо стоящих поодаль Лайеля и Дарвина.

Уоллес. Сэр Чарлз Лайель?

Лайель сдержанно кланяется.

Должно быть, вы приехали на морские купанья?

Лайель. Мой друг доктор Дарвин приехал на морские купанья.

Уоллес. Здесь доктор Дарвин?

Лайель. Вы не знакомы? Доктор Дарвин... Мистер Альфред Уоллес...

Уоллес. Сочту за особую честь... Я давно...

Здороваются.

Дарвин. Помню, однажды нас уже чуть не познакомили в Британском музее.

Уоллес. Совершенно верно. К сожалению, мы разошлись по разным залам. Я сортировал своих чешуекрылых...

Дарвин. А я по старой памяти зашел к своим усоногим...

Смеются.

Лайель (*снисходительно*). Вам известно, что сэр Бульвер Литтон в своем романе изобразил доктора Дарвина под видом ученого, написавшего два огромных тома об усоногих раках?

Уоллес (*осторожно*). Но это, кажется, так и было?

Дарвин. Меня и считают-то с грехом пополам ученым только благодаря тому, что я написал эту чудовищную эпопею. А то я все еще больше слышу путешественником и натуралистом.

Уоллес (*живо*). Как, например, я. Но у меня это уже на всю жизнь.

Дарвин. Да, мы с Лайелем только что вам завидовали.

Лайель. Я не завидовал.

Дарвин. Я завидовал. Вы отправляетесь на Малайский архипелаг. Сколько интересного вы там увидите! Не сомневаюсь, что вы снимете богатую жатву.

Уоллес. Поедьте со мною, доктор Дарвин. Признаться, я ничего бы так не желал...

Дарвин. Нет, друг мой, я теперь сам превратился в заядлого рака-отшельника, мне уже из своей скорлупы не вылезть. Но буду вам бесконечно благодарен, если вы станете хотя бы изредка писать мне о своих наблюдениях — особенно в связи с тем, что более всего сейчас меня занимает...

Лайель поверх очков с удивлением смотрит на Дарвина.

Уоллес. Позвольте узнать?..

Дарвин. Как, каким образом расходятся друг от друга виды и разновидности.

Уоллес. Это крайне интересная тема.

Дарвин. К тому же ее следует поставить гораздо шире. Возможно или невозможно происхождение родственных видов от одного общего рода...

Лайель (*с уничтожающим сарказмом*). Например, человекообразной обезьяны и человека от одного общего предка!

Уоллес смеется.

Уоллес (*заметив огорчение на лице Дарвина*). Я слушаю вас, доктор Дарвин. Извините...

Дарвин. Если собрать наибольшее количество фактов, это должно, мне кажется, пролить свет на такой вопрос. Потому я прошу, мистер Уоллес: пожалуйста, присылайте мне факты, какие обратят на себя ваше внимание. Ведь это не будет для вас большой обузой?

Уоллес. В моем будущем уединении это большая радость — быть вашим корреспондентом.

Дарвин. Вы один туда едете?

Уоллес. Со мной мой помощник Аллен. Чарлз, где вы?

Чарлз Аллен, во время беседы следивший за укладкой багажа, бросается к ящикам, которые слишком небрежно опускают на землю носильщики.

Чарлз Аллен (*гневно*). Тише, тише, не поломайте! Это для бабочек и райских птиц!..

Дарвин. У вас усердный помощник. Там что-нибудь ценное?

Уоллес. Пока нет. Пустые коробки.

Лайель. Он еще совсем мальчишка.

Уоллес. Ему уже восемнадцать лет, он только выглядит немного хилым. Зато он необыкновенно нравствен. Вот увидите, он попросит прощения за свою горячность.

Дарвин с любопытством смотрит на юношу. Тот подходит к носильщикам и тихо говорит им что-то. Те отвечают, видимо, грубостью. Юноша порывисто отходит от них, сдерживая гнев. Носильщики, смеясь, идут мимо.

Первый носильщик. Говорит, для райских птиц.

Второй носильщик. Оно и видно. Скоро его живым возьмут в рай!..

Уоллес. Очень, очень интересная мысль занимает вас, доктор Дарвин.

Лайель насмешливо смотрит на Дарвина.

Офицер. Мистер Уоллес, нас с вами давно ждут на корабле.

Дарвин. Это я задержал вас. Желаю вам счастливого пути, мистер Уоллес, и, конечно, здоровья. Последнего мне сильно не доставало в моем путешествии.

Уоллес. Меня только донимают тропические ожоги и лихорадки. Почему-то блондинов особенно не любит тамошнее солнце.

Дарвин. И все-таки блондинов это не пугает. Всего доброго, мистер Уоллес.

Уоллес (*уходя*). До свидания, доктор Дарвин. Когда будете на море, прошу вспомнить, что за два океана находится ваш покорный слуга.

Уоллес с офицером идут к шлюпке: Чарлз Аллен еще раньше простился с каким-то пожилым человеком. Это его отец, м-р Аллен. Лайель и Дарвин долго молча смотрят вслед Уоллесу. Звук уключин, плеск весел — лодка отчаливает от мола.

Лайель (*неожиданно*). Зачем, ну зачем вы дарите свои мысли профанам, как бусы дикарям?

Дарвин. Вы слишком строги, Лайель, нельзя же всю жизнь никого не подпускать на пушечный выстрел к своему... (*Не успевает договорить.*)

Вдали раздается пушечный выстрел.

Лайель. Правильно! На пушечный выстрел!

Дарвин. Это корабль снимается с якоря. Смотрите, Уоллес нам машет платком с вельбота...

Вытаскивает платок и машет им Уоллесу. Видит, что поодаль от них стоит пожилой человек и тоже машет платком и шляпой. Заметив взгляд Дарвина, он подходит поближе.

М-р Аллен. Прошу извинить меня, сэр, вы не знаете, этот корабль крепко сколочен?

Дарвин. Не знаю.

М-р Аллен. Я потому спрашиваю, что на этом корабле уезжает в дальние страны мой сын, мой маленький Чарли.

Дарвин. Вероятно, ваш ребенок едет с кем-нибудь из взрослых?

М-р Аллен. Видите ли, он уже почти взрослый. Ему восемнадцать лет.

Дарвин. Так это тот худенький юноша, что сопровождает мистера Уоллеса?

М-р Аллен. Он несколько худощав. Сказать по правде... (*понижив голос*) мачеха, моя жена то есть...

Лайель. Больше заботилась о духовной пище для вашего мальчишка?

М-р Аллен (*с гордостью*). Да, смею уверить, мой Чарли знает всяких молитв не меньше священника. Правда, он едет сейчас по ученой части — набивать чучела, собирать таракашек, но...

Дарвин. Но что же?

М-р Аллен (*успокоительно*). Нет, это ненадолго. Всего на три года. Скажу вам по секрету, сэр, Чарли там хочет поступить в миссионеры. В священники к дикарям.

Лайель. Слышите, Дарвин?

М-р Аллен. Верно, это гораздо солиднее, чем заниматься букашками?

Дарвин (*простодушно*). Смотря по охотнику. Я, например, с удовольствием занимаюсь букашками.

М-р Аллен (*сконфуженно*). Надеюсь, я вас не обидел, сэр?

Дарвин. Нисколько.

М-р Аллен. Прошу меня извинить. Меня, видите ли, в детстве мало полировали. Куда там! Надо было хоть раз пройтись по мне фуганком да поскоблить стеклом, а меня просто вырубил топором, сэр.

Дарвин. Вы, наверное, плотник?

М-р Аллен. Столяр, сэр. А как вы это угадали?

Лайель. По вашему носу.

М-р Аллен (*покосившись на свой нос*). Ежели вы думаете, что я выпиваю лишнее...

Дарвин. Мы этого совсем не думаем. (*Укоризненно покачав головой, Лайелю*.) Мой друг пошутил. Я сказал наугад, потому что мне нужен плотник.

М-р Аллен. Плотник или столяр?

Дарвин. Или столяр. Мне хочется, чтобы вы починили мою оранжерею. Если вам это подходит, возьмите для памяти. (*Пишет в записной книжке, вырывает листок и отдает столяру*.)

М-р Аллен (*беспомощно вертит листок. Показывает Лайелю*). Вы можете мне сказать, что тут написано?

Лайель. Даун под Лондоном. Кентское графство. Спросить мистера Дарвина.

М-р Аллен (*бережно берет листок, неожиданно Лайелю*). Сэр, вот вы человек ученый. Моя жена уверяет, что Чарлз может там одичать и превратиться в обезьяну. Скажите мне правду, это действительно может с ним случиться?

Лайель (*плохо скрывая веселость*). На это вам доктор Дарвин лучше ответит.

Столяр недоверчиво оборачивается к Дарвину.

Дарвин (*немало удивлен вопросом*). Я сам там был и, как видите...

М-р Аллен (*зорко осматривает его с головы до ног и, притронувшись к шляпе, уходит, ворча про себя*). Нет уж, пускай лучше корабль развалится по дощечке и пучина его поглотит, чем мой Чарли обратится в обезьяну!..

Лайель (*насмешливо*). Ну, вы теперь видите, что

теснии, подобные вашей, как семена носятся в воздухе... И нередко упадают на благоприятную почву.

Дарвин. Да, пожалуй. *(После паузы.)* Как странно, что мы проводили мистера Уоллеса... Сейчас мне его судьба кажется удивительно близкой, будто это я сам в молодости... Нужно рассказать Эмме об этой встрече. Жаль, я не пригласил к себе вместе с нашим новым знакомым и его супругу.

Лайель. Это зачем?

Дарвин. Мне было бы интересно узнать ход ее мыслей.

Лайель *(пророческим тоном)*. Нет, Дарвин, ваша судьба ясна мне! Вас даже эта дама может опередить. Уж не говоря о молодом Уоллесе...

Дарвин нахмурился, упорно смотрит на горизонт; лицо его светлеет.

Дарвин. Скажите, разве вам не приятно было бы знать, что где-то, за два океана отсюда, другой натуралист наблюдает сейчас за тем же и думает о том же, о чем и вы?

Лайель. Мне было бы отвратительно это сознавать!

Дарвин *(удивленно)*. Мы с вами такие разные люди, что мне сейчас вдруг показалось, что вы и есть тот главный противник, которого мне хочется победить... Понимаете теперь, отчего я медлю?

Лайель. Нет, не понимаю.

Дарвин. Но ведь мне надо быть до зубов вооруженным для войны с вами.

Лайель. Вы всерьез собираетесь воевать?

Дарвин. Да, конечно.

Лайель. Ну, ну! *(Круто поворачивается и идет прочь от моря.)*

Дарвин, покачав головой и бросив последний взгляд на море, идет за ним.

### КАРТИНА ТРЕТЬЯ

В туземной хижине в тропиках. Тростниковая мебель, простой стол на козлах, постель с погруженными в банки с водой ножками. Заходящее солнце освещает стол у окна, оставляя в полумраке углы. На столе, на полу, на подоконнике стоят коробки и ящики с экспонатами. На откидных стенках, с внутренней стороны, видны гигантские бабочки с мохнатыми головами. От булавки к булавке тянутся, перекрещиваясь, узкие полоски, предохраняющие хрупкие крылья. Уоллес стоит к нам спиной и ловкими пальцами натуралиста подтягивает эти полоски.

Уоллес (*сквозь зубы*). Проклятая лихорадка! Все еще дрожат руки. Чарлз, ты смотрел, не забрались ли муравьи в коробку, которая стоит на окне? Прошлый раз красные муравьи съели семь лучших чучел.

Чарлз Аллен (*худой, аскетического вида юноша, стоит с другой стороны стола, прядельвая такую же работу*). Здесь?

Уоллес (*нетерпеливо*). На окне, которое обращено к Англии. Ты же часто смотрел в ту сторону...

Чарлз. Эту коробку только вчера упаковал Али.

Уоллес (*раздраженно приложив ладонь к уху*). Проклятая хина! Я совершенно оглох.

Чарлз. Али...

Уоллес. Почему Али? Натуралист должен сам все делать. Если бы не моя лихорадка, я непременно бы сам повез это на Борнео.

Чарлз Аллен открывает коробку, проверяя ее содержимое.

Я надеюсь, ты сумеешь погрузить это на пароход? Ведь даже в Библии где-то сказано: всякое доброе дело исполняй по-божески...

Чарлз угрюмо молчит.

Ну, а если этого там не сказано, тем хуже для Библии. Не сердись, я больше не стану тебя дразнить. Я ведь помню, что сегодня день твоего совершеннолетия, ты уже большой... Но все-таки покажи еще раз, где мой пакет.

Чарлз все так же угрюмо вытаскивает из-за пазухи конверт.

Помни, что это еще важнее коллекции... Надо, чтобы мистер Дарвин прочел мои записи и одобрил их, если... если они не покажутся ему вздором, сочиненным под действием тропической лихорадки... Откровенно говоря, я и сам-то не очень уверен... Хотя... Спрячь пакет, милый Чарлз, спрячь надежнее.

Чарлз хочет что-то сказать, потом нерешительно прячет пакет.

Зато если это не бред, то я сразу из бродяги-натуралиста стану знаменитым ученым! Ты понимаешь, что это значит, Чарлз? Мое сообщение будет столь неожиданным, что произведет впечатление взрыва. Все прежние понятия полетят к черту. Тебе это ясно? (*Мечтательно*.) А потом мы с тобой поедem в Европу, ты будешь моим помощником, сделаешься тоже ученым... Слышишь, Чарлз?

Чарлз снова хочет что-то сказать. Шея его вытягивается, как у птицы, чучело которой висит позади него.

Значит, недаром мы здесь провели три года! Теперь ты доволен, что поехал со мной? Не собираешься больше обратно домой? Да, ведь сегодня вышел срок нашему условно... Теперь уже нужно с тобой самим заключать контракт... *(Смеется.)* Мистер Аллен все сомневался, солидное ли это дело — собирать букашек... *(Сердечным тоном.)* Только сразу же, как уйдет пароход, возвращаясь. Я все еще отвратительно себя чувствую. Сейчас зайдет солнце, и я опять свалюсь.

Чарлз. Мистер Уоллес! Я вам хотел сказать...

Уоллес. Что сказать?

Чарлз. Я не вернусь к вам.

Уоллес. Не понимаю. *(Переходит на другую сторону стола, к Чарлзу. Он оброс бородой, похудел, держится за стол и пошатывается от слабости.)* Когда ты, говоришь, вернешься?

Чарлз. Я совсем не вернусь.

Уоллес *(соображает)*. Ты вместе с пароходом хочешь вернуться в Европу?

Чарлз. Нет. Я хочу попросить епископа на Борнео послать меня куда-нибудь миссионером.

Уоллес *(медленно)*. Так. Я не думал, что ты захочешь теперь осуществить это нелепое... да, нелепое для натуралиста желание.

Чарлз. Прежде чем стать натуралистом, я был христианином.

Уоллес. Ты и остался им.

Чарлз. Да. Я остался им, несмотря ни на что.

Уоллес. Какие глупости! Тебе никто не мешал. Не могли же тебя всерьез обижать мои шутки?

Чарлз *(мрачно)*. Дурные шутки.

Уоллес. Может быть. Разве из этого следует, что ты должен бежать от меня без оглядки? Бросать больного — неужели это по-христиански?

Чарлз молчит.

Мне кажется, что ты одумаешься. *(Пытаясь улыбнуться.)* Мы еще договоримся. Не так ли?

Чарлз. Нет.

Уоллес. Почему же?

Чарлз. Я хочу быть миссионером.

Уоллес. Я уже слышал это.

Чарлз. И я буду им.

Уоллес. Очень хорошо.

Чарлз. И я стану читать дикарям Библию! А вы



смеетесь над ней... (*Затыкает уши.*) Нет, нет, я ничего не хочу больше слышать... Я уже давно решил... Я дал обещание...

Уоллес. Кому?

Чарлз. Богу.

Уоллес (*внимательно смотрит на него*). Да ты настоящий фанатик, Чарлз!

Слышен гудок парового катера. Чарлз встрепенулся, нерешительно шагнул к двери. Уоллес иронически уступает ему дорогу.

Ну что ж, желаю успеха, преподобный Чарлз Аллен.

В хижину входит молодой малаец Али.

Чарлз и Али торопливо выносят коробки. Уоллес молча стоит у окна. Солнце зашло. Быстро темнеет. Чарлз и Али возвращаются за остальными коробками.

(*Мягко.*) Чарлз, может быть, ты останешься хотя бы до завтра? Я хочу диктовать тебе дальше, развивая те мысли, которые изложил в письме к Дарвину. Сам я еще не могу писать.

Чарлз (*возмущенно бормочет*). Те мысли! Нет, хватит...

Уоллес. Что такое?

Чарлз. Мне очень жаль, но я могу опоздать к пароходу.

Уоллес (*сухо*). Хорошо, поезжай. (*Держась за стенки, выходит из хижины.*)

Чарлз (*сразу после его ухода кричит*). Чтобы я остался у него хоть минуту! Будьте прокляты все его нечестивые мысли и шутки! Я ждал этого дня как праздника! (*К Али.*) Ты понимаешь, что теперь я свободен? Вышел срок нашему контракту. Конец! Все! Я больше не буду иметь с ним дело! Так и скажи ему, слышишь? А его пакет, скажи, жжет мне руки... (*Выхватив пакет, хочет швырнуть его под кровать, но с отвращением кладет обратно за пазуху.*) Ну ладно, сдам его на пароход, чтобы навсегда развязаться. Все, что он здесь написал, наверно, подсказал ему дьявол... Так и скажи ему, Али...

Входит Уоллес. Не глядя на Чарлза, проходит к постели и ложится лицом к стене. Чарлз и Али уносят последние ящики. В хижине темно и тихо. Из малайской деревни доносятся звуки туземной музыки. Приходит Али и зажигает свечу у изголовья постели. Он долго мнетя, прежде чем начать.

Али. Мистер Уоллес, вам мистер Чарли велел сказать...

Уоллес (*не поворачивая головы*). Что сказать?

Али (*винноватым тоном*). У вас нечестивые мысли... они ему надоели...

Уоллес. А! Я думал, что-нибудь новое.

Али. А ваш пакет, он сказал, жжет ему руки.

Уоллес (*порывисто поднимается на постели*). Он не взял его?

Али. Нет. Он отдаст его на пароход. Так он сказал.

Молчание. С моря доносится далекий гудок.

Уоллес. Еще что?

Али. Все...

Уоллес (*ложится*). А я-то... хотел его сделать образованным человеком.

Али (*вопросительно наклоняется над ним*). Мистер Уоллес?

Уоллес. Ничего, Али. (*Шутливо*.) А тебе мои нечестивые жуки не жгут руки?

Али. Нет, мистер Уоллес, не жгут. Я всегда стану для вас собирать их. Вот только сегодня...

Уоллес. Что сегодня?

Али. Моя свадьба...

Уоллес прислушивается к усилившимся звукам туземной музыки. Слышны голоса, поющие свадебную песню.

Уоллес (*удивленно*). Там твоя свадьба?

Али (*с гордостью*). Да. Но если мистеру Уоллесу худо сегодня, я не пойду... (*По мере того как он продолжает рассуждать с собой, глаза его становятся все более грустными*.) Правда, невеста обидится, но это ничего, я найду другую... Конечно, другой такой не найти, все другие в деревне хуже, но ничего... Лучше не надо бы назначать сегодня свадьбу, но как-нибудь... Вот только Али будут считать бесчестным человеком, но ведь мистер Уоллес не думает этого?

Уоллес. Ступай, ступай на свою свадьбу. Ты честнейший парень, иди, а мне приготовь на ночь питье. И двойную порцию хины. И карандаш положи на столтик. Ступай, Али, веселись...

Али, молниеносно приготовив все, убегает, на ходу примазывая себе волосы и налевая. Уоллес остается один. Морщась от боли и слабости, принимает порошок хины и пытается писать. Тропическая черная ночь. Колеблется огонек свечи под порывистым дыханием Уоллеса. Он в изнеможении отваливается на подушку, карандаш выпадает из его пальцев.

(Смотря в темный угол хижины.) Чарлз, ты вернулся? Спасибо, милый, я так и думал... Мне очень худо, Чарли... Не оставляй меня... Мы с тобой ведь отлично жили... Три года — это не шутка! Я говорил мистеру Аллену: если Чарлз полюбит меня, я его усыновлю. То есть в случае моей смерти ему перейдет мое имущество. (Смеется.) Помнишь, как ты испугался, когда я упал в реку? Ты протянул мне руку и в темноте схватил вместо меня... (Вдруг голос его меняется, становится угрожающим.) Уйди! Уходи сейчас же! Неблагодарный!.. Али, гони его! (Голос его опять меняется.) А ты, Чарли, сядь рядом со мной, я стану тебе диктовать... Знаешь, мне пришли в голову еще другие замечательные соображения... (Закрывает глаза и говорит спокойным, серьезным тоном.) Но это ошибка. Я мало думал над этим. Я слишком поторопился послать это Дарвину. Ну что ж, он подтвердит мне, что я ошибаюсь... (С ужасом смотрит в темный угол.) Али, прогони черных бабочек! Эй, ты, в расел!..

Уоллес опрокидывает свечу. В полной тьме слышно свадебное веселье малайцев.

#### КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Сад. Оранжерея в саду у Дарвина. Раннее солнечное утро. Оранжерея сияет новизной, чисто промытые стекла пронизаны солнцем. Внутри еще пусто, еще не везде убраны щепки, стоит метла в углу, висит ведро с краской.

На завалинке, у входа в оранжерею, сидят садовник и м-р Аллен.

Садовник. Когда ты, говоришь, познакомился с доктором Дарвином?

М-р Аллен. А вот в тот самый день, как отправил моего Чарли. Погоди. (Лезет рукой за пазуху.) Где-то у меня контракт с мистером Уоллесом... (Достает четверо сложенную бумагу.) Взгляни, какой год тут помещен?

Садовник (важно берет бумагу). Ты-ся-ча...

М-р Аллен. Правильно.

Садовник. Во-семь-сот...

М-р Аллен. Смотри, славно у тебя пошло.

Садовник. Тысяча... восемьсот...

М-р Аллен. Погоди, я тебе помогу. Нынче как раз вышел срок, а условие у нас на три года, за нарушение

неустойка... значит... (*считает на пальцах*) значит, в пятьдесят пятом уехал мой Чарли. Так вот, только я его проводил, подходят ко мне два джентльмена. Один прямо ко мне. «Вы, говорит, наверно, столяр?» Ну гляди, как он угадал! «Да вроде того», — говорю. «Очень хорошо, не почините ли мне оранжерею?» — «И новую, говорю, могу сделать». — «Новую, говорит, подождем, а вот приходите ко мне в понедельник». И пишет мне на бумажке, где он живет: Даун, Кентское графство, зайти с парадной калитки...

Садовник (*недоверчиво*). И ты сам это прочитал?

М-р Аллен (*вынимает огниво и трубку*). Да уж нашел дорогу. (*Высекает огонь и с довольным лицом обращивается, любуясь оранжереей.*) А что, плохую, скажешь, сделал ему теплицу? Уж постарался. Он-то всегда читает письма от Чарли. (*Засмотревшись на свое сооружение, забыл, что в одной руке у него трубка, а в другой сиротливый огонек.*)

Садовник. Да ты закури сначала. А то свернешь шею — уж не покуришь.

М-р Аллен. Нет, ты смотри: как игрушечка!

Садовник (*равнодушно*). А что толку?

М-р Аллен (*озадаченно*). Как?

Садовник. Да хоть бы что стоящее в ней росло. Недавно велела мне миссис Дарвин посадить огурцы. Дело хорошее, посадил. Лелеял их так, что другой отец за родными детьми так не смотрит. Бывает, подрос парнишка — и ступай хоть на край света, отцу и заботы мало... Ты что? (*Уставившемуся на него Аллену.*) Ну, думаю, сниму урожай! А доктор Дарвин возьми да и засей мои огурцы сорняками...

М-р Аллен. Сорняками?

Садовник. Мало того, полоть не велел. И пальцем, говорит, не притрагивайтесь к ним, мистер Льюис.

М-р Аллен. Ну?

Садовник. Ну и погибли огурцы.

М-р Аллен. Скажи на милость! А еще такой ученый человек!

Садовник. Подожди, еще в твоей распрекрасной оранжерее мухоловки посадит.

М-р Аллен. Какие еще мухоловки?

Садовник. Растения такие липучие. И взглянуть-то на них противно, а доктор Дарвин иной раз по два часа стоит и смотрит, как она, проклятая, муху жрет... Эх! (*Выбивает трубку.*) Давно бы я от него ушел, да жаль

его обижать. Хороший он человек, а вот не может найти себе путного занятия. . .

Около теплицы останавливается Дарвин, совершающий свою утреннюю прогулку. Он слышит заключительные слова и хочет уйти, чтобы не смущать собеседников. Но они уже заметили его и тревожно вскакивают со скамьи.

Дарвин (*смущенно подходит к ним*). Хорошую вы мне теплицу сделали, мистер Аллен. Такой еще у меня не бывало. Теперь мы с вами, Льюис, станем целые дни проводить в ней, правда?

Садовник (*сконфуженно*). Да, да, как же. . . (*Вдруг выпаливает.*) А что мы в ней посадим?

Дарвин (*виновато улыбаясь*). Вы меня извините, Льюис, но придется все-таки мухоловки. . .

М-р Аллен роняет трубку.

Садовник. Доктор Дарвин, раз уж вы слышали, так я вас спрошу. . . Не скажете ли, для чего вы не велели огурцы полоть?

Дарвин. С удовольствием, Льюис. Видите ли, мне надо было убедиться, что сорняки их скоро заглушат.

Садовник. Так вы бы меня спросили.

Дарвин. А вы бы мне сказали, почему они заглушат их?

Садовник. Почему? Да на то они и сорняки. (*С видом превосходства.*) А вы разве узнали другую причину?

Дарвин (*прислушивается к какому-то шуму*). Никак выбивают пыль из ковров?

Садовник (*мельком взглянув в ту сторону*). Нет, это дерутся мальчишки.

Дарвин. Кажется, ваши дети, Льюис?

Садовник (*равнодушно*). Да, это они. (*Кричит.*) Эй, вы, деритесь немного подальше, тут вы потопчете клубнику!

Дарвин. Они не покалечат друг друга?

Садовник. Будьте спокойны, сэр, это их только закаляет. А куда годятся неженки? Они пропадут, как только столкнутся с жизнью, с теми, кто сильнее.

Дарвин (*возбужденно*). Я очень рад, что вы так думаете, мистер Льюис! Разве не то же самое с сорняками? Природа их не баловала, они ко всему привыкли. А огурцы изнежены нами, им трудно очутиться без наших забот. Вот они и проиграли войну. В природе вообще выживает тот, кто лучше приспособлен к жизни. Не так ли, Льюис?

Садовник. Сущая правда, сэр. Вот пропололи бы грядки вовремя, и были бы с огурцами...

Дарвин, улыбаясь, отходит от садовника. Внезапно сверху падает кедровая шишка прямо на Дарвина. Он поднимает голову.

Дарвин. Я думал, это бросила в меня белка!

Голос Фрэнсиса (*сверху*). Извини, папа, я не хотел в тебя попасть...

Дарвин. Но ты сам можешь упасть, Фрэнси. Мне боязно смотреть, как ты высоко забрался.

Голос Фрэнсиса. Тогда, я думаю, тебе лучше уйти отсюда.

Дарвин (*просительно*). А может быть, ты все-таки слезешь? Мне бы хотелось с тобой кое о чем посоветоваться.

Фрэнсис молниеносно слезает вниз и стрелой пронесется мимо.

Фрэнсис (*отчаянным голосом*). Папа! Лови старого Томми! Скорее!.. Он побежал туда, где спаржа...

Дарвин послушно бежит в ту сторону. Садовник и м-р Аллен под шумок удаляются.

М-р Аллен. Кто этот Томми? Сынишка твой, что ли?

Садовник (*с сердцем*). Какой еще сынишка? Старый, паршивый кролик!

Уходят. На большой аллее показывается Джозеф Гукер, сравнительно молодой еще человек, с взъерошенными редкими бакенбардами, с удовольствием разговаривающий с травой и деревьями, но застенчивый и молчаливый даже с близкими по духу людьми.

Гукер. Как будто здесь мелькнул плащ мистера Дарвина? Ну, значит, он еще вернется сюда. Что это? Я вижу, Дарвин наконец-то собрался сделать себе настоящую оранжерею! (*Подходит ближе.*) Прекрасная теплица! Не будь я директором лучшего в мире Ботанического сада, я, пожалуй, позавидовал бы... (*Смеется.*) Я ему так и скажу. Ему это будет очень приятно. Надо сегодня его развеселить и порадовать. Этот сухарь Лайель никак не хочет понять... Дарвин живет здесь таким затворником, так много трудится, что по временам ему просто необходимо общество веселых словоохотливых друзей. (*Уходит по большой аллее.*)

С другой стороны появляются отец и сын Дарвины.

Фрэнсис. Ты мог и не торопиться, я его сразу поймал. Ух как он был недоволен, когда я его стал знако-

мить с белкой! Я говорю: познакомься, это твой старый дядя Том!..

Дарвин. А что ты думаешь, может быть много лет назад они в самом деле были родственниками. Ты открывал ему когда-нибудь рот? У него такие же искривленные резцы, как у белки.

Фрэнсис. Только у него больше и желтые. Старик, старик, а опять слопал бы спаржу!.. Да, но белка живет на дереве, а кролик и лазать-то не умеет... .

Дарвин. Видишь ли, скорее всего у них были общие предки, они бегали по земле, но потом их развелось слишком много, и им перестало хватать места. Тогда они расщелились, одни стали жить под водой и в воде, другие — под землей, третьи — на деревьях... .

Фрэнсис (*недоверчиво*). Так вдруг и полезли под воду? Я понимаю, еще на дерево... .

Дарвин. Но это делалось страшно медленно. Одни оказывались более приспособленными, чтобы нырять или лазать, другие погибали. И постепенно стали непохожими, так что могли жить не мешая друг другу — белки, бобры, зайцы, сурки и так далее. (*С увлечением, забыв, кто его слушатель.*) Я называю это расхождением признаков и придаю этому большое значение в эволюции животного и растительного мира. В моей теории происхождения видов... (*Вдруг обрывает и смущенно смотрит на мальчика.*)

Фрэнсис (*глубокомысленно*). Пожалуй, я начинаю склоняться к мысли, что ты прав. Расхождение признаков... Я думаю, это поймет даже преподобный Броди-Инес, который до сих пор не верит, что шмели, которых я для тебя ловлю, действительно оказывают орхидеям пользу... .

Дарвин довольно смеется и обнимает мальчика за плечи. Возвращается Гукер.

Гукер (*радно*). Вот вы где!

Дарвин. Вот это славный фокус! (*Долго трясут друг другу руки.*) Всегда рад вас видеть, милый друг, а сегодня в особенности. Может быть, и Лайель приедет?

Гукер. Не знаю. Обычно моя судьба такова, что я никогда не могу к вам приехать один... .

Дарвин. Ну, ну, не такая уж я хорошенькая барышня, чтобы... (*Потирает лысую голову.*) Пойдемте в дом. Хотя постойте... Ах, жаль, вы, наверно, уж видели... .

Гукер (*искренне*). Оранжерею? Нет, не видел...

Фрэнсис смеется.

Дарвин (*добродушно*). Ничего, мне приятно самому вам ее показать. Какой смысл что-нибудь делать, если не можешь потом похвастаться этим перед друзьями? (*Подводит Гукера к оранжерее*.) Вот что мне выстроил мистер Аллен.

Гукер молчит. Дарвин несколько огорчен.

Впрочем, вас ведь не удивил, в вашем распоряжении королевские оранжереи... Когда я к вам попадаю и брожу среди пальм, мне подчас кажется, что я снова в тропиках. (*Помолчав*.) Нет, я, думаю, буду доволен своей оранжереей. Я даже готов отметить ее открытие чем-нибудь существенным. Посоветуйте только, чем?

Гукер (*неожиданно*). Я бы сказал, да не хочу повторять Лайеля.

Дарвин. А все-таки?

Гукер. Хорошо, я скажу. Закладкой здания, бесконечно более величественного, чем оранжерея!

Дарвин. Вы, наверно, имеете в виду мою книгу?

Гукер. Да.

Дарвин. Но как раз я сегодня хотел сказать вам...

Фрэнсис. Папа, мистер Лайель!..

Дарвин (*идет навстречу Лайелю*). Какой добрый ветер занес вас сегодня в Даун?

Лайель. Тот же самый, что несет к вам сейчас Броди-Инеса.

Дарвин. Вы обогнали его по дороге? Воображаю, каким холодом вы его облили с высоты своего шарабана!

Лайель. Ничуть. Скорее обдал пылью из-под колес. (*Замечает Гукера, стоящего поодаль*.) Я вижу, ветер сегодня хорошо потрудился.

Гукер здоровается с Лайелем.

Дарвин. У меня сегодня столько гостей, что, боюсь, нам будет тесно в гостиной. Фрэнсис, беги спроси маму, не провести ли нам всем день на воздухе. Скажи: к нам приехали Лайель и Гукер...

Фрэнсис (*мчится к дому*). Ура! Пикник! Ура!

Дарвин (*друзьям*). А кроме того, это повод отпраздновать новоселье. (*Лайелю*.) Вам, геологу, это неинтересно, но Гукер, мне думается, с удовольствием выпьет бокал вина за мою новую оранжерею...



Гукер. Не только за оранжерею.

Дарвин. Хотя почему бы мне уже сейчас не сказать друзьям?

Гукер *(с горячностью)*. Слушайте, слушайте! Лайель. Ну-ну?

Дарвин. Вы, кажется, ждете, что я сообщу что-то особенное. Я просто хотел сказать, что сегодня у меня выдался счастливый день, и, кажется, я решил взять вашим советам.

Лайель. Ну?

Дарвин. Больше не медлить, а выпустить в свет свой труд, основываясь на собранных уже фактах...

Гукер молча трясет ему руку. Даже Лайель выведен из привычного насмешливого равновесия и энергично кивает головой.

*(Забирая Лайеля под локоть и направляясь с ним к дому.)* Правда, я не уверен, что сделаю это достаточно хорошо. Вот вы, располагая моим материалом, написали бы прекрасную книгу.

Лайель. С меня хватит собственных теорий и книг.

Гукер *(на минуту забытый, один)*. Так много хотел бы сейчас сказать Дарвину, этот сухарь Лайель и десятой доли того не чувствует!

Дарвин *(оглядываясь)*. Гукер, где вы?

Гукер. Но знаю, что ничего не скажу... *(Догоняет друзей.)*

## КАРТИНА ПЯТАЯ

Еще до поднятия занавеса гремит ура. Затем открывается холмистая долина с редкими деревьями. Впереди, на одном из холмов, вокруг большой скатерти, разостланной на траве и убранной яствами, сидят Дарвин, его семья, Броди-Инес с женой, Лайель и Гукер. Все чокаются бокалами и пьют.

Дарвин *(оставив на дне бокала немного напитка и смотря сквозь него на свет)*. Чудесный этот сидр! Жаль, что я не могу его пить так часто, как хотел бы!

Джордж *(с любопытством четырнадцатилетнего)*. Папа, а ты был когда-нибудь пьян?

Дарвин *(с сожалением)*. Один только раз мне случилось выпить лишнего. Но все-таки в юности я был порядочным шалопаем. Тебе, Джордж, не нужно брать с меня пример. Мы в Оксфорде организовали клуб обжор. Мы собирались, усаживались, закидывали ноги вот

так... Нет, теперь я так не могу... И рассуждали: что бы нам приготовить завтра на обед? «Салат из земляных червей», — говорил один. «А я давно мечтал попробовать мясо морского ежа», — говорил другой.

Общий крик изумления и детский визг.

Фрэнсис (с величайшим интересом). И вы взаправду это ели?

Дарвин (торжественно). Да! Именно так я впервые познакомился с этими животными. Тогда я еще не знал, что через полтора десятка лет напишу два толстых тома об усоногих.

М-с Дарвин (с упреком). Ну, Чарлз!

М-с Броди-Инес в негодовании отворачивается.

Дарвин (с испугом, к гостям). Я, кажется, порчу вам аппетит?

Лайель. Нет, ничего. Я сам с наслаждением попробовал бы какого-нибудь бронтозавра. Джордж, передай мне, пожалуйста, еще кусочек. (Поднимает вилку с насаженным на нее ломтиком мяса, оживленно блестя очками.) Мы только что пожелали успеха Дарвину, сегодня он наконец-то решился опубликовать свой многолетний труд! А теперь разрешите напомнить вам о виновниках его сегодняшнего решения. Имена их должны быть известны истории. Это садовник мистер Льюис... (Ищет его взглядом.)

Фрэнсис. Он в новой оранжерее.

Лайель. И молодой естествоиспытатель Фрэнсис Дарвин.

Все в недоумении смотрят на Фрэнсиса, и он сам удивлен.

Дарвин. Это правда. Сегодня я подумал: раз кое-что из моих наблюдений я могу растолковать двенадцатилетнему мальчику и неграмотному садовнику, значит настала пора изложить их понятно и просто для всех. Не так ли?

Лайель одобрительно кивает головой. Гукер опять горячо пожимает Дарвину руку.

Броди-Инес. Прекрасное решение! (Поднимает бокал и вопросительно смотрит на Лайеля, которого он побаивается.)

Лайель. Вы так думаете?

Броди-Инес (несмело). А вы?

Лайель (*не отвечая*). В таком случае возобновляю свой тост. За виновников сегодняшнего решения Дарвина!

Все пьют.

Дарвин. А Фрэнсису я особенно благодарен. Если и остальные шестнадцать моих детей будут так же полезны мне...

М-с Дарвин. Как шестнадцать?

Дарвин. А как же? Из семи детей у нас пять мальчиков, а я помню, отец говорил, что с одним мальчиком столько же хлопот, сколько с тремя девочками, значит, выходит, что у нас семнадцать детей...

Все смеются. Лицо Дарвина сияет счастьем и добротой.

Энни. Папа, сейчас ты очень похож на патриарха из маминой Библии... у них тоже было много детей, и они были такие же... (*Запнулась.*)

Дарвин. Какие, деточка?

Энни. Такие же лысые...

Дарвин смеется громче всех. Священник вытирает слезы, выступившие у него на глазах от смеха.

М-с Броди-Инес (*наклоняясь к м-с Дарвин*). Вы находите правильным позволять ребенку так говорить?

М-с Дарвин не отвечает сразу. Дарвин с другого конца трапезы приходит ей на помощь.

Дарвин. Вот видишь, Эмма, оказывается, ты вышла замуж за патриарха.

М-с Дарвин. Ну что ж, это, во всяком случае, лучше, чем оставаться старой девой.

Дарвин. Не скажи. Если бы не старые девы Англии, мы, может быть, не пили бы этот превосходный сидр из яблок, не ели бы это вкусное варенье из крыжовника.

Гукер. Почему?

Дарвин. Как? Вы, ботаник, директор Королевского ботанического сада, не знаете такой простой вещи? Разве старые девы не любят и не разводят кошек?

Гукер. Ну и что?

Дарвин. Разве кошки не ловят и не истребляют мышей?

Лайель (*заинтересованно*). Так.

Дарвин. Разве мыши не истребляют безжалостно массу шмелей?

Фрэнсис. Разве шмели не опыляют цветы яблонь, крыжовника и прочее? Так, папа?

Дарвин. Совершенно верно.

Все кричат: «Браво, Фрэнсис!» Гукер кричит громче всех. Энни шепчет что-то на ухо Дарвину.

Эмма, Энни просит зажечь на холме костер. Я думаю, это можно будет позволить нашим мальчикам?

Фрэнсис            Ура!  
Джордж    (*вместе*). Костер!

Убегают.

Дарвин (*вслед им*). На старом болоте есть валежник.

Джордж. Я знаю, папа.

Фрэнсис. Преподобный Броди-Инес, пойдемте с нами!

Броди-Инес нерешительно поднимается, но жена снова усаживает его.

Голоса Фрэнсиса и Джорджа (*из-за холма*). Преподобный Броди-Инес, мы ждем вас!

Броди-Инес решительно идет на зов.

Лайель. Гукер, нам пора по домам, темнеет.

Гукер. Темнеет... (*С сожалением смотрит на Дарвина.*)

Дарвин. Ужасно жаль, что вы уезжаете. Еще рано: не было вечерней почты.

М-с Дарвин. А почему вы не можете сегодня остаться у нас ночевать?

Лайель. Благодарю вас, миссис Дарвин, завтра нам с Гукером нужно быть на заседании Линнеевского общества.

Прощаются с хозяйкой и м-с Броди-Инес.

Дарвин. Пока запрягают шарабан, мы пройдем к дому. Я хочу вам кое-что передать.

Уходят.

М-с Дарвин и м-с Броди-Инес остаются одни. М-с Дарвин с опаской поглядывает на м-с Броди-Инес. Та очень спокойно помогает м-с Дарвин перемывать чашки.

М-с Дарвин. Не беспокойтесь, м-с Броди-Инес, я это сделаю одна.

М-с Броди-Инес. Для меня в этом нет никакого беспокойства, я привыкла каждую минуту моей жизни трудиться.

М-с Дарвин (*неосторожно*). В этом отношении вы напоминаете доктора Дарвина.

М-с Броди-Инес. О, надеюсь, что только в этом!

М-с Дарвин. Да... почему?

М-с Броди-Инес. Милая миссис Дарвин, вы знаете, как я люблю вас...

М-с Дарвин. Я очень ценю...

М-с Броди-Инес. Мне лучше, чем кому другому, известно, как вы несчастливы.

М-с Дарвин. Я?

М-с Броди-Инес. Мне очень, очень жаль вас... Из этого не следует, что я не должна вас упрекнуть. Вы совершили большую ошибку, выйдя замуж за мистера Дарвина. (*Поспешно.*) Я знаю, вы с детства приучили себя к мысли считать его своим будущим мужем...

М-с Дарвин. Миссис Броди-Инес, уверяю вас...

М-с Броди-Инес. Но не стоит тратить слов. Ошибка сделана, сделана в юности, и за нее вы станете расплачиваться всю жизнь.

М-с Дарвин. За что? Какая ошибка?

М-с Броди-Инес (*наклоняется к м-с Дарвин*). Вы вышли замуж за безбожника.

М-с Дарвин роняет из рук чайную чашку.

(*Искренне.*) Какая досада! Кажется, ваша любимая чашечка?

М-с Дарвин. Пустяки...

М-с Броди-Инес (*берет в руки осколок чашки, разглядывает*). «Веджвуд»... Какой прелестный фарфор изготавливает фирма вашего отца! Зачем вам было менять такую известную, уважаемую фамилию?

М-с Дарвин (*твердо*). Позвольте вам сказать, миссис Броди-Инес, я лучше, чем вы, знаю моего мужа...

М-с Броди-Инес с сомнением качает головой.

И что он для меня значит... и как его уважают...

М-с Броди-Инес. Пусть этому верит преподобный Броди-Инес. (*Поднимается с места.*) Всего доброго, милая миссис Дарвин. Боюсь, что последствия вашей ошибки окажутся для вас не под силу. Что-то моей душе

говорит, что ваш дом посетит еще не одно тяжкое горе.

М-с Дарвин. Очень жаль, если так.

М-с Броди-Инес. Очень жаль.

К ним подбегает Энни.

Энни. Мама, смотри, какой костер разожгли Джордж и Фрэнси!

На соседнем холме горит большой костер. Около него видны три фигуры, подбрасывающие валежник.

Им помогал преподобный Броди-Инес. (*К м-с Броди-Инес, желая сказать ей приятное.*) Я и не знала, мэм, что преподобный Броди-Инес умеет так хорошо разжигать костер...

М-с Броди-Инес (*гладит девочку по голове*). Это пустяки, милая. Вот если бы он смог растопить ледяное сердце отступника...

Энни (*вежливо*). Да, мэм. (*Любуется на костер.*) Мама, а теперь не сжигают грешников на кострах?

М-с Дарвин (*с неудовольствием*). Конечно, нет, Энни.

Энни. А Джордж мне сказал...

С холма спускается Броди-Инес.

М-с Броди-Инес. Давно пора домой. Или ты собираешься ночевать у костра?

Броди-Инес. Да я с удовольствием бы...

Фрэнсис. Преподобный Броди-Инес, останетесь ночевать у костра!

Джордж (*сбегает с холма*). Мама, позволь нам с преподобным Броди-Инесом ночевать у костра!..

Броди-Инес смеется. Звук колес шарабана. Веселый голос Дарвина.

Голос Дарвина (*за холмом*). Какой великолепный костер!

У подножия холма появляется Дарвин. М-с Броди-Инес говорит что-то Броди-Инесу, и они незаметно уходят. Уходят и м-с Дарвин с Энни. Мальчики возятся у подножия холма, разжигая другой костер, поменьше, затем опять бегут наверх. Дарвин разговаривает с сидящими в шарабане Лайелем и Гукером.

Дарвин (*в руках его записная книжка*). Вы знаете мои записи, я их давал вам когда-то читать. Это основа, и это не изменилось. Я только могу теперь подкрепить мои мысли фактами. Я знаю, что вы прочитаете и опять не согласитесь со мной, но по крайней мере посоветуете, как лучше мне изложить мои мысли,

Г о л о с Л а й е л я. Давайте, давайте...

Дарвин отдаёт записную книжку. Невидимый в темноте шарабан трогается. Дарвин провожает взглядом своих друзей. При свете костров его лицо кажется помолодевшим.

Г о л о с Г у к е р а. Спокойной ночи!

Д а р в и н. Боюсь, что сегодня я слишком счастлив, чтобы заснуть! (*Смотрит вслед шарабану, затем поворачивается к холму, на котором две маленькие фигурки все еще возятся у костра.*) Дети, а вам пора спать. Гасите костер!

Г о л о с а. Сейчас, папа! Последнюю ветку!

Дарвин стоит, прислушиваясь к удаляющимся звукам колес. Лицо его мирно, спокойно. По вечерней заре далеко слышно, как разговаривают вполголоса Лайель и Гукер, как к их голосам присоединился чей-то третий, густой бас, как шарабан остановился.

Г о л о с Г у к е р а. Дарвин, к вам нарочный с почтой.

Д а р в и н. Спасибо. Давайте его сюда, пока не совсем погас костер!

Шарабан отправляется дальше, а из темноты возникает человеческая фигура. Толстенький почтальон здоровается с Дарвином.

П о ч т а л ь о н. Здравствуйте, доктор Дарвин.

Д а р в и н. Здравствуйте, Томас. Что это вас прислали ночью?

П о ч т а л ь о н (*передает пакет*). Получили с вечерним поездом.

Д а р в и н (*неторопливо срывает сургучные печати и бросает в огонь*). Я бы потерпел до утра. Ну спасибо! А вы, как всегда, целый день на ногах? Садитесь, Томас. Садитесь у костра, тут росы нет.

П о ч т а л ь о н (*доверительным тоном*). Сидеть избегаю. Хочу похудеть. Но... хожу вот уже двадцать лет — и никаких результатов...

Д а р в и н. Письмо и рукопись от Уоллеса! О чем он мне пишет? (*Наскоро просматривает у костра письмо и берется за статью.*)

Почтальон псеворачивается к огню то спиной, то боком, то греет руки и похлопывает ими себя по толстому брюху, ворча на разные лады.

П о ч т а л ь о н. Нарочно по совету жены взял эту должность... Подумать надо: двадцать лет! Это же вся жизнь... Знал бы — лучше бы плевал в потолок...

Дарвин стоит к нам спиной, читая рукопись. Он сутулится больше и больше. Костер догорает, и ему все труднее разбирать написанное. Костер у подножия холма погас, и Дарвин с легким стоном поворачивается к Томасу. Его лицо освещено только верхним костром на холме. На лице резкие тени, глаза глубоко ввалились, это совсем другое лицо.

Дарвин. Что это? Здесь все мои мысли!.. Но это не может быть!.. *(Хочет опять читать, но темно. Порывается на холм — и там огня уже нет.)*

Мальчики льют на костер воду, шипят головешки, к небу вздымается густой дым. Ослабевшие ноги не держат Дарвина, он опускается у подножия холма, не выпуская из рук статьи.

Лайель был прав, меня опередили... Где Лайель? Да, он уехал...

Почтальон *(бормочет)*. Двадцать лет! Какая глупость...

За холмом собирают посуду, звенят тарелки. Из-за холма выходит м-с Дарвин. Увидев мужа, сидящего на земле, она бросается к нему.

М-с Дарвин. Чарлз, что с тобой? Тебе плохо?.. Ты, наверно, устал... Тебе надо скорее лечь, заснуть...

Пауза.

Дарвин все так же сидит без движения. М-с Дарвин, пригнувшись, всматривается в его лицо, белеющее в темноте.

Дарвин *(бесконечно усталым голосом)*. Нет, Эмма, пожалуй, сегодня я слишком несчастлив, чтобы заснуть.

## КАРТИНА ШЕСТАЯ

Сад. М-с Дарвин, Гукер, Броди-Инес медленно идут по большой аллее, приближаясь к теплице.

Броди-Инес. Вы бы легли, заснули.

М-с Дарвин. Эти слова я всю ночь повторяла Чарлзу.

Пауза.

Броди-Инес. Как он чувствует себя сейчас?

М-с Дарвин. Не знаю. Я послала к нему Энни,

Броди-Инес. Она не помешает ему?

М-с Дарвин. Нет, ведь Энни часто, когда он занимался, сидела в его кабинете. А сегодня он и не может



ничего делать. Вчера и сегодня он впервые в эти годы не выходил на прогулку.

Броди-Инес. А может быть, еще... (Смотрит в сторону дома.)

М-с Дарвин. Его час уже прошел.

Пауза.

Гукер. Дарвин не знает, что я приехал?

М-с Дарвин. Нет. Вчера он много раз вспоминал о вас. Конечно, вы получили его письмо?

Гукер. Да.

М-с Дарвин. Что он вам написал?

Гукер молчит.

Можете не отвечать. Чарлз тоже не хотел давать мне читать. Я прочла. Он пишет, что он совершенно убит и не может ничего делать, что все опоздало и ему почти все равно.

Гукер. Да, он отказывается от своего труда.

М-с Дарвин. Этого он не написал вам!

Гукер. Он написал Лайелю.

М-с Дарвин. Я не читала этого письма.

Гукер достает из кармана письмо, надел очки.

Гукер (читает). «Было бы бесчестным с моей стороны печатать свой труд. Я скорее зачеркну и забуду все свои мысли, чем дам повод Уоллесу или кому другому думать, что бесчестно поступил...»

М-с Дарвин. Но ему поверят больше, чем Уоллесу! Видите, Уоллес тоже прислал свою статью Чарлзу, считая его первым авторитетом...

Гукер (продолжает читать). «Молодой Уоллес верил мне, когда посылал мне свою статью, и я не могу обмануть его доверия».

М-с Дарвин. Какое страшное письмо!

Броди-Инес. Нет, почему? Доверие, вера — это слова настоящего христианина.

М-с Дарвин (резко). Да?

Броди-Инес с опаской кивает головой.

(Так же резко оборачивается к Гукеру.) Вы так же считаете?

Гукер (просто). Это слова благородного человека.

Молчанье.

М-с Дарвин. Может быть, я плохая христианка и неблагородная женщина... Или я просто — женщина... Но я не отказалась бы так легко от своего права...

Гукер делает легкое движение.

Если не знают друзья, то я знаю, чего оно стоило ему.

Броди-Инес (*примирительно*). Это тоже верно.

М-с Дарвин (*Гукеру*). Как вы намерены поступить со статьей Уоллеса? Я знаю, что Чарлз отправил ее Лайелю.

Гукер. Мне кажется, мы должны были ее опубликовать.

М-с Дарвин (*поражена*). Должны были?

Гукер. Да. Вчера мы ее огласили в Линнеевском обществе.

Пауза.

М-с Дарвин. Нельзя сказать, чтобы вы медлили...

Гукер. Мы не видели возможности иначе поступить. Об этом же просил и Дарвин в своей приписке. (*Смотрит на часы.*)

М-с Дарвин. Теперь уж он не придет, если вы его ждете.

Гукер. Тогда, пожалуй... (*Опять смотрит на часы.*)

М-с Дарвин. Ступайте к Чарлзу, пораруйте его.

Гукер уходит.

И это его лучший друг! Чарлз верил ему почти как богу.

Броди-Инес (*нерешительно*). Вы не пробовали говорить мистеру Дарвину о божьей помощи?

М-с Дарвин. Я советовала ему молиться.

Броди-Инес. Что он на это?

М-с Дарвин. Кажется, я говорила так тихо, что он не слышал меня...

Броди-Инес (*не знает, что сказать*). Это ничего... Это ничего...

М-с Дарвин (*тревожно смотрит в ту сторону, куда ушел Гукер*). Простите, я, пожалуй, пойду к Чарлзу.

Броди-Инес (*с облегчением*). Да, да, конечно, идите, миссис Дарвин...

Он с удовольствием осматривается вокруг и не сразу замечает, что м-с Дарвин не ушла, а опустилась на скамью возле оранжереи, где сидели садовник и м-р Аллен, и закрыла глаза рукой.

(Топчась вокруг нее.) Миссис Дарвин!.. Дорогая миссис Дарвин...

М-с Дарвин с усилием поднимается, делает несколько шагов по аллее и сразу же возвращается.

М-с Дарвин. Идет Чарлз!

Броди-Инес. Где? Я не вижу...

М-с Дарвин. Не надо, чтобы он нас видел... (Удерживает его за руку.)

Броди-Инес (суетится). Но где, где же он?

М-с Дарвин (отступая еще дальше, за теплицу). Он нашел в себе силы, и я не хочу оказаться слабее его...

Около них появляется Гукер.

Гукер. Видите? Дарвин!

Броди-Инес. Он идет сюда?

Гукер. Тише! Не надо мешать ему...

Все трое стоят за углом теплицы.

(Возбужденно.) Я плохо вижу... Вы хорошо видите его?

М-с Дарвин. Он идет по большой аллее...

Гукер. Он уже близко?

М-с Дарвин. Поравнялся со старым кедром. (Всматривается.) Ну конечно! (Смеется тихим счастливым смехом.)

Гукер. Что? Говорите!

М-с Дарвин. Жаль, вы этого не видите... С дерева прыгнули три маленькне белочки и карабкаются по его ногам вверх.

Броди-Инес. Неужели? Да, да, я вижу! Он гладит их. Гладит и дует на кончики хвостов... Усадил обратно на кедр...

Гукер. Идет он сюда?

М-с Дарвин. Он уже почти у самой голубятни.

Гукер. Я не помню, где голубятня.

М-с Дарвин. Совсем близко от нас... Но я его больше не вижу... Голуби окружили его таким густым облаком, что он совсем скрылся за ним.

Броди-Инес. Показался! Хлопнул в ладоши, и облако поднялось в воздух... А один голубь остался сидеть на его шляпе... Кажется, это дутьш с огромным зобом... Берет голубя... Что это? Ага! Выдернул из подкладки плаща нитку... измеряет толщину зоба... Отпустил голубя...

М-с Дарвин. Боже, я вижу его лицо! Это лицо прежнего Чарлза.

Броди-Инес. Да, да!

Гукер. Как я хорошо знаю его! Озабоченные наблюдениями, полное сосредоточенной мысли... Это тот Дарвин, которого мы все любим...

М-с Дарвин удивленно взглядывает на Гукера. Его лицо почти счастливо в этот момент. Неожиданно он выходит вперед.

М-с Дарвин. Что вы хотите сделать?

Гукер. Пусть он узнает, что вчера произошло...

М-с Дарвин. Зачем? Зачем?

Гукер. Я должен ему сказать... *(Идет к Дарвину.)*

Дарвин, увидев его, большими шагами идет навстречу.

Дарвин *(протягивая Гукеру обе руки)*. Дорогой друг, простите меня! Я написал мелочное письмо, продиктованное мелким чувством... Видите, как можно в себе ошибиться... Мне иногда представлялось, что меня могут опередить, но я воображал, что я обладаю достаточно возвышенной душой, чтобы не обратить на это внимания. Вот я и наказан за самомнение! Пойдемте, я вам прочту письмо к Уоллесу, в котором я уступаю ему первенство. *(Хочет повернуть к дому.)*

Гукер. Так вы не отправили еще это письмо?

Дарвин. Нет, я немного не дописал его. Я допишу сегодня. А сейчас я решил: пусть оригинальность моего труда, сколько ее есть, будет утрачена, но я буду трудиться дальше.

Лицо Гукера просияло. Он взглядывает на м-с Дарвин. На ее лице вызов Гукеру и гордость за мужа.

Правда, ведь для науки неважно, кто придумал теорию, важно при ее помощи объяснить все сущее на земле. Это и будет мой долг. Я чувствую, предстоит еще долгая борьба, чтобы всех убедить в том, в чем убедились я и Уоллес. Я не имею права выходить из этой борьбы с целыми боками...

Гукер. Позвольте и мне сказать вам. Вчера мы прочли в Линнеевском обществе очерк Уоллеса...

Дарвин удовлетворенно наклоняет голову, м-с Дарвин слушает с нетерпением.

И вашу записную книжку, которую вы нам передали в тот вечер, — правда, для иных целей...

М-с Дарвин изумлена. Дарвин растерян.

Ваше первенство в создании теории признано!

Дарвин (*вид его сосредоточен, почти суров*). Вы сделали это? А что скажет Уоллес?

Гукер. Отмечено также большое значение труда Уоллеса, пришедшего независимо от вас к тем же мыслям. Если он справедливый и честный человек, в чем у меня нет сомнения, он поблагодарит вас.

М-с Дарвин. Я благодарю вас.

Дарвин. Вы слишком добры ко мне. Пожалуй, даже чересчур...

Гукер. Здесь доброты нет, здесь только справедливость.

Дарвин (*помолчав*). А вам не кажется, что меня уж слишком оберегают? И вы, и Эмма... Уф, я чувствую себя иной раз точно в вате...

Гукер. В вате?

Дарвин. Ну да, в броне из ваты. Так что трудно пошевелиться, шагнуть вперед... Нет, я не хотел вас обидеть... Но ведь мне надо испытать все, чтобы быть сильным. Мне надо самому взять все препятствия.

Гукер (*угрюмо*). Чего другого, а препятствий у вас впереди достаточно. Почему вы не спросите, как приняли в Линнеевском обществе вашу теорию?

Дарвин. Бранили, наверно?

Гукер (*отрывисто*). Нет, молчали.

М-с Дарвин внимательно смотрит на мужа.

Выступил один мистер Гаутон и сказал: «Все, что ново в сообщенном нам, то неверно, а что верно, то не ново».

Дарвин (*добродушно смеется*). Неужели он мог так ловко выразиться? Но что с вами, Гукер? Вы прочитали неподготовленным слушателям несколько беспорядочных мыслей и хотите, чтобы это признали великим творением! Значит, надо скорей написать книгу, чтобы даже мистер Гаутон переменял свое мнение... (*Энергично*.) Завтра же сяду за книгу.

Гукер восторженно ударяет Броди-Инеса по плечу.

Гукер. Извините! (*Прощается*.)

Дарвин. Куда же вы?

Гукер. Вам надо отдохнуть после бессонной ночи... после всего...

Броди-Инес. Да, да, непременно. Идемте, мистер Гукер, я с вами.

Гукер (*Дарвину*). Теперь я долго не увижу вас у себя. Но по крайней мере я рад, что и я, и Уоллес, и Лайель, и даже Гаутон — все мы окажемся косвенными виновниками скорого выхода в свет вашей книги!

Дарвин. Передайте мою благодарность Лайелю. А он не выступал на заседании?

Гукер. Как, разве я не сказал вам? Конечно, он выступал, сразу после меня.

Дарвин (*с заметным волнением*). Неужели? Значит, я могу надеяться, что когда-нибудь он будет со мной... с нами? (*Вопросительно глядит на Гукера.*)

Гукер вместо ответа крепко пожимает ему руку. Броди-Инес уже впереди. Дарвин и м-с Дарвин долго смотрят вслед Гукеру.

М-с Дарвин (*с чувством*). Это твой настоящий друг.

Дарвин. И, кроме того, это первый человек, поверивший в мою теорию. Хотя я сам был всегда уверен в ее истинности, но втайне считал, что живой веры нет, пока ее не разделят другие.

М-с Дарвин. Живая вера... Какой различный смысл мы вкладываем в эти слова... Чарлз, сядем здесь!

Садятся.

Чарлз, никогда, слышишь, Чарлз, никогда больше я не заговорю с тобой об этом, но скажи, ты не станешь писать против нашей веры?.. В твоей книге тебе ведь не придется этого делать? (*Она с надеждой и страхом смотрит на мужа.*)

Дарвин молчит.

Я всегда желала успеха твоим трудам, я даже сказала сегодня, что я боролась бы за твою книгу... Конечно, я очень невежественна, но неужели ты думаешь, я совсем не догадываюсь, о чем в ней идет речь? Хотя ты мне ни разу не говорил...

Дарвин (*удивленно*). Неужели ни разу, Эмма?

М-с Дарвин. Ни разу за все эти двадцать лет.

Дарвин (*сокрушенно*). Да, да, это, кажется, так! Я часто советовался с Фрэнси и с Энни, но не с тобой... (*Виновато.*) Правда, я часто оказываюсь ужасной скотиной по отношению к тебе... И я даже не понимаю, как ты решилась выйти за меня замуж!

М-с Дарвин (*пытается шутить, но это всегда плохо ей удается*). Помнишь, ты предупредил меня письмом,

что все мужчины — животные, как сказала одна молодая дама?

Дарвин. Все люди — животные, она права.

М-с Дарвин. Мужчины, ты писал... *(Она улыбается, но видно, что тревога снова закрадывается в нее.)*

Дарвин. Нет, вообще все люди. Подумай, мы с тобой вспомнили такой вздор, но я понял, как важно все договорить до конца. Я непременно должен договорить...

М-с Дарвин *(упавшим голосом)*. Я плохо тебя понимаю... Ты, кажется, хочешь...

Дарвин. Я хочу сказать, что человек развился из существовавших за много лет до него животных.

М-с Дарвин. Ах, этого я и боялась! Чарлз, неужели ты так думаешь? Чарлз, ты, наверное, ошибешься?

Дарвин смотрит на ее испуганное лицо.

Дарвин *(торопливо)*. Да, да, возможно, что я ошибаюсь. Даже наверное ты права, я глупейшим образом ошибаюсь. Видишь, я не стыжусь тебе в этом признаться... *(Он даже пытается улыбнуться.)*

М-с Дарвин. Чарлз, ты самый прямой человек на свете... Скажи, и я успокоюсь. Ты действительно не думаешь этого? *(Она смотрит на него полными тревоги и надежды глазами.)*

Дарвин *(грустно смотря на нее)*. Нет, Эмма, я действительно так думаю.

М-с Дарвин тихо поднимается и уходит наклонив голову. Дарвин долго смотрит, как она идет по саду, и, не окликнув, остается сидеть, сосредоточенно думая. Появляется Эни. Она делает несколько шагов к отцу, но, видя его задумчивость, приостанавливается, затем убегает.

## КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Гостиная в доме Дарвина. По одну сторону камина стоит плетеное кресло самого Дарвина, с высокой спинкой, по другую — рабочий столик м-с Дарвин. Жардиньерки с цветами и легкая садовая мебель. Одна дверь — на веранду, другая — в комнаты. Кормилица впускает м-ра Аллена.

М-р Аллен. Может, мне лучше после зайти?

Кормилица. Когда же после? Другой раз, значит, надо приезжать?

М-р Аллен. А я тут переночую у садовника да завтра утром и загляну.

Кормилица. Все равно ведь ей не поправиться к завтраму. Бедная моя милочка! Входи уж, чего тут. Садись вот здесь в уголку. Может, выйдет к тебе доктор Дарвин.

М-р Аллен (*садится*). Давно она захворала?

Кормилица (*убирает комнату*). Месяца три, пожалуй. Доктор Дарвин весь извелся, целые ночи возле нее просиживает. Это с его-то здоровьем! Так в его кабинете она и лежит, бедняжка. На том самом диване, где она тихо, как мышка, сидела, когда он занимался... Ведь уж сейчас больна, без сознания, а дашь водички попить — обязательно спасибо скажет. Ну в точности доктор Дарвин! Веришь ли, она и младенцем такая вежливая была. Бывало, покормишь грудью, чмокнет последний раз, взглянет ясными глазками и головенкой легонько вот так: мерси, мол, благодарю вас!

М-р Аллен. Еще бы не жалко такого ребенка! У меня взрослый сын, на чужбине давно живет, а все сердце за него болит. Сперва, признаться, страшился, не случилось бы с ним греха. Не съели бы его невзначай, или не одичал бы он в жарком климате... (*Договаривает шепотом.*)

Кормилица. Чего, чего, я не слышу?..

М-р Аллен (*стеснительно*). В обезьяну, говорю, не обратился бы...

Кормилица. Господи помилуй! Неужто к тому дело шло?

М-р Аллен. Обошлось. Теперь сам дикарей в людей обращает. Миссионером стал мой Чарли. И меня, старика, не забывает, опять письмо прислал. Доктор Дарвин, спасибо ему, всегда прочитывает мне вслух. Сегодня я только не ко времени пришел... (*Смотрит на часы.*)

Кормилица. Подожди, говорю, он в этот час почту выходит читать. А провались она!

М-р Аллен. Ты про что?

Кормилица. Мало одной беды в доме, так еще по почте прибавляют. Я этого Томаса толстого видеть не могу! Каждый день нашему доктору обидные письма носит.

М-р Аллен. От кого же это?

Кормилица. А пес их знает! Бывает, и совсем незнакомые бранятся. Да ведь как, чуть самим чертом не называют...



М-р Аллен. Не может быть!

Кормилица. Антихрист, говорят, ты этакый! Умортишь тебя мало!

М-р Аллен. Ах ты боже мой! Да за что же это? (Поражен.) И такого хорошего человека!

Кормилица. Да еще в тяжелое для нас время.

М-р Аллен. Совести надо не иметь... Вы письма-то эти ему не показывали бы...

Кормилица. Да ведь как узнаешь?..

За стеклом двери на веранде показывается толстое лицо почтальона, добродушно улыбающегося кормилице.

Ну так и есть! (Отпирает дверь, берет от него пачку писем.) Зачем ты ходишь, скажи на милость! Посиди ты хоть один день дома!

Почтальон. Сидеть избегаю. Хочу похудеть...

Кормилица (перебирает письма). Ну как ты в них влезешь?

М-р Аллен (решительно). Дай-ка их мне. Возьму на себя вину...

Кормилица. Бог с тобой, как можно!

Почтальон. Это еще что за шутник! Давай, я сам отдам доктору.

Кормилица. Ш-ш-ш! Идет... (Поспешно кладет письма на маленький столик.)

Почтальон исчезает. М-р Аллен скромно становится поближе к двери. Из другой двери выходит Дарвин.

Дарвин. Здравствуйте, мистер Аллен!

М-р Аллен. Здравствуйте, доктор Дарвин! Я, пожалуй, пойду...

Дарвин. Садитесь, мистер Аллен, и я с вами посижу. (Садится.) Как ваше здоровье?

М-р Аллен. Я-то здоров...

Дарвин. А кто-нибудь болен в семье?

М-р Аллен. Да... нет... все здоровы...

Кормилица сердито грозит ему щеткой.

Дарвин. Это хорошо, мистер Аллен. А у нас вот Энни больна. Вы ее помните?

М-р Аллен. Как же, славная девочка... Бог даст, поправится...

Дарвин. Хочется думать так, мистер Аллен. (Помолчав). Ваш сын по-прежнему на островах?

М-р Аллен (оживившись). Вот... прислал письмо.

(*Вытащил наполовину письмо.*) Да я уж не смею вас беспокоить...

Дарвин. Отчего же? Давайте я прочитаю вам. (*Берет письмо.*) Нынче он, я вижу, не на Тернате, а на Борнео.

М-р Аллен (*усаживаясь поудобнее*). Послушаем, что пишет мне Чарли с Борнео.

Дарвин (*читает*). «Дорогой отец! Только что я вернулся из далекого путешествия и спешу сообщить тебе, что я жив и здоров. Правда, пришлось мне немало претерпеть лишений и трудностей, но зато я узнал на опыте, что сил и энергии у меня много, и они превозмогут любые препятствия...»

М-р Аллен. Так, хорошо, Чарли!

Дарвин (*читает*). «Посетив другие острова архипелага, я поговорил с тамошними миссионерами. Очень рад, что поговорил с образованными людьми, чувствую, что стал еще бодрее и даже как будто лучше и чище сердцем...»

М-р Аллен. Точь-в-точь как я, когда побываю у вас, доктор Дарвин...

Дарвин (*читает*). «Но в то же время не могу скрыть, дорогой отец, что мое сердце при этих встречах не раз обливалось горечью за тебя...»

М-р Аллен. Вот тебе раз! А что такое со мной стряслось?

Дарвин (*читает*). «Я вспомнил, как я читал в твоих письмах о том, что ты бываешь в доме доктора Чарльза Дарвина...»

М-р Аллен. Правильно! Горжусь этим!

Дарвин (*читает*). «После того, что я узнал от одного недавно прибывшего из Европы духовного лица о докторе Чарльзе Дарвине и его ужасной книге, сознание того, что ты общаешься с ним, невыразимо терзает мне душу...»

М-р Аллен остолбенело смотрит на Дарвина.

Как ты помнишь, я покинул мистера Уоллеса из-за его вольнодумных речей. А взгляды доктора Дарвина еще более отвратительны, как сказал мне мой просвещенный друг. Дарвин — это антихрист нашего времени, исчадие сатаны...»

М-р Аллен (*потрясенный*). Боже мой!

Дарвин (*читает*). «Настоятельно и покорно прошу тебя, дорогой отец, забыть дорогу к этому богохульцу,

очиститься от скверны и успокоить сердце любящего и преданного твоего сына Чарлза Аллена».

М-р Аллен долго не может прийти в себя. Дарвин молча вкладывает письмо в конверт и отдает ему.

М-р Аллен. И это написал мой Чарли! У него хватило духу!

Дарвин (*допрагивается до его плеча*). Право, не стоит так огорчаться, мистер Аллен.

М-р Аллен. Оскорбить вас... такими словами!

Дарвин. Не скрою, мистер Аллен, тяжело быть ненавидимым так, как ненавидят меня. (*Кормилице, которая не спускает глаз с мистера Аллена.*) Сегодняшнюю почту уже принесли, миссис Бреди?

Кормилица. Нет... да... доктор Дарвин.

М-р Аллен. До свидания, доктор Дарвин.

Дарвин. До свидания, мистер Аллен... (*Берет и просматривает почту.*)

М-р Аллен (*взволнованно*). Доктор Дарвин... А, да что тут! (*Машет рукой, уходя.*)

Кормилица провожает его. В комнату торопливо входит Броди-Инес.

Броди-Инес. Как удачно. Нет, как удачно это вышло, что я застал вас дома! Я только что из Лондона, пробыл там три месяца, гостил у сестры. Вы знаете, чему я был свидетелем?

Дарвин. Нет.

Броди-Инес. В первый же день я пошел в книжную лавку. Хотел купить каталог огородных семян на этот год. Вхожу в лавку, вижу — толпа. Думаю, что такое? Едва пробился к прилавку. «Будьте добры, говорю, дайте мне...» Не успел сказать, как мне отвечают: «Вы опоздали, сейчас продан последний экземпляр». — «Как, неужели у вас нет ни одного экземпляра каталога огородных семян?» — «Ах, говорят, извините, мы думали, вам тоже книгу Чарлза Дарвина». Слышите? (*Торжествующе.*) «Как, Чарлза Дарвина? Так это на нее такой большой спрос?» — «Да, она распродана в один день». Ах, вот что! Ну, тут я не утерпел, сообщил, что мы с вами соседи, и как я всегда говорил миссис Дарвин, что ваш труд не останется без награды... Нет, но какой успех! Конечно, вы станете сейчас же готовить для печати второе издание?

Дарвин (*несколько ошеломлен словоизлиянием*

Броди-Инеса). Не знаю. Вряд ли это скоро понадобится...

Броди-Инес. Как! Я вам говорю, первое распродано у меня на глазах. Да вы просто обязаны выпустить второе, вы знаете, кому не хватило экземпляра вашей книги?

Дарвин. Вам?

Броди-Инес (*выдержав паузу*). Епископу Оксфордскому!

Дарвин (*удивленно*). В самом деле?

Броди-Инес. Я видел это собственными глазами.

Дарвин. Странно. Зачем епископу Оксфордскому понадобилась моя книга?

Броди-Инес. Это вас удивляет? А меня несколько. Вы слишком скромны, мистер Дарвин.

Дарвин. Нет, но епископ...

Броди-Инес. Епископ был страшно огорчен, что книги не оказалось. Он, мне кажется, даже немного обиделся, что ваша книга была оставлена профессору Гексли, а не ему. По крайней мере, он так строго посмотрел на профессора Гексли. Ведь профессор Гексли намного моложе епископа Уилберфорса. Да, дорогой мистер Дарвин, вы уже снискали себе добрую славу и всеобщее уважение!

Дарвин. Рад, если это действительно так. Извините, я вас на минуту оставляю. Энни не очень здорова...

Броди-Инес. Что вы говорите? Моя любимица захворала? Нет, я пройду вместе с вами, если позволите...

Уходят во внутренние комнаты. С веранды в гостиную входят Лайель и Гукер.

Гукер. Я бы сравнил впечатление лишь с первым знакомством с химией. Попадаешь в новый мир, или, вернее, за кулисы мира! Теперь любой мой очерк покажется рядом с книгой Дарвина точно рваный носовой платок подле королевского знамени...

Лайель. А вы еще молоды, Гукер. Вы можете так увлекаться.

Гукер. А вы, Лайель?

Лайель. Нет, я уж так не могу.

Гукер. Вы клеветеете на себя. Я уверен, что вы увлечетесь книгой Дарвина.

Лайель. Книгой Дарвина...

Гукер. Вы же еще не читали ее?

Лайель (*сдержанно*). Я прочел.

Гукер (*с гордостью*). Что вы скажете?

Лайель. В мои годы уже не переучиваются.

Гукер (*испуганно*). Обещайте, что вы не скажете этого Дарвину...

Лайель (*пожимая плечами*). Дарвин самый прямой человек из всех, кого я знаю. И с ним надо говорить так же прямо...

Гукер. Это его вечное несчастье! Да вы знаете, какое влияние оказала когда-то на Дарвина ваша книга?

Лайель (*неохотно*). Он говорил мне.

Гукер. Вы были главным революционером в геологии, как теперь Дарвин в естествознании.

Лайель молчит.

И не всегда для этого нужна молодость.

Лайель молчит.

Я очень хорошо знаю, что никого бы так не хотел Дарвин обратить в свою веру, как именно вас...

Лайель (*холодно*). При всем моем хорошем отношении к Дарвину, я не могу доставить ему радость единоверца. Разве что путем «естественного отбора» во мне произойдут небывалые изменения!..

Гукер с опаской поглядывает на дверь кабинета.

(*Не то грустно, не то насмешливо.*) Но боюсь, что для этого уже не хватит остатка моей жизни.

Гукер (*беспокойно*). Очень жаль, но сегодня вам лучше бы не встречаться с Дарвином. Я люблю вас обоих, но я хотел бы...

Лайель. Вы хотите прогнать меня из чужого дома?

Гукер. Пусть это вас не обидит, это было бы к лучшему...

Пожилый, почтенный Лайель, пожимая плечами, уходит. Его на пороге застает возглас Д а р в и н а, вошедшего из другой двери.

Дарвин. Я живу, вам надоело меня ждать? Пожалуйста, не уходите, дорогой Лайель.

Лайель (*возвращаясь*). Хорошо, я останусь. (*Сразу объявляет.*) Я прочитал вашу книгу. Вы писали ее двадцать лет. Дадите ли вы мне гораздо меньший, но все-таки порядочный, срок для того... вы сами знаете, для чего. Я скажу больше. (*Обычно насмешливые, его глаза слишком часто моргают, видимо он собирается*

сказать что-то важное для него самого.) Вы можете справедливо считать меня сухим эгоистом, но таковы все старые ученые, и вы должны понять, каково после сорока лет пути в одном направлении вдруг повернуть кругом марш! Зачеркнуть половину привычных истин и обрести новые... Потерпите же еще немного... (*Ирония возвращается к Лайелю.*) Благо вы умеете это делать лучше, чем кто-либо другой.

Дарвин. Хорошо, я подожду.

Лайель (*воинственно*). Вы не должны ожидать, что я когда-либо соглашусь с вами по всем пунктам.

Дарвин. А я и не думал, бросая монету, двадцать раз подряд получать ее вверх лицом.

Лайель. Вообще я советую вам не думать, что новое всегда побеждает старое.

Дарвин (*спокойно*). Всегда.

Лайель. Нет, не всегда. А если и побеждает, то часто не увлекая с собой, а просто ломая. (*Он с ожесточением ломает карандаш.*) Что в этом приятного для меня?

Дарвин. Я стану надеяться на лучший исход. И для меня, и для вас.

Лайель. Я тоже. У меня вышло девять изданий моих «Основ геологии». Так что же, прикажете из-за одного издания вашей книги выбросить свои девять!

Дарвин. Зачем же? Можно выпустить десятое, переработанное издание.

Лайель (*задыхаясь*). Ах, вот что? Ну, до этого исполнится десять раз мое предсказание: на вас ополчатся священники!

Броди-Инес (*входя*). Священники?

Лайель (*Дарвину*). Вы знаете, что в пятницу состоится диспут в Оксфорде по поводу вашей книги? Епископ Уилберфорс намерен учинить вам форменный разгром.

Броди-Инес. Что вы говорите? Этого не может быть! Епископ Уилберфорс...

Лайель (*Дарвину*). Вам известны, вероятно, ораторские таланты епископа Уилберфорса?

Дарвин. Я слышал о нем как о выдающемся проповеднике.

Лайель. Хотите попробовать с ним поспорить?

Дарвин. Зачем? Все, что я хотел сказать, я сказал в книге. А спорить... Я в жизни своей никогда не спорил. Для меня легче поднять себя за уши!

Лайель. Очень хорошо! А что вы только что дела-

ли? Вы даже постарались, чтобы за вами осталось последнее слово.

Гукер (*очень доволен*). Конечно, Дарвин вас переспорил. Он переспорит всех, и знаете как? Своим свирепым желанием добиться истины. За этой дамой всегда остается последнее слово.

Лайель. В таком случае я возьму на себя роль глашатая этой честной дамы. (*Дарвину.*) Вы никогда не дождетесь, чтобы я изменил хоть одну строчку в моих «Основах геологии». Это такая же истина, как то, что земля не будет создана заново. Прощайте! Это мое последнее слово. (*Уходит.*)

Броди-Инес (*бормочет*). Пожалуй, я тоже лучше пойду. (*Уходит.*)

Дарвин тяжело сидит в кресле.

Гукер. Дорогой друг, я так много хотел бы сказать вам...

Дарвин. Спасибо, Гукер. (*После паузы.*) Скажите, у вас нет ощущения, что я вызвал духа из бутылки и тут-то мне и конец.

Гукер. Если бы мы могли заслонить вас!

Дарвин. Нет, нет, только не это. Главное, это выдержать самому. На днях меня посетил мой старый учитель Седжвик.

Гукер. Он был у вас?

Дарвин. Да. Он отказался сесть и произнес огромную обвинительную речь, оставаясь на ногах. Это очень крепкий английский старик. Ведь он лет на тридцать меня старше. Вот он и пришел, чтобы взять обратно свои слова, сказанные им почти тридцать лет назад. Он тогда предвешал, что я буду крупным ученым. А теперь он сказал, что я скатился к безумию. Он сказал, что может назвать себя моим бывшим другом и учителем, а ныне он всего только «потомок обезьяны». С этими словами он хотел торжественно удалиться, но не выдержал, вернулся с порога, чуть не плача обнял меня и быстро ушел. На меня, сказать правду, это произвело большое впечатление. А на другой день он напечатал клеветническую статью...

Гукер. Это странно. Седжвик ведь очеь добрый и искренний человек.

Дарвин. Я это хорошо знаю. (*Грустно.*) Значит, человек может жечь другого и иметь такое славное и доб-

рое сердце, как у Седжвика. Он сам, правда, не стал бы жечь меня, но принес бы хворосту к костру и указал черным бестиям, как меня поймать. Это подлая манера. Извините, должно быть я ожесточен и несправедлив.

Гукер. Несправедлив!

Дарвин. Мне не надо обращать внимания. Мне так много надо еще успеть сделать. А когда будет этот диспут в Оксфорде?

Гукер. В следующую пятницу. Вы не поедете?

Дарвин. Я бы не поехал, если бы даже хотел. Больна Энни.

Гукер. Больна ваша девочка? Что с ней?

Дарвин. Она очень, очень слаба.

Гукер. Бедная Энни! Всегда такая веселая... Ради бога, дорогой друг... *(Поспешно встает.)* Я бы счел преступлением задержать вас хотя бы на одну минуту...

Дарвин. Да, я пойду. Энни просит, чтобы я работал около нее, как в то время, когда она была здорова... Вы помните, для нее всегда было счастьем сделать что-нибудь приятное нам. Я вижу ее личико таким, когда она бежала по лестнице с горсточкой нюхательного табаку для меня... А как мило она со мной заигрывала! Она никогда не была покойна, если не дотрагивалась, болтая со мной, до моего плеча, волос. И сейчас, когда я сижу возле нее, она гладит мне руку...

Гукер. Энни поправится. Энни должна поправиться...

Входят Броди-Инес с женой и м-с Дарвин.

М-с Дарвин. Чарлз, Энни просит тебя прийти.

Дарвин идет к двери.

М-с Броди-Инес *(преграждая ему дорогу)*. Доктор Дарвин, неужели вы думаете, что там Энни будет не с ангелами, а с обезьянами?

Лицо Дарвина выражает боль и гнев.

Броди-Инес *(жене)*. Что ты говоришь? Что ты говоришь?

М-с Броди-Инес. Я говорила вам, миссис Дарвин, что этот дом посетит еще не одно тяжкое горе.

Пауза.

Дарвин. Эмма, так я пойду поработаю около Энни.

Пауза.



## КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Библиотека музея в Оксфорде. Черные резные стены, высокие уходящие во мрак шкафы, готические узкие окна.

Разнообразная публика толпится у двери в следующий зал. Студенты, нарядные дамы с кружевными зонтиками, щеголи, пожилые джентльмены и квакеры. Мелькнула и скрылась физиономия Броди-Инеса. Все стараются протиснуться в зал, но это уже невозможно.

Голоса:

— Тише, тише!

— Пропустите!

— Не знаете, кто говорит?

— И это называется собранием британской ассоциации?

— А как называется лекция?

— Это вовсе не лекция. Чтение записки доктора Дрепера об умственном развитии Европы в связи со взглядами мистера Дарвина.

— Разве Европа стала развиваться только с этого времени?

— А доктор Дрепер уже говорил?

— Доктор Дрепер в Нью-Йорке. Читают его записку.

— Скажите, а Дарвин?..

— Захотели, он и носа не высовывает из своего Дауна.

— Недаром его зовут «Даунский отшельник».

— Даунский мошенник, вот он кто. Человек, видите ли, все равно что шимпанзе... .

— А правда, будто он утверждает, что моя голова была прежде кочаном капусты?

— Ну, так оно и есть, несомненно.

— Слушайте, слушайте, епископ взял слово!

— Епископ давно уже говорит.

— Кто, епископ?

Молодая дама развивает такую энергию, что ей удается прорваться в зал. С ней вместе втискиваются все остальные, в том числе Броди-Инес с супругой. Дверь закрылась. Некоторое время комната пуста. Затем появляется еще один запоздавший: это книгоиздатель Муррей. Навстречу ему с трудом выбирается из зала Гукер с взъерошенными волосами и валится в кресло.

Муррей. Это вы, доктор Гукер? Я непростительно опоздал.

Гукер. Вы опоздали! Все опоздало, вот что главное, черт возьми!

Муррей. Что случилось?

Гукер. Епископ Уилберфорс произнес речь.

Муррей. Уже произнес? Какая досада, меня задержали в типографии. . . А кто говорит сейчас?

Гукер. Он, он, все еще он.

Муррей. О, в таком случае. . . *(Идет к двери.)*

Гукер. Попробуйте войти. . . Зал набит ошалевшими людьми, как Ковентгарденский рынок. А вы непременно хотите послушать?

Муррей. Собственно, я пришел отчасти для этого. . . но если. . .

Гукер *(пожав плечами)*. Откройте дверь. Бог не обидел его голосовыми связками.

Муррей открывает дверь. Слышны аплодисменты и восхищенные возгласы. Затем в тишине говорят епископ.

Голос епископа. В самом деле, спросим себя, какие доказательства в пользу идеи достопочтенного мистера Дарвина могут представить ее уважаемые сторонники. Кто и когда мог увидеть какие-либо, хотя бы самые незначительные изменения в развитии тех существ, которые нас окружают с детства, сопутствовали жизни наших отцов и дедов и прошли через всю историю рода человеческого на земле? Ослица, на которой ехал сын божий в Иерусалим, невинный агнец, приносимый в жертву Авраамом, тонкорунные овцы, о которых повествует Гомер, пчелы, медом коих питался Иосиф, и тысячи других существ безмолвно свидетельствуют нам о том, что они все те же и пребудут вовеки. . .

Гукер *(вскакивает и закрывает дверь)*. С меня хватит! Это не речь, а какая-то липкая паутина. . . Вы видели публику? Дамы вытирают глаза кружевными платочками, а потом машут ими, чтобы просушить. . . Вам это нравится?

Муррей. Почему бы мне это могло нравиться? Я как раз набираю сейчас второе издание книги доктора Дарвина.

Гукер. Бегите и рассыпьте набор! Вместо Дарвина издайте епископа Уилберфорса.

Муррей *(с достоинством)*. Доктор Гукер, кажется, вся моя прошлая деятельность. . .

Гукер. Извините. Я чертовски расстроен. Садитесь, попробуем спокойно обсудить положение. *(Закуривает трубку.)*

Муррей *(осторожно)*. Значит, епископ совершенно

отрицает положительное значение труда доктора Дарвина?

Гукер. Бессовестно отрицает. Он пользуется невежеством слушателей, болтает сентиментальные пустяки, и это действует безотказно. Понимаете, не за что зацепиться в этой масляной речи. Публика абсолютно не склонна выслушивать научные доказательства. Я видел, как озирался вокруг молодой Гексли. Талантливый человек, пишет блестящие статьи, но тут он был в полном унынии. А потом английская и американская печать будет кричать о бессилии дарвинистов, о победе епископа Оксфордского...

Муррей. Все-таки вы напрасно ушли, вам бы следовало выступить.

Гукер. Нет, нет! Все кончено! Хорошо одно — Дарвина нет на диспуте.

Муррей. А его нет? Почему?

Гукер. У Дарвина несчастье в семье, умерла его дочь.

Муррей. Бедный доктор Дарвин, мне его искренне жалько. Скажите, а здесь присутствует мистер Лайель?

Гукер. Да, он здесь.

Муррей. Мне его обязательно нужно видеть. Почему-то он до сих пор не возвращает корректуру «Основ геологии», десятого издания. А он не собирается выступить?

Гукер. Ну нет, для этого он слишком презирает аудиторию. К тому же он, как бы сказать вам...

Муррей (*жадно*). Да, что же?..

Гукер (*неохотно*). Ведь наш старый друг стал необычайно консервативен. Ну да, он еще не совсем согласен с теорией развития. Вернее, совсем не согласен. Раньше он об этом не думал, а тут вбил себе в голову, что если он с ней согласится, ему придется проститься со своей собственной книгой. Хотя, в сущности, требуются лишь небольшие поправки...

Муррей. Зачем, зачем такая вражда? И почему, спрашивается, я-то должен страдать? Я получил десятки угрожающих писем, меня предупреждают: если я буду продолжать издавать Дарвина, моей книготорговле объявят бойкот. А теперь еще позиция мистера Лайеля... Ведь это мировая величина. И если он против доктора Дарвина...

Гукер. А доктор Дарвин не мировая величина?

Муррей. Верно. Но мистер Лайель старше, он об-  
щепризнан.

Гукер. А если две мировые величины издаются  
вами, то что это значит? Это значит, что вы мировой из-  
датель, дорогой Муррей!

Муррей. Признаюсь, эта мысль мне не приходила  
в голову... Доктор Гукер, почему бы вам все-таки не  
выступить? Это бы даже имело значение для нашего  
книгоиздательства. Ведь вы наш автор.

Гукер. Автор, но не оратор. У меня, дорогой Мур-  
рей, несчастное свойство: я могу делиться мыслями вслух  
лишь с неодушевленными предметами.

Муррей (*с негодованием*). Как?!

В зале шум, стучат ногами, палками, слышен женский визг.

(*Забыв про обиду.*) Что это? Это, кажется, уже...

Гукер. Успех, успех! Психопатки готовы в своем  
восторге разнести стены Оксфорда! Разорвать на память  
платье епископа!

Муррей. Гм. Это становится интересно. (*Направ-  
ляется к двери.*)

Гукер. Не забудьте взять и себе лоскуток мантии!

Муррей (*открыл дверь*). Но на кафедре уже кто-то  
другой, в сюртуке.

Шум внезапно стихает. Слышен спокойный и твердый голос.

Голос Гексли. Я стою здесь в интересах науки и  
не выслушал ничего такого, что бы могло повредить моей  
августейшей клиентке.

Крики: «Неправда!», «Епископ прав!»

Гукер. Говорит Гексли! (*Бросается к двери.*)

Голос Гексли. Я поражен, с каким малым знани-  
ем предмета епископ явился на этот диспут. Я знал, что  
его преподобие епископа Оксфордского готовил профес-  
сор Оуэн, не решившийся сам явиться и открыто высту-  
пить.

Голоса. А Дарвин? Дарвин посмел здесь пока-  
заться?

Голос Гексли. Все так называемые аргументы  
епископа Уилберфорса — декламация и риторика. Это  
вполне естественно: выступления иного характера, в  
сущности, и трудно было ожидать...

Голоса. Какая дерзость! Тише! Слушайте!

Голос Гексли. Главная мысль епископа, варьировавшаяся на разные лады, была следующая. Идея развития вытесняет творца — значит, идея эта порочна. Допустим, что это так. Но ведь вы, ваше преподобие, утверждаете, что творец создал нас, и, однако, вы знаете, что первоначально, вскоре после зачатия, вы были веществом не больше кончика этого карандаша.

Смех.

Как же вы можете отрицать развитие? Оно налицо перед всеми нами. . .

Смех, крики, стучат ногами.

Голоса. Про капусту скажите! Про макаку! Тише!

Голос Гексли. Вероятно, я бы не стал выступать, если бы в заключение вы не обратились ко мне лично. Вы сказали: «Я хотел бы спросить у молодого профессора Гексли, который сидит напротив меня и готовится меня растерзать на куски, когда я спущусь вниз, я хотел бы спросить у него — родственник ли он обезьяны со стороны бабушки или дедушки?»

Шум, смех.

Голос. Ловко его отбрил епископ!

Голос Гексли. Я на это отвечаю полной откровенностью. Я не стыдился бы такого родства в далеком историческом прошлом. Я скорее стыдился бы иметь своим предком человека, который, не довольствуясь сомнительным успехом в собственной сфере деятельности, пускается в научные вопросы с целью затемнить их бессмысленной риторикой и отвлечь внимание слушателей искусственным обращением к религиозным предрассудкам.

Шум. Крики: «Долой!», «Прочь!», «Слушайте!»

Гукер (*тряся Муррея за плечи*). Взгляните на лицо епископа. Он точно сохся от злобы. . .

Голос Гексли. Я бы стыдился быть не только потомком, но и современником человека, обратившего дары культуры и красноречия на службу предубеждениям и неправде.

Страшный шум. Крики: «Позор!», «Вон!», «Профессор Гексли прав!», «Оскорбили епископа!», «Он сам оскорбил!», «Правильно!», «Какой ужас!». Крики в дверях: «Пропустите, леди дурно!» Вытаскивают даму в обмороке и уносят ее в соседнюю комнату. Гукер и Муррей протеснились в зал. Звонок. Шум на минуту стихает.

Голос председателя. Леди и джентльмены, диспут окончен.

Шум расходящейся толпы. Из зала в библиотеку выходят Гукер, Лайель, Муррей и Гексли. Последний в центре внимания. Это сравнительно молодой, худощавый человек с быстрыми и точными движениями и насмешливым, подвижным лицом. Он вытирает платком лоб. Все, особенно Гукер, оживлены. Впрочем, Лайель держится в стороне.

Гукер. Мы с Мурреем все это слушали, стоя на цыпочках у дверей. Конечно, мы многое пропустили.

Гексли. Ну, вначале он говорил таким мягким голосом и так округляя свои периоды, что даже 'я — а я сперва осуждал председателя, зачем он разрешил ненаучные прения, — скоро простил добряка Генсло от всей души. Зато когда епископ не удержался и сделал выпад против меня, я так обрадовался, что шепнул своему соседу: «Господь предал его в мои руки!» Сосед поглядел на меня такими глазами, точно я потерял рассудок...

Из зала выбегает Броди-Инес.

Броди-Инес. Мистер Гукер, вы не видели моей жены?

Гукер (*обращается к Гексли*). Но вы разделили его с полным хладнокровием.

Гексли. А как же иначе было поступить?

Броди-Инес. Я потерял ее в толпе. Я боюсь, ее затоптали...

Через библиотеку проходят двое, пронесшие раньше даму.

Один. Пожалуй, ты уж слишком щедро полил ее водой.

Другой. Ничего. В другой раз не будет посещать диспуты.

Уходят.

Броди-Инес. Это Сузи! Она там! (*Бежит в соседнюю комнату.*)

Там вскрикивает женщина. Броди-Инес пятится обратно.

Ах, простите, сударыня, я думал, вы моя жена!.. (*К Гексли и к остальным.*) Какой день! Какой день!

Гексли. Потерялась ваша жена?

Броди-Инес. Это ничего. Я изумляюсь вашему выступлению, мистер Гексли!

Гексли. Вам понравилось!..

Броди-Инес. Не то слово. Я восхищен. Какой сарказм, какая ясная логика, какое сознание своей правоты! (*Понизив голос.*) Но вы же, могу сказать, публично высекли епископа. Правда, его грубый выпад против вашего дедушки заслуживал наказания...

Гукер. Преподобный Броди-Инес, оглянитесь назад!

В дверях зала стоит епископ Оксфордский. Не удостоив взглядом Броди-Инеса и холодно поклонившись Гексли, он проходит через комнату и выходит в противоположную дверь.

Лайель. Не придется ли вам, преподобный Броди-Инес, проститься со своей епархией?

Броди-Инес (*смущен и обескуражен*). Надеюсь, епископ не будет столь мелочен. Я, право, не хотел...

Гексли (*Гукеру*). А что вы скажете, если через год епископ примирится с учением Чарлза Дарвина?

Гукер. Этого не может быть!

Гексли. Вы плохо знаете дипломатов в рясе. Если учение Дарвина будет повсеместно побеждать, в чем я не сомневаюсь...

Броди-Инес. А знаете, я в этом тоже не сомневаюсь. Как раз я всегда говорил миссис Дарвин, да и самому Дарвину, и даже моей жене... К сожалению, моя жена иногда бывает удивительно нетерпима...

Гукер. Преподобный Броди-Инес, оглянитесь назад! На пороге стоит м-с Броди-Инес. Она подходит к мужу и молча уводит его. После их ухода все смеются.

Гексли. Бедный преподобный Броди-Инес!

Гукер. Он симпатичный, добрый человек. Он одержим мыслью всех примирить и со всеми согласиться. Прямая противоположность некоторым, не признающим даже очевидности. (*Бросаёт косвенный взгляд на Лайеля.*)

Муррей. Мистер Лайель, можно вас на два слова? (*Отводит его в сторону.*) Мистер Лайель, вы не забыли, что дома у вас лежит корректура вашей книги?

Лайель. Она лежит передо мной на столе.

Муррей. Когда за ней можно прислать?

Лайель. Подождите немного.

Муррей. Вы понимаете, задержка, естественно, удорожает стоимость набора.

Лайель. Поставьте ее на мой счет.

Гукер (*к Гексли*). Вы извините, дорогой Гексли, что я несколько сосредоточен. Я все еще нахожусь под впечатлением вашей речи. Мне хочется как можно точ-

нее изложить ее Дарвину. Он будет вам очень признателен. В ряды его защитников вступил такой смелый воин!

Гексли (*мягко*). Боюсь, что мы не совсем понимаем друг друга. По-вашему, я выступил, только желая защитить несправедливо обвиненного Дарвина? Да учение Дарвина совсем не нуждается в защите. Оно само по себе такая большая сила, что перед ней в конце концов не устоит никто. Напротив, мы должны быть признательны Дарвину за то, что он вложил в наши руки такое могучее оружие духа. Он духовный отец целой программы действий, которую мы можем теперь осуществить. Я скажу больше: вся моя жизнь получила новое назначение с момента выхода его книги.

Муррей при упоминании о книге продвигается поближе.

Заново объяснить мир, природу, найти и увериться наконец, что нашел истину, — разве для этого не стоит жить и бороться?

Гукер. Гексли, я не могу выразить... Вы перевернули мне сердце! О, вы настоящий орел!

Гексли (*улыбается*). Я давно уже точу клюв и когти, чтобы ринуться на упрямых быков и баранов.

Лайель. Говорят, у них очень густая шерсть. Вы не бонтесь завязить когти?

Гексли (*пожав плечами*). На следующей неделе я помещу большую статью в «Таймс» о книге Дарвина.

Лайель (*с удивлением*). В «Таймс»? Да вы хотите, как Одиссей, проехать мимо Циклопа под брюхом его самой крупной и любимой овцы?

Гексли. Нет, я проеду верхом среди бела дня на королевском льве.

Лайель (*неожиданно залившись простодушным стариковским смехом*). Молодчина! Откуда у вас такая хватка?

Гексли. Я вам уже сказал: с нами Дарвин.

Лайель. Бросьте вы трясти вашего Дарвина. Он сгорел бы от смущения, услышав, как вы без конца склоняете его имя.

Гексли (*невозмутимо*). Хорошо, я скажу иначе. С нами истина.

Лайель. С вами? Именно с вами? А со мной ее нет?

Гексли. С вами пока половина истины.

Лайель вскакивает, начинает искать свою шляпу, палку и устремляется к двери. Гукер растерянно встает с дивана. Муррей бежит за Лайелем.



Муррей. Мистер Лайель, одну минуту, мы забыли условиться, когда мне прислать за корректурой вашей книги.

Лайель (*резко оборачивается*). Какая корректура? Какой книги? Теперь есть только одна книга на всем свете — «Происхождение видов» Дарвина! (*Уходит.*)

Муррей. Боже, как трудно издавать ученых!

## КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Берег моря. Широкая бухта. У воды стоит легкое плетеное кресло. Из-за мыса выходят Гукер и Тимирязев. Тимирязеву двадцать лет; он высок, худощав, выразительные большие глаза; беспокойно перебрасывает трость из руки в руку.

Гукер (*он в затруднении*). Если бы не его здоровье... Ради бога, не считайте меня цепным псом! Главное, я уверен, Дарвин будет очень жалеть, что не встретился с вами. Он так радовался успеху книги в России. Он не устает повторять, что обязан успехом своему молодому пропагандисту.

Тимирязев. Я всего только студент и переводчик.

Гукер (*с хитрым видом*). Вы меня не обманете — я не начальство! Вы — превосходный проводник учения Дарвина. Больше, вам предназначено быть возбудителем его идей в ваших родных краях. О, вы целая индукционная катушка, разве я не вижу. Сегодня в России перевести книгу Дарвина и писать о ней популярные очерки — это все равно что играть в крикет шаровой молнией!

Тимирязев (*польщенный, смеется, затем серьезно*). Спасибо. Я попытаюсь оправдать на деле вашу метафору. Одно я уже знаю твердо: вся моя жизнь будет связана с учением Дарвина. До свидания, доктор Гукер.

Гукер. Подождите. Дайте мне немного подумать. Может быть, вам все-таки встретиться с Дарвином?

Тимирязев. Нет. Ведь недаром же Дарвин живет затворником. А преследовать его на курорте! Я лучше поеду домой заниматься своим хлорофиллом.

Гукер. Хлорофиллом? Ну, так вам есть о чем поговорить друг с другом. Вы знаете, что сказал на днях Дарвин: хлорофилл — это, пожалуй, самое интересное из органических веществ.

Тимирязев (*живо*). Он так сказал? (*В нерешительности.*) Ну, если доктор Дарвин сегодня заговорит о России... о чем-нибудь близком мне...

Гукер. Отлично. Я тотчас же позову вас.

Тимирязев. Но только в том случае, если он сам заговорит. Прошу вас, не напоминайте ему ни одним словом...

Гукер. Будьте спокойны, я буду молчать. Я умею это делать замечательно хорошо.

Перед тем как уйти, Тимирязев порывисто оборачивается и бросает трость далеко в море.

(*Встревоженно.*) В чем дело, коллега?

Тимирязев. На счастье! Пусть судьба знает, как я ей благодарен за встречу с Дарвином...

Гукер (*восхищенно ударяет его по плечу*). Ах, черт, желал бы я, чтобы мне было двадцать лет!

Уходят.

Появляются Чарлз Аллен, теперь уже далеко не юноша, и его отец м-р Аллен.

М-р Аллен. Не могу. Убей меня, дальше я не пойду, Чарли. (*Язык ему плохо повинуется.*) Ни шагу, слышишь, дальше ни шагу не сделаю. (*Испуганно.*) Смотри, он сидит в кресле!

Чарлз Аллен. Где? Это пустое кресло.

М-р Аллен. Верно. Я думал — он в нем сидит. Но он сейчас придет.

Чарлз Аллен. Будем его здесь ждать. (*Идет к креслу.*)

М-р Аллен. Господи боже мой! Что ты задумал, Чарли? Что ты задумал?

Чарлз Аллен. Это не твое дело.

М-р Аллен. Правильно. Тогда отпусти меня, Чарли.

Чарлз Аллен. Иди. Я не держу.

М-р Аллен. Но я не могу оставить тебя одного с ним, то есть его одного с тобой. Чарли, если ты обидишь его...

Чарлз Аллен. Мне надоело, отец.

Пауза.

М-р Аллен. Чарли, мне стыдно тебе сказать, меня опять томит жажда.

Чарлз Аллен (*показывает на море*). Пей.

М-р Аллен (*хихикает*). Шутишь! Оно же горькое...

Чарлз Аллен. Это верно, сегодня ты уже перехватил горького.

М-р Аллен. Для храбрости. Единственно, Чарли,

для храбрости. Без этого ты бы меня сюда не вытащил. Чарли, слушай, а это не заметно по моему носу? Нет? Ну, слава богу. Пойдем на полчаса, Чарли...

Чарльз Аллен (*смотря вдоль берега*). Идут... Не хочу говорить при посторонних. Ну, только быстро! (*Резко поворачивает от моря.*)

Уходят. Вдоль берега идут м-с Дарвин и Броди-Инес.

Броди-Инес. Отлив, прилив... Так все в нашей жизни, миссис Дарвин. Вот уже у мистера Дарвина всемирная слава. Нет, кто бы мог подумать? А помните, я вам всегда говорил! Кресло не унесет приливом? Сядьте, отдохните, миссис Дарвин.

М-с Дарвин. А вы? (*Садится.*)

Броди-Инес. Если позволите... (*Расстилает на песке большой цветной носовой платок и садится.*) Так вот, я и говорю. Теперь мистер Дарвин сможет спокойно отдохнуть, полечиться. Я не скажу, чтобы доктор Гулли был лучше доктора Ламба, оба они, в сущности, достаточно хороши для нас, простых смертных. Но мистер Дарвин нуждается в особенном отдыхе. О, после всего, что было! Но теперь это все в прошлом, не правда ли?

М-с Дарвин. Ему опять стало хуже, он почти не спит.

Броди-Инес. Это ничего. Когда он пройдет курс лечения...

М-с Дарвин. Любое волнение причиняет ему ужасные муки. Ведь он по-прежнему хочет успеть сделать как можно больше.

Броди-Инес. Но он сделал уже необыкновенно много. Я, конечно, человек мало сведующий, но меня поразила эта гениально новая точка зрения на развитие живых существ. О, это величественно! Подумайте, из одной малюсенькой инфузории — так, кажется, они называются? — развилось все живое и, наконец, мы сами... с нашим умом, запросами...

М-с Дарвин. Но это так противоречит всему, к чему мы привыкли... перед чем испытывали благоговение...

Броди-Инес. Миссис Дарвин, с тех пор так много переменилось. Вы знаете, церковь, по-видимому, решила примириться с новыми данными. Я ведь это предсказывал. С наукой, я говорил, невозможно спорить. За этой дамой всегда остается последнее слово, вот как я однажды выразился. Хотя это, кажется, сказал мистер Гукер...

М-с Дарвин. Это верно, что церковь решила примириться с учением Чарлза?

Броди-Инес. Я говорю о нашей, англиканской церкви. Я не знаю, как католическая.

М-с Дарвин. Папа Римский хотел проклясть Чарлза.

Броди-Инес. Это ничего. Папа Римский передумал. Он умный человек, не захочет же он оказаться в смешном положении. Конечно, недоразумения еще могут случиться, но мистер Дарвин успел приобрести столько сторонников. Подумайте, весь мир разделился на два лагеря: дарвинисты и антидарвинисты. Это уже настоящая война. И выиграет ее, несомненно, Дарвин. Мне трудно за всем следить, я простой деревенский житель, но зато я могу сказать: мистер Дарвин ведет ее необыкновенно великодушно. Возьмите эту историю с Уоллесом.

М-с Дарвин. Вы думаете, он забыл об Уоллесе? Его до сих пор гнетет мысль, как принял все это Уоллес, от которого нет известий. А что еще ждет его впереди? *(Смотрит на море.)* Смотрите, в бухте корабль.

Броди-Инес. Где? Я не вижу. Ах, правда! Нет, нет, все будет хорошо, миссис Дарвин. Я страшно доволен. *(Беспокойно щупает песок.)*

М-с Дарвин. Пойдемте поищем Чарлза.

Броди-Инес *(встает с земли)*. С удовольствием. А то, я чувствую, песок становится влажным. Должно быть, скоро начнется прилив.

Уходят. Слышны звуки приставшей к берегу шлюпки. На берег выходят морской офицер и Альфред Уоллес, загорелый, увешанный всевозможными принадлежностями натуралиста.

Уоллес. Благодарю вас. Вы доставили меня в Англию как раз на то место, где я ее покинул. С отливом я ее оставил, с приливом вернулся. Уф, наконец-то земля. Пожалуй, моя радость не уступает Колумбовой. Только я ничего не открыл.

Офицер. Мистер Уоллес, у вас раскрылась коробка с жуками.

Уоллес *(захлопывает коробку)*. Это не жуки, мой милый. Это чистойшей воды бриллианты.

Офицер. Бриллианты?

Уоллес. Конечно. Они для меня дороже всех копеек царя Соломона. Это окаменевшие жуки, им больше лет, чем Адаму. У них такие надкрылья, что у самого первого щеголя в Лондоне нет таких фалд у фрака.

Офицер. Мистер Уоллес, к сожалению, меня ждут на корабле.

Уоллес. Отлично. Я думаю, здесь-то я не заблужусь. Прощайте. Не правда ли, мы очень подружились за время нашего перехода?

Офицер. Нам всем было очень приятно иметь такого интересного собеседника.

Прощаются. Офицер уходит.

Уоллес. А я ни на кого не променяю моего молчаливого Али. Где ты, Али? За два океана отсюда нянчишь своих малайчонков? *(Кричит офицеру.)* За моими коллекциями я приеду сам!

Голос офицера. Есть, сэр! Корабль через три дня будет стоять у лондонской набережной.

Уоллес. Ладно! Я через три часа буду уже в Лондоне. *(Машет шляпой.)*

Появляются Аллены.

М-р Аллен *(ему плохо повинуется не только язык, но и ноги)*. Странная штука, Чарли. Храбрости у меня как будто прибавилось, а ноги несут в обратную сторону. Поедем домой, Чарли...

Уоллес поворачивает от берега и наталкивается на Чарлза Аллена.

Чарлз Аллен. Мистер Уоллес!

Уоллес. Это ты, Чарли?

Чарлз Аллен. Мистер Уоллес!

Уоллес. Давно ты в Европе?

Чарлз Аллен. Мистер Уоллес, помогите мне! Только вы это можете, сделать... Только вы...

Уоллес. Что с тобой, Чарли? Ты нездоров?

М-р Аллен. Мы оба здоровы. Покорно благодарим, сэр.

Уоллес *(пристально смотрит на него)*. Понимаю. Вы оба пьяны, друзья.

Чарлз Аллен. Как можете вы так шутить? Уйди, отец! Прошу выслушать меня. Несколько лет назад я написал отвратительные слова о докторе Дарвине...

Уоллес. Вот как! И о нем также?

Чарлз Аллен. Я хочу сейчас упасть перед ним на колени, сказать, что я изменился, до меня дошла его слава... и я прочитал его книгу...

Уоллес. Неужели ты прочитал?

Чарлз Аллен. Я хочу проповедовать его учение

дикарям, как раньше я проповедовал Библию. Пусть он мне это позволит...

Уоллес свистит.

М-р Аллен (*всклинув*). Молодец, Чарли! Горжусь тобой!

Уоллес (*холодно*). Отцовская гордость. Это похвально, но не будете ли добры отойти и сесть вон там в кресло.

М-р Аллен. Что вы, сэр, это его кресло! Доктора Дарвина!

Уоллес. Доктора Дарвина? Разве он здесь?

М-р Аллен кивает головой.

Чарлз, это верно? Он действительно здесь? Он придет сюда?

Чарлз Аллен. Отец говорит, что узнал его кресло.

М-р Аллен. Когда в прошлом году я чинил его заднюю правую ножку...

Уоллес. Ступайте, друзья. Осторожно правой ногой, мистер Аллен...

М-р Аллен уходит, Чарлз остается.

Чарлз Аллен. Должно быть, я высказался неясно... Я не договорил...

Уоллес. Нет, Чарлз, ты сказал достаточно. Вполне достаточно для того, чтобы я тебя понял и твердо ответил. Держись подальше от науки! Держись подальше от доктора Дарвина! Держись подальше от меня, Чарли!

Чарлз Аллен (*растерянно*). Почему? Почему?

Уоллес. Видишь ли, по странной случайности мы все трое не доверяем людям, которые могут летать от нас и к нам с легкостью мячика. Это дешево стоит, Чарли. Мы говорим тебе: «Аут! Вон из игры!»

Пауза.

Чарлз Аллен. Вы еще услышите обо мне. Вы пожалеете, что меня оттолкнули. (*Уходит.*)

Уоллес. По правде сказать, меня больше заботит, не оттолкнет ли меня доктор Дарвин... Мы с ним так чудесно столкнулись в жизни. И после этого не верить в судьбу? Верить лишь в естественный отбор? (*Садится в кресло.*) Что дальше? Ждать, и все решится раньше, чем я появлюсь в Лондоне. А когда-то я так мечтал появиться там в новой роли... Альфред Уоллес — знамени-

тый ученый! (*Громко смеется.*) На сколько Дарвин старше меня? На двадцать лет? Да, стало быть, все дело в этих двадцати годах работы. Значит, будем сидеть и ждать. И смотреть в ту сторону, где я провел бобылем восемь лет. Мне рано еще смотреть на свою страну. Пусть она меня извинит, что я сижу к ней спиной.

Из-за мыса показываются Дарвин и Гукер.

Гукер. Корабль на рейде.

Дарвин. Как в тот раз, когда мы провожали Уоллеса. (*Останавливается, увидев сидящего в кресле Уоллеса.*)

Гукер. Что?

Дарвин указывает ему на кресло.

Уоллес (*встает и идет к Дарвину*). Доктор Дарвин, я приехал затем, чтобы просить для себя единственной привилегии: позвольте мне считать себя первым дарвинистом.

Пауза.

Гукер. Дарвин! (*Поспешно придвигает ему кресло.*)

Дарвин. Да. Извините. (*Опускается в кресло.*)

Уоллес. Вы извините меня, доктор Дарвин! Будь я забыт и проклят, если я хотел... Я совершенно забыл, что не все такие быки, как я...

Пауза.

Дарвин. Если бы вы знали, как я ждал этой встречи!

Уоллес. А я? Я, кажется, готов был плыть вот так, в чем есть, через океан...

Дарвин поднимается и протягивает ему руку. Уоллес смущен.

Что со мной? Я совершенно там одичал... (*С горячностью жмет Дарвину руку. Беспокойно.*) Я не причинил вам боли?

Дарвин. Вы думаете, я уж совсем как маргаритка? Право, меня не так легко смять...

Уоллес. Совестно сказать, я ждал этого рукопожатия. И мы обменяемся, говорил я себе, тем крепким рукопожатием, которое так много значит для англичанина...

Дарвин (*добродушно*). Можете повторить это удовольствие. Доктор Джозеф Гукер — мистер Альфред Уоллес.

Те с увлечением пожимают друг другу руки.

Гукер. Мистер Уоллес, я так много хотел бы сказать вам...

Дарвин. Но знаю, что ничего не скажу! Это обычная увертка Гукера. Но почему вы-то молчали, мистер Уоллес? Я уж бог знает что начал думать.

Уоллес. Страсть к эффектам! Когда долго живешь один, хочется разыграть все как в театре. Кроме того, хотелось приехать не с пустыми руками. Быть может, мои коллекции принесут сколько-нибудь пользы для вашей теории.

Дарвин. Для нашей теории, дорогой Уоллес.

Уоллес. Нет. Я должен повторить свою просьбу. Когда я прочел вашу книгу, я убедился, что и в тысячной доле не обладаю такой любовью к исследованию, к деталям, к кропотливому собиранию фактов, всестороннему их обдумыванию, ко всему, что так отличает вас. А без этого все, что я написал в ту бредовую ночь, никогда не убедило бы людей.

Дарвин. Боюсь, что вы все еще преувеличиваете.

Уоллес. Доктор Дарвин, я бродяга, натуралист, охотник и фантазер. Я ничего не могу довести до конца. Но я страстно хочу помогать тому делу, которое делают вместе с вами ученики и друзья. Принимаете вы меня таким, какой я есть?

Дарвин (*просто*). Да.

Уоллес. Спасибо.

Пауза.

Дарвин. Вы упомянули о своих коллекциях.

Уоллес. Я с наслаждением вам их покажу. Главные мои собрания на корабле, но кое-что я захватил с собой. С этой коробкой я вообще не расстаюсь.

Дарвин. Вероятно, это чешуекрылые?

Уоллес. Нет, жесткокрылые.

Дарвин (*смеется*). Как же это я мог ошибиться в ваших симпатиях? В юности я сам безумно увлекался жуками. Пойдемте ко мне в пансион. Только надо сначала найти на берегу миссис Дарвин.

Уоллес. Но я в таком виде...

Дарвин. Ей это живо напомнит, как четверть века назад я вернулся из путешествия.

Уходят.

Сразу же за мысом происходит невидимая нам встреча. Слышатся восклицания Дарвина, ворчливые замечания Лайеля, смех Уоллеса и



Гукера, сентенции Броди-Инеса: «Вот это славная штука!», «Дорогой друг, а вы узнаете этого охотника?», «Много набили дичи... птиц и новых теорий, мистер Уоллес?», «Я говорил миссис Дарвин...», «Эмма, познакомься с мистером Уоллесом», «Наш друг, преподобный Броди-Инес...»

Все общество выходит из-за мыса: Дарвин, его жена, Броди-Инес, Лайель, Гукер и Уоллес. В руках Лайеля зеленый портфель.

Эмма, может быть, ты позаботишься о чае? В пансионе это несколько труднее, чем дома...

Броди-Инес. Не беспокойтесь, я поговорю с доктором Гулли об отдельном столе на веранде.

М-с Дарвин и Броди-Инес уходят.

Лайель. Дарвин, мне хотелось бы сказать вам два слова.

Уоллес. А мне, собственно, следовало бы передеться.

Дарвин. Гукер вас охотно проводит. А мы догоним вас.

Уоллес и Гукер уходят.

Что вы хотели сказать мне, Лайель?

Лайель молча протягивает ему портфель. Дарвин вопросительно смотрит на него.

Лайель (*отрывисто*). Переработанное издание «Основ геологии».

Дарвин открывает портфель, до половины вытаскивает книгу и снова укладывает ее.

Дарвин (*тихо*). Я прочту ночью.

Лайель (*пожимает плечами*). Подождите уж до утра.

Дарвин. Нет. Кажется, я сегодня опять слишком счастлив, чтобы заснуть!

Лайель (*растроганно*). Ну, ну! Вы понимаете, я не хотел перед всеми демонстрировать свою слабость.

Дарвин. Вашу силу, мой друг. Могущество человека, любящего науку больше своего «я».

Лайель. Вы меня украшаете. Я старый, сухой эгоист. Действительно, я питаю слабость к науке. Пожалуй,

и к истине, если это не одно и то же. Но вы представляете, что скажут мои коллеги и сверстники?

Дарвин. Ваш поступок похож на разлив реки Миссисипи. Когда она меняет свои берега, прибрежные жители сердятся и пугаются при виде перетасовки в мешах... Но вас не удивляет, что такой крупный ученый, как Рудольф Вирхов, яростно обрушился на эволюционную теорию? А французы, те вообще считают мою книгу лженаучной. Они говорят, ее невозможно читать. Они просто вопят от возмущения.

Лайель. Как видно, и мне, и вам придется не раз затыкать уши.

Дарвин. Значит, настоящая война только началась. Вы слышали, что происходит в России? Двадцатилетний студент перевел на русский язык мою книгу и написал о ней несколько очерков. Это вызвало бурю, какие бывают только в этой великой снежной стране.

Лайель. Молодец! Как его имя?

Дарвин (*покачивая головой*). Я мог бы ответить словами ирландской сказки: «Как твое имя?» — «Вздых, Свист, Буря, Резкий ветер, Зимняя ночь»... У него очень трудное имя. (*Медленно, с трудом произносит.*) Тимирязев... Да, кажется, так.

Лайель. Ну что ж, все происходит по предсказанию Гексли. Вы дали в руки своих учеников такое разящее оружие духа, что... недалек час, когда вашу теорию станут зубрить в школах!

Появляется м-р Аллен. Он выглядит совсем трезвым. В волнении даже не здоровается.

М-р Аллен (*шепотом*). Долго мой Чарли стоял на коленях? Он сказал, будет стоять, пока у доктора Дарвина не будет опять такое же доброе лицо, как всегда...

Дарвин (*устало*). О чем он говорит? Лайель, будьте до конца другом, проводите мистера Аллена в пансион. Я немного посижу в кресле. Я забыл дома палку.

Лайель (*подходит к воде, нагибается*). Океан посылает вам в подарок другую. (*Подает Дарвину трость.*)

Дарвин (*удивленно*). В самом деле! (*Садится, опираясь на трость.*) Откуда это слышна музыка?

Лайель. Это на корабле. В честь вашей победы над Уоллесом... и надо мной.

Лайель и м-р Аллен ушли. Показались м-с Дарвин и Гукер. Останавливаются поодаль от сидящего Дарвина.

М-с Дарвин. Он очень устал. (*Помолчав.*) Вчера я случайно прочла несколько слов из начатого им письма.

Гукер. К кому?

М-с Дарвин. Не знаю. Возможно, что это дневник. Чарлз пишет: «Должно быть, я не сказал в своих книгах всего, что хотел. На меня повлияла больше, чем следует, мысль о той боли, которую я причинил бы некоторым членам своей семьи, если бы сказал все...»

Гукер. Он имел в виду вас?

М-с Дарвин. Да. Вам понятно теперь, как я мучаюсь — сказать или не сказать ему, что я давно уже не так болезненно переживаю его неверие?

Гукер (*задумчиво*). Его великодушные еще раз сыграло с ним шутку. Но, пожалуй, не стоит ему говорить. К чему? В конце концов, это частный вопрос. Если он не верит в творца, он верит во что-то другое. Вам неприятно то, что я говорю?

М-с Дарвин. Нет, почему же. (*Подходит к сидящему Дарвину.*) Ты отдохнул немного?

Дарвин. Да, я чувствую себя хорошо. Вы давно пришли?

Гукер. Только что.

Слышен шум накатывающихся на берег волн.

М-с Дарвин. Чарлз, начинается прилив.

Дарвин. Да, Эмма. Он вынес мне на берег трость.

М-с Дарвин (*улыбаясь Гукеру*). Мне кажется, вы знаете, чья это трость?

Гукер кивает головой и уходит. Возвращается с Тимирязевым. Прибой в эту паузу звучит особенно сильно.

Дарвин. Прилив... Помнится, это было первое явление природы, поразившее меня в юности. Знаете, о чем я сейчас думал? Я думал: вот я устал, отдохну, а завтра буду спокойно трудиться. Теперь уж я твердо знаю: сколько бы я ни сделал — а я сделал еще очень мало, — все-таки это дошло до ума и сердца людей. Сейчас осень, семена цветов летят далеко по воздуху. Семена полетели через пролив и дальше, опустились за океаном... Люди хотят непременно узнать всё о мире, в котором они живут. Какой прилив сил будет тогда у человечества! Я ве-

рю в это. Мне радостно знать, что и я вложил свою долю. Должно быть, поэтому я теперь не боюсь смерти. Ведь борьба за истину не кончится с моей жизнью. Будут приливы и будут отливы, но эта борьба станет продолжаться вечно. Не так ли, Гукер?

С ясной улыбкой оборачивается к жене и другу. Увидел Тимирязева, всматривается в него из-под полей свей шляпы. Снова грохот наступающего океана. И — тишина.

Тимирязев (*волнуясь, выступает вперед*). Благодарю вас за то, что я не пропустил прилива.

1940—1944

# КАМЕНЬ, КИНУТЫЙ В ТИХИЙ ПРУД

*Восенняя повесть*

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

- Вересов Егор Афанасьевич — инженер, 42 лет.  
Вересова Александра Васильевна — инженер, 40 лет.  
Виктория — их дочь, 17 лет.  
Ченцова Зинаида Степановна — работница, 38 лет.  
Пашка — 17 лет }  
Витька — 15 лет } ее дети.  
Тишка — 13 лет }  
Ченцов Петр Васильевич — свекор Ченцовой, 82 лет.  
Аглая — работница, 27 лет.  
Микишев Александр Михайлович — председатель гор-  
совета, 32 лет.  
Пчелка Федор Матвеевич — секретарь райкома, 33 лет.  
Ребров — курьер заводууправления, 45 лет.  
Лианозов }  
Егорыч } пенсионеры, старые рабочие.  
Козлухин }  
Суровый старик — сторож на заводе, свекор Аглаи.  
Ершов — начальник станции.  
Девушка с рюкзаком.  
Директор швейного ателье.  
Красноармеец.  
Артиллеристы.  
Дружинники.  
Мастерицы.

## КАРТИНА ПЕРВАЯ

Плотина и набережная пруда, в котором отражаются заводские трубы, столбы с электрическими проводами, желтеющие березы. Вдали берег теряет городской вид, сливается с лугами и небом. На чугунной скамье сидят Виктория и Пашка Ченцов. К скамье прислонен велосипед. На тумбе, у самой воды, примостился старик Ченцов; он не обращает внимания на них, нагнув голову, смотрит в воду, будто что видит на дне. Слышен шум проходящих мимо грузовиков. Шум приближается, усиливается до грохота, затем удаляется и ослабевает.

Виктория. Везут, и везут, и везут... Скоро все увезут, только пруд один и останется.

Пашка. А ты бы и пруд хотела с собой забрать.

Виктория. Да, хотела бы. Если бы могла, я бы все увезла: и пруд, и березы... Говорят, там берез совсем нет. И небо...

Пашка. Там что, и неба нет? А меня с собой прихватила бы?

Виктория. И тебя.

Пашка (*удивленно*). Жадная же ты, Виктория!

Виктория. Да, я жадная. (*Помолчав.*) Когда вот так смотришь на воду, можно обо всем забыть. Пруд тихий, тихий... как до войны. Светло, листья плавают... Хорошо, правда, Пашка? (*Сама себе отвечает.*) Очень! Господи, неужели завтра отсюда уезжать?

Пашка. До завтра вам, пожалуй, не дотерпеть.

Виктория. Почему?

Пашка. Есть признаки. Инженерские портки второй день на пруду полощут.

Виктория. Какой ты грубый, Пашка.

Пашка. Да, я грубый.

Виктория. А ты смотри на воду, как твой дедушка, это успокаивает. Вот на той стороне еще два пенсионера сидят. О чем они, по-твоему, говорят?

Пашка. О чем всегда. О старом прижиме.

Виктория (*убежденно*). Нет, Пашка, они тоже говорят о пруде. Что пруд все такой же, как и пятьдесят

лет назад. Им даже кажется, что стоит нагнуться, и они увидят себя в воде молодыми. Не веришь? Дедушка Ченцов, скажите, о чем вы сейчас думаете?

П а ш к а. Брось. Старик глух, как тумба.

Снова завывание автомашин. Виктория затыкает уши. Ченцов сидит неподвижно, не спуская глаз с воды.

В и к т о р и я. Счастливый, ничего не слышит, не видит!

Грузовики проходят, и шум смолкает.

П а ш к а (*поднялся*). Ну, нам не пора?

В и к т о р и я (*безучастно*). Пора. (*С силой бьет рукой по скамье.*) Не хочу! Не хочу уезжать! Ничего не хочу! Хочу, чтобы все по-прежнему! Чтобы ты не хамил! Чтобы опять по пруду катались! На лодках, а зимой на коньках... И музыка бы играла старинные вальсы... (*Закрывает глаза, напевает без слов.*) А мы кружимся, кружимся по льду, под оркестр несколько не устаешь. Я в белой фуфайке, ты в черной... Красиво, легко. И музыка. А никакой войны нет. Где она? (*Широко открывает глаза.*) Ее и не было никогда!

П а ш к а. Эх, Виктория!

В и к т о р и я (*уныло*). Пойду. Может, еще не поедем завтра.

П а ш к а. Вряд ли. Еще как поедете. С музыкой.

В и к т о р и я. Для чего ты так говоришь? Ты думаешь, нам легко?

П а ш к а (*со злостью*). А, брось ты! Легко — нелегко! Ах, пруд с собой увезу, ах, небо! Да какое ты имеешь право? Понаехали с разных сторон, разве это для вас всего!

В и к т о р и я. Ты что, с ума сошел? Я здесь раньше тебя родилась...

П а ш к а. Я не обязательно про тебя.

В и к т о р и я. За что ты всех обругал? Я жалею, что пришла с тобой попрощаться. (*Вскакивает.*) Я буду рада, если мы уедем даже сегодня. Даже сию минуту! Даже...

Идут грузовики. Сквозь шум долетает крик: «Вересова-а! Вересову-у!» Грузовик остановился. От него бежит к Виктории девушка, одетая по-дорожному — в лыжных штанах и платке, с рюкзаком за спиной.

Д е в у ш к а (*торопливо*). Вот что, Вересова. Твоя мама велела тебе сказать, чтоб ты сейчас же шла домой... Скорей иди домой, Вересова, вы тоже сегодня уез-

жаете. Ну, до свидания, Вересова, может, в дороге увидимся. До свидания, Ченцов.

Нетерпеливый автомобильный гудок.

Бегу!

Виктория (*упавшим голосом*). Но почему сегодня? Девушка. Не знаю, Вересова, говорят, больше поездов не будет... (*Убегает.*)

Грузовик трогается. Сквозь шум и скрежет долетает несколько девичьих голосов: «До свидания, Вересова! На востоке встретимся, Вересова!»

Виктория (*растерянно*). Сегодня... Пашка!

Пашка. Я говорил, не дотерпите.

Виктория (*в голосе слезы*). Грубый, грубый до самого конца...

Неожиданно к скамейке подкрался Витька.

Пашка. Слушай, Витя... (*Увидев брата.*) Да уж вставай, вставай, ползунок!

Витька (*бойко*). Разведчик Ченцов скрытно пробрался в расположение противника. (*Кивает на старика.*) А чего он сидит? Ему обедать пора. (*Заметил велосипед Виктории.*) Твоя машина? Можно прокатиться?

Виктория. Можно, тезка.

Витька стремительно уезжает.

Что ты мне хотел сказать, Пашка?

Пашка. Ничего. (*Мягче.*) Завтра ты будешь уже далеко.

Виктория. Не очень далеко. Товарные поезда идут медленно...

Пауза.

Твой дедушка не слышит, не видит, не скажет... (*Быстро обнимает и целует Пашку.*)

Подкатил Витька, соскочил с велосипеда.

Витька. Думаете, не видел? Ладно, пользуйтесь моей добротой. (*Деловито осматривает велосипед.*) Неплохая машина.

Виктория (*просто*). Тебе нравится? Хочешь, возьми.

Витька (*поражен*). Шутить?

Виктория. Нисколько. Бери.

Витька. Задабриваешь. Боишься, что расскажу.



Виктория (*грустно*). Не о чем рассказывать, тетка. Берн, пока отдаю.

Витька. Вот привалило! (*Садится на велосипед и уезжает.*)

Виктория. Счастливый тетка, еще совсем мальчишка. А мы? Пашка, это, наверное, лучшее наше время... Я даже еще не полюбила никого по-настоящему. (*Тихим, напряженным голосом.*) А если я кого полюблю, я за ним в огонь и в воду пойду!

Пашка (*все еще пытаясь пронизировать*). В пруд полезешь?

Виктория (*решительно*). Да. В пруд.

Снова подъезжает Витька.

Витька. Что дадите, чтобы совсем уехал?

Ченцов (*не поворачивая головы*). А глубины здесь, граждане, полторы сажени. Не больше. Уж это точно. (*Задумчиво.*) Когда я был молодым... (*Замолчал.*)

Все смотрят на него с удивлением.

Ченцов. Когда я был молодым, я прошел по дну вот от этой скамейки до вон тех кустов, версту с лишком. Дно гладкое, ровное, ни одной ямки. А только идти вязко, грунт сам себя оказывает. И пузыри из него идут. Много, резвые пузырьки, как все равно в пиве... Болотный газ называется. Вредная штука. Поджечь его на болоте — светленько так загорит и никогда не погаснет...

Витька (*восхищенно*). Здоров врать старик!

Виктория. Молчи, тетка.

Ченцов. А видел я на дне много рыбы всякой. Караси, лини, карпы зеркальные. Зарылись по самые жабы в ил и спят. Не чувят, собаки, что я иду...

Витька. А водяного не разбудил, дедушка?

Пашка презрительно курит.

Ченцов. Хорошо погулял бы, ежели бы не грунт. Взбаламутил я воду, сзади ничего не видать и впереди затынуло. Малость заплутал. Туда подамся, сюда, ни лучшего не пойму. Едва вылез, там пообрывистей будет. А во всем пруду, говорят, вода, как живая грязь, сделалась, точно боров по дну валялся.

Виктория с Витькой вопросительно глядят друг на друга.

Виктория. Было это с ним или сейчас показалось?

Витька. Пес его знает. Шальной старик. (*Кричит*

ему в ухо.) Эй, дедушка, обедать пора! Это он очень хорошо слышит.

Виктория. А все-таки он думал о пруде, Пашка.

Пашка молча докурил, кинул папиросу в пруд, уходит.

(Отвернувшись.) Тезка, в кого у вас Пашка такой?

Витька. В мамку. Они у нас оба злющие. А вот я ужасно добрый. Хочешь, дедушку подарю?

Виктория (покачивая головой). До свидания, тезка. До свидания, дедушка Ченцов. (Уходит.)

Витька жадно осматривает велосипед. Снова проходят грузовики.

Витька (подняв голову, грозно кричит вслед). Прыгай с машины! Прыгай, не то Пашке скажу!

С виноватым видом показывается Тишка.

Тишка (с интересом). Чей это велосипед?

Витька (довольным тоном). Нравится? Ладно, убьют меня на войне — получай наследство. При дедушке завещаю.

Тишка. Да-а! он глухой!

Витька. Как-нибудь доведем до сведения. (Кричит на ухо старику.) Эй, дедушка!

Тишка (испуганно). Витька, сердитый старик идет!

Витька. Врешь! (Оглянувшись, заторопился.) Верно. Слушай, Тишка, ты с дедушкой иди домой потихоньку, а мне надо еще в одно место съездить... (Уезжает.)

Тишка. Да-а, так я и остался! (Убегает.)

Суровый старик, прямой и высокий, с толстой палкой в руке, подходит к скамье и молча садится поодаль от Ченцова. Тот увидел его, приветливо закивал головой. Суровый старик сдержанно кивнул в ответ.

Ченцов. Рыбы, я говорю, на этом дне видимо-невидимо. Ежели бы я хоть был с бреднем...

Подле скамейки вдруг оказывается Ребров, худенький, в выцветшей инженерской фуражке; розовое с кулачок личико.

Ребров. Так что тогда? Здорово, Ченцов, знаменитый слесарь! Все хочешь жазнь вернуть? Зачерпнуть ее с самого дна своим худым решетом? (Хлопает его по плечу и садится.) Ты что не поехал к сыну? Теперь твой Сергей в Сибири большой начальник. Уж мы без него будем немцев в пруду топить. Чего смеешься? Я верно говорю.

Суровый старик (*мрачно*). Отстаны!

Ребров (*с живостью оборачивается к нему*). А, и ты здесь, стражник. Смотри, завод-то прокараулил, сегодня последнее увезут. Двести лет стоял с хвостиком, а сейчас — фьюить, только хвостик его и видели.

Суровый старик. Отстань, собачий хвост!

Ребров. Да ты чего ругаешься-то? Я какой человек? Я тебя за твои угрозы!.. (*Отодвинулся, увидел еще двух стариков, идущих по набережной.*) Вон и свидетеля два идут... Эй, праведники, сюда!

Подходят хромой Егорыч и бодрый, крепкий на вид старик Лианозов. Ребров с готовностью уступает им место между собой и Суровым стариком.

Садитесь, почтенные, гостями будете. Садись, Егорыч, в одной ноге и полправды нет.

Лианозов. Все суетишься, рассылка.

Ребров. Если завод уезжает, да об каждом надо похлопотать, порадеть, из управления в завком сбегать, из завкома в партком, из парткома в райком, из райкома в горсовет, из горсовета своим ходом на станцию...

Лианозов. Замолол! А тебя, значит, с собой не берут?

Ребров (*с накипевшей обидой*). Я сам не еду. Пусть попробуют без Реброва. Это куда годится — старослужащего оставлять!

Лианозов. Ничего не поделаешь, Ребров, нас с ним тоже не взяли.

Ребров. Вы — дело другое. Вы свое отработали, а я живой человек.

Лианозов. Помолчал бы, Ребров. (*Вздыхнул.*) Так, уезжают.

Егорыч (*откашлявшись*). Счастливо на новом месте...

Ребров. Это еще неизвестно. Наше-то место крепкое...

Лианозов. Небось выбрали и там покрепше. Ченцов-то с мальчишек на производстве, завод ему родней родного.

Ребров. Дороже родни, это верно. Отца (*Кивнул на Ченцова.*), жену и трех сыновей променял на инженершу. Хорош твой Сергей Ченцов?

Лианозов (*уклончиво*). Сергей не мой, и дело это не наше, Ребров.

Егорыч. Ребров, а насчет кузнечного как?

Ребров. Все увезли, теперь немцы могут свободно приходить.

Суровый старик. Ах ты! *(Встает, заноса над Ребровым палку.)*

Ребров *(втянул голову в плечи)*. А-а! Не тронь!..

Суровый старик. Ты чего, сучья кровь, сказал?!

Ребров. Разве это я? Это он... он спросил...

Суровый старик. Вон отсюда!

Лианозов и Егорыч *(вместе)*. Оставь ты его! Сдуру сболтнул... Оставь...

Суровый старик уходит, с негодованием стуча палкой о плиты.

Ребров. Разбойник! Честное слово, разбойник!

Лианозов. Это ты зря. Справедливый он человек.

Ребров *(плачущим голосом)*. Справедливый! Где же тут справедливость? Попадись я ему на пустом-то заводе — убьет, право убьет! *(Вдохновленный новой мыслью.)* Вот что, ребята, валите сегодня ко мне на завод в гости. Поглядите, как что. Прямо ко мне: мол, Ребров пригласил.

Лианозов. А начальство на это как взглянет?

Ребров. А я один из начальства остался. Вересов, который отправкой заведует, сегодня уедет. Да он парень смиренный, во всем меня слушается.

Егорыч *(испуганно)*. Инженер-то?

Лианозов. Слушай ты его.

Ребров. Я верно говорю. Хотите на завод в сторожа поступить? Я вас в два счета. И его с собой приводите. *(Кивает на Ченцова.)* Глухому тоже умных людей послушать хочется. *(Приподнял фуражку.)* Пока. *(Исчезает.)*

Лианозов. Смех и грех с этим рассылкой.

Егорыч. Да уж... *(Осторожно откашлялся.)* А я схожу. Охота еще раз завод поглядеть... *(Тихонько.)* Не хотел я при этой балаболке... Говорят, немцы грозятся путь перерезать.

Лианозов. И ты веришь?

Слышен рокочущий звук.

Это чего? *(Смотрит на небо.)* «Гитлер» летит...

Егорыч *(задрал голову)*. А может, наш?

Лианозов *(возбужденно)*. А звезды где? Где звезды, я спрашиваю? Ах ты боже мой! Низко-то как летит! Низко-то... Ах ты!

Егорыч. Гляди, гляди, бумажки выбросил...

Лианозов. Листовки, подлец, сбрасывает! Ну, была бы у меня винтовка!..

Рокочущий звук усиливается, затем удаляется, замирает.

Егорыч. Улетел.

Лианозов. Улетел, сволочь!

Егорыч. Скажи пожалуйста, и чего ему тут надо?

Падают листовки. Егорыч ковыляет за ними.

Лианозов (*кричит*). Не тронь — поганые!

Егорыч отдернул руку и наклонился над одной из листовок.

(*Кричит.*) Я говорю, не читай, ослепнешь!

Егорыч (*поспешно протирает глаза и ковыляет обротно, шепчет*). Беда, Лианозов, беда! Знаешь, о чем написано?

Лианозов. И знать не хочу! (*Затыкает уши.*) Не хочу и знать! (*Уходит.*)

Егорыч (*кричит вслед*). Погоди, дай сказать! На душе тяжело, дай свалить! (*С отчаянием оборачивается к Ченцову.*) Ченцов, беда! Немцы завтра завод возьмут! Ченцов!

Ченцов (*смотря в воду*). А глубины здесь, граждане, полторы сажени. Грунт вязкий. И пузыри как все равно в пиве... Светленько так загорит и никогда не погаснет...

Егорыч убегает, хромая. Ченцов остается сидеть. Листовки падают в пруд.

## КАРТИНА ВТОРАЯ

Кабинет директора завода. Панели красного дерева, роскошный письменный стол и два простых стула — другой мебели нет. На большом узле безучастно сидит Виктория. За столом — Вересов. Он в сером истрепанном пиджачке, в мятой шляпе, что-то записывает. Дверь в кабинет открывается, заглядывают какие-то люди, пробегают дальше по коридору. Поминутно звонит телефон.

Вересов. Витя, закрой дверь.

Виктория (*вяло встает, не вынимая рук из карманов пальто, носком сапога закрывает дверь и снова садится*). Папа, я хочу тебя спросить...

Вересов. Сейчас. (*Снимает трубку.*) Вокзал? Вересов говорит. Ершов, мы с тобой утром договорились о трех классных вагонах. Для женщин с детьми. Нет?

А я говорю — есть. *(Повысив голос.)* А я говорю — есты  
Ладно. Как только придет грузовик — отправляйте. *(Вешает трубку.)* Витя, беги ищи маму — и поезжайте.

Виктория *(встает)*. А ты?

Вересов. Что я? *(Снимает трубку и ждет, пока дочь выйдет из кабинета.)*

Виктория выходит.

Товарищ Пчелка? Вересов говорит. Сейчас посылаю последнюю машину. Всё подчистую. С Ершовым? Да ничего, ладим, за десять дней научился. А телеграммы нет относительно меня? То-то, что не передумал. Нет, семья не знает пока. *(Смущенно смеется)*. Ладно, в дороге простят. Ну, еще бы не рад, теперь я кум королю. Свободен, как ветер... Приходи на пепелище, товарищ Пчелка. Есть. *(Вешает трубку.)*

Быстро входит Вересова, поверх элегантного пальто подпоясанная солдатским ремнем, с планшеткой через плечо. В дверях видна Виктория. Вересов торопливо вскакивает.

Вересова *(излишне громко и повелительно)*. Егор, что же ты не выносишь багаж? Я жду, грузовик ждет... Можно подумать, что это тебя не касается. Вчера чужие горшки таскал, а сегодня сидит, как директор. Виктория, бери что полегче. Ты бы оставила свой рюкзак в машине.

Виктория *(оглядев себя)*. Н-нет, пусть при мне. А вообще... если существуют бесшумные двухтактные двигатели...

Вересова *(приостановилась)*. Что такое?

Виктория. Ты, мама, наоборот: шумный бестактный двигатель.

Вересова. Виктория, не дерзи.

Вересовы берут и уносят багаж. Кабинет на минуту пустеет. В дверь заглядывает Ребров. Переступил порог, снял фуражку.

Ребров. Выносят. *(Осматривается.)* Кажись, правда я один из начальства остался. *(Подходит к столу.)* Карандашик, что ли, на память взять? *(Кладет в карман.)* Вот этот подлиннее. *(Берет другой.)* Еще синий с красным, для резолюций. *(Взял еще карандаш.)*

Зазвонил телефон.

*(Снял трубку.)* Але, Ребров слушает. Помощник директора по рассылной части. Кого? Сей минут позову. *(Идет к двери, заглядывается на остатки багажа.)* Хо-

рошне чемоданы у инженерши, надо помочь. (*Разматывает с шеи кашне, связывает им чемоданы, хочет их поднять на плечо.*)

Возвращается Вересова.

Вересова. Ты что тут, Ребров? Оставь, оставь. (*Бесцеремонно отнимает у него чемоданы.*) Вечно суешься туда, где тебя не спрашивают. (*Кричит в коридор.*) Егор.

Входит Вересов.

Бери чемоданы. (*Забирает оставшуюся мелочь.*) Посторонись, Ребров. (*Уходит.*)

Вересов. Тебе что, Ребров? Можешь идти домой.

Ребров. То есть как?

Вересов. Сиди дома, отдыхай. (*Идет с чемоданами к двери.*)

Ребров. Егор Афанасьевич, а если куда слетать?

Вересов. Вот что: скажи караульщикам, чтобы ко мне собрались после смены.

Ребров (*протискиваясь, чтобы пошире открыть перед Вересовым дверь*). Егор Афанасьевич, так это как же? Так вы сегодня не уезжаете?

Вересов, не отвечая, уходит.

Егор Афанасьевич, а к телефону-то вас ожидают...

Голос Вересова (*из коридора*). Спроси кто, я потом позвоню.

Ребров. Слушаюсь. (*Кидается к телефону.*)

Его опережает вошедшая в кабинет Виктория.

Виктория. Алло! (*Трясет трубку.*) Что там такое жужжит? Поняла... Ох, мне очень вас надо, товарищ Пчелка... Говорит дочь инженера Вересова. (*Оглянулась на дверь.*) Скажите мне правду, мой отец едет сегодня с нами? Вот и он ничего не говорит. Но я чувствую, чувствую... Нет, я не пристаю к нему. Телеграмма? Хорошо, я скажу. (*Вешает трубку, замечает гримасничающего Реброва.*) Вы мне?

Ребров (*снимает фуражку и троекратно взмахивает ею; слабым голосом*). Ура, товарищи!

Виктория. Что это значит?

Ребров. А вот что. (*Значительно.*) Ваш папаша назначил на сегодняшней вечер деловое торжественное собрание. Ясно?

Виктория. Вы ошибаетесь, мы сейчас уезжаем.

Ребров (*надевает фуражку*). Ничего вы не знаете, барышня. Знаю-то я. Ваш папаша велел трубить общий сбор. Намечается важное заседание. Возможно, о том и секретарь звонил. Слышали — телеграмма? Не исключено: скоро завод вернется обратно.

Виктория. Бросьте шутить.

Ребров (*с достоинством*). Не до шуток. Стар я шутить. Сказал — и к сему расписуюсь. (*Подходит к столу, вынимает цветной карандаш и крупно расписывается на столе.*) Ребров. (*Уходит с достоинством.*)

Виктория. Папа! (*Выбегает в коридор.*)

Дверь открыта. По коридору мерно прошел Суровый старик в тулупе. Заглянула в кабинет женщина, взяла со стола графин и, надев на руку два стула, вышла. Входят Вересов и Виктория.

Вересов (*обнял ее за плечи*). Доченька, зачем же плакать? Не уеду с вами — уеду завтра или послезавтра.

Виктория (*сморкаясь*). Не ври. Можешь врать маме, а мне-то зачем?

Вересов. Как — зачем? Успокойся, выпей воды. (*Ищет графин.*) Кто-то воду унес... Давай посидим спокойно, поговорим... Фу, черт, и стульев нет! (*Усаживает дочь на стол.*) Решили, что я уезжаю, значит, надо все унести. (*Неожиданно.*) А как же я уеду, Витя? Мне и здесь дело найдется.

Виктория. Тебе, а маме? Зачем же мы едем?

Вересов (*наставительно*). Мама как раз там нужна. Мама хороший инженер.

Виктория. А ты плохой?

Вересов. Как бы тебе сказать... (*Взглянув на часы.*) Витя, машину, наверно, уже заправили.

Виктория (*решительно*). Я останусь с тобой.

Вересов. Что ты, Витя! Нет, придется позвать маму...

Виктория. А ей ты сказал?

Вересов. Знаешь что? Скажи ты. Сядете в вагон — и скажи.

Обнялись. Входит Вересова.

Вересова. Нежности продолжают. Егор, тебе ничего не надо мне сообщить?

Вересов. Ничего. А что?

Вересова. Ты не ждал телеграммы?



Вересов (*радостно*). Телеграмма?

Виктория. Папа, прости, я забыла, Пчелка тебе звонил о телеграмме. Скорей позвони ему.

Вересова. Не нужно. (*Передает телеграмму Вересову и внимательно смотрит, как тот читает.*) Выплакал разрешение остаться.

Вересов. Видишь ли, Саша...

Вересова. Егор, брось вилять. Ты не едешь?

Вересов. Видишь ли... (*Твердо.*) Да, я не еду, Саша.

Вересова. Отлично. Старшим сторожем остаешься? Ну, чего кривишься? Так и сказано в телеграмме: «Назначаетесь временно начальником территории завода». (*С сожалением.*) Недомыслие это у тебя или слепая привязанность к месту, как у кошки?

Виктория. Мама!

Вересова. Не суйся, Виктория. Понравилось управлять пустым заводом? Не боишься, что тебя здесь крысы съедят?

Из коридора заглядывает Ребров.

Ребров. Александра Васильевна, ежели насчет крыс...

Вересова (*кричит*). Этот болтун, этот бездельник, этот нахал!..

Ребров исчезает.

(*Успокаивается.*) Вот что, Егор, ты свое дело сделал — люди и достояние отправлены; если хочешь, как капитан корабля, сойти последним — подожди до завтра и на машине догоняй нас.

Гудок машины.

Вересов (*встрепенувшись*). Саша, грузовик ждет.

Вересова. Слышу, Егор. Сделаешь так?

Вересов. Сделаю, Саша.

Вересова. Думаешь, я хоть на грош тебе верю! Ох, Егор, много ты мне и себе насолил в жизни... (*Покосилась на Викторю.*) Как будто смирный, а упрямый как козел! (*Растроганно.*) Ну, прощай, серенький.

Обнялись.

(*Строго дочери.*) А ты почему с отцом не прощаешься?

Виктория целуется с отцом.

Я не видела среди вещей твоего велосипеда, разве ты его не берешь?

Виктория. Нет, мама.  
Вересова. Зря. Еще достанется немцам. *(Без улыбки.)* Я шучу. *(Мужу.)* Серенький, ты не проводишь нас на вокзал?

Вересов молчит.

Понимаю, боишься, что увезу. Так не скажешь в последний раз, зачем остаешься?

Вересов молчит.

Виктория, выйди из кабинета.

Виктория медлит.

Не бойся, не обижу отца.

Виктория неохотно уходит.

Слушай, Егор, я не хотела на эту тему... Но если ты не едешь с заводом из-за меня и Ченцова: мол, не хочу быть там, где моя бывшая жена и мой бывший друг...

Вересов хочет ее прервать.

*(Повысила голос.)* Если это так, значит, ты мельче, чем я ожидала. Compliments не жди, я тебе их никогда не говорила. Но рассудительности у тебя могло хватить на то, чтобы...

Вбегает Виктория.

Виктория. Мама, шофер говорит, что не может ждать.

Вересова. Подслушивала?

Виктория. Ну и что! Я прошу тебя, мама...

Вересова *(без гнева и обычной резкости)*. Проси отца. *(Уходит.)*

Виктория *(быстро шепчет)*. Я знаю, ты остаешься вовсе не из-за того, что мама... Нет, я не стану, мы же договорились. Папа, я знаю, ты уйдешь в армию или в партизаны вместе с Пчелкой и Микишевым, не отрицай! Хочешь, я скажу ей в вагоне, а хочешь — смолчу...

Голос Вересовой. Виктория!

Виктория убегает. Вересов торопливо идет за ней. Слышен автомобильный гудок. Входит Ребров.

Ребров *(снял фуражку. С чувством)*. Счастливый путь! *(Огляделся, увидел на столе шляпу Вересовой.)* Ну вот я и опять при начальстве. *(Берет шляпу в руку.)*

Пятнадцать целковых от силы. Эх, Егор Афанасьевич, Егор Афанасьевич... Горе Афанасьич ты наш! Нет, кто бы подумал, что Вересов... *(Почистил рукавом шляпу, бережно положил на стол.)* А я его всегда уважал, честное слово...

Вересов возвращается.

Вересов. Сторожей позвал? Нет, конечно.

Ребров. Егор Афанасьевич, всех сполна! Еще перевыполнил...

Вересов *(звонит по телефону)*. Вокзал. Сейчас будет последняя машина. С моей стороны больше задержек нет. И претензий нет. Будь здоров, Ершов. *(Повесил трубку.)* Не видел никогда этого Ершова, десять дней с ним ругался по телефону... *(Реброву.)* Что, говоришь, перевыполнил?

Ребров. Нет, это я так... *(Видя, что Вересов взялся за шляпу.)* Егор Афанасьевич, видели, сколько еще стариков в поселке? Буквально как в мирное время, все лавочки перед домами, бывало, облепят.

Вересов *(с огорчением)*. Вывезти бы их отсюда... Очень они все старые?

Ребров *(конфузливо)*. Перестарки, Егор Афанасьевич... А помню, какие мастера были! *(С увлечением.)* Лианозов собственноручно для броненосцев валы отливал. Сам директор мимо на цыпочках ходил. Теперь Лианозов, конечно, пенсионер. Или, скажем, Ченцов, знаменитый слесарь. Дай ему самый тонкий заказ — сотворит лучше господ бога. А какой боевой парены! На спор на морское дно лазил... Нынче он, конечно, глухарь. Даже малость... *(Выразительно постучал по лбу.)* Возьмем Егорыча. На вид неказистый, смиренный, как вошь. А что за кузнец был, что за кузнец! Увы! На сегодняшний день он хромой, как бес, и весь высох. Вот жизнь чего с людьми делает, Егор Афанасьевич. Или, скажем...

Вересов. Ясно, Ребров. *(Хочет звонить по телефону.)*

Ребров. Конечно, Егор Афанасьевич, если их освежить, пыль повыколотить... *(Осторожно.)* Может, взглянете?

Вересов. На кого?

Ребров. Да на старичков с поселка. Я их позвал. Может, думаю, сторожей на заводе захотите прибавить или сменить.

Вересов. Самовольничаешь, как всегда. Где они?

Ребров. В проходной. (Убегает.)

Вересов (вдогонку). Принеси стулья. (Берет телефонную трубку.) Райком. Товарища Пчелку. А скоро будет? (Кладет трубку и снова снимает.) Горсовет. Товарища Микишева. Куда уехал? Ах так! (Вешает трубку.) Гм, и посоветоваться не с кем. (Снимает трубку.) Райком комсомола. Секретаря нет? (Вешает трубку.) Так. Остается один мой приятель, уж он-то всегда на проводе. (Снимает трубку.) Вокзал. Ершов? Вересов говорит. Ну, Ершов, эшелон отправил? Слава богу. (Кричит.) Слава, говорю, богу! А ты, Ершов, все ершишься... Ну, рад тебя больше не слышать. Желаю здоровья. (Вешает трубку.)

Ребров заглядывает в кабинет.

Ребров. Егор Афанасьевич, можно?

Вересов. Давай.

Входят старики пенсионеры. Среди них Ченцов, Лианозов, Егорыч. Последним входит Суровый старик, в тулупе, с ружьем. Ребров ворча сторонится.

Присаживайтесь, друзья. Ребров, а стулья?

Ребров. Постоят. Их дело молодое.

Вересов. Сейчас же принеси.

Ребров (делает таинственные знаки). Так вы же, Егор Афанасьевич, до последнего стула завод очистили.

Вересов. Что ты сочиняешь? Хорошо, садитесь на подоконники.

Старики рассаживаются.

Сразу спрошу: винтовку держать в случае чего сможете?

Все недоуменно молчат.

Силы в руках есть сколько-нибудь?

Егорыч (загадочно). В руках-то есть...

Вересов. Ну?

Ребров. В ногах нет. Егорыч, покажи свою статью.

Егорыч тяжело ковыляет по комнате.

Вересов (морщась). Ну, а ты, дедушка?

Ченцов улыбается.

Ребров. Это Ченцов, Егор Афанасьевич. Папаша Сергея Петровича.

Вересов. Серегин отец... Прости, не узнал. (Кри-

чит Ченцову.) Хочешь сына заменить, Петр Савельевич? Родной завод оборонять от фашистов...

В комнате раздалась смешки, Ченцов улыбается.

(Стараясь понять, о чем думают сейчас старики.) Ладно, можете идти, товарищи.

Пауза. Никто не уходит.

До свидания, вы свободны.

Старики негромко переговариваются: «Устарели, говорит». «Ты дай мне винтовку в руки». «Как не постоять за завод!» Голос Реброва: «А что ж молчал, когда спрашивали? Подвели вы меня, ребята». «А чего он так, к одному Ченцову? Побеседовать надо толком». «Ни шиша не знаем, что на фронте делается».

Старики и Ребров уходят. Остается сидеть у двери на откуда-то взявшемся единственном стуле сутулый, маленький человек. Это Пчелка.

(Роясь в столе.) Товарищ, собрание кончено (обернулся). Товарищ Пчелка?.. Извини, я тебя не заметил...

Пчелка. Меня часто не замечают. Ты чем-то расстроен, товарищ Вересов?

Вересов. Хотел посмотреть свои кадры...

Пчелка. Ну и как?

Вересов. Увидел их всех вместе — испугался. Дом инвалидов. Хромые, глухие...

Пчелка (привстав). Горбатые.

Вересов. Ах, черт возьми!

Пчелка. Чудак, это же хорошо, что забыл. Значит, не очень заметно. Теперь вот что, Вересов: семью отправил?

Вересов (облегченно). Отправил.

Пчелка. Эшелон ушел?

Вересов. Ушел. Только что я звонил Ершову.

Пчелка. Еще лучше. Авось проскочит.

Вересов (не понял). Как?

Пчелка. Кабы сегодня ночью немцы дорогу не перерезали.

Вересов (умоляюще). Мне бы на фронт, товарищ Пчелка!..

Пчелка. Что ж. Боевой опыт у тебя имеется. Юденича в девятнадцатом гнал от Питера. (Взглянул на свои ручные часы.) Куда пропал Микишев? Всем хорош наш

предгорсовета, собой красавец. . . (Неожиданно.) Чего вы с ним не ладите?

Вересов (растерянно). Я уважаю Александра Михайловича. . . А он меня, кажется, не очень. . .

Пчелка. Ерунда. В такие дни надо дружить. Взгляни, который час на твоих?

Вересов (вынимает золотые часы). Восемь. . . (Волнуется.) Нет, семь. . . Фу, что я!

Пчелка (заглядывает ему в ладонь). Хорошие часы. Давно купил?

Вересов. Жена подарила. На пятнадцатый год свадьбы.

Пчелка. Ценный подарок. Ну-ка, взгляни еще.

Вересов. Восемь часов.

Пчелка. Хорошо, что не девять. Успеем без паники оповестить население.

Вересов. О чем, товарищ Пчелка?

Пчелка. Все о том же: копать окопы. Теперь у самого дома заляжем. Вдоль заводского пруда, за кладбищем. Ты будешь руководить работой.

Вересов. Товарищ Пчелка. . .

Пчелка (жестко). Забыл, как отвечать по-военному?

Вересов (вытянулся). Слушаюсь, товарищ секретарь райкома. (Жалобно.) Да не могу я больше распоряжаться, Федор Матвеевич! Вы же меня знаете: самый что ни на есть рядовой исполнитель. Даже должности такой на заводе нет — «инженер-инвентаризатор», а меня так прозвали. Одно слово-то чего стоит: ин-вен-та-ри-за-тор!

Пчелка (хмуро). Да, слово длинное, зря время на него теряешь.

Вересов (не слушая). Это верно. Отпусти меня скорей в армию. Солдат из меня выйдет правильный, а начальник я никакой. . . даже над сторожами!

Быстро входит Микишев, рослый, видный мужчина. За ним вбегает Виктория с рюкзаком за плечами.

(Поражен.) Витя! Что случилось?

Виктория (выпаливает одним духом). Товарищ Микишев, возьмите меня к себе в отряд, я все уже знаю, я от Павла Ченцова знаю, вы его в отряд взяли, возьмите и меня тоже!

Микишев (оглянулся мельком). Что это за девица?

(Отошел к Пчелке, озабоченно говорит с ним вполголоса.)

Слышны лишь отдельные слова: «Был у соседей... трудно... Говорят, скорей под ружье...»

Вересов (*не может опомниться*). Витя, что произошло? Эшелон не ушел?

Виктория. Ушел, ушел, папа. Я все тебе объясню. Я выскочила из эшелона на повороте. А эшелон ушел, ты не тревожься. Мама уехала.

Вересов. Только я успокоился... Вот беда! Зачем ты это сделала?

Виктория. Папа, я тебе не помешаю. Товарищ председатель горсовета, вы возьмите меня в партизанский отряд, очень рекомендую. Я стрелять умею. Я все могу делать. Я и в лесу привыкла жить. Мне даже лучше в лесу, чем дома...

Микишев (*обернулся*). Что за чепуха? В каком лесу? Слушайте, у нас регулярный рабочий батальон, никуда мы в лес не идем, а занимаем позицию перед заводом. И дальше ни шагу. (*Неприятенно косясь на Вересова*.) Виноват, неточно освещаю вопрос: дальше будем гнать немцев.

Пчелка (*дотронулся до автомата, висящего у Микишева за спиной*). Перевесь на грудь, на груди он должен висеть, я видал на картинках. Пойдем раздавать оружие.

Вересов. Витя, как же теперь? Что я с тобой буду делать? (*Обернулся к другим*.) Нет, вы только поглядите на нее, товарищи!

Микишев (*грубо*). Инженер Вересов, может, повременим с семейной паникой?

Виктория. Конечно, папа, эшелон ушел, я осталась! (*Бежит за Микишевым и Пчелкой*.) Товарищ комбат, я с вами...

Звонит телефон.

Вересов (*торопливо берет трубку*). Да, это я. (*Удивлен*.) Мы же с тобой распрощались... Кого? (*Пчелке*.) Ершов ищет секретаря райкома.

Пчелка (*взял трубку*). Слушаю. Так. Понимаю. (*Лицо его мрачнеет*.) Надо немедленно вывести из-под огня и вернуть обратно. Нет, не на самую станцию. Поврежден паровоз — пошли резервный. Правильно, по прибытии всем пассажирам немедленно покинуть поезд.

Действуйте. *(Повесил трубку.)* Немцы перерезали пути. Раньше, чем мы ожидали... *(Внимательно оглядел всех.)* Бои продолжаются. Наш эшелон попал под бомбежку и артиллерийский обстрел. По сведениям Ершова, имеются жертвы.

Виктория. Жертвы!.. А мама?..

### КАРТИНА ТРЕТЬЯ

По краю кладбища проходит оборонительная полоса. В глубине сцены виден заводской пруд. Издалека доносятся звуки артиллерийского боя. Постепенно они приближаются. Появляется Вересова. Она все в том же элегантном пальто, подпоясанном ремнем, и с планшеткой через плечо; сегодня она мрачна, подавлена, сосредоточена на чем-то своем, отъединяющем ее от мира; бредет как потерянная вдоль линии окопов. В тот момент, когда она уже уходит, в траншее показалась Ченцова. С трудом выбравшись из окопа, она садится на землю, воткнув возле себя лопату, подвязывает бечевкой галоши. В траншее появилась Аглая.

Аглая *(видна нам по пояс; поправляет на голове щегольской платок)*. Зина, протяни руку. Что-то я устала с непривычки. Или юбка узкая.

Ченцова *(хмуро, помогая ей вылезть из окопа)*. Все модничаешь.

Аглая *(с огорчением смотрит на свои туфли)*. Глины этой налипло, ужас! *(Потопала об землю ногами, обернулась к траншее.)* Окопчик ничего, дай бог на пасху. Главное, ни одного мертвяка не попало. Ух, я брезгливая к мертвякам!

Ченцова. А кто велел на кладбище лезть? Мало живого места!

Голос из окопа. Стратегия, тетки, такое дело.

Аглая. Чего он пискнул? *(Нагнулась к окопу.)* Витька!

Ченцова. Тишка, а не Витька.

Аглая. Верно! У тебя всё мальчишки, не поспеваешь считать. *(С завистью.)* И как это у тебя получается? *(Слохзатившись.)* Ой, Зинка, прости, никак не привыкну... *(Понизив голос.)* Слушай, Сергей-то один, без нее уехал.

Ченцова. Не бойся, она не отлипнет.

Аглая. Да уж теперь, когда он начальник цеха... Все был рабочий, рабочий... Ты погоди, в Сибири он еще не так развернется.

Ченцова *(ожесточенно)*. Для чего ты о нем? Для



чего? Был у меня муж да сплыл, ну и все! Пошли они!..

Аглая (*грустно*). Не ругай судьбу, Зина. Мне разве легче? Мой Борис даже память о себе не оставил. А у тебя трое.

Ченцова (*еще грубее, чем всегда*). Сравнила! Твой героем погиб на финской, а мой... (*Горько*.) «Мой!» (*Берется за лопату*.) Давай лезь в траншею.

Аглая (*убежденно*). Нет, Зинка, нет, мужика не удержишь. Полюбил другую — и прощай. И судить не за что. Забыла, какая бывает любовь?

Ченцова. Ты зато не забываешь. Сегодня один, завтра другой. Практика.

Аглая (*вдруг рассердившись*). Ну и правильно, что Сережа тебя бросил. Выучился на инженера — и бросил. С такой злыдней жить...

Из траншеи показывается голова Тишки.

Тишка. Будет вам. Стрекочут без толку. Хотите, стратегию объясню? Скажем, здесь могилы, а здесь траншея. (*Показывает лопатой*.) Позади ее что? Позади ее чугунные броневые плиты. Зайдет сюда боевое охранение, залягут сюда стрелки — уж будьте покойнички! (*Прицеливается из лопаты*.) Получится кругом неприступная местность. Понятно? (*Исчез*.)

Аглая. Тишка, тебя что, покойник за ногу схватил?

Тишка неторопливо вылезает наверх.

Тишка. Кабы я тебя не схватил.

Аглая (*удивленно*). Смотри какой!

Ченцова (*гневно*). Ты, фрукт! Трепаться пришел или копать?

Тишка (*присмирив*). Копать.

Ченцова (*бешено наступая на него с лопатой*). А копать — так копай!

Аглая (*примирительно*). Чего ты его? Оставь...

Ченцова. Ненавижу, когда хулиганье растет!

Аглая. Какой еще с него хулиган. До хулигана ему еще расти и расти. А вырастет — глядишь...

Свист снаряда. Обе женщины невольно пригнулись.

Тишка (*восторженно*). Пошел! Пошел!

Глухой звук разрыва.

Аглая (*договаривает*). Глядишь, человеком будет. (*Тишке*.) Чего ты радуешься, глупыш? Может, в завод, может, в дом попало.

Тишка. Может, деду нашего убило!

Аглая (*укоризненно, Ченцовой*). Зачем позволяешь? Уж у меня на что свекор строгий, а я ему никогда зла не желаю. (*Заметив старика, пробирающегося вдоль могил и читающего надписи на плитах.*) Это не мой старик? Я ведь близко вижу.

Тишка. Это Козлухин. У вашего борода длиннее.

Аглая. Козлухин, ты что потерял?

Козлухин выпрямился, облокотясь на лопату.

Козлухин. Потерял, молодушка, одну дорогую могилу. Дружок где-то здесь похоронен, а где — найти не могу. Такие приятели были, тридцать лет простояли рядом. Шум, гром в цеху, ничего не слышать, а я тихонько ему: «Афоня!» — «Эге, говорит, Андрюша?» Ну словно я ему на ухо шепнул, а? Вот какие были дружки. (*Оглядывается.*) Ах ты, саван, да где же его могила?

Свист снаряда. Все ждут, на этот раз не пригибаясь. Разрыв громче, чем предыдущий.

Тишка. Этот поближе. А следующий прямо к нам.

Ченцова. Ты будешь еще у меня каркать?!

Пронзительный свист снаряда.

Аглая (*кричит*). Ложись!

Обе женщины и Тишка бросаются наземь. Козлухин с любопытством оглядывается.

Тишка (*дергает его за пиджак*). Козлухин, ложись, сейчас разорвет!

Козлухин озирается кругом. Головы, уткнувшиеся в землю, начинают опасно шевелиться.

Аглая (*с облегчением*). Не разорвался.

Все трое поднимаются.

Тишка. Значит, паршивый снаряд попал. Кабы хороший...

Ченцова (*с сердцем*). Ух, проклятуший!

Аглая. А ты, Козлухин, зачем судьбу испытываешь?

Козлухин (*задумчиво*). Я, молодушка, снарядов не боюсь. Против снаряда и против пули я еще с той германской войны заговоренный. А вот что есть мина? (*Вопросительно оглядывает всех.*)

Тишка (бойко). Мина, Козлухин, — это такая, вроде...

Появился Вересов. Запыхавшийся, озабоченный, в руках рулетка. Пожилая женщина тащит за ним угломерный инструмент и рейки.

Вересов. Девушки, девушки, по окопам! И ты, Васильевна. Пока сюда жарят, укройтесь, для того и рыли. (Тишке.) А ты, малец, пойдешь со мной, бери у Васильевны инструмент и рейки.

Аглая (кокотливо). Товарищ Вересов, окопчик у нас не посмотрите?

Вересов (проходя вдоль изломов окопа). Ширина... (Мерит складным метром.) Высота насыпи... (Прыгает в траншею.) Глубина... Ширина по дну... Так, правильно. А канавку углубить надо сантиметров на пять, дело к осени. (Вылезает наверх, Ченцовой.) Вы мне что-то...

Ченцова. Ничего, проехало.

Аглая. Зина, товарищ Вересов нами доволен, одобрение выражает...

Ченцова. На кой оно шут! (Ударила лопатой о землю.) Удобрения и без него хватает.

Вересов (нагнулся, читает могильную надпись. Грустно взглядывает на женщин). Да-а, вот она какая штука. (Немного постоял, тряхнул головой и быстро уходит.)

Тишка тащит за ним инструмент и веки.

Аглая (Ченцовой). Зачем ты с ним так? Он-то в чем виноват? Мало он сам перенес от жены да от твоего Сергея...

Ченцова. Ну и пусть! Терпеть не могу таких чипчилигентов!

Аглая (мечтательно смотря ему вслед). Нет, он ничего... Довольно симпатичный инженер. Ишь старается, и шляпа на затылок! (Ухарски, передернула плечом.) По мне и худой мужичишка от дождя покрышка!

Ченцова. Некому тебя, Глашка, бить... (Плюет на ладони и лезет в траншею.)

Аглая, качая головой и загадочно улыбаясь, следует за ней.

Козлухин (приблизясь к могиле, подле которой стоял Вересов). Ну-ка, чего тут написано? (Нагибается над плитой и читает.) «Афанасий Егорович и Василиса

Петровна Вересовы... скончались в тысяча девятьсот двадцатом году... от тифа». Да ведь это... *(Кричит.)* Нашел! Молодушки, нашел своего дружка! Афоня! Вот ты где, Афоня! *(Снимает кепку.)* Посидеть с тобой? *(Садится, тихонько.)* Афо-ня! *(Прислушивается, склонив ухо.)* Не чуешь? Жалко. Повоевали бы вместе.

Звуки боя приблизились. Отчетливо слышится пулемет. Появляется Микишев с группой вооруженных дружинников, среди которых Пашка, Виктория, девушки с грузовика.

Микишев. Занимайте оборону, товарищи бойцы. Прошу помнить: эта линия вторая и последняя. Видите, до чего дошли? *(Показывает на могилы.)* Значит, умрем, а выстоим. Всем ясно?

Пашка, Виктория и еще несколько дружинников прыгают в окоп, остальных Микишев ведет дальше.

Виктория. Пашка, подсади. Никто пока на нас не наступает — что мы будем на дне, как крысы! *(Опершись на плечо Пашки, вылезает наверх и садится, спустив ноги в окоп.)* Хорошо! Все видно! *(Незаметно погладила Пашкину щеку.)* Пруд видно... *(С увлечением декламирует.)*

Камень, кинутый в тихий пруд,  
Всхлипнет так, как тебя зовут.  
В легком шелканье ночных копыт  
Громкое имя твое гремит.  
И назовет его нам в висок  
Звонко шелкающий курок...

Девушка *(неприязненно)*. Недисциплинированная ты, Вересова. На фронте стихи читаешь...

Виктория *(показав Пашке на Ченцову, с трудом выбирающуюся из окопа)*. Помог бы матери. *(Вскочила, протягивает ей руку.)*

Ченцова не обращает на нее внимания.

Аглая *(с любопытством приглядывается)*. Никак, дочка нашего инженера по обороне? Очень приятно познакомиться: Аглая.

Виктория *(охотно)*. Виктория.

Аглая. Ух какие мы именитые! Не Маруся, не Верочка — Аглая, Виктория! Нас, таких, не забудут, стихи про нас напишут...

Усилилась пулеметная и ружейная перестрелка. Слышен шум идущих вдалеке танков.

(*Встревоженно.*) Давай, Виктория, вниз. Твой папка верно сказал: «Укройтесь, девушки, для того и рыли». Ты куда, Зина?

Ченцова с лопатой на плече уходит.

Между прочим, характер у Зинаиды!.. Вот проклятое семейное счастье! Разве она такая прежде была? Веселая, всех подначивала...

Показывается Вересов. С другой стороны появляется Пчелка.

Вересов. Витя, где мама?

Виктория (*неопределенно*). Там.

Вересов. Где там?

Виктория. Сидит одна в эшелоне.

Вересов. Как же так? Вокзал непрерывно обстреливают. Почему ты за ней не пошла, не уговорила?

Виктория (*пожав плечами*). Была.

Вересов. Ну и что она?

Виктория. Хочет переупрямить поезд. Дождаться, пока возобновят движение.

Появляются Егорыч, Лианозов и Суровый старик с винтовкой на ремне. Здороваются с Вересовым.

Вересов. Ох, деды, кабы военные начальники нам не нахлобучили. Гражданских сюда набралось чуть не полк, а пользы от вас, скажут...

Вбегает красноармеец.

Красноармеец. Разрешите обратиться. Кто здесь секретарь райкома?

Пчелка (*вышел вперед*). Я секретарь.

Красноармеец (*недоверчиво*). Фамилия?

Пчелка. Пчелка.

Секунду поколебавшись, красноармеец достает из нагрудного кармана записку. Пчелка внимательно ее прочитывает и передает Вересову.

Вересов (*прочитав*). Разрешите объяснить обстановку.

Пчелка (*вздыхнув*). Поздно объяснять, Вересов. Или действуй, или отказывайся. Конечно, задача опасная.

Вересов (*возбужденно снимает и надевает шляпу*). Опасная! Или—или! Легко тебе ставить такую альтернативу! А где инструмент? Опасная! А где люди?

Пчелка *(спокойно)*. Словом, так, Вересов: если не пустим в дело подбитые машины... Взгляни-ка на свои подарочные.

Вересов глядит на часы.

Если не пустим, скажем, через час, много полтора часа, — к черту сомнут фашисты и первую, и вторую линию обороны. Понял?

Вересов *(уже без всякой горячности)*. Что? Что я должен понять? Только одно... *(Перепрыгивает через окоп.)*

Пчелка. Стой, стой! Хочешь, как Иисус Христос, один починить два танка? Индивидуу несчастный! Вернись на исходную позицию!

Вересов *(возвращается; уныло остановился перед пенсионерами)*. Лианозов, пойдешь со мной на ремонт?

Лианозов *(гордый оказанным доверием)*. С радостью, Егор Афанасьевич!

Вересов. С радостью... Не просто идти — ползти придется. Еще бы двоих найти покрепче.

Егорыч *(откашлявшись)*. Егор Афанасьевич, я не сгожусь?

Вересов. Трудно тебе передвигаться, Егорыч.

Егорыч. Отчего. Ползти мне вполне сподручно.

Вересов. Ладно, давай. Козлухин, ты тоже с нами?

Быстро идет вдоль окопа. Старики спешат за ним.

Виктория. Пашка, идем! *(Увидев, что тот колеблется.)* Ты же заправский слесарь...

Пашка молчит.

Неужели струсил?

Оскорбленный Пашка бледнеет, но не двигается с места.

*(Пристально смотрит на него.)* Так презираешь моего отца, что не хочешь идти под его начальством? *(Бежит вслед за стариками и Вересовым.)*

Пашка молча выбрался из окопа. Появляется Микишев.

Микишев *(грозно)*. Бойцы рабочего батальона, для вас что — война кончилась? Начались детские забавные игры? Ченцов, отставить! Девица Вересова, на место!

Пашка и Виктория возвращаются на свои места в окопе. Вересов, Лианозов, Егорыч и Козлухин переходят по доске через траншею.

С ними же оказывается неизвестно откуда взявшийся Ребров.

Лианозов. Рассылка, а ты куда?

Ребров (*хорохорясь*). Как — куда? Я для связи.

Вересов и старики уходят.

Микишев. Положение! Удержим мы до вечера оброну, если армейцы качнутся?

Пчелка. Ты давно говорил с комбатом?

Микишев. У них на две трети личный состав выбит. Не осталось ни одного среднего командира. А у нас? Видал ребятишек? Воинской выдержки на копейку не будет.

Пчелка (*озабоченно*). Заметил, струхнул кто-нибудь?

Микишев (*пожал плечами*). Пока нет. По неведению не боятся.

Пчелка. А ты, всеведущий, боишься?

Микишев. Ну что ты сравниваешь! Нам с тобой не положено бояться. Мы отвечаем за все, мы руководители.

Пчелка. А они что-то вроде серой скотинки? Каша у тебя иногда в голове, Микишев. Гречневая.

Микишев (*обиженно*). Почему гречневая?

Пчелка (*всматриваясь, куда пошли ремонтники*). Сумеет ли Вересов вернуть танки — вот в чем вопрос.

Микишев. Сам поручил ему возглавить. Спросил бы меня, я бы ответил.

Пчелка. Что ответил?

Микишев. Нет у меня к нему доверия.

Пчелка (*быстро*). Думаешь, перекинется к немцам?

Микишев (*уклончиво*). Не в том дело...

Пчелка. Как — не в том? Шутишь! Есть основания не доверять — давай выкладывай.

Микишев (*неохотно*). Оснований особых нет... Что он так жметесь, точно в поезде без билета едет? Вышли мы все из народа, как говорится, — так будь хозяином, понимаешь. Никак я его не могу раскусить. Сын кадрового рабочего, участник гражданской войны, при Советской власти стал инженером... и столько лет на подхвате! А ведь не пьяница, не идиот. Да с такими возможностями другой бы за это время мог стать директором завода, если не наркомом.

Пчелка. Другой. То есть, например, ты.

Микишев (*скромно*). Ну... у меня образования всего техникум. Я и в возраст еще не вошел...

Пчелка. А уже председателем горсовета выдвинули. Карьера головокружительная.

Микишев (*горячо*). Речь же не о карьере, Федор Матвеевич! Как ему самому-то не совестно не выковать из себя командного кадра? Для чего обучали рабочего парня в институте? Чтобы он инвентарные номерки навешивал? Нет, Пчелка, ты меня не разубедишь — слабый он тип. А слабость всегда может подвести даже честного человека. Ясен ход моих мыслей?

Пчелка (*заинтересованно, словно забыв на минуту, почему они здесь*). Ты затронул сложный вопрос, Микишев. И, как всегда, упрощаешь. Ставишь в вину нехватку социального честолюбия и на этой основе лишаешь политического доверия. Верно я тебя формулирую?

Микишев. В научных формулах, как ты знаешь, я не чересчур разбираюсь.

Пчелка (*прищурился*). А почему, собственно? Ты же не из колодца вылез. Не рядовой человек, как какой-нибудь Вересов, а руководитель.

Микишев (*хохотнул*). Эх, Пчелка, не можешь ты не ужалить! Ладно, идем в штаб дивизии.

Идут вдоль окопа.

Аглая (*высунулась из окопа*). Товарищ предгорсовета, взгляните на этого синьора. Его хваленое ателье месяцами заказы не выполняет. Я считаю, позор для нашего города!

Микишев (*нетерпеливо*). В чем дело? Какие заказы?

Из окопа вылезает немолодой мужчина в кожаном реглане — директор швейного ателье.

Директор. Товарищ Микишев, избавьте меня от насюков. Идет война, я честно воюю...

Аглая. С какого ты дня воюешь? С сегодняшнего? А примерка была в апреле. В общем, не будет через неделю пальто, сниму с тебя твое кожаное.

Микишев (*резко*). Гражданка, довольно скандалить на переднем крае! Вы, может, слышали, что у нас война?

Аглая. Не голой же на войне ходить. Пусть шинель сошьют. Или ватник. Зима скоро...

Микишев. Зима? (*Долго смотрит на нее, точно стараясь понять. Услужливо вылезшему из окопа директору.*) Там у тебя остался кто-нибудь из мужчин?



Директор. Никак нет, все на фронте.

Микишев. А мастерицы?

Директор. Ковязина на окопных. Гридина на окопных. Шилова эвакуировалась, Ратько в декрете...

Микишев. С окопов вернем. *(Аглая.)* Вместо остальных наберете новых, из домашних хозяек. Ну, что глядите, гражданка? Я вас назначаю директором ателье. С завтрашнего дня начинайте пошив ватников для нужд фронта и населения. Вопросы есть?

Аглая оторопело молчит.

Понадобятся фонды — найдите меня или зайдите в райком к товарищу Пчелке. Все. Точка. *(Директору.)* Занимайте оборону, товарищ боец.

Директор тяжело слезает в окоп. Микишев вопросительно обернулся к Пчелке. Тот молчит.

Микишев *(несколько сконфуженно)*. Зима, говорит, скоро...

Пчелка *(рассудительно)*. Зима, слава богу, еще не скоро, но... *(Не выдержав, хлопнул Микишева по спине.)* Голова, ты чувствуешь, что у тебя начали крылья прорываться?

Микишев и Пчелка уходят.

Аглая *(Виктории, нерешительно)*. Пошутил? Как по-твоему?

Виктория. Какие шутки? Аглая, я поздравляю вас!

Аглая *(захохотала)*. Ах ты господи! *(Свекру.)* Папаша, а вы чего не пошли ремонтировать? Вы же тоже бывший специалист по металлолomu.

Суровый старик *(грозно)*. Женщина, если ты!..

Аглая. Дома, папаша, доскажете. Ступайте скорей за ними. *(Спрыгнула в окоп.)*

Суровый старик, потеряв обычную величавость, догоняет товарищей. Появилась Вересова. Проходит мимо окопа, не замечая, что из него торчат головы Виктории и Аглаи.

Виктория *(тихонько)*. Слава богу, мама вышла из вагона. Бледная-бледная, как лунатик... Кого она ищет — меня или папу?

Аглая. Обрато идет!

Виктория *(крикнула)*. Мамочка, как хорошо, что ты с нами! Спускайся сюда, в траншею!

Вересова *(словно ничуть не удивившись, что встретила дочь)*. Ты знаешь, что заявил мне начальник стан-

ций? Что поезд никогда не пойдет! Кто, по-твоему, может так говорить? Только изменник Родины... Поезд должен уйти и уйдет сегодня же. И ты не посмеешь больше самовольничать! Слышишь? Нас ждут на востоке... *(В голосе ее слезы.)* Нас очень ждут!

Виктория *(не слушая, возбужденно смотрит через щель брестера)*. Наши все ближе, ближе к танкам...

Аглая *(она близорука)*. Мой-то догнал их?

Виктория. Сейчас догонит. Так и идут цепочкой... Ой, что это?!

Аглая. Что случилось?

Виктория. Упали... Это они нарочно. Ой, нет! *(Закрывает лицо рукой.)*

Аглая. Вика, милая, что?

Слышен дальний разрыв.

Виктория. Ранило... Двоих... *(Вглядывается.)* Один ранен... другой с ним остался. Остальные пошли вперед. А этот обратно повернул. Тащит на себе раненого... Но кого, кого? Неужели папу? Нет, в шляпе, кажется, впереди. Ага, папа впереди всех, направляется к левому танку...

Вересова *(начинает вникать в события)*. Виктория, что происходит? Почему ты позволила отцу?..

Виктория. Мамочка, миленькая, помолчи! *(Вглядывается.)* Идут... Все идут... Все ближе к танкам. А один... *(Кричит.)* Вижу, вижу, кто тащит на спине раненого! Наш Ребров! А раненый — с бородой!

Аглая. Это свекор! *(Выскакивает из окопа.)* Это я его на смерть послала...

Виктория. Аглая, но, может, еще не он!

Вересова. Что за женщина?

Виктория. Это папин бригадир по окопам. Правда, славная? Нет, это не ее свекор, это другой старик. *(Притихла.)* Он без сознания... или...

Ребров и Аглая несут убитого Козлухина. Виктория, выскочив из траншеи, помогает им перейти по доске на эту сторону. Они бережно кладут старика рядом с могилой родителей Вересова. Ребров совсем обессилен. Задыхаясь, садится на землю.

Аглая *(сочувственно)*. Устал?

Ребров. Отдышусь...

Аглая. Эх, Козлухин, Козлухин! *(Снимает свой нарядный платок, закрывает им лицо Козлухина.)* Чем его убило, товарищ Ребров?

Ребров. А? *(С трудом поднимает голову.)* Миной, красавица. Вот этакой миной. *(С усилием растопырил руки.)* Тыща осколков мимо меня просвистело. И ничего. А старика прямо в сердце.

Аглая. Недаром у него сердце чувствовало: боюсь, говорит, мины. Вика, ты что?

Виктория *(не спуская глаз с Козлухина, очень тихо)*. Я еще никогда в жизни не видела мертвого. *(Унимает дрожь.)* Это ничего, что я так говорю?

Аглая *(тоже тихо)*. Девочка, я сама переживаю. Вот не могу и не могу успокоиться... *(Громко.)* А ты, Ребров, молодец, не кинул в беде товарища!

Ребров *(снял фуражку)*. Царство ему земное. Земное, подчеркиваю.

Аглая. С каким это он дружком беседовал?! *(Нагнулась к могиле.)*

Ребров *(понижив голос)*. Здесь ихние дедушка-бабушка похоронены. *(Показал на Викторию.)*

Аглая *(прочитав надпись)*. В двадцатом году... Ах ты господи!

Ребров. Господь ни при чем, красавица. Все тут будем. А пока живы — о живом думать будем.

Пашка *(кричит)*. Добрались наши до танков! Внутрь залезли!

Виктория. Мама, видишь, что делает папа! Почему ты молчишь?

Аглая. Герой твой папка! *(Обнимает Викторию.)* Только бы их теперь не убило!

Виктория *(отстраняясь от Аглаи)*. Мама, ты плачешь?

Вересова отвернулась.

О чем ты плачешь, мама?

Пауза.

Ты и в вагоне плакала. *(Начинает догадываться.)* Не смей плакать! Я знаю, ты не о ком-нибудь... ты о себе плачешь...

Ребров *(бодро, не разобрав, в чем дело)*. Еще проживем, гражданочки! Погоним немцев! Погоним, не сомневайтесь, Александра Васильевна...

Виктория. Не плачь, слышишь, мама! Как я хочу, чтобы ты скорее уехала! Как я этого хочу!

Занавес

## КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Ремонтно-механический цех, полутемный, полупустой, с собранным старым, давно отслужившим оборудованием. Здесь и куют, и сверлят, и клепают, и сваривают — это напоминает скорей захудалую мастерскую, чем цех большого, знаменитого до войны завода. За стеклянной перегородкой конторка мастера (начальника цеха). Стекла, как и повсюду, выбиты, но если в окнах и в крыше они заменены фанерой и толем, то перегородка зияет пустыми переплетами, лишь символически отделяя начальника от рабочих. К перегородке примыкает видимая нам часть цеха, где на переднем плане стоит полевая пушка. Три старика — Лианозов, Егорыч и Ченцов — ремонтируют орудие. Им помогает Ребров. Тут же, возле орудия, спят на голом полу молодые парни, артиллеристы. Немного подалее несколько женщин мастерят что-то из жести; среди них Ченцова.

В глубине цеха сверкают по временам автогенные вспышки.

Ребров. Читали, ребята, такой роман «Три мушкетера»?

Егорыч. Слышать слышал. (*Копается в механизме пушки.*)

Ребров. Слышать мало, надо читать иногда серьезные книги. Там три боевых друга описаны. Благородный Атос (*показывает на Лианозова*), силач Портос (*показывает на замухрышку Егорыча*), красавец Арамис (*показывает на восьмидесятилетнего Ченцова*). Куда один, туда все на выручку прутся. А четвертый (*скромно показывает на себя*) — самый молодой и самый инициативный. Дартанян прозывается.

Лианозов. Армянин, что ли?

Ребров. Все чистокровные французы.

Егорыч (*озабоченно*). Заклинило. Дай-ка, Ребров, деревянную колотушку. (*Бьет по заклинившейся части затвора.*)

Ребров (*оглянулся на спящих артиллеристов*). Вот кого нынче из пушки не разбудишь. Больше суток ее чиним, хоть бы на троих один глаз открыли.

К артиллеристам подошла Ченцова, сумрачно вглядывается в их лица.

Опять на чужих сынов глядит. Кремень-баба, а скучает. Старший сын в батальоне, другой связным у Микищева. (*Кричит Ченцову.*) Твой внук, дедушка!

Ченцов кивает головой, улыбается.

Так и шпарит на велосипеде вдоль фронта, по улице

Урицкого. Фронт-то нынче — не успел оглянуться, как уже на том свете.

Ченцова возвращается на место.

Ты бы поостерегла своего, воевать еще долго будем.

Егорыч (*в волнении*). Долго! Так это в одном поселке сколько народу выбьют! Господи, разве такого ждали? Здесь мы, а за прудом немцы! Каждого видят, в каждого целятся... поди всех в книжечку переметили...

По цеху идут Вересовы.

Егор Афанасьевич, вы большой человек на заводе... скажите, до каких это пор?

Вересов. Ты о чем, Егорыч?

Ребров. Он, Егор Афанасьевич, ждет-волнуется, когда немцев от завода отгоним. Ну, не ясна человеку высшая стратегия.

Вересов (*грустно*). Чепуху говоришь, Ребров. (*Открыл дверь в конторку, пропускает вперед Вересову.*)

Ребров (*на мгновение опешил*). Егор Афанасьевич, так это как же? Значит, я по-научному так понимаю современную боевую задачу: отогнать немца с винтовочного выстрела на пушечный? В сентябре остановили, сейчас отгонять время. (*Вдохновенно показывая своим товарищам на пушку.*) Замечаете подготовку? Но — ш-ш, молчок! (*Прикладывает к губам большую отвертку.*)

Егорыч (*слегка успокоившись*). Дай-то господи! Дай-ка, Ребров, отвертку.

Вересовы за перегородкой. На ее лице копоть, которую она размазывает какой-то грязной ветошью. Он по-прежнему неприметный и озабоченный, только вместо шляпы — вытертая каракулевая шапка, хотя еще далеко до зимы.

Вересов (*берет со стола листок бумаги*). Саша, я набросал тут примерный вид нашего нового заказа.

Вересова (*безразлично*). Какого нового?

Вересов. Ну как же, помнишь, вчера испытывали индивидуальный щиток. Бронебойная пуля с двадцати шагов не пробивает. Боец двигает его перед собой и ползет. (*Передает ей чертеж.*) Ты подумай, на складе оказался порядочный запас этой стали. Перед самой войной сняли броню с одного из видов вооружения. А я проглядел при эвакуации...

Вересова. Замечательно. (*Складывает листок вдвое и прячет его в планшетку.*) Еще одна фанаберия.

Вересов. Фанаберия?

Вересова. Скажи, для чего все эти игрушки?

Вересов. Как для чего? Для войны.

Вересова. Брось обманывать себя, Егор. Отлично знаешь, что настоящая война идет под Москвой, под Ленинградом, на Украине... *(Взяла с полки мину, вертит ее в руках.)* Город — герой, завод — фронт! Это очень заманчиво и красиво звучит. А на деле...

Вересов. Хорошо! Что же ты предлагаешь? Сдать завод немцам?

Вересова. Перестань говорить глупости! Не сдать, а не надо было позволять им перерезать железную дорогу.

Вересов пожимает плечами.

Вот-вот, делаем хорошую мину при плохой игре... *(Небрежно сует мину на полку.)*

Вересов. Осторожно!

Вересова. Не переоценивай свою продукцию, она пока без запальника.

Вересов *(мягко)*. Саша, у тебя на лбу копоть. Ты оставь эту ветошь. *(Достает платок.)* Кажется, чистый, хотя не ручаюсь. Живу-то по-холостяцки.

Вересова. Запоздалый упрек?

Вересов. Ну что ты, Саша!

Вересова *(взяла у него платок, вынула из планшетки зеркальце, тщательно вытирает лицо; задумчиво)*. Посмотреть бы минутку на наших, как они там, в Сибири...

Вересов *(слишком охотно)*. Ну, я не сомневаюсь, что Сергей справится с трудностями. А тебя и Витю мы отправим при первом возможном случае.

Пауза.

Вересова. Прости, я ведь тоже не хотела лишней раз об этом... Надеюсь, ты не считаешь, что я злюсь из-за разлуки с Сережей. Впрочем... *(Взглянула за перегородку, где Ченцов размеренно режет жесть.)*

Вересов. Понимаю.

Вересова. Нет, ты не понимаешь. Я хочу жить и работать там, где от меня больше пользы. Пусть хоть у черта на рогах, на куличках... Ты хочешь, чтобы я не завидовала Сергею. Да будь там в тысячу раз страшнее и тяжелее, — то, что я здесь, а не там, это так бездарно, так бездарно!..

Она порывисто вытерла платком глаза и вдруг увидела, что у самой перегородки стоит Ченцова и мрачно ее слушает. Вересова бро-

сила на стол платок и выбежала. И в тот же момент стоявшая рядом с Ченцовой Аглая решительно постучалась и вошла, не дожидаясь разрешения.

Аглая (*в новом, изящного покроя ватнике — с кокеткой, в талию, с плечиками. Бодро*). Здравствуйте, товарищ директор.

Вересов (*встрепенулся*). Здравствуйте, товарищ директор!

Аглая. Шутки шутите?

Вересов. Почему? Я директор завода, вы — швейного ателье. Вижу, ватники модные сконструировали. Ишь какие фигуристые!

Аглая. Да ведь хочется как-то женщин украсить. Радости-то у нас, в общем, мало.

Вересов. Да, радости пока немного. Надо будет Александре Васильевне такой оборудовать.

Аглая. А я предлагала через Вику. Товарищ Вересова отказалась.

Вересов. Зря. Садитесь, Аглая Федоровна.

Аглая. Егор Афанасьевич, я с просьбой. Нет ли у вас на заводе олифы натуральной?

Вересов. Крышу собираетесь красить? Так вы же теперь под землей укрылись. Между прочим, правильно сделали.

Аглая (*с удовольствием переживая недавние события*). Два раза, Егор Афанасьевич, наш домишко снарядом распарывало. Вот ужас! Ладно ночью, никого не было. Только успеем переехать — опять прямое... Нет, олифа нам не для крыши. (*Оглянулась на цех*.) Заказ у нас есть мудреный.

Вересов. Какой, если не секрет?

Аглая. Я так понимаю, Егор Афанасьевич: для войны заказ. А раз для войны...

Вересов. Тогда не рассказывайте. Много ли вам надо олифы?

Аглая. Скажем, так. (*Прикидывает на лежащих на столе счетах*.) Пять метров один комплект. Двадцать комплектов. Это будет сто метров. С запасом сто двадцать. Сто двадцать метров брезента проолифить надо. Сколько пойдет олифы?

Вересов. Ей-богу, не знаю. Толстый брезент?

Аглая (*смущенно*). Брезента у меня тоже нет, Егор Афанасьевич. У вас хотела спросить.

Вересов. Хитрая вы, Аглая Федоровна. Откуда я его возьму?

Аглая. Сто метров всего и надо-то. Да мы из восьмидесяти аккуратно покроем, Егор Афанасьевич...

Вересов (*сдержанно*). Не могу вам помочь. Поступит официальный заказ, тогда будем думать. Не обесчудьте, такой порядок.

Аглая. Я понимаю.

Вересов. И еще совет. В другой раз звоните по телефону. Какой смысл ходить по улицам под обстрелом.

Аглая растерянно поднимается со стула. Вересов тоже встает. Вдруг видит: в пустой раме лицо Реброва.

Ребров. Ежели насчет брезента, Егор Афанасьевич...

Вересов. Опять без спроса суешься!

Ребров. Я, Егор Афанасьевич, как ваш заместитель по всевозможной части докладываю, что имеется внезаводской брезент в количестве баснословного количества метров. Подчеркиваю: внезаводской, не учтенный в фондах. По-научному говоря, бесхозный...

Вересов. Откуда такой взялся?

Ребров. Можно к вам, товарищ директор? (*Открывает дверь, входит.*) Помните, перед самой войной цирк к нам приехал? Еще билеты на улице продавали.

Вересов. Ну?

Ребров. Приехал, а тут война. Сразу собрались и уехали. Заторопились. Приказано было отбыть немедленно. Вот этакой купол брезента бросили.

Аглая. Где он? Где? Говори скорей, Ребруша!

Ребров. Находится под моим присмотром. С нечеловеческим напряжением сил перевез его в одно место.

Вересов. По-научному говоря, свистнул. (*Аглая.*) Верите, в краску меня недавно вогнал. Влетел сюда осколок снаряда. Вот в эту стенку врезал. На столько бы ближе — прямо в висок. Положил я его на стол, на другой день рассказываю Пчелке, хочу показать — нет на столе осколка! Оказывается, его Ребров утащил...

Ребров (*обиженно*). Неправильно информируете, Егор Афанасьевич. Не утащил, а прибрал для будущего исторического музея. Завернул в бумажку и подписал: «Осколок фашистского снаряда, коим на самый лишь волос не был убит директор Н-ского героического завода товарищ Вересов Е. А.». И брезент я отнюдь не свистнул, а приберег для нужд труда и обороны.

Вересов. Где ж ты его бережешь? Дома, в чулане?



Ребров. Не дома и не в чулане, а на заводском складе.

Вересов (*поднимает руки*). Сдаюсь, сдаюсь! Значит, судьба шить плащ-палатки. Берите сколько чего понадобится, напишите расписку, будем в расчете.

Аглая. Спасибо, Егор Афанасьевич! Только не плащ-палатки, а...

Вересов (*заткнув уши*). Не хочу слышать! Ребров, проводи Аглаю Федоровну в склад.

Аглая (*робко*). Я к вам еще по личному вопросу...

Вересов (*удивлен*). Да? Ребров, ступай в склад, подготовь материалы.

Ребров уходит.

Слушаю вас, Аглая Федоровна.

Аглая. Не привыкла я к Федоровне, зовите попроще. Вика тоже меня Аглаей зовет...

Вересов (*оживился*). Витя здорова? Работает или опять мечтает?

Аглая. Егор Афанасьевич, не поняла...

Вересов. Забыли — она просила: когда начнется наше наступление, позволить ей вернуться в батальон. Но... кажется, наступление еще не скоро... Так что у вас за личное дело?

Аглая (*оглядевшись, замечая, что Вересов живет тут же, по-казарменному*). Я хотела спросить — не трудно, Егор Афанасьевич, вам сейчас одному?

Вересов (*посуровел*). Не трудно? Что это вам вздумалось?

Аглая (*испугалась, что он не так ее понял*). Егор Афанасьевич, я хотела... не прислать ли вам Вику? Может, пусть поживет рядом... пока...

Вересов. Пока что?

Аглая (*решившись*). Егор Афанасьевич, чур меня не выдавать. Я толком не знаю, но брезент и олифа, которые я у вас выпросила, для какого-то жутко рискованного дела требуются...

Вересов (*становится очень серьезным*). Аглая Федоровна, вы мне сказали — военный заказ.

Аглая. Для войны, сказала. Не все равно, как называть? На верную смерть идут ребята... (*Неожиданно*). Сказать Реброву, чтобы задержал выдачу?

Вересов. Простите, Аглая Федоровна, но зачем же вы хлопотали?

Аглая. Хлопотала. А сейчас вдруг кольнуло в серд-

це... *(Поспешно.)* Егор Афанасьевич, хотите, вам из того брезента комбинезоны пошьем для литейщиков... для кузнецов? Или вот плащ-палатки для батальона? Товарищ Микишев вам спасибо скажет...

Вересов. Странная вы женщина! Вы-то сами скажите: нужны вам брезент и олифа или не нужны?

Аглая *(упавшим голосом)*. Вот вы на меня и рассердились. Так хорошо мы беседовали... Честное слово, я вашу Вику как свою полюбила...

Широко распахнув дверь, входит Микишев.

Микишев. Общий фронтной поклон. *(Аглае.)* Вы кончили со своим вопросом? *(Ждет, пока Аглая выйдет.)*

Аглая ушла.

Как ты смотришь на то, чтобы сделать для нас энное количество так называемых щитков?

Вересов *(обрадовался)*. Ты же их вчера не хотел признавать!

Микишев. Что значит — признавать? От ружейного и пулеметного огня срам кой-как прикрывают — и ладно. Еще придется отгонять от завода фашистов.

Вересов *(живо)*. Когда? Например, на мой взгляд, чем скорее, тем лучше...

Микишев *(с юмором)*. А ты подскажи командованию!

Вересов *(вполне серьезно)*. Почему я? Ты военный работник.

Микишев. Не смей меня. Если комбат станет подсказывать генералам... Это вроде того, как вчера мои бойцы пришли мне советовать. *(Распалаясь.)* Нет, додумались! Предложили мне что, думаешь? Хотят пройти по дну в самодельных водолазных костюмах... Говорят, сошьем их хотя бы из мешковины, проолифим.

Вересов насторожился.

В одной руке автомат, в другой граната, и в темную ночь ударим по немцам. По немцам, которые укрепились на том берегу по всем правилам фортификации! Сказка? И еще претендуют, чтобы я немедленно доложил об их бредовом десанте начальству.

Вересов. Что ты им ответил?

Микишев. Шуганул дай боже. Запретил и думать о благоглупостях. Добро бы одна молодежь, начитались Жюля Верна... А то пришел с ними пожилой железно-

дорожник: «Как старый минер, говорит, предлагаю свои услуги — могу пройти под водой и скрыто разминировать плотину».

Вересов. Старый минер... Как его фамилия?

Микишев. Ершов некто. Начальник станции. Мировой склочник. До войны всех завалил жалобами. Теперь так, Вересов: сооруди мне с десяток железных каминов. Зимой неплохо будет погреться в окопах. Можешь особо не слешить. За месяц успеешь наковырять?

Вересов. Успею. Не спрашивал, как они предполагали дышать под водой без кислородных приборов?

Микишев. Что? Болтали чего-то о резиновой трубке, прямо изо рта к поплавку якобы. Вроде как казаки в плавнях дышали через камышовую дудку. (*Подозрительно.*) А ты что вдруг заинтересовался?

Вересов. Если говорить всерьез, завод мог бы усовершенствовать это дело: кислородные приборы изготовить. Положение таково, что ничем нельзя пренебрегать.

Микишев. Кто, собственно, и чем пренебрегает? Если ты имеешь в виду эту чебуховину...

Вересов. Не знаю, Микишев. Знаю одно: надо отодвинуть фронт от завода. Отодвинуть скорее, иначе... Ты же сам на днях говсрил, что сил у немцев на нашем участке как раз немного, хотя используют они их очень умело. Возьми тот же пруд...

Микишев (*ревниво*). А что — пруд? Разве мы его плохо используем? Пруд для них и для нас преграда. Каждая точка на берегу пристреляна. Плотину они и мы с двух сторон заминировали. Форсировать пруд на плаву — самоубийство. Остается что? Остается ждать общего наступления. Вот зимой водная преграда замерзнет — тогда... Смекнул, для чего я тебе заказал щитки? Надеюсь, в ноябре получим приказ от вышестоящих военных инстанций.

Вересов (*с горечью*). В ноябре... К тому времени мы можем оказаться в глубоком немецком тылу, а не на переднем крае.

Микишев (*с волнением*). Хочешь быть умнее хозяина? Там же знают о нашем положении. Знаменитый завод, не какая-нибудь деревушка. А если знают и не приказывают? (*Выдержал паузу.*) Все. Точка. (*Пошел к выходу и вернулся.*) Думаешь, мне не хочется развернуться, вдарить, погнать к дьявола матери! Но, Вересов, — нужна выдержка. Железное подчинение и доверие командованию. На дворе не июль — август, кой-чему на-

учились. Ты кем воевал в гражданку? Небось рядовым бойцом? А я, хочешь не хочешь, отец-командир моему батальону. Равно как и городу. Можешь ты за меня взять ответственность? Нет. Можешь организовать десант и вести людей в бой? Тоже нет. Можешь подбить командование на авантюру? Никогда в жизни. Ну и сиди смирно — пайй, луди, когда что попросим. Понял?

Вересов. Понял.

Микишев (*медлит уходить, чувствуя, что обидел Вересова*). Между прочим, знаешь, кто пуце всех разорялся с десантом, требовал от меня поддержки ихней инициативы? Твоя дочь.

Вересов. Ты ошибся. Витя сейчас в ателье, а не в батальоне.

Микишев. Вот-вот, я ей так и сказал: «Девѣнца Вересова, а вы тут при чем? Вам кто разрешил присутствовать?» А она на это: «За меня не тревожьтесь. Уж я-то добьюсь разрешения участвовать...» Поучил бы ты ее уму-разуму.

Идет к двери. Встречается со стремительно вбежавшей Викторией.

Виктория (*звонко*). Здравствуйте, товарищ командир батальона!

Микишев сдержанно козыряет.

Товарищ комбат, не уходите, я вас искала.

Он неохотно остановился.

(*Порывисто обняла отца.*) Почему, почему ты к нам никогда не приходишь?

Вересов. Ты же мне запретила.

Виктория. Еще бы! В самый разгар войны запятил меня в ателье мод! Рассказать — не поверят, верно, товарищ комбат? Но все равно я на тебя не могу сердиться. (*Схватила его руку, прижала к лицу, раскачивается вместе с нею.*)

Микишев нетерпеливо откашлялся.

Папа, мы товарища комбата задерживаем... (*Микишеву, деловито.*) Вы, конечно, уже рассказали! Воображаю! (*Отцу.*) Я встретила Аглаю. Спасибо, папа. Знаешь, ведь еще нужно двадцать пар чугунных отливок с ушками, чтобы прикреплять к сапогам для тяжести. Вместо свиновых подошв. Сделаешь, папа? Думаешь, кто заронил

у Пашки первую мысль о подводном десанте? Кстати, дедушка Ченцов говорил, что в пруду глубины полторы сажени. Верно, не больше? (*Обернувшись к Микишеву.*) Я нарочно при вас, чтобы вы не думали, что мы тайком действуем. (*Отцу.*) Когда пойдешь к Пчелке, непременно возьми с собой Ершова и Пашку, они пояснят все технические детали. Хорошо?

Вересов молчит.

Тебе удобно сегодня?

Вересов молчит.

Почему ты не отвечаешь? (*Беспокойно.*) Папа!

Молчание.

(*Упавшим голосом.*) Папа.

Микишев хохотнул.

Вересов. Витя, скажи, кто поручил Аглае Федоровне изготовить брезентовые костюмы?

Микишев (*насторожился*). Что такое?

Виктория. Где же иначе их изготовить? Надо заблаговременно...

Вересов (*жестко*). Ты пойдешь на склад, извинишься, объяснишь, что произошло недоразумение и что брезент и олифу отпускать со склада не нужно.

Виктория. Папа!

Вересов. Ступай. (*Повернулся к столу, разбирает бумаги.*)

Виктория. Папа, знаешь, кто ты такой? Ты... ты еще хуже товарища Микишева!

Микишев бесцеремонно берет ее за руку и ведет из конторки.

Но мы пойдем к Пчелке, и он все сделает...

Вересов. Тебе не кажется, что нам с товарищем Микишевым он поверит все-таки больше?

Виктория (*растерявшись от ласкового тона*). Папа...

Вересов (*настойчиво*). Ступай на склад, Витя.

Виктория и Микишев вышли в цех.

Микишев. Ничего себе любящая дочурка! Вы что, не поняли, что он за вас испугался?

Виктория. Неправда, папа не такой человек...

Микишев. Ах, не такой? А кто вас из батальона

вызвали? Кстати, правильно поступил, девицам у нас не место.

Викторня побежала прочь от Микишева. Микишев ушел. Подле пушки по-прежнему трудятся старики, спят на полу артиллеристы. Женщины режут жесть. В глубине сверкают автогенные вспышки. Вересов в своей загородке, погруженный в невеселые мысли, перебирает бумаги.

Егорыч. Увидимся ли когда с земляками? Будем ли сами живы? Ничегошеньки не известно. .

Лианозов (*упрямо*). Известно! Немцы когда грозилась завод взять? А чей завод? Наш. Увидишь, везде по-нашему будет.

Егорыч. Молод ты, Лианозов, горяч. Гляди, сколько наших людей Гитлер губит. Каждый день, каждый час. . .

Лианозов (*хмуро*). В этом ты прав. Ну, погоди, осилим.

Егорыч. Дай бог, дай бог! Ударь-ка разик-другой по заклепке. . .

Показался Тишка, с трудом волоча за собой исковерканный велосипед. Кладет его перед стариком Ченцовым.

Тишка. Вот. . .

Лианозов. Ты чего притащил, парень?

Тишка (*украдкой оглянувшись на мать*). Велосипед.

Лианозов. Вижу, что не швейную машину. А еще немного — и не узнать бы. Снарядом?

Тишка кивает.

Починить?

Тишка опять кивает.

Да, трудноватое дело. Чей это велосипед?

Тишка (*робко*). Мой. Витька мне завещал. . . при нем. . . (*Показал на деда.*)

Лианозов. Витька? Где же он сам?

Тишка (*шмыгнув носом*). Убило.

Егорыч. Чего, чего?

Лианозов. Где убило?

Тишка. На улице Энгельса. . . С донесением ехал. . .

Лианозов (*оглянувшись*). Мать не знает?

Тишка. Не. . . Вы ничего ей не говорите. У него и лица нет, у Витьки-то. Снесло полчерепа. (*Проситель-но.*) Не говорите. . . пока дедушка велосипед починит. . .

Лианозов (*сурово*). Парень, нынче не до балов-

ства! Ты чувствуешь, что потерял брата? Знаешь, что значит жизнь человеческая?

Тишка. Знаю. Я вместо Витьки вестовым стану ездить. Дедушка Лианозов, не говорите!.. *(Обернулся — перед ним мать с большими ножницами в руках.)*

Ченцова *(не сводя глаз с велосипеда)*. Где Витька?

Тишка *(торопливо)*. Витька сейчас придет... он тут недалеко... за донесением побежал...

Ченцова. Где Витька?

Тишка. Честное слово, он рядышком... на улице Энгельса... честное слово, мам!

Ченцова *(занеся над ним ножницы)*. Убью, хулиган, где Витька?

Егорыч. Лианозов, ножницы отыми... долго ли до греха!

Ченцова. Говорите, где Витька?

Тишка *(подскакивает к ней)*. Мам, никого не трогай, я тебя провожу. Он на улице Энгельса, где была новая баня... Лежит у стенки Витька наш... мы к нему сейчас... мы сейчас...

В цехе оказывается Аглая. Подбежала к Ченцовой, обняла ее. Стояли все, кто был поблизости: Вересов, Ребров, старики, работавшие с Ченцовой женщины. Проснулись и вскочили артиллеристы. Появилась Вересова.

Аглая *(быстро, ласково говорит, что пришло на ум)*. Пойдем, пойдем со мной, Зина. Никого не слушай, что они понимают? Ты же их всех сильнее. Пойдем к Пашке. Пашка умный, сильный, в тебя. Тишку возьмем с собой. Он тоже такой вырастет, нисколько не хуже. Они о тебе заботятся, любят. Не говорят, что любят, а любят. Они на тебя похожи, Зинуша, точь-в-точь такие же. Пойдем, а это оставь, потом докончишь, потом. *(Берет у нее ножницы, передает Егорычу и уводит Ченцову из цеха.)*

Тишка бредет за ними. Молчание. Тишина.

Егорыч *(с тоской)*. Ох, перебьют молодых! Ох, перебьют!

Через цех идет Суровый старик, неся на плече огромный сверток брезента.

Суровый старик *(Реброву)*. Заводское добро где попало не оставляй. Со склада выкатил — отдай кому следует по наряду. *(Сбросил тук на пол.)*

Ребров (*растерялся, пробирается к Вересову*). Сейчас... спрошу у директора.

Вересова (*вполголоса, мужу*). Егор, какой ужас! Наше счастье, что Виктория в ателье, в подвале... Но помни, ты обещал нас отправить. Я стану буквально считать минуты...

Вересов направляется за перегородку. Вересова идет за ним.

Вересов (*снял телефонную трубку*). Райком. Товарищ Пчелка? Вересов говорит. Можешь принять меня по неотложному делу? Иду. (*Повесил трубку*.) Иду. (*Реброву*.) Возьми тачку и отвези в ателье брезент и олифу.

### КАРТИНА ПЯТАЯ

Блиндаж в стороне от передовых траншей. На стенке висят проолифленные брезентовые костюмы, ярко-желтые, почти нарядные от светящего в открытую дверь вечернего солнца. На земляной ступеньке сидит Виктория и вслух негромко перечитывает свое письмо.

Виктория. «Милый папа! Мы так редко с тобой расставались, что я за всю жизнь не успела написать тебе ни одного письма. Пишу сейчас потому, что вдруг оказалось трудно сказать на словах то, что хочется. Дело в том, что даже в эти страшные месяцы, даже сегодня, я не могу не думать о вас с мамой. Получилось, что вы опять рядом, к тому же в такое время, когда невольно ищут опору друг в друге. Пойми, папа, что мама тебе не опора. Ты с ней никогда не будешь счастлив, не будешь самим собой. Мама как-то умеет убедить тебя, а иногда и других, что ты скучнее, беднее, меньше, чем на самом деле. Меня всю буквально переворачивало, я готова была орать от злости, когда она, пусть даже в шутку, ласково, называла тебя «сереньким»... Ты, папа, извини, что я об этом пишу, но сегодня я не могу иначе. И не удивляйся, пожалуйста, что я так говорю о маме. По-своему я ее тоже люблю, желаю ей получить свое счастье, но гораздо сильнее желаю этого тебе, папа. Если хочешь знать, я когда-то хотела вас помирить. Мне было больно, что люди так слепо жестоки в своем увлечении, топчут ногами самых им близких... Теперь я стала, как видно, грубее, потому что мне кажется, что ты должен забыть маму... и полюбить — не знаю, удивишься ли ты, кого я сейчас назову, — Аглаю. Да-да, папа, она такая



хорошая женщина. Молодая, красивая, веселая, добрая. И любит тебя. Любит, это же видно. Совсем недавно она была взбалмошной и даже немного трепливой бабенкой (это ее выражение) — и вдруг на моих глазах так чудесно преобразилась... Это сделала любовь, папа! Вот я пишу и чувствую, что ты улыбаешься: «Дочка моя вздумала играть в опытную, умудренную годами женщину!» Что ж, пускай так, мне приятно, что ты улыбаешься... Обнимаю и нежно целую тебя. Твоя Виктория.

Р. С. Солнце светит на наши доспехи и веселит мое сердце. Как я рада, что ты не отверг десант, не счел его глупой фантазией, как этот упрямец Микишев. Куда мне спрятать письмо, чтобы ты прочитал его только завтра? Еще раз тебя обнимаю и желаю успеха всем, всем, даже Микишеву...».

В окоп спускается Микишев — спиной к нам и Виктории, так что в первый момент мы можем его не узнать.

*(Сунув письмо за пазуху, порывисто вскакивает.)* Папа?

Микишев хмуро обернулся.

Простите, я думала... Здравствуйте, товарищ командир батальона.

Микишев. Здравствуйте, девица Вересова. А где?.. *(Огляделся.)*

Виктория. Сейчас придет. Подождете его, товарищ командир батальона?

Микишев молча садится.

*(Помедлив, садится поодаль.)* Товарищ комбат, я давно хотела спросить, почему вы ко мне всегда так обращаетесь: девица Вересова да девица Вересова.

Микишев. А как надо к вам обращаться?

Виктория. Ну я не знаю... Товарищ Вересова или товарищ боец. Как со всеми. Или Витя, в конце концов...

Микишев *(потрогал висящие брезентовые костюмы)*. Который тут вересовский?

Виктория *(удивленно)*. Папин — этот.

Микишев *(снял со стенки костюм, подержал в руках, словно собираясь примерить, снова повесил)*. Витя... Вы же не мальчик. Вы именно девица, хотя временно в армии.

Виктория *(скучным голосом)*. Вот вы, товарищ комбат, не чувствуете, что девица — устаревшее слово.

Дурову называли «девица-кавалерист», так она жила, слава богу, в начале прошлого века. Может, верно, во мне есть что-нибудь арханчное? (*Одернула гимнастерку, выпрямилась.*)

Микишев (*взглянул на нее повнимательнее*). Арханчное? Да нет, вы девица нормальная. (*Кивнув на костюм.*) Надевали? Удобно?

Виктория (*оживилась*). Очень.

Микишев. Можете легко двигаться, владеть оружием?

Виктория. Ну конечно, товарищ комбат. Хотите, сейчас покажу.

Микишев. Не надо.

Виктория. Да это совсем не сложно. Смотрите, раз!..

Микишев (*командирским голосом*). Отставить!

Виктория. Как хотите. (*Садится.*) Но все равно я рада, что вы больше не сердитесь.

Микишев. На что я сердился?

Виктория. Что наш десант разрешили.

Пауза.

Микишев. Так. Решили меня уязвить. Мол, ты, бюрократ, помни, что недопонял наш гениальный план, не то что другие некоторые...

Виктория. Обиделись. Жалко. А я-то вообразила... Но отчего все-таки, товарищ комбат, вы ни на одну секунду тогда не прислушались? Оттого, что начальник должен сразу решать, не показывать, что раздумывает? Не может быть, это вы на себя напустили... Мне кто-то сказал, что вы без души и что вы зазнались. Неверно. Я спорила. Душа у вас есть, только она не на все резонирует. Знаете, как гитара на стенке висит, и вдруг одна струнка на ней откликнется. У вас это редко... Нет, войну вы очень переживаете. Наверно, еще больше нас. Но вы как-то зажимаетесь. Я, например, в гостях руки не знаю куда девать: сожмешь кулак, разожмешь, пальцы разглядываешь. А для чего, спрашивается? Я не слишком длинно говорю?

Микишев. Не слишком.

Виктория. Я знаю, это нахальство. Но мне хотелось вам высказать, потому что... потому что мне кажется, что вы хороший мужик... Ох, простите, у меня не то слово выскочило!

Микишев. Сколько вам лет?

Виктория. Семнадцать. *(С испугом.)* Это очень мало?

Микишев. Нет. Достаточно. *(Вдруг.)* Моя мать шестнадцати лет вышла замуж. В семнадцать родила меня и умерла. Отец три года ни с кем не разговаривал. Со мной тоже. Потом женился. На вдове с детьми. Еще пошли дети. Нужен я им всем был... как комар в лесу на потную шею. Однако кормили, не подох с голоду. Даже учиться отдали. Кончил техникум. Вступил в партию. Стал работать по линии коммунального хозяйства. Выбрали председателем городского Совета депутатов трудящихся. А тут война. Доверили батальон... Как, по-вашему, мало это для меня значит? Кому я больше обязан — папе с мамой или родному государству? Служить ему — утеха для меня или долг жизни? Так при чем тут зазнайство, девушка? Душа, говорите, не резонирует. Да подчас она так... *(Не договорил.)* Хорошо, допустим, она бы всегда звенела, как балалайка, кто бы тогда мне, народному слуге, верил? *(Искоса поглядел на Викторию.)* Может, я неясно объясняю, товарищ... Витя? Один человек предположил, что у меня в голове каша. Гречневая.

Виктория. Почему гречневая?

Микишев. Сам себя хвалю — так, очевидно.

Пауза.

Виктория *(тихо.)* Вы очень самолюбивый человек, товарищ командир батальона. *(Помолчав.)* Это хорошо.

Микишев *(подозрительно.)* Хорошо?

Виктория *(убежденно.)* Вы как раз и должны быть самолюбивым, гордым... и стараться этого не показывать.

Микишев. А я показываю?

Виктория *(вздыхнув.)* Показываете. Наверно, это иногда нужно. А то никто гордости не заметит и проживешь всю жизнь смиренный, смиренный...

Микишев. Как червь.

Виктория *(послушно.)* Как червь. Но червь и внутри не гордый, он насквозь смиренный... Александр Михайлович, вам уже много лет?

Микишев. Тридцать два. Это очень много?

Виктория *(не поддерживая шутку.)* Ну, не слишком, но для меня... Я очень вам благодарна за то, что вы так со мной разговаривали.

Микишев (*резко*). Зря.

Виктория. Что — зря?

Микишев. Терпеть не могу эти интеллигентские расшаркиванья! И начнут и начнут извиваться...

Виктория (*оскорбленно*). Я не извиваюсь!.. Я... Ну хорошо, ну простите! (*Стремительно к нему придвигается и целует в щеку; так же стремительно отодвигулась.*)

Микишев (*смуценно потирает щеку*). По ошибке, вместо папы поцеловали?

Виктория (*страстно*). Вы очень испорченный человек, товарищ Микишев.

В окоп спускается Вересов, в военной форме, бодрый, подтянутый.

(*Радостно.*) Папа, а мы тебя ждем!

Вересов (*положил ладонь на голову дочери; вопросительно глядит на Микишева*). И давно ждете?

Микишев (*встал*). Зашел к тебе по одному делу, товарищ Вересов. (*Покосился на Викторию.*)

Виктория. Мне уйти?

Микишев. Да лучше бы.

Виктория неохотно уходит за поворот окопа.

Товарищ Вересов, времени мало, давай сразу о деле. (*Расстегивает планшет.*) Я тебе сейчас покажу нашу батальонную дислокацию. Вот, смотри карту местности.

Вересов. Да я ее знаю, у меня есть. А в чем дело? Что-нибудь переменялось?

Микишев. Переменялось. Ты на мое место сейчас пойдешь, а я на твое.

Вересов. Не понимаю.

Микишев. Чего ж тут не понимать. Ты на земле руководить будешь, а я твоим взводом. Осмыслил? Ну, поздравляю, Вересов, на сегодняшний день вместо взвода батальон получаешь. Человек ты в прошлом военный, надеюсь, справишься. В случае чего мой начальник штаба поможет. (*Глядит на часы.*) В восемнадцать ноль-ноль надо вступать в обязанности... Пошли.

Вересов. Погоди, погоди... Как же так? Я в этот рейд поверил, готовился, две недели занимаюсь с бойцами, ребята все до одного добровольцы... И вдруг я в последний момент: «Вы уж как-нибудь без меня!» Слушай, Микишев, кто это решил? Уж не ты ли один, самолучно?

Микишев (*постепенно мрачнеет*). К чертям! Еще будешь меня допрашивать! Да, я решил.

Появляется Виктория.

(*Увидел ее.*) Ну-ну, не тревожьтесь, драки не будет. И чересчур грубых слов тоже. Я снимаю тебя со взвода. Остальное не твоя печаль. Не хочешь командовать батальоном — не надо, начштаба будет командовать. Все. Точка. Хотел я с тобой по-хорошему... Откуда у тебя такое упрямство? Между прочим, я в твоём возрасте вообще воздержался бы лезть под воду. Представляешь, твои молодцы окажутся без командира? (*Виктории.*) Уговорите отца. Добром советую. Приказать приказал, а добром лучше.

Виктория (*волнуясь*). Папа, может, действительно неблагоприятно...

Вересов (*мы еще никогда не видели его раздраженным*). Вы что, шутить надо мной сговорились? Ты в своем ателье набрюшник для меня свяжи: как же, война, папочка простудится! (*Спокойнее.*) Вот что, товарищи, не мешайте мне готовиться к рейду. (*Микишеву.*) Приказа твоего я не слышал, мой взвод лишь формально в твоём подчинении. Поэтому, прошу прощения... (*Обернулся к выходу.*)

Микишев. Гонишь меня со своего КП?

Вересов. Наоборот, гости сколько хочешь, если других дел нет у комбата.

Микишев (*явно в смятении*). Других дел... Хорошо. Ты пойми меня, Вересов. Могу я со спокойной душой допустить, чтобы на такое дело бойцы без меня шли? Насчет рейда я прежнего мнения... но уж если его одобрили, где мое место? Кто должен в первую очередь приказ выполнять? Я все серьезно продумал, Вересов. Думаешь, мне легко просить? Потому виноват в одном: дотянул до последнего дня...

Вересов (*нетерпеливо*). До последнего часа. Уж солнце село.

Микишев. Село. Правильно. Что ж, бывает. Все бывает... Так что пойми и уважь мою просьбу. Просьбу, подчеркиваю, не приказ. Видишь, Вересов, мой сапог? Вот так наступаю на свое самолюбие... Смотри. Вот так!

Вересов (*мельком взглянул и отвернулся*). Нет. Не могу уважить. Я больше тебя подготовлен. Не серьезно

это... Я привык иначе. Нет, не серьезно. Извини, не могу. *(Уходит.)*

Микишев. Так. *(Исподлобья глядит на Викторию.)*  
Так, Витя?

Виктория растерянно пожала плечами.

Борьба титанов, видали? Силен, ничего не скажешь. Куда до него нам, районным деятелям! Высоко пойдет со временем!

Виктория *(проглотив слезы)*. Или вы издеваетесь, или вы...

Микишев. Или я что?

Виктория. Неврастеник...

Микишев *(взял себя в руки)*. В данном случае выражение подходящее... Но в иное время... интересно, кто вас такими выражениями снабжает? *(Крутит ручку полевого телефона.)* Дайте Стрекозу. Стрекоза? Кузничик говорит. Можно к тебе зайти? Ну, минут через пять... Я нахожусь у Муравья. Да его нет дома... Хорошо, жду. *(Вешает трубку.)*

Виктория. Хотите Пчелке на папу жаловаться?

Микишев *(рассеянно)*. Что? Эх, черт побери, темнеет! Ладно, успеем. Плавушие средства у меня заготовлены, чувствовал, что Вересов заупрямится. *(Смеется.)* Глупо я его пробовал взять на пушку? Глупо, глупо... Называется, недооценил противника!

Виктория. Странный вы, с чего-то развеселились.

Из бокового хода сообщения появляется Пчелка.

Микишев. Стрекоза, у меня встречная идея. Но предупреждаю: начинать действовать надо мгновенно.

Пчелка. Здравствуйте, Виктория Георгиевна.

Виктория смущенно привстала.

Встречная? В каком смысле? Кого встречать?

Микишев *(с увлечением)*. Хочу поддержать вересовский десант отвлекающим маневром. Короче, пустить через пруд ложную флотилию из плотов и лодок. Набросать на них всякого тряпья, немцы начнут обстрел, а в это время Вересов по дну пруда в другом месте... А батальон со стороны кладбища... А соседи-армейцы...

Пчелка. Понял. Идея эффектная. Кто ее станет осуществлять?

Микишев. Всего один человек на моторке. Важен самый первый момент: дезорганизовать немцев в отношении главного удара.

Пчелка. Я спрашиваю, кто поведет моторку?

Микишев. Ну, например, я. А что такое?

Пчелка. Ты. Так я и думал. До свидания, Виктория Георгиевна.

Микишев. Постой, постой! Откуда это пренебрежение? Значит, мои идеи и планы для тебя заведомо не существуют. Ты бы хоть возразил для приличия.

Пчелка. Возражения ты наизусть знаешь, воюешь не первый день. «А» (*загибает палец*): сногшибательное самопожертвование, так сказать, идея смертника. «Б» (*загибает другой палец*): предлагаешь мобилизовать немцев на максимальное внимание к сегодняшней ночи, тогда как наша затея рассчитана на полную неожиданность, на тихую сапу. «В» (*загибает третий палец*): все это ты придумал в пику, а не в поддержку Вересову. Опять самолюбие заедает: почему не ты первый и главный! Скажи, не правда? Опять каша в голове, Микишев?

Виктория (*тихонько*). Гречневая.

Пчелка (*быстро*). Неужели рассказал? Тогда некоторые слова беру обратно. (*Микишеву.*) Вопросов нет? Желаю успеха. (*Погладил Викторию по голове.*) Не страшно, девочка?

Виктория. Страшно.

Пчелка. Трусись?

Виктория. Нет, нисколько. Вы сомневаетесь?

Пчелка. Зачем. В папу, стало быть. Папа же не трусит и не хвалится. (*Поглядев на сумрачное лицо Микишева.*) Микишев, ты учил Ветхий завет? Видишь, а я на год старше, успел кое-что вкусить у батюшки. Так вот, когда начался всемирный потоп, у старика Ноя было несколько выходов. Он мог один уплыть на бревне, плюнув на остальных сограждан. Мог положиться на волю божью: вдруг большого потопа еще не будет. . . авось. . . посмотрим. . . А что сделал Ной? Ной построил плавучий ковчег и тем спас человечество. Это тебе не фунт фиников! Суть не в затруднительности постройки и даже не в том, что спасаемые — причем страстно жаждавшие спасения — несомненно громко критиковали самую идею ковчега и все детали проекта и строительства. Главное было — при всей вере в высшее небесное руководство — взять на себя земную инициативу и ответственность. Не быть теленком, ягненком, курицей — но и по возможности не изображать из себя особого божьего уполномоченного по вопросам спасения человечества. А что такого? Людей же приходится спасать ежедневно. И на войне, и в мир-

ное время, и в мировом масштабе, и в местном. Чаще всего как раз в местном, где особенно не разгуляешься. . . (Пошел к выходу, обернулся.) Кстати, наш Вересов — это не патриарх Ной, и даже не мы с тобой — признанные вожди, полководцы, секретари, председатели. Он человек рядовой, скромный — представляешь ценность его заявки на самостоятельность?

Микишев (не выдержал). Да, но сейчас война, а не курсы по воспитанию отстающих кадров!

Пчелка. А ты считаешь, что можно отложить твое воспитание на после войны? (Уходит.)

Пауза. Виктория чуть не со страхом смотрит на Микишева. Ей бы убежать, тактично оставить его одного. . .

Виктория (подбежав к Микишеву). Это не по ошибке, не вместо папы. . . Это вместо «не огорчайтесь» и «до свидания». (Быстро пригнула к себе его голову и поцеловала.) Все. Точка. (Вынула из-за пазухи письмо.) Передайте утром папе, я боюсь, что отдам раньше. Читать вы не станете, самолюбие не позволит. . . Правда?

Микишев сдержанно козырнул в ответ. Возвращается Пчелка.

Пчелка. Вот что, Микишев: не вздумай стгоряча уничтожить свои плоты и лодки. Чем черт на войне не шутит, — может, еще придется кинуть надводный десант в подмогу подводному. Ты как — готов заделаться Ноем?

Микишев молча поднимается на бруствер. На секунду его фигура резко вырисовалась на алом фоне заката.

Виктория (смотря вслед). Странно.

Пчелка. Что странно, девочка?

Виктория. Федор Матвеевич, что для вас в человеке главное? Я имею в виду сейчас, во время войны. . .

Пчелка (очень серьезно). Пожалуй, то, что он человек, Виктория Георгиевна. Особенно на войне. (Уходит.)

Занавес

## КАРТИНА ШЕСТАЯ

«Ателье мод» помещается в глубоком подвале без окон. Оно похоже и на обычную швейную мастерскую (со швейными машинами, паровым утюгом, манекеном, даже с болванкой для шляп), и на воинскую казарму (винтовки у двери), и на женское общежитие. Возле круглой железной печки в углу сушатся чулки и лифчики, койки застеле-



ны байковыми и ситцевыми одеялами; среди коек гордо возвышается никелированная кровать с шелковым покрывалом. У противоположной стены — вторая гордость ателье: большое трюмо с треснувшим от взрывной волны зеркалом. Столы завалены ватниками и полушубками в разной степени готовности. На одном из столов, потеснив продукцию, стоит кувшин с желтыми и коричневыми кленовыми листьями.

Три женщины уже спят. Две из них укрылись одеялами, на полу тапочки, все как в мирное время. Третья лежит одетая поверх одеяла, накинув на себя ватник. На ближней койке спит Тишка, тоже под ватником. Бодрствуют Аглая и Ченцова, сидя на никелированной кровати, в изголовье которой висит автомат. Рядом на тумбочке стоят будильник и чашка с чаем. Другую чашку Аглая держит в руках и вкусно прихлебывает с ложечки.

Аглая. Что ж ты чай, Зинаида, студишь? Хочешь, налью покрепче? *(Понизив голос.)* У меня есть и покрепче, на смородине настояла. Полезла, дура, в огород, за смородиной. . . когда, думаешь? — под самую первую бомбежку, в августе. Вот натерпелась страху! Это я с непривычки, теперь бы меня туда силой не затащили. Сколько время? *(Встряхнула будильник.)* Рано, наши еще не выбрались из укрытия. . . Да не дрожи ты так, Зинаида! пей чай, долго тебя угощать? *(Сует ей в руки чашку.)* Нет, мало что мы с тобой проходили военную санучебу! Правильно нас не пустили в окопы прощаться. Знают, что нервы ребятам только испортили бы. А я все же успела: с Викой сегодня обнялась, расцеловалась. До чего похожа на папку — лоб, глаза, губы! Гляжу на нее, а его вижу. . . Правда, глупая баба? *(Осторожно взяла у Ченцовой нетронутую чашку, поставила ее на тумбочку.)* Зинуша, нельзя же так каменеть без сна, без пищи. . . Знаю, знаю, еще бы не горе! Я детей не имею, и то реву по ним, нерожденным, а потерять сына! Нынче другого проводить в бой! . . . Дождешься, Зина, утром дождешься Пашку. Вернется живой, здоровый, отомстит за Витьку, за твои слезы. За все отомстит, не такой парень, чтобы не отомстил. И давай отдохнем, голубка. Хочешь, на одну кровать ляжем? Пусть некультурно, зато уютно. Человечнее как-то. Ложись, Зина, к стенке. Ну, с краю. Совсе не будешь спать? Вот и я — сна ни в одном глазу. Знать бы, что там творится! . . . *(Встряхивает будильник.)* Надо ждать. *(Прислушивается к звукам на улице.)* Дождь пошел, шумит в желобе. Такое днем было солнышко, откуда взялось в октябре. . . и опять дождик. Промочит на пруду наших. . . *(Виновато.)* Чувствую, что говорю глупость, а не удержаться. Болтаю, болтаю. *(Порывисто обняла Ченцову.)* Солнышко ты мое хмурое, осеннее! Не

горюнься так, улыбнись на секунду! (*Помолчав и опустив руки.*) Скорей бы утро. Утро — и он живой входит! Живой, любимый. . . Вот не стыжусь твоего горя, вслух при тебе говорю: люблю! Да тебе все равно. Всем все равно. Только мне чудо и радость. За что? Просто так, счастливая уродилась. Он ничего и не знает. Узнает, скажет: «Пошла прочь, практикантка!» Ну не скажет, подумает. . . (*Внимательно посмотрев на Ченцову.*) Почему практикантка? Это ты мне когда-то сказала, помнишь: «Сегодня один, завтра другой. Практика»?

Стук в дверь, Аглая прислушивается. Ченцова кинулась к двери.

(*Кричит вслед.*) Не открывай, спроси кто!

Ченцова скинула крючок, распахнула дверь. На пороге стоит Вересова. Она в том же пальто, потерявшем элегантность, голова заматаана шерстяным платком, все это мокрое от дождя. Аглая вскочила с кровати. Остальные женщины и Тишка спят, не пошевелились.

Вересова (*без выражения*). Вот пришла. (*Делает шаг от двери.*) Извините, если разбудила. (*Еще шаг.*) Извините.

Аглая (*неестественно любезно*). Милости просим. Очень рады компании. (*Подвинула стул.*) Садитесь, отдыхайте, как говорят в армии. Что, разве дождик на улице? Снимайте пальто, платок, просушим у печки. Чайку не хотите ли? Чем бедны, тем и рады, как говорится. Зна, да ты закрой дверь, садись поближе.

Вересова. Вас удивило мое появление? Попробую объяснить.

Аглая (*просто*). Не надо, Александра Васильевна. Я тоже сегодня не могла одна. . . вот позвала Зину. Материцы мои все спят. Сын ее младший спит. Беда с мальчишками! Привела с собой, чтобы не убежал на фронт. Да вы садитесь.

Вересова (*села*). Дело в том. . . я настолько себя взвинутила. . . что кинулась, не очень соображая, куда я, собственно, бегу.

Аглая. Вот видите. А пришли правильно. Станем вместе ждать. Ведь вы о Вике тревожитесь? Славная девочка. Я к ней очень привыкла, пока она здесь работала. Ну, ничего, все хорошо кончится.

Вересова. По правде сказать, у меня была одна дикая мысль: вдруг Виктория здесь. . . вдруг ее не пустили в этот кошмарный десант! Я никогда не могла понять, в кого она такая фантазерка.

Аглая (*рассудительно*). Как в кого? В папу. В товарища Вересова.

Вересова (*растегнула пальто, сняла платок*). Исключено. Егору Афанасьевичу в голову не могло прийти такое сумасбродство. Фантазии у него если бывают, то самые мелкие.

Аглая. Почему? Он не хуже ребят увлекся, я видела.

Вересова. Его убедили, это слабость характера. Это ему всегда мешало, если вам интересно.

Аглая. Очень интересно. Я сама страдаю слабостью. Иногда хочешь человеку всю правду о нем сказать, а не можешь.

Вересова на момент насторожилась.

Я много раз собиралась поговорить (*обернулась к Ченцово*) с твоим Пашкой. Парень умный, самостоятельный, но до того характерный. . . А то часто так бывает: жена смиренная — муж охальник. И наоборот. Замечали, Александра Васильевна?

Вересова. Простите, задумалась. . .

Аглая (*ласково*). Есть о чем. Понимаю. Зинаида за сына переживает, вы за дочь. Мне-то, конечно, не за кого — бобылка, все мне чужие, а тоже душа неспокойна. Не верите?

Вересова. Почему же не верю? Верю.

Аглая (*с чувством*). Спасибо.

Вересова. Я никогда не знала, что так привязана к Вите. Сейчас она там в опасности. . . и меня это как по живому месту. . . Я не виню Егора Афанасьевича, что он скрыл. . . Боялся, что протестовать стану. Правильно. И еще стану, если что случится. Подаю жалобу в самую высокую инстанцию: придумали челуху и ради нее рискуют жизнью наших детей. За это по-настоящему полагается трибунал. . .

Аглая. Александра Васильевна!

Вересова. А, подите вы! Что вы можете чувствовать! У вас никогда детей не было. . .

Аглая (*грустно*). Это верно. Убили Бориса скоренько, а потом. . . Ничего, доживем до победы, а там все будет хорошо. Ну, не мне, так другим. Молодежи.

Вересова. Какой молодежи? Откуда она возьмется? Если будут людьми швыряться, как сегодня. . .

Аглая. Товарищ Вересова, я понимаю, что вы рас-

строены, но порядок знать надо. Здесь я начальник объекта, и если вы будете. . . *(Оглянулась на спящих.)*

Вересова. Все ясно. Вы меня арестуете.

Аглая. Перестаньте, Александра Васильевна. Вы можете говорить о чем-нибудь другом? *(Тоскливо.)* Только о чем же другом. *(Нагнулась к будильнику.)* Уже время! . . . *(Прислушалась.)* Нет, ничего не слышать. Только дождик. И ладно, что дождь, дольше не обнаружат — ни мути, ни пузырей на воде не видно. Мне Вика так объяснила.

Вересова *(с завистью)*. Она с вами много разговаривала?

Аглая. Да, мы частенько беседовали, когда Вика у меня работала. Девочка интеллигентная, я всегда старалась у нее почерпнуть из культурной сокровищницы,

Вересова улыбнулась.

Глупость ляпнула?

Вересова. Нет-нет, это я своим мыслям.

Аглая *(начала злиться)*. Все мыслят, мыслят! Слышишь, Зина? Хорошо быть с образованием. Мы сидим с тобой дуры дурами, а товарищ Вересова. . . Извините, может, вам уже неприятна такая фамилия? Так вы поменяйтесь. *(Положила руку на колено Ченцовой.)* Ей все равно, а у вас жизнь впереди с ее Сережей. Между прочим, правильно поступили, что с ним не уехали. Зачем виснуть во время беды на занятом человеке. Любить — люби, а перерыв до конца войны вполне можно сделать. Не к спеху. *(Метнула взгляд.)* Не обиделись?

Вересова. Нисколько. Мне такой прямой разговор нравится. Я же знала, куда пойти. Одна смотрит на меня, как на бешеную собаку, другая влюблена в моего бывшего мужа, как кошка. . . Так говорите, не до любви в годину народного бедствия. Любопытно, что вы подразумеваете под любовью. Наверно. . . как это поделикатнее выразиться. . . занятие весьма узкого профиля. Вам и невдомек, что любовь. . . простите за лекцию. . . это не только едина плоть и совместный быт, а еще и единомыслие, и тесное общение в труде, и многое другое. Вот почему для меня, скажем, стал неинтересен Вересов, а Ченцову давно не пара его жена. *(Ченцовой.)* Можете взять автомат и выпустить в меня за эти слова все пули. . . Не могут жить в браке духовно неравноценные люди. Зато близкие люди в годы испытаний должны быть по возможности вместе — на заводе, на фронте, в плену, в тюрьме,

где угодно. . . И никакие ваши постные советы я не приму, так и знайте. Чуть только будет самолет, я немедленно улечу к Ченцову и увезу Викторию. (*Секунду помолчав.*) Я с удовольствием забрала бы с собой и Егора Афанасьевича. Оттого что мы разошлись, я к нему не отношусь хуже. Наоборот. Он отец моей дочери и навсегда мне человек близкий. Но этого вам не понять. . .

Аг л а я (*весело*). Спасибо! Вот спасибо, Александра Васильевна! Теперь и мне стало легче. Знаете, какого человека вы потеряли? Если от него после этого боя половинка останется, так и той вам много. Не стану его расписывать, а то еще захотите вернуть. . . Нет, уж я-то не упущу, если только от меня будет зависеть, уж это факт верный. И будет у меня столько счастья, что за глаза и за уши. А вам и полстолечко не видать счастья, пусть даже вы с Сережей Ченцовым поженитесь. Дурак, поменял он на вас Зинаиду. . . Неважно, что у нее характер нелегкий, зато она человек, а не просто, как вы, инженер-технолог. . . А про Егора Афанасьевича сам Сережа вам скажет под горячую руку: «Как же ты, такая-сякая, не оценила такого парня? Для чего ты меня оторвала от семьи, от детей? Какого тебе рожна было надо?»

Пауза.

Вересова. Продолжайте, что же вы замолчали?

Аг л а я (*тихо*). Хватит. (*Еще помолчав.*) Неужели все так много и нехорошо говорят, как мы с вами? Вот она же молчит. И не хуже нас от этого. Даже лучше. Ты скажешь что-нибудь от себя, Зина?

Ченцова. Скажу.

Вересова быстро к ней обернулась.

Аг л а я. Зина, а может, не надо?

Ченцова. Как так не надо? Надо. Кто может мне запретить. (*Встает.*) Пошли.

Аг л а я. Куда, Зина?

Ченцова (*надевает ватник*). Как куда? Туда. К детям.

Аг л а я (*испуганно*). Зина, без спросу? Да нас прогонят в три шея. . .

Ченцова. А ты для спроса санзанятия организовывала? (*Снимает со стены санитарную сумку.*) Винтовки поставила для виду? (*Вынимает из козел винтовку.*) Когда же еще идти? Чего ждать? Она верно сказала; в такую ночь надо вместе. . .

Аглая (*строго*). Зинаида, поставь обратно! Это нам для самообороны выдали! Я как начальник объекта . . .

Ченцова. Торговка ты на рынке, а не начальник! Ну, не могу я больше слушать, как вы свои и мои счета сводите. . . (*Прислушивается.*) Стреляют. . . Слышишь, Аглаша? Стреляют! (*Сбрасывает со спины мастерицы ватник.*) Вставай! (*Расталкивает других женщин.*)

Некоторые из них уже не спят, прислушиваются к разговору и к тому, что творится на улице.

Вставайте, бабы! (*Одной из мастериц.*) У тебя кто воюет?

1-я мастерица (*вскочила*). Сын. . . Что случилось?

Ченцова (*другой*). У тебя кто?

2-я мастерица. Братишка.

Ченцова (*третьей*). У тебя?

3-я мастерица (*охрипшим голосом*). Коромыслов. (*Откашлялась.*) Жених.

Аглая (*строго*). Опять простыла!

3-я мастерица. Не. Со сна.

Ченцова. Со сна! Век потом от стыда не заснешь, И ты (*одной мастерице*). . . и ты (*другой*) не простишь себе. Не за тыщу верст, а за два квартала. . . родной сын упадет под пулей, позовет мать. А она на другой улице живет, не слышит. Жених оглянется — хоть бы раз еще увидеть невесту! А невеста дома без задних ног дрыхнет. (*Аглае.*) Ну, чего глядишь, не узнала?

Аглая (*торопливо*). Узнала! Узнала прежнюю Зинку! Помнишь, пять лет назад ты меня отчихвостила? И чего я тогда на себя грустей напустила, дура такая!

Ченцова (*Тишке*). А ты что вскочил?

Тишка молча натягивает на себя ватник, пошатываясь от сна, с закрытыми еще глазами.

А я говорю, спи! (*Ожесточенно.*) Спи, тебе говорят!

Сильный удар сотрясает дом. Гаснет свет.

Голоса: Взорвали электростанцию!

— Нет, плотину. . .

— Беда, мастерицы, завод затопит!

— А если немцы в слободу прорвались?

Голос Аглаи. Что панику порете! Это в наш домик опять прямое. . . Господи, в третий раз!

Голос Ченцовой. Давай собирайся, пока в подвале не засыпало!

При свете зажигаемых и сразу гаснущих спичек видно, как суетятся, одеваясь, женщины. Вересова растерянно стоит посреди комнаты,

держа в руках пальто и платок. Аглая уже одета, затягивает новую скрипящую португую, на груди автомат; с удовольствием распорядается.

Аглая. Аккуратно, без паники. Не забывая про оружие. Глаза штыками не выколите. Зажги, Зина, свечку, она возле тебя на тумбочке. *(Тихонько.)* Спасибо тебе, Зинуша. . . но помни: идем без приказа, пополам ответим. . .

Ченцова зажгла свечу. Женщины надевают на себя санитарные сумки, разбирают из козел винтовки, толпятся у выхода. Схватил под шумок винтовку и Тишка. Вересова в пальто; в платке.

Товарищ Вересова, может, вы здесь останетесь? Говорят, два раза в одно место снаряды не попадают. Располагайтесь, отдыхайте.

Ченцова *(небрежно)*. Чего ты ее отделяешь? Пускай идет, не чужая. И ты и я с ней одних мужиков люббили. Давай команду, Аглаша.

Аглая *(звонко)*. Мастерницы, слушать меня! По одной выходи из подвала! Не считай носом ступеньки!

Стуча сапогами, все уходят. Ченцова крепко держит за руку Тишку, который в другой руке так же крепко сжимает винтовку. В открытую дверь врывается ветер, гасит свечу и роняет кувшин с листьями, еще какие-то предметы. Новый артиллерийский залп заглушает все звуки.

## КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Пруд. Темно. Идет дождь. Красным отсвечивает мокрый глинистый берег. Из воды торчат черные концы полусгнивших свай. Вдали видны неясные очертания старой заводской плотины. Появились Пашка и пожилой железнодорожник Ершов; несут раненого Вересова.

Ершов *(хриплым шепотом)*. Тихо! Тихо! Давай сюда!

Ввалились в яму, на мгновение замерли, прислушиваются, но вокруг все спокойно.

*(С облегчением.)* Скользко. . . Так. Давай индивидуальный пакет.

Пашка *(порывисто разматывает бинт)*. Когда его ранило, я не заметил. . . В тот момент, когда связь нарушилась?

Ершов. Подержи за плечи. Так. *(Перевязывает.)* Что значит момент? Скажи спасибо, успели сделать под водой

дело. Боялся Вересов — на mine внизу подорвемся, а получил наверху дурацкую пулю. Они ж ни черта не видят, палили в воздух для мощнона. Так. Еще вокруг головы.

Пашка. Все без сознания... Это плохо?

Ершов (*перевязывает*). Чем плохо? Не кричит, не плачет, пить-кушать не просит... Ах, сволочи, аппарат кокнули! (*Со злостью отпихнул локтем разбитый ящик с зуммером и трубкой.*) Между прочим, сейчас телефон нам нужнее командира.

Пашка (*не выдержал*). Товарищ Ершов, как вы можете?!

Ершов. Тихо! (*Перевязывает.*) Я все могу. Я третью войну минером. Мои сыновья на второй войне, считая финскую. Это ты как — в рубль оцениваешь? Давай еще разик обернем для крепости. Если хочешь знать, железнодорожников испокон века любая власть бронировала. Так сказать, соблюдали полосу отчуждения.

Пашка (*дерзко*). Вы же сами в десант напросились... Мастер минного дела, мы ценим... но обошлись бы!

Ершов. Теперь отпускаяй. Так. (*Аккуратно укладывает Вересова. Мирно, почти ласково.*) Вот закончишь, Павел, войну, потом институт, поедешь на съезд в Москву, а поезда нет, опаздывает. Тогда предъявляй мне претензии. Как дежурному по станции. А сейчас, парень... (*Скептически любуется белоснежной повязкой.*) Видать за километр! А если мы ее глиной? (*Провел ладонью по мокрой земле, затем по бинту.*) Сейчас, за неимением другой связи... (*Достал из кобуры ракетный пистолет.*) махнем зеленым фонарем: путь свободен! (*Осторожно лезет наверх.*) Отползти немного, чтобы не навлечь...

Не успел Ершов выбраться, как вдруг ослепительный свет залил яму, плотину, пруд, все окрестности; в небе повисла немецкая осветительная ракета.

Дьяволы! (*Свалился вниз и прижал Пашку к краю ямы, чтобы не шевелился.*) Теперь ждать, пока не потухнет!.. Лежи, парень, тихо!

В ярком зловещем свете напряженное молчание.

Вересов (*слабым голосом*). Ершов, ты меня слушаешь?

Ершов (*пораженный*). Что, что?

Вересов (*голос его крепнет*). Я спрашиваю, как с эшелонном?



Ершов. Тихо! Ты что? С каким эшелонем?

Пашка (*испуганно дергает его за рукав*). Товарищ Ершов, он бредит!

Вересов (*говорит громко, ясно, с четкими паузами, явно представляя себе, что разговаривает с Ершовым по телефону*). Конечно, расширим программу. И по количеству, и по ассортименту. Поскольку дорогу освободили, сразу повезешь игрушки на большой фронт. Когда говоришь, пути расчистят? Значит, мои машины придут к эшелону ровно через три дня. Я говорю, с моей стороны задержек нет. И претензий нет. А ты, Ершов, все ершишься! Сколько тебе лет? Дети есть? Это замечательно хорошо, что живы. Только бы победить! Я говорю, никогда не позволим больше убивать наших детей. Ну, ясно, ясно, Ершов, что не допустим. Ну, рад тебя опять слышать. Сейчас распоряжусь насчет погрузки.

Молчание. В ослепительном мертвом свете видны устремленные на нас живые, широко открытые глаза Вересова.

Ершов (*косясь на растерянного Пашку*). Ты чего? Все нормально. В голову раненные всегда несут черт те что. Как говорится, что у здорового на уме... (*Искренне.*) Эх, действительно, поругаться бы с ним насчет погрузки... и чтоб не дрожали, что немцы услышат!

Вересов (*тихо, нежно, встревоженно*). Витя, я очень прошу тебя быть осторожнее. Дай мне слово держаться около старших и опытных. (*Вздыхнул.*) Только в ранней молодости ощущают себя бессмертными. Но разве не отсюда все лучшее в нашей жизни? Как нам ни плохо, мы верим, что будет лучше... а то и совсем хорошо! И это несмотря на смерть, которая к нам так близко... (*Дыша с трудом.*) Так близко... помни об этом, доченька!

Пашка (*беспокойно задвигался*). А мы не знаем, жива ли Витя...

Ершов. Молчи, молчи, Павел!

Вересов (*Пашке*). У тебя, мальчик, тоже все впереди. Только не раскисай и не озлобляйся. Война паршивая штука, но нельзя на войне стать хуже, чем был, слышишь?

Пашка (*послушно*). Слышу, Егор Афанасьевич.

Ершов. Да помолчи ты, не говори с ним!

Вересов (*всматриваясь в Ершова*). Это ты, Пчелка? (*Пауза.*) Извини, Ершов, я тебя не узнал... Все равно, Пчелка прав: всякая смерть... почти всякая... есть величайшая несправедливость. Когда кончается жизнь

взрослого человека, с ним вместе уходят его опыт, знания, не до конца использованные ресурсы. Это очень обидно, Ершов. Очень! И все же какие-то взрослые дела останутся. Пусть немного... это другой вопрос, надо было об этом раньше думать... Но вот оборвалась жизнь молодого, только начавшего жить, существа. И сразу рухнул весь мир надежд, обещаний, пылких стремлений, неисчерпаемых возможностей... Это ужасно! И как раз это проделывает война: уносит миллионы молодых жизней, будущее страны, народа... (Пауза.) Ты удивляешься, что я так говорю? Не удивляйся, меня давно эти мысли мучают. Но что делать, товарищ Ершов! (Доверительно.) Что делать? Все. Все, что требуется на войне от нас и от наших детей. Они же в нас верят. Сами пока еще ничего не умеют. Только стрелять... Да, стрелять пришлось научиться. Во всем остальном полагаются на нас. (Пауза.) Теперь понимаете, почему я решился на десант?

Пашка. Понимаем! (Тихо.) Не совсем, Егор Афанасьевич...

Вересов (повернулся к нему). Паша, а где же Витя? Разве она была не с тобой?

Пашка молчит, затанув дыханье.

Извини, я забыл, она с Микишевым... (Пауза.) Чувствую, как бы она ни храбрилась, сердечко у нее екает... В первый раз лезть под пули, видеть кровь, смерть, жестокость... возможно, самой стрелять в человека!.. Это так трудно! (Снова устремил взгляд на Ершова.) Нам удалось разминировать плотину? (Строго.) Товарищ Ершов, отвечайте!

Ершов (поспешно). Все в порядке, товарищ Вересов. Сделали. Только потухнет этот проклятый фонарь, сразу наш батальон начнет наступление.

Вересов приподнялся на локте.

Лежи, Вересов, лежи! Тебя слегка хватануло, но мы тебя скоренько в медсанбат, а там...

Вересов закрыл глаза.

Пашка. Товарищ Ершов, я к ним сползаю...

Ершов (сердито). Тихо! Кто в такой ясный день ползает!

Пашка (упрямо). Товарищ Ершов, мы же должны... Они ждут!

Ершов (грозит ему кулаком; отчаянным шепотом).

Товарищ комбат, сюда! Товарищ комбат! Как вы сюда добрались?!

В яму спускается Микишев.

Микишев. Что тут у вас? Почему связь не работает?

Ершов. Проволочная связь порвалась, когда комвзвода ранило. Не пускали ракету, ждали, пока фонарь потухнет. Плотина разминирована. Что дальше делать, товарищ комбат? *(Беспокойно.)* Может, неправильно зашли?..

Микишев *(кивнув на Вересова)*. Тяжело ранен?

Ершов. Такие раны, известно: сразу не помер — возможно, выживет.

Вересов *(тихо, но вятно)*. Возможно, выживу. Александр Михайлович, нагнись поближе... .

Микишев послушно нагибается.

Пуская свою ложную флотилию. Да нет, я не брежу... . Теперь-то и попробовать отвлечь. Видишь, они что-то чувствуют, фонарь подвесили... . Не вышло у нас тихой сапой. Как начнут обстрел лодок, бросай батальон через плотину. Кто пойдет на моторке? Я. *(С усилием улыбнулся.)* Передаю по буквам: Я! Яков... . Видите, очухался!

Пашка *(умоляюще)*. Пошлите меня, товарищ комбат. Объясните, что надо сделать... .

Микишев *(не слушая его)*. Вересов, тут тебе есть одно письмо. Возьми, потом прочитаешь. *(Засунул письмо от Виктории в карман гимнастерки Вересова. Грозит Пашке, чтобы не спрашивал.)* Желаю тебе!.. *(Осторожно пожал Вересову руку.)* Что ухмыляешься?

Вересов. Где у тебя спрятаны плоты и лодки?

Микишев. Брось ты об этом! Где надо, там и спрятаны. Ну, близко. В старом канале. Значит, думаешь, есть смысл использовать? Ладно, посмотрим, как пойдет дальше. *(Видя, что Вересов закрыл глаза, Ершову и Пашке.)* Не думайте его одного оставлять. Здесь ему самое место. Чтоб он и пальцем не шевелил!

Осветительная ракета погасла.

Есть! *(Ринулся наверх.)* Берегите комвзвода!

Еще минута тьмы и тишины, и вдруг шквал артиллерийского огня. Окрестность озаряется вспышками выстрелов и разрывов снарядов. Снова зажглась осветительная ракета... . другая... . третья... . становится светло как днем.

Ершов (*почти кричит*). Бой идет! Бой! А мы с тобой, как не знаю кто! Мы тут как черви в яме!

Пашка (*умоляюще*). Может, выйдем? Товарищ Ершов! Может, выйдем?

Ершов (*вне себя*). В жизни со мной такого не было! Ни одна война без меня не обходилась. Ни одна! Слышишь? Я этого так не оставлю, я стану жаловаться. . .

Пашка. Я говорю — выйдем, выйдем!

Ершов (*беря себя в руки*). Тихо! Слышал приказ командира? Сидеть тихо, беречь комвзвода. . .

На краю появляется Аглая.

Аглая. Где Егор Афанасьевич?

Ершов. Тихо! (*Стащил ее вниз.*) Откуда ты взялась? Зачем тебе его надо?

Аглая. Он здесь! (*Стремительно опустилась на колени перед раненым.*)

Ершов. Павел, что за гражданка?

Пашка. Материна знакомая. Наверно, она за комбатом ползла. . . (*Быстро.*) Товарищ Ершов, а если на нее Егора Афанасьевича оставить?

Ершов (*строго*). Еще чего? Приказ командира. . . (*Коледблясь.*) Ты хорошо ее знаешь? (*Решившись.*) Ладно, пошли! (*Аглае.*) Головой за него отвечаешь, ясно?

Ершов и Пашка уходят.

Аглая (*робко взяв руку Вересова*). Егор Афанасьевич, как вы себя чувствуете?

Вересов не отвечает.

Господи, неужели? (*Мнет его руку.*) Нет, рука теплая. Жилочка на ней бьется. . . Неровно, но бьется. А может, это у меня? Нет, у нас у обоих! Егор Афанасьевич! Не слышит. . . Егор Афанасьевич, голубчик! Точно руку пожал тихонько? Нет, показалось. (*Шепчет.*) Люблю тебя больше себя! Никого, даже Борьку моего так не любила. . . Верь, верь мне, Егорушка! Ничего, что я так вольно? Будешь жив или нет — навсегда тебя полюбила. Последний ты у меня, Егорушка. . . И самый для меня первый! Со всеми прощаюсь, а с тобой. . . (*склонившись над ним*) с тобой здороваюсь. Здравствуй, Егорушка! (*Нежно вглядывается в него.*) Здравствуй! Как хорошо нам с тобой после войны будет! И я еще молодая. . . и ты нестарый. Не сердись на меня? Не сердись! А Александру Васильевну забудь. И горе свое забудь, и обиду. . . Жаль,

я тебя тогда не знала, заслонила бы от обиды. Как — не знаю, но заслонила. . . Веришь?

Вересов (*вдруг, не открывая глаз*). Верю. Спасибо.

Аглая (*после долгого молчания*). Стыд какой! Все слышали?

Вересов. Все.

Аглая. Что ж молчали?

Вересов (*с трудом потянулся к ней*). Вы хорошая, чудесная женщина. . .

Аглая (*не сдержав радости*). Егорушка! . .

Вересов (*через силу приподнявшись*). Помогите мне встать. . .

Аглая (*трезвее*). Егор Афанасьевич! Куда вы?

Вересов. Недалеко. Старый канал. . . вы знаете это место? Слушай, помоги мне встать. . .

Аглая (*в отчаянии*). Господи, что мне делать?!

Вересов (*шепчет*). Милая, хорошая женщина. . . (*Ползет к краю ямы.*) Милая, хорошая. . . Кружится голова. . . Ничего, доползу. . . это близко. . . Давай твою руку.

Аглая помогает ему выбраться из ямы.

Вот так. Вы сумеете завести мотор? За шнурок дернуть — и все. . . Потом оттолкнуть лодку. Да-да, обязательно оттолкните. И сразу дальше от пруда. . . Прячьтесь! Ближе к земле! Как можно ближе!

Аглая (*со страхом*). А вы?

Вересов (*с раздражением*). Я же вам говорю — меня оттолкните. Я буду в лодке. Оттолкните — и все. Идемте!

Встают, держась под руку. Аглая с испуганным, счастливым лицом что-то шепчет, прижав к себе Вересова.

(*Настойчиво.*) Идем. . . идем скорей. . . пока не кончился завод. . .

Аглая (*не поняла*). Завод?

Вересов (*нетерпеливо*). Завод. . . (*Приложил ее руку к своей груди.*) Пружина. (*Решительно.*) Идем!

Ушли. Отмель пуста. Посвистывают пули. Мелкий осенний дождь крапит зеркало пруда, озаренное неживым светом. Впереди, позади, на многие километры, на долгие месяцы — лежит пустыня войны. Словно бы нет людей. Все пропало. Все кончено. Никакой надежды. Мертвая тишина. И вдруг застрекотала моторка. Живой, энергичный, заполнивший все вокруг звук. . .

## КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Зимний день. Тот же пруд, но замерзший. Дошатый обелиск на берегу. На чугунной скамье сидит Вересов. Он в валенках, в новом дубленом полушубке; пристально смотрит на белый пруд, будто что видит сквозь снег и лед. Позади него, тоже в валенках, в полушубке, стоит Микишев.

Микишев (*прерывая молчание*). Видишь, как тут у нас. Все замерзло, завалило снегом. Поставили памятник, а покрасить до холодов не успели. (*Пауза.*) Идем на завод, Вересов. Идем, что ты тут один будешь.

Вересов (*не пошевелился*). Когда убит Пчелка?

Микишев. На второй день наступления. Уже без тебя. Представляешь, что для меня это значило? (*Возбужденно.*) Заменить Пчелку — это же!.. (*После паузы, поборов волнение.*) Ну, немцев тогда, как видишь, мы потеснили. Не слишком, правда, но — мартен восстанавливаем. В декабре литейный пустили, там Лианозов уже орудует.

Вересов (*невольно*). Жив?

Микишев (*рассудительно*). Многие рабочие живы. Их жены. Дети. Вот если бы не было нашей вылазки... Словом, Вересов, ждут тебя на заводе. (*Посмотрел на часы.*) Ждут. Пошли.

Вересов молча смотрит перед собой.

(*Сел на скамью.*) Слушай, зачем себя растревлять? (*Беспокойно оглянулся на обелиск.*) Ну, что я тебе добавлю к такому наглядному итогу? (*Резко.*) Опровержений не жди, их не будет!

Вересов (*слишком спокойно*). Я знаю. Но я хочу знать подробности. И второе: как именно получилось, что погибла Аглая Федоровна, а я жив. Есть у тебя догадки по этому поводу?

Микишев (*неохотно*). Что ж, вопросы по существу. Обязательно сейчас отвечать?

Вересов (*не выдержал*). А как ты думаешь? Попробуй поставить себя на мое место!

Микишев. Себя на твое... Пробовал. (*Расстегнул воротник — ему жарко, несмотря на холод.*) Хорошо, вот тебе точная информация. Ровно в двадцать сорок вы спустились под воду. А мы стали ждать. Уточняю, твоя дочь рядом со мной. Немцы этак лениво постреливают, значит, пока не подозревают о твоих действиях. Зато и мы ничего не знаем: телефонная связь-то нарушилась. Твоя дочь

волнуется, но выдерживает характер. И вдруг шепотом: «Товарищ комбат, можно я открою форточку?» Что такое? «Я ведь, говорит, знаю, о чем вы сейчас думаете». Опять, говорю, обо мне речь? Польщен! Весьма польщен! Ну, а форточка при чем тут? Не смотрю на нее, но чувствую — улыбается. «Я же, говорит, не громила, не взломщик, есть более тонкие методы. Например, хочет вор попасть в чужую квартиру — ищет, какая форточка не заперта. Мала, не пролезть, рукой через нее шпингалет откроеет. И вот очутился в незнакомом доме. . . Жутко, правда? Чужая душа — потемки! Ну и что? Для того потайной фонарик имеется. Можно в один, в другой угол направить луч. У вас, я уже знаю, какая форточка не заперта. . . Хотите, открою? Не бойтесь, ничего не украду!» Я, говорю, не боюсь. . . Смотри, думаю, какая мудрая, всеведущая девица! Ей-богу, угадает, что я сейчас насчет тебя кумекаю. Что все-таки надо было мне вместо тебя идти на разминирование. Нельзя было это тебе поручать. . . Она молчит. Ну, что же вы, говорю, открывайте форточку! И тут она зашуршала об стенку. Повалилась. Я подхватил. Глаза, вижу, мимо меня глядят. Раны не видно. В ухе немного крови. Даже не свистнула пулька — прямо в ухо — и все. Поверишь, я чуть не заорал: «Сволочи!» (Пауза.) Извини, Вересов. . . (Тяжело дышит.) До сих пор слышу, как она со мной говорит, расспрашивает. У нее знаешь какой был талант? Самый на земле главный: интерес к человеку. (Пауза.) Унесли ее по ходам сообщения. А я достал из планшета письмо, которое она просила тебе передать. И прочел при этом проклятом немецком свете. Нет, не стыдно, что прочитал. Там есть нелестные слова обо мне, но это не важно. . . (Помолчал.) Между прочим, письмо при тебе? Хотел бы я еще разок взглянуть. . . Ладно, тоже не важно. (Пауза.) Как она тебя, Вересов, любила! Я и не знал, что дети бывают такие ласковые. . . А как она о той женщине написала! Прочел, думаю: нет, не могут две хорошие женщины обмануться. Особенно дочь. Значит, в Вересове что-то есть. Есть что-то, чего я не понимаю. (Вдруг обозлился.) Откуда это у него взялось? Для чего ему это? Да ну его к черту! . . И вдруг как ножом: где Вересов? Где он со своими минерами? Сдал командование Снеткову, пополз. . . Но ты хоть знал раньше, что эта женщина тебя любит? Спрашиваешь, каким чудом она тебя спасла из лодки? Почему я знаю! Должно быть, вот этим самым чудом — любовью. Наши бойцы, как завидели тебя в лод-

ке, словно обезумели! Ты по пруду зигзагами, а они, как черти, рванули через плотину. (*Хмуро приглядывается к Вересову.*) Молчишь?

Вересов повернул голову. Они встретились взглядами. Видно, что все, что говорил Микишев, он больше говорил для себя, не для Вересова; и вместе с тем страстно хочет, чтобы этот немолодой, одинокий человек, испытывающий огромное горе и такой ему прежде чуждый, враждебно чуждый, вдруг понял, что чувствует сейчас Микишев. Но надежды на это мало...

(*Встает.*) Пойду в райком. (*Взглянул на часы.*) Меня ждут, пойду... (*Опять сел.*) Слушай, ты меня наизусть знаешь. Разбуди тебя ночью — без запинки аттестуешь: такой, сякой, неотесанный... даже не солдат — солдафон революции! Скажи, имеет право солдафон учить, распоряжаться судьбами? Может он взять на себя такую ответственность? Ответственность перед людьми, не перед вышестоящими инстанциями... (*Горячо.*) Да ни в коем разе! Хана будет людям под таким начальством! Скажешь, мало подобных случаев? Полным-полно! Пруд пруди. (*Усмехнулся.*) Ну, а если он слегка поумнел? Хочет не только уметь приказать, указать, осадить, поставить другого на место... но иногда себя на его месте представить... Возможен такой вариант? (*Вздыхнул.*) Не станем закрывать глаза, Вересов. Скорей всего, я на своем посту — явление временное. Так сказать, военного времени... Вернутся с фронта, подрастет молодежь — не бойся, не стану обеими руками держаться. Да ежели бы и стал. К скамейке этой чугунной можно примерзнуть, если на ней долго сидеть... и то весной подтаешь, отвалишься. (*Искоса глянул.*) Но не исключено: кой-чему подучусь. Усижу, оправдаю, выдюжу! Дурак был бы, кабы не надеялся. (*Неожиданно.*) Может, ты меня сменишь? А что? Еще неизвестно, кого выбрал бы Пчелка себе в преемники, если бы выбирал... Он же не то что иные некоторые. В твоей и в моей душе читал как по писаному. (*Понизив голос.*) Он был настоящий форточник!.. (*Пауза. Грустно.*) Такие-то, Вересов, дела. Потеряли мы с тобой самых близких, самых дорогих нам людей... (*С трудом преодолевая последнее препятствие.*) Попробовать, что ли, не терять друг друга? (*Настойчивее, решительнее, словно плотина прорвалась.*) Давай не терять, слышишь? (*Поспешно.*) Но ты сразу не отвечай... сначала подумай! Знаешь, что это для меня значит? Почти как...

В стороне пруда раздается резкий, громкий, тревожный звук. Совершенно такой же, как в конце предыдущей картины. Оба невольно привстали, напряженно вслушиваясь.



Вересов (*задохнувшись*). Моторка!  
Микишев (*после секунды молчания, успокаивающе*). Откуда ж зимой? Это мотоциклет.

Звук удалился, заглох, растаял.

Вересов (*снимает ушанку, вытирает лоб*). Фу, а я-то...

Микишев (*живо*). А я? Тоже в момент голова сработала! Как хлыстом: война! Опять все сначала!..

Вересов (*овладев собой, встает со скамьи*). Я зайду к тебе завтра, Микишев. (*Достал Витино письмо, протянул ему.*) Возьми.

Микишев (*тоже поднялся*). Спасибо. (*Повертел в дрожащих пальцах этот смятый треугольник. Прячет его.*) Так. Спасибо. Значит, до утра...

Снова слышен нарастающий звук мотоцикла без глушителя.

(*Быстро всматривается между деревьями.*) Так и есть! Тишка Ченцов гоняет на трофейном... А попробуй запрети. Герой войны!

З а н а в е с

1959—1962

## ПОЖАРЫ

Вижу как теперь  
Светелку, три окна, крыльцо  
и дверь.

*Пушкин*

Этот день стал как бы осуществлением страшного сна, который из года в год мы видели по ночам, не могли забыть днем и покорно ждали, когда он исполнится наяву. Кто не жил в маленьком городе, состоявшем наполовину из деревянных домов, окруженных деревянными же амбарами, сараями и курятниками, тот не знает таких навязчивых страхов. Чего стоил один набат — этот словно взбесившийся, бьющий по нервам дробный блям колокола, висевшего на пожарной каланче в соседнем квартале. Особенно страшен зловещий набат был ночью. Он нас будил, мы вскакивали, впопыхах одевались, не зная, что горит, где горит, далеко или близко. Однажды и среди дня, без набата, мы опрометью выскочили из дому, когда к нам с неистовым криком ворвалась незнакомая женщина:

— Горитё ведь вы! Горитё!

Проходя мимо, она увидела, как крышу нашего флигелька вовсю осыпают искры из труб нависавшей над ним двухэтажной пекарни. В давно не чищенных (если их когда-либо чистили) дымовых трубах сажа горела часто, обильно, пылко, и пекарне это ничуть не вредило: крыша на ней была железная. Наша крыша была деревянной, но мы тоже постепенно привыкли к горящей саже, к пышным, раскидистым снопам искр, и как-то вечером, когда к нам пришли гости, папа даже прервал священнодействие ужина и повел гостей во двор — полюбоваться очередным фейерверком: у Верещагиных опять горела сажа. Гости ахали, ужасались, а мы — мы уже немного гордились! Во всяком случае, я, но кажется мне, что и папа чуть-чуть гордился.

Привычка привычкой, но в глубине души мы созна-

вали, что играем с огнем, что придет день или, еще того хуже, ночь, и мы из-за этой пекарни сгорим. Впрочем, пожар настойчиво подбирался к нам то с одного, то с другого бока. Он подступил почти вплотную, когда в нашем квартале, на противоположной стороне улицы, загорелись и сгорели четыре полукаменных дома, принадлежавших до революции купцам Зубаревым и Селезевым, торговавшим льном и холстом с заграницей. В годы гражданской войны в них разместились тыловые госпитали, как и во всех немногих больших домах нашего мещанского и купеческого городка. Пожар случился ночью, зимой, раненых и тифозных в одном белье перетаскивали на носилках и на руках в другие госпитали, и без того переполненные; можно представить, каково им было вдали от войны спастись от огня. Мы тоже начали вытаскивать из дому свои пожитки: горело так близко, что трудно было надеяться на счастливый исход. Тем более, что против нашей одворицы стояли нежилые бревчатые бараки, где летом селились ратники, проходившие воинский сбор. Осенью и зимой бараки никто не охранял, крыши на них были худые, замшелые — самая легкая добыча для прожорливого огня, — и лишь узкая полоска сада отделяла крайний левый барак от пылавшего в эту ночь, как факел, селезевского дома. Однако бараки уцелели и еще несколько лет, вплоть до самого главного, стихийного пожара, уничтожившего две трети, если не три четверти города, стояли пустые, с забитыми окнами. Не успели восстановить и купеческие дома — нижние, каменные их этажи чернели оконными впадинами, закоптелыми стенами, навевая тоску заброшенностью и безлюдьем.

Словом, вся противоположная сторона нашего квартала, от Нижней площади до улицы Карла Маркса, в продолжение шести с лишним лет оставалась нежилой. Это было, конечно, неприятно, всегда казалось, что в этих развалинах, с их нелепо торчавшими высокими печками, с хлопающим от ветра полуоторванным железным листом и все еще где-то посвистывающим и пощелкивающим вентилятором, прячутся бандиты и жулики, готовые в любой момент, особенно в темные осенние вечера, раздеть тебя с головы до ног. Горожане по той стороне улицы ходить избегали; полквартала так и осталось без тротуаров, как важно называли у нас деревянные с шатучими досками мостки.

Но привыкнуть можно, повторю, ко всему, и мы к этому неудобству и уродству привыкли. Правда, еще год-два, и дома бы, наверно, отстроились: страна начала заделывать бреши, причиненные семилетней войной, начала строить, больше того — воздвигать. В начале мая 1926 года я вернулся домой после годового отсутствия: вернулся с заканчивавшейся строительством Волховской ГЭС, первой нашей сверхмощной для того времени гидроэлектростанции. Едва я успел немного отдохнуть, как уже надо было приниматься за подготовку к экзаменам: я собирался поступать в Ленинградский электротехнический институт — дело непростое.

Утром 26 мая я сидел за столом у окна и решал уравнения из памятного многим поколениям алгебраического задачника Шапошникова и Вальцева. За два года, прошедших после окончания школы, занятие это было не столь уж легким, и я не сразу заметил тревожное оживление на улице. Когда же заметил и открыл окно, то услышал тревожные слова:

— В Шуршонках горит!

Шуршонки — это была приткнувшаяся к городу деревня, по существу продолжение нашей улицы, только за железной дорогой, пересекающей улицу. Улицу Луначарского и Шуршонки соединял виадук, перекнутый через железнодорожные линии. Как себя помню, я любил на нем стоять и смотреть вниз и вдаль, на рельсы, уходящие к железнодорожному мосту в семьсот метров длиной, на его пять пролетов, пять арок, шагающих через реку Вятку. Это здесь я питал свой мальчишеский интерес к урбанизму. Стихотворения Маяковского «Бруклинский мост» я тогда еще не мог знать, оно появилось позже, зато вдохновенно декламировал про себя (а иногда и вслух) брусковские стихи:

Улица была как буря. Толпы проходили,  
Словно их преследовал неотвратимый рок.  
Мчались omnibusы, кэбы и автомобили,  
Был неисчерпаем яростный людской поток...

Ни подо мной, ни вокруг меня не замечалось ни малейшего признака бешеного движения. Редко-редко проходил товарный, еще реже — пассажирский поезд, обдавая гордо стоявшего на виадуке молодого индустриала паром и дымом; по прилегающим улицам и по площади плелись крестьянские лошадки, запряженные в телеги и тарантасы; чинно шли пешеходы — спешить было совершенно некуда. Что до автомобилей, то в Котельнице их

попросту не было — ни легковых, ни грузовых; даже пожарные ездили пока на лошадях.

— Горит в Шуршонках! . .

Где бы ни горело, жители наши, узнав о пожаре, выбегали на улицу. И не только от страха или из любопытства: многие, как, например, мой отец, непременно бежали на пожар, чтобы помочь тушить — такова была провинциальная традиция, приближавшаяся к неписаному деревенскому закону, по которому все соседи сбегались гасить загоревшуюся избу или овин, пусть даже их собственным хозяйствам не грозила опасность. Лишь однажды, я помню, мой серьезный, не склонный к озорству отец рассказывал, как они с приятелем в молодые годы, под видом того, что тушат пожар, пихали и кидали в огонь все, что попадалось под руку, — деловые бумаги, прошнурованные с печатями конторские книги: горела полиция!

Услышав про Шуршонки, я захлопнул задачник, выскочил за ворота и сразу увидел клубы густого дыма, быстро несущиеся по небу из-за железной дороги в нашу сторону. Не успел я решить, бежать мне сразу туда, где горит, или не оставлять маму одну, дожидаться папы — скоро обеденный перерыв, — как вдруг папа меня окликнул. Вместе с моим школьным другом Колей Карловым они примчались с горы, где к Верхней площади примыкала обширная территория городской больницы, главным врачом которой был Колин отец, а кварталом ниже жила их семья.

Чуть раньше, чем я, в самом начале одиннадцатого, Коля услышал от пробежавшего мимо дома мальчишки: — Дяденька, пожар!

Выбежав на улицу, Коля увидел большой столб дыма, поднимающийся где-то в районе железной дороги, примерно там, где жили мы; как был, в сандалиях, в домашней куртке, он побежал к нам и почти сразу догнал моего отца.

Очень скоро папа и Коля поняли, что горит далеко, за железной дорогой, и умерили шаг. Правда, ветер дул как раз оттуда, с запада, и довольно сильный, день стоял жаркий, несмотря на май, но пока еще ничто не предвещало большой беды. И все же в Шуршонки отправились только мы с Колей; папа, вопреки традиции и характеру, остался дома: по-видимому, мама попросила остаться, она пуще всех в нашей семье боялась пожара.

Добежав до виадука, мы оглянулись — и остолбенели: дым валил уже возле самого нашего дома! Ничего не поняв, что произошло, как, почему возник новый пожар (в первый момент создалось впечатление, что это два независимых друг от друга пожара), мы с Колей ринулись назад. Оказалось, что загорелся дом нашей соседки, старой учительницы. Отец побежал в ее двор, хотел взобраться на горевшую крышу двухэтажного деревянного дома, но не нашел лестницы. Сейчас он уже влез на крышу ближних к дому Екатерины Матвеевны наших старых амбаров.

Ветер усиливался с каждой минутой и разносил горящую паклю с места пожара, со складов кудели и льна, лепя ее на все деревянные крыши города. Так в первые же полчаса загорелась деревянная каланча, и набат умолк. Умолк навсегда: после пожара каланчу не восстановили. А в тот злополучный день, когда одновременно пылали все городские улицы, местные пожарные вообще мало что смогли сделать.

Зато упорно, систематично тушили пожар вблизи железной дороги мои любимцы — паровозы, спешно прибывшие с соседних станций. Скромные трудяги-маневрушки — «овечки», «щуки», как называли их по первым буквам «ОВ» и «Щ», — постоянно дежурившие на станциях Котельнич-1 и Котельнич-2, вступили в борьбу с огнем еще раньше. Только благодаря паровозам, качавшим воду из своих тендеров, удалось отстоять вокзал, многочисленные станционные постройки — пакгаузы, склады, сберечь мельницу «Коммуну» на Нижней площади, военные казармы, нефтяные баки. Посчастливилось жителям всех ближних к железной дороге кварталов, в частности нам. Если бы не паровозы, охранявшие Нижнюю площадь, нам бы не удалось спасти добрую часть домашних вещей, да и самим пришлось бы худо. Так, жителям центра пришлось спасаться в городском овраге с протекавшей по нему речкой Балакиревицей и на реке Вятке. Правда, и на реке в тот день много раз загорались плоты и сложенное на них имущество, но там можно было сбросить вещи в воду и самим туда залезть, что жители и проделывали. Пристань же и стоявшие на причале и на якорях баржи увели подальше от города пароходы. (Моторных катеров в речном обиходе, сейчас столь многочисленных, тогда не было.) Больницу отстояла вызванная по телеграфу вятская пожарная команда, усиленная вятскими же курсантами, красноармейцами и рабочими.

Но обо всем, что происходило в макром мире нашего городка, мы узнали потом, — события развернулись с такой быстротой, что мы едва поспевали за огнем в микромире нашего участка, нашего дома. Сначала отец не принимал участия в спасении утвари — весь первый час провел на крышах, преграждая дорогу огню к жилому дому. Наши старые пустые амбары тянулись на большом пространстве, окружали почти весь участок, и отцу приходилось перебегать, перелезать и переползать с крыши на крышу. Да, и переползать, потому что гнилые доски то и дело проваливались, а ведь часть амбаров была двухэтажной. Коварно опасен был и высокий навес, ни разу за много десятков лет не чиненный. Мама увязывала носильные вещи в узлы, мы с Колей вытаскивали эти узлы во двор, потом на середину улицы, потом предстояло им переместиться на Нижнюю площадь.

Неоценимую помощь нам оказали наши друзья — крестьяне из ближних деревень, расположенных верстах в пяти, в семи от города. Узнав, что Котельнич горит (тучи дыма видны были издалека, да и слух о пожаре быстро разнесся по всей округе), они кто прибежал, кто приехал на лошади (тем более великодушный поступок для любого крестьянина) и рьяно принялись выносить и увозить наши вещи в относительно безопасное место.

Не обошлось без курьезов. Скажем, мы с молодым мужиком вымахнули из дома окованный железом старинный сундук с бельем и одеждой, один угол которого в обычное время я бы не мог приподнять даже на вершок от пола! Потом тот же самый Михаил Сивков, симпатичный мужик, которого я помню всегда улыбающимся, начиная с минуты, когда он впервые у нас появился, вернувшись из германского плена, на моих глазах бежал по двору с туалетным зеркалом, стоявшим обычно на маминном комод; крепко держа его перед собой обеими руками, он вдруг запнулся за что-то, упал — и толстое стекло треснуло пополам. Это был единственный раз, когда я заметил, как с Мишиного лица сошла обычная белозубая улыбка и проявилось выражение озабоченности и огорчения... Впрочем, зеркало существует и сейчас, пусть с трещиной, а Михаила Сивкова давно нет: вещи, как известно, надолго переживают людей.

Не знаю, как вернее сказать: время не то убыстрилось, не то замедлилось, — во всяком случае, с ним произошло какое-то волшебство, ибо за час-полтора мы успели сделать и спасти столько, что нам и не снилось в самых

подробных пожарных снах. Все делалось «наускоре», «впробегутки», выражаясь по-местному. Вытаскивали вещи не только из комнат, из кухни, из сеней, с чердака, который назывался «пóдволокой», но и из соседнего с домом амбара, служившего для нас летом чем-то вроде дачи: там было прохладней, чем дома, мы пили там чай, обедали, даже принимали гостей, хотя обстановка была совсем не парадная. Над головой угрожающе нависала лежавшая на балках большая лодка, которую никогда не спускали на воду, — для этого существовала другая, значительно меньших размеров; вдоль двух стен — задней и боковой — протянулись поленицы отборных березовых дров, предназначенных для самой морозной поры. Представляю, как жарко они пылали и как дружно трещали, когда добрался до них огонь!

Третья стена амбара была для меня самая интересная: отведена плотничным, столярным, слесарным инструментам, моткам проволоки, связкам бечевки, веревок и рыбацким снарядам. У четвертой стены, обращенной во двор, подле широких двустворчатых дверей, стояли разные брусья, рейки и колья, а также мои и отцовские лыжи. Именно здесь отец и я что-нибудь мастерили: здесь не страшно было настрогать, насорить — легко потом подмести. Пол был простой, некрашенный, но, как и в доме, имелась необходимая для житья-бытья мебель: стол, диван (со спинкой и подлокотниками, оклеенными фанерой красного дерева, пусть облупившейся), простые, крепкие стулья. Начиная с весны, как только становилось теплее, мы обживали эту нашу дачу; кухня, естественно, оставалась в доме, обед и кипящий самовар для утреннего и вечернего чая приходилось носить из кухни. Зато в открытые настежь двери мы видели весь наш зеленый, заросший травой и лечебной ромашкой двор, слышали свист носившихся над двором и над крышами ласточек и стрижей. (Где они были во время пожара? Улетели из города? А птенцы? Научились ли они уже летать к тому времени?)

Но вот я сказал: «дрова трещали» — и подумал о том, что шум, треск пожара мы еще слышали, а вот все остальное — сборы, хлопоты, беготня, бесконечная, терпеливая и бесстрашная борьба папы с бесчисленными кострами и костерками — очажками пожара на крышах, и прочее, и прочее, и прочее, да и весь этот день, весь пожар в городском масштабе, — запомнилось мне как немой фильм, без единого слова. Собственно, звуковых фильмов тогда



и не существовало, все фильмы были немыми, так что сравнение это я делаю единственно для того, чтобы подчеркнуть безмолвие происходившего с нами и вокруг нас. Наверное, мы перекидывались какими-то необходимыми фразами, короткими репликами, но впечатление таково, что мы все только действовали, совершенно не переговариваясь. Так оно, наверно, и было: как начался этот пожар без привычного для всех прежних пожаров набата, так он и продолжался, так и закончился — немой, немой, как в немом сне. . .

Я не раз называл имя моего друга Коли Карлова, самого деятельного участника спасения нас от огня. Что в это время происходило в его семье, в его доме? Вытаскивать вещи практически было некому — одни женщины; Николай Иванович, как главный врач, не считал возможным покинуть больницу, которой угрожала опасность; младший брат Боря за день до пожара уехал вместе со своим выпускным классом в Вятку, а Коля. . . Коля долго не мог попасть в свой район: пути оказались перерезаны огнем. С Нижней площади, от «Коммуны», была хорошо видна поднимающаяся в гору Советская улица с пылающими справа и слева домами, с объятыми пламенем колокольнями Троицкого собора и Никольской церкви, с уже сгоревшей деревянной аркой поперек улицы (осталась после первомайского праздника); пройти, пробежать сейчас вдоль этой улицы — все равно что проскочить сквозь огненный коридор более чем километровой длины. И Коля его проскочил, но — поздно: их квартира сгорела.

Мы оба хорошо помним, как в последний раз подбежали к нашему дому, когда он тоже уже горел. Горел и отделенный от него воротами и калиткой наш старый, уже три года как нежилой дом. Горел забор и лежащие за ним бревна — складница на высоту роста плюс поднятая рука. Все это пылало так жарко, что нас поразило — откуда такая сила у маленьких, низких строений. Весь двухэтажный верещагинский дом еще не горел — он загорелся уже от нашего флигеля, через какие-то считанные минуты, но все-таки после. Вот ирония судьбы: всю жизнь мы боялись соседства этой пекарни, осыпавшей нас искрами из своих труб, а вышло так, словно мы ее подожгли!

Хотя горела пока лишь одна сторона улицы — наша, жар стоял такой, что нам с Колей не удалось унести вытасченный на улицу зеленый шкаф, обычно стоявший в

сенях (в нем и зимой, и летом хранились различные ва- ренья), — сейчас он лежал на самой середине дороги. Одновременно схватившись за него с двух концов, мы в тот же миг отскочили: масляная краска так раскали- лась, что уже пузырилась, и мы, отдернув обожженные руки, почувствовали, что, останься мы здесь еще с ми- нуту, и одежда на нас задымится. Помню, как, добежав до площади, я с облегчением сунул голову под струю из водоразборной колонки, из которой обычно мы брали питьевую воду. Потом я жалел, что не схватил лежав- шие рядом со шкафом весла от лодки (лодку мы с па- пой как раз накануне пожара спустили на реку): при- льнув к земле, они, вероятно, раскалились меньше, чем шкаф.

Недавно Коля Карлов (ныне врач Николай Николае- вич, с сорокапятилетним стажем, отец и тесть врача; все трое работают в Котельнической больнице) напомнил мне любопытную подробность: по ту сторону улицы, где еще ничего не горело, какой-то человек торопливо ломал забор, отделявший деревянные бараки от сгоревших семь лет назад селезневских домов.

— Разве ты его не узнал? — спросил меня Коля. — Это был Николай Семенович Зырин.

Я почему-то не помню, как выглядел Зырин. Между тем это был известный в городе человек: бывший пред- седатель уездной земской управы, бывший помещик (единственный в нашем уезде), бывший хозяин огромного участка земли, простиравшегося от улицы Луначарского (бывшей Воробьевской) до Советской (бывшей Москов- ской), бывший хозяин прекрасного дома из лиственницы, где помещался после революции городской клуб, быв- ший хозяин не раз упомянутых деревянных бараков и многочисленных надворных построек, где разместились казенные склады. . . Зачем же Зырин ломал забор? Что он пытался спасти? Муниципализированные дома, право собственности на которые он никогда не вернет? Дело обстояло проще. Зырину разрешили построить на быв- шем его участке, вернее на малой его части, примыкав- шей уже не к центральной, а к нашей улице, небольшой домик, в котором он жил и вокруг которого развел садик (за забором не было видно ни дома, ни садика), — их-то он и пытался спасти от огня, ломая заборы. . . Конечно, ему это не удалось. Как не удалось почти никому.

Почти. . . Значит, кому-то все-таки удалось? Да, на главной, Советской, улице огонь не пошел дальше Верх-

ней площади и не тронул больницы; на улице Луначарского остановился кварталом ниже, дойдя до большого, красивого, трехэтажного здания школы, в которой мы с Колей учились; на Октябрьской и Пролетарской улицах пожар не перешагнул за овраг, перерезавший город на две приблизительно равные части. Что остановило пожар? Кроме усилий гасивших его людей были опять же и естественные причины. Прежде всего льняной склад, из которого летела во все концы города пылавшая или тлевшая куделя, сгорел начисто. Затем сильный и все усиливавшийся в первой половине дня ветер (казалось, что сам пожар, разгораясь, создает этот бурный воздушный поток, а возможно, что так и было) стал утихать. И наконец, как это часто бывает в результате большого пожара или после длительного артиллерийского боя, тучи дыма образовали дождевые тучи, и хлынул обильный дождь, благодатный дождь. . .

Ах, какое это было блаженство! Кажется, еще никогда в жизни мы не испытывали такой радости от дождя, — эту радость я помню, чувствую и сейчас; а вот долго ли шел этот дождь, не помню. . .

Зато хорошо помню, как со знакомым мужиком Константином из деревни Вшивая Горка я под вечер поехал на лошади по сгоревшему городу, как приехали мы к нашему двору и не нашли там ничего, кроме дымивших головешек: это догорали врытые в землю бревна парников в огороде и венцы бревенчатых срубов колодца и погреба. Обгорели, но не упали наземь деревья — любимые мной тополя, березы, черемуха, липа, на которые в детстве я с упоением лазал. Обойдя наш участок, мы прошли на соседний: там тоже все было пусто, голо, черно — ни двухэтажного, стоявшего в глубине двора деревянного дома, в котором я часто бывал у Екатерины Матвеевны, ни амбаров, ни колодца, ни погреба; и так же, как у нас, стоял черный, как уголь, сгоревший сад, и точно так же везде пахло гарью и дымом.

Мы вышли на улицу. То, что я здесь увидел, меня потрясло, впервые за этот день заставило оцепенеть физически и душевно, — впервые, ибо весь день пребывал я в непрестанном движении, в действии, в желании действовать, даже сейчас, когда бродил по участку. А увидел я на улице вот что: на середине дороги, напротив сада Екатерины Матвеевны, лежала она сама, мертвая. Лежала на спине, вся одежда сгорела, только под темным чернела кружевная наколка, в которой я ее всегда

помнил; в правой руке зажата связка ключей, на запястье левой виднелись часы; они шли, в тишине явственно слышалось тиканье. Тело Екатерины Матвеевны не обгорело, лишь слегка вздулось, поэтому выглядело молодым, что дало повод флегматичному Константину заметить:

— Ну и ну! Ровно девка лежит!

Первым моим движением было закрыть это тело. Чем? Даже сена ни клочка не было на телеге. И вокруг ни травы, ни зеленых ветвей. И никого, к кому мог бы я обратиться.

Константин молча сел на телегу, я рядом с ним, и мы укатили, оставив мертвую Екатерину Матвеевну. Не знаю, как мы могли иначе поступить, куда увезти ее тело, — мы даже не знали, цела ли городская больница с покойницей.

На следующий день я с моими родителями снова пришел на пепелище. Труса старой учительницы на улице уже не было. К тому времени мы узнали, что человеческих жертв от пожара немного: сгорела соборная сторожка или монашка, которая зачем-то заперлась в церковной сторожке, сгорел какой-то старик, бежавший через Соборную площадь с самоваром в руках и внезапно охваченный огнем; сгорело еще несколько человек. Обожженных, конечно, было немало.

На этот раз мы внимательно, сверхвнимательно осмотрели участок — не осталось ли чего-нибудь годного. Остались железные части лопат, вил, ухватов, кочерг, различные задвижки, болты, гвозди, щеколды, скрюченные, искривленные куски толстой проволоки, еще как-то железяки. В погребной яме лежало, стояло, свернувшись набок, несколько обгоревших, с почерневшей или совсем отвалившейся эмалью кастрюль, чугунков, горшочков.

Нашли скелет козы Гульки, которая вчера забилась в угол сарая, где она жила и откуда ее не могли ни выгнать, ни вытащить. Кто-то мельком вчера заметил, как кошка шмыгнула на чердак, а щенок под мостки, — там они и сгорели. А вот куры. . . куры почти все уцелели, сгорела только одна, высиживавшая цыплят. Принято говорить: «Она (или он) — настоящая курица», считая кур образцом бестолковости. Между тем шеф наших кур, петух, организованно вывел их со двора, затем на площадь, там они где-то бродили или ютились, — в самое горячее, вернее, горящее время мы их не видели, не до них. Сегодня же мы нашли наших кур на Нижней площади:

во главе с полным достоинства петухом они ходили, прилежно поклевывая рассыпанные на утоптанной, уезженной земле ржаные, пшеничные, ячменные зерна; им явно по нраву пришлось окрестности мельницы, где в обыденной своей жизни они никогда не бывали и кроме овса и отрубей ничего не пробовали.

Как же случилось, что город сгорел на две трети? Как могла выгореть на протяжении двух километров главная улица, почти вся состоявшая из каменных домов с железными кровлями? Как сгорели три каменные церкви, в том числе и старинный толстостенный собор, рядом с которым на целый квартал простирался каменный же гостиный двор, тоже с толстыми стенами и сводчатой каменной галереей, где было всегда прохладно? Да, бесновался огненный вихрь, но могло бы еще обойтись, если бы не дворовые постройки: амбары, сарай, дровяники — все это было деревянным, а то и ветхим, все легко вспыхивало даже от одной искры. Взглянуть бы тогда на город со стороны! Наверно, это было похоже на Страшный суд, только грешники не корчились в адском пламени, не вопили, грозя небу кулаками, а деятельно таскали на себе свое добро, порой забывая в доме ценные вещи, а спасая рухлядь и хлам.

С чего же все началось?

Разумеется, провели следствие, и подозрение сперва пало на столяра и гробовщика Зайцева, проживавшего в деревне Шуршонки. Якобы он в то утро варил во дворе олифу и то ли по небрежности, то ли по забывчивости упустил момент, когда костерок разгорелся и пламя охватило накопившийся в углу двора строительный мусор. Рядом же с зайцевским двором находились те самые склады льна, о которых я уже дважды упоминал, — они то и сделались разносчиками пожара, невольными поджигателями, погубившими город. Бывают же такие несчастные совпадения: именно в этот день, с утра пораньше, по случаю хорошей погоды, вынесли лен и куделю на крышу для просушки. И через час начался пожар...

Недавно я прочел в местном краеведческом музее записи моего отца, бывшего в те годы техником Совнархоза:

«Возник пожар в пригороде, в так называемой деревне Шуршонки, в западной части города, в доме Зайцева Александра Ильича. Много было догадок о причине пожара, были и аресты по подозрению, но дознаться истинной причины так и не удалось. Самого хозяина, по про-

Фессии столяра, тогда дома не было, он находился, как староста, в церкви, был какой-то церковный праздник. Подозревался его квартирант Куликовский, глухой и вечно с трубкой во рту старик, тоже занимавшийся столярным ремеслом во дворе; предполагали, что он, как курящий, мог заронить искру в стружки, а ветер раздул ее в пожар. Но, видимо, он сумел доказать свою невиновность и был освобожден. Едва ли не достовернее будет версия, которую мне случайно пришлось выслушать уже несколько лет спустя от одного из граждан, прибывших к месту пожара в самом начале, когда горела нижняя часть тесового крыльца. Он передавал, что огонь вырвался как раз из-под лестницы и возник от горячих углей, вынесенных в корчаге в кладовку и не заглушенных крышкой по забывчивости и торопливости, с которой вынесшая угли женщина вернулась в дом к заплакавшему в этот момент ребенку. . .

Но, что бы ни было причиной пожара, — пишет дальше отец, — к шести часам вечера от города осталась лишь четверть, лучшую его часть вымело огнем. Сила огня была такова, что о тушении уже не думали, а спасались сами. . . Я знаю случай, когда от нивелира, вынесенного с прочим имуществом на берег, осталась только часть малой трубы с расплавленным стеклом объектива».

Сейчас и я вспомнил случай, характеризующий силу ветра в часы пожара. В двадцати пяти километрах от Котельнича находится село Пищальское. С высокого берега Вятки в ясный день можно увидеть сельскую колокольню, — она белеет на синей лесной полосе на горизонте крохотным восклицательным знаком. В это село и принес воздушный поток легкую шелковую косынку, как весть о беде, — двадцать пять километров летела эта необычная аэрограмма. . .

Теперь несколько слов вообще о Котельниче. Кто знал, кто слышал о нем до пожара? А ведь городок существует с XII века, когда он был черемисским селением и назывался Кокшаров; уже в конце века его завоевали новгородцы и наименовали Котельничем, от слова котел: центр города и сейчас расположен в котловине между двумя горами. Вот летописные сведения, относящиеся к 1629 году:

«Город Котельнич над рекою Вяткою, деревян, ветх. Всего в городе и на посаде пять церквей, да церкви без пения. Да в городе и на посаде семь дворов церковных,

да двор съезжий для посланников, да два двора пушкарских, да два двора монастырских, а в них живут старшцы, да двадцать пять дворов тягловых людей, и людей в них тож (иначе говоря, взрослых мужиков. — Л. Р.), да двадцать шесть дворов пустых, да тридцать семь дворовых мест пустых. За посадом, за рекой Балакиревицей, монастырь Ивановской, а в нем церковь во имя Рождества Ивана Предтечи деревянная, а на монастыре семь келий, а в них живут черноризцы, старец Иов с братию, да к тому монастырю на монастырской стороне монастырские бобыльские четыре двора».

В новое время — я имею в виду XIX и начало XX века — Котельнич хорошо знали ссыльные и их близкие родичи: ссылали в наш город часто, в те годы, когда через него еще не прошла транссибирская магистраль. Несколько лет жил в Котельниче Беклемишев, народо-волец, сюда же сослали и его сына; до сих пор на улице Луначарского, в нагорной ее части, сохранился деревянный домик (пожар его не достиг), где в юности проживал Н. Е. Федосеев, с которым в девяностые годы переписывался В. И. Ленин.

В 1926 году неведомый почти никому Котельнич благодаря пожару приобретает всероссийскую известность, чуть ли не славу: о нем пишут в газетах, сравнивают котельнический пожар с другими известными большими пожарами, например в Сызрани, собирают и шлют пожертвования и пр. Слава продолжалась недолго — сенсации забываются быстро. И все же сенсация была, и помощь тоже была. Приехал в Котельнич и выступил перед жителями нарком внутренних дел.

Собственно, приезд такого известного человека в Котельнич являлся тоже событием, но я не помню большого стечения народа на митинге в городском (Загородном) саду. Слишком озабочены были жители своим устройством после беды, слишком заняты подысканием хоть какого-нибудь жилья; да немного их и осталось в городе, большинство расселилось в окрестных деревнях. Впрочем, в том же Загородном саду был организован пункт питания погорельцев и устроена временная библиотека-читальня. Да, прекрасная городская библиотека сгорела, как сгорели и все магазины и продуктовые лавки, — купить что-либо стало возможным только на рынке или в деревнях; городок являл собой полдесятка квадратных километров черной пустыни, долгие меся-

шы — летом, осенью и зимой — удушливо пахнувшей гарью, но библиотека, конечно, в миниатюре, сразу же возродилась. И люди, пришедшие в сад съесть миску супа и прочитать свежую газету, полистать журнал «Крокодил» или «Безбожник», молча выслушали речь наркома, который деловито, без митинговых приемов, рассказал о принятых правительством мерах помощи, о спущенных городу фондах строительного леса и кирпича, и с удовлетворением разошлись. Кто-то из толпы крикнул: «Почему страховку не платят?» На него справедливо шикнули: шла всего первая неделя после происшедшей беды, от банка остались одни накопительные стены, но инкассаторы ежедневно привозили из губернской (еще не областной) Вятки и аккуратно выплачивали уездным (еще не районным) служащим жалованье (кажется, тогда его еще не сменило слово «зарплата»).

Примерно с год Котельнич был пуст и черен (если не считать, что зима благодатно укрыла белой пеленой голышечки и развалины, — я увидел его именно таким, приехав на зимние каникулы; впрочем, гарью все равно пахло), но потом быстро отстроился. Не стало только церквей, украшавших город, и еще не поднялась зелень новых посадок, превратившихся со временем в тенистые сады и бульвары, делающие его нынче похожим на южный курорт.

Котельнич стал погорельцем за пятнадцать лет до войны. Как ни странно, война, уготовившая несравненно худшую участь сотням городов и селений, принесла ему известность гораздо большую, чем пожар 1926 года. Тысячи эвакуированных из Ленинграда и других городов осели на несколько лет в Котельниче — число жителей в городе сразу удвоилось, достигло сорока тысяч, — а великое множество фронтовиков и тыловиков, командированных и мобилизованных, москвичей и уральцев, сибиряков и дальневосточников проехало мимо, возможно запомнив название станции. К тому времени станция была уже узловой — точка пересечения Северной и Горьковской железных дорог и пристань на большой судоходной реке.

И какие же разные это были люди! Одни ждали пересадки, сутками живя на вокзале, часами топчась на рынке, меняя вещи на продукты, которые стоили здесь вдвое и трое дешевле, чем в крупных промышленных центрах: скажем, за пуд картошки запрашивали все же не тыщу, а чегыреста рублей. Другие прослышали о Котель-



ниче от поселившихся в нем родных и знакомых. Третьи лежали в здешних госпиталях, размещенных во всех двухэтажных и единственном трехэтажном зданиях города. Выздоровливающие бродили по улицам, толкались на базаре, меняя пять кусков пиленого сахара на восьмушку самосада, в летние и весенние дни грелись на солнышке, — мудро не запомнить место, где они возвратились в жизнь, иные хотя бы и для того, чтобы вновь отправиться навстречу смерти.

Когда война кончилась, город стал ширить свои границы. Ближние к нему деревни становились городскими улицами, сперва окраинными, затем обычными, рядовыми. Вокруг станции Котельнич-2 (Горьковской ж. д.) образовался свой город-спутник с домами и участками усадебного типа, с садами и огородами, где улицы все до одной почему-то получили историко-литературные наименования: улица Герцена, Лермонтова, Рылеева и многих других писателей. В городе появились четырехэтажные и пятиэтажные жилые дома, — оригинальности, красоты в них не было, но в сочетании с зеленью деревьев, алыми кистями рябин, цветущими яблонями снаружи и бытовыми удобствами внутри они могли считаться достигнутым городской культуры.

Мало, очень мало кто из жителей этих новых, полуновых и совсем немногих оставшихся доживать старых домов помнит о стихийном пожаре 1926 года, — каких-нибудь два-три десятка людей, не больше. И дело не только в том, что прошло полвека, что с тех пор появились на свет уже два поколения, не видевшие пожара, а те, что были тогда детьми, стали дедушками и бабушками: исконных котельничан осталось вообще немного, не кмá, говоря по-вятски.

Конечно, во время пожара я не успел ощутить утрату всего, что вчера еще было моим детством и отрочеством: двор, дом, сад — за несколько часов все исчезло, и в эти часы было не до горьких осмыслений. Не до того мне было и после пожара: подготовка к экзаменам в вуз, скорый отъезд в Ленинград, молодая целеустремленность — вот что решало и определяло самочувствие. «Вперед, вперед! Назад не оглядывайся!» — таков был не произносимый вслух девиз. Вместе с тем где-то внутри, глубоко внутри, я, несомненно, ощущал, что пожар отчеркнул резкой угольной чертой все мое прошлое, если можно его в восемнадцать лет так назвать!

Лишь теперь, через полвека, мне захотелось вспомнить и рассказать о том, что предшествовало этой черте, обо всем, что в тот майский день сгорело. Впрочем, не надо усматривать в этом подчеркнутом слове символику и патетику: в том, что я хочу вспомнить и рассказать, ничего такого возвышенного не будет, — будут просто картинки уездной жизни, забывшиеся ребенку, подростку, немного позднее юноше.

## СТАРЫЙ ДОМ И ЕГО ХОЗЯЙКА

На Луначарской улице  
Я помню старый дом...

*Маяковский*

Дом, в котором мы жили до пожара, в отличие от стоявшего рядом старого, главного дома, считался флигелем. В нем были две комнаты и кухня, все три помещения весьма скромных размеров, как нынче сказали бы — малого метража. Старый дом отделен был от флигеля нешироким проездом, замкнутым со стороны улицы двустворчатыми воротами и калиткой. На моей памяти он имел еще вид буквы «Г», загибаясь длинным концом внутрь двора, но постепенно, уже на моих глазах, его всё ломали, ломали на бревна и на дрова, отсекая от него часть за частью, так что наиболее сознательная пора моего детства прошла вблизи дряхлой коротышки с безобразно обрубленной и безобразно заделанной с торца крышей. Было неприятно смотреть на зрелище этой медленной, нищенской смерти, и, возвращаясь домой среди бела дня, когда безобразие было всем напоказ, я чувствовал, что немножко стыжусь этого уroda и мысленно желаю ему скорого конца.

Но случилось, что флигель обветшал едва ли не скорее старого дома: он был болен, заражен каким-то кошмарно прожорливым грибок или жучком, в рекордные сроки съедавшим начисто все полы в доме, прихватывая и нижние венцы бревенчатых стен. Мне, ребенку, этот домовый хищник представлялся определенно живым и к тому же сверхъестественным существом, которое умышленно наносило нам вред и которого я втайне от взрослых боялся. Разве не жутко, когда стулья в комнатах начинают проваливаться то одной, то сразу двумя ножками (толстый слой глянцевой краски, скрывавшей гниль,

был особенно каверзен), вода на полу возле умывальника по ночам замерзает, сколько днем ни топи обе печки, и русскую, и голландскую, а раньше вместо голландской — лежанку, с которой я однажды свалился.

Взрослых тоже тревожило состояние флигеля: надо, надо срочно что-то предпринимать. И вот летом подводили новые венцы, перестилали полы, обеззараживали почву под домом. Увы, ничего не помогало: жучок (или грибок) немедленно возобновлял свою разрушительную работу. Папа часто в сердцах говорил, что есть лишь одно верное средство: сжечь этот флигель. И флигель сгорел, но об этом уже рассказано.

В разные годы в старом доме жили разные люди, в том числе и его владелица, тетя Аня, покинувшая его после того, как едва спаслась — чудом выскользнула из-под упавшего на нее потолка. До самой смерти не переходил в другое жилье ее брат, мой дед, отец мамы. Он редко к нам приходил, разве что за газетой, которую называл «ведомости» уже и в советское время. Он любил читать «Мир приключений» в ярких обложках с впечатляюще изображенными на них кораблекрушениями, пальбой из револьверов, плясками дикарей вокруг костра, на котором они собрались поджарить пленного европейца. «Мир приключений» доставлял деду («дедке», как я его звал) наш родственник, муж маминой двоюродной сестры, Флегонт Гушин, паровозный машинист, о котором я еще расскажу. Мне этот заманчивый журнал, издаваемый П. П. Сойкиным как приложение к журналу «Природа и люди», читать не давали, — может быть, потому и сейчас я к нему отношусь с неким волнением, с жгучим любопытством проглядываю случайно попавший мне в руки номер журнала, донельзя зачитанный, рваный, подклеенный, — их вообще-то на свете осталось, должно быть, несколько штук.

В молодости, судя по фотографиям, дед был красив: темные, волнистые волосы, широко расставленные задумчивые глаза; ему шел его бархатный черный пиджак с широкими лацканами, окаймленными светлой полосой. Я его помню уже стариком с большой седой бородой и все еще темными, густыми волосами (мама тоже до старости почти не седела). После ранней смерти жены, моей бабушки, Иван Иванович Пиков перенес нервную горячку, навсегда отразившуюся на его душевном здоровье: он с тех пор нигде не служил, находился на иждивении сестры, тети Ани, помогая ей в огородных де-

лах. Со мной он был всегда добр и ласков, и мне теперь жаль, что мама и тетя Аня как-то делали так, что мы с ним мало виделись. Может, боялись или стеснялись его странных выходок? Помню, к нам прибежали соседи — сказать, что увидели из своего двора, как Иван Иванович купается посреди огорода в стоявшей там для поливки большой сорокаведерной бочке. Теперь, наверно, это никого бы особенно не удивило, а тогда тетя Аня ужасно сконфузилась и задала брату знатную пробку.

Думается, что дед порой просто озорничал, дразнил своих близких. Например, когда тетя Аня велела ему унести корзину с морковью на берег, он и унес ее на берег Вятки, примерно за версту от дома, хотя отлично знал, что «берегом» в наших местах называли еще и дощатые края ямы в погребе. Разве не было в этом поступке своеобразного вызова? Сестра его строго держала — вот дед и устраивал иногда безобидный бунт.

Конец его жизни тоже нельзя считать ordinary. Заболев и побывав у врача, который не скрыл от него его опасной и в те времена почти неизлечимой болезни (врач был мизантроп и пессимист вопреки фамилии Праздников), дед отнесся к своему положению стончески: у него хватило воли с этого самого дня ничего не есть, как родные ни уговаривали, и через несколько недель он тихо угас, ни разу не пожаловавшись на боль, а ведь это был рак кишечника, несомненно причинявший ему страдания.

Деда долго потом вспоминали добром знакомые крестьяне, приезжавшие к нам из ближних и дальних деревень, хотя при жизни его кое-кто из них пользовался его простотой и чудаческим нравом. Помню, как бушевала тетя Аня, когда дед поменялся с одним мужиком валенками: отдал ему свои новые, а взял взамен старые, заплатанные, подшитые, понравившиеся ему тем, что, будучи сброшены с любой высоты, непременно вставали торчком, а не валились набок.

Из квартировавших в старом доме разных людей запомнился мне Косолапов, начинающий лавочник, только еще переехавший из деревни в город и открывший торговлю на главной, Московской, улице, рядом с площадью, где через много лет мы спасались от пожара. Это был рыжеватый бойкий человек, любивший поговорить и похвастать, с пафосом и апломбом употреблявший иностранные слова.

— В этом отношении, Ксения Ивановна, я держу нейтралитет, — бодро говаривал он моей маме.

Желая вполне цивилизоваться, вручал жене флакон с духами и пульверизатор.

— Дуй! — командовал он ей.

— Да куды дуть-то? — пугалась жена.

— Дуй, тебе говорят, сюда, деревня!

Потом я учился с двумя Косолаповыми — один был его сын, другой — племянник. Почему-то племянник был вылитый дядя, такой же рыжий и бойкий, с пронзительным голосом. Сын был совсем другой — красивый, темноволосый, интеллигентный мальчик. С его отцом, лавочником, я встретился как-то на улице; мне было уже лет пятнадцать, я шел со скрипкой на урок. Он меня остановил, спросил, у кого я учусь музыке. Я ответил:

— У Тупицына. У Анатолия Лукича.

Это был всем известный, уважаемый в городе бухгалтер, директор счетоводных курсов, приватным увлечением которого с давних пор стала скрипка.

— Ах вот что? Прекрасно! — как всегда воодушевленно, одобрил Косолапов. — Я слышал, Анатолий Лукич играет даже на трубе. . .

Когда мы расстались, я долго пытался понять смысл этой похвалы: что же все-таки выше для Косолапова — уметь играть на скрипке или на трубе?

После него жил в доме и держал небольшую пивную другой первогорожанин, имени и фамилии которого не помню, — помню лишь, что его хорошенькую жену звали Марьей Андриановной; сам он был тоже видный мужчина, молчаливый и тихий, тихо было и у него в пивной — ни драк, ни скандалов в своем заведении этот уездный бармен не допускал. В 1914 году его мобилизовали, Марья Андриановна закрыла пивную и вскоре уехала, прислав нам на память фотографию, где она снята вместе с мужем, одетым в военную форму: он сидит, она стоит рядом, положив, как принято тогда было, руку ему на плечо. . .

В зимние месяцы в старом доме арендовали помещение для жилья и работы так называемые «катанщики» или «шерстобиты» — муж, жена и двое сыновей, — они делали валенки. К ним было страшно войти: комната представляла собой кромешный ад — дым, пар, смрад, пыль. Шерсть чистили и взбивали на жиле, прикрепленной к деревянной стойке (нечто вроде гигантского смычка или лука), затем мочили, парили и накатывали на

колодки разных размеров и фасонов. Эта сезонная мастерская немало занимала мое воображение, и пугая и привлекая: семья работала с утра до ночи, не отдыхая, по-моему, даже в воскресенье. К весне шерстобиты, распродав свой товар на Алексеевской ярмарке (вторая половина марта по старому стилю), уезжали на родину, — откуда они были родом, не знаю.

Комнаты, в которых жила сама тетя Аня до того, как потолок обвалился, были уставлены старой мебелью: диван, стол, кресла и стулья, обклеенные отслоившейся от времени и от сырости фанерой красного дерева, простая железная кровать с периной и высоко взбитыми подушками; в простенках висели два зеркала в черных рамках с испорченными местами амальгамой, немощно отражавшие желающих на себя поглядеть. Запомнилось, как меня, еще совсем маленького, купали в железной ванне, крашенной белой краской внутри и зеленой снаружи; ванна стояла на полу в тети Аниной комнате. Вдруг все ушли, вероятно на короткое время, показавшееся мне бесконечно долгим, и я заорал благим матом, оказавшись один в пустом доме, где сами собой трещали разошедшиеся кресла, словно на них садился кто-то невидимый, и похоронно пели комары...

Тетя Аня, Анна Ивановна Лебедева, до замужества Пикова, была незаурядной женщиной, несмотря на не бог весть какую грамотность и массу предрассудков. Чем занимался ее отец, не знаю. Был ли он выходцем из деревни и, перебравшись в город, занялся тут чем-то, или так и родился горожанином и домовладельцем, — могу только гадать. Во всяком случае, деревни Пиковы или хотя бы деревни, населенной людьми с такой фамилией, в Котельничском уезде нет, — значит, скорее всего он был потомственный мещанин.

Полагаю, что отец тети Ани не мог быть богат хотя бы уж потому, что нарожал слишком много детей, главным образом дочерей, — всех надо выдавать замуж, готовить приданое. Детей насчитывалась чуть ли не дюжина, да еще сколько-то умерло в раннем возрасте. Я знал тетю Аню, тетю Лизочку, тетю Калю (Клавдию), тетю Наню (Анастасию), тетю Машеньку, — собственно, все это были мамыны тетки, приходившиеся мне бабушками. Про деда Ивана Ивановича я уже говорил. Кстати, у тети Лизочки было, кажется, тоже двенадцать детей, из которых я знал Маню, Августу, Валентину, Со-

фью, Дмитрия. Но ближе, роднее всех была для меня тетя Аня.

Тетя Аня в свое время, то есть лет за сорок до нашей «встречи», вышла замуж за красивого блондина Ивана Антоновича Лебедева, где-то служившего и, судя по фотографии, имевшего вид томного и меланхоличного лирического поэта. Тетя Аня же в молодости выглядела необычайно пикантно и привлекательно. По-видимому, она очень любила мужа, — даже голос ее менялся, когда она о нем говорила. Иван Антонович рано умер (причины не знаю); страстной натуре Анны Ивановны обязательно нужно было сразу что-то сотворить с горя, и она перестала есть мясо. И сколько бы лет после этого ни прошло, тетя Аня всегда говорила, что ровно сорок лет не ест мяса.

Характер тети Ани был крайне противоречив. С одной стороны, профессия огородницы, выращивавшей ранние огурцы, требовала терпения, прилежания, выдержки, необходимых для многомесячной возни с рассадой, высаживания всходов в парники и на гряды и каждодневного за ними ухода. Когда ни войдешь в огород, видишь тетю Аню стоящей на коленях перед парником, перед приподнятой на колышке стеклянной рамой; просунув внутрь голову и руки, она фыхлит землю в лунках, сощипывает лишние завязи и листочки, поливает из ковшика, днем бережно прикрывает от солнца ветвями пихты, а на ночь — от возможных утренников и заморозков — большими соломенными матами (представляю, как ярко горела эта солома в 1926 году!).

Огуречная страда начиналась в марте, когда надо было замачивать семя в мох в глубоких тарелках и глиняных чашках и наступала пора позаботиться о навозе для гряд и парников. Все трудные годы — с 1918-го по 1923-й — мы сгребали навоз вручную на улицах, свозили на тачках и сносили на носилках в огород. Папа делал гряды. Полвка в жаркие летние месяцы требовала расхода двух сорокаведерных бочек колодезной воды ежедневно, что будет описано особо, ибо проходило при моем ближайшем участии.

Страда заканчивалась осенью, когда собирали семенные огурцы, крупные, желтые, испещренные выпуклыми жилками, как дыни; их взрезали, вылущивали из них семя, промывали его и сушили, затем разбирали по сортам и по спелости. Повторяю, всеми этими трудоемкими процессами, от семечка, из которого нынешним ле-

том родился огурец, и до семечка, из которого произойдет на следующий год новое огуречное поколение, руководила и занималась сама тетя Аня — в железных очках, с глубоко въевшимся в морщины загаром (загар не проходил от лета до лета), трудолюбивая и упорная.

Вместе с тем тетя Аня могла невероятно вспылить, прямо-таки заходила в гнев, — правда, быстро и отходила, прощала, жалела, что погорячилась. Как я понимаю, когда-то, на первых порах брачного союза моих родителей, тетя Аня и мой отец, тоже человек вспыльчивый, случалось, что ссорились, кричали один на другого, хотя тетя Аня обожала моего папу, а он, чуткий ко всему одаренному, душевно богатому, чувствовал, сознавал недюжинность этой натуры. В последние годы тетя Аня заметно притихла: и возраст, и зависимость от нашей семьи, и меньший радиус действия, меньшая возможность общения с самыми разными людьми — все это ограничило ее волю и укротило характер.

Помню несколько ее крутых вспышек. Летом наш двор густо зарастал травой, превращаясь в настоящую поляну. Чудесно пахла лечебная безлепестковая ромашка. Кошка бродила среди зелени, разыскивая ей только ведомую целебную травку. Чистота во дворе была стерильная — тетя Аня прометала и прочищала каждый его уголок, будь это деревянные мостки-тротуары, амбар или погреб, курятник или сарай для коз. Чистота царилла и под навесом, куда приезжавшие в город знакомые мужики ставили своих лошадей. Беда, если кто насорит, напачкает под навесом; даже сено, которое натрусилла на земле лошадь, следовало подобрать или замести в угол. И вот с этим-то в своем роде священным местом и связана одна бешеная вспышка тети Ани.

Ворота и калитка для въезда и входа во двор были крепкие, сравнительно новые, и железная щеколда каждый раз звякала, когда кто-нибудь открывал калитку. В те годы по дворам часто ходили с кружкой монашки, собиравшие деньги на нужды своего монастыря. Тетя Аня их терпеть не могла, хотя в бога верила, в церковь ходила и усердно и чистосердечно молилась на сон грядущий; ей не мешало то, что под одним с ней одеялом спал Бобик, необыкновенной смышленности песик; после ее смерти он вскоре умер от той же болезни, что и она, что и дедка, — рака желудка или кишечника.

Однажды щеколда в калитке тихо звякнула и во двор незаметно, как ей, наверно, казалось, проскользну-



ла монашка, среднего возраста, бесцветной наружности, в обычном черном одеянии и с кружкой на груди. Тетя Аня недреманным оком уследила ее появление и без труда накрыла под навесом за отправлением большой нужды. Бог ты мой, как она взъерилась! Топала ногами, кричала, стыдила и наконец заставила подобрать и унести с собой все, что монашка успела содейть. Кто спорит, выходка тети Ани, разумеется, была грубовата, но зато выразительна! Папа мог быть доволен, он тоже недолюбливал этих святых попрошайек.

Горячая, резкая, тетя Аня бывала и трогательно заботлива, ласкова и нежна, причем не только с близкими ей людьми, но и с чужими, особенно когда они попадали в беду. Как-то на масленице остановился на ночлег в старом доме малознакомый крестьянин. Лошадь у него стояла под навесом, и ночью мужичок вышел на двор — посмотреть ее и напоить. Стал доставать из обледеневшего колодца воду и, поскользнувшись, упал внутрь... Там, на дне сруба, сумел удержаться, раскинув руки и ноги, и избежал купанья в стылой воде, но зато так, в распорку, просидел в колодце до утра. Утром услышали его призывные сильные крики и вытащили полуживого. Тетя Аня сама энергично возвращала его к жизни, оттирала руки, отпаивала водкой... Не исключено, что дядька и раньше был под хмельком: это помогло ему скovyрнуться в колодец, зато дополнительное внутреннее тепло не дало окоченеть.

Тетя Аня удочерила мою маму в самом младенческом ее возрасте, как только та появилась на свет, — старшие сестры попали в приют, а маме повезло. Вышло так, что я не видел ни одной своей бабушки, в этой роли была тетя Аня, и бабушкой она оказалась классической. Мама рассказывала, что тетя Аня воспитывала ее по-спартански, приучала сызмала делать все по хозяйству и в огороде, но ко мне тетя Аня была бесконечно добра и нередко ворчала на то, что родители мои, как ей казалось, чрезмерно строги и требовательны (я сейчас этого не считаю!), приучая меня к домашней работе: копать гряды, полоть морковь, подрезать помидоры, обирать гусениц с капусты, пилить и колоть дрова. Пилить я не любил — монотонно, скучно, папа следит за тем, чтобы пила в моих руках не вихлялась; колоть же очень любил, особенно зимой, когда мерзлое полено раскалывается звонко и легко (если, конечно, не слишком сучковатое). Главная прелесть колки — самостоятельность: тебе поруч-

чили — ты делаешь; сделал, кончил, сложил — принимай-те работу! Противнее всего для меня был сбор гусениц — всегда питал отвращение к червям; в иные годы гусениц был легион, и все жирные, крупные; зато везло курам, когда, набрав полведра, я вываливал им эту зеленую шевелящуюся массу.

Основным моим летним делом, когда подрос, стала поливка огорода. Собственно, поливал не я, поливали взрослые, — на моей обязанности лежало доставать воду из колодца и транспортировать ее в огород. Я не носил, не возил туда воду — операция была и сложнее, и проще, о ней стоит подробно рассказать, тем более что однажды она чуть не кончилась бедой.

Я уже говорил о сорокаведерных бочках, вернее кадках, стоявших одна посреди огорода (это в ней купался мой дед), другая у колодца во дворе. Под навесом на определенной высоте (чтобы не мешать лошадям, не задевать дугу) были прикреплены к столбам деревянные лотки из сбитых под углом длинных досок, проложенных в месте скрепления просмоленной холщовой лентой (чтобы не протекали). Один лоток нависал над другим, другой над третьим; по огороду шли они уже на скрещенных кольях, примерно на высоте роста. Их роль понятна: по ним вода текла в огородную кадку, из кадки ее черпали ведрами, лейками и разносили по грядам и парникам. А во дворе, у колодца, где стоял двойник такой бочки, всегда наполненный водой, вели сходни к лоткам. Мне следовало зачерпнуть из кадки ведром, взбежать с ним по сходням, поднять на уровень глаз и вылить в лоток. Пенистой шипящей волной бежала вода по лоткам в огородную кадку, пополняя убыль от поливки десятков гряд.

Логика работы проста: пока не опорожнишь кадку во дворе — не наполнишь кадку в огороде; а во дворе надо возобновлять запас воды, доставая ее из колодца висящей на цепи и канате бадьей. Вал, на который наматывался канат, заканчивался большим деревянным колесом, утыканным ручками: черпать воду обычным воротом было бы намного труднее, да и далеко летом вода в колодце — обмелевает в жару и в бездожде.

В разгар поливки приходилось развивать яростную энергию: крутя колесо, опрокидывая в кадку бадью, таская воду наверх по сходням, выливая ее из ведра в лоток, — иначе, как бегом, не поспеть: зазвонит звонок. Вдоль лотков тянулась из огорода бечевка к звон-

ку на пружине: дернут один раз — значит, нужна вода, дернут два раза — хватит, бочка полна... перерыв... наполняй пока свою бочку! Не скрою, сигнализацию устроил я: мне нравилось все, что напоминало о технических усовершенствованиях...

Но лучше бы я следил за исправностью тех же сходней! Они так истерлись, а местами подгнили, что в один прекрасный июльский день произошла авария. Сходни состояли из трех досок с набитыми на них поперек перекладинами-ступеньками; верхний конец сходней лежал на кóзлах. И вот однажды, когда, развив быстроту и натиск, я, как обычно, лихо взбежал по сходням и поднял ведро, чтобы вылить его в лоток, конец доски, на который я наступил, подломился — и я рухнул вниз. Упал я грудью на ведро, что отчасти смягчило удар, но как раз край ведра-то и повредил мне левое верхнее ребро (что, кстати, выяснилось только годы спустя)... От боли и неожиданности я на какой-то момент потерял сознание. Не слыша себя, я, как видно, стонал довольно громко, потому что папа, красивший пол во флигеле, услышал и прибежал на стоны; словно почуяв неладное, прибежали из огорода мама и тетя Аня... Что было тут с тетей Аней! Как она кричала: «Убился! Убился!» Какими страшными проклятиями клеймила свой огород, и тех, кто придумал эти лотки, и тех, кто заставляет ребенка (мне было четырнадцать лет) непосильно работать (кстати, после поливки я имел обыкновенные еще упражняться на самодельном турнике или совершать прыжки через рейку, постепенно поднимая ее все выше, воображая, что я одерживаю мировые рекорды!).

Впрочем, тетя Аня и в более безобидных случаях кровно меня защищала. Хорошо помню, как однажды мы всей семьей сели за праздничный стол — с пасхой в виде Хеопсовой пирамиды в миниатюре, куполообразными румяными куличами и крашеными разноцветными яйцами. Шипел и сверкал самовар, мама разливала чай. Папа пил из стакана, остальные из чашек, в том числе я. Точнее — я пил из блюдца, поскольку чай из кипящего самовара был для меня слишком горяч. Впрочем, я был уже достаточно взрослый (шесть лет), чтобы самому налить чай из чашки в блюдце, что и проделал аккуратнейшим образом, чтобы, не дай бог... Какой ужас! Как ни осторожно я действовал, из-под блюдца сразу же растекалась по белоснежной скатерти желтая лужа... Папа, от взгляда которого ничто не ускользало,

нахмурился, мама захлопотала, быстро подложила под мой прибор чистую накрахмаленную салфетку, закрыв ею позорную лужу, а я под острым, как меч, папиным взором весь собрался, сосредоточился и на этот раз сверхосторожно, архитщательно налил чай в блюдце. Нет, я не успел не только отпить глоток, но даже взять блюдце в руки, как по свежей салфетке опять поползло ядовитое, зловеще-желтое пятно! Тут уж папа не мог смолчать и выдал мне за повторное вопиющее разгильдяйство и свинство полной мерой: его гневный голос буквально потряс стены нашего флигеля!

Я ничего не понимал! Я был уверен, что не виноват, что не проливал мимо блюдца ни одной капли. Значит, что же, — произошло колдовство? Какой-то демон решил нарушить благолепие светлого праздника и нагло действовал за меня?

Тетя Аня страшно огорчилась и готова была на любое самопожертвование, но поздно: праздник был омрачен... Тут маме пришлось на ум осмотреть злопсучное блюдце. Боже, какая волшебная неожиданность! В его доньшке обнаружилась дырка, маленькая, ничтожная дырка, почти неприметная глазу. Откуда она взялась? И вдруг тетю Аню осенило.

— Коротенькая баба! Великий четверг! — вскричала она, победно вздевая на лоб очки.

Все стало на свое место. Действительно, на страстной неделе у нас ночевала знакомая крестьянка — пришла в город говеть. В кухне всегда висели над столом ножницы для всякой швейной работы. Женщина — ее звали Кузьмовна, в просторечии «коротенькая баба» (ввиду особенностей ее фигуры) — хотела их снять с гвоздя и уронила. Ножницы упали стоймя, отвесно, Кузьмовна успела их подхватить, но они все же стукнулись острым концом об стол. Об стол? Как бы не так! Под ними лежало это самое блюдце — они и пробили дырку, дырку без ответвлявшихся трещин, круглую, крохотную, как от пули-лилипута...

Ура! Христос воскрес! Все были счастливы. Тетя Аня смеялась до слез. Никто не сердился на коротенькую бабу. Наоборот, мы еще пуще полюбили это добрейшее существо, всегда появлявшееся у нас с бутылкой сливок, за которую она ни за что не брала денег: гостинец! Будь она сейчас здесь, с какой радостью мы с ней похристосовались бы!

Что касается дырки в блюде, то папа ее в тот же день залечил: ювелирно залепил замазкой из толченого фарфора, растертого на олифе. Это блюде верно служило нам в продолжение многих лет, существует, возможно, и теперь, пережив тетю Аню, Кузьмовну, моих родителей... Если, конечно, уцелело при пожаре.

Говоря о тети Аниных квартирантах, я не упомянул о самом последнем: он поселился в старом доме уже после того, как тетя Аня перебралась к нам, и когда умер Иван Иванович. Не упомянул потому, что сперва хотел рассказать о характере тети Ани, о ее пылкой, страстной и во многом пристрастной натуре. Все, кого она знала, для нее резко делились на два противоположных разряда: одних она беззаветно любила и безотчетно им верила, других не любила и не доверяла ни в чем — порой без всякой причины. Переубедить ее, уговорить сменить гнев на милость никто не мог; случалось, что ее антипатия принимала крайние формы — презрение, ненависть, чего она не скрывала. Именно так она относилась к своему последнему жильцу.

В начале главы я сказал о том, что старый дом постепенно обрубали, пока в нем не остались всего одна комната и кухня, — их-то и занял инвалид Вылегжанин. Инвалидность заключалась в том, что Павел Вылегжанин прихрамывал и на правой руке у него недоставало трех пальцев, — это не мешало ему спекулировать и торговать. С наступлением нэпа Павел (отчества его не помню) открыл на рынке ларек, где продавал галантерею, что-то еще и еще — словом, мелочь: до крупного, солидного нэпмана он не дорос, не тот размах, не та грамотность.

Помешало и то, что он пил. Пил один, пил с женой Груней, с племянниками, приезжавшими из деревни. Никаких бесчинств они не устраивали, пировали тихом; через день-другой Груня к нам приходила опухшая, просила в долг пару «лимонов» на опохмелку (дензнаки еще не сменились червонцами, и счет шел на миллионы, иначе — на «лимоны»). Она плакала, жаловалась на племяшей: спаивают Павла, пропивают его деньги, портят ей жизнь.

Тетя Аня слушала Грунины жалобы без особого сочувствия. Во-первых, она терпеть не могла пьяных баб — к мужикам относилась все-таки снисходительнее; во-вторых, не признавала полумер: она требовала, чтобы Груня ушла от Павла. А куда Груня могла уйти? Уйти

ей было совершенно некуда... Павла тетя Аня невзлюбила давно, почти сразу, как он поселился; простить себе не могла, что пустила его на квартиру. В Павле ее раздражало все-все, вплоть до потной веснушчатой лысины и безбровых глаз, но главное — тетю Аню не оставляло предчувствие, что мы наживем из-за него беду. Какую беду, она объяснить не могла, но что беда будет, не сомневалась. Мы подтрунивали над ее предрассудками; бедоносный Павел вел себя по отношению к нам безупречно, никогда не лез с пьяными разговорами, вообще выпивши не показывался на глаза, трезвый же был услужлив, вежлив, тактичен: настоящий джентльмен! Но тетю Аню ничто не смягчало: любезность она считала лестью, готовность помочь — подхалимством. Впрочем, Павел хорошо знал ее нрав и старался не обижаться.

Не обижался он до того самого дня, когда произошло чрезвычайное событие, — событие, обострившее их отношения до предела.

В один майский (или ранний июньский) полдень 1922 года, вернувшись из школы, я застал папу, маму и тетю Аню растерянными и всклокоченными. Что случилось? Оказывается, пока нас не было (папа на службе, я в школе, мама и тетя Аня в огороде), воры сломали замок и унесли из дому все мало-мальски ценное. После голодных лет мы только-только начали оправляться. У папы появились заказы на проекты и планы как от частных лиц (граждане стали обстраиваться, обновлять ветхие дома), так и от учреждений — от нефтебазы, потребсоюза, паровой мельницы, расширявших свои предприятия.

Когда мама и тетя Аня вернулись из огорода, отъединенного от дома и двора сплошной стеной старых амбаров, они нашли дверь во флигель настежь распахнутой, внутри же царил разгром: сундуки и шкафы открыты, вещи разбросаны, — видно, что воры спешили и все же успели всласть похозяйничать. Как позже выяснилось, от воровских глаз и рук не укрылись даже жалкие мамины колечки и серьги, всегда лежавшие втуне на дне сундука (ни аскетически настроенный папа, ни державшая маму в строгости с малых лет тетя Аня не признавали пустых украшений).

Не помня себя, мама бросилась из дому. Зачем? Как потом она объясняла, «позвать Павла на помощь», — хотя чем он тут мог помочь? Но, едва мама выскочила на

крыльцо, калитка, ведущая на улицу, отворилась и во двор прихрамывая неторопливо вошел Павел, одет он был по-домашнему.

— Павел! — в отчаянии крикнула мама. — Ведь нас обокрали!

— Да что вы, Ксения Ивановна! Когда? Господи!.. — заахал квартирант.

— Сейчас... пока мы были в огороде...

— То-то я услышал, калитка хлопнула... Пошел — никого... Ксения Ивановна, — спохватился Павел, — может, за Николаем Николаичем сбегать? Нет, лучше я до угла... Может, их еще увидаю...

И как был — без фуражки, без пиджака, рубаха не подпоясана — услужливо кинулся в сторону Нижней площади. Мама снова вбежала в дом, где металась тетя Аня, пытаясь наспех определить, что цело, что утащили. Время как раз подошло к обеденному перерыву на службе и к концу моих школьных занятий, и уже через час мы с папой начали по свежему следу розыск. Дело в том, что воры впопыхах насовали часть взятых вещей в большой холщовый мешок, вывалив хранившийся в нем лук прямо на пол, отчего квартира и сени оказались заваленными этим луком и луковой шелухой. Шелуха виднелась и во дворе, и за воротами — значит, мешок волочили по земле действительно в сторону Нижней площади. Мы с папой обнаружили следы и дальше, по дороге к станции, — как видно, воры торопились на поезд, который как раз в это время проходил через Котельнич. Впрочем, спустя квартал луковые следы исчезли — мешок пообтрясся.

Папа заявил в угрозыск, к нам пришли два молодых агента, братья Бековы, с младшей сестрой которых я когда-то учился, такие же горбоносые, загорелые, спортивного вида. Они расспросили, как, когда, что украдено, составили акт (или протокол), никаких шерлокхолмсовских методов не применяли, а просто, узнав, что в том же дворе живет Вылегжанин («А, Беспалый!»), предложили его забрать — уж он-то им все расскажет. Папа невероятно расстроился, услышав их предложение, — расстроился, по-моему, больше, чем от кражи. Потом он нам сказал, что боялся, как бы Павла не стали там бить.

Когда папа категорически воспротивился аресту, братья, посмеиваясь, ушли, а мы остались подсчитывать убытки, тетя Аня вдруг резко сдвинула на лоб очки, как

всегда это делала в тревожные минуты, и в сердцах воскликнула:

— Я всегда это знала!

— Что знала? — удивилась мама (обе они отсутствовали во время разговора с агентами).

— Что Павел нас обкрадет!

— Тетя, ты что? Как ты можешь?! — взволновалась мама. — Да он первый побежал ловить воров!..

Начался трудный, нелепый спор, где, как ни странно, обе стороны были по-своему правы: одна — привычно веря Павлу, другая — считая его главным вором. Этот спор потом бесконечное число раз возобновлялся, и, как тетю Аню ни убеждали, она продолжала твердить:

— Это я виновата! Я! Давно надо было согнать с квартиры! Я всегда знала, что он разбойник!

То же она заявила и в лицо Павлу:

— Ты, ты украл!

В ответ он клялся, божился, жаловался на обиду и напраслину папе, маме и даже мне, плакал горячими слезами (трезвый!), что безвиновен!.. Ни ухом, ни духом!.. Господь бог свидетель!.. И мы с папой и мамой сердились на тетю Аню за ее обидные подозрения.

Так получилось, что в то же лето затеян был срочный ремонт нашего флигеля (пока ненасытный грибок или жучок его не сожрал), и мы на время, месяца на два, должны были переехать на житье в старый дом. Пришлось отказать от квартиры Павлу. Подчеркиваю: только из-за ремонта. И то папа чувствовал себя перед ним неловко...

Через год мы узнали, что Павел купил на окраине Котельничка домик, Груня там стала хозяйничать, завела огород и кур, а еще через год оба они совершенно спились; Павел, продав свой домишко, куда-то исчез, а Груня пошла побираться. Пришла и к нам, рыдала и винилась. Винилась в краже. Правда, в тот день ее в городе не было, но она все знала: орудовали в нашем доме племянники, а Павел стоял у огорода на стреме, затем проводил племянников за ворота, — тут и застала его мама. Немножко не застала воров...

— И слава богу! — говорила Груня, крестясь. — А то бы... кто знает!

Верно, кто знает! Может, она все выдумала, желая отплатить бросившему ее мужу, а может — сказала правду. Знаю одно: тетя Аня поверила ей, а не Павлу, — Павлу она никогда не верила. Груню же — пусть тетя



Аня брезгала этой пьяной нищенкой: вытерла после нее стол, стул, даже дверную скобку, — Груню постаралась досыта накормить, дала ей с собой ватрушку, кусок пирога (как раз было воскресенье) и, встречая потом на улице, всегда совала ей немножко денег.

После пожара 1926 года никто из нас больше не видел Груню. Известно, что среди немногих жертв была женщина, сгоревшая в церковной сторожке. Кто-то говорил, что монашка. А уж не Груня ли это? Она ютилась и спала где попало, куда пускали.

Сама тетя Аня не дожидая до пожара ровно год: она умерла в мае 1925 года от той же болезни, что и ее брат. Умерла столь же мужественно, не жалуясь, никому не докучая, но и не делая ничего, чтобы скорей умереть: не отказывалась от пищи и от лекарств. Я потом часто думал: вот для кого пожар означал бы конец всему, конец света... Куда там апокалипсические литературные фантазии! Тетя Аня срослась с этой землей, со своим огородом, домом, для нее просто не существовало и не могло существовать другой жизни. Зачем бы ей без этого жить?

## СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Повесть, из которой я здесь приведу несколько строк, написана так давно, чуть не полвека назад, и ровно никому сейчас не известна, что автоцитата, надеюсь, не будет выглядеть нескромной. Между тем эти строки в какой-то мере помогут рассказу о взрослых моего детства.

«Представьте себе:

Берете вы в руки семейный уездный альбом, скучая бездельем в гостях, и размышляете кисло-сладко: раскрыть его или не стоит, и хотите уже, погладив золоченый обрешет, опять положить его на косенький столик. Но звонко вдруг отскакивает тяжелая, обложенная медью покрывка — и на колени вам и на пол пыльной террасы сыплются выцветшие желтые карточки. Вы неловко их ловите, задыхаясь, вы перегибаетесь влево и вправо, у вас сбилась прическа, вы озадачены, гости глазят на вас злорадно, а любезный хозяин привычно тушит за вас беспорядок. Он проворно отнимает от ветра бумажную ветوشь, он плавает вокруг вас и под стулом, шлепая ладонями по полу, как по воде, брызгая пылью,

махая спасенными карточками, и, обращая к вам красную от натуги улыбку, ласково так журчит:

— Это ничего! Это моя бабушка. Ничего не значит. Золовка моей бабушки. Пустое! Сидите, сидите, я подберу. Мой троюродный дядя. У его собаки на переднем зубе была золотая коронка. Погиб под Плевной. Помилуйте, какое беспокойство! Его невеста, первая красавица в городе. Что? Да, жива. Печет просфорки для церкви».

Казалось бы, ирония и сарказм, которые мне хотелось вложить тогда в каждое слово, не имеют ничего общего с настроением, с каким я теперь раскрываю наш старый семейный альбом и пытаюсь как можно больше припомнить о тех, чьи лица в нем вижу, и мысленно дополняю образами и судьбами тех, кого здесь нет и кого я тем не менее отчетливо помню.

В чем дело? Что изменилось во мне или вокруг меня, отчего я с совсем иным чувством разглядываю фотографии? Неужели причина в возрасте? Вероятно... С годами становятся осязатее человеческие потери.

Вот передо мной фотография, напечатанная еще на дневной, так называемой аристотипной бумаге. Делалось это так. Негатив с подложенной под него фотобумагой выставлялся на свет минут на сорок, а то и на целый час, в зависимости от плотности снимка и от времени дня и года. Затем отпечаток подвергали химической обработке, высушивали, и наконец снимок был готов. Способ этот уже тогда считался архаичным и медленным и скоро уступил место более совершенным и быстрым, но была в нем и особая прелесть: во время часового пребывания негатива и позитива на дневном свете можно было легонько отогнуть уголок и посмотреть, как идет дело.

Да и что значит эта медлительность, этот проведенный в ожидании час по сравнению с тем, сколько лет прошло с той поры, как я видел живыми этих людей! А живы они были все — шестьдесят лет назад; уже через год одного из них не стало, через десять — двенадцать лет не осталось никого.

...Во дворе, на лужайке стол. За столом сидят лицом к нам три пожилые женщины, три старухи, очень непохожие одна на другую: одна большая, массивная, с крупными чертами лица, по бокам две другие — худенькие, небольшого роста; у левой нижняя губа оттопырена, у правой поджата. Все они — родные сестры.

На столе спит пушистая, желтая, с белыми подпалинами собака, тоже лицом к нам. Я хорошо помню, как ее гладил, помню особое ощущение от ее чисто промытой, тонкой, шелковистой, как у кошки, шерсти. Когда я теперь показываю эту фотографию друзьям, знакомым, я говорю:

— Четыре мои тетки. Вернее, мамыны тетки. Смотрите слева направо: тетя Каля (Клавдия Ивановна), тетя Наня (Анастасия Ивановна), тетя Аня и тетя Лизочка.

Обычно следует шуточный вопрос:

— Тетя Лизочка — это которая собачка?

— Нет, собаку звали Мухой, — серьезно отвечаю я. — А от тети Лизочки здесь только плечо. Видите, справа? Больше ничего не поместилось. Очевидно, фотограф-любитель неверно навел объектив, и тетя Лизочка оказалась как бы лишней.

Если бы только на снимке! Лишней она оказалась и в жизни — но об этом после.

Остальные мамыны тетки были бездетны. Кто из них был счастливее, кто несчастнее, трудно сказать. Четыре жизни — четыре судьбы. Каждая, с моей точки зрения, заслуживает того, чтобы о ней рассказать хотя бы немного, что знаю и помню. О тете Ане я уже рассказал — ее я знал несравнимо больше, — теперь об остальных.

Начну с тети Нани, которую потерял раньше других — не то в последний предвоенный, 1913 год, не то зимой 1914—1915 года. Я любил тетю Наню. Это была крупная, спокойная женщина, слышная в нашем городе главной кулинаркой. Ее звали в богатые купеческие дома в торжественные дни, она была «шеф-поваром» именинных, свадебных, похоронных и других помпезных трапез. Но любил я ее, конечно, не за это. Она была очень добра и ласкова и очень естественна, что дети всегда ощущают. Помню подаренную ею книгу большого формата, которую я читал в летний солнечный день (значит, летом 1913-го), сидя на завалинке старого дома, тогда еще в виде буквы «Г». В этой книге, называвшейся «Бабушка Татьяна», были и знаменитые, известные каждому ребенку строчки: «Тили-тили-тили-бом, загорелся кошкин дом», и многие другие, и все это было хорошо иллюстрировано и как-то особенно вкусно читалось и запоминалось, а изображенная на обложке и внутри книги бабушка Татьяна напоминала тетю Наню. Через тринадцать лет сгорела и эта книжка, и старый

дом, на крылечке которого я ее читал, и весь город. «Тили-тили-тили-бом...» Впрочем, набата, как я уже сказал раньше, на этом тотальном пожаре не было, колокол упал с деревянной каланчи и разбился. Тети Нани, как и остальных маминных теток, к тому времени тоже не было. Кстати, дом на гористой улице, где жила тетя Наня с сестрами Клавочкой и Лизочкой, как раз уцелел: огонь, остановленный густым садом бывшей женской гимназии, до него не дошел.

Единственно неприятное, что для меня было связано с тетей Наней, — то, что в богатых домах ей дарили или отдавали задешево не новые, но еще прочные мужские сорочки с манжетами и крахмальной грудью, и она иногда продавала или дарила их моему отцу. Кажется, ему достался по дешевке и черный костюм из зубаревского дома, — краем уха я слышал, знал об этом, и мне, несмотря на мой весьма юный возраст, это было неприятно. Я с болезненной ясностью представлял, как папа в этом нарядном костюме идет по улице и встречает бывшего его владельца, который живет в том же квартале, и они любезно раскланиваются, поскольку они соседи и знакомы; я гадал, что они могут при этом ощутить, что друг о друге подумать; окинет Зубарев взглядом моего папу — как-то сидит на нем его костюм, или оглянется на него, уже пройдя мимо, или не узнает своего костюма, или он вообще выше этого... Ну а папа? Что почувствует он? Я стыдился не того, что мы беднее Зубаревых, — я был убежден, что мой папа лучше, умнее их, намного достойнее, — но тем более возникало неприятное чувство...

Кстати, бывший хозяин костюма, главный наследник старика Зубарева, его старший сын Яков Александрович, вскоре уехал в Англию, с которой он торговал льном и холстом, остался там после революции и помогал посылками своим родственникам в Котельнице — младшему брату Александру и двум сестрам, Клавдии и Олимпиаде, или, как звали их все за глаза, Клавочке и Липочке, милостивым, среднего возраста, очень богомольным, одевавшимся во все черное, как монашки, говорившим тихими, кроткими голосами. Где жили они после того, как дома их сгорели (еще до большого пожара), — не знаю; а непосредственно перед этим, когда их дома заняли госпитали, сестры переселились к своим соседям, в дом Селезеневых. Селезеневские дочери были совсем в другом роде: красавы, шикарны, одна дочь вы-

шла замуж за приезжего адвоката, другая — за приезжего крупного военного, о котором уже в наше время с большой похвалой отзывается в своих воспоминаниях маршал Жуков. Вот передо мной их фотографии, подаренные в 1907 году «на добрую память Настасье Ивановне», то есть тете Нане. Две стройные молодые женщины, в узких, закрытых до горла темных платьях, стоят у круглого столика и рассматривают в стереоскоп фотографии. У обеих правильные черты лица, одинаковые прически. У третьей сестры, снятой отдельно, тоже строгое темное платье, тоже закрытый ворот, она тоже затянута в корсет, но держится свободней, у нее пышные буфы на рукавах, пышные бедра и в лице что-то ленивое, чувственное.

Тетя Наня овдовела рано. Ее муж, Андрей Архипович, любил выпить, о чем свидетельствует опять же фотография: он снят рядом со столиком, на котором так и стоит откровенно рюмочка — без нее, очевидно, ему показалось скучно фотографироваться... Сама тетя Наня умирала тяжело, от водянки. Когда гроб стоял в Предтеченской церкви, которую так и не успели достроить всю до пожара, под ним поставили два таза, чтобы было куда течь воде из раздувшегося трупа. Бедный папа перед ее смертью должен был поворачивать тяжеленную тетю Наню с боку на бок, помогать сажать ее на судно. Меня тоже брали с собой к этим старым теткам (не с кем было оставить дома), но я сидел в соседней комнате и не видел ее предсмертных мучений и смерти. Потом не раз вспоминали (уже с улыбкой), как тетя Наня в полубеспамятстве передразнивала не то тетю Аню, не то тетю Калю, которые уговаривали ее: «Ходи, Нанечка, ходи!» А она повторяла: «Ходи, Нанечка, ходи!..» Когда я подрос, мама мне рассказала, что папа, впервые присутствуя при смерти человека и вдоволь наглядевшись на агонию и прочие неприятные вещи, долго потом побаивался темноты, ходил в наши сени с лампой или со свечкой. Мне кажется, мама говорила об этом не без некоторого удовлетворения: она знала папу как безусловно смелого и сильного человека, а тут он проявлял слабость...

После ему пришлось хоронить и остальных мамных тетушек, беря на себя все хлопоты и заботы. Живые они были несхожи по характеру и занятиям, и жизнь у них была разная и нелегкая. Тетя Каля была земской акушеркой, она приняла почти всех детей в нашем городе,

в том числе и меня, и маму. Старая дева, она была некрасива, с оттопыренной нижней губой (на фотографии, запечатлевшей сестер, тетя Каля слева); этой губой она подпирала вечную папиросу — поздний отзвук нигилистических шестидесятых годов прошлого века в далеком от просвещенных столиц Котельниче. Она была крайне немногословна и упорно молчала в ответ на насмешливые замечания и воркотню своих сестер, и потому я не раз жалел, что у меня вырвались эти неосторожные и обидные слова, столь развеселившие остальных тетушек, когда я показал на угрюмо нахохлившуюся в углу, в кресле, с папироской во рту Клавдию Ивановну: — Тетя Каля точно обезьяна сидит!

Когда сестры ее засмеялись (впрочем, засмеялась, кажется, только тетя Лизочка, из них самая недоброжелательная), мне стало сразу совестно, хотя сама тетя Каля ничуть на меня не рассердилась, даже не поглядела с немым укором.

Умерла она тоже молча, никого не беспокоив. Поздно вечером пошла в уборную, держа в руках керосиновую лампу; в сенях, видимо, почувствовала себя плохо, аккуратно поставила лампу на пол, рядом легла сама — и наутро нашли ее мертвой; лампа еще горела, но пламя было увернуто, не коптило. Вот когда сестры ее от души похвалили — за то, что не устроила пожара.

Тетю Лизочку, в сущности, тоже следует пожалеть. Она родила много детей, двенадцать или тринадцать (у меня сохранилась большая фотография, где она снята в кругу своей большой семьи), дочери и сыновья ее по-выходили замуж, переженались, уехали, и никто не позвал к себе мать, а один женатый сын, некоторое время еще остававшийся в Котельниче, по воле жены просто не пускал ее к себе на порог. С ней долго жила некрасивая дочь Маня, которая лишь в сорок лет, уже после революции, вышла наконец замуж за некоего Воробьева, быстрого, бойкого, как воробушек. Воробьев худо обращался с женой, бил ее, изменял ей с бабами и девками, работавшими под его начальством в складе с овсом — государственным овсом, которым он, бывший частный торговец, теперь заведовал. Воробьев присмирел на время только после того, как потерял в этом складе свои вставные челюсти. Он искал их со своими помощниками до утра, перелопачивая овес, перерыл весь амбар и не нашел, а новые зубы в те дни мудрено было

заказать. Скоро он опять стал бить жену, забил на-  
смерть и куда-то исчез.

Тетю Лизочку я не любил: из всех старых тетушек она одна была ко мне равнодушна; может быть, потому, что собственные дети и внуки были равнодушны к ней. Единственное, что я с удовольствием для нее делал, это мундштуки для самокруток (тетя Лизочка, как и тетя Каля, тоже курила), да и то только потому, что мне нравилось выдалбливать их из бузины с ее мягкой, упругой, резинистой сердцевинной. Впрочем, и мундштуки я перестал мастерить после одной поразившей меня тети Лизочкиной выходки. Я увидел, как, придя к нам, она погрозила кулаком висевшему у нас на стене большому портрету Льва Толстого. Толстой уже давно умер, но для нее он все еще был отлученный от церкви крамольник, проклятый богом. И несмотря на то, что сама тетя Лизочка вовсе не была фанатичкой и даже в церковь ленилась ходить, а я тогда еще почти ничего не читал из Толстого (кроме рассказа «Булька» и «Кавказского пленника», до странности непохожего на пушкинского и лермонтовского), я очень за него обиделся. За него и за папу. Уж папа не стал бы держать над своим столом портрет плохого человека.

Видел я тетю Лизочку довольно редко — на святках, на пасхальной неделе и в мамыны именины. В один из таких праздников она удобно уселась в своем шуршащем шелковом платье на обильно смазанный маслом противень, приготовленный для пирога. То-то радовались по этому случаю ее сестры! Вообще, взаимоотношения сестер могли удивить постороннего человека. Они словно бы и любили друг друга, три из них до самой смерти жили в одном доме, но хозяйство вели отдельно, лишь чай пили вместе (каждая со своим вареньем), и постоянно выясняли отношения между собой и с людьми, которых они встречали в молодости. Одна за другой тетушки умирали, а остававшиеся в живых делили наследуемое имущество. Они страстно спорили, ссорились, потихоньку утаскивали ночью из общей кучи особо понравившиеся вещицы, а наутро пропача обнаруживалась и начиналась свара. Но при этом они называли друг друга — Клавочка, Лизочка, Анечка, и когда при разделе наследства чихали от пыли, то желали здоровья чихнувшей.

В доме, где они жили и умирали, полы покосились, по ним стало трудно ходить, как по косогору, тем более

что полы были скользкие, крашенные, краска не облупилась, выглядела как новенькая: хозяйки ее берегли, возвращаясь домой, сразу же надевали мягкие туфли. А что дом заваливался, ветшал — тут уж они ничего не могли поделать, денег на ремонт не было.

Но дом пережил хозяев, пережил и большой котельничный пожар. Наследников не оказалось, и дом перешел в ведение коммунхоза. Его сломали, сад заглох, теперь там стоят другие дома, — за полвека, прошедшие после пожара, и они успели заметно постареть, во всяком случае не молоденькие. Когда я теперь приезжаю в Котельнич и прохожу мимо, я невольно подумываю о том, что никто-то, кроме меня, не знает сейчас ни о существовании того дома, ни о живших в нем, таких разных, сестрах...

## СОСЕДИ

Улица, на которой мы жили, называлась Воробьевской, а после революции — улицей Луначарского, но чаще ее называли просто Второй. У нашего городка было одно сходство с Нью-Йорком: продольные улицы жители называли по номерам — Первая, Вторая, Третья, Четвертая. Правда, в Нью-Йорке этих самых его авеню тринадцать, Котельнич довольствовался четырьмя, но тянулись они тоже через весь город, версты на две с гаком, — по крайней мере главная, Первая улица, именовавшаяся Московской, потом Советской. Вторая улица была покороче.

Наш квартал соседствовал с Нижней площадью, где каждую весну, в марте, бурлила Алексеевская ярмарка, крутились карусели, царствовал цирк, а лошадей, запряженных в нарядные, убранные коврами сани, кошевки, кибитки, в простецкие розвальни, топталось столько, что навоза от них хватало на все обывательские огороды, да еще пригородные мужики увозили его на свои поля.

Вдоль железной дороги, пересекавшей площадь, рядом с полосой отчуждения, заросшей ромашкой и лютиком, красовались мясного цвета каменные ряды; в обычное, неярмарочное время они пустовали, потому что рынок был в другом месте — на Соборной площади, в городском центре. После пожара собор был снесен, вместо



него разбит сквер, а рынок перенесли на Нижнюю площадь; и колхозники теперь продают баранину и свинину в тех самых кирпичных рядах, нимало не сомневаясь, что так было от века.

По другую сторону линии располагались воинские казармы барачного типа и среди них деревянный же Гарнизонный театр. Как-то ранней весной 1919-го или 1920 года среди нас, школьников, распространился слух, что в Гарнизонном театре будут давать спектакль «Князь Серебряный» по роману А. К. Толстого, — неизвестно, почему именно эту вещь избрало что-то воображенне. Целый вечер мы торчали у входа в театр, но его так и не отперли. Вместо «Князя Серебряного» мы увидели в широком итальянском окне соседней казармы, как, раскорячившись на нарах лицом к свету, не обращая внимания на редких прохожих, а тем более на нас, молоденький красноармеец сосредоточенно брил себе лобок: год был тифозный.

Трудно сказать, почему это зрелище произвело на меня столь щемящее впечатление: я вернулся домой сам не свой. К сыпняку, разгулявшемуся в тот год и косившему наших родных, друзей и знакомых, можно было уже привыкнуть: бытовое явление. И все же сжималось сердце, когда я слышал негромкий, полусекретный разговор родителей: мама пришла домой и обнаружила у себя на белье вошь. И вот две недели тревожно ждем — заболит мама или не заболит... Моя чувствительность и мой страх принимали порой неожиданные формы. Я дружил с мальчиком моих лет Володей Бутыриным, мать которого давно умерла. И вдруг я ему позавидовал: горе его позади, он привык быть сиротой, ему не надо переживать то, что будет со мной, если я потеряю маму. Самое удивительное, что я убедил и Володю: он согласился, что он счастливее, во всяком случае благополучнее меня!

Станным образом сочетались тогда самые несовместимые вещи: война, голод, тиф, обычная трудовая жизнь — и развлечения. Я имею в виду не только нас, ребятшек, не унывающих в любую эпоху, — развлекались и взрослые. В клубах, учреждениях, госпиталях устраивались вечера и балы, благо город изобилует воинскими духовыми оркестрами. Самый лучший оркестр принадлежал летной части (с ее привязными аэростатами — не самолетами). Молодые, красивые командиры танцевали с собарышнями, местными и приезжими;

все эти дочери и молодые жены купцов, подрядчиков, приказчиков, бухгалтеров, врачей и священников, а то и столичных сановников, постаравшихся затеряться в российских просторах, днем стучали на машинках в УОНО, горсовете, совнархозе, уземотделе, а вечером откровенно веселились. Шла своеобразная уездная жизнь, похожая и непохожая на дореволюционную, словно бы устоявшаяся, налаженная всерьез и надолго, а на самом деле — пффи! — и все разлетится... Но не разлеталось! Множились любовные романы с идиллическими и драматическими развязками; дамы упоенно рассказывали, как один командир стрелял в себя из-за измены возлюбленной, но ее отец, врач, спас его, вылечил, и командир благополучно отбыл на фронт после такой романтической тыловой передышки; а уж что с ним было потом, никому не известно — война длилась и длилась.

Соседи... Котельнич был таким маленьким городом, что чуть ли не всех его жителей можно считать соседями. Правда, война и революция их усердно перемещали, перетасовывали, но я начну с дореволюционных соседей; некоторые из них были маминими родственниками, другие — знакомыми, третьих я только видал на улице.

Угловой дом по нашей стороне Воробьевской, первый от Нижней площади, когда-то принадлежал купцу Микишеву. Дом унаследовала дочь Микишева, вышедшая замуж за Александра Васильевича Чемоданова, маминого двоюродного брата, моего крестного. Чемоданов служил частным поверенным у известного в нашем городе и в губернии Александра Викторовича Лебедева, человека великанского роста, с астматическим хриплым басом, бывшего революционера, по крайней мере постоянного участника революционных кружков, в то же время хозяина магазина (гастрономия, бакалея, колоннальные товары), домов (два солидных двухэтажных дома — каменный и полукаменный), усадьбы верстах в двадцати от города и водяной мельницы (мы с отцом ездили к нему однажды в деревню: отец проектировал для мельницы дополнительный мукомольный постав, и за нами прислали тройку лошадей, запряженных в нарядную коляску).

Дочь Микишева и жена Чемоданова, Ольга Павловна, важная, полная дама, властно руководила семьей — мужем, прислугой, дочерьми, сыном. Сын Миша, долговязый великовозрастный гимназист в очках, с увлечени-

ем вырезал бумажных солдатиков и играл ими в русско-германскую войну, за всеми событиями которой следил с величайшим интересом и знанием дела. За годы нашего с ним приятельства этот славный смиренный парень только раз надо мной от души посмеялся и позвал посмеяться своих сестер, когда я высказал мнение, что женские груди — это легкие, находящиеся у женщин, в отличие от мужчин, почему-то снаружи, а не внутри. В 1919-м или 1920 году Мишу призвали на гражданскую войну; не доехав до фронта, он заболел сыпняком и умер. Хорошо помню, как после краткого своего учительства в деревне он пришел к нам прощаться и слезы стояли в его близирущих добрых глазах. Худой, слабый, не приспособленный к жизни, он боялся не войны — он боялся трудной, долгой дороги до войны. Так и вышло: он умер в пути.

Очень разная судьба была у дочерей Чемодановых, Мани и Лиды. Старшая, Маня, хромая и глуховатая, навсегда осталась старой девой, нянчила детей своей младшей сестры, страдала от ее капризов всю жизнь, в конце вообще была вынуждена жить и работать у чужих людей. Младшая, Лида, хорошенькая, несмотря на длинноватый нос и привычку щуриться, легкомысленная и, казалось, удачливая, в каком-то смысле была роковой женщиной. С чего это началось?

Незадолго до революции семья Чемодановых продала свой дом и, прожив год или два у Лебедева, в богатой, но мрачной квартире, затем у своей дальней родственницы Шляпкиной, недалеко от нас, переехала уже в советское время к столяру и гробовщику Зайцеву (с дома которого через несколько лет начался большой городской пожар). Там-то, в маленьком флигельке, Лида и оказалась невольной причиной семейной беды. С фронта приехал и заночевал у них молодой командир, не то родственник, не то просто знакомый. Любившая покетничать, пофлиртовать, Лида до позднего часа сидела с ним на диване, у печки, подцепила тифозную вошь, заболела сама, но поправилась, а заболевший отец умер.

И семья опять переехала, на этот раз на другой конец города, в психиатрическую больницу, где служил завхозом тот самый Лебедев, бывший революционер, бывший домовладелец, бывший купец, бывший мельник. Лебедев взял Ольгу Павловну, вдову бывшего своего

поверенного, кастеляншей в психолечебницу, а Лида поступила служить в УОНО, потом поехала было в Пермь учиться на врача, но скоро вернулась, не вытерпев трудной учебы и трудной жизни, когда и у экзаменатора, и у экзаменуемого громко и угрожающе урчало в животе, и вновь превратилась в совбарышню. Затем вышла замуж за какого-то предприимчивого жителя Яранска (в 80 верстах от Котельнича конным трактом), человека, неплохо существовавшего в годы нэпа, родила от него двух сыночек — и потом потеряла их в Великую Отечественную войну; успела выйти замуж за летчика — он тоже погиб; сейчас она, крупная, ухаживающая, выглядящая моложе своих лет, замужем за директором завода где-то на периферии.

У нас с Лидой имелась тайна, многозначительными намеками на которую она меня долго смущала. Одно время, как я сказал, они жили у Александры Петровны Шляпкиной. Эта решительная, энергичная пожилая дама своим напористым басом разносила по городу всевозможные новости, одновременно преувеличивая их и принижая. Особенно любила она уменьшительные словечки: «юбочка», «штанёшки», «лампёшка», «женичешка»; презрительно уменьшала она и имена тех, о ком говорила: «Петька», «Надька», «Людмилка», какого бы возраста они ни были. На деле Александра Петровна была добра, отзывчива и без памяти любила свою племянницу Лелю, невысокую плотную девушку с толстыми косами до колен. В один прелестный апрельский вечер, идя к Чемодановым, я увидел, как у ворот дома Лида целовалась с высоким интересным брюнетом, у которого, к моему удивлению, из-под форменной гимназической фуражки торчали суконные наушники: шапку гимназистам, и верно что, не разрешали раньше носить даже в морозы, но ведь тут уже было не царское время, да и тепло, весна. Успев это разглядеть, я деликатно отвернулся, но, когда Лида явилась домой (гости все были в сборе), она принялась всячески затягивать меня в разговор: таинственно улыбалась, мигала, прикладывала палец к губам — словом, явно купалась в любовной тайне. В конце концов это мне так надоело, что, будь у меня другой характер, я бы ее непременно выдал! А вообще Лида нравилась мне своей легкостью, добротой, охотой играть с нами, детьми.

Ольгу Павловну я не любил, особенно после одного случая. Как-то зимой я так разыгрался с Лидой, что,

уходя домой, не заметил, не вспомнил, что поверх своей шапки надел каракулевою шапку своего крестного. Я искренне недоумевал, почему это лихие ребята из колонии малолетних преступников (как ее называли в городе), вечно толпившиеся и курившие у ворот, показывают на меня и гогочут. Только придя домой и ужаснув маму («Надел дорогую чужую шапку... мог ее потерять... что скажут и подумают Чемодановы... сейчас же беги, и неси, и проси прощения!»), я понял причину их смеха. Удивляюсь и до сих пор благодарен (а ведь этих парней опасались и взрослые): вот не сшибли же они у меня с головы шапку и не забрали себе! Когда я явился с повинной головой и завернутой в платок шапкой к Чемодановым, то одна Лида смеялась над происшествием, Ольга же Павловна отнеслась к нему весьма хмуро — в свои десять лет я почувствовал это и внутренне оскорбился; а в какое бы я попал положение, если бы «дефективные» (их называли и так) присвоили этот приз!

Когда Чемодановы жили еще в своем доме, верхний этаж его занимал бухгалтер Волжско-Камского банка, по фамилии Глухих, женатый на умной, интеллигентной женщине, обладавшей звучным голосом и певшей на любительских концертах.

Анастасия Васильевна до замужества была классной дамой в женской гимназии в городе Орлове, ныне Халтурине, которую перед тем сама кончила (моя мама училась там несколько позже). У них было четыре сына с изысканно выбранными именами: Виталий, Вадим, Рафаил и Игорь. Все они были младше меня, и, когда мы играли в войну, я скромно брал себе имя и обязанности Наполеона, отдав братьям Глухих маршальские звания. Неврастеничный, заносчивый, строптивый Виталий, говоривший немного в нос, с просвечивавшими венами на тонкокожих висках, становился Мюратом; флегматичный, покладистый, добродушный Вадим — Даву; остальные — не помню уж какими маршалами. Когда любимец матери Виталий умер от скарлатины, свободомыслящая, эмансипированная, прекрасно знавшая и любившая русскую литературу Анастасия Васильевна ударилась в религию, и как, с какой силой! Стала принимать у себя и кормить богомолков, монашек, изъясняться текстами из священного писания, прислуживать в церкви в качестве псаломщика (не знаю, как это совмещалось с церковным запретом для женщин

бывать в алтаре), дружила с семьями священников, говорила тихо, почти не разжимая губ (исключая часы, когда пела или читала в церкви), сурово порицала «светские» книги и полностью вовлекла мужа в свои интересы.

Михей Иванович Глухих, краснолицый блондин, поактерски бритый, что в те годы встречалось нечасто — большинство мужчин носило усы и бороду, увлекавшийся дамами, говоривший им сладкие комплименты и целовавший ручки (полагаю, не больше, судя по властному характеру Анастасии Васильевны), не чуравшийся клуба и карт, тоже стал поститься, молиться, не знаю, насколько искренне, насколько подчиняясь жене. Кстати, Анастасия Васильевна была дочерью простой крестьянки из пригородной деревни Парышевы, бойкой на язык, деловитой, практичной Елизаветы Никифоровны, жившей вдвоем с молчаливым сыном. Когда мои родители после пожара поселились в их доме, за целый год они ни разу не слышали, чтобы Михаил Васильевич произнес вслух хотя бы единое слово, кроме неразборчиво буркнутого утреннего приветствия.

Я не знаю, по какой причине Чемодановы продали свой дом; скорее всего потому, что он стал ветшать, а возиться с ремонтом им не захотелось. Ольга Павловна всегда жила барыней, Александр же Васильевич был натурой пассивной, хотя и оптимистичной: у них был голый-преголый кот Сюнька, которого крестный очень любил, и всякий раз, когда кто-нибудь пренебрежительно отзывался о его проводкообразном хвосте, глава дома ласково-примирительно говорил: «Ничего, опушится». Эта фраза его получила в нашей семье расширительное понятие — когда что-нибудь не ладилось, кто-нибудь из нас говорил: «Ничего, опушится!»

Дела в семье Чемодановых после смерти крестного, увы, не «опушились». Странно даже представить, как Ольга Павловна в психолечебнице принимала от прачек и выдавала санитарам и санитаркам белье для больных, в том числе и смиренные рубашки. . .

А продали они дом котельническому мещанину Филиппу Павловичу Демину, для меня, подростка, фигуре загадочной и тем самым манящей, хотя я смотрел на него не без гадливого страха. Из обрывков слов старших я понял, что Филипп Павлович до покупки чемодановского дома сам был домовладельцем, но особого сор-

та. Он жил на Четвертой, Сиротской, улице, имевшей дурную славу: там существовали тайные кабаки и вертепы, больше того — Филипп Павлович и содержал такой вертеп, иначе — бордель, иначе — бардак (от кого-то услышал я и это словцо), а по-книжному — дом терпимости, на доходах от коего он и разбогател. Надо ли объяснять, с каким пугливым любопытством приглядывался я к этому тихому, безукоризненно вежливому, но, как чудилось мне, приторно липкому, с нечистой тайной внутри человеку, когда он приходил к моему отцу посветоваться о ремонте и перестройке дома, или когда я встречал его на улице, или видел в открывшуюся на секунды калитку расхаживающим по двору. Думаю, что он замечал мое особое внимание к нему, потому что при встрече успевал первым со мной поздороваться, чем немало меня смущал: обычно взрослые меня не замечали, когда я им кланялся, — я имею в виду, конечно, не родственников и не близких знакомых, а просто соседей, вроде отца Феди Куницына. Впрочем, Куницын-отец ни с кем не здоровался и никому не отвечал: по улице он ходил с тростью, втыкая ее вертикально в землю, в мостки и упорно смотря сам туда же. Не знаю, говорили ли он хотя бы с женой или детьми; кроме сына, у него было пять дочерей, очень на него похожих — худеньких, тонконогих, постоянно молчавших; в одну из них, мне казалось порой, я влюблен, — в детстве я был очень влюбчив.

А вот в дочь наших соседей Верещагиных, Соню, я не был влюблен ни капельки, хотя часто играл с ней и ее братьями. Во дворе верещагинского дома, вдоль всей границы с чемодановским участком, протянулись старые двухэтажные амбары с верхней и нижней галереями. Что было в амбарах раньше (и почему вообще в Котельниче такая уйма амбаров), я не интересовался; при мне они стояли пустые и в них можно было превосходно прятаться или, забившись в уголок, тихо рассказывать друг дружке страшные истории. Об ожившем покойнике, от большого пальца ноги которого был протянут, как якобы всегда делалось в усыпальницах, звонок к сторожу, и как в два часа ночи покойник вдруг позвонил... О запрятанном где-то здесь же в амбарах кладе, который можно попытаться разыскать только в полночь... Достоверность этим далеко не новым историям придавала обстановка, а также то, что их будто бы

поведала детям сама верещагинская мама. Лично я пересказывал «Страшную месть» и «Впя», Верещагиным-младшим еще не ведомые.

Павел Иванович Верещагин был пекарь. Пекарня и булочная помещались в нижнем этаже; наверху, вместе с теперешними хозяевами, жила и бывшая хозяйка дома, Елизавета Константиновна Воронцова, породистая старуха с белоснежными волосами, по моему убеждению напоминавшая Пиковую Даму, о чем я также докладывал Верещагиным. В бытность ее домовладелицей, перед германской войной и в первые годы войны, на месте булочной и кондитерской помещалась «казенка» или «монополька» — государственная винная лавка. Это соседство было еще беспокойнее горячей сажи из труб: бывало, что мимо нас сплошняком валили пьяные, залегали на дороге или в канавке напротив окон; чтобы опохмелиться, ломились в наши ворота, считая, что это мы заперли винную лавку и можем ее отпереть, если они будут настойчивее.

У Верещагиных было три сына и три дочери. Старший сын кончил гимназию, дальше учиться не стал, а стал помогать отцу. У него были слабые легкие, подозревали чахотку, худел Николай еще и от непрерывного жара в пекарне; для него ежедневно брали у нас кружку козьего молока, считавшегося целебным. Средний сын, Павел, учился в Вятке в коммерческом училище — спокойный, блондинистый, почти альбинос. Евгений, вихрастый, бойкий, учился в Котельниче в параллельном со мной классе; потом он работал на Вохме, одном из первых строителств вблизи Котельнича, и учился там в химическом техникуме. Старшая дочь, Анюта, училась в Петрограде на Высших женских курсах и редко приезжала в Котельнич. Средняя, Клавдия, окончив гимназию, стала общественницей, комсомольским работником, порвала с родителями. Соня, бойкая девчонка немного моложе меня, охотно принимала участие во всех мальчишеских играх — в лапту, в лепки (от слова «влепить»), в сыщиков-разбойников, в чижи-ка-подковырку, в панки (бабки), в ножичек, дралась и царапалась — словом, была молодцом. Но взрослая ее жизнь, как я слышал, не задалась: неудачные замужества, служба в детдоме, где и мужчин-то один завхоз; затем я потерял ее из виду, как большинство моих сверстников и сверстниц. Сколько бы ни ездил в Котельнич, никого не встречал из школьных товарищей, а из близких



друзей детских лет — одного Колю Карлова, самого близкого.

Соседи. . . У меня сохранился план города, составленный в начале этого века. На нем обозначены не только улицы и жилые кварталы, но и отдельные домовладения — частные, муниципальные, земские: школы, гимназии, городская управа, земская управа, больница, богадельня, тюрьма, пожарная команда, гостиный двор, церкви. Фамилии домовладельцев на плане не значатся, но кое-кого я помню, и, как выяснилось, довольно многих, правда, большинство понаслышке. Несколько фамилий здесь приведу, потому что они типично котельнические; некоторые из них я нигде не встречал или встречал, но редко: Корякин, Кóлбин, Метелёв, Коврижных, Изергин, Волобу́ев, Вохмя́нин, Кірпиков, Хрóбрых, Кошúрников, Пина́ев, Куи́мов, Барúткин, Бизя́ев, Ворóна, Гри́дин, Грехнёв, Пёрминов, Мурат (1), Новокшо́нов, Балыбердин. . .

Сейчас попробую вспомнить тех, мимо которых я ежедневно ходил, — ходил, а также ездил на коньках. Разве можно по улице катить на коньках? Да запросто! Зимой тротуары обледеневали, потому что в большинстве домов не было водопровода и воду носили из водоразборных колонок, вернее из маленьких бревенчатых домиков в русском стиле, стоявших на нелюдных перекрестках или площадях, например на нашей Нижней площади. Когда я немного подрос, носить воду стало моей обязанностью. Это делалось так. В городской управе (а потом в горкомхозе) покупались «марки» — круглые жестяные бляхи величиной с дореволюционный пятак; на одних отпечатано по зеленому фону «1 ведро», на других — «2 ведра». С пустыми ведрами я подходил к домику, стучал в окошко, открывалась форточка, я подавал туда свою марку (или пару марок), ставил ведро на скамью, под кран, и постоянно обитающая в домике сторожиха наливала их доверху, наблюдая за этим из окна. Случался и перелив, и зимой к скамейке бывало трудно подойти, ноги оскальзывались на ледяной горке, зато как приятно было нести домой полные ведра, стараясь не расплескать. Но хочешь не хочешь — вода расплескивалась, и все мальчишки гнали на коньках по обледеневшим деревянным мосткам к центру города, где в овраге был устроен каток. Мне это было особенно удобно: на протяжении двух, даже трех кварталов дорога шла под уклон.

Мимо чьих же домов совершал я свой путь? Мимо дома старой учительницы Банниковой, о трагической смерти которой я рассказал в «Пожарах». Мимо железнодорожного околотка, которым ведал и при нем жил фельдшер Губотенко, сивоусый мужчина, с двумя сыновьями. Когда мой отец, тесавший острым плотницким топором доску, срубил себе почти всю левую икру, он примотал ее полотенцем и, оставляя кровавый след, побежал к Губотенко пришивать. Один из сыновей фельдшера был на год, на два старше меня и частенько возбуждал мою ревность, ибо нравился девочкам, которые нравились мне. Красивый, среднего роста, всегда с насмешливым выражением лица, Женя Губотенко был прирожденный гимнаст и спортсмен. Как-то на школьном вечере с ним произошел казус. В то время еще не носили плавок под трусиками (просто шились трусы подлиннее), и, делая стойку на руках на параллельных брусьях, Женя выказал из-под широковатых ему трусов то, что принято обычно скрывать... То-то зафыркали, делая вид, что отворачиваются, наши девочки и загоготали мальчишки!

За розовым каменным куницынским домом (два этажа с мезонином; кстати, так и не знаю, чем занимался, на что жил этот угрюмо молчавший Куницын) стояли два белокаменных дома, принадлежавших братьям Колбным, оптовым торговцам яйцами. Двор был заставлен ящиками со стружкой: в них упаковывали яйца и отправляли в Англию. Самих Колбных я знал плохо и даже не отличал одного от другого: оба мясистые, толстолобые, краснощекие: у кого-то из них сын Шура, тоже мясистый и краснолицый, но я и его мало знал. Приятельствовал я с Женей Анненковым, сыном железнодорожного инженера, занимавшего верхний этаж одного из колбнских домов. Мать Жени, утомленная интеллигентная дама, большую часть долгого летнего дня сидевшая с книгой на широкой светлой веранде, снисходительно относилась к моей босоногости. (Впрочем, помнится, Женя тоже бегал иногда босиком — такое уж было время). До Котельнича они жили в Вологде, Женя любил прихвастнуть и, зная, что я влюблен в паровозы, вокзалы, станционные пути, вообще во все железнодорожное, с жаром рассказывал, что путей на станции Вологда не меньше ста, а то и двухсот. Потом в своей жизни я проезжал через Вологду много десятков раз и удостоверился, что

путь там много, но очень далеко до названных Женей цифр. Игрушек у Жени было действительно вдоволь, самая драгоценная для меня — маленькая всамделишная паровая машина, отапливаемая спиртом; она так меня восхищала, что мне было даже не до зависти. Помню также, как Женя уверял, что за один день прочел всю «Войну и мир», возмущался, что я не верю, обращаясь за подтверждением к своему подначальному приятелю Вите, и Витя охотно поддакивал и божился, изо всех сил моргая рыжими ресницами.

В угловом доме, заключавшем квартал, деревянном, одноэтажном, с широким крыльцом-верандой, до революции помещался безымянный трактир, вернее просто большая пивнуха. Хозяина ее я ни разу не видел, видел только осторожно спускавшихся по ступеням крыльца пьяноватых посетителей, которых я сторонился. Что в этом доме было в двадцатые годы — почему-то забыл; теперь уже мнится, будто его вовсе не стало, хотя он наверняка достоял до общегородского пожара. Помню же я, что на противоположном углу во время нэпа открылась булочная, пытавшаяся конкурировать с верещагинской; кстати, вдруг, через четверть века, ее бывший владелец (не то Важенин, не то Вылегжанин) обратился ко мне в Ленинграде как к депутату Ленгорсовета с жилищной просьбой, которую я при всем желании не мог бы выполнить — жилых домов строилось тогда мало.

Центром следующего квартала являлась пожарная часть с деревянной каланчой, той самой, что мгновенно сгорела в 1926 году. Учреждение это влекло меня к себе чрезвычайно: красные пожарные машины, насосы, лестницы, багры, бочки, бойкие холеные лошади, до блеска начищенные каски и такие же сияющие медные трубы собственного духового оркестра, длиннущий брезентовый рукав, сушившийся на каланче после выезда на пожар или учебную тревогу; неусыпно шагавший наверху, по круговой галерейке, дежурный, зимой в тулупе, летом в брезентовом плаще, в любую секунду готовый ударить в сигнальный колокол, усмотрев пожар, — все это возбуждало острый интерес и внушало сладкую зависть к пожарным. Единственно, кого из персонала команды я недолюбливал, это лохматого, старого, вонючего, всего в грязи и в репьях, но зато с огромными устрашающими рогами козла. Днем он бродил по городу, затевал драки, до истерики раздражал собак, чуть не

на смерть пугал детей; на ночь же его запирали в конюшню, и он выполнял свой служебный долг — оберегал лошадей от нечистой силы. По правде сказать, я нигде никогда не видал более отвратительного существа, — не мудрено, что его боялись и черти!

По дороге к пожарной я часто встречал или обгонял важно прогуливавшегося одного из домохозяев этого квартала, сравнительно еще молодого Корякина с негнувшейся шеей, — он поворачивался всем корпусом, если хотел взглянуть на меня или на каланчу; говорили, что это последние контузии, полученной на германской войне; на какие средства он жил, почему в любой день и час гулял, вместо того чтобы где-то служить или работать, для меня осталось неизвестным, как и многое, многое в те строгие и странные времена.

На другой стороне улицы, как раз напротив пожарной команды, кирпичная арка ворот вела в церковный двор, протянувшийся от Второй до Первой улицы. В домах, замыкавших этот двор, жили причты всех трех церквей, в том числе и законоучитель нашей земской школы отец Константин Кибардин, объяснявший нам, первокурсникам, что муки в аду — нравственные, а не физические (равно, как и самый ад): человек умирает, а душа его мучается, если он совершал при жизни дурные поступки; какие именно, он не уточнял — не запугивал нас. Но в том же церковном доме жил мой тезка, Леонид Авениров, законоучитель городского училища, куда я попал через год, — он, наоборот, уверял, что муки в аду самые натуральные, грешников поджаривают на углях. В 1919 году отец Константин умер от сыпняка, и я греховно подумал: почему надо, чтобы умер добрый и еще молодой отец Константин, а не старый черствый сухарь отец Леонид Авениров?

Оба эти священника состояли в причте Никольской церкви, где примерно до восьми лет я говел — исповедовался и причащался, где отпевали моего деда и крестного, мамных тетушек, где по утрам стояли десятки гробов с покойниками, особенно в тифозные годы, что значительно омрачало эту многооконную, светлую, с легким куполом, чем-то даже веселую церковь (в отличие от старинного сводчатого собора). В праздники и накануне праздников здесь пел превосходный хор, которым управлял популярный в нашем городе регент (он участвовал и в светских концертах). У Германа Петровича

был неистовый, дикий бас, который он пускал в ход, когда требовалось чудовищное фортиссимо:

Ты еси бог, творяй чудеса!  
Творяй! ТВОРЯЙ!! ТВОРЯЙ!!!  
Чудеса!

При слове «творяй» он так поддавал, что молящиеся невольно вздрагивали. Я и теперь, через шестьдесят с лишним лет, слышав могучий бас трубы, вызванный к жизни рукой дирижера в финале вагнеровской увертюры или малеровской симфонии, нет-нет да и вспомню Германа Петровича.

В той же Никольской церкви служил другой мой тезка — отец Леонид Несмелов, кроткий, тихий, со слабым голосом, во всем оправдывавший свою фамилию. К концу двадцатых годов он снял с себя духовный сан, выучился на счетоводных курсах, а через много лет я узнал, что он служит бухгалтером... в ленинградском кинопрокате! Кто мог предвидеть такой оборот?

Образцом примитива можно считать запянцовского отца Арсения, который в моем раннем детстве приходил в наш дом в первый день рождества и в первый день пасхи, служил вдвоем с дьяконом краткий молебен, а затем заставлял меня встать на стул и пропеть ему «Христос воскрес из мертвых» или «Рождество твое, Христе боже наш» (в зависимости от праздника), после чего наделял конфетой и одобрительным возгласом:

— Хорошо, собака, славит!

К иному, совсем иному культурному слою принадлежал отец Феодосий, протоперей Троицкого собора, прибывший в Котельнич уже после 1917 года; до этого он был миссионером где-то в Северном национальном округе и в свое время окончил духовную академию. Этот светский, обходительный человек в самый разгар комсомольских антирелигиозных карнавалов без тени смущения или недозволения приходил в своей элегантной дорожной рясе в городскую библиотеку, неторопливо просматривал там в читальном зале свежие газеты, журналы, вплоть до «Безбожника» и «Безбожника у станка» (издавался тогда и такой журнал), с блеском спорил на диспутах, — в те годы в Котельнич приезжали видные, образованные лекторы, красноречиво и дельно испровергавшие бога.

Старший сын Феодосия Иванова играл на рояле и собирался поступать в консерваторию, мой папа готовил

его к выпускным экзаменам в школе; но случилось, что в самый разгар занятий, в середине зимы, в Котельнич приехала украинская труппа и стала давать веселые спектакли с музыкой, пеннем, плясками — «Кум-мельник, или Сатана в бочке», «Ой, не ходи, Грицю, тай на вечерницю»; через неделю труппа уехала, и вместе с ней исчез молодой пианист Иванов, то ли увлекшись одной из артисток, то ли просто в качестве аккомпаниатора. Иная судьба поджидала его младшего брата, которого в 1924 и 1925 годах репетировал по математике я (за полчервонца в месяц). Этот большеглазый, живой, непоседливый мальчик, не слишком старательный, но все схватывавший на лету, впоследствии был тяжело ранен на фронте, потерял ногу...

Откровенным врагом отца Феодосия, считавшим его соглашателем, почти атеистом, был не очень-то образованный, зато фанатичный отец Петр, — фамилию его не знаю, в лицо никогда не видел, лишь слышал о нем, об успехе его истеричных проповедей у прихожанок. Он делил этот успех с Михаилом Глушковым.

Миновав церковный двор и завернув на улицу Ленина (бывшая Троицкая), пронесся мимо бывшей городской управы и бывшего городского училища (в котором я учился недолго), я на секунду задерживался возле углового большого дома, недавно еще принадлежавшего богатым купцам Глушковым, в родстве с которыми был отец Михаил. Обыватели благоговейно рассказывали, как прислуга Глушковых, неся к столу кипящий самовар, завязывала кран тряпочкой, чтобы не накапать на зеркально натертый паркет. Но прошли годы, Инна Михайловна Глушкова после пожара повредилась в уме, жила в чьей-то баньке на краю города, держа при себе шесть-семь искалеченных кошек, которых она подбирала на улице и кормила, хоть сама нищенствовала, а наследникам было не до нее.

С одним из ее племянников я учился в школе. Николай Глушков приехал из Ялты, недавно освобожденной от Врангеля (там жил и умер от чахотки Глушков-отец, много лет уже не принимавший участия в торговых делах), приехал бедным, но чистеньким барчуком, в гимназической фуражке летнего образца, с белым верхом, — таких фуражек мы прежде не видели. Как-то, играя на дворе в чехарду, я неловко задел его фуражку, — белый чехол слетел, и на голове Глушкова остался один околыш без тульи.

— Смерть проклятым белогвардейцам! — азартно крикнул Санчик Балыбердин и сам же смутился: никому раньше и в голову не приходило, что Глушков до Котельнича год или два учился в белом Крыму! А он, бедняга, все так и стоял, нагнувшись, недоуменно оборотив к нам красное от натуги лицо. Николай был очень худой, очень длинный и очень способный мальчишка. Однажды весной, во время экзаменов, он пришел ко мне и попросил рассказать «Обломова», которого он не читал и опасался, что назавтра его как раз спросят. Я ужаснулся.

— Как я тебе могу рассказать такой толстенный роман?

Но он упросил, и я ему рассказал, рассказал плохо, сбивчиво. На следующий день Николая действительно спросили про «Обломова», и он безупречно изложил содержание и четко охарактеризовал героя. Я не верил своим ушам, готов был думать, что Глушков меня разыграл, но все знали, что он в самом деле мало читал, даже не очень любил это занятие. Правда, семья его жила бедно, тесно, мать часто прихварывала, ему приходилось за ней ухаживать и помогать по хозяйству. Вскоре Любовь Ивановна, маленькая, некрасивая, вышла замуж вторично — за такого же, как и она, некрасивого, маленького человечка; брак этот достатка и счастья в семью не принес. Немного позднее Николай поступил в Ленинградский институт путей сообщения, но не перенес ленинградского климата — умер от туберкулеза; вот так и вышло, что сын когда-то богатого человека не унаследовал от отца ничего, кроме болезни. Его младший брат, Елисей, еще более худой и длинный, чем Николай, окончив школу, стал электромонтером; страшно было смотреть, как со связками изоляторов тонкий, как стебелек, Елисей лазал по столбам: вот-вот переломится! Лет пять назад знакомый котельничанин мне рассказал, что Елисей Глушков после своего монтерства где-то учился, стал директором котельнической районной совпартшколы, затем пошел на войну и там погиб, всего на десять лет пережив старшего брата. Так кончилась еще одна котельническая династия.

Переехав или перебежав на коньках Советскую улицу, я оказывался подле углового дома Самоделькиных, где раньше торговала швейными машинами фирма «Зингер», а потом помещался профклуб. Несколько

скользких пробежек вдоль по Советской — и я у моста через овраг. Чуть пониже, на склоне оврага, стучал дизель-мотор маленькой электростанции, обслуживавшей в дореволюционные времена два котельнических кипе-матографа — «Художественный» и «Свет и тени». Большинство городских домов, магазины, улицы, площади освещались тогда керосиновыми и керосинокалильными лампами; у последних раскаленный в парах керосина асбестовый колпачок («сетка Ауэра») давал ярко-белый свет, превосходивший во много раз свет обычной керосиновой лампы. Керосинокалильные фонари стояли на всех перекрестках, и я любил смотреть, как их в сумерках зажигали, спуская для этого со столба. Любопытно, сохранился ли в каком-нибудь коммунальном музее такой фонарь?

С дробным стуком съехав по деревянным сходням в овраг, я оказывался у цели: передо мной простирался большой, старательно размеченный, уставленный по краям скамейками, обсаженный воткнутыми в сугробы зелеными елками, весь исчерченный мелькающими фигурками конькобежцев, знаменитый наш городской каток. Чем он был знаменит? Тем, что город его любил и берёг. Каждую осень запруживали речку Балакиревицу (обыватели называли ее Котлянской, хотя на деле река Котлянка протекала не в центре, а на окраине города), и овальное зеркало новорожденного пруда с первыми же заморозками превращалось в каток. По воскресеньям и по субботам, начиная с шести-семи часов вечера, здесь играл духовой оркестр (радио тогда еще не было), и за право катания в эти вечера надо было покупать билеты. Но мальчишки попадали на каток бесплатно: для этого стоило лишь перелезть плотину, отделявшую устье речки от реки Вятки, или просто спуститься в овраг по склону со стороны недостроенной Предтеченской церкви.

Так или иначе, два часа кружения по катку — это два часа чистейшего наслаждения, с которым ничто не могло сравниться, после которого дома и сладко читалось, и сладко спалось... А сколько смешных происшествий! Помню, я попал под ноги нашему учителю гимнастики, рослому Робинзону, как мы почему-то его звали, мерившему длинными своими ногами лед. Странно, я-то на ногах устоял, а споткнувшийся об меня Робинзон полетел в сугроб. Впрочем, этот добрейший че-



ловек ничуть не рассердился, — он всегда был спокоен, улыбчив и заботливо страховал нас в гимнастическом зале, когда мы делали стойки на параллельных брусьях, всклепки и «солнце» на турнике.

Другое событие было куда трагичнее; правда, произошло оно еще до того, как меня стали отпускать на каток; толковали о нем всю зиму. Некая семейная дама (муж, две дочери) насмерть жажнула коньками в висок старшеклассницу-гимназистку, приревновав к ней своего любовника. Мой отец не терпел пересудов, и у нас в доме об этом скандальном и кровавом событии не говорили, но, когда мы бывали в гостях, отзвуки происшедшей на катке драмы доходили до моего слуха и возбуждали неодолимое любопытство: еще бы, убийство! И где? На катке! Под звуки духового оркестра!

Конечно, в Котельниче происходили и другие, не столь эффектные и не такие «светские» драмы, но о них я не знал, не слышал, как не знал и не слышал о многих котельничанах, проживавших на отдаленных от нас улицах, в тех глухих кварталах, из которых возник вдруг и поселился по соседству с нами Филипп Павлович Демин. Так, в 1931 году, приехав в гости к родителям, я зашел в редакцию местной газеты «Ударник» и увидел там странного, жутковатого на вид человека: уши и ноздри у него были заткнуты грязной, желтой от гноя ватой, глаза тоже гноились, одет он был в какую-то засаленную хламиду, а на редакционном столе, подле которого он стоял, возвышалась горка конторских книг; он молчал, но мне объяснили, что человек этот принес стихи, которые он написал за долгие годы, — ему было лет шестьдесят. Когда мы развязали пачку и заглянули внутрь, мы увидели сплошь исписанные крупным и четким почерком сотни, тысячи страниц. Уже по чернилам можно было определить, какая из этих тетрадей-книг старше; одно роднило все записи — чудовищная безграмотность, особенно бросавшаяся в глаза благодаря ясному, красивому почерку.

Да, малограмотные вирши, не больше, и все же эта многолетняя, неотступная, изнуряющая потребность в самовыражении не могла не тронуть. Я не раз потом думал: как же так — всего в трех-четыре кварталах от нас жил и писал строку за строкой, тетрадь за тетрадью нищий, больной человек, и ни я, ни мои родители не подозревали о его мучительной страсти, а ведь это тоже был наш сосед. . .

Нельзя сказать, что все наши гости сознательно делились моими родителями на «чистых» и «нечистых», — да и что понимать под этими определениями? И все же так получалось, что мамыны родственники и их семьи принимались у нас отдельно от папиных сослуживцев; мамыны старые тётки не смешивались с мамыными же двоюродными братьями, их женами и детьми; были семьи, которые ни с кем не объединялись, как, например, доктор Шейнкман с женой и младшей дочкой (старшая у нас никогда не бывала); инженер Захаров с женой; страховой агент Сердюк с женой и сыном (а чаще один); фельдшер, а затем врач Николай Иванович Павлов, сначала один, холостой, а затем с женой, москвичкой, тоже врачом; и наконец, уже в советское время, ближайšie наши друзья — врачебная семья Карловых. Бывали и гости-одиночки: чрезвычайно мне симпатичный Матвей Семенович Саутин, к сожалению рано умерший; член губернского суда Серафимов, громко и, как мне казалось, грубо со мной шутивший, — его я не любил и даже боялся, — к счастью, он наезжал редко.

Теперь-то я понимаю, что гостераздел происходил вполне естественно; в основном по линии большей или меньшей интеллигентности. Гости, которые были неизбежны, это мамыны родственники. (Почему не папины? Да потому, что их в Котельнице не было, если не считать нашей общей любимицы — папиной младшей сестры.) Это не значит, что папе они были неприятны, — неприятных он не пускал в дом, — просто они были ему неинтересны, уровень, на котором шли разговоры за чаем и ужином, ниже «желательного», с ними чаще играли в карты, чем беседовали, хотя среди них были и колоритные фигуры.

О Чемодановых я рассказал в главе «Соседи», мы с ними дружили, но дружба эта была скорее сердечной, чем духовной. Еще более далеки для папы были Трухины. Андрей Константинович Трухин был женат на сестре Чемоданова, Александре Васильевне, доброй, вялой, чуть заикающейся женщине. Он владел небольшим мануфактурным магазином и полукаменным двухэтажным домом, верх которого занимал учитель женской гимназии Троицкий. Сергей Иванович Троицкий так привык преподавать историю девочкам, что потом и у нас, в

единой трудовой школе, закрыв глаза, повторял, постукивая ребром ладони по парте: «Тише, барышни! Тише, барышни!» — из чего мы могли заключить, что и гимназистки на уроках шумели. А историю он нам наизусть шпарил по старому, верноподданнейшему учебнику Иловайского, — я нарочно принес в класс и проверил. (Сделал ли я это из ехидства? Да нет, просто меня удивила анекдотичность такого цитирования на пятом году революции; самого же Сергея Ивановича мы скорее любили, вернее — жалели.)

Андрей Константинович Трухин был типичный благонамеренный обыватель. Когда чаепитие происходило в саду и гости, особенно мой отец и племянник хозяина, Николай Михайлович, приехавший на побывку с фронта с двумя Георгиевскими крестами, затевали опасный разговор о войне, о политике, называли царя кретином, величали его Николашкой, Андрей Константинович страшно пугался и, сложив перед собой ладошки в виде заслонки, шепотом умолял:

— Господа! Рядышком... ведь рукой подать... полиция!

Для меня Трухин представлял главный интерес тем, что нюхал табак и трубно сморкался в большой красный платок, каких я нигде и ни у кого не видывал, как не слышал и столь оглушительного сморкания. Играя в карты — в «наполеона», в «подвеску», в «тешу», как упрощенно у нас называли «пиковую даму», он приговаривал: «Мое почтение!», или «Мы люди маленькие, нам много не надо!», или «А мы ее по усам, по усам!», и еще чаще сморкался, чтобы успеть подумать над очередным ходом. Из года в год Андрей Константинович подписывался на «Ниву» и «Родину» с их многочисленными приложениями, но не читал (он ничего не читал, кроме губернской газеты «Вятская речь»), а складывал в большой окованный железом сундук. Исключение составляли собрания сочинений классиков, требовавшиеся по учебной программе для дочери: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев и Гончаров чинно стояли на ее этажерке.

— Подкоплю денег, — лукаво подмигивая, говорил Андрей Константинович, — выйду на покой, стану читать.

Покоя не вышло, книги так и остались непрочитанными. Дочь кончила гимназию с золотой медалью, поехала в Пермь учиться на врача, выучилась, и, когда

в 1918 году у Трухина реквизировали и национализировали магазин, дом и прочее, она отказалась от отца, оставив при себе лишь мать. Андрей Константинович бродяжил, нищенствовал (больше по деревням), раза два заходил и к нам, вытаскивал из кармана какую-то грязную тряпицу вместо фулярового платка и тихо, почти беззвучно сморкался; правда, и нюхательного табака у него уже не было, говорил, что пробовал мелко растирать махорку, но:

— Не тот коленкор, — стеснительно пояснял он и снова робко сморкался. Все балагурство, чудачества, граничившие раньше с юродством, пропали вместе с достатком.

Самым далеким, чужим, враждебным нам был второй зять Чемоданова, женатый на его сестре Антонине, — Михаил Прокопьевич Косолапов, лавочник, монархист, черносотенец, как о нем со значением говорили. Ни Косолаповы у нас, ни мы у них в доме никогда не бывали. Но вот случилось, что в Котельнич приехал из Яранска мамин племянник, Владимир Михайлович Кузнецов, добродушный молодой купчик, здоровый, румяный, кровь с молоком (удивляюсь, почему его не взяли в армию). У Косолаповых была дочь на выданье, скорее уже старая дева, довольно миловидная, но с огромным орлиным носом; Чемодановы и Трухины их познакомили, Владимира Михайловича быстро окружили, женили на Наденьке, и, как папа ни противился, всем нам пришлось пойти на свадьбу. В день свадьбы папа упал, расшиб спину (спина у него часто болела с детства, с того дня, когда он свалился в амбаре с высокой балки, попробовав использовать ее как турник). В доме Косолаповых он сидел мрачнее тучи, не ел, не пил, не вымолвил ни одного слова и с трудом перевозмогал боль в спине. А вообще этот случай мне показал, что мой прямой, вспыльчивый, непреклонный отец в каких-то немаловажных для него вопросах и делах уступал маме, редко, но все же делал то, что ему неприятно, и меня, восьмилетнего, это огорчило. Яранский же богатырь Кузнецов оказался совсем подкаблучником, прыгнуть не смел при Наденьке. Спустя много лет, когда моя любимая тетя Саника побывала в Яранске и наши ее спросили, как поживает Владимир Михайлович, она ответила:

— Ничего. Нарожал ребят. Бегает по двору, побрякивает.

Очевидно, Владимиру Михайловичу оставалось лишь

так проявлять свою личность, говорить ему Наденька не позволяла. А я окончательно понял, что орлиный нос — признак сильной натуры! Легко перенесла Наденька и расстрел своего отца в 1918 году. Впрочем, не знаю ни одного человека, который бы его пожалел, — на редкость был малопривлекательный субъект. Помню, когда еще в царское время я проходил мимо его дома и лавки, где он торговал товарами для деревни («кнуты и пряники!»), мне представлялось, что там живет, рычит, точит когти зверь нечистой породы, отнюдь не медведь, хотя и Михаил Косолапов...

Подумать только, какие разные люди существовали одновременно в Котельниче! Я любил, когда к нам заходил Матвей Семенович Саутин, маленький, очень маленький ростом, но пропорционально сложенный человек, с чеховской бородкой, приветливый, тихий, воспитанный. До революции он служил в земской управе, был холост, прикован к одру больной, но волевой матери, из-за которой так и не женился. Потом мать умерла, он куда-то уехал, и несколько лет мы его не видели. И вдруг зимой 1924 года он к нам пришел в отсутствие папы, остался его ждать и, пока мама хлопотала, готовя чай и волнуясь, что папы нет (она всегда волновалась, когда его долго не было), мы с Матвеем Семеновичем беседовали. Он только что вернулся из Крыма, где давно мечтал побывать и куда после смерти матери решил переехать, чтобы сразу переменить свою жизнь; но жил там недолго, соскучился по Котельничу, по старым друзьям. Мне было лестно, что он, как со взрослым, со мной поделился...

Папа пришел поздно и сообщил печальную весть: на собрании объявили — умер Ленин. До самой ночи Саутин и папа толковали о том, каково-то будет теперь в стране без Ленина, а я молча слушал, испытывая сложные чувства: мне было страшно представить себе Россию без Ленина и вместе с тем приятно знать, что таких разных по темпераменту и укладу жизни папу и Матвея Семеновича объединяет и волнует эта потеря. Через неделю в Москве состоялись похороны Ленина. Радио в Котельниче тогда еще не было, газеты приходили лишь через день, но 27 января мы вдруг услышали слитный хор гудков — немногих фабричных и заводских и многих паровозных. В Котельниче, как и в Москве, стояли морозы, и в стывшем воздухе, где из всех труб столбиками поднимались думы, гудки пронизывали, каза-

лось, насквозь; не было, думалось, человека, которого бы они не взяли за сердце. Я и сейчас не знаю, кому тогда пришла в голову талантливая мысль — потрясти всю страну траурными гудками, этим салютом смерти, салютом жизни: восстановленные заводы, окрепший транспорт провожали уходящего вождя.

Дорогим, интересным для меня гостем был Федор Мартинианович Захаров. Дорожный техник, служивший вместе с моим отцом сначала в земской управе, потом в совнархозе, потом в Комгоссооре (Комитет государственных сооружений), он не был местным уроженцем; после постройки железнодорожного моста в 1903 году, в которой он принимал участие, Захаров остался в Котельниче, женился на богатой вдове Анне Федоровне Глушковой (в молодости, и еще на моей детской памяти, высокой, статной, красивой женщине), построил на их большом садовом участке на краю города второй дом в современном духе: высокие, просторные комнаты, широкие окна, светлые тисненные обои. В доме этом мы однажды побывали в гостях. Однажды, потому что очень скоро Захаровы опять переехали в старый дом, тоже с просторными комнатами, тоже красивый, сверкающий белизной заново выкрашенной деревянной обшивки, резными наличниками окон, издали — настоящая вилла, и все-таки чем-то старомодный. Новый дом Захаров пустил под спичечную фабрику, где я также успел побывать — посмотрел, как из осиновых чурок машины строгают соломку для спичек. Говорю — успел, потому что затея оказалась невыгодной: под городом уже существовала спичечная фабрика братьев Зубаревых и конкурировать с ней не имело смысла. Живой, предприимчивый характер Захарова подстрекал его ко все новым и новым производственным затеям, и в начале нэпа он быстро переоборудовал бывшую спичечную фабрику в механическую мельницу, но и ей недолго пришлось существовать: в 1922 году Федор Мартинианович поехал в Вятку на операцию аппендицита и вернулся оттуда мертвым — не проснулся после наркоза.

Захаров был широкой натурой. Если уж принимал гостей, то угощал их на славу, для чего приглашал поваров из клуба. Впрочем, мне эти яства казались невкусными, может быть, потому, что в детскую комнату блюда попадали уже холодными — то, что оставалось от взрослого стола. Кроме их собственных детей — трех сыновей и двух дочерей — на захаровских именинах из

посторонних детей бывал только я. Почему родители брали меня с собой, а не оставляли дома с тетей Аней, неясно; может быть, думали, что мне интересно с захаровскими ребятами. Но я не помню, чтоб мы веселились, шумно играли, даже на рождестве, вокруг елки. Ветви этой раскидистой и высокой, под потолок их большого зала, елки, вернее — ели, гнулись под тяжестью игрушек, хлопушек, флагов, золотых и серебряных цепей, шоколадных бомб, начиненных различными сюрпризами; все это отдавало купеческим шиком, излишней роскошью, — явно сказывалось влияние Анны Федоровны. Самым симпатичным из хозяйских детей мне казался Олег, но он был младше меня; Володя и Тюша (Мартиниан) были слишком флегматичны, а девочки Зоя и Ариадна диковаты, хотя и красивы, в мать.

Взрослые гости, в отличие от наших, собирались вместе самые разные, типичная смесь! Например, присутствие братьев Шалагиновых вообще выглядело «анакронизмом». Дело в том, что сестра Анны Федоровны, тоже видная женщина, с редким именем — Павла, была раньше замужем за одним из этих братьев, небольшого роста усатым человечком, приказчиком из мануфактурного магазина. Затем она его оставила и вышла замуж за военного, краскома Баранова, но к Мите, Дмитрию Петровичу, и она, и Захаровы продолжали хорошо относиться, даже помогали ему материально, когда магазин закрылся. Когда же Барановы уехали из Котельничча, а Захаров умер, Митя спустился еще на ступеньку: стал банщиком в городской бане, принимал пяточки на чай, бегал за пивом для посетителей, но усы отрастил длиннее прежних.

Для развлечения гостей у Захаровых часто заводили граммофон, который я не любил за его зычный голос; эта нелюбовь распространялась и на Шляпина, пластинки которого я доньше слушаю с некоторой опаской. Но вот пластинка с «Записками сумасшедшего» производила на меня сильнейшее впечатление; в конце, когда Поприщин произносил слова: «Матушка, спаси твоего бедного сына!» — мороз подирал по коже и мне хотелось рыдать от сочувствия к этому глубоко несчастному человеку. Но одновременно я испытывал гнев. Я негодовал не столько на тех, кто мучил и не понимал Поприщина, сколько на тех, что слушали эту пластинку: и хозяева, и гости покатывались от хохота... Я боялся взглянуть на своих родителей — неужели и они смеялись над Попри-

щиным? Папа — наверняка нет, он без комка в горле не мог читать вслух даже такие рассказы Чехова, как «Белолобый» или конец «Каштанки»: непременно находились строчки, которые его волновали и трогали; позже я не раз видел, как папа плакал, перечитывая «Архиерея», особенно его последние строки. Мама же, как и я, боялась, не любила граммофона, — если она тут и смеялась, то деланно, потому что все смеялись. Потом я часто ловил себя на окаянной мысли: неужели большинство людей не ощущает трагическое сквозь внешне нелепое и смешное? Зачем тогда творит Чаплин? Зачем он поставил «Огни большого города», где прозревшая слепая девушка, такая прелестная, добрая, смеется над его страдальческой гримасой? Для кого и для чего в таком случае существует искусство?

Обиднее всего для меня было то, что смеялся и любил слушать эту пластинку сам хозяин — Федор Мартинианович Захаров. Мне он очень нравился, я был влюблен в его быструю походку, в его манеру вертеть в руке трость и пожимать на ходу плечом: еще восьмилетним я старался ему в этом подражать. С интересом и, я бы сказал, с сочувствием слышал я о его романтических увлечениях: например, как он выпрыгнул из окна второго этажа, чтобы не скомпрометировать даму, и не то сломал, не то вывихнул ногу. Все это немало пленяло мое мальчишеское воображение, тем более что я не симпатизировал его жене; я не любил, когда они приходили к нам в гости вдвоем и она своей болтовней, безапелляционной, хвастливой, мешала увлекательным мужским разговорам. Правда, Федор Мартинианович ее иногда обрывал, решительно, но не грубо, лишь учащенно подергивая плечом: «Анюта, перестань!» — и она на какое-то время замолкала или принималась говорить только с мамой. Зато я очень любил, когда Федор Мартинианович, работая в одном учреждении с папой, заходил к нам днем выпить чаю и все обсудить. Помню, как они с папой смеялись прозвищам, которые дал в своей речи Ленин чинушам и нэпманам: «совбюры» и «совбуржуа».

В первые пореволюционные годы Захаровы продолжали принимать гостей, хотя и не так пышно. Бывал среди гостей и военком Винтерштейн, говоривший с иностранным акцентом. Это он Первого мая устроил эффектный военный парад на Верхней площади: воинские части, квартировавшие в городе, в основном артиллерия на конных упряжках, несколько раз объезжали во-



круг квартала и вновь и вновь появлялись перед трибуной на площади! Уже потом я узнал о Винтерштейне подробнее. Австрийский офицер, взятый в плен в первую мировую войну, он стал коммунистом, воевал на Урале, женился, как и Захаров, на красивой богатой женщине (что ему ставили иногда в вину). В Котельнице был военкомом в 1918—1922 годах, затем опять служил на Урале и умер где-то от туберкулеза, ненадолго пережив Захарова. Он хорошо относился к их семье, что особенно помогло им в самый первый год после смерти Федора Мартиниановича. Кстати гроб с телом Захарова стоял в большом зале, где жили Винтерштейны; многие ли предоставят свое жилье для чужих похорон?

Бывал у Захаровых землемер Гриневский, альбинос с вращающимися глазами: покрутятся глаза в одну сторону, затем раскручиваются в другую. Мне было очень жаль его милостивую жену, принужденную терпеть такого мужа. Потом оказалось, что он родной брат писателя Грина, о котором присутствовавшие тогда, считая меня и палу, почти ничего не знали, слышали только, что у Гриневского есть где-то брат, помещает в журналах рассказы. Это уж через много лет мне стало интересно, что думал о Грине его брат: уважал, завидовал или считал прощельгой (бежал из дому, невесть где шатался, ссылали за что-то в Сибирь), — но было уже поздно, не спросишь...

1922 год. Весна. Я с родителями на похоронах Федора Мартиниановича Захарова. Он лежит в гробу как живой — румяный, веселый, каким я его всегда видел, и, наверно, не одному мне думается: вдруг это не смерть, а глубокий обморок или летаргический сон? Его взрослый пасынок, Михаил Валентинович, любивший своего отчима и многим ему обязанный, все прикладывался ухом к груди Федора Мартиниановича, приставлял зеркальце к его рту — нет ли дыхания, не обнаружится ли жизнь... Напрасно. Я остро помню, как жаль мне было Захарова. К тому времени мы успели уже потерять многих родных и знакомых, но ничья взрослая смерть не поразила меня так, как эта. Уж очень велик контраст: быстро ходил, оживленно говорил, смеялся, был полон идей, проектов — и вдруг все кончилось. Наверное, впервые проникся я жестко осозанным неприятием смерти, уничтожающей самых-самых живых.

А потом... потом удивили меня слова Михаила Валентиновича, столь трогательно прощавшегося с Захаро-

вым. Произисек он их чуть ли не в самый день похорон, или, во всяком случае, вскоре после похорон:

— Выключим телефон, электричество и станем потихоньку жить.

Я невольно подумал: уж искренне ли он горевал по отчиму?

Впрочем, жизнь и характер Михаила Валентиновича были во всем необычны и неожиданны. Я не уверен даже, что он был вполне нормален психически. В свое время он был гусаром: помню, он приезжал в начале германской войны таким молодцом, с такой фигурой, выправкой, что им любовались не только мать и отчим; видно, недаром тратились на его экипировку и на гусарский образ жизни! Вот Миша привез в дом невесту — студентку Московской консерватории, пианистку и певицу, красивую брюнетку с усиками. Не помню точно, в какой момент это произошло, думаю, что в самом конце мировой войны, когда в столицах стало уже труднее жить. Привез и куда-то исчез. Как потом выяснилось, попал на Кавказ, в Новый Афон, в монастырь, увлекся монашеством и религией, а затем снова оказался в Котельниче, но уже со склонностью к мистике, к опрощению, к христианским нотациям, которые он читал своим сводным братьям, стал соблюдать посты, приучил к этому и свою жену, затем принял духовный сан и стал самым фанатическим священником из всех, каких я знал. В конце двадцатых годов его арестовали за слишком активные проповеди, похожие больше на агитацию. Дальнейшей судьбы отца Михаила не знаю. Жена его с двумя детьми куда-то уехала; в Котельниче она давала уроки музыки (в том числе мальчишкам Карловым и мне), пока муж не запретил ей это «тешащее дьявола» занятие. Помню, как ее мать, переселившаяся из Москвы в Котельнич, возмущалась и негодовала на иступленную нетерпимость зятя и кроткое послушание дочери. Да и нам казалось, что в отца Михаила вселился не святой дух, а черт — такой он стал злой, нетерпимый. Между тем тот же Миша Глушков когда-то любил показывать нам, ребятам, забавный фокус — «отрывал» на своей руке большой палец, и мы дружно вместе с ним хохотали. Что до «руки Всевышнего», она принесла ему и всем близким лишь горе. . .

Сейчас я еще раз подумал о Федоре Мартиниановиче. Откуда взялись его широкие замашки, страсть к частному предпринимательству? Искала выход кипучая

энергия? Несомненно. В другое время она могла быть приложена к совсем другой деятельности, а тут вдруг свалился на дорожного техника купеческий капитал! Это не значит, что Захаров женился на деньгах, из расчета: видно было, что он очень любит свою Анюту, любит, несмотря на ее ограниченность, нелепое фанфаронство. Она хвасталась всем, чем только могла, — домом, садом, промышленными затеями мужа, столь кратковременными, быстро сменяющимися друг дружку. И когда Федор Мартинианович умер и семья обеднела, Анна Федоровна продолжала гордиться вслух. Чем? Детьми, потому внуками — она называла их всех «мои ребенки». Однажды я встретил ее поздно осенью на перевозе через реку, постаревшую, одетую в какой-то шушун, с корзиной, полной не то брусники, не то клюквы, и она не преминула похвастаться тем, что ежедневно ездит и ходит по ягоды и набрала на всю зиму (собственного сада с клубникой, малиной, смородиной уже давно не было). Когда-то ее хвастовство меня раздражало, потом смешило, а тут растрогало. Потому что я за этим увидел деятельную заботу о семье: разве не заслужило уважения то, что Анна Федоровна сумела в такие нелегкие для нее годы вытянуть, выкормить, выучить пятерых детей, воспитать из них трудовых интеллигентов? Святоша старший сын ей ничем не помог.

Памятны посещения нас Иосифом Самуиловичем Сердюком, страховым агентом, украинцем по происхождению, женившимся на дочери местного кондитера и, как Захаров, застрявшим в Котельниче. Добродушный, осанистый, невероятно говорливый, он засиживался у нас (когда приходил без жены) часов до двух ночи. Впрочем, последний час он уже не сидел, а стоял одетый у двери, в шубе с серым каракулевым воротником и такой же шапке. Стоял и говорил, говорил, иногда перемежая свою речь словами прощания и сочными поцелуями: и при встрече и при расставании он любил целоваться, награждая поцелуями всю нашу семью, в том числе и меня. Мне нравились эти визиты тем, что можно было долго не спать.

В конце двадцатых или в начале тридцатых годов жена Сердюка умерла, и он, как Саутин, уехал в Крым, но еще неудачнее: в 1938 году весной я его встретил в Ялте, где он познакомил меня со своей новой женой и двумя падчерицами, — сразу видно, что счастья в этой семье он не нашел — похудел, обвис, был затуркан. Да

он и не скрывал, что ему худо живется. Через несколько дней я уезжал в Севастополь, Иосиф Самуилович пришел проводить меня и, прощаясь, расплакался. Если бы я еще день-другой провел в Ялте, он непременно бы рассказал мне про всю свою жизнь, — в новой семье никто не желал его слушать, а он так любил поговорить! Сердюк возместил себе это тем, что в минуту прощания трижды облобызал меня крест-накрест, взасос, как лобызал прежде; пароход отвалил от пристани, и мы долго махали друг другу платками.

Сердюк был моему отцу хорошим товарищем. Уже будучи взрослыми и семейными людьми, они вместе брали уроки французского языка; отец, как и все, что он делал, занимался усердно, а беспечный Сердюк ленился, за что папа ему выговаривал, тот с украинским юмором оправдывался и обещал в следующий раз выучить урок... В Ялте он успел рассказать, как однажды, идя с Колей по улице (он звал моего отца Колей, и они были на ты, что для отца было редкостью), он поскользнулся, упал и сломал себе ногу и как с трогательной заботой Коля нес его на руках до извозчика.

— А ведь я был тяжеленек! — опять прослезившись, сказал Сердюк.

Не знаю, что в этом рассказе было чистой правдой, а что преувеличением, почему-то я потом не уточнил у отца сообщенный факт. Тогда же Иосиф Самуилович с грустью поведал о своем разочаровании в сыне, который давно окончил Политехнический институт, женился, развелся, начал пить и совсем забыл об отце. Слушая Сердюка, я не мог не подумать — до чего же ехидна жизнь, нанося удары тем, кто ждет от нее только радостей, и как обидно ошибается автор этих легкокрылых оптимистических слов: «Человек создан для счастья, как птица для полета!»

Из одиночек бывал у отца гость, которого, собственно, нельзя назвать гостем: преподаватель немецкого языка, приятный молодой студент в золотом пенсне. Это был настоящий немец, приехавший из Германии, — зачем, почему, когда — неизвестно. Возможно, папа и знал его биографию, но я помню только, как он приходил к нам раз в неделю, как папа с ним занимался, как, готовя в обычные дни уроки, папа читал мне сказки братьев Grimm сперва по-немецки, затем переводил по-русски; хорошо помню и этот сборник с картинками, на одной из которых храбрый портняжка высунул ноги из

окна кареты, изобразив ими ножницы, чтобы напугать медведя, которому накануне он остриг когти; на другой — люди проедают себе дорогу сквозь манную кашу, разлившуюся из горшочка по улицам.

Немец был деликатный, воспитанный, очень внимательный ко всем нам; он хорошо знал русский язык, видно давно жил в России; иногда оставался выпить чаю и побеседовать. И вдруг немец совершенно переменяется: стал раздражителен, стал с папой крикливо спорить — началась война 1914 года. Вскоре он перестал приходить, что с ним произошло дальше — не знаю.

Кроме Сердюка у отца был еще один взрослый соученик, мечтавший получить экстерном аттестат зрелости и поступить в высшее учебное заведение: фельдшер Павлов. Высокий, смуглый, с иссиня-черными бритыми щеками и подбородком, Николай Иванович говорил быстро, чуть задыхаясь, порой не заканчивал фразы от страстного желания скорее высказать мысль. Горячий, порывистый, он тем не менее был идеальным хозяином, когда, еще холостым, принимал гостей: сам накрывал на стол, сам угощал, хлопотливо бегал из кухни в столовую и обратно. На столе у него во всякое время года стояли живые цветы, — не знаю, откуда он их зимой доставал, наверно в одной из немногих в Котельниче купеческих оранжерей. Николая Ивановича, несмотря на его скромное фельдшерское звание, ценили местные богачи, предпочитая его врачу-пессимисту Праздникову, тому, что напрямик объявил моему деду близкую смерть, и высокомерному доктору Куршакову, сыну кондитера.

Я не часто бывал с родителями у Павлова, но в любом случае он непременно мне присылал огромную ветку янтарного винограда или увесистое, полуфунтовое яблоко апорт.

В 1918 году Павлов уехал в Москву. Он поступил на медицинский факультет, на ускоренный льготный курс, учрежденный уже в советское время для лиц, имевших определенный фельдшерский стаж. Таких в Котельниче и в уезде оказалось несколько, и все они через три года вернулись в Котельнич дипломированными врачами. Характер моего отца исключал всякую зависть, но, мне думается, он не мог не испытывать горечи: с юности мечтал получить высшее образование, и всегда ему что-нибудь мешало — раннее вдовство матери, забота о ней и о сестрах, ранняя женитьба, война, голодное время,

когда он не мог оставить семью без кормильца. Обидно и то, что в 1918 году отец тоже получил право поступить в Лесной институт на льготных условиях, получил — и остался в Котельниче со мной и мамой. . .

Вернулся Павлов в Котельнич не только врачом, но и семейным человеком. Женой его стала москвичка, также бывшая фельдшерница, а теперь врач, значительно моложе Николая Ивановича, веселая, умная, с хорошо привешенным языком и всегда своим мнением по любому вопросу. В семье она была головой, это очень бросалось в глаза. Когда они бывали у нас, Федосья Сергеевна с первой же минуты завладевала ключом к беседе, умела разговорить моего отца, и они азартно все обсуждали, так что мама и Николай Иванович были как бы оттерты в сторону. Федосья Сергеевне явно нравился мой отец, но никаких видов на него у нее, конечно, не было, у него — тем более: мой отец во всех отношениях был человек долга, а кроме того — однолюб; просто им было интересно друг с другом.

Все бы, наверное, так и оставалось надолго, но произошли два несчастья: врач-фтизиатр, Николай Иванович Павлов сам заболел туберкулезом и вскоре умер, а Федосья Сергеевна начала терять зрение; эта неизлечимая болезнь называлась — отслаивание сетчатки. Сперва она была вынуждена уйти из лечащих врачей в санитарные, затем стала читать популярные лекции (лектором она была превосходным, я слышал ее еще в школе, где она преподавала нам гигиену) и, наконец, сравнительно молодой вышла на пенсию. Безмужней, с тремя детьми, ей было трудно жить; трудно и без друзей, а друзья — одни умерли, другие уехали, да и в тяжкие военные годы у всех было слишком много своих забот. Мне очень жаль, что Федосья Сергеевна перестала бывать у моих родителей, а они не навещали ее: мама моя ее недолюбливала, а папа не хотел огорчать маму.

А теперь о самой нам близкой семье.

В 1918 году, летом, я стал замечать двух мальчиков примерно моего возраста. Как видно, они жили в нашем квартале, потому что ходили мимо нас почти каждый день, именно ходили — не бегали, не носились как угорелые, как почти все мальчишки. Одинаково одетые, в матросках, в коротких штанах до колена, всегда обутые (подчеркиваю, ибо большинство нас в те годы ходили и бегали летом босиком). Какое-то время мальчики гуляли с отцом, судя по форме — военным врачом,

потом с матерью, сестрой милосердия, привлекательной, симпатичной молодой женщиной. Когда мы потом познакомились, эта симпатия моя к ней переросла, говоря без всякого преувеличения, в сыновнюю любовь, и так было уже до конца дней этой необычайной доброты женщины; полюбили ее и мои родители, полюбила и она нас.

Это была семья Карловых, приехавшая в Котельнич осенью 1917 года, за три дня до Октябрьской революции. Карловы были петербуржцы. Точнее, Николай Иванович, его сестра и мать были урожденными петербуржцами и когда-то жили за Московской заставой неподалеку от завода «Электросила» (тогда Сименса и Гальске), в одном доме с семьей Самуила Маршака (тогда еще Семы). На русско-японской войне молодой врач, окончивший Военно-медицинскую академию, после того как проучился два года на физико-математическом факультете в Петербургском университете, встретил сестру милосердия Надежду Алексеевну, родом из Иркутска, женился на ней и привез ее в Петербург, не очень обрадовав тем своих родных: они сочли этот брак мезальянсом.

Шло время, Карловы жили в окрестностях Петрограда — в Шувалове, а до этого в Выборге; с начала германской войны Николай Иванович колесил в санитарных поездах по западным областям России, по Польше, а в 1917 году, познакомившись где-то с котельническим купцом Зубаревым, отправил свою семью — жену, мать, сестру и двух сыновей — в далекий тыловой городок. Со старшим мальчиком, Колей, мы оказались в одном классе немного позже, когда начались бесконечные школьные эксперименты, когда класс стал называться не классом, а группой, когда наша учительница, Белла Львовна, обуреваемая левыми педагогическими идеями, предложила нам сидеть не на партах, а на подоконниках, на полу, кому где захочется (для пущего раскрепощения и личной свободы), когда другая учительница (литературы) приводила нам для примера, как якобы фольклор, детские считалки:

— Эни-бени, моко-фоко, торбо-орбо, мус-мас-моко, теус-теус, корна-теус, тикус-бакус, ты — дуракус!

Мы заучивали эту чепуху, запоминали, и запомнили, как теперь выяснилось, на всю жизнь. На полу и на подоконниках мы сидели недолго, вскоре мы с Колей уселись на одну парту и просидели рядом до окончания школы. За эти четыре года, равно как и в следующие,

студенческие, проведенные уже в Ленинграде, мы с Колей (а затем и с его младшим братом Борей) чрезвычайно подружились, хотя наши характеры были прямо противоположны. Коля всего на полгода старше меня, но его хладнокровие, выдержка, чувство меры, дисциплинированность всегда делали его заметно взрослее, так что я с полным основанием могу приобщить его к «взрослым моего детства»!

Теперь все наши старшие взрослые умерли — как мои родители, так и Карловы; умер от скоротечной чахотки и Боря, студент третьего курса медицинского института, робкий, застенчивый юноша; умерли переехавшие в Котельнич карловские родственники, жившие до Великой Отечественной войны в Белоруссии; утонули в реке Вятке приехавшие погостить родственники из Латвии. Трагичнее всех погиб сам Николай Иванович. Глубокий старик, уже глуховатый и перенесший инсульт, но еще сравнительно бодрый и словоохотливый, он пошел на вокзал, чтобы что-то купить, а вернее, чтобы просто прогуляться, — он любил все, что связано с железной дорогой. Возвращаясь домой, он сбился, пошел не по запасному пути, где зимой поезда не ходят, а по главному, и за поворотом на него налетел сзади тяжелый товарный состав. Хоронил Николая Ивановича весь город — столько лет он отдал больнице и врачебному делу. У меня есть фотография, на которой можно с трудом разглядеть многолюдную похоронную процессию: когда его везли на кладбище, валил снег, крутила метель, но горожане провожали его до самой могилы. Могли он думать полвека назад, скитаясь по фронтовым дорогам, что в мирной жизни его подстерегает такой конец? И что это такое — судьба? Дикий случай?

Да, Николая Ивановича все почитали в Котельниче, разумеется и я тоже, но любил я его сыновей и Надежду Алексеевну несравнимо больше. В чем дело? Мне чудилось, что еще с моих детских лет Николай Иванович относился ко мне слегка неприязненно, — дети это всегда замечают.

Когда в следующие годы я приезжал домой на каникулы и приходил к Карловым, Надежда Алексеевна встречала меня как родного, Николай же Иванович не проявлял ко мне ни малейшего интереса. Может, действительно я ему чем-то не нравился, — скажем, излишней живостью, резвостью, неожиданными и, на его взгляд, вздорными увлечениями... Словом, тем, чего не



желал бы он своим сыновьям. Впрочем, это сегодняшние догадки (или тогдашняя моя мнительность) и все обстояло как-нибудь проще, но у кого теперь спросишь?

За столом Николай Иванович был превосходным рассказчиком — поспел на своем веку вдоволь, — и я, как все, с удовольствием его слушал. Серебряный бобр его волос, белоснежный китель и добродушный смех украшали любое застолье, а благодушные, оптимизм невольны всех заражали.

К сожалению, эти превосходные качества тоже не могут порой предотвратить несчастье... Когда старший сын в 1933 году окончил институт и уехал врачом на Дальний Восток, младший, учившийся в том же вузе, остался в Ленинграде один. Если волевой и спокойно-настойчивый Коля умел заставить скупых стариков хозяев регулярно топить в комнате печь, то робкий, уступчивый Боря мирился с холодом, сыростью и, заболев плевритом, покорно молчал и терпел. Когда Боря приехал на зимние каникулы, он кашлял, ночью потел, словом, явно был нездоров; несмотря на это отец, многоопытный врач, позволил ему вернуться в институт, в Ленинград. Весной болезнь Бори зашла так далеко, что ленинградские родственники известили о ней родителей, Николай Иванович приехал и увез сына домой умирать, — лечить уже было поздно.

Я часто думал об этой грустной истории, пытаюсь понять, как она могла произойти. Разве что на Николая Ивановича все еще действовало военное прошлое... Помню его в шинели, в фуражке (даже морозной зимой), а в более поздние годы — в штатском пальто, которое сидело на нем всегда по-военному, хотя Николай Иванович был невелик ростом и полноват. Помню его на лыжных и конькобежных соревнованиях на реке: в легких сапожках стоял он на льду, на снегу, на ветру, с живым интересом наблюдая за ходом многочасовых состязаний, измеряя спортсменам пульс, когда они один за другим финишировали...

Наверное, в те решающие судьбу Бори рождественские каникулы Николай Иванович счел болезнь несерьезной: кашель — это пустяк, мальчик справится, пусть закаляется; а про свой ночной пот Боря дома ничего не сказал, об этом узнали позже...

Не знаю, кто прислал в наш дом санитарку, когда Боря умер. В ту осень я гостил у родителей, был поздний вечер, мы наспех оделись и побежали. Мы прове-

ли у Карловых почти всю ночь. Мой отец сам вымыл Борину исхудавшее тело, помог одеть его. Никому не хотелось видеть в эти часы чужих людей, слышать ненужные утешения, соболезнования — все это неизбежно придет завтра.

А на завтра, в погожий осенний день, мы с Колей пошли на кладбище — выбирать место для Бориной могилы; впрочем, оно само собой выдалось, рядом с покойной бабушкой, — тогда еще только одна она была из карловской семьи. Шли по высокому берегу Вятки, вспоминали, как мы втроем проводили на реке и за рекой целые дни, загорали, купались, а то, угнав лодку как можно дальше от города и раскачав ее так, чтобы зачерпнула бортами воду, опускались с ней вместе на неглубокое песчаное дно; затем вытаскивали лодку на отмель и, вылив из нее воду, пускались в обратный путь, чаще греб я (или Коля), а Боря сидел на средней скамейке, лицом ко мне, и я шутя ему говорил, когда Борины коленки мешали грести:

— Боря, протяни ноги!

Разве мы могли подумать, что через несколько лет эта дурацкая шутка приобретет прямой страшный смысл? Борю шокировало тогда совсем другое: остановив лодку под крутым глинистым берегом, я грозился, что вырежу на откосе ножом ернические стихи, которые в свое время Есенин написал углем на стене Страстного монастыря..

Я нарочно дразнил Борину скромность — он с трудом, я бы сказал, со страдальческой улыбкой принимал даже малую долю цинизма. И вот через десять лет, когда мы, уже без Бори, шли над рекой по краю глинистого обрыва, я со стыдом вспомнил свое озорство, задевшее этого милого, доброго, чистого, ласкового и безответного парня; из-за своей безответности и несмелости он скорее всего и погиб... Несмелости? Нет, неверно: сделал же он полостную операцию — кесарево сечение — роженице, находясь на студенческой практике в деревенской глуши.

Да, недолго Боря погостил среди нас...

## ВОРОНЦОВА

Что же такое детская любовь? Точнее, влюбленность, потому что я говорю о любви не к родителям, не к товарищам по играм, а к существу противоположного

пола. Бывает ли в жизни столь раннее чувство? Не выдумка ли оно, не преувеличение ли? «Десяти лет от роду я полюбил женщину по имени Галина Аполлоновна» — так начинается рассказ Бабеля «Первая любовь». Десятилетний его герой любит, ревнует, испытывает многообразные и сильные чувства к взрослой, замужней женщине, и это не парадокс и не извращение — это нервная впечатлительность рано развившейся художественной природы.

Но я хочу рассказать о сравнительно простом случае: о любви мальчика к девочке, к сверстнице, к той, чье имя, вернее фамилия (в первый год совместного обучения мы звали друг друга по фамилии), вынесена в заголовок моего рассказа. И было мне все-таки не десять, а одиннадцать лет — как раз тот возраст, когда босоногий Том Сойер влюбился в Бекки и, допрыгав на одной ноге от забора до Беккиного крыльца, галантно поднес ей цветок, зажатый в пальцах другой ноги. В ту зиму я еще не читал бессмертной повести Марка Твена, так что мой роман — не подражание.

1918 год. Конец мая. Я держу вступительные экзамены в гимназию. Выдержал. Четыре пятерки! Значит, можно покупать гимназическую фуражку. Правда, в семье ожидали, что я получу круглое пять (5×5), но один из экзаменов неожиданно отменили: по церковно-славянскому языку. Что случилось? Оказывается, начал действовать новый закон: церковь отделена от государства. Значит, зря привыкал вместо «человек» или «царь» писать «ч л к», «ц р ь», ставя поверх строки титло; зря учился произносить слегка в нос на французский манер: «мондр» вместо «мудр», «зомб» вместо «зуб».

Осенью нашу семью ожидало куда большее разочарование. Устроили жеребьевку, и я попал не в гимназию, а в высшее начальное училище, — хорошо, что не успели купить форменную фуражку! Впрочем, фуражек в продаже уже не было, равно как и многих других предметов. Училище же это было особенное: во время войны его эвакуировали из Прибалтийского края, послали подальше от немцев, — так оно у нас и осталось, сохранив название — Гапсальское, то есть из города Гапсаля.

Сейчас трудно вспомнить и объяснить, почему мы, младшеклассники, учились в вечернюю смену, а старшеклассники — в дневную, но нам это нравилось, в этом

было что-то романтическое. И кто знает — если бы мы учились днем, может, не состоялось бы то, о чем рассказано дальше.

Все началось в один из длинных осенних вечеров, когда, возвращаясь домой и дойдя до угла нашей улицы я перебежал на другую сторону, так что три девочки, с которыми я шел и из которых меня интересовала только одна, очутились сразу на расстоянии десяти сажен. Дистанция эта меня почему-то воодушевила, и я вдруг закричал:

— До свиданья, милая Воронцова!

Ответа с той стороны я не услышал, да и не ждал, наоборот, припустил со всех ног домой. Через пять минут я уже снимал пальто и спрашивал хлопотавшую в кухне тетю Саню:

— А где папа-мама?

Спрашивал я не зря. Дело в том, что, когда я уже прокричал свою прощальную фразу, мне почудились удаляющиеся в темноту две знакомые спины. (Фонари в ту осень погасли почти на всех улицах — начала сказываться разруха.) Слово не воробей — оставалось надеяться, что я ошибся и родители сидят дома. Но я не ошибся. Через полчаса папа и мама вернулись с прогулки, мы стали пить чай, и мама, передавая мне чашку, спросила:

— Кому это ты кричал «до свиданья?»

Не помню, что я пробормотал в ответ, помню только, что по всем правилам литературных штампов я попытался скрыть смущение за самоваром. Даже не видел, улыбались родители или оставались серьезными.

Но этого мало, на следующий день я предпринял еще более смелый шаг. В конце перемены, стоя у дверей класса, я пропустил мимо себя почти всех учеников и учениц, пока не показалась та, которой я хотел сказать и сказал — ясно, отдельно, бесповоротно:

— Я — тебя — люблю!

Не знаю, слышал ли мои слова кто-нибудь кроме Воронцовой, — подруги ее, возможно, и слышали, — мне важно было, что та, для которой мои слова предназначались, слышала: она покраснела, втянула голову в плечи и тихо скользнула в класс. Несколько ошеломленный своей агрессивностью, я через две-три секунды последовал за ней, и мы уселись каждый на свое место. Парта, где сидел я, стояла первой в правом ряду, ее парта — в среднем ряду второй. Чтобы взглянуть на

свою избранницу, мне надо было чуть-чуть повернуться; за весь урок (а он был последним) я не взглянул ни разу. Не провожал я ее и домой: на этот вечер с меня хватило активных действий.

Какая же она была, Воронцова? Почему я выбрал ее среди двух десятков девочек в нашем классе и примерно такого же количества в параллельном? А что такое любовь? — опять спрошу я. Откуда она берется и почему выбирает себе предмет из десятков, сотен, подчас из тысяч? Наверно, в этих двух классах учились и более привлекательные девочки, даже наверняка, и об одной из них, роскошной блондинке из параллельного, я еще расскажу, — случай и память тесно связали ее для меня с Воронцовой.

Могут также спросить: разве до школы я близко не видел девочек, не играл с ними? Конечно, это не так. У наших друзей и соседей были девочки моего возраста, чуть старше, чуть младше; скажем, Лиля, дочь земского врача, необычайно популярного в нашем городе: он спасал порой безнадежных больных, спас и меня, дважды вылечив от крупозного воспаления легких. Лиля Шейнкман мне тоже нравилась, я видел, что она очень красива, мы с ней встречались, играли, бегали на гигантских шагах, устроенных в больничном дворе, между домом, где она жила, и аптекой. Но любви не было тут ни унци. И дело вовсе не в Лилиной избалованности, не в ее капризах, не в том, что, приходя к нам, она совершенно не интересовалась моими игрушками, состоявшими в основном из «конструкторов» (тогда их называли как-то попроще), из которых я строил мосты и другие инженерные сооружения. Не мешало и то, что, в отличие от меня, хозяйина уютного уголка за печкой-голландкой, где я любил играть и читать, у Лили имелась отдельная детская комната с подвешенной к потолку трапезней, со множеством дорогих игрушек, снизу доверху заполнявших полки вдоль стен; что их дом, их быт вообще был богаче и «стильнее» нашего. Житейскую разницу между семьями я ощущал, но она ничуть не мешала мне обожать Лилиного отца — весьма редкое чувство: докторов дети обычно побаиваются. Лев Григорьевич, окончивший курс в Берлине, пленял всех, и прежде всего меня, веселостью, добротой, врожденным — или воспитанным — демократизмом. Лиля же для меня оставалась чем-то вроде ее большой говорящей куклы... Увы, скоро кукольное благополучие кончилось: их семья пе-

рехала почему-то на Урал, в Златоуст, где Лев Григорьевич заболел и умер. Как сложилась дальше Лилина жизнь, не знаю.

А вот девочка из другой среды, дочка пекаря, примерно возраста Лили, но куда менее изысканная. Соня была отличным товарищем для шумных игр во дворе, о чем я уже рассказывал, и мало отличалась замашками от мальчишек. Могу представить себе ее изумление, объяснись ей кто-нибудь в любви, назови ее милой! Да мне это никогда и в голову бы не пришло, как мы ни дружили. . . (Кстати, не исключено, что я глупейшим образом ошибаюсь и Соня приняла бы объяснение в любви как миленькая!)

Так или иначе, но не Лиля, не Соня и не другие знакомые девочки, а именно Воронцова оказалась моей первой любовью, и вряд ли это можно объяснить. Эффектной внешностью она действительно не блистала: небольшой рост, тихий голосок, робкая улыбка, чистый прямой пробор, пушистые золотые косы — вот и все. Но это меня и трогало: кроткий нрав и застенчивая улыбка заставляли меня чувствовать себя сильнее, мужественнее, чем я, наверное, был. Нет, я не пыжился перед ней, не фанфаронил, мне хотелось быть как можно естественней, потому что естественной была она сама. Мне казалось, что имя Лиза ей тоже очень подходит, хотя сначала я Лизой ее не называл, вернее никак не называл, если не считать первого прощания на улице: «До свиданья, милая Воронцова!»

Кстати, Лизу можно было считать красавицей, если сравнить с ее родным братом, который со своим облупленным красным носиком, бесшабашной улыбкой и вечной трепотней выглядел и вел себя, как цирковой клоун, как ярмарочный Петрушка; летом, когда мы купались и загорали, он всех на песке и на плотках потешал. Слушая и смотря на него, я невольно думал: чувствует ли он, ценит ли то счастливое обстоятельство, что он брат Воронцовой?

Между тем отношения мои с его сестрой усложнились, и происходило это на виду у класса. По нынешним школьным нравам странно, что нас не дразнили. Воронцова была, так сказать, стороной пассивной, она лишь принимала мою любовь, принимала, правда, не равнодушно — ее не могло не тронуть столь бурно и непрерывно выказываемое чувство, — но любопытно, что все это не удивляло и не смешило моих товарищей. Когда

произошли первые в истории котельнических школ выборы классных старост — их называли тогда председателями, — меня избрали на этот высокий пост и Воронцова вместе со всеми весело за меня голосовала. Совершенно не помню, в чем заключались мои председательские права и обязанности, зато отлично помню, как на следующих выборах, уже через месяц (процедура эта в те времена была в новинку и потому в охотку), меня так же единодушно выбрали классным уборщиком, и Воронцова не без лукавства поднимала за мое новое избранье свою милую руку. . .

Но этот удар по самолюбию и тщеславию я пережил легко, вот другой удар пришелся прямоком в сердце.

В нашем классе учился серб-беженец, поселившийся в Котельнице во время германской войны. Он был постарше нас, своих одноклассников, но охотно с нами играл и хорошо говорил по-русски. У меня с ним сложились особенно добрые отношения; когда мы на переменах воевали с соседним классом, этот высокий, плечистый парень сажал меня к себе на плечи, и мы таким двухэтажным танком легко пробивались через ряды противников. Оказалось, что он живет в одном доме с Воронцовой и по-братски, чуть не по-отечески к ней относится, — к ней, ко мне и к нашей, вернее к моей, любви. Однажды он отозвал меня на площадку лестницы (школа помещалась во втором этаже) и взволнованно сообщил, что Воронцова с ним поделилась своими сомнениями.

— Что мне делать? — сказала она. — Я люблю Борю Изергина, но мне нравится и Рахманов. . .

Да, это был жестокий удар! Случаются же такие невероятные совпадения: любит не кого иного, как Изергина! Изергин сидит на одной со мной парте, это славный и слабый мальчик, которому я симпатизирую, которого опекаю, стараясь уберечь от влияния третьего нашего однопартника, Киселева, насмешливого, циничного, развитого мальчишки, умеющего хорошо рисовать. Но как я раньше не замечал чувства Воронцовой к Изергину, не замечал, что она нежно смотрит на него, что называет его Борей, а меня Рахмановым? Да, я был слеп, слеп — теперь прозрел. Но если я хочу быть человеком, я должен проявить благородство — отступить в сторону, а то и покровительствовать их любви. . .

И тут начались мои мучения. Любовь не слабела, напротив, усиливалась, я ничего не мог с собой поде-

лать. Вся жизнь, все уроки, все перемены, все, чем я занят в школе и дома, было посвящено Воронцовой.

Урок пения. Раз в неделю приходит к нам в класс отец Яковенко. Почему отец? Потому что он дьякон из Никольской церкви. Это тихий, добрый человек, по происхождению украинец, под звуки его скрипки мы с увлечением поем малороссийские песни.

— Виют витры, виют буйны... — старательно вывожу я, не спуская глаз с Воронцовой, для чего приходится выкручивать себе шею, — Воронцова сидит чуть позади меня. Я вижу, что она тоже поет, вижу, потому что голоса ее не слышно, как, впрочем, не слышно и моего: солирует, царит над хором сильный, красивый голос деревенского парнишки (забыл фамилию), конопатого, рыжего и, несомненно, отмеченного певческим даром.

Урок рисования. Наш учитель — Василий Александрович Евсеев, высокий, худой, кудрявый, любитель выпить, с которым все время что-нибудь приключается. В городе, помню, со смехом рассказывали, как он умудрился попасться навстречу председателю уездного исполкома в самом что ни на есть неприглядном виде — на четвереньках. Предуика хорошо знал оформителя первомайских праздников, творца плакатов и шаржей на империалистов и не утерпел, чтобы не спросить:

— Куда направился, Василий Александрович?

Евсеев приподнял голову, снизу вверх, исподлобья, посмотрел на предуика и спокойно ответил:

— С-спешу на отдых.

Как и отец Яковенко, Василий Александрович всегда с нами добр, и мы этим не злоупотребляем, не устраиваем бедлам, как это нередко бывает, когда педагог чересчур снисходителен, — мы усердно рисуем. И вдруг я не верю своим глазам: тихая Воронцова, заговорщически мне улыбнувшись, делает вид, что хочет уколоть сзади булавкой нагнувшегося над партой учителя... Я поражен, пожалуй, даже шокирован, но меня утешают теперь и такие знаки внимания и доверия!

Я сказал — все уроки посвящены Воронцовой. А так ли?

В наших программах отсутствовала история, ее заменяла конституция, которую преподавал адвокат Николаев. Адвокат этот во время войны приехал из Петрограда и застрял в Котельниче на долгие годы, женившись на местной красавице. Красноречивый, образованный, умный, он говорил с нами как со взрослыми. Лишь через



десять лет я оценил это в полной мере, слушая профессора Евгения Викторовича Тарле, который говорил со студентами о франко-прусской войне или о Версальском мире как со своими коллегами или с профессиональными дипломатами — он высказывал нам свои мысли, словно не сомневаясь, что факты мы и без него превосходно знаем.

Что касается Николаева, то уже много позже, приезжая в Котельнич взрослым, я с наслаждением слушал его в зале суда, когда он защищал хотя бы ничтожного воришку или растратчика, уж не говоря о каком-либо настоящем деле. Потом он вернулся в Ленинград и погиб там во время блокады. На память о нем у меня сохранилась тоненькая, в 16 страниц, брошюра, изданная в 1918 году: «Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной Республики». На обложке карандашом написано: «Принадлежит Ларионову». Почему этот экземпляр очутился у меня и где мой (а он у меня был), не знаю, зато хорошо помню, как Ларионов толковал конституцию.

Борис Ларионов был сыном почтенного купца, владельца двух деревянных двухэтажных домов, которые революция муниципализировала. Семья продолжала жить в одном из этих домов, сестра Бориса, Тамара, прилежно училась в нашем классе. Учился и сам Борис, если можно считать ученьем два его основных занятия: он запускал из-под парты самодельные ракеты, начиненные настоящим порохом, и искусно плевал в далеко отстоявшую от его места классную доску. Когда учитель географии и космографии Федор Андреевич Зимин, один из самых смиренных людей, каких я только встречал в своей жизни, сделал ему замечание, Ларионов ответил: — А что, теперь свобода!

Федор Андреевич не мог ничего ему возразить и не выгнал из класса. Интересно, что сделал бы на его месте Николаев. Наверно, тоже не стал бы разъяснять, что такое свобода, — но вся штука в том, что на его уроках Ларионов не хулиганил. Поразительно разные это были люди — Зимин и Николаев. Зимин об Африке и об Южной Америке рассказывал так, словно те мало чем отличаются от Вятской губернии, нарочно подчеркивал их обычность, будничность, даже скуку. Пампасы? Это такое ровное-ровное место, где растут засухоустойчивые кустарники. Гольфштрем (так называли тогда Гольфстрим) — это такое тепловатое течение в океане,

от которого... — хотелось договорить за Федора Андреевича, — никому ни тепло, ни холодно... Точно так же рассказывал он о планетах, о звездах.

— Вы думаете, — уныло говорил он, — что, если вы посмотрите на звезду в телескоп, вы увидите ее большо-ой! Нет, она останется такой же ма-аленькой-маленькой... — При этих словах он утончал голос до дисканта и складывал пальцы в щепотку, чтобы показать незначительность этой едва видимой в телескоп звезды.

А Марк Емельянович Николаев даже о такой сухой материи, как установление и изменение Всероссийским Съездом Советов системы мер и весов, говорил так, что мы при желании могли ощутить связь времен. Это от него я узнал, что метрическая система была введена впервые Великой французской революцией, причем в первый же год существования республики, в 1793-м, — вот и у нас тоже в первый, в 1918-м.

Могут сказать, что я преувеличиваю, досочиняю, приписываю детям слишком взрослые интересы, усложняю их восприятие. Для самопроверки спрошу себя: почему в таком случае на уроках именно Николаева, а не на чьих-либо других я начисто забывал о том, что справа, чуть сзади сидит моя любимая Воронцова, и за целый час ни разу на нее не взглянул?

Ближе к весне в большом зале бывшей женской гимназии состоялся общегородской школьный вечер, на который пригласили родителей. Мы все долго и терпеливо готовились к вечеру; все, начиная с Евсеева, обещавшего сыграть на гитаре и спеть. Мне предстояло читать со сцены заранее выбранные учительницей стихи, а так как моему чтению не доставало выразительности, меня отправили на выучку к даме, когда-то участвовавшей в любительских спектаклях. Она обучала меня искусству декламации, состоявшему в том, что с пафосом, с дрожью в голосе произносилось каждое слово, но последнее слово в строке, на которое падала рифма, проговаривалось как можно более слитно со следующей строкой, чтобы рифму никто не заметил: актеры почему-то всегда стесняются стихотворной формы.

Уроки не пошли впрок: на вечере я прочел стихотворение, как хотел, а не как учила меня артистка, и в конце вечера она мне сказала:

— Все не так, все неправильно. Но все равно молодец.

Но я не считал себя победителем, — тут была уже не

моя и не ее вина, — я читал что-то трескучее, хотя и революционное, а вот мальчик Гоголин из другой школы читал стихотворение:

Отец твой был солдатом-коммунаром  
В великом восемнадцатом году... —

и я впервые почувствовал разницу между талантливым и бездарным, настоящим и дешевой подделкой, не имеющей права существовать. Разница меня больно кольнула: почему не я прочитал со сцены это хорошее стихотворение? (Эта мысль ранила не тщеславие, а что-то другое, поглубже.) Через десять — двенадцать лет я встретился в Ленинграде с его автором, Василием Князевым, и вид этого немолодого поэта, своим красным носиком напомнившего мне постаревшего Воронцова, меня разочаровал.

Но это было далеко впереди, а тогда подходила к концу зима 1918—1919 года. Как все эти первые революционные годы, она была исторической, но мы этого не знали — у нас были свои заботы, свои события...

Стычка с Киселевым. Я столкнул его с парты за то, что он посмел нарисовать карикатуру, на которой мы с Воронцовой тянемся губами друг к другу через проход между партами. Надо отдать должное художнику: несмотря на гигантские губы, нас можно было узнать — может, это меня и разозлило. Удивился я лишь тому, что Киселев на меня не рассвирепел, скорее зауважал за вспышку, и не пустил рисунок по классу, как это обычно делают, а взял и разорвал. Во вторую половину зимы Киселев вдруг исчез: оказалось, он сын полицейского надзирателя, которого еще в прошлом году расстреляли, и нынче мать с сыном решили уехать из нашего города. Уже потом, спустя годы, я пытался понять, угадать, что мальчик мог чувствовать по отношению к нам, ко всем остальным, — злость, ненависть или ничего особенного? А может, я уже и тогда об этом подумывал, — приходило же мне на ум, что для Воронцовой Изергин ближе меня потому, что их купеческие семьи могли дружить, ходить одна к другой в гости — словом, встречаться домами, пусть даже они этого фактически и не делали.

Стычка с Исуповым. Я прижал этого толстяка столом в угол класса так, что он завизжал, а его сестра чуть не выцарапала мне глаза. Собственно, брат пострадал как раз за сестру, которая распустила язычок насчет Воронцовой, Изергина и меня.

Еще событие. На лестнице перегнулась ко мне через перила и поцеловала (я спускался по одному маршу, она поднималась по другому) девочка с белокурыми локонами из параллельного класса. Ею все очарованы, за нею ухаживали, с ней танцевали на праздничном вечере старшекласники. Но я остался равнодушным, даже, как ее зовут, не узнал. Вот если бы это была Воронцова!

Новое разочарование: Воронцовой нравится, во всяком случае не противен, этот жуир и нахал Губотенко из второго класса. Надо признать, он прекрасный гимнаст, никто лучше его не делает всплеску на турнике. И красив, собака, и уже танцует на школьных вечерах!

Рождественские каникулы. Я набрал из библиотеки интересных книжек: «Два адмирала» и «Блуждающий огонь» Фенимора Купера, «Упрямец Керабан» и «Паровой дом» Жюль Верна. Читаю, хожу на каток, но мне невесело. Вот если бы встретить на катке Воронцову... Но серб мне сказал, что она простудилась и сидит дома. Скорей бы каникулы кончились и я опять увидел ее! Только видеть ее!

Папа сделал мне прекрасную ледяную гору. Я каждый день разметаю лед и катаюсь в холодном одиночестве. О, если бы она каталась вместе со мной! Если бы она шла по улице, а я увидел ее и позвал! Но это пустые мечты. Она живет далеко и никогда не бывает в наших местах... Вообще, чудес не бывает.

Верхушка горы на одной высоте с забором. И однажды я в самом деле увидел чудо: по противоположной стороне улицы шла она... вместе с той белокурой девочкой в локонах!

После того как я узнал, что Воронцова любит Изергина, и решил устранился, я ни за что не позвал бы ее сейчас покататься. Если бы не тетя Саня. Тетя Саня стояла рядом со мной и окликнула:

— Капа!

Девочки обернулись, увидели нас и сразу же перебежали дорогу. Оказывается, тетя Саня где-то в гостях познакомилась с белокурой девочкой (я и не знал, что ее зовут Капой, Капитолиной) и та объявила ей, что знает меня и что я ей нравлюсь... Так просто объяснилось чудо.

Девочки катались вдвоем, о чем-то говоря и смеясь, а я молча, как заведенный, катался один или с тетей Саней. Вверх — вниз, вверх — вниз. Я боялся спугнуть этот сон и больше всего боялся, что они вдруг уйдут.

Так мы катались до темноты. Так я и не вымолвил ни одного слова.

— Тебе весело было? — спросила потом тетя Саня, ожидая моей благодарности.

— Да, — сказал я.

Весь вечер я размышлял: рассказала ли Капа Лизе о своем поцелуе? Мне хотелось, чтобы рассказала.

Но ничего не переменилось. Отношения наши зашли в тупик. Правда, я как-то в школе перед последним уроком спрятал шубку Воронцовой. Спрятал за самую дальнюю парту, на которой никто не сидел. Воронцова, чувствуя свою власть надо мной (несмотря на всю свою скромность), заставила меня найти, достать и подать ей шубку, как подают взрослым. Шубка была синяя, с маленьким лисьим воротником, и я до сих пор ощущаю в руках ее невесомость...

Вот и кончилась зима 1918—1919 года. Весной, уже в солнечные, пригретые солнцем дни, когда улицы из снежно-белых, с укатанными леденистыми колеями, стали желтыми от вытаявшего, зимнего, и свежего, только что обретенного конского навоза, мы всей семьей выходили на сбор этого драгоценного удобрения для тети Аннинных огурцов. Больше всего навоза было на Нижней площади — осталось после Алексеевской ярмарки — и на Соборной площади, служившей постоянным, в продолжение всего года, городским рынком.

Нижняя площадь находилась близко от нашего дома, я чувствовал себя на ней по-хозяйски вольно, тем более что она прилегала к железной дороге, которую я любил почти так же, как реку. Соборная площадь была чужой, но зато на нее выходил окнами дом, в котором жила Воронцова, и, сгребая в кучи золотистый навоз, я испытывал сложные чувства: в те трудные годы вокруг все работали, а меня с самого раннего детства приучали не быть барçonком, — и все-таки ложный стыд немножко тревожил, я боялся, что Воронцова в окно увидит, как я вожусь с навозом...

Весной в кинотеатре «Художественный», помещавшемся рядом с ее домом, загорелась кинобудка. Это случилось днем, не во время сеанса, и пострадавших не было, но честь честью приехали пожарные, сбегались охотники качать воду и просто зеваки. Прибежал и я — спасти Воронцову, — но так ее и не видел: из их дома не успели начать вытаскивать вещи, как пожар потушили.

Наступил июнь, занятия в школах кончились, началась разлука. На первых порах я ее остро чувствовал, меня все тянуло к дому Воронцовой. Даже лечение зубов отчасти скрашивало, что врач живет в том же доме и где-то за стенкой — она. Путь к реке также пролегал мимо воронцовского дома, белая краска с обшивки которого сошла от времени и непогоды, и стали отчетливо видны пятна сучков и следы шпаклевки. Но сколько я ни вглядывался в окна во втором этаже рядом с зубо-врачебным кабинетом, никогда Воронцовой не видел.

Лето. Много читаю. Библиотекари, студент и курсистка, красивые, молодые, явно друг другу нравятся, — я желаю им счастья... и желаю его себе с Воронцовой. Библиотекарь Борис Авенирович затеял рукописный детский журнал. По его совету избрали меня редактором. Я было горячо взялся, убеждал знакомых и малознакомых читателей писать рассказы, стихи; потом остыл: Воронцова, с которой надеялся я встречаться в библиотеке и в конце лета вручить ей красивый, интересный журнал, ни разу не пришла... Так и не вышло ни одного номера журнала. Даже названия ему не придумал.

Лето взяло свое, и я понемногу забыл Воронцову.

Осенью все переменялось. Гимназии — и мужскую и женскую — ликвидировали, высшие начальные — тоже: вместо них появилась Единая трудовая школа 1-й и 2-й ступени. Наш класс Гапсальского училища засчитали за два класса гимназии, поскольку у нас учили лучше, и учеников разбросали по разным школам, — со мной не оказалось почти ни одного прежнего ученика.

С половины зимы появилась Воронцова. Но на что она была похожа! Она была больна, очень больна. Серое лицо, худоба, жидкие волосы, — куда подевались ее золотые косы! Она куталась в старый пуховый платок, вечно дрожала, даже за партой иногда сидела в той самой шубке, которую я когда-то прятал, а потом подавал: сейчас сукно залоснилось, воротничок облез — должно быть, Воронцова и дома сидела в ней или лежала. Но главное — переменялся ее взгляд. Это был теперь взгляд взрослой, нет — постаревшей женщины, понимающей, что она потеряла все: здоровье, миловидность, внимание окружающих. Правда, из всех ее одноклассников остался лишь я да еще две-три девочки, не близкие ее подруги, Изергина вообще уже не было в Котельниче.

А я — я разлюбил Воронцову. Мне было ее жаль, но

присутствие ее меня тяготило. Я избегал ее ищущего взгляда, болезненной, жалкой улыбки, старался держаться поодаль и был доволен уж тем, что никто не знает или не помнит о моей прежней любви к этому несчастному существу. Прежде меня трогало до слез, что мать у нее умерла, что она сирота, а теперь и она на моих глазах чахла от той же болезни (кто-то сказал мне, что чахотка наследственна), и я сейчас презирал себя за то, что не в силах заставить себя быть ласковым и внимательным — подойти, сказать несколько слов... Повторяю, особенно я стеснялся других: а вдруг догадаются! (Почему, почему мы бываем такими жестокими?)

Скоро она перестала ходить в школу.

Ближе к весне она умерла. В классе знали об этом, но она ведь была чужой, училась здесь всего один месяц. И никто не пошел на похороны. Мимо школы носили на кладбище, и утром кто-то закричал:

— Воронцову несут!

Все повскакали с мест и бросились к окнам.

В нашем городе принято нести покойников до могилы в открытом гробу, и я мог еще раз увидеть свою Воронцову.

Но я не подошел к окну. Я не хотел видеть ее мертвой.

Я так ясно представлял себе Воронцову, какой она была год назад. Мне казалось, что у меня никогда уж не будет любви сильнее.

## СКРИПКА

Как появилась, откуда взялась в моей жизни скрипка? Сразу скажу: это была папина мечта, папина идея, и осуществилась она по его почину. Он любил скрипку больше, чем все другие музыкальные инструменты, в скрипке таилось для него нечто волшебное, скрипка пела, тогда как рояль, пианино казались ему аккомпанирующими инструментами. Может быть, потому, что больших солистов, настоящих поэтов фортепьяно папа не слышал ни в Котельнице, ни в Уржуме в свои молодые годы.

Но вот где, когда полюбил папа скрипку, он этого не рассказывал. Наверно, рассказал бы, если бы я спросил. Вечная история! Как мы потом жалеем, что вовремя не спросили, — так интересно сейчас было бы знать о стар-

ших все, или хотя бы то, что они сами хотели нам рассказать, а мы не заинтересовались... Ругаешь себя — но поздно.

Итак, скрипка. Где и как я с ней познакомился? Увы, это было жалкое и смешное знакомство. Еще до поступления в школу, году в 1915-м, я играл с соседскими детьми в цирк. Все участники, как и нынче, являлись по очереди и зрителями и артистами, то есть все умели что-то нехитрое делать: кто стоять на голове, кто жонглировать палками, кто изображать французскую борьбу. Не хватало только музыки, а без музыки какое же представление! Один из нас, уже гимназист, немного умел играть на скрипке. Знал он всего две музыкальные пьесы, которым его обучил учитель пения, он же дьякон, — это «Боже, царя храни» и «Коль славен наш господь в Сионе». Вот под эти браваурные мотивы мы и выделывали свои головомомные трюки. Визгливые, сиплые, писклявые, мяукающие, свистящие звуки, которые извлекал Коля из своей скрипки, удивительно подходили к его фамилии — Верещагин; они на год, на два внушили мне отвращение к романтическому даже по своим очертаниям инструменту, о котором я столько читал и слышал. Почему на год, на два? Примерно через такой промежуток времени я услышал если не Ауэра, не Мирона Полякина, то все же мастеров своего дела: в дореволюционном кино-театре в Котельнице играл струнный оркестр, состоявший из пленных австрийцев. Почему-то так получилось, что большинство попавших в Котельнич соотечественников Моцарта оказалось музыкантами. Днем они трудились на спичечной фабрике, на частном кожевенном заводе, а вечером отдыхали душой в оркестре. Тут я впервые оценил силу мерно вздымающихся из-за барьера оркестровой ямы смычков, когда скрипки в унисон пели что-нибудь печальное или победное, смотря по настроению показываемой на экране сцены.

Заодно скажу, что мне, мальчику, разрешалось ходить только на серьезные картины, поставленные по русским классическим произведениям. Например, я видел «Войну и мир». Да, была такая картина, немая, но тоже в нескольких сериях, как и нынешняя, и тоже с массовыми батальными эпизодами. Видел «Пиковую даму». Было очень страшно, когда Германн подошел к гробу поцеловать руку мертвой графине, а она... Даже сейчас жутко, хотя забыл, что она сделала — подмигнула, что ли? Видел веселую «Ночь перед рождеством» с летаю-



щим чертом и прочими чудесами. Честное слово, это было неплохо сработано! Конечно, я тогда не предполагал, что когда-нибудь окажусь причастен к кино, не то присмотрелся бы внимательнее. Кстати, ходил я почти всегда с мамой, папа кино не любил: почти все картины казались ему нехудожественными — глупыми, пошлыми, вульгарно-надрывными или противно-слащавыми. Судя по заглавиям, это так и было. Беру старую газету и читаю: «Женщина, взглянувшая в лицо смерти», «За право первой ночи», «Ступени слез», «Сломанный бурей нежный цветок»; даже самое невинное заглавие — «Бабушкин подарок» — сопровождалось завлекательным пояснением: «Мясопустная картина на злобу дня» (мясопустной неделей называли обычно масленицу, когда ели блины и веселились). Папа любил смотреть только видовые картины, но отдельно их никогда не показывали, всегда вместе с драмой и комической, очевидно вроде этой мясопустной.

Жалко, не сохранился у меня номер иллюстрированного журнала «Солнце России», на цветной обложке которого был изображен шестилетний Вилли Ферреро, дирижирующий большим симфоническим оркестром. Этот мальчик, помню, возбудил у меня восхищение и зависть, — зависть не к славе: меня поразило, что чуть не сотня взрослых мужчин, усатых и бородатых, повиновались моему однолетке в бархатных коротких штанишках и с широким бантом на шее. Мог ли я предполагать, что лет через сорок увижу его за дирижерским пультом в Большом зале Ленинградской филармонии и многие оркестранты будут значительно нас моложе... Кстати, финал «Болеро» Равеля, его последняя нота, прозвучал у Ферреро как-то по-новому: оркестр словно взвыл перед тем, как смолкнуть. А может, это мне показалось, — я ждал от бывшего вундеркинда чего-нибудь неожиданного... Среднего роста, подвижной, худощавый, изжелта-смуглый — таким я увидел Вилли Ферреро в 1952 году.

Но вернусь к скрипке. После революции скрипка снова возникла, когда я поступил в Гапсальское училище; тот самый дьякон, который учил Верещагина, учил нас пению, вторя нам и себе на скрипке. Владел он смычком умело, но с австрийцами сравниться все же не мог и увлечь меня желанием самому взять в руки инструмент тоже не мог. Я лишь однажды слышал профессионального скрипача-солиста. В Котельнице дал концерт

молсдой «свободный художник» (таково тогда было звание окончивших консерваторию) — худенький, пышно-волосый брюнет, который в моменты наибольшей экспрессии бурно откидывал свои черные как смоль, как вороново крыло (так писали в старых романах), тяжелые кудри, что, по правде сказать, мне немножко мешало, казалось искусственным. Уж очень велик был контраст с тишайшим и благолепнейшим, кротким, аки голубь, отцом Яковенко. . .

Зато в эти же годы я имел счастье слушать отличного пианиста. В городе появился талантливый музыкант — статный, красивый моряк Люминарский. Он давал уроки игры на рояле моей дальней родственнице, готовившейся в консерваторию, и случалось, что целыми вечерами я слушал, как он исполнял у нее на дому клави́р опер Вагнера. Мне не только не было скучно, но я еще бегал днем в пустой летний театр, где Люминарский играл для себя; с тех пор я никогда не устаю слушать рояль. Конечно, в фортепьянном переложении я не мог угадать властных труб, тромбонов, валторн, всего вагнеровского роскошества духовых («духовенства», как их шуточно зовут музыканты). Не мог я услышать и пронзающих насквозь скрипок его вступлений и интермедий к «Лоэнгрину» и «Тристану и Изольде» — все это я узнал много позже. И все же я испытал то предчувствие большой музыки, за которое после не раз мысленно благодарил неведомо откуда взявшегося и неизвестно куда исчезнувшего военного матроса Люминарского: занесло и унесло ветром тех лет, как было тогда со многими.

Так, исчезла сперва из Котельнича, а потом из жизни и Леля Шляпкина, красивая, чуть полноватая девушка со смуглым румянцем, темными сросшимися бровями и тяжелыми косами до колен: поступила в Московскую консерваторию и через год умерла от скарлатины или дифтерита. Кажется, уже тогда я, двенадцатилетний, подумал: как странно! Кругом тиф, испанка, голод, война, и все это прошло мимо цветущей, веселой и, как говорили, на редкость одаренной Лели; больше того — она в Москве, занимается любимым искусством, может, станет скоро знаменитой артисткой; и вдруг — раз! — ее уже нет! Разумеется, я не знал, что такие мысли люди зовут философией. . . пусть не научной, житейской, но все же!

Реально в моей жизни скрипка появилась лишь в

1923 году, когда жить стало уже полегче и когда я учился в предпоследнем классе средней школы. Что в скрипке воплощалась именно папина мечта, о том свидетельствовали факты. К папе пришел знакомый лесничий, изредка наезжавший из вятской или нижегородской глубинки, крупный, добродушный мужчина. Со всем между прочим он рассказал, что у его сестры, живущей в Котельниче, завалалась никому не принадлежащая, никому не нужная скрипка. Папа сразу загорелся купить ее или арендовать, и Виктор Иванович охотно взялся посодействовать. Уже через день мы с мамой пришли к Клавдии Ивановне Зыриной, симпатичной пожилой женщине. Действительно, в ее комнате на стене висела скрипка.

Пожалуй, мне сейчас трудно определенно сказать, с каким чувством я на нее смотрел, — кажется, это была смесь восхищения и страха. Восхищения — потому что скрипка была, безусловно, красива: эта изящная, элегантная, изысканная, капризная, почти фантастическая, а на деле, несомненно, оправданная каким-то музыкальным законом, выверенная веками форма; эта блестящая, светло-коричневая, с отливами, переливами, с двумя змеевидными, похожими на французское S, узкими прорезями верхняя дека (я уже знал, как и что называется!); этот черный гриф, эта шейка, на изогнутом конце, на головке которой торчали колки, натягивающие четыре струны — приму, басок и две средних, не имевших иного названия, кроме издаваемых нот ля и ре первой октавы... А что же внушало страх? Хрупкость и беззащитность этого прекрасного инструмента: возьми — и уронишь, упадет — и рассыплется!

— Возьмите, — просто сказала Клавдия Ивановна. — Пусть мальчик учится играть. Что она зря висит.

Мама заикнулась о деньгах, Клавдия Ивановна замахала руками, мы поблагодарили, попрощались и унесли скрипку, бережно завернув ее и смычок в большой белый платок.

Дома платок был развернут, скрипка повешена над маминим комодом — все приготовлено к папиному приходу со службы. Первое, что спросил папа с порога, еще не успев войти в комнату:

— Были у Клавдии Ивановны?

Создалось полное впечатление, что инструмент предназначен ему... Ничего не попишешь: жизнь так сложилась, что мечту суждено осуществить уже сыну...

На другой день папа мне сообщил, что виделся с Анатолием Лукичом Тупицыным и условился, что тот будет давать мне уроки. Но не успел я встретиться и познакомиться с будущим учителем, буквально через два-три дня после появления в нашем доме скрипки, к нам с криком ворвался восточного вида незнакомец, как потом выяснилось, бывший квартирант Клавдии Ивановны Зыриной, по профессии не то санитарный врач, не то ветеринар. Он в два прыжка оказался подле комода, сорвал со стены скрипку, смычок и, крича, что это его, его, его инструмент, в том же стремительном темпе («аллегро удирато», по выражению нашей тетушки) ринулся к двери. Напрасно мама пыталась его остановить, предлагала вернуть инструмент хотя бы в газету, — незнакомец, продолжая выкрикивать угрозы и крепко держа в руках скрипку и смычок, уже мчался по улице.

Каково было папино огорчение, когда, вернувшись со службы, он не увидел на стене скрипки... Вообще, случай странный. Может, Клавдия Ивановна просто забыла, чья это у нее скрипка? Вместе с тем трудно себе представить, что, съезжая с квартиры, санитарный врач (или ветеринар) ни с того ни с сего оставил бы там свою скрипку. Зачем? Почему? И как сразу узнал, что она у нас? Ничего не понятно! К Клавдии Ивановне мы решили пока не ходить, не смущать ее выяснением щекотливого дела, а Виктор Иванович Зырин в следующий приезд басовито поохотал: мол, товарищ врач отлично знал, что инструмент ничей, и блестяще провел операцию похищения! К сожалению, процесс оказался необратимым, и мы с папой лишились своей первой скрипки. (Между прочим, никто из нас никогда не видал больше этого энергичного незнакомца. Возник, как злой дух, и, как злой дух, исчез.)

Однако вскоре инструмент опять появился в доме. Нет, это была уже другая скрипка, мы купили ее у музыкальных дел мастера, по случайному совпадению проживавшего рядом с Зыриной, на улице Карла Маркса, в одноэтажной ветхой хибаре. Посещая его крошечную мастерскую, пахнущую столярным клеем и деревом, увешанную и заставленную различными музыкальными инструментами, вплоть до притулившейся в углу фисгармониц, я всякий раз боялся встретить на улице Клавдию Ивановну: после недоразумения со скрипкой остался неприятный осадок. Мастер же оказался славным, добрым стариком, правда слишком словоохотли-

вым. Три вечера он неторопливо рассказывал мне об особенностях и различиях в строении и качестве старинных скрипок Страдивариуса, Амати и других. Это было очень интересно, интересно вдвойне: каждый вечер я приходил к нему с надеждой получить сегодня скрипку и уходил с такой же надеждой получить ее завтра — мастер еще не успел досказать историю создания скрипок. Клянусь, что я был терпеливым слушателем, но отдаление цели начинало меня тревожить. Впрочем, мы расстались друзьями, и я с торжеством унес наконец скрипку домой. Торжество тем большее, что скрипка на этот раз помещалась в футляре, пусть картонном и стареньком, который потом пришлось чинить, оклеивать снаружи черной, внутри цветной бумагой, — но, держа футляр за тоненькую медную ручку или под мышкой, я уже походил на настоящего скрипача.

Если бы я заранее знал, сколько меня ждало огорчений и разочарований! Увы, пугающе скоро выяснилось, что музыкальные упражнения красивы только в стихах Алексея Константиновича Толстого:

Он водил по струнам. Упали  
Волоса на безумные очи,  
Звуки скрипки так дивно звучали,  
Разливаясь в безмолвии ночи.

Разливаясь... Дивно... Ну ничего, абсолютно ничего общего! Разве что безумные глаза — у меня и у моих домашних... Удивляюсь папиной выдержке, когда он впервые услышал, как его сын водит смычком по струнам. И вряд ли я был уж таким исключением, музыкальным уродом, показательной бездарью: начальные уроки игры на скрипке, как я потом узнал, всегда трудны и неблагозвучны, но нам от этого было не легче...

Начались мои походы к Тупицыну через весь город — верста с лишком. Походы летом, зимой, осенью, в крошечную грязь и темень, — уличного освещения почти не было, если не считать двух-трех главных перекрестков. Фонарик с огарком свечи прицеплен на груди. В руках — картонный футляр со скрипкой (для надежности футляр вложен в холщовый чехол) и ноты в папке. В дождь прикрываю их еще и зонтом. Хожу всегда вечером, поздно вечером, к концу занятий на бухгалтерских курсах, которыми руководит Тупицын. Порой жду, когда занятия задержались или пока Анатолий Лукич поужинает. Занимаемся музыкой в большом зале, где только что отучились курсанты.

Особенно трудны были первые уроки — они перевернули все мои прежние понятия о том, что значит удобно, естественно и приятно. Меня заставили держать скрипку так, чтобы левая рука, ее кисть, пальцы, локоть, а также плечо, подбородок, шея, даже поясница и ноги испытывали наибольшую неловкость и напряжение. Левый локоть следовало завести под скрипку как можно правее, почти до центра груди; левую кисть — извернуть винтом, пальцы расставить и скрючить, шею свернуть, склонив голову на левое плечо; подбородок (отчасти и щеку) плотно прижать к деке, так плотно, чтобы скрипка, зажата между подбородком и грудью, могла держаться в горизонтальном положении без помощи руки; корпус при этом развернут в одну сторону, правая нога отставлена в другую...

Что я не преувеличиваю, не карикатурую, может подтвердить любой скрипач, если честно припомнит, как он впервые взял в руки скрипку; теперь-то он к ней привык и все кажется ему удобным и целесообразным!

Привык постепенно и я — начались упражнения, упражнения... Полуторачасовой урок, многочасовые упражнения дома, тем более утомительные, что играть приходилось стоя — сидеть перед пюпитром Тупицын не разрешал, это предполагалось далеко впереди, в тех случаях, когда стану участвовать в дуэтах, квартетах или играть в оркестре... Что представляли собой начальные правила? Смычок обязан ходить по струнам строго параллельно подставке (кобылке) — иначе неизбежны скрип и визг. Волос смычка умеренно натянут и умеренно натерт канифолью (если смычком постучать, то с него не должен сыпаться порошок). Сила звука зависит от силы всей правой руки, держащей смычок, — от плеча до кончиков пальцев, из которых четыре лежат на древке, а один, большой, всунут между волосом и древком (тростью) смычка. В идеале нужно водить смычком так, чтобы ты чувствовал его продолжением твоей руки. Легко сказать!.. Но, пожалуй, еще труднее левой руке: неодолимо хочется рассвободить кисть, выпрямить ее, привольно опустить шейку скрипки в выем между ладонью и большим пальцем, — исключено: кисть должна быть постоянно согнута, чтобы пальцы могли скользить по грифу, могли занять любую позицию — первую, вторую, третью... все ближе и ближе к подставке, все выше и выше звук, вплоть до девятой позиции, которая применяется лишь на самой тонкой струне,

на квинте, когда мизинец дотягивается до самой-самой крайней точки и позволяет брать столь высокий, сверхкомариный звук, что он едва различим ухом... Эти звуки так высоки, что уже не вибрируют.

Итак, «Школа скрипичной игры» Мазаса, «Школа скрипичной игры» Берлио (тот и другой в свое время знаменитые скрипачи, — знали ли они мучения рядовых учеников?). Штрихи «легато» (связно), «стаккато» (отрывисто), «спиккато» (скачуще). Тупицын предельно строг — играем лишь гаммы, этюды, специальные упражнения. Правда, чтоб я окончательно не заскучал, не засох, не отвратился от скрипки, он позволяет мне брать и переписывать принадлежащие ему ноты нетрудных пьесок — вальсов, маршей, различных мелодий, — но на уроках мы играем только учебные вещи: вырабатываю технику. «Приватные» же ноты я достаю повсюду и трудолюбиво списываю, благо в писчебумажном магазине стали продавать нотную бумагу (а до этого сам разлиновывал бумагу подаренным мне Тулицыным особым нотным пером, которое проводит сразу пять линий). Играю верхнюю строчку фортепьянных вещей и даже верхнюю — сольную — строчку вокальных произведений. В ход идут романсы Чайковского, дилегантские вещички дам-сочинительниц, злоупотреблявших бемолями для пушшего настроения: «Молчи, грусть, молчи!», «Памяти Комиссаржевской» и пр. и пр. Не гнушался я и нотами для корнет-а-пистона — они также годились для скрипки. С моим школьным другом Карловым мы задавали в его доме концерты: у Карловых было пианино, и Коля на нем играл уже не первый год. Мое дело было играть верхнюю строчку. У меня сохранилась картонная афишка-анонс: «Музыкальный вечер Н. Карлов (пианино), Л. Рахманов (скрипка), В. Бутырин (мандолина) и др. исполнят свои лучшие номера solo, duetes et trio». Володя Бутырин был наш школьный товарищ, а «др.» — Колин брат Боря, подыгрывавший нам на барабане.

Уже после мне папа сказал, что к нему обращались из местного кинотеатра — не соглашусь ли я играть в их оркестре. Боже, как бы я смог это делать при полном отсутствии практики и с избытком застенчивости?! Впрочем, партии второй скрипки я бы смог, понаторев, исполнять, но папа все равно не позволил бы. И правильно поступил: смотря снизу вверх на мелькавший перед самым носом экран, я бы в два счета испортил себе

глаза, не говоря о том, что потеряны были бы все вечера.

Кто же такой был Тупицын? Мало сказать, что Анатолия Лукича хорошо знали и уважали: когда этот лысый, полнеющий, коротковатый человек шествовал с портфелем в руке через город, большинство горожан с ним почтительно здоровались, — у него были сотни учеников, и не только в Котельниче, но и в районе, и даже в области. Я, разумеется, имею в виду окончивших его счетоводные курсы, — играть на скрипке учился у него я один, если не считать его старшего сына, студента, который, собственно, и дал мне несколько первых уроков, приехав к отцу на каникулы, — высокий, красивый молодой человек.

Семья Тупицыных вся была музыкальна: дочь Людмила играла на виолончели, училась в Петроградской консерватории у профессора Мальмгрена, на юбилее которого в 1925 году играло 40 виолончелей; виолончелистом был и родной брат Анатолия Лукича, Александр, так что они вчетвером — отец, сын, дочь и брат — играли Гайдна, Бетховена, когда все съезжались в Котельниче.

Хорошо ли играл сам Анатолий Лукич? Сейчас мне трудно судить, был у него талант или только любовь к музыке и беспримерное трудолюбие. Еще задолго до наших уроков с ним произошла беда: упорными упражнениями он намозолил один из пальцев левой руки, под мозолью образовался глубокий нарыв, который пришлось разрезать; после неудачной операции остался шрам, что мешало игре. Теперь, когда существуют антибиотики, такой операции, вероятно, удалось бы избежать, а может, она была сделана не очень искусно. Во всяком случае, я отчетливо представлял, как это случилось, и всегда мог сказать себе и папе (не мог сказать только самому Тупицыну): вот что бывает от чрезмерных упражнений!.. Тем не менее Анатолий Лукич играл с горячностью (когда выходил за рамки урока), волнуясь, громко дышал и даже сопел, беря особенно эмоциональную ноту. Зато в следующую минуту становился еще строже и сдержаннее, словно бухгалтерская его натура брала верх, Сальери побеждал Моцарта...

Платил я за уроки «натурой»: Шура Тупицын, ученик средней школы, класса на два младше меня, отставал по математике, и Анатолий Лукич предложил мне заниматься с ним в обмен на уроки музыки. Так и сде-



ляли. До самого моего отъезда в Ленинград я занимался с Шурой и с еще одним мальчиком. Шура был флегматичен и ленив до того, что меня от уроков с ним корчило — большого труда стоило усидеть рядом с ним за столом, раз по десять втолковывая правило или теорему... И все же перед отъездом я получил письменное свидетельство Шуриной школьной учительницы по математике о том, что Александр Тупицын стал больше знать и лучше учиться — достижение выдающееся! Поблагодарил меня и Анатолий Лукич, что для меня было гораздо дороже, тем более что в следующие годы мы с ним встречались редко.

В 1925 году, в конце мая, я уехал в Ленинград, поступил сначала на Волховстрой, потом в институт; от физического труда и от длительного перерыва в скрипичной игре пальцы огрубели, растренировались; к тому же я стеснялся играть среди новых для меня людей, в коммунальной квартире; так получилось, что взятая с собой в Ленинград скрипка в своем старом, потертом картонном футляре была заброшена на самый верх книжных полок. Надолго? Да навсегда.

О занятиях музыкой я рассказывал в таком легком, даже насмешливом тоне, что можно подумать, будто, распрощавшись со скрипкой, я испытал радость. Это не так. Уверять сейчас себя и других, что я пережил тяжелую драму, тоже не стану, — наступило время других занятий и увлечений — техникой, литературой, — но должен сказать, что разрыв был чувствительным. Дело в том, что я успел привыкнуть не столько к скрипке, сколько через нее к музыке, полюбил музыку, заинтересовался жизнью ее творцов, хотел как можно больше узнать и услышать старой и новой музыки. Когда же я перестал играть сам, я почему-то решил вычеркнуть музыку из круга родных мне интересов и чувств. Обидно вдруг сделалось быть только слушателем, по-нынешнему говоря, потребителем, — тогда к черту все! Я почти перестал посещать концерты (а уж где-где, как не в Ленинграде!), на оперы ходил скорее как на зрелища и больше из любопытства, чаще выбирая те, что с левым уклоном (поскольку был леваком и в литературе!), — «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева, «Прыжок через тень» и «Джонни» Кшенека, «Нос» Шостаковича; словом, на несколько лет музыка если и не перестала для меня существовать (невозможно было отбросить сильнейшие впечатления от «Пиковой дамы» или

не запомнить и не твердить про себя марш из «Трех апельсинов!»), то все же оказалась на втором плане, по крайней мере музыка симфоническая. Глупое ограничение? Очень глупое. Потом я мог об этом только жалеть. Жалею и сейчас. Сколько я пропустил замечательных, даже великих концертов! Это продолжалось пять лет — с 1925-го по 1930 год. Что произошло в 1930 году?

14 апреля не стало Маяковского. Через несколько дней, через неделю, через две, точно уже не помню, в Большом зале Ленинградской филармонии состоялся вечер памяти Владимира Маяковского. Он начался с исполнения 6-й симфонии Чайковского — Патетической. Надо сказать, что смерть Маяковского произвела на меня (как и на многих других, не говоря уж о близких его друзьях) тягчайшее впечатление. Я страстно любил его ранние стихи и поэмы, всегда слушал его новые вещи, когда он выступал в Капелле. А тут, перед самой смертью, Маяковский приезжал в Ленинград, и однажды я видел его очень близко, в редакции журнала «Звезда».

Быть может, заранее подготовленный всем этим к соответствующему восприятию Патетической симфонии, я сидел, вцепившись в локотники кресла, едва удерживая дрожь (какой уж тут «концертный озноб», о котором писал Мандельштам в «Египетской марке», — меня бил настоящий, крупный озноб). Мне казалось, что это я умер и это меня в адском марше топчет неотвратимый рок! Я много раз потом слышал 6-ю симфонию, слышал в исполнении знаменитых оркестров с великими дирижерами — Отто Клемперером, Гансом Кнапперстубшем, Натаном Рахлиным, Евгением Мравинским, Фрицем Штидри, — но никогда я не переживал такого волнения, как в тот, первый раз, когда дирижировал Александр Гаук, и за это я ему навек благодарен.

Впрочем, еще одно исполнение Патетической взволновало меня не меньше. В тридцатых годах в Ленинград приезжал замечательный чешский дирижер Вацлав Талих. На одном из его концертов произошел неприятный случай. Перед началом 6-й симфонии, перед ее первыми тактами, когда дирижер уже поднял палочку, где-то позади, наверху, послышался вой. Все обернулись и увидели на хорах бывшего головой о барьер, извивающегося в судорогах припадочного. Я быстро взглянул на Талиха. Его бледное, доброе лицо было спокойно, он опустил палочку и ждал, когда кончится припадок. Эпилептика увели, Талих обернулся к оркестру и поднял

палочку; симфония началась. В этот момент я почувствовал острую жалость: ведь тот, кого увели, не услышит первых гениальных тактов, тех самых, которых он напряженно ждал — и не дождался. А пожалев его, я пожалел и весь остальной глухой мир: насколько же мы, сидящие в этом зале, слушающие эту райскую, адскую музыку, счастливее тех, кто ее не слышит, не слышал и даже не знает потребности в этом наслаждении! Нет, это было не высокомерие, не снобизм — это было просто сознание своего счастья и боль за тех, кто его не знает.

Этим ощущением счастья и боли я жил с тех пор в мире звуков и не считал себя потребителем, хотя сам уже не играл на скрипке.

## КНИГИ

Есть книги настолько живые, что все боишься, что, пока не читал, она уже изменилась... Никто не вступал дважды в ту же реку. А вступал ли кто дважды в ту же книгу?

*М. Цветаева*

Мальчик в средне-интеллигентной семье, в провинции, к тому же выросший без братьев и сестер, привыкал к книгам с младенческих лет, — он, можно сказать, жил в книжном царстве. Жил в этом царстве и я. Смутно помню, как года в два, еще не умея читать, а только смотря картинки в книжках, я потерпел первое жизненное крушение. Две наши небольшие комнаты согревала печка-лежанка, и вот однажды, в морозный солнечный день, когда я уютно на ней полеживал, созерцая мир с высоты двух аршин, у меня шевельнулась мысль: достать свешивавшийся одним концом с печки нарядный складень — книжку-складень. Я подвинулся к краю... дальше, дальше, еще немножко — голова перевесила, и я рухнул вниз, на железный противень, защищавший пол от скакавших из дверцы каленых углей. Грома было много, рева тоже, шрам на лбу заметен и сейчас; так началось мое знакомство с литературой.

Знакомство продолжалось все детство, правда уже не столь драматично, зато катастрофически быстро росла лавина прочитанных книг. Одни книги составляли мою личную собственность, книги-подарки, другие принадлежали моим родителям, третьи — нашим знакомым,

четвертые я брал из библиотек, городской и школьной, и это был главный книжный источник.

Но существовали книги, которые я перечитывал ежегодно, а то и чаще: это были, в основном, те, что хранились дома в книжном шкафу, либо в сундуке в амбаре, куда я имел доступ зимой и летом. Пожалуй, одно из самых больших наслаждений, какие я испытал в жизни, было перебирать в сундуке эти знакомые книги, теща себя надеждой — вдруг найти среди нечитанную, невиданную, неслыханную. Нередко я посвящал этому занятию весь короткий зимний денек; в мороз одевался потеплее, зябли лишь пальцы, которыми листал и перебирал книги одну за другой, вплоть до самого дна, устланного газетами «Русское слово» и «Русские ведомости».

Книги и журналы были самые разные, больше всего приложений к «Ниве» и сама «Нива» за 1905, 1906 и 1907 год. Когда я подросток, меня удивил в этих журналах вопиющий контраст между фотографиями собственного корреспондента Карла Буллы, мгновенно откликавшегося на бурные события тех лет — Московское вооруженное восстание, революцию в Прибалтийском крае, похороны революционеров, — и мещанскими идиллическими картинками, вроде «Войны и нейтралитета», где изображены испуганно лающий щенок и свирепо окрысившаяся на него кошка, вторая кошка спокойно сидит на табуретке и с любопытством смотрит сверху на стычку. (Теперь мне видится в этом контрасте нечто программное, а в самом рисунке — некий символ, но это, конечно, зольные домыслы.) А уж что говорить, про повести и романы И. Потапенко, Б. Лазаревского, П. Гнедича, Вас. Немировича-Данченко, где не было и в помине событий века, или обложки «Нивы», тесно заполненные рекламой пышных усов, выращенных благодаря чудодейственному усатину фирмы «Перуин-Пето», или рекламой бюста роскошной дамы, объявляющей всем, всем: «Как я увеличила мой бюст на два дюйма». Помнится, я и тогда недоумевал, почему это увеличение исчислялось в линейных мерах.

Был и другой амбар, который снимал под свой товар мучник Селезенев с большой окладистой бородой белого цвета. Очевидно, борода была седая, но я считал, что она белая от муки. Сын мучника, невысокий паренек, был взят на войну и вернулся с нее не только целым и невредимым, но и чудесно выросшим сантиметров на двадцать; теперь это был рослый мужик, легко подни-

мавший пятипудовые мешки. Когда арендаторы в 1918 году съехали и амбар опустел, в нем поселилась коза с козлятами, усердно вылизывавшая мучные углы и щели, и возникли два ящика с книгами — остатки домашней библиотеки дальнего мамино родственника, не шибко богатого купца Трухина. Я в этих ящиках жадно рылся и среди приложений к журналу «Родина» (сортом пониже «Нивы») нашел сочинения Понсон дю Террайля: «Похождения валега трэф», «Похождения дамы червей»; увы, знаменитого «Рокамболя» того же автора в ящике не было, кто-то его уже зачитал.

Из принадлежавших Трухину книг я запомнил еще пять томов Ибсена в издательских переплетах, аккуратно обернутых белой бумагой. Об Ибсене я тогда знал лишь одно: когда дочь Трухина заболела тифом и уже выздоравливала, о ней рассказывали, что после болезни она была не в себе и, не обращая внимания на домашних, сутками напролет читала Ибсена. Это казалось всем странным, даже чуть-чуть неприличным. Действительно, если знать, что всегда спокойная, уравновешенная Катя доселе читала, чинно сидя за столом, и преимущественно то, что полагается для ученья (она окончила гимназию с золотой медалью), а теперь, похудевшая, стриженная, с начинающими отрастать вьющимися, как это часто бывало после сыпняка, желтыми волосами, денно и ночью сидит в постели и глотает пьесу за пьесой какого-то Ибсена, — это могло удивить. Впрочем, скоро Катя уехала учиться на врача, рассталась навсегда с Ибсеном, он попал к нам, и я с любопытством подростка искал в его пьесах «неприличие» и «безнравственность», о чем от кого-то из посторонних слышал, и ничего не нашел. Что же, спрашиваю сегодня себя, привлекло в пьесах Ибсена двадцатилетнюю купеческую дочку? Прогрессивные взгляды? Эмансипация женщин? Что-то не верится, чтобы это могло ее пылко заинтересовать: Катя была рассудительна и на редкость практична.

Любопытно отметить, что наши недавно зажиточные и вдруг разорившиеся родственники и свойственники оставляли нам на хранение только книги — никто не расставался с носильными вещами или с посудой; как видно, без печатного слова им легче было обойтись. Так, хранились у нас принадлежавшие Чемодановым иллюстрированные журналы военного времени — «Огонек», «Всемирная панорама» со множеством фотографий погибших и отличившихся в боях офицеров, с карикатурами на

кайзера, на Франца-Иосифа, на султана Абдул-Гамида, с фигурками бегущих в атаку солдат.

Какие же книги меня больше интересовали и что я чаще всего перечитывал? Как ни странно, это были очень разные книги, ничуть не схожие даже по жанру: «Записки Пиквикского клуба» и «Домби и сын» Диккенса, «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова внука» Аксакова, «Фрегат «Паллада» Гончарова и «Таинственный остров» Жюль Верна. Книги эти навсегда остались любимыми и чтимыми — чтимыми во всех смыслах. Даже роман приключений «Таинственный остров» для меня не просто занимательное чтение, а одна из лучших на свете книг о труде, труде увлеченном, изобретательном и, в отличие от «Робинзона Крузо», коллективном. На что прозачнее, кажется, производство азотной и серной кислоты, необходимых колонистам для выработки железа, но и оно выглядит романтичным и увлекательным. С первых же страниц мы успеваем полюбить этих деятельных и честных людей.

О своем вечном любимце Диккенсе я мог бы говорить без конца, но ограничусь тем, что повторю слова Аркадия Аверченко, нынче мало кому известные. Аверченко писал, что для души он читает перед сном Диккенса — «этого великого обывателя с улыбкой бога на устах». Улыбка бога — не преувеличение: Диккенсу гениально удавались именно те образы и характеры, которые он писал с улыбкой; впрочем, начав писать Пиквика как чисто комический персонаж, он вдохнул в него нечто такое, от чего тот стал не только смешным, но по-своему мудрым и благородным. Что касается «обывателя», это словцо у Аверченко звучит несколько вызывающе, он как бы примеряет свое определение Диккенса к самому себе: критики его постоянно упрекали, что он пишет для обывателей и сам их не лучше. Думаю, однако, что Аверченко был достаточно умен, чтобы не сравнивать себя с Диккенсом.

Как обстоит с Аксаковым? Я за него сейчас обижаясь: дети с трудом и редко его читают. За что его любил и люблю я? Прежде всего, разумеется, за пламенную любовь к природе, но не только за это. Кстати, прочтя несколько лет назад статью Бальмонта, где тот объясняется в любви к Аксакову, я был не просто удивлен неожиданной симпатией старого декадента: откровенно говоря, я на склоне собственных лет зауважал его гораздо больше, чем в юности. Но что там капризы Баль-

монта, — меня поражает сам Сергей Тимофеевич: как этот старый человек, который родился на тридцать лет раньше Достоевского и почти на сорок лет — Льва Толстого, как он мог с такой психологической глубиной проанализировать далеко не простые взаимоотношения своей матери, ее отца, ее свекра и мужниных теток, живших еще в XVIII веке, — одних он знал, будучи ребенком, других и вовсе не видел. Смешно, но придется отдать должное и себе, малолетку: как-то смог же я оценить «Семейную хронику», иначе не перечитывал бы ее столько раз.

Особый случай и с Гончаровым. Его антиромантическое описание своего кругосветного путешествия в начале 50-х годов прошлого века, казалось бы, не могло увлечь юного любителя приключенческих книг. Автор, который пишет про штормовое море: «Оно красиво, но однообразно» или «Скучное дело качка», должен был меня разочаровать, а он очаровывал. Когда я много позднее читал о той же Японии романы Пьера Лоти и Клода Фаррера, при всей изысканности сюжетов и стиля они мне были скучны, а при всей подчеркнутой прозаичности изложения и устарелости содержания японские главы «Фрегата «Паллады» интересно читать и сейчас. В чем колдовство? Очевидно, вот в этой самой затягивающей тебя, подчиняющей себе взаправдашности.

Повторяю, книг было прочитано за детские годы не одна тыща. Полные собрания сочинений того же Жюль Верна, Майн Рида, Купера, Буссенара, Густава Эмара, Жаколио, Андре Лори и других приключенцев; русские и иностранные классики и полуклассики, вроде нашего Станюковича и польского Сенкевича, — у первого все морские его произведения, у другого все исторические; множество исторических романов Салиаса, Данилевского, Вс. Соловьева, Евг. Тур; десятки детских журналов, как еженедельников, так и ежемесячников: «Путеводный огонек», «Родник», «Всходы», «Детское чтение», приключенческие и научно-популярные «Вокруг света», «Природа и люди», «Вестник знания». Где сейчас все эти журналы? Большинства их не видел я уже более полувека, с тех пор, как уехал из своего городка; не увижу теперь и там — сгорели в 1926 году. Когда-то в котельнической земской библиотеке выписывали даже спиритический, оккультный журнал, издаваемый известной авантюристкой Еленой Блаватской, «жрицей Изиды» как назвал ее Вс. Соловьев, кузиной министра фи-

нансов Витте, который в своих мемуарах пишет о ней без излишней почтительности. К библиотеке этой я еще вернусь.

Было ли мое чтение бесконтрольным, стихийным или им кто-то руководил? Пожалуй, никто. Мой строгого вкуса и аскетических принципов отец в эти годы либо отсутствовал, либо был так занят, что ему было не до моего чтения. Впрочем, один детский журнал и один знаменитый детский писатель были категорически запрещены: это журнал «Задушевное слово» и Лидия Чарская. Уже взрослым я с удовлетворением прочитал о Чарской уничтожающую статью Корнея Чуковского, — недаром же, значит, отец презирал это сусальное чтиво. Потом, когда я уже немного подрос, в запретный круг чтения справедливо попали так называемые «сыщики» — шестнадцатистраничные выпуски приключений Ника Картера, Ната Пинкертона, Шерлока Холмса, женщины-сыщика Этель Кинг. Сожалею, что под сомнением для моего отца оказался и конан-дойлевский Шерлок Холмс, — отец оценил его лишь под старость, и я с особенным, «злопамятным» удовольствием подарил ему томик рассказов Конан-Дойля. К сомнительным можно прибавить «Мир приключений», на который отец мой тоже косился: его раздражали броские цветные обложки с изображенными на них жестокими сценами, для него это была вульгарная дешевка и только. Вслух же он мне читал «Гайавату» в бунинском переводе и смешные рассказы Чехова. Я очень ценил эти чтения, ценил еще потому, что в такие минуты мой строгий отец становился мне ближе — мы одинаково были увлечены чтением.

Кому же я обязан большинством прочитанных книг? Первым моим библиотекарем была Мария Павловна Спасская. Сухощавая, пожилая, очень прямо державшаяся (как я теперь понимаю, затянута в корсет), говорившая словно бы ворчливо, но при этом всегда улыбающаяся, с ямками на щеках, Мария Павловна благодушно мне позволяла рыться на полках, даже на самых верхних с помощью лесенки, а затем, вздев на лоб очки, своим угловатым, крупным почерком, похожим на почерк Льва Толстого (в детстве я собирал образцы автографов), записывала выбранные мною книжки в большую конторскую книгу, — карточки тогда еще не ввели в такого рода библиотеках.

Земская библиотека, которой заведовала Мария Павловна, гордо называлась Публичной и, пожалуй, имела



на это право: для уездного города она была весьма богата. Передо мной протоколы Котельнического уездного земского собрания за 1911 год. Читаю: «В текущем году получались следующие периодические издания: «Вестник Европы», «Русская мысль», «Современник», «Русское богатство», «Современный мир», «Исторический вестник», «Вестник знания», «Всеобщий журнал», «Новый журнал для всех», «Природа и люди», «Нива», «Пробужденне», «Сатирикон», «Русский паломник», «Вокруг света», «Россия», «Родник», «Юная Россия», «Светлячок», «Тропинка», «Путеводный огонек», «Ученик», «Солнышко», «Модный свет». Далее идут названия газет.

Не считая периодических изданий, в библиотеке числилось 6758 книг. Наибольшим спросом пользовались: Толстой Л. Н. (872 выдачи), Тургенев (646), Вербицкая (638), сборники «Знания» (584), альманахи изд. «Шиповник» (564), Амфитеатров (546), Белинский (540), Григорович (500), Данилевский (468), Соловьев Вс. (455), Мельников-Печерский (448), Островский (422), Шеллер-Михайлов (415), Шиллер (400), Байрон (380), Пыпин (350), Михайловский (345), Потапенко (335), Скабичевский (310), Загоскин (300), Писемский (292), Достоевский (283), Пушкин (250), Лермонтов (240), Арцыбашев (230), Гарин-Михайловский (200), Гамсун (198), Андреев (190), Ключевский (130), Надсон (125), Некрасов (120), Ожешко (100), Вас. Немирович-Данченко (95); от 60 до 50: Прево, Мирбо, Пшибышевский, Федоров, Скиталец, Серафимович, Стриндберг, Лажечников, Салтыков, Эберс, Шницлер, Дюма, Бальзак, Щепкина-Куперник, Шоу, Банг и Крестовский.

Я привел эти списки и цифры не из догошности или любви к статистике: разве не интересно, что в городке, состоявшем из пяти с небольшим тысяч человек, постоянными подписчиками библиотеки состояли 365 человек, которым за год выдано около тридцати тысяч книг (не считая уездных подписчиков, которым отправлено еще более тысячи томов)? Любопытно также попытаться понять, почему те или иные книги пользовались большим или меньшим спросом. Одни цифры вполне объяснимы, другие — нет. Скажем, популярность Льва Толстого и... Вербицкой можно уразуметь, хотя, вероятно, читали их разные люди. Белинский и другие критики понадобились учителям и учащимся, равно как и Шиллер и Байрон. Сравнительно небольшой спрос на Пушкина и Лермонтова объясняется тем, что почти в каждом интеллигент-

ном доме имелись их сочинения; Достоевского «тяжело» читать; на Арцыбашева к этим годам, возможно, спрос уже схлынул; но почему так мало читали Дюма? Наверное, потому, что «Природа и люди» еще не успела издать полное собрание его сочинений (вышло лишь в 1916—17 годах). А почему в перечне отсутствует Жюль Верн, широко изданный тем же Сойкиным в 1906—1907 годах? Я брал его книги именно в этой библиотеке. Ну, предположим, он отсутствует в перечне как «детский» писатель... А почему нет Горького? Знаю от отца, как он был популярен в Котельнице: пьесу «На дне» даже играли на любительской сцене, у меня сохранилась программа спектакля. Правда, усердно читались сборники «Знания» (585 выданных книг), а там и печаталось большинство рассказов и повестей Горького, но ведь упоминаются же отдельно Скиталец, Серафимович, Федоров, тоже постоянные авторы «Знания». Словом, ясности нет, разве что это случайные пропуски.

В 1919 году библиотека переехала из земской управы в дом богачей Воронцовых на главной улице, сначала в первый этаж, на место бывшего мануфактурного магазина, а потом во второй, где раньше жили сами хозяева. Заведовать библиотекой стал молодой человек в пенсне, студент, приехавший из голодной столицы к родителям. Борис Авенирович Пинегин как раз и открыл для меня Диккенса, прочитав вслух «Рождественскую песнь в прозе». Произошло это на рождестве, в один из морозных каникулярных дней; в помещении было холодновато, и мы, школьники, в перерыве грелись, толкая друг друга и разминаясь. Чтение заняло весь зимний день — рассказ большой, — но слушали терпеливо, никто не ушел, никто не шумел, не мешал читать. Мне трудно сейчас судить, хорошо ли читал Борис Авенирович: для меня это первое знакомство с Диккенсом явилось чудом, настоящим рождественским чудом!

Весной произошел эпизод в ином роде. Привыкнув рыться на полках, я выбрал себе роман Эмиля Золя «Проступок аббата Муре» (хорошо еще, что не «Нана!»), и когда дома начал читать, ощутил неловкость: делаю что-то не то. Не стану преувеличивать свою сознательность, но все же я вернул книгу в библиотеку, не дочитав. Вернул в присутствии Бориса Авенировича, тогда как брал без него, и тут испытал другую неловкость: его помощница получила из-за меня выговор — не подумавши выдает книги! Я впервые видел Бориса Авенировича не

на шутку расстроенным. Зато во время пасхальной заутрени (единственная церковная служба, которую я посещал охотно: привлекало зрелище сотен горящих свечей, ликующий хор — «Смертию смерть поправ!») я очень обрадовался, увидев, как Борис Авенирович и его миловидная помощница мирно христосовались — обменялись троекратным, если не пятикратным поцелуем.

И какое же неоценимое благо совершила эта молоденькая библиотекарьша, вручив мне летом того же 1920 года «Приключения Тома Сойера»! Пожалуй, еще никогда не испытывал я такого восторга и такого ощущения сотоварищества, чувства локтя, читая о приключениях Тома; тем более что его влюбленность в Бекки нашла бурный отклик в моей влюбленности в Воронцову, о которой я уже рассказывал.

Через год библиотека переехала в небольшой деревянный дом в гористой части города, принадлежавший местному провизору, красивому мужчине с пышными, как на рекламе «Перуин-Пето», усами. Мне он внушал почтительный интерес: я знал (и в открывшуюся на считанные секунды дверь видел), что в подвальной ему аптеке идет таинственная, кропотливая работа: пересыпают и взвешивают на точных химических весах белые порошки, переливают разноцветные жидкости, на столах и полках мерцает множество больших и малых стеклянных сосудов; было во всем этом что-то уэллсовское, да и ходил Сергей Николаевич Пиков по улице (и даже у себя по двору) всегда с озабоченным лицом, словно испытывая тревогу — не взорвалась бы без него эта лаборатория. Вызывало только недоумение, зачем он отрастил такие усища: еще обмакнет ненароком в какой-нибудь яд или кислоту! Пиков был мой родственник, один из маминых двоюродных братьев, но я с ним не был знаком, хотя учителем математики в нашей школе был его родной брат. Борис Николаевич, в противоположность Сергею Николаевичу был некрасив и своей козлиной бородкой и ехидным нравом напоминал Мефистофеля. Даже серьезного, никогда не шалившего Колю Карлова он умудрился поймать на том, что тот на уроке чиркнул под партой чьей-то зажигалкой, и долго над ним измывался. Учитель он был неважный, путался в уравнениях, а до бинорма Ньютона нас так и не довел — не успел или убоялся трудностей.

Жена Бориса Пикова, Зоя Петровна, строгая дама в синих очках, как раз и стала немой, но внимательной

свидетельницей того, как менялись мои читательские интересы. Этой новой нашей библиотекарше пришлось методично, из недели в неделю, выдавать мне книги по технике, электричеству; начитавшись вволю, я производил дома опыты и сооружал приборы — лейденские банки, электрическую машину, от которой они заряжались. Книжки же, на дом не выдававшиеся и тем особенно привлекательные, например, толстый том «Чудеса техники XX века» инженера Рюмина, я просматривал в читальном зале и с сожалением возвращал затем Зое Петровне.

В пиковском дворе библиотека пребывала несколько лет. За эти годы приключения были совсем забыты, на смену им кроме книг по технике пришли серьезные русские и западные писатели; еще через год, ближе к шестнадцати, меня потянуло к поэзии (к чтению, не к писанию стихов), и это уже навсегда. Если Некрасова, Лермонтова, Пушкина (именно в такой последовательности) я любил с детства, то лет с пятнадцати я начал усиленно читать Фета, Тютчева, затем кинулся к Брюсову и Бальмонту, Блока почему-то пропустил: очевидно, была потребность ошарашить себя чем-то экстравагантным, непохожим на «прежние» стихи... Зато тогда же открылась для меня поэтичная и вместе с тем необычайно плотная и вещественная бунинская проза; стихи Бунина, если не считать «Гайаваты» в его переводе, я полюбил позднее. Здесь, быть может, уместно сказать о значении Бунина вообще в моей жизни, в какой-то период даже роковом, если перескочить от детства и отрочества к зрелому возрасту.

Но начну с середины. В 1925 году, когда я семнадцатилетним приехал в Ленинград учиться и работать и жил на пятнадцать целковых в месяц, я смог купить лишь одну тощую книжечку Бунина, состоявшую из ранних рассказов поры «Антоновских яблок» и «Господина из Сан-Франциско». В марксовском издании Бунина, которое я знал по Котельничу, этого рассказа не было, и он произвел на меня — не хочу подбирать иных слов — гипнотическое действие. Я до сих пор не могу простить горячо любимому мною Юрию Карловичу Олеше несправедливых слов: «Пресловутый «Господин из Сан-Франциско» — беспросветен, краски в нем нагромождены до тошноты. Критика буржуазного мира? Не думаю. Собственный страх смерти, зависть к молодым и богатым, какое-то даже лакейство». Откуда, зачем этот поклеп? И откуда взялись «молодые» в «Господине из Сан-

Франциско», кому там можно завидовать? Что называет Олеша «лакейством»? В жизни и в сочинениях Бунина и без того хватало подлинных, реальных грехов. Я мысленно спорил с ним, публицистом, я ненавидел его косные, если не сказать — тупые, высказывания о символистах и футуристах (в речи на юбилее «Русских ведомостей», в «Автобиографии»), но я страстно любил Бунина-прозаика, а затем и поэта.

Какую же роль он сыграл в моей литературной работе? Как ни странно, довольно злую. В 1935 году, весной, написав к этому времени уже четыре повести и принявшись за пятую, я прочел рассказ Бунина «Казимир Станиславович» (повторяю, до этого хорошо зная «нивского» Бунина и «Господина из Сан-Франциско») — и на добрых три десятка лет почти перестал писать прозу, занялся сценариями, пьесами, статьями, рецензиями, «педагогикой». . . . Что случилось? Почему перестал? Очень просто: вдруг ощутил, что так писать не могу, а хуже — не сто́ит. Но разве раньше (да и тогда) не читал ничего равного, а то и намного превосходящего этот бунинский рассказ (даже у самого Бунина)? А Толстой, а Стендаль, а Гамсун, которым я увлекался в юности, особенно его «Мистериями», где Нагель уносит с собой в морскую глубь свою тайну? Все такие разные, даже полярные, разве они не дразнили: «Писать так, как мы, ты не можешь»?! Нет, они были столь высоки, далеки, непохожи на те мои представления о прозе, искусством которой словно бы и я могу овладеть, что даже не вызвали желания стремиться к этим недостижимым образцам, а вот Бунин почему-то казался ближе, достижимей, несмотря на свое несравненное мастерство. Разумеется, это был самообман: здесь, возможно, сыграла роль его «провинциальность» — так в своей уездной глуши я воспринимал его прозу. И, начав писать сам, стал подражать Пильняку, учившемуся в раннем своем сборнике «Былье» прежде всего у Бунина, а уж потом, и то меньше, чем принято считать, у Белого и Ремизова. В Пильняке я ценил настроение уездного революционного быта, деклассированных усадеб, в которых поселились интеллигентные коммунары (очень это напоминало обнищавшие бунинские усадьбы), а главное — обостренное чувство осенней и зимней уездной природы, — оно-то и шло от Бунина.

Смесь «французского с нижегородским» (точнее — с вятским) образовалась у меня в повести «Полнеба» в 1928 году, когда я начитался Олеси и Жироду, еще не

преодолев «пильняковщины», но Бунин, чистый Бунин сопровождал меня всю жизнь, хотя и не сказывался впрямую на языке, на стиле моих вещей, да это, повторяю, и невозможно. Убежден, что при всех моих увлечениях я не мог и не хотел освободиться от родных корней: любовь к родной земле, к ее природе проявлялась не в краеведческих пристрастиях, не в землячестве, — наоборот, я тяготел к Питеру и бывал рад, когда меня принимали за коренного ленинградца (еще полвека назад!), — проявлялась она как раз в том, что больше всего любил и ценил Бунин, пусть не вятич, но такой русский писатель и интеллигент, если не считать смешноватого мелкопоместного барства.

В шестнадцать лет, в год окончания школы, я стал почитать и философов, тех, что писали поострее и коэффектнее — Ницше, Штирнера, Шопенгауэра, — выбрав их как бы по принципу эпатажа. Собственно, кого я дразнил — родителей, товарищей, библиотекарей? Нет, товарищи и родители знать не знали про мои «философские» интересы, библиотекари были в общем-то безразличны, — впрочем, Зоя Петровна иногда удивленно и неодобрительно качала головой, но молчала. Не исключено, что я больше дразнил самого себя: привык с детства к гуманным жизненным правилам — и вдруг столкнулся с жестокими парадоксами, высказанными в яркой, шегольской форме; чего стоил один «Так говорил Заратустра», а говорил он действительно красиво! Это я теперь нахожу в его речах и риторику, и безвкусицу, и просто переливание из пустого в порожнее, а тогда... Полагаю также, что в моих увлечениях содержалась немалая доля игры: вот я уже большой, вот я читаю такие книги, о каких знакомые мне взрослые и не слыхивали.

Правда, в ту пору я уже открывал для себя великого писателя и философа — Достоевского, и уж тут мое изумление и восторг были самыми искренними. Подумать только: после «пройденных» в школе «Бедных людей», которые показались мне, скорее, бедненькими, ни чем не затронули воображение, вдруг прочесть за одно лето все главные романы Достоевского, — это ж не просто лето, это эпоха!

Как-то под вечер, сидя с книгой на деревянном крыльце нашего уездного дома, но мысленно находясь далеко отсюда — в зловещем карамазовском доме, я услышал знакомый голос:

— Леня, что вы читаете? — поинтересовался прохо-

дивший мимо ветеринарный фельдшер Чеснок и, узнав, осуждающе сказал: — Как это вам позволяют читать такую сальную книгу?!

Когда-то я страстно негодовал на захаровских гостей, хохотавших над «Записками сумасшедшего» Гоголя; сейчас я позволил себе лишь снисходительно пожалеть симпатичного, но, увы, заблуждающегося Ивана Михайловича. Вслух я ему ничего не сказал, и правильно сделал.

...И все-таки, все-таки Аксаков и Диккенс оставались моими любимцами и тогда, когда всюю читались уже Достоевский, Толстой, Чехов, Бунин, Гамсун, Стендаль (не говоря уже о кратковременном остреньком интересе к Ницше), пьесы Гаупмана и Ибсена, а позже — многотомные эпопеи высоко чтимого мною и сейчас Томаса Манна. Остаются они среди перечитываемых любимцев и нынче, особенно когда прихворнешь... Верно писал Мандельштам в «Шуме времени»: «Да, уж тем книгам, что не стояли в первом книжном шкапу, никогда не протиснуться в мировую литературу, как в мирозданье». Насчет мирозданья он, возможно, перехватил, но что «книжный шкаф раннего детства — спутник человека на всю жизнь», абсолютно верно. Правда, он говорил это не в прямом смысле, — как известно, Мандельштам был скиталец, кочевник, шкафов с собой не возил, ну, а мне посчастливилось: некоторые уцелевшие от пожара книги из отцовской библиотеки перебрались потом из провинции ко мне в Ленинград, и, скажем, Гоголь, Чехов с отцовскими инициалами на кожаных корешках стоят теперь на моих полках.

## ОТЕЦ

Так ярый ток, оледенев,  
Над бездною висит,  
Утрата прежний грозный рев,  
Храня движенья вид.

*Баратынский*

Все детство прошло у меня под знаком большой чертежной доски. Сверкающий белизной ватман, мерно двигающаяся вдоль него рейсшина, разнообразные флакончики с черной и цветной тушью, блестящая сталь рейсфедера, циркуля, кронциркуля, еще каких-то заманчивых инструментов, в иное время покоившихся в бархатных ложах роскошной швейцарской готовальни (привыкнув

экономить на всем, считая и наш ежедневный рацион, отец не скупился в своем профессиональном хозяйстве), и, наконец, возникавшие постепенно на ватмане изображения мостов, дамб, плотин — все это восхищало меня и притягивало. Разумеется, мне строго-настрого запрещалось что-либо брать с доски или трогать, но ведь можно было просто смотреть, встав поодаль, чтобы, сохрани бог, не толкнуть, не пролить, ничего не напортить...

До сих пор мне чудится запах туши. Пока флакон открывали, пока воткнутым в пробку гусиным перышком тушь набирали в рейсфедер, пока флакон вновь закупоривали, — за эту четверть минуты комната успевала наполниться дивным ароматом, — сейчас я такого не знаю, и его не с чем сравнить: чтобы тушь не заплесневела, ее дезинфицировали марганцовокислым калием, смешанным с чем-то удивительно вкусным. Слышится мне порой и сухой, резкий треск разрываемой кальки, не бумажной, а батистовой, нежно-голубоватого цвета. Такой кальки сейчас никто не помнит, не знает, а когда-то отец копировал на ней все свои чертежи, предварительно натерев ее мелом, чтобы лучше приставала тушь; отдельные драгоценные полоски доставались и мне, а теперь целый рулон, оставшийся от отца, стоит у меня за шкафом — он никому не нужен, светокопии заменили кальку.

Летом, когда долго светло, отец проводил за чертежной доской всю вторую, послеслужебную половину дня; в осенние же и зимние темные месяцы сидел за ней в воскресенье и в так называемые табельные, неприсутственные дни (к радости школьников, их было много). По вечерам и до поздней ночи, когда я уже спал, отец занимался самообразованием, о чем речь впереди и для чего ему служил маленький, почти дамский письменный стол, — для другого не хватало места в нашей, как говорят сейчас, малогабаритной квартире. На зеленом сукне, освещенном керосиновой лампой под зеленым же абажуром, лежали учебники математики, французского языка, немецкого языка, латыни, теории русской словесности и единственно интересовавшая меня книга — «Физика» Краевича, на каждой странице которой были изображены приборы и опыты.

За этим столом и произошел эпизод, о котором почему-то любили рассказывать в нашей семье, — сам я помню его довольно смутно.



.. Мне пятый год. Стою у стола и смотрю, как папа пишет всего два слова; пишет крупно, четко, печатными буквами, деля каждое слово по слогам: «ЛЕНЬ-КА ДУ-РЕНЬ».

— Прочти, что я написал. Вслух! — весело говорит папа.

Я послушно читаю. Читаю так, как написано, по слогам, произнося их серым, невыразительным голосом:

— Лень-ка ду-рень.

Прочел. Поднял недоумевающий взгляд на отца.

— Прочти еще раз, — говорит он. — Вслух! Громче!

Читаю еще раз. Громко. Все тем же деревянным голосом. Не испытываю ровно ничего. Теперь папина очередь недоумевать. Он хмурится, готов рассердиться: еще бы — сын действительно глуп, ничего не соображает, очевидно никогда не станет вникать в смысл написанного. Вдруг отца осенило:

— Прочти про себя! Тихонько.

Прочел. Дошло. Хохочу. Папа хохочет вместе со мной. Зовет домашних. Хохочем все. Сколько раз потом ни вспоминали — всегда смеялись. И я громче всех. Почему я не обижался? Наверное, чувствовал, что на моих глазах сотворяется миф, которому жить и жить: мифология — дело серьезное.

Впрочем, я знал, что у папы не было намерения меня обидеть: просто добрая, пусть немножечко грубоватая шутка. Я умел ценить такие минуты, мой громовержец-отец не часто со мной шутил. Чаще ему было некогда или его что-нибудь раздражало, и тогда берегись: вся семья тотчас пряталась в воображаемое бомбоубежище, пока не погаснет вспышка.

Бесконечно заботлив и добр бывал папа во время моих болезней, а на них господь бог не скупился: два крупозных воспаления легких; испанка, поделенная с мамой, — папа за нами обоими ухаживал; особенно изнурившая меня в голодном двадцатом году желтуха; не считаю уж мелких простуд. Я и сейчас ощущаю кожей груди жестокий, но радикальный способ, каким в 1915 году земский врач справился с моим двусторонним воспалением легких. Антибиотики появились лишь через тридцать лет, а горчичники мне уже не помогали, и вместо них Лев Григорьевич налепил мне на грудь пластырь из шпанской мушки. Пластырь зверски обжег меня — кожа сошла двумя большими квадратными

лоскутами, обнажив красное, мокрое мясо, которое чем-то присыпали, чтобы не прилипла рубашка, но пневмония была побеждена.

Легко понять, почему отец так глубоко переживал мои хвори: потеря старшего сына, умершего в самое мирное, тихое время, когда меня еще не было на свете, напугала молодого отца на всю жизнь.

Ласков, нежен был папа в письмах, например в первую мировую войну, когда на два года разлучился с семьей. Из Ижевска, где он служил лесничим в артиллерийском ведомстве, он дважды в неделю писал нам с мамой — письмо ей, письмо мне. Как ни странно, письма ко мне сохранились; письма к маме, равно как ее и мои письма к папе, сгорели в 1926 году. Я запомнил всего одну строчку: «Милый папа, царя больше нет! Ура!!», на что папа ответил мне очень серьезным, проникновенным письмом:

«11 марта 1917 года — ночью.

Милый мой мальчик! Я тоже очень рад тому, что у нас теперь новое правительство из народа. Бог даст, тебе уже не придется видеть того, что видели наши отцы и мы. Настанет время, когда сын каменщика может стать министром, лишь бы у него был ум.

Как бы мне хотелось погладить тебя по головке, милый Ленок! Поцелуй, дорогой мой, маму от меня, а потом и за себя. А я целую тебя хоть в письме. Будь здоров, мой хороший, будь здоров, будь здоров!.. Кланяйся тете Ане, дедке, Сане, Муську погладь. Спокойной ночи, мой голубанчик!

Твой папа».

Какой же он был, мой папа? Очень разный. Когда я решил написать о нем, я сразу себя спросил: труднее это мне или легче, чем писать о других? И не задумываясь ответил: труднее. Почему? Разве у отца был такой уж загадочный, закрытый характер? Ведь он был натурой горячей, часто несдержан, иногда даже груб, — при всем том, что в какие-то важные, ключевые моменты своей и моей жизни оказывался необыкновенно деликатен, проявлял нерешительность, даже робость... Например, когда я оставил Электротехнический институт, в который в свое время так энергично, неудержимо стремился, и целиком предался литературе, я, несомненно, причинил этим отцу глубокую боль; тем не менее отец не только не побранил меня, ни словом не упрек-

нул, но и после никогда не напоминал о моей непоследовательности.

Прежде всего — и это все знают, — рассказывать о человеке, кровно родном тебе, гораздо труднее, чем о друге или просто хорошем знакомом. Главное же, при всей своей искренности и прямоте, я бы сказал — при врожденной неспособности лгать и лукавить, во многом отец был скрытен: большинство мыслей и чувств, касавшихся его самого, сбывшихся и несбывшихся надежд он до конца дней таил от меня и от мамы, — можно только догадываться, что думал он о себе, об удаче или неудаче прожитой жизни. Не исключено, что он старательно подавлял, глушил в себе эти мысли, — дело от этого не меняется: внутренняя, как можно глубже запрятанная самооценка все равно остается.

Быт, быт, быт, порой даже пошлый быт, — вот с чем сталкивала судьба этого всесторонне одаренного, умного и душевно тонкого человека; отсюда его драма.

Коснусь я отчасти и наших с отцом взрослых отношений, в том числе (и не в последнюю голову) отношения папы к моим литературным занятиям. Неприятие модернизма первых двух повестей, затем интерес к «Базилію» и к написанным мною позже историко-биографическим сценариям и пьесам. Мои стародавние попытки заинтересовать папу Блоком, Пастернаком, Мандельштамом, Цветаевой. Осечки! Срабатывал только Бунин, и то его стихи казались папе холодноватыми (справедливо!), а проза слишком торжественной («Чаша жизни», «Господин из Сан-Франциско»). Остро помню, как в середине тридцатых годов прочел папе вслух Пастернака:

Мне хочется домой, в огромность  
Квартиры, наводящей грусть.  
Войду, сниму пальто, опомнюсь,  
Огнями улиц озарюсь.

Перегородок тонкоробость  
Пройду насквозь, пройду, как свет.  
Пройду, как образ входит в образ  
И как предмет сечет предмет.

Папа простодушно (или иронично?) спросил:  
— У него что, такая большая квартира?

Сначала меня пронзила обида за Пастернака и боль за папу: как он мог это сказать, с его врожденным чувством прекрасного, с его нежной любовью к Чехову (а значит, и ощущением подтекста)! Но потом я подо-

садовал на себя: глупо навязывать людям Пастернака, если их миновала почти вся поэзия XX века...

Да и что тут долго объяснять: папа был раз и навсегда очарован Чеховым и дальше не пошел. Даже за Чеховым-драматургом, боюсь, не пошел бы, хотя заочно преклонялся перед Художественным театром. Правда, в 1927 году, побывав в командировке в Москве, смотрел «Горячее сердце» в МХАТе, и спектакль не понравился своей «лихостью»: в его представлениях Художественный театр был другим, совсем другим. (Да это и верно, — Островский не Чехов, а чеховские спектакли в эти дни не шли на мхатовской сцене.)

Впрочем, после голодных, трудных лет (с 1918-го по 1922-й) папа почти перестал посещать театр: например, я не мог уговорить его посмотреть привезенные в 1924 году Гайдебуровым в Котельнич три хороших спектакля, в том числе «Вишневый сад» Чехова. Он вообще стал «отказчиком» от большинства удовольствий и развлечений, исключая чтение и рыбалку. Поразительно резко разделил папа свои «две жизни»: в одной все свободные от работы дни и часы отдавал самообразованию и эстетическому самовоспитанию, в другой, гораздо более протяженной по времени, отказался от всего, что выходило за рамки труда и насущных забот...

Я забежал далеко вперед, но мне хотелось, чтобы читатель сразу увидел, с кем придется ему иметь дело: читать о человеке негромкой судьбы, человеке долга (даже в каком-то смысле жертве долга), человеке надломленном и одновременно цельном, увлекающемся и вместе с тем постоянно сдерживавшем себя, о человеке, который сделал на своем скромном пути много, а мог бы сделать неизмеримо больше и, я убежден, в совершенно иных масштабах.

С чего начну? Передо мной тетрадь в четвертушку листа, сшитая из нелинованной бумаги; на пожелтевшей обложке читаю: «Афоризмы, изречения, пословицы, поговорки и проч.» Внизу: «Котельнич. 1902 г.»

1902-й. Значит, владельцу тетради двадцать лет (родился в декабре 1881-го); еще не женат (женится через три года); в Котельниче человек новый, только что прибыл, увеличив население городка на одну душу (в 1897 году, по данным всеобщей переписи, здесь было 4236 жителей, но с началом строительства железной дороги народу стало прибывать — уже близилось к пяти тысячам).

Кто в прежние времена не выписывал из прочитанных в юности книг заинтересовавшие его строчки, особенно стихотворные? Иной попросту переписывал афоризмы из отрывного календаря, где они помещались рядом с именами святых и рекомендованным на сегодняшний день меню. Среди истин и наставлений типа «Выше лба уши не растут» или «Пей, да дело разумей» попадались строки действительно мудрые — из творений великих писателей и философов древности, правда тоже успевшие стать расхожими. Их ценили в основном те, кого К. И. Чуковский в 1911 году в книге «Лица и маски» назвал полуинтеллигентами, — сельские учителя, земские фельдшеры, волостные писари (в тех губерниях, что полиберальнее, — например, в Вятской). Это они усердно читали популярно-научные общеобразовательные журналы и переписывались с редакцией и друг с другом. Это они поднимали, как свое знамя, стихи Сенеки Надсона:

Друг мой, брат мой, усталый страдающий брат,  
Кто б ты ни был, не падай душой. . .

и восклицали с надеждой:

Верь, настанет пора и погибнет Ваал,  
И вернется на землю любовь!

Вероятно, к этим полуинтеллигентам можно бы приобщить и обладателя тетрадки. В ней тоже видна тяга к добру, тяга к знанию, желание послужить народу, простодушная вера в прогресс, в то, что все образуется, лишь бы народ получил возможность учиться. Но, вчитавшись внимательнее, невольно ощутишь, как бьется живая мысль записывавшего чужие мысли, как страстно ищет он в противоречивых высказываниях (от Евангелия до Ницше и от Марка Аврелия до Щедрина) свою правду. И эта неистребимая жажда знать, знать, знать — сколько в этом молодой силы! Чем дальше читаешь эти странички, исписанные торопливым, но четким почерком, рукой, привыкшей красиво чертить и красиво надписывать свои чертежи, тем больше убеждаешься, что имеешь дело с человеком, для которого мир, люди и сам он всегда тесно связаны, что все внешнее для него в то же время и внутреннее, боль мира — это и его боль, и, если с годами душа не остынет, не ожиреет, не переродится, жить ему будет нелегко и непросто.

Вместе с тем записи говорят о том, что юношеский идеализм не мешал ему ценить острогу ума, резкость мнений, гиперболичность, а то и горькую мизантропичность образов: «Видал ли кто, чтобы какой-нибудь собаке подчинялись тысячи собак? Человек же позволяет другому человеку бить себя, тысячи людей терпят это и вертят при этом хвостами»; «Неизвестно, животное ли было отцом первого человека, но достоверно, что от людей родились страшные звери». Ценил он и шутку: «Англичанин любит свободу, как свою жену; француз — как любовницу; немец — как свою старую бабушку». Но больше всего записей о том, что и тогда, и долгие годы спустя его особенно волновало: «Образование равносильно оружию, раздача которого всему населению считается делом опасным»; «Я не верю в зло, я верю в невежество». Характерно, что в записной книжке, с которой он в 1913 году ездил в Москву — сделать еще одну попытку поступить в высшее учебное заведение (будучи уже тридцатилетним семейным человеком), я нашел выписку из популярной в свое время книги Вильгельма Оствальда «Великие люди»: «Мания наших высших школ закрывать свои двери перед всеми жаждущими учиться, но не прошедшими программного курса образования (кстати, весьма неподходящего) вплоть до получения аттестата зрелости, лишает их же, высшие школы, и вместе с ними и народ, такой группы рекрутов, из которой вышло бы, наверное, относительно гораздо более генералов, чем из рядов нормальных учеников».

Да, жизнь так сложилась, что он не смог получить полного среднего, а значит, и высшего образования. Что помешало в детстве и юности? В основном бедность и безотцовщина. Николай Иванович Рахманов, столяр Шурминского завода на юге Вятской губернии, умер, когда моему отцу не было еще десяти лет. Детей у Анны Автономовны Рахмановой было трое, да еще старая «бабенька» (так звал папа бабушку, мать отца, которая в юности была крепостной), поэтому Коле с самых ранних лет пришлось помогать семье: учился и работал. Начальное училище в Шурме, городское училище в Уржуме (где несколькими годами позднее учился Киров) и, наконец, Суводская лесная школа, — везде Николай Рахманов шел первым, был гордостью школы (у меня сохранились его похвальные листы и аттеста-

ты). А дальше... дальше служба. Из своего мизерного жалованья двадцатилетний лесной кондуктор посылал деньги матери, оставшейся в Шурме, и младшей сестре, учившейся в Уржумской гимназии, помогал многодетной старшей сестре, которая была замужем за рабочим, а когда окончательно основался в Котельниче и женился (что говорить, рановато, но об этом особо), то выписал к себе младшую сестру, чтобы она жила и служила неподалеку (мать к тому времени уже умерла). Не много ли на себя взял для начала? А что делать, если так надо!

Скоро отец оставил место лесного кондуктора и перешел в земство на должность чертежника, потом дорожного техника, — жалованье стало несколько больше, работа разнообразнее. В 1905 году родился сын, Анатолий, в 1907-м умер; в 1908-м родился второй, и это уже был я. В том же 1908 году семья отправилась в Уфимскую губернию, — сманил дорожный инженер Булыгин, живший в Котельниче на положении ссыльного и затем переехавший в Стерлитамак. Родителям там не понравилось, и мы вернулись в Котельнич; не помогли остаться и любовь отца к Аксакову, интерес к аксаковским местам; правда, Стерлитамак — это еще не совсем аксаковские места, те ближе к Волге.

В Котельниче начались усиленные занятия отца математикой, историей, языками — всем, что было необходимо для получения экстерном аттестата зрелости.

Русским языком, литературой, историей отец занимался под руководством учителя Бурова, с которым я встретился, сам уже будучи взрослым: он жил тогда в Горьком, переучившись в сорокалетнем возрасте из педагога в инженера-механика. У меня осталось о нем впечатление как о болезненном, суховатом и даже желчном человеке, но вот, прочитав оставшиеся от отца несколько ученических сочинений (1912—1913 годы!) с пометками Бурова и письмо от него к отцу (1930 год), я понял, какую радость испытывал этот суховатый человек, занимаясь с отцом и его друзьями литературой, общественными науками, и с какой болью оставил учительство и занялся техникой (1923 год): материальная необеспеченность, веяние эпохи — и прирожденного гуманистара не стало, появился еще один итээр.

Я сказал: занимался с отцом и его друзьями. Да, мой отец вовлек в эту великовозрастную учебу двух-

трех своих котельнических приятелей. Как же не почитать, не ценить Бурову своего ученика Н. Н. Рахманова — тридцатилетний мужчина вечерами, ночами трудился над сочинениями: «Личность Бориса Годунова в истории и в художественном изображении Пушкина», «Элементы национальности и самобытности в произведениях Пушкина», «Теория чистого искусства у наших поэтов», «Власть тьмы», «Влияние байронизма на Пушкина и Лермонтова»...

Передо мной копии документов, полученных отцом перед первой мировой войной для сдачи экстерном экзаменов на аттестат зрелости и поступления в высшую школу. Что толку в том, что по всем предметам у него круглые пятерки! В 1913 году, когда отец ездил в Москву, чтобы окончательно выбрать высшее учебное заведение, у него, как ни странно, было большое желание резко переменить профессию и учиться на врача! Из своих более чем скромных средств он накопил денег на учение и на содержание семьи в эти годы; все зря: в 1914 году началась война, спутав все его планы.

Разумеется, я тогда не знал этих планов, помню только, как мы с мамой провожали его и встречали. Гораздо больше запомнилось в предвоенный год другое событие. Я очень любил младшую его сестру, Александру, тетю Санику, как я ее называл, знал, что и папа любит ее; знаю (уже по рассказам мамы), как однажды, еще гимназисткой, — приехав к нам в гости в Котельнич, — она подожгла себе платье от спиртовки (разлился горящий спирт), как, обезумев от страха, выскочила во двор, и пламя сразу охватило ее всю, и как папа, который, по счастью, был дома, выскочил вслед за ней, голыми руками сорвал горящее платье и спас ее.

Окончив гимназию, тетя Саника поехала учительницей в деревню Крнуши, недалеко от села Сорвижи, верст за восемьдесят от Котельнича; лето иногда проводила у нас или мы с мамой ездили к ней. И вдруг, совсем молоденькой, вышла там замуж за Григория Фомича Сысолетина, местного жителя, служившего волостным писарем, молодого, пожалуй, даже красивого, только со следами оспы на лице. Она написала о замужестве (или о твердом своем решении) неожиданно, не советуясь ранее с братом. Это для него было страшным уда-



ром. Во-первых, обидело, даже оскорбило: все-таки он был ее опекуном, обучил, воспитал ее (ни отца, ни матери уже не было в живых). Во-вторых, он считал это чудовищным «мезальянсом»: волостные писари были у него на плохом счету, слыли вольными или невольными помощниками царских властей.

Письмо получили в то время, когда я играл на другом конце нашего большого двора, на галерейке у погреба. Кажется, я играл в кинематограф, потому что, помню, развешивал на столбах галерейки цветы тыквы, изображавшие электрические лампы с желтыми абжурчиками в виде рожков, которые я видел в местном кинематографе.

Я был увлечен игрой, но издалека слышал доносившийся из дому громовой голос отца — это он бушевал, получив письмо тети Саники... Я пришел домой, когда главная буря кончилась, оставалась подавленность, мрачность. Конечно, мне ничего тогда не рассказывали, ни во что не посвящали, но постепенно из разговоров домашних я узнал о случившемся.

Не знаю, что папа ответил своей любимой сестре и когда ответил, сразу или через какое-то время. При всей пугавшей меня в те годы вспыльчивости, он был отходчив, тетю Санику он скоро простил, примирился и с неожиданным зятем, который оказался неплохим человеком, притом очень юным. Григория Фомича вскоре взяли на войну, а родившаяся у тети Саники дочь Миля окончательно примирила папу с этим браком — он очень любил маленьких детей. Прежняя нежность к младшей сестре не только возобновилась, но и усилилась: Миля умерла, горе тети Саники и ее тревога за мужа на фронте не могли не влиять на папу. Но некоторый холодок к Григорию Фомичу, который в 1917 году вернулся с войны, и досада на то, что сестра — такая красивая, такая способная — поторопилась с замужеством, навсегда остались.

В чем-то судьба тети Саники была схожа с папиной: эта женщина несомненно заслуживала лучшей доли. В молодости она была не только красива — ее отличали ум, юмор, вкус, наблюдательность, соединенные с даром рассказчицы. Мы заслушивались ее устными рассказами о деревне, о бабах, о мужиках, о детях; к сожалению, на бумаге, в письмах весь юмор, колорит, живость бесследно исчезали — письма были обычными. Кто знает,

если бы тетя Санька поупражнялась, может, ей удалось бы в конце концов переносить на бумагу очарование своих устных баек. Не то вышел бы из нее второй Горбунов или «Первоандроников». Как часто люди не находят свой путь, зарывают в землю талант. Но бывает, что молодые способности и обманывают, сами уходят в песок.

Почему я поставил эпитафией к этой главе слова Баратынского? В каком-то смысле они подходят к судьбе моего отца. Энергия, стремившаяся его вперед в ранней молодости, вдруг в какой-то момент застыла: отец проектировал и строил мосты и дома, причем с полной самоотдачей, но движения вперед не было. Что было главным препятствием? Почему дальше сперва лесовода, потом дорожного и строительного техника (пусть фактически инженера и архитектора) он не пошел? Собственно, я уже назвал две причины: первая — ранняя женитьба, постоянно испытываемое чувство долга перед семьей — матерью, сестрами, женой, сыном; вторая — барьер на пути к высшему образованию для бедняка из народа. Мне иронически скажут: а Ломоносов, о котором ты сам писал? Приведут другие, более новые, убедительные примеры. Ну, что ж, отвечу я с горечью, значит, отец не был достаточно волевой натурой, чтобы сделать крутой поворот и поломать все преграды, может быть, раньше всего — свою граничившую с робостью скромность, — да, да, ту самую, что так украшает человека. . . Об этом надо рассказать, хотя рассказать будет, знаю, нелегко.

Что произошло в 1900 году, когда воспитанник Суводской лесной школы приехал в Котельнич? Он поселился у Анны Ивановны Лебедевой, в доме, который я описал в главе «Старый дом и его хозяйка». Племянница Анны Ивановны, удочеренная ею после смерти матери, училась в Орловской гимназии, куда она поступила по настоянию нового жильца, — ей было четырнадцать лет, и он сам отвозил девочку в Орлов. Девочка была миленькая, хорошенькая, и Николай Рахманов явно готовил ее себе в невесты. Мама сама рассказывала, что гимназистки бросались к окнам, когда приехавший в Орлов Рахманов шел по улице:

— Ксеничка, Ксеничка! — кричали они. — Твой кондуктор идет!

Высокий, стройный, румяный двадцатилетний юноша в форменной тужурке лесного кондуктора и верно стоял

того, чтобы на него поглазеть. Зарились на него в Котельнице и богатые невесты, которых там было немало (одна из них даже училась в одном классе с мамой).

Николай Рахманов не стал дожидаться, когда Ксения Пикова закончит гимназический курс в семь классов, хотя сам же ее туда определил, и в 1904 году, в июне, когда Ксеничка перешла в 7-й класс, он последний раз отвез ее из Орлова домой, в Котельнич. В октябре состоялась свадьба. Так как невесте еще не исполнилось семнадцати лет, пришлось испрашивать разрешение в Вятке у архиерея. Молодые поселились в новопостроенном флигеле (две маленькие комнаты и кухня), и первая ночь чуть не кончилась трагически. На дворе уже было холодно, печь натопили жарко и рано закрыли вьюшки — новобрачные угорели. Угорели так сильно, что папа едва смог добраться до дверей и открыть их настежь, а затем вытащил маму в холодные сени. Так начался их брак, продолжавшийся пятьдесят шесть лет.

Был ли их брак счастливым? Когда мама, пережившая папу на тринадцать лет, рассказывала в старости знакомым (и малознакомым) людям о своей жизни с папой (такая потребность бывает у стариков), она заключала свой рассказ так: «Мы не только не ссорились, но даже ни разу не поспорили...» Мама искренне верила, что было именно так, и в чем-то она была права: спорить с папой она, действительно, не спорила, а папа не спорил с ней. В первые годы власть папы была настолько неоспорима, слово его было настолько законом, а мама была в него так влюблена, видела в нем (справедливо) настолько превосходящее ее духовным развитием существо, что ей и в голову не могло прийти спорить, сомневаться в каком-либо его слове и поступке.

Постепенно что-то менялось, — менялась жизнь, обстановка, менялись с возрастом и они сами. С годами папа сделался мягче, стал относиться ко многому философски, особенно в последние два-три десятилетия, то есть к старости. Но и раньше власть и влияние его невольно ограничивались: быт, дом, домашнее хозяйство были почти исключительно маминой сферой, она в ней пребывала всегда, постоянно (особенно после тети Аниной смерти, когда пришлось стать хозяйкой), — у папы же было много иных интересов. Какую-то их часть одно время разделяла и мама: они читали одни и те же книги (я имею в виду художественную литера-

туру, а не учебники), но служба, домашняя сверхурочная работа, многочисленные поездки в уезд, а во все остальное время неустанные занятия самообразованием — все это целиком занимало папу.

Потом на два с лишним года отец расстался с Котельничем, а так как он был однолюб, страстно привязан к маме, ко мне, то его постоянным желанием было скорее вернуться домой. Уже через много лет после папиной смерти я нашел далеко запрятанный им двойной портрет — мамы и меня: это он скопировал чертежным пером на ватмане, увеличив во много раз (40×60 см) нашу фотографию, посланную ему в 1917 году в Ижевск. Он так скучал о нас, что ему доставила, очевидно, радость работа над этим портретом. Но вот свойство его характера: из скромности, или стесняясь, или еще по какой-то глубоко личной причине он никогда не показывал мне (ни ребенку, ни взрослому, и не уверен, что показывал маме) эту искусную копию, и она пятьдесят с лишним лет пролежала на самом дне ящика со старыми чертежами вместе с несколькими карандашными набросками с мамы, когда она была еще гимназисткой. Отец отлично рисовал, что видно и по его ранним ученическим работам, но способности эти он применял потом только как прикладные, в помощь своим техническим и чертежным занятиям.

В раннем детстве, еще до этой почти трехлетней разлуки с папой, я очень любил домашние зимние сумерки. Рано темнеет, сразу же после обеда, но лампу еще зажигать не хочется, папа с мамой усаживаются рядышком против быстро синеющего, в морозных узорах или сверху донизу заледеневшего окна — и поют. Что поют? Как ни странно для столь далекого от грядущей революции семейного дома, они часто пели революционные, каторжные, тюремные песни: «Варшавянку», «Старого капрала», «Ночь темна, лови минуты», «За озером диким, Байкалом». Особенно любили петь песни на слова Некрасова — «Средь высоких хлебов затерялося», «Что ты жадно глядишь на дорогу», «Машу»:

Белый день занялся над столицей,  
Крепко спит молодая жена,  
Только труженик муж бледнолицый  
Не ложится — ему не до сна.

Смешно, что, слушая «Машу», я почему-то думал о них, о родителях, хотя что, казалось бы, общего! Прав-

да, бывало, мы с мамой давно уже спим, а папа сидит и сидит за чертежной доской или за учебниками, но бледнолицым и чахлым его уж никак не назовешь: крепкий, широкогрудый, с обветренным загорелым лицом, с темно-каштановыми кудрями и чуть посветлее усами и бородой... Да и мама, если ложилась раньше, то спала очень чутко, а уж когда я болел, то, стоило мне шевельнуться, — она моментально вскакивала, давала питье или лекарство. В такие ночи и папа с тревогой прислушивался — ровно ли дышит Ленья, не хрипит ли у него в горле, в груди.

Мама любила вспоминать еще более молодые их годы. В морозный крещенский вечер, когда они с папой пошли прогуляться, к ним подбежали две девушки и попросили папу назвать свое имя. Он ответил:

— Навуходносор.

Не зная, смеяться или сердиться на такое небывалое для будущего жениха имя, девушки убежали. Мама много лет спустя, когда папы на свете уже давно не было, не уставала удивляться, как это ему могло прийти на ум столь древнее имя.

Да, отец бывал веселым, и эта веселость всегда была искренней, а не деланной, не наигранной. Охотно смеялся он и чужим шуткам, но только тогда, когда они были тоже искренними; если же замечал, что его собеседник нарочно старается рассмешить или в шутках сквозит цинизм (уж не говоря о похабщине), отец мрачнел, хмурился, у него явно портилось настроение.

Что касается вечерних прогулок рука об руку с мамой, то весной, летом, осенью они чаще всего ходили на берег Вятки, на Верхнюю площадь с ее необъятным кругозором, с лесными далями или спускались к самой реке, на пристань, где иногда случалось встретить или проводить белый нарядный пароход с толпившимися у бортов пассажирами. Когда я подрос, мы ходили втроем, и мне это нравилось — совсем не скучно было созерцать вместе с ними реку, заречные рощи... В моем детстве Вятка была полноводной, всю первую половину лета, до сильной жары, по ней ходили большие двухъярусные белоснежные пароходы: «Москва», «Булычев» (фамилия вятского пароходчика) и до глубокой осени — пассажирские одноярусные: «Сын», «Дед», «Наследник».

Прогулки родителей стали менее регулярными в голодное время, когда каждый день надо было думать

о том, как бы прокормиться. А в благополучные годы папа часто отсутствовал — ездил в уезд, где по его проектам строились или перестраивались мосты, дамбы, бетонные трубы. Много лет это было его главным занятием.

В уезд отец ездил в любую погоду — летом, зимой, в весеннюю и осеннюю распутицу. Летом всегда надевал в поездку старый брезентовый плащ с капюшоном от дождя и пыли, зимой — старую шубу и брал с собой большое меховое одеяло; это одеяло долго потом лежало без употребления, пока его не съела моль. Кроме старого, вытертого, потрескавшегося на сгибах кожаного саквояжа отец также брал с собой различные инструменты — астролябию, нивелир, уровень, рулетку, а то и стальную мерную цепь. Оружия отец не имел, хотя оно было бы иногда не лишним: на геодезические инструменты никто бы не покусился, но ведь отец возил с собой часто и деньги, порой немалые, для расплаты с рабочими и подрядчиками.

Кстати, отец не раз ночевал на том самом постоялом дворе, хозяин которого оказался впоследствии настоящим бандитом, грабившим и убивавшим проезжих. Я с пристрастием выпытывал у папы, о чем и с каким выражением лица беседовал с ним этот разбойник, ставя для него самовар или желая спокойной ночи. И всякий раз папа меня разочаровывал, уверяя, что ничего, кроме хозяйственной озабоченности и добросердечной услужливости, он не мог разглядеть на лице преступника.

Да, чего не было, того не было, — сочинять, придумывать отец органически не мог; все, что похоже на хвастовство, тоже не выносил. Поэтому с трудом вытянули мы с мамой подробности приключения, которое он претерпел в одну из поездок: вешней водой прорвало плотину, и отец с возницей, их лошадь, сани, багаж вдруг оказались в круговерти. Правда, отец тогда был еще молод, силен, прекрасно плавал, но возница плавать не умел, — значит, первым долгом пришлось вытащить на берег его, перепуганного, в тяжелом, намокшем полушубке; затем отец постепенно доставил на сушу все, что было с собой, в том числе шубное одеяло и кожаную дорожную подушку. Слава богу, эти заплывы в ледяной воде от затонувших саней к плотине и обратно обошлись без простуды.

Папины поездки в уезд были для нас одно время особенно чувствительны... Зима 1919-го: голод, тиф,

грабежи. В долгие темные вечера вдруг звякает щеколда. Это вошел неизвестно кто в калитку. Бродит по двору, вокруг дома, заглядывая в окна. А в доме две женщины и мальчик. И хотя он читает Густава Эмара и журнал «Вокруг света» и привык к всевозможным приключениям и злодействам, но, когда в окна комнаты кто-то снаружи смотрит с тайными и зловещими намерениями, а они здесь против него (или, может быть, против целой банды) так беззащитны, на душе поневоле делается очень беспокойно. И вот они томительно ждут, когда снова звякнет щеколда: значит, неизвестный ушел.

Однажды они просыпаются от ощущения, что что-то неладно, вероятно сквозь сон услышали стук или шорох у двери. Они — в том числе и ночующий сегодня в доме знакомый мужик, который привез на базар свиную тушу и положил ее до утра в амбар рядом с домом. Вне себя от тревоги за судьбу этой туши, ценность которой теперь не сравнима ни с чем на свете, мужик кидается в сени, в темноте на ощупь открывает засов, дергает за скобу — дверь не открывается: снаружи завязана веревкой. Он яростно рвет дверь, ему удается ослабить веревку настолько, что образуется щель.

— Нож! — кричит он нутряным, страшным голосом. — Дайте нож!

Притаскивают нож, сквозь щель он судорожно кромсает веревку и выскакивает за дверь. У порога валяется железный ломик — это стоял кто-то на стреме, вдали слышится топот убегающих ног, амбар распахнут настежь, а драгоценная туша валяется в десятке шагов от амбара. Убежавшие воры бросили ее, испугавшись, как видно, ужасного крика: «Нож! Нож!»

Конечно, никто не спит до утра, а днем я сооружаю сигнализацию: стоит лишь приоткрыть дверь амбара, как бечевка натягивается, в сенях падает на гремучий железный противень десятифунтовая гиря и будит всех в доме. Ну а дальше что? Что дальше, когда мужик уедет? Как мы сможем одни бороться с бандитами?

А дальше происходит вот что. Гиря падает в эту зиму дважды, и оба раза переполошенные взломщики безропотно убегают. С тех пор в доме укрепляется дух бесстрашия. По крайней мере, его обитатели уже не испытывают этого унижительного чувства полной беспомощности по вечерам и ночью, прислушиваясь, не бродит ли кто-нибудь подле окон, не заберется ли сейчас внутрь, не зарежет ли их. Оказывается, воры, бандиты,

налетчики тоже чего-то боятся, хотя здесь-то им уж как раз лафа грабить: дом стоит на отшибе, и никто не придет на помощь двум женщинам и одиннадцатилетнему мальчику. И все-таки бандиты чего-то боятся, и это очень отрадно знать...

С начала двадцатых годов отец стал работать не только для уезда, но и для города. Я не знаю причин, по которым проводилась нивелировка и точный обмер всех пустующих в городе земельных участков, зато хорошо помню сами эти обмеры. Дело происходило зимой, в учебное время, но учились мы в эту зиму все еще мало и плохо, часто уроков совсем не было, и я полностью был в папином распоряжении. Моя обязанность заключалась в том, чтобы, крепко держа конец рулетки, идти с ним туда, куда меня папа направит. Папа записывал результаты обмера в толстую записную книжку, она сохранилась, я с интересом сейчас в нее заглянул и увидел набросанные карандашом планчики участков в виде прямоугольников и трапеций, их размеры, проставленные еще в сажнях и аршинах (рулетка была старая), прочел фамилии бывших владельцев и их соседей. Наша работа требовала преодоления типично зимних препятствий. Мы бродили по колено, по пояс в снегу, погружались и глубже (тем более я, подросток), проваливались в какие-то ямы, вплоть до помойных. Больше всего мы остерегались заброшенных колодцев, и опять же бог милостив, не провалились.

Мне особенно дороги в этих воспоминаниях два обстоятельства: во-первых, то, что я чем-то помог отцу, а во-вторых — дружная, даже дружеская атмосфера этих занятий. Мой вспыльчивый, требовательный отец в наших зимних походах был всегда терпелив, добродушен, весел; не помню случая, чтобы он на меня рассердился, даже если я что-нибудь сделал не так или выпустил из озябших рук конец рулетки. Уж не говорю о том, как заботливо заставлял он меня вытряхивать из валенок снег, когда я выберусь из сугроба, а то и протапывал для меня в глубоком снегу дорожку. Думаю, что ему тоже нравилось своеобразное товарищество на вольном воздухе, на окраине, среди снегов и оснеженных деревьев, — природу папа любил самозабвенно. Добавлю, что при моей склонности к хворям я ни разу за эту зиму не простудился! Уверен, что отцовская забота и доброта сыграли здесь не последнюю роль.



Забота, терпение, доброта... Вот чего не хватало в наших занятиях математикой! Идеальный педагог с чужими людьми, с чужими детьми (он вел занятия в школе взрослых, на строительных курсах, в дополнительном старшем классе в нашей средней школе преподавал черчение), отец был никакой педагог с родным сыном. Может быть, в этом повинен я? Неспособный, ленивый, дурной ученик? Нет, я был довольно способным, во всяком случае усердным учеником. Более того, алгебру я любил и со спортивным азартом решал уравнения, выносил множитель за скобки, извлекал квадратный и кубический корень. Но количество задаваемых отцом упражнений мне казалось излишним, они докучали не трудностями, а числом, объемом работы. И все-таки я выполнял эту работу до конца. Но бывали случаи, когда я слишком надолго задумывался... Возможно, если бы у меня не отняли время десятки сравнительно простых, но кропотливых примеров, если бы внимание не было ими утомлено, я бы нашел решение трудной задачи и без подсказки.

Вот тут-то и была закавыка. В книжном шкафу, во втором ряду слева, стояли пять или шесть томиков решений алгебраических задач, — они остались у папы от тех времен, когда он экстерном проходил курс математики. Не знаю, часто ли пользовался он этими сборниками: страницы были разрезаны, некоторые томики даже слегка растрепаны (при всей папиной аккуратности) — значит, пользовался, заглядывал в затруднительных случаях. Это вполне объяснимо: папа был самоучка, никто не мог ему помочь, посоветовать, а тут он мог на примере одной задачи научиться решать другие. У меня же был опытный руководитель, — отец давно одолел эти математические секреты и всегда мог дать мне совет.

Но в том-то и дело, что этот мудрый, терпеливый учитель, когда это касалось других, был нетерпелив и нетерпим со мной. Он невероятно расстроился бы: как, его единственный сын, которому он со страстью передает свои знания, не мог решить уравнение с двумя неизвестными! Сын обязан, не может не решить!

И, боясь, не желая этой неизбежной вспышки, я трепетно доставал из заднего ряда книг том решений алгебраических задач Шапошникова и Вальцева и только мельком, в продолжение буквально одной секунды, взглядывал на решение, на первый его прием, на глав-

ный принцип, — и ставил книгу на место. Затем садился за стол и честно продолжал уже разработку принципа. Через несколько минут дело было завершено. Не часто, но, увы, так бывало.

Обманывал я этим папу? Конечно, обманывал. Но обман спасал нас обоих от нервного потрясения. Казалось странным, что папа не вспомнил об этих сборниках решений, не подумал, что я могу ими воспользоваться. Это теперь, анализируя его жизнь и характер, зная, что для него был всегда наслаждением сам процесс приобретения знаний, овладения навыками, я могу себе объяснить это максимальное доверие. И вообще, доверять для него было совершенно естественно. Когда этот рыцарь правды впрямую сталкивался с обманом, с нечестным выполнением долга, это казалось ему вне нормы, каким-то извращением. Например, я был свидетелем, когда вдруг выяснялось, что десятник или подрядчик его обманул, не исполнил того, что был обязан исполнить, а сказал, что исполнил... Папа не только гневался — он страдал.

Впрочем, папины вспышки внутри семьи чаще заканчивались тем, что он сожалел о них, если не прямо, не вслух, то косвенно. Ему хотелось поднять настроение «пострадавших», а заодно и свое, и вот, после бурно проведенных со мной вечерних занятий математикой, после прошедшего в молчании ужина (молчание означало борьбу с самим собой), он вставал, подходил к шкафу и доставал из него томик Чехова. Значит, буря прошла, она сменится сейчас лучезарной погодой: отец прочтет вслух рассказ Чехова!

Неприятные лжи, самой маленькой и невинной, неприятные к врялям и обманщикам не мешали ему хорошо относиться к мужу маминой двоюродной сестры Сашеньки. Сутулый, кашляющий, но веселый и разговорчивый, Флегонт Васильевич вечно рассказывал разные небылицы, якобы случившиеся с ним или с его близким знакомым. Истории были явно выдуманными, но отец не сердился и не порицал автора — очевидно, считал его выдумки своеобразным художественным творчеством. Да и невозможно было сердиться на доброго и веселого Флегонта, как у нас его сокращенно звали. Я любил его и за легкий нрав, и за рассказы, и за то, что он был паровозным машинистом, а все, что связано с железной дорогой, меня зачаровывало. Под старость Флегонт Васильевич работал машинистом уже не на паровозе, а на железнодорожной водокачке на станции Свеча, но я его

помню на «маневрушках», неустанно сновавших по станционным путям. Бывало, что «маневрушки» отправлялись и на соседние станции, и Флегонт Васильевич не только катал меня на своем паровозе, показывал, объяснял все устройство, но даже позволял нажимать тот или иной рычаг или крутить рукоятку, когда это было можно и нужно.

Единственно, когда отец был раздосадован, это когда Флегонт Васильевич приходил на плоты, где летом отец рыбачил, и принимался курить, говорить и надсадно кашлять, чем, по мнению отца, распугивал рыбу. Вообще, отец не любил нарушать эти святые для него часы, и тут пришло время сказать о его коронной страсти, которой он отдавался с детства и до трагического конца своей жизни.

Я не стану описывать рыбную ловлю: она изображена во множестве литературных произведений. Расскажу о нескольких запомнившихся мне случаях и о том, как отец относился к моей «рыбьей холодности». Несомненно, он огорчался, что сын не унаследовал его страсти, но никак не выказывал своего разочарования и даже с добродушным смехом любил рассказывать, как однажды мы вместе пошли рыбачить. Мне не было еще семи лет — дошкольный возраст, — но папа сделал для меня заправскую рыболовную снасть: легкое, гибкое удилище из калины, леска, крючок, поплавков — все настоящее, отменного качества. Мы стояли в нескольких саженьях друг от дружки, и спустя какое-то время отец заметил, что я не забрасываю в воду удочку — просто стою и стою.

— Леня, ты что? Не ловится или тебе надоело? — спросил меня папа. Ох, как мне не хотелось ему объяснить! Дело в том, что я размахнулся, чтобы забросить удочку, и зацепил себя крючком за штаны в таком месте, что никак не мог сам отцепить, — вот я и делал вид, что продолжаю рыбачить...

Не удалось отцу и научить меня плавать: сколько раз, шутя и смеясь, ни бросал меня в воду, я либо шел ко дну и он вынужден был извлекать меня на поверхность, либо я просто цеплялся за его плечи, прижимался к его могучей литой груди. Не помогали ни бережные поддержки, ни разведение моих рук и ног в стороны — словом, никакие учебные и принудительные приемы. Вот уж тут отец был разочарован и по праву сердился: жить

у реки и не уметь плавать! Кстати, плавать вскоре я научился весьма парадоксальным путем.

— Смотри, — сказал я другому мальчику, — смотри, надо так. . .

Показал — и поплыл! Отцовские уроки пошли впрок отраженным образом: учить — учась. Сыграло роль и мальчишеское тщеславие.

Зато позже отцу без труда удалось обучить меня владеть лодкой и веслами, причем в любую погоду, не страшась ни ветра, ни волн. Лодку он мне доверял летом на все дневное время (вечером или на рассвете пользовался ею сам для рыбалки), и я гонял на ней вверх и вниз по реке, один или с моими друзьями Карловыми: а то по узкому извилистому ручью перегонял лодку на озеро Старица (бывшее старое русло Вятки). Лодка эта была маленьким вертким челном, трех мальчишек она еще держала, не черпала бортами воду, но помню, как я перевозил за реку знакомого мужичка, и хлестнувшей волной (дул сильный ветер) замочило у него папиросы в кармане пиджака. Я увидел, что Алексей порядком перетрухнул, да и я почувствовал свою ответственность за такую рискованную переправу. К счастью, все обошлось благополучно.

В другой раз я испугался по-настоящему, перевоза через бурную реку маму (мы ездили с ней поздней осенью собирать плоды шиповника). Самое удивительное, что сама она, не умея плавать и панически боясь воды, на этот раз несколько не испугалась грозных мутных валов, которые успел нагнать низовой ветер. Мама полностью доверилась мне, как в любом случае доверилась бы отцу. Это, может быть, лестно, но в те минуты мне было не до тщеславия: я испытал огромное облегчение, высадив наконец маму на городекой берег.

Во вторую половину жизни отец увлекся зимним подледным ловом, который сейчас вошел в моду повсеместно, а тогда, в двадцатые годы, был еще на любителя. Сперва отец брал с собой брезентовую палатку, в палатке разводил костерок, но потом стал переходить с места на место, греясь тем, что пешней прорубал новую лунку во льду. Он ловил окуней на блесну — блестящую металлическую рыбку. Блесны теперь продаются в любом охотничьем и рыбацком магазине, а папа их тогда делал сам — выковывал медные и серебряные, оловянные отливал в формочке из мягкого местного известняка. Рыбачил он в устье Белой, впадавшей в Вятку

напротив города и служившей зимой затоном для пароходов, где их ремонтировали и красили.

С нетерпением ожидал отец ледостава. На заречных озерах — Старице, Карьере, Репейнике — лед устанавливался раньше, и, чтобы попасть туда, приходилось на лодке переезжать Вятку, часто уже покрытую мелким движущимся льдом — шугой. Лед на озерах бывал еще тонок, непрочен, можно легко провалиться, но куда опасней, коварней была река. Не забуду случай, когда уже наступала ночь, а папа все еще не вернулся домой. Дело в том, что за этот день резко похолодало и шуга на реке начала смерзаться. Пройти по этому льду, разумеется, было еще нельзя, и отец, и его два товарища пробивались на лодке от берега к берегу часов шесть. Мы не раз ходили к реке, с тревогой глядели в кромешную тьму, слышали вдали голоса, неясный шум, скрежет, удары пещни или топора; на крик наш никто не отзывался, в отчаянии мы уходили домой, через час возвращались, слышали опять то же... Наконец, донельзя усталый, потный, с прилипшей к потной голове шапкой, отец явился домой. Вид у него был виноватый: еще бы, мама и так всякий раз волновалась, когда он уходил на рыбалку, а тут рыбаки действительно чудом не попали в беду — в любой момент их железная лодка могла пойти ко дну. Они затрачивали невероятные усилия, чтобы в темноте пробивать, пробивать перед собой лед и по верхушку продвигаться к берегу: в осеннее половодье река была чуть не в километр шириной.

В морозные декабрьские и январские дни отец возвращался домой весь заиндеветый («закуржавевший», говоря по-вятски), с обмерзшей льдом бородой и усами, с красным, обветренным лицом, но счастливый. Все мы радостно его приветствовали, особенно наша маленькая, очень любящая и любимая нами собака Бобик. Однажды, не зная, что от восторга предпринять, она лизнула поставленную у двери пещню и оставила на ее ледяной грани всю тонкую верхнюю кожицу длинного язычка, — боже, как папа огорчился! В другой раз Бобик увязался на рыбалку; как ни отгонял его папа, Бобик тайком, стараясь быть незамеченным, протрусил за ним до заречной стороны. Что делать? Тельце Бобика было голеньким, с короткой, особенно на животе, шерсткой, — замерзнет! Отец засунул Бобика за пазуху и пошел домой — тут уж не до рыбалки... Говорит, что ругал-

ругал его, но Бобик был счастлив, угревшись за пазухой.

Отец трогательно любил все живое и незащищенное — птиц, животных, но случилось, что с трудом отбилась от затонских собак, напавших на него уже к вечеру, когда собаки до крайности подозрительны, к тому же подогреты компанейской злостью (недаром говорится — свора собак!). Отбиться было не так-то легко, потому что отец в тот раз был без пещни: он ходил за дубовой корой от цинги, которой мы мучились с мамой после испанки, — зубы у нас шатались, десны кровоточили, и папа варил настой из дубовой коры, которым надо было полоскать рот.

Перескочу через сорок лет, когда я в последний раз видел папу живым. Живым — и мертвым. Октябрь 1959 года. Декабрь того же года. Два моих приезда в Котельнич.

Еще в предыдущие встречи я с удивлением заметил, что в папе произошел новый сдвиг: главенство в семье он определенно уступил маме. Почему? Что случилось? По-видимому, философское отношение к жизни (или разочарование в ней? скептическая ревизия своей личности?) зашло так далеко, что легче стало во всем уступать, чем проявлять прежний характер, горячность, строптивость, а тем более власть. Во многом также эта уступчивость объяснялась папиным опасением за здоровье мамы. Он считал, что здоровье ее на опасной грани, и был готов к самому худшему. Когда мы с женой, приехав осенью в Котельнич, говорили с папой о самом ближайшем будущем, его и нашем, он грустно промолвил:

— Боюсь, что мама от нас скоро уйдет...

И верно: мама худела, слабела, иной раз без всякой, казалось, внешней причины теряла сознание. Папу это не могло не тревожить.

Мама пережила его на тринадцать лет, будучи моложе всего на пять и имея плохую наследственность: мать ее умерла молодой от чахотки.

Папа умер 10 декабря 1959 года, в день своего 78-летия, в шесть часов вечера. Дыхание оборвалось ровно с последним сигналом радиоточки в котельнической районной больнице. Мы были с ним в этот момент в палате одни, мама и моя жена пошли ненадолго

домой по хозяйству. Я держал папу за руку. Он последние сутки лежал без сознания, только крепко зажмурив глаза и втрое чаще дыша, — мой друг доктор Карлов сказал, что это бывает перед концом.

Как все это случилось? 26 ноября папа пошел на реку, за три километра от города, пошел довольный, веселый, предвкушая встречу с окунями. А привезли его вечером прямо в больницу полузамерзшего, с отнявшейся правой половиной тела, не владевшего речью: произошло кровоизлияние в мозг, он пролежал на льду в двадцатиградусный мороз несколько часов, пока его не нашел другой рыбак, возвращавшийся в город. Когда в больнице отца отогрели, кто-то спросил:

— Поймали хоть сколько-нибудь окуней-то, Николай Николаевич?

Отец слабо улыбнулся и на пальцах здоровой руки показал: трех...

Дальше все ясно: двустороннее воспаление легких, да еще при парализованном легком и общей тяжелой простуде. И все-таки он боролся со смертью целых две недели. Мукой было смотреть на его страдания, но вместе с тем восхищала его мужественная борьба. Он был в полном сознании, в первое время даже писал здоровой левой рукой записки. Первая записка была: «Не ждал вас так скоро...» (Он удивился, что мы с женой приехали уже на третий день несчастья: поезда из Ленинграда на восток ходили через день, но нам удалось сразу, как нас известили, поехать через Москву.) Скоро отцом овладела полнейшая слабость, не мог глотать, ничего не ел, но руку мою ощутимо сжимал до дня смерти. Еще накануне ночью, когда я дежурил подле него, а он был уже в забытьи, на каждое мое легкое пожатие его руки он отвечал таким же пожатием, может быть чуть слабее. Говорят, это уже только рефлекс. Возможно. Для меня это был знак понимания, привет, ласка.

Когда папа был еще в сознании и молча смотрел на меня, в углах его глаз я иногда видел слезы. Я не знал и не хотел дознаваться (он мог ответить хотя бы чуть заметным кивком или просто моргнуть) — отчего эти слезы: от боли? От мысли о близкой смерти? О не так, как хотелось бы, прожитой жизни? Или просто растроганность, столь нечастая прежде в наших отношениях, когда мы оба были здоровы? Кто может знать, о чём такой человек мог плакать?..

Плакал не он один. И не только мы, родные ему люди. Плакала молодая женщина-врач, почти не знавшая прежде папу и привыкшая в больнице к смертям: за эти две больничные недели она успела его оценить. Плакала на похоронах Вера Афанасьевна Дернова, отличная учительница литературы, но черствый, как мне казалось всегда, человек, — они встречались на учительских советах, очень давно, когда отец преподавал в школе черчение и геодезию в дополнительном классе. За два месяца до папиной болезни и смерти, встретив меня, пятидесятидвухлетнего, на улице, Дернова растерянно сказала:

— Леня... совсем большой стал...

Мне это наивное восклицание напоминает другой эпизод, происшедший тогда же. Я усердно работал в маленькой комнате, за письменным столом, которым мне, как обычно, служила папина чертежная доска, когда вошла мама и сказала, что на меня хочет поглядеть Лена Баруткина, что она видела меня только маленьким, поэтому ей интересно... Я вышел, мы поздоровались (Лена была дочь знакомого крестьянина из недалей деревни), немного поговорили, а когда она ушла, я смеясь сказал маме:

— Любопытно, как она могла видеть меня маленьким, когда она лет на пятнадцать моложе меня?

Мама смутилась, а слышавший меня папа мягко заметил:

— Для мамы ты навсегда останешься маленьким.

Я невольно подумал: «А для тебя мама всегда остается девочкой, потому что она выросла на твоих глазах. Не в этом ли разгадка твоей доброты? А если ты иной раз и сердился, то ведь сердятся и на детей...» Кстати, папа, который звал маму Ксенюшей, при посторонних (и даже при мне) стеснялся, произнося это имя: должно быть, смущала интимность, ласковость этого обращения, — наверно, он так называл маму, когда она была еще совсем девочкой.

...И вот прошло после этих курьезных маленьких эпизодов два месяца — и надо было выбирать место на кладбище. Горсовет, для которого отец так много и долго трудился, предложил мне выбрать любое место. И мы похоронили отца на высоком берегу реки, которую он так любил и которая его погубила; над обрывом, откуда открывался чудесный вид вдоль излучины Вятки,



на десяток верст влево и вправо и на тридцать верст, до горизонта, вперед.

Увозя маму с собой в Ленинград, мы заперли котельническую квартиру, где осталось все, как при папе; только отключили водопровод, чтобы не замерз, электричество, поставили папину фотографию за стекло в книжный шкаф, прислонив ее к томикам Чехова, к которому за свою жизнь он привык, как к близкому человеку, и, случалось, всерьез досадовал, зачем тот женился не на Лике Мизиновой, а когда в 1956 году я ему рассказал, что очень старая О. Л. Книппер-Чехова была на премьере моей пьесы в МХАТе и меня ей представили, он отнесся к этому факту крайне сдержанно!..

За окнами был белый морозный день, в них засматривали синицы, били клювиками в стекло и недоумевали, почему им на полочку не насыпают подсолнечных семечек и крошек сыра. В остальном, повторяю, все было по-прежнему, ибо в этих двух светлых комнатах оставалась папина честная, чистая, деятельная душа. И, уехав, я его видел мысленно — вижу и теперь — все разного: живого, здорового, быстрого, сильного, на прогулке в лесу, на плотах, на лодке; склонившегося над чертежной доской; что-нибудь мастерящего, пилящего, колющего дрова; нагнувшегося над огородной грядой; тяжело дышащего, борющегося со смертью в больнице; мертвого, исхудавшего и все равно красивого; совсем молодого, пышноволосого, громкого, сердито ругающего царя, войну; и нежно-заботливого ко мне во время моих бесчисленных детских болезней...

Говорят, пожилой человек все еще чувствует себя юнцом, пока жив отец. Не знаю. Меня, наоборот, папина смерть приблизила к моему давнему детству, и мне захотелось тогда же написать о детстве, об отце. Тогда не написал. Пишу, с опозданием, сейчас,

## МОСТЫ

Так получилось, что оба моих родных города — и тот, в котором я родился и вырос, и тот, в котором я прожил более полувека, — изобилуют мостами... Смешно сравнивать эти мосты и эти города, но факт остается фактом: в Котельнице много мостов — деревянных, через овраги и речки, и железных — на каменных и бетон-

ных быках, — пересекающих городские улицы и реку Вятку. О том, как я гордился в детстве железнодорожным мостом через Вятку, я писал в первой главе, — понятно, что меня больно задело, когда приехавший однажды в Котельнич мой ленинградский внук, издали увидев расхваленный мною мост почти в километр длинной, холодно проронил:

— Ну и что? Обыкновенный железный мост.

Зато я вполне был удовлетворен, когда тот же Алеша, проезжая под тем же мостом на моторке и задррав голову на высящиеся над нами могучие железные фермы, сказал уважительно:

— Да-а!

Как и я в свои девять лет, он не знал строк Маяковского: «Бруклинский мост — да, это вещь!» Правда, в мои девять лет эти строки еще не были написаны.

Помню, какими крохотными по сравнению с громадой моста выглядели подвешенные к нему то там, то здесь люльки с малярами, обновлявшими его стальной серый цвет. Ходили маляры и по верхним граням гигантских арок, чистили их от ржавчины, мыли и красили, не боясь сорокаметровой высоты. Нынче охрана труда позаботилась: вдоль краев арок тянутся железные перильца.

Признаюсь, всегдашней моей мечтой было пройти по этому мосту с одного берега на другой, но всегда этому мешала война, то одна, то другая: мост имел оборонное значение, его охраняли часовые; редко-редко случались годы, когда по нему можно было пройти со специальным пропуском, — мой отец одно лето такой пропуск имел, и я ему очень завидовал. Мог ли он взять с собой меня, мальчика? Думаю, что не мог, не то бы, наверно, взял. Помню, рассказывали, как на мост забежало несколько лошадей, одна из них провалилась передними ногами сквозь решетку настила, и ее задавил не успевший затормозить поезд; меня огорчила эта жестокость моста, и на какое-то время я к нему охладел, но скоро любовь вернулась. Даже уезжая в Ленинград, я взял с собой еще дореволюционную открытку — фотографию своего любимца, — она у меня и сейчас цела.

Что и говорить, по сравнению с этим индустриальным шеголем деревянные мосты через городские овраги и котловины выглядят не просто скромно, а, я бы сказал, уродливо, если бы мы к ним не привыкли и если бы с середины их не видели вдаль реку, еще дальше — за-

речный берег, весь в купах кудрявых дубов, а зимой — внизу, в овраге — каток, ярко освещенный по вечерам лампами, в давние времена керосинокалильными, потом электрическими. Да, хорошая вещь мосты, даже если они соединяют не два противоположных берега широкой реки, а ведут лишь из одного жилого квартала в другой, с одной улицы на другую, и под ними не гладь реки, не стремнина, не пропасть, а заросший бузиной и кустистой травой овраг.

Все это о городских мостах, а теперь несколько слов о мостах деревенских. В главе «Отец», самой главной в повести, я не раз говорил, что недюжинные способности позволяли отцу заняться наукой, может быть стать ученым, — я убежден в этом. Но, сказав, что вместо этого он строил в уезде мосты, я тем самым как бы умалил его дело, которому он служил столько лет. Нет, этого я не хотел сказать. Он строил мосты, и я видел, с каким прилежанием и с какой горячностью он это делал; в сочетании этих противоречивых свойств был весь отцовский характер: педантизм, аккуратность, старание и терпение — и взрывчатый темперамент. Да и как не взрываться, когда помощники отнюдь не радовали таким вкусом к работе, таким чувством долга, чувством ответственности, какие отличали его самого. Помню десятника Жаворонкова, пожилого, благообразного, хитренького, на словах соглашающегося с отцом, обещающего все выполнить, а на деле ко всему равнодушного, озабоченного своими личными, семейными хлопотами — выдать дочь замуж, крестины, заболела жена. Наверно, ссылающийся на эти заботы и хлопоты Жаворонков был прав. Нельзя, невозможно полные сутки и семь суток в неделю не забывать о служебных обязанностях, о казенном деле... Но для отца это дело не было казенным. Я хорошо помню, каким оскорбленным, подавленным он вернулся однажды из уезда: ехал по новому, лишь месяц назад построенному мосту и вдруг увидел, что перила уже изрублены, — значит, шел человек через мост, нес топор, а руки так и чесались: «Дай порублю перила! Вишь какие они гладкие!» — и порубил.

И сейчас чувствую обиду за отца. Обижен и за мосты. Что скрывать, люблю не только эффектные, грандиозные мостовые сооружения, видные далеко окрест, но с нежностью отношусь и к маленьким мостикам, даже к доскам, перекинутым через ручьи и весенние по-

токи, сбегаящие со всех круч и горок, которыми так богат Котельнич.

Да и как не ценить мосты и дороги в стране бездорожья, какой была и сейчас еще в ряде мест остается Россия? Несколько лет назад прочитал в «Известиях» репортаж из Тюмени — «Парящие вездеходы» — и вспомнил свой разговор с отцом за два месяца до его смерти. Он, старый дорожник, интересовался извечным вопросом: как можно освоить огромные пространства той же Сибири, когда прокладка дорог — это самое трудоемкое и дорогое предприятие? И вот, читая о вездеходах на воздушных подушках, испытывающихся в Западной Сибири, я пожалел, что отец о них уже не прочтет. Шеститонная машина развивает по трясине с метровыми кочками 80 километров в час и в ходе испытаний пробежала уже больше 1000 километров по болотам, над зыбкой черной пропастью. Здорово, очень здорово...

Мосты, дороги — разумеется, это кровное дело моего отца. А как объяснить мое к ним пристрастие? Если прибегнуть к метафорам (столь несвойственным этой повести), мосты для меня символизируют связь между прошлым и настоящим, неразрывную связь, всегда существующую в моем воображении. Когда я приезжаю в Котельнич, связь эта материализуется, ибо я хожу по тем самым мостам, лишь отчасти обновленным и перестроенным. Людей моего детства нет — мосты моего детства остались.

Сколько же мостиков и мостов соединяет меня с моим прошлым, с близкими и далекими людьми моего детства? Много. Но самый генеральный мост — это все-таки благодарная память, память о впечатлениях, наблюдениях, отстоявшихся за прошедшие годы, пусть крайне неравноценных. Перечитывая сейчас свою повесть, вижу, что больше интересовался тогда историей, уходящей на моих глазах, чем историей, происходящей, творимой также на моих глазах. Почему? Потому ли, что последней только еще предстояло стать историей, причем несравнимо более значительной, чем уходящей, а я этого не знал? Нет, это сегодняшнее объяснение, это придумано. Все обстоит проще, как я уже говорил в начале воспоминаний. Уходящее уходило от меня медленно, я его видел, осязал каждый день, несмотря на динамичное, революционное время. Нельзя забывать, что я десять лет прожил до революции, а в первые пореволюционные годы в пределах дома меня

окружал почти прежний быт — пусть скудный, голодно-ватый, когда кусок сахара, ложка постного масла, бутылка керосина значили куда больше, чем запекаемые прежде окорока к пасхе и к рождеству. Несмотря на войну, лишения и болезни, семейный очаг поддерживался: намывались полы, начищался самовар, отмечались дни именин, хотя тиф косил родных и знакомых... Странно, что все это воспринималось мною подряд: и революционные праздники, и выданная нам, школьникам, к 1 Мая копченая курица (почему копченая? — чтобы не чувствовалось, что курица подпортилась раньше, чем ее закоптили: кто знает, откуда этих куриц привезли), и буржуи-заложники, очищавшие улицы от снега и грязи, и первая любовь, и стихи Василия Князева:

Отец мой был солдатом-коммунаром  
В великом восемнадцатом году...

Все смешивалось, перемешивалось — лишь время могло отделить главное от второстепенного, серьезное от пустяков, но, если бы я попытался сделать это задним числом, воспоминания мои оказались бы неправдой. Пусть лучше все останется так, как оно рассказалось, как прошло оно чередой по мосту моей памяти.

1972—1977,

## СТРЕЛА ПРОВЕСА

Однажды я прочел заметку в «Известиях», называвшуюся «От Волховской до Саяно-Шушенской». Главный инженер проекта крупнейшей среди действующих и строящихся гидроэлектростанций — Саяно-Шушенской — рассказал о том, что сделано и делается на ее строительстве.

В интервью названа цифра мощности этой будущей станции: 6,4 миллиона киловатт. Там не названа мощность Волховской гидростанции в год ее пуска; для сравнения я ее назову: 58 тысяч киловатт. Это значит — в сто с лишним раз меньше мощности будущего гиганта... Меньше в сто раз! И все-таки мы по праву гордились и гордимся первенцем нашей электрификации — Волховской гидростанцией, носящей имя Владимира Ильича Ленина. Не следует забывать, что строилась она

после небывалой разрухи и голода, в сложное, трудное, противоречивое время — в первые наши годы без Ленина. О том, чему был я не только свидетелем, но и в какой-то мере участником, я и хочу рассказать.

Начну по порядку. Осенью 1925 года я поступил работать на Волховстрой. Должность, обязанности у меня были не ахти какие — ученик по монтажу высоковольтной линии электропередачи, но, думаю, ни к чему объяснять, как воодушевляла семнадцатилетнего юношу, приехавшего из уездного вятского городка, любая, пусть самая малая причастность к такому передовому строительству. Да тогда и не просто было стать волховстроевцем. В стране безработица, на биржах труда — толпы жаждущих заработка людей... Правда, заработок ученика невелик: двадцать семь рублей в месяц, — но если учесть, что, приехав в 1925 году в Ленинград, я жил на пятнадцать рублей, что доказывает сохранившаяся чудом прихода-расходная тетрадка, то можно считать четвертную, да еще с гаком, настоящим достатком.

К тому же, как сказано, я гнался не за длинным рублем: меня увлекала идея! Кстати, уже на второй месяц работы мое материальное положение изменилось, но об этом после. Сперва о том, что это была за работа и кто были мои товарищи. Весь 120-километровый путь от Волхова до Ленинграда разделили на три равных участка; нашей партии (тогда строительные бригады еще назывались партиями) достался участок от разъезда Горы близ станции Мга, получившей потом, во время Великой Отечественной войны, особенную известность, до станции Назия, с которой начинаются назийские торфяные болота, снабжающие дешевым топливом ленинградские тепловые электростанции. Трасса линии электропередачи шла параллельно Мурманской железной дороге, то совсем рядом, в нескольких десятках метров от полотна, то отступая — около железнодорожных станций, платформ, разъездов — на километр-полтора. Во всяком случае, на работу мы ходили по шпалам.

Было нас человек двенадцать, не считая техника и десятника. Четверо русских, один татарин, остальные — подгородные финны, по-ученому — ингерманландцы; когда-то, при Александре Невском, они звались ижорцами и помогли Ярославичу победить и прогнать вторгшихся в Неву шведов.

Имена и фамилии большинства рабочих я позабыл, но характеры и внешность запомнились. Были среди них

веселые, шутливые, разговорчивые, были угрюмые и немногословные, но плохих людей, по-моему, не было. Татарин, с которым на первых порах я больше всего общался, крутя с ним вдвоем лебедку, натягивая с ее помощью трос и кабель, был вспыльчив, но отходчив, смешно кипятился и тотчас же с юмором отступал. Ко мне он был неизменно добр, почти месяц мы с ним трудились душа в душу. Не исключено, что он считал и меня татаринном, судя по моей фамилии, но имел такт и выдержку не спросить... Через месяц меня от него забрали на повышение квалификации, и я стал работать в подвесной люльке на железных опорах, так называемых анкерных (теперь часто их называют мачтами), и на простых деревянных, П-образной формы, лазая по ним на когтях. А на лебедку, под начало моего друга татарина, поставили одного из Лебедевых — у нас было их двое: старший и младший.

Уравновешенный, неторопливо передвигавшийся на кривоватых ногах Лебедев-старший, несмотря на свою птичью фамилию, непреодолимо боялся высоты и потому не годился для верховой работы. Чаще всего он спокойно стоял под опорой, держа конец веревки в руках, и, попыхивая сигаркой, страховал верхолаза. На лебедке ему пришлось потруднее: татарин крутил свою рукоятку с азартом, в темпе, требуя таких же усилий и от партнера, что, естественно, вызывало у того недовольство и горячее желание перекурить. Лебедев-старший, чуть не единственный во всей партии, если не считать десятника, любил матерщинку — выругается и непременно добавит, аристократично грассируя: «сказала королева». Впрочем, он ругался беззлобно, скорее из чистого искусства. Что касается финнов, то они бранились вообще крайне редко, только в случаях серьезной аварии или крупной помехи в работе. Когда я полюбопытствовал, почему они ругаются по-русски, а не по-своему, хотя обычно говорили между собой по-фински, они объяснили так: «По-нашему очень страшно выходит...»

Мне трудно сейчас с полной ясностью представить себе возраст моих тогдашних товарищей. Самому мне лишь в феврале исполнилось восемнадцать, и ближе всех по летам подходил мне Степанов, умелый, бесстрашный, лихой монтер, которому я невольно старался подражать во всем, даже в походке, даже в привычке облизывать свои обветренные, потрескавшиеся на морозе губы. Разумеется, я норовил, как Степанов, за-

бравшись на деревянную опору, небрежно сбросить с ног когти и, закончив крепление медного провода толщиной в палец, по-молодецки, с опасной легкостью скользнуть вниз по столбу, обхватив его ногами. Сломать шею или хребет можно было в два счета, но что делать, если мне адски нравилось, как работал Степанов! Каждое его движение, манера держать гаечный ключ, плоскогубцы, управляться с любым инструментом казались небрежными, а на деле были уверенны и точны. Он был самолюбив, этот Степанов, он везде и во всем хотел быть первым и лучшим, во всяком случае не хуже тех, кого справедливо считали у нас самыми лучшими, самыми квалифицированными.

Один из этих образцовых монтеров был пожилой финн, казавшийся мне тогда чуть не дедушкой и относившийся ко мне ласково и заботливо. Другой — молодой финн с плотно сжатыми губами, молчаливый и замкнутый — наоборот, не обращал на меня никакого внимания, что, не скрою, меня обижало. Он недавно женился и каждую субботу уезжал на выходной день домой. Помню, как меня поразила его сдержанная, но твердая отповедь шутнику, острившему что-то насчет того, что, мол, поторапливайся, сегодня суббота, жена ждет тебя уже в бане. «Я никогда не пойду с женой в баню, мне было бы стыдно», — сказал он и снова плотно сжал губы. С восхищением я смотрел на него, забыв о своих обидах. Впрочем, мы вскоре работали вместе и дружно как с ним, так и с Лебедевым-младшим.

Лебедев-младший был самым интеллигентным и в чем-то даже утонченным, во всяком случае чрезвычайно чутким к несправедливости, грубости, фальши: все отражалось на его болезненном, худощавом лице с бьющейся на виске жилкой. Лебедев-младший был такого же невысокого роста, как Лебедев-старший, тоже нетороплив и, пожалуй, не очень силен; заметная сутуловатость делала его особенно хрупким. Но, в противоположность своему однофамильцу, не ленившемуся лишь поминать королеву, Лебедев-младший был замечательно усердным и умелым работником. Повторяю: он, пожилой финн, молодой финн и Степанов были лучшие наши монтеры.

Каково же было мое изумление, когда этот довольно пестрый и, можно сказать, многонациональный коллектив вдруг объявил начальству, что они решили зачислить меня в свой пай, на сделыщину. Тут я должен кое-



что объяснить. Я считался учеником, прислало меня Управление Волховстроя, и Управление же платило мне — от казны — вышеупомянутые двадцать семь целковых. Но прошел месяц, некий тайный для меня испытательный срок, и сами рабочие, без чьей-либо подсказки, сговорились доплачивать мне из артельной суммы, то есть из своих личных заработков, до той сделной оплаты, какую я, в соответствии со своим разрядом (а он каждые два месяца повышался, поскольку я постепенно овладевал монтерскими навыками), мог бы получать, состоя в этой рабочей артели.

Таким образом, моя зарплата удвоилась, а вскоре утроилась. Но суть даже не в этом. Прежде всего, я гордился тем, что стал полноправным членом рабочего коллектива; во-вторых, что мою работу и старание оценили; а главное — меня поразило великодушие моих старших товарищей. При всем добром отношении ко мне, они могли ограничиться просто похвалой, и я этим вполне бы удовлетворился. Зачем бы им отрываться от себя нелегко достававшиеся рубли? Но они «оторвали», не желая и слушать мои робкие протесты... Уверен, что инициаторами этого «сговора» явились Лебедев-младший и пожилой финн.

Я не случайно остановился на этом маленьком эпизоде. Он имеет отношение не столько ко мне, сколько к моим товарищам. Следует помнить, что все это происходило во время нэпа, когда дух барыша витал всюду, развращая порой хороших и честных людей. Более того, этот случай, как кажется мне, кое-что объясняет в финале нашей трудовой эпопеи, о чем речь еще впереди.

А пока следует сказать, что первые полтора месяца были для всех невыгодными. Дело новое, незнакомое, такие высоковольтные линии сооружались в Советском Союзе впервые; приехавший на несколько дней инженер из Управления Волховстроя и наш постоянный техник Селицкий не могли нам сразу помочь: они тоже никогда не имели дела с монтажом подобного рода; до всего пришлось доходить как бы ощупью, по десять раз начиная и переделывая, натягивая и перетягивая, без конца совершая ошибки, терпя неудачи и срывы.

Для примера скажу, что изоляторы, рассчитанные на высокое напряжение, закупались в Швеции на столь ценную для нашего небогатого в те времена государства валюту. Каждая изоляторная гирлянда состояла

из семи сцепленных одна с другой глазурированных черных фарфоровых тарелок; на каждой анкерной опоре таких гирлянд было шесть пар — значит, восемьдесят четыре тарелки, а стоили эти тарелки чуть ли не по семь золотых рублей штука. Так, по крайней мере, нам говорили, желая предостеречь, чтобы мы зря не били эти драгоценные изоляторы. Зря мы не били, но неприятности все же случались, как случаются они при любом, тем более новом деле. В предыдущее лето приключилось и не такое: когда ставили опоры, одна из них повалилась и, говорят, чуть не придавила самого Графтио, создателя Волховской ГЭС, посетившего в этот день трассу.

Словом, первый километр линии электропередачи мы прошли примерно за месяц, а остальные тридцать девять километров предстояло пройти за... три месяца! Такие жесткие сроки были обусловлены не только планом, но и природным календарем — стихией. И вот здесь, здесь сыграло решающую роль то, ради чего я вспомнил эту стародавнюю историю.

Как я уже сказал раньше, весь путь от Волховстроя до Ленинграда был разделен натрое. Три партий, три бригады монтировали эти участки. Я не бывал на других участках трассы, не встречался с теми рабочими, теми техниками; лишь однажды, в выходной день, в воскресенье, случайно встретился в гостях в Ленинграде с таким же учеником, как и я, может быть, немного постарше и понаряднее одетым: в синем шевиотовом костюме, в модных, с утиными носами «шимми», в которых удобно не столько ходить, сколько танцевать чарльстон. Мы осторожно пытались выведать друг у друга, как идут дела в «чужой» бригаде, надеется ли она кончить свой монтаж к сроку, следовательно получить новый, особый заказ...

Дело в том, что кроме тех сорокакิโลметровых участков существовал и четвертый, чуть не в сорок раз менее длинный, но зато неизмеримо более «высокий»: это переход через Неву почти в черте города, за Уткиной заводью. Четыре высоченные металлические мачты сложной конструкции стояли на невских берегах и ждали, когда придет их час: явятся верхолазы и перебросят шесть скрученных из девятнадцати медных жил проводов с одного берега на другой, с левого на правый, присоединив их — через понижающую трансформаторную подстанцию — к городской энергетической сети; после

этого Ленинград к приему волховского тока будет готов — дело за самой Волховской ГЭС!

Начальство в середине зимы объявило: невский переход поручат той бригаде, которая раньше закончит работу на своем участке. И закипело негласное соревнование. Негласное? В сущности, да. Никто его не организовывал, не подводил каждодневных или хотя бы еженедельных итогов: мы работали и не знали, как обстоят дела у соседей; техперсонал, может, и знал, да помалкивал, — окончательно выяснилось все только к весне.

Зима стояла холодная, болота промерзли, и там, где летом ставили опоры на зыбкую почву, укрепляя ее сваями, всюду можно было спокойно ходить. Каждые десять километров пути я отмечал переездом на новое местожительство, меняя квартиру, чтобы быть поближе к месту работы. Самое дальнее, что можно было еще преодолеть пешком по шпалам, — это четыре-пять километров утром и столько же вечером, вперед или назад, смотря по тому, отставало или опережало место работы мой временный дом. Запомнились ранние утра со встающим из морозной мглы красным солнцем и оранжевые закаты, с неумолимой точностью прекращавшие нашу работу, — домой я возвращался уже в поздние сумерки, шел и кричал:

В черных сучьях деревьев обнаженных  
Желтый зимний закат за окном.  
К эшафоту на казнь осужденных  
Поведут на закате таком...

Меня ничуть не смущало разительное несоответствие: стихи мрачные, даже трагические, а настроение у меня превосходное, — строчки Блока звучат для меня как зажигательный марш! Иногда солнца вообще не было, вместо этого задувала метель, из густой снежной мглы вдруг вырывался луч паровоза-снегоочистителя, и мне приходилось, уступая ему дорогу, прыгать с насыпи в канаву, погружаясь в пушистый снег до подмышек, а сверху вращающиеся мощные щетки накрывали меня с головой снежной тучей, поднятой с железнодорожного полотна.

Когда место работы приблизилось к Мге, свободного времени по вечерам стало больше, и я ходил к вечернему поезду за газетой: на этой станции останавливались пассажирские и почтовые поезда и имелся газетный ки-

оск. Шел тропой между деревьями, между сугробами, мимо пустой, сложенной из старых шпал сторожки: рассказывали, что подле нее расстреляли трех бандитов; почему именно здесь и что за бандиты — так и осталось для меня жутковатой тайной.

Однажды, в конце декабря, в один из самых темных и длинных вечеров года, придя на станцию и купив «Красную вечернюю газету», я почему-то сразу ее развернул (обычно я оставлял это удовольствие на потом, когда вернусь домой и разденусь: я жил у линейного волховстроевского сторожа, единственной книгой в доме которого оказалось «Путешествие к центру Земли» Жюль Верна), — развернул и прочел траурное известие о смерти Сергея Есенина. Есенина я никогда не видел, только читал, кое-что знал наизусть, но сообщение это меня потрясло, и, когда я шел лесом обратно, в глухой темноте, я явственно ощущал зловещесть этой сгустившейся тьмы, сгустившейся вокруг тайны есенинской смерти...

Я отвлекся от главного, отвлекся сознательно: хочется хоть немного обрисовать свое тогдашнее житейство. Правда, в нем абсолютно отсутствовали какие-либо личные события: слишком мало у меня оставалось времени от ходьбы и работы. Возвращаясь, усталый, с мороза, в теплое жилье, я едва успевал пообедать, чуточку почитать, написать письмо, потолковать минут десять с хозяевами, перед сном пройтись вокруг дома или на станцию под торжественно-звездным небом, в заговорщически молчаливом лесу, и погрузиться в крепкий молодой сон до утра, сон без тревог и забот. Почти все мои интересы были сосредоточены на работе — настолько она была для меня нова и увлекательна. Юношеское самолюбие с первого дня потребовало не отставать от других.

В эти зимние месяцы, по мере продвижения трассы, я четыре раза сменил квартиру. Дважды жил у линейных сторожей, охранявших трассу, месяц прожил у финна, возившего на своей крупной и сильной лошади рабочий инвентарь нашей бригады — лебедки, полутораметрового диаметра катушки с кабелем (грузовой автомашины в нашем распоряжении не было, да и не могло тогда быть); и три недели — у латыша-хуторянина, семья которого состояла из жены, бывшей адмиральши, тотчас же после исчезновения царского адмирала вышедшей замуж за своего дачного хозяина, ее дочери,

учившейся в Ленинградской консерватории (о ней я только без конца слышал от адмиральши), и ее двадцатилетнего сына, здорового бездельника, который каждое утро, к моему ужасу, пил чуть ли не литровыми кружками растопленное свиное сало с горячим молоком. Сама адмиральша деятельно занималась хуторским хозяйством. Убедившись, что я сравнительно «приличный мальчик», она разрешила мне спать в гостиной — так, по крайней мере, именовалось это изрядно холодное помещение, сплошь уставленное крынками и горшками с отстаивавшимися сливками: молочное хозяйство у Карла Ивановича было поставлено на широкую ногу.

Любопытно, что в этом доме я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь взял в руки книгу или газету, тогда как у финна, простого возчика, веселого, краснощекого здоровяка, вечерами в семье читали вслух. Что читали? В бытность мою у них — «Анну Каренину» на финском языке.

Таким образом, проводя дни с моими товарищами на работе, жил я зимой на отшибе, отдельно от всех. Почему? Просто так получилось, что на первую квартиру меня устроил десятник, сам проживавший на станции Мга, вблизи от которой находился домик линейного сторожа, а потом меня передавали как эстафету из рук в руки разным хозяевам.

Но вот пришел март и ознаменовался феноменальным событием: наша бригада одержала победу над остальными — первой пришла к финишу и награде. В чем состояла награда, я сказал раньше: переход через Неву, монтаж линии передачи на сверхвысоких — для того времени и того уровня электротехники — каркасных мачтах. Восемьдесят, даже, кажется, восемьдесят пять метров — не шутка! Кроме почти отвесной железной лесенки с перилами и крохотной промежуточной площадкой, мачты были даже оборудованы специальным лифтом для подъема тяжестей — людей, изоляторов, инструментов. Лифты действовали опять же через посредство лебедки, но уже не ручной, а от привода к локомотиву, стоявшему рядом с мачтой. Не помню, чтобы я хоть однажды воспользовался этим лифтом: наверх я поднимался по лестнице, даже без отдыха на средней площадке (за зиму, на открытом воздухе, накопил сил), а обратно скользил по перилам на животе или скатывался тем же манером по раскосам и стойкам, в точности так, как проделывал это Степанов,

Поселились на этот раз мы все вместе, в деревне Усть-Славянке на Шлиссельбургском тракте, не дальше чем в километре от места работы. (Помню, через пятнадцать лет в этой деревне разместился второй эшелон 55-й армии, оборонявшей Ленинград от немцев.) Месяц этот оказался «медовым» в моих отношениях с бригадой. Мы вместе завтракали, обедали, ужинали, хлебали из большой миски наваристые, с накрошенным мясом щи, которые готовила нам хозяйка, а вечером, перед сном, беседовали. Как-то раз или два я читал вслух Есенина и Асеева. Есенина одобрили, Асеева — не очень... Потом ложились вповалку на пол, на свои дубленые полушубки, овчиной вверх, и крепко засыпали до утра.

Утром начиналась наша сложная, полная всевозможных превратностей монтерская жизнь. Сейчас объясню, что за превратности. Первое время, когда нам поручили такое ответственное, интересное дело, мы были счастливы и горды. Ведь еще никогда и нигде в Советском Союзе не перекидывали через широкую реку высоковольтную линию электропередачи, нам первым выпала эта честь. Но как же трудно зато нам пришлось! Я уже упоминал о лифтах. Они оказались такими не скоростными, такими капризными, так не просто было с их помощью доставлять наверх необходимое оборудование! Зато наверху здесь были уже не только мощные траверсы для подвешивания и крепления к ним проводов, но под ними еще и просторные, огороженные перилами площадки, с которых удобно присизводить монтаж; лишь вокруг оконечностей мачт, вонзавшихся в небо чуть не на высоту Исаакьевского собора, зияли ничем не огражденные провалы, простирающиеся вниз до самой земли. Вдоль одного такого провала как раз и ходил наш лифт, который мы яростно возненавидели за медлительность и склонность застревать между «этажами».

Возникли и другие трудности и сомнения. Конечно, специалисты проектировали и знали заранее, с какой силой будет давить и тянуть медный кабель, который повиснет над Невой, а вот выдержат ли эту многопудовую тяжесть гирлянды фарфоровых изоляторов, никто не мог гарантировать, хотя теоретически, говоря, все это высчитали, с максимальным запасом усилили и умножили изоляторные гирлянды. На деле в одну секунду все могло полететь к чертям.

Тем, кто теперь имеет дело с тысячекиллометровыми трассами, протянувшимися по необъятным просторам нашей страны, объединенными в единую энергетическую систему, всем инженерам, техникам, верхолазам, перебрасывающим воздушные электролинии через могучие сибирские реки, наши трудности покажутся пустяком: подумаешь тоже, проблема! Существуют руководства, инструкции, специалисты всему научат. Но тогда-то мы этого ничего не имели, ни о чем толком не знали. Положение порой было таково, что на пронзительном мартовском ветру нас то прохватывало насквозь, то бросало в горячий пот... И немудрено: лед посинел, Нева вот-вот тронется, уже появились забережьи, проступила наледь, кое-где на быстрине лед так истончился, сделался настолько хрупким, что можно легко провалиться. А кабель, протянутый от берега к берегу, все лежал и лежал поперек реки, засыпанный снегом, заметенный ночной поземкой, местами вмерз в лед, местами свернулся баранками — при подъеме это грозит бедой: туго скрутится, перехлестнется — и лопнет!

Катастрофически быстро, неотвратимо надвигалось вскрытие реки, ледоход, а мы все готовили да готовили свое генеральное сражение — подъем и натяжение кабеля над Невой. Что, если не успеем? Тогда надо, не медля ни дня, убрать кабель, намотать его на катушки (это обмерзший-то, да с баранками!), а когда ледоход кончится, опять размотать, осторожно опустить на дно и только потом, уже со дна, поднимать на высоту, натягивать, закреплять... Канитель невероятная. При этом непременно возникнут новые сложности: сразу же после ледохода откроется навигация, пойдут по Неве суда, баржи, плоты... Нет, это невозможно, надо успеть, во что бы то ни стало успеть до!

Зимой, пока шла нормальная работа на нормальных участках, Управление Волховстрой не баловало нас вниманием: навестило, помню, всего один раз. А тут началась суматоха: что ни день наезжают из Ленинграда инженеры, специалисты; правда, и место нашей работы было теперь не за сорок и не за шестьдесят километров, — до Мурзинки можно доехать на трамвае, а там уж рукой подать и до Усть-Славянки. Кстати, легковых машин одна-две на все Управление, — сам Графтин ездил на Волховстрой на поезде или на дрезине.

Когда нависла реальная угроза срыва всех сроков,

мы стали работать, не считаясь с нормальным восьмичасовым днем, благо календарная долгота дня прибавилась: светало раньше, темнело позже — как-никак март, на носу апрель. Мы приходили на квартиру лишь ночевать; перед сном ужинали и обедали — все разом; днем обеденного перерыва не соблюдали, пожуем чего-нибудь на ходу — и ладно. Охрана труда, слава богу, не вмешивалась, да мы бы ее шуганули.

В скобках добавлю, что наш заработок на сей раз трещал по всем швам, не выручали и сверхурочные — что они значат при сдельщине, когда работа так затянулась? Но об этом, точно все сговорились, — молчок, никто ни слова; что ж, и без того ясно, что здорового сели, теперь лишь бы успеть... Начальство, возможно, кусало локти: действительно, стоило ждать, пока одна из бригад закончит свой линейный участок, чтобы отдать ей переход через Неву! Набрали бы монтеров со стороны, составили из них четвертую, дополнительную бригаду, и она бы спокойненько, в продолжение зимы, обтяпала это дело. А что теперь?

А теперь вот что: мы успели!

День, когда все шесть проводов поднялись ввысь и повисли в небесной синеве над Невой, был настоящий весенний, веселый, солнечный. Задрав кверху свои загорелые, медно-красные лица, мы видели высоко над собой четко рисующиеся, отблескивающие под солнцем золотистые нити, — снизу они казались нитями, трудно и подозревать, с какой силой стремились они разорвать изоляторные гирлянды: откровенно говоря, мы все еще за них тревожились.

Конечно, за один день подъем и монтаж всех шести проводов никак не произвести, это заняло не меньше недели, — но запомнился именно последний денек, когда все было кончено, кончено еще засветло, до заката, а с улицы, вернее с Невы, уходить не хотелось. Всякой мелкой и черной работы в ближайшие дни предстояло достаточно: еще раз проверить зажимы, подвинтить все гайки, выправить рога громоотводов, очистить строительные и монтажные площадки от мусора, но все это уже чепуха, главное сделано.

А делалось это так. На посиневшем, местами уже почерневшем, набухшем водою льду расставлены были «запасные игроки», не участвовавшие в главном действии. Их обязанность — расправлять коварные баран-



ки, а еще перее — не допускать баранок. Признаюсь, эта довольно муторная обязанность выпала и на мою долю. Мне не пришлось принять участия в окончательном монтаже, я лишь снизу с волнением наблюдал, как провода постепенно отделялись ото льда — мы посильно им помогали там, где они вмерзли в лед и наст, — затем поднимались, натягивались и повисали над рекой, образуя ту высчитанную заранее кривую, не короче и не длиннее, которая обеспечит линию от обрыва и от короткого замыкания; в случае, если провод висит слишком низко, слишком свободно, ветер может столкнуть болтающиеся из стороны в сторону гигантские петли. Кроме того, надо помнить, что летом под проводами станут проходить суда с высокими мачтами и путь для них должен быть беспрепятствен.

Шесть проводов, две трехфазные высоковольтные линии напряжением более ста тысяч вольт, по которым осенью 1926 года, к девятой годовщине Октября, потекло электричество в Ленинград и течет до сих пор (с перерывом в несколько месяцев осени и зимы 1941—1942 года), — эти шесть проводов висят над Невой и сейчас, висят уже более полувека; за это время миллионы пассажиров железной дороги, подъезжая к Ленинграду и с нетерпением глядя в окно, невольно обращали внимание на решетчатые, ажурные мачты, высящиеся на берегу Невы; даже издали можно понять, что это мачты-великаны.

Сначала эти мачты и провода служили лишь Волховской ГЭС, потом их обязанности расширились. В 1928 году было начато строительство гидростанции на Свири, быстрой, порожистой реке. Станцию проектировал тот же неутомимый Графтио, и немало старых волховстроевцев пришло на новостройку. Наверное, среди них были и наши монтеры.

Между прочим, меня могут не без ехидства спросить: sprыснули ли мы окончание работы? Водился ли в то время такой обычай? Охотно отвечу. Да, всем гомозом мы собрались за Невской заставой в чайной, неподалеку от странного вида церквушки под названием «Кулич и пасха» (верно, очень похожа). Там, в обществе легковых и ломовых извозчиков, истово распивавших чай с калачами, мы тоже осушили не один огромный чайник, расписанный по круглым бокам воспетыми Маяковским цветами:

Чайная эта отнюдь не была похожа на артистический или литературный кабачок вроде известного мне понаслышке «Привала комедиантов», и стихов здесь моим друзьям я читать не пытался. Зато каждый из них на прощание сказал мне что-то хорошее, а вот что именно — я забыл. К сожалению, наша память нередко теряет самые лучшие, самые добрые обращенные к нам слова, а хранит случайные и пустые. Отлично помню только, как Лебедев-старший похлопал меня по плечу и добросердечно напутствовал очередным изречением королевы...

Собственно, вот и все, что я собирался написать об этой зиме и об этой весне. Почему я собирался так долго? Ведь не раз думал: «Сяду-ка я на 7-й или 24-й номер травмая, поеду я в Усть-Славянку, названную по имени речки, впадающей в Неву, подойду к высотной опоре (если она не обнесена забором с устрашающим черепом и костями) и сделаю вид, что намерен полезть по знакомой железной лесенке вверх. На меня закричат, погонят прочь, а я гордо выну из бумажника древний, выцветший документ, свидетельствующий о том, что я энкое число лет назад здесь трудился, присовокуплю новенькую справку о том, что собираю материал для романа или сценария, заврюсь окончательно и... проснусь. Проснусь потому, что наяву смешно собирать материал о том, чему, как теперь говорят, вышла давность, о том, что на фоне Братской, Камской, Красноярской, Саяно-Шушенской и других гидроэлектрическихстроек выглядит чуть ли не игрушечным».

Это так. Давность вышла. И все же я рад, что написал свой запоздалый очерк. «Стрела провеса» — не правда ли, в сочетании двух этих слов чудится нечто метафорическое, исполненное поэтического смысла?.. Между тем это просто технический термин, обозначающий величину отклонения от прямой, в данном случае — естественный прогиб провода, висящего между мачтами. Разве мало я их измерил, проверяя через месяц-другой после монтажа, не сдали ли зажимы на анкерных и простых опорах, не опустился ли провод ниже назначенного ему предела, нет ли других нарушений? Посылал меня в эти командировки Селицкий, он доверял моей технической грамотности (весьма средней) и мальчише-

скому усердию (выше среднего). С краснощеким возчиком-финном, читателем «Анны Карениной», исправно таскавшим на пару со мной инструменты, мы объездили и облазали, проваливаясь по брюхо в снег, все сорок пройденных за три месяца километров, аккуратно замерив стрелы провеса на каждом двухсотметровом пролете.

Практически этот прогиб неизбежен, он не может не существовать. Но если применить его к людям, с их людской прямоотой, темпераментом, чувством долга и чести, можно смело сказать, что наша бригада испытание на прогиб выдержала с минимальнейшим отклонением. Правда, в душу каждого я не влезал, никого не допытывал, но это же факт, что когда мы взялись за желанный (и лестный поначалу для всех) переход через Неву, а он подкузьмил, неожиданно оказался убыточным, то даже заядлые ворчуны не ворчали, а работали с увлечением, с тем самым энтузиазмом, о котором так часто и невнимательно мы читаем в газетах... Что делать — привыкли. Инфляция слов. Перестали вникать. А вот вспомнил о тех, с кем полвека назад съел пуд соли, вываренной из нашего общего трудового пота, и сразу подумал: они не подкачали бы и теперь, на сибирских таежных трассах!

Все прошло, все проходит; сменилось и сменится еще не одно и не десять поколений рабочего класса — всех специальностей, всех профессий, в том числе, может, нам пока и неведомых (техника мчится, опережая нашу фантазию), — но я убежден, что такие характеры, как Степанов, как Лебедев-младший, есть и будут. Мне и теперь не смешно, что когда-то мальчишкой я хотел быть похожим на монтера Степанова, с его походкой вразвалочку, с уверенными движениями ловких и сильных рук, с нахмуренными густыми бровями, с потрескавшимися от мороза, обкусанными от самолюбия (если что-нибудь не получалось) крепкими юношескими губами.

Наверное, есть и нынче на свете такой верхолаз-монтажник, он вкальвает на Братской или на Красноярской, лихо орудует на крутизне и на высоте, ни черта не боится, и даже фамилия у него та же: Степанов. Почему нет? Степановых у нас много.

## ТИМИРЯЗЕВ. ПОЛЕЖАЕВ, ПИОТРОВСКИЙ

Как-то в мае или июне 1935 года мне позвонила по телефону Раиса Давыдовна Мессер, сказав, что говорит по поручению Адриана Ивановича Пиотровского. Не хочу ли я попробовать написать для «Ленфильма» сценарий о Тимирязеве?

— О Тимирязеве? — удивился я. — О биологе?

— Да, но главным образом о том периоде в его жизни, когда он понял, что и он и его наука нужны новой революционной России, и пошел работать с большевиками, и как почти весь старый ученый мир подверг его за этот смелый шаг ostrакизму, а Тимирязеву было уже семьдесят пять лет, и он...

Раиса Давыдовна говорила долго и горячо, — ни говорить, ни писать так связно и убедительно я не умел. Зато я умел внимательно слушать, и, когда она кончила, я спросил:

— Рая, скажите честно, кому вы предлагали эту тему до того, как позвонить мне?

С Раисой Мессер мы были знакомы лет семь или восемь, еще со времен литгруппы «Смена», где начинало свою литературную жизнь большинство моих сверстников — ленинградских прозаиков, поэтов и критиков, и мне казалось, что я имею право на обоюдную откровенность.

Раиса Давыдовна на секунду замялась, но затем быстро и исчерпывающе объяснила:

— Мы говорили с Ольгой Форш. Ольга Дмитриевна сказала, что сейчас пишет сценарий о Пугачеве, все внимание ее давно сосредоточено на той эпохе, в ином случае ее, безусловно, увлекла бы предложенная тема...

Тут последовала долгая пауза. Я стоял в коридоре большой коммунальной квартиры, держа трубку прижатой к уху и видя, как мимо недовольно ходят жильцы, тоже жаждущие звонить по телефону. Ждала на том конце провода и Мессер, наверно недоумевавшая, почему я не выражаю восторженного согласия.

— Ну что ж, — сказал я как можно непринужденнее, хотя на душе у меня скребли кошки (сейчас объясню, почему). — Надо подумать. Почитать. Давайте отложим разговор на несколько дней. Хорошо?

Подумать было о чем. Как ни заманчиво для молодого прозаика, никогда не писавшего ничего, кроме по-

вестей и рассказов, испытать свои силы в кинематографе, на «Ленфильме», где в прошлом году был поставлен «Чапаев», но, с другой стороны, не смахивает ли эта попытка на авантюру? Во-первых, я почти ничего не знаю о Тимирязеве и немногим больше — об Октябрьских днях в Москве, когда мне было девять лет и жил я не в Москве и не в Петрограде, а в уездной глуши. Во-вторых, сейчас я усердно корплю над повестью о танкистах, с которыми познакомился на осенних маневрах. Зря, что ли, я набивал себе синяки и шишки, трясаясь в башне танка, и мерз зимой в плохо протопленной комнате в военном городке, довершая начатое осенью знакомство? Повесть уже анонсировалась в журнале «Знамя», отрывок из нее на днях напечатан в газете «Литературный Ленинград», — шутка ли прервать такую работу!

И, наконец, я включен в писательскую бригаду, которая скоро должна выехать в Казахстан: Н. Чуковский, Л. Соболев, Ю. Берзин, А. Гитович, Вс. Рождественский, П. Лукницкий и я... Завидная компания! Неужели отказаться от столь заманчивой поездки? Ради чего? Ради такого неверного, абсолютно нового для меня дела, как кино! Друзья уговаривали меня плюнуть на кинооблазны и собираться в дорогу: Алма-Ата, Чимкент, Балхашстрой, Караганда... Медные рудники и угольные шахты, хлопок и овцы, Турксиб и пустыни, свинец и роскошные фруктовые сады! Променять все, что там меня ожидает, все грядущие дорожные приключения и впечатления, которых может хватить на остаток жизни (мне было тогда двадцать семь лет), на какие-то кислые неприятности, происходившие с каким-то ученым педантом, наверняка скучным-прескучным человеком...

— Ну, это уж ерунда! — говорил я себе (потому что главный спор вел с собой). — Тимирязев, даже по тому немногому, что я о нем слышал, даже если судить только по портрету, который я помню еще с двадцатых школьных годов напечатанным не то в учебнике, не то в календаре, был симпатичнейшим человеком: одухотворенное лицо, мягкая улыбка, узкая, редкая, просвечивающая борода, широкий суконный берет, надетый изящно-кокетливо набок...

Ближайшие дни прошли не столько в раздумьях и колебаниях (для них у меня просто не хватало времени), сколько в лихорадочных поисках того, что написал сам Тимирязев и что написано о нем. Ясно, что с бухты-

барахты, ничего не зная о человеке, нельзя ни отказываться, ни — тем более — соглашаться о нем писать.

Уже из первого, самого общего и по необходимости краткого телефонного разговора я понял, вернее почувствовал, что в случае с Тимирязевым коренится что-то очень свежее, необычное, не похожее на привычные по литературе, кино и театру взаимоотношения интеллигенции и революции. В большинстве произведений дело сводилось к тому, что герой долго и мучительно думал, признать ему советскую власть или пока еще рано, и только в последней главе, в заключительной сцене торжественно признавал. Если отбросить излишнюю шаржировку, в какую невольную впадаешь, говоря сейчас об этих произведениях, то справедливо будет отметить, что появление их было оправдано жизнью — большинство интеллигенции не сразу пришло к приятию социалистической революции. Для многих — по разным причинам — это был сложный и болезненный процесс. Литература и искусство чаще всего исходят из массовости, типичности того или иного явления. Колеблющихся и сомневающихся интеллигентов, которые перестраивались лишь в результате каких-то сложных перипетий или в итоге долгих лет, постепенно их приучивших к мысли о неизбежности новой исторической полосы, были тысячи, а Тимирязевых, Маяковских, Блоков — единицы, потому они и не попали в «типичные», не стали прообразами литературных героев. И все же: сколько можно изображать «типичных», то есть колеблющихся, и обходить «нетипичных», то есть принявших трудную, незнакомую и опасную революцию без колебаний? Не пора ли переключить внимание с тех на этих? Ввести в литературу, в театр, в кино образ соратника революции, а не пассивного свидетеля?

Но что я спрашиваю себя? Ведь об этом, очевидно, и думал художественный руководитель «Ленфильма» Адриан Пиотровский, предлагая мне странную на первый взгляд тему — «Тимирязев»! Между прочим, Мессер сказала, что они не связывают меня обязательно этим именем — мой герой может быть и вымышленным лицом, если мне так удобнее, и пусть Тимирязев явится лишь точкой опоры.

В связи с этим несколько слов об организационной стороне кинодела. Порой и сейчас еще спорят, можно ли планировать и заказывать художественные произведения. Спорят, но редко. Считается, что нельзя. Уж слиш-

ком скомпрометированы так называемые темпланы театров и киностудий. Даже сами эти организации стали стесняться спрашивать у писателя, у драматурга, не заинтересует ли его такая-то тема. «Оказывание творческого процесса», «подмена авторской инициативы», «стирание индивидуальности художника» и еще более страшные слова витают над обеими сторонами. А ведь было время, когда таким путем появилось на свет немало известных произведений советской драматургии и кинематографии. Об этом как-то напомнил кинорежиссер Лев Кулиджанов. Он только забыл упомянуть имя человека, с которым связано большинство успехов кинематографа тридцатых годов, по крайней мере тех лент, которые выпускал «Ленфильм».

Но сначала существенная оговорка. Если автору предлагается только тема и ничего больше, так сказать, чистая номенклатура без малейшего проблеска художественного, драматического решения, пусть брезжущего где-то далеко впереди, если ни автор, ни «заказчик» (я имею в виду редактора, завлита, худрука) не ощущают заложенных в этой теме, в этом материале эмоциональных ресурсов, можно с уверенностью предсказать крах. Затея окончится возвратом аванса или списанием взаимных убытков — взаимных, ибо автор зря терял время и силы на бесплодную работу.

Мне скажут: а что делать? Риск неизбежен. Кто может заранее гарантировать победу и указывать для нее пути? Никто, это верно. Искать художественные решения, писать так, чтобы произведение волновало, а не просто сообщало какие-то факты, — это целиком дело автора. Но все же и в этом тончайшем деле возможен советчик, человек, который раньше автора, каким-то шестым или седьмым чувством почувствовал — что же скрыто в предлагаемой теме, существует ли тот, иногда единственный, драматический поворот, который вдохнет в нее жизнь.

Таким советчиком был Адриан Пиотровский. О нем, о его роли в советском кинематографе, несомненно, напишут много, подробно. Здесь же я хочу просто сказать: не будь Пиотровского, не было бы ни фильма «Депутат Балтики» (кстати, название это дал фильму также Адриан Иванович), ни пьесы «Беспокойная старость» (первое, авторское заглавие сценария). Вот почему в моей памяти они — Тимирязев и Пиотровский — навсегда связаны вместе, хотя Тимирязева ко времени начала ра-

боты пятнадцать лет как не было в живых, а вскоре после выхода картины на экран не стало и Пиотровского, и я так и не узнал, как ему пришло в голову: «Тимирязев и Октябрьская революция — это же прекрасно для фильма!» Дар предвидения часто и прежде позволял Пиотровскому в зерне темы угадать ростки образов, идей, событий. Произошло это и на сей раз.

Забегая вперед, скажу, что Пиотровский не внушал мне, какой Тимирязев хороший, какой он великий, как много значил его пример для русской интеллигенции, сколько в этом подвиге ума, мужества, сердца. Дело Пиотровского было подсказать тему, в которой все это заключалось и могло быть обнаружено автором. Автору он доверял: сам будет виноват, если ни черта не увидит, — значит, нечего с ним и связываться. И я в сентябре пришел к Пиотровскому уже с написанным либретто сценария, ни разу до этого с ним не встретившись, даже не побывав на кинофабрике.

Но об этом, повторяю, как и о самом Пиотровском, главная речь впереди, а пока... пока я «привык» к подсказанной теме раньше, чем сколько-нибудь детально ознакомился с материалом. Впрочем, знакомство проходило тоже в ускоренных, как бы подхлестнутых темпах. В библиотеке ОГИЗа, помещавшейся в четвертом этаже Дома книги на Невском, я быстро и к немалому своему изумлению выяснил, что не существует не только собрания сочинений Климента Аркадьевича Тимирязева (оно начало выходить в 1937 году, уже после рождения фильма), не только серьезных исследовательских работ о нем, но хотя бы краткого биографического очерка. Правда, к пятнадцатилетию со дня его смерти, в апреле 1935 года, в «Известиях» была напечатана талантливая публицистическая статья В. Сафонова с великолепным эпиграфом из Гёте: «Гений — это идея молодости, развитая зрелым возрастом», — подозреваю, что она-то и надоумила Пиотровского.

Что касается сочинений самого Тимирязева, то к тому времени было издано (до революции и после) пять или шесть его книг: «Солнце, жизнь и хлорофилл», «Жизнь растения», «Чарлз Дарвин и его учение», «Земледелие и физиология растений» и сборник статей «Наука и демократия». Все эти книги, особенно последняя, вышедшая за месяц до смерти ученого, оказались написанными с таким блеском, что, еще не решив, братья ли мне за сценарий, я захотел иметь их в своей



личной библиотеке. Сборник «Наука и демократия» поразительно точно передавал атмосферу тех лет (разных лет, но, что важнее всего для меня, — и революционных), когда составляющие его статьи писались. У меня не было никаких надежд приобрести эту книгу, изданную — по условиям времени — крохотным тиражом, но все-таки я предпринял обход букинистов.

Выйдя из дому (я жил на Васильевском острове) и дойдя до угла 7-й линии и Среднего проспекта (там теперь станция метро), я в раздумье остановился: в полуподвальном низке помещался небольшой магазин «Старой книги». Стоит ли заходить? Ведь главные букинисты находятся на Литейном и на Петроградской стороне, туда и следует, не теряя времени, отправляться. На всякий случай я все же спустился в прохладный низок и привычно-хищным взглядом окинул теснившиеся вдоль стен стеллажи.

Клянусь, я не суеверен, но найти нужную, редкую книгу сразу же по соседству с домом, войти в магазин и увидеть искомый корешок на уровне глаз против двери — как хотите, но всякий книголюб и книгочей согласится со мной: это вещий признак! Я заплатил букинисту два с полтиной и благоговейно унес домой пухлую книгу в выгоревшей, побуревшей обложке, на которой помимо заглавия и имени автора — «Действительного Члена Социалистической Академии общественных Наук» (что было указано не случайно, ибо подчеркивало, что К. А. Тимирязев не состоял членом Императорской Академии наук) — имелась рамка в духе графической моды тех лет и своеобразный герб, состоящий из изображения спектроскопа на трехногом деревянном столике, перекрещенного серпом и молотом и окруженного колосьями, цветами и ягодами.

Я подробно описал этот малозначительный эпизод, потому что он-то для меня и явился настоящим, твердым началом последовавшей затем двухгодичной работы. С этой минуты я «вполз» в продолжающуюся до сих пор дружбу с кинематографом, прерывавшуюся иногда свирепыми ссорами, которые побудили меня однажды написать о своей работе в кино статью, озаглавленную «Дневник сумасшедшего» и начинавшуюся следующей мрачной метафорой:

«Большинство помешанных с пеной на губах утверждает, что они здоровы. Действительно выздоровевшие

с ужасом вспоминают о днях безумия. И лишь хроники, заживо похороненные в стенах желтого дома, в те редкие часы и минуты, когда у них являются проблески сознания, говорят с тихой, безнадежной улыбкой, что, видно, уж они до конца своих дней останутся здесь, с ними нельзя ничего поделать... Если следовать этой странной на первый взгляд аналогии, говоря о писателях, работающих в кино, то я буду вынужден отнести себя к последней категории. По-видимому, я хроник...»

Но в тот первый «медовый» год я с легким сердцем забросил повесть, решительно отказался от поездки в Среднюю Азию и с головой погрузился в общение со своим героем, который сперва так и назывался бесхитростно — Тимирязев, потом стал Изборским (как в рассказе «С двух сторон» назвал Тимирязева В. Г. Короленко) и наконец превратился в Полежаева.

За летние месяцы работа над сценарием успела претерпеть немало этапов. Были прочитаны все доступные для меня в то время сочинения Тимирязева, а также биографии других ученых, его друзей и сверстников; с огромным интересом читались работы Ленина, относящиеся к годам действия будущего фильма. Выходившее в тридцатые годы третье издание сочинений В. И. Ленина было ценно, кроме всего, обильными комментариями и различными материалами, приложенными к каждому тому. Так, например, правительственные приказы и постановления 1917—1918 годов позволили ввести в сценарий точно документированные эпизоды борьбы с саботажем и мародерством, характерные для первых месяцев существования советского государства, — в свое время они не могли не впечатлить (впечатлить по-разному!) Тимирязева и его коллег.

Настала пора, не прекращая знакомства с новыми материалами, садиться за сценарий. Как ни странно, раньше чем вплотную заняться главным героем, я начал думать о другом человеке, о котором я пока ничего не знал, но с которым мой герой непременно должен столкнуться. Будет ли это совсем посторонний, чужой ему человек или, напротив, человек близкий, даже любимый и любящий, но чуждых взглядов, пытающийся помешать Тимирязеву, активно с ним борющийся? Что сильнее, что лучше? Конечно, сильнее и эффективнее в этом смысле в сценарии будет человек близкий — так вышло и по законам эстетики Аристотеля!

Многие причины продиктовали перенос действия из Москвы в Петроград, кстати, гораздо более мне знакомый и близкий. Тем более что время действия уплотнилось, и звонок Ленина (заменявший и в фильме и в пьесе известное его письмо Тимирязеву) был естественнее в Петрограде, откуда правительство переехало в Москву только в марте 1918 года.

Постепенно сделалась неизбежной замена и самого Тимирязева вымышленным лицом. Сыграли тут роль и некоторые физические особенности Климента Аркадьевича, обойти которые было невозможно, если сохранить его подлинное имя, — например, заметная хромота, затруднявшая ходьбу и оставшаяся от паралича, разбившего Тимирязева в 1911 году, когда действия министра Кассо вынудили его покинуть университет.

Но независимо от того, назвал бы я своего героя Тимирязевым или нет, мне нужно было решить один важный вопрос: что привело человека самых мирных на свете занятий к признанию и поддержке пролетарской диктатуры? Вопрос этот не столь уж наивен. Я не раз задавал его себе и другим, когда еще были живы многие современники Тимирязева, живы его жена и сын, и почти никто не мог ясно и вразумительно ответить. Иные пожимали плечами: «Ну, это произошло само собой», другие туманно намекали: «Видите ли, Климент Аркадьевич был такой увлекающийся человек...» Очевидно, характеры, убеждения и склонности людей даже одной профессии настолько различны, что многие коллеги Климента Аркадьевича так и не могли его до конца разгадать.

Между тем, хотя деятельность Тимирязева необычайно разнообразна, вся она подчинена одной руководящей идее, не проследив которую от истоков, нельзя понять и должным образом оценить финал его жизни. Попробуем вспомнить самое характерное.

Страстная пропаганда дарвинизма; блестящие лекции по ботанике с выразительными и оригинальными опытами (Андрей Белый вспоминает, как влетал Тимирязев в аудиторию с арбузом под мышкой: это была демонстрация клеточки, редкий пример, что ее можно видеть невооруженным глазом, — профессор резал арбуз на кусочки, пускал их для обозрения по рядам, а потом студенты съедали их); знаменитые чтения в Политехническом музее; интерес к проблемам будущего социалистического земледелия — задолго до социа-

листической революции; деятельное сочувствие студенческим волнениям в годы царизма и демонстративный, в пику начальству, уход из университета; борьба с идеалистической реакцией в естествознании, навлекшая на него упреки в «консерватизме»; пристальное внимание к каждому новому слову в науке, в частности к электронной теории в физике; увлекательные очерки о самых животрепещущих вопросах современного знания, десятки статей и заметок о биологии и биологах в редактируемом им Энциклопедическом словаре Бр. Гранат; трогательная любовь к литературе, к яркому и понятному всем художественному слову (любимым поэтом Тимирязева был Некрасов, а декадентство он называл «искусством позолоченного мещанства»); дружеская переписка с Горьким и близкое участие в руководимом Горьким журнале «Летопись»...

Даже свои исследования хлорофилла и фотосинтеза он старался облечь в наглядные, общедоступные формы и тоже сделать народным достоянием. Интересно, что результат своих чисто научных наблюдений в области спектрального анализа углеродистых веществ он с успехом применил позже для художественного агитационного образа в статье «Красное знамя». Старый шестидесятник и поэт науки увидел особый смысл в том, что трудовые массы избрали символом своей творческой силы красный цвет: он давно и упорно доказывал, что именно красные волны лучистой энергии солнца производят ту химическую работу в растении, благодаря которой возникает возможность жизни на земле.

В отдельности каждое из занятий и пристрастий Тимирязева, быть может, не столь уж необычно и мало чем отличается от занятий и увлечений других естествоиспытателей. Но все это вместе выросло в последовательную и принципиальную систему, что и давало повод ревнителям «чистой науки» заявлять: «Какой Тимирязев ученый! Он популяризатор... Будь он настоящим ученым, он сидел бы в своем кабинете, а не выступал на подмостках». (Подмостками они презрительно именовали кафедру Политехнического музея, собиравшую вокруг себя в дни тимирязевских чтений огромную аудиторию.)

Но Тимирязев по-своему понимал ответственность науки перед обществом. «Представители науки, — говорил он, — если они желают, чтобы она пользовалась сочувствием и поддержкой общества, не должны забы-

вать, что они — слуги этого общества, что они должны от времени до времени выступать перед ним, как перед доверителем, которому они обязаны отчетом».

Кроме сознания гражданского долга Тимирязевым владело еще то чувство, которое движет художником и поэтом. Он органически не мог оставаться один на один с тем, что его переполняло. Ему непременно нужно было бескорыстно делиться радостью, получаемой им от науки, — делиться со всеми. Его демократизм был врожденный, так же как демократизм народного поэта. Недаром он с юности любил повторять некрасовские слова: «Эх, эх, придет ли времечко, когда (приди, желанное!) ...когда мужик не Блюхера и не милорда глупого — Белинского и Гоголя с базара понесет?..»

Как же мог Тимирязев не принять, не приветствовать новую власть, видя, что она с первого дня старается осуществить то, что он называл прежде «мечтой старого идеалиста», а теперь называлось — «знание в массы»! В этом-то, на мой взгляд, и был «секрет» его прихода к большевикам, — именно эта красная нить привела его в красный лагерь.

Возможно, что я преувеличиваю значение для Тимирязева этой стороны революции. Мне могут возразить: а как же сотни других культуртрегеров — ученых, писателей, тоже преданных просветительным идеям? Почему они оказались по ту сторону баррикады или отсиживались в тоске и сомнениях? Ну что ж, скажу я, значит, Климент Тимирязев оказался последовательнее их, прозорливей, а кроме того — что тоже немаловажно, — сумел пренебречь неудобствами и лишениями, которые принесла революция для него и для большинства городской интеллигенции.

Правда, сегодня молодежи, наверно, труднее представить себе, как это и почему человек мог отвергнуть Октябрьскую революцию! Причем не буржуй, не сановник, не черносотенец, а вполне прогрессивный интеллигент, либерал, радикал, нередко помогавший, чем мог, революционерам. Но вот грянул большевистский переворот — и куда исчезли передовые симпатии прекрасного душевного либерала и бесшабашного радикала!

Александр Блок писал в дневнике: «О, сволочь, родимая сволочь!.. Если бы это — банкиры, чиновники, буржуа? А ведь это интеллигенция! Или и духовные ценности буржуазны? Ваши — да».

Блок хорошо знал свою духовную среду. Вскоре, в том же 1918 году, когда он написал поэму «Двенадцать», с ним порвали почти все недавние друзья, — что уж тут говорить о недругах. Его называли «предателем», «ренегадом», «словоблудом»...

До чего это похоже на то, что произошло с Тимирязевым! Новоявленные его враги прозвали его «Ванькой-Каином». Больше оскорбление трудно было нанести. Напомню: Ванька-Каин был знаменитый в XVIII веке разбойник и душегуб, добровольно отдавшийся в руки полиции и ставший сыщиком и доносчиком. У кого-то в ученом мире хватило подлости сказать такое о Тимирязеве, натуре необыкновенно искренней, о ком правдивейший и честнейший Короленко, когда-то студент Петровско-Разумовской академии, писал сорок лет спустя: «Я вынес воспоминание о Вас, как один из самых дорогих и светлых образов моей юности». И дальше в том же письме: «Для меня Вы и теперь учитель в лучшем смысле слова».

Далекий от всякой политики поэт-символист Андрей Белый, тоже слушавший в молодости лекции Тимирязева, признавался потом, после смерти Климента Аркадьевича, что анатомия и физиология растений были ему чужды и ходил он на эти лекции с единственной целью — увидеть «прекрасного, одушевленного человека». И в другом месте своих воспоминаний: «Поражала в Клименте Аркадьевиче очень яркая сердечность порыва, соединенная с огромной культурой».

Должен сказать, что эти слова Белого служили мне камертоном для всего поведения моего героя. Мне казалось, что я нарушил бы его цельный характер, если хотя бы в одном эпизоде, даже самом трагическом, не проявились бы отмеченные Белым душевные свойства. Так, в день рождения, когда друзья демонстративно не пришли, Полежаев с женой садятся за рояль, чтобы прогнать обиду, тоску, обмануть себя и друг друга: они, мол, спокойны и счастливы. У жены окоченели от холода пальцы, он бежит принести ей шаль. Воспользовавшись секундной разлукой, чтобы украдкой вытереть слезы, Полежаев возвращается оживленный и улыбающийся; но этого мало: он успел накинуть на себя мантию доктора Кембриджского университета, ту, что во время обыска приняли за архиерейскую, и надеть кокетливо, набок широкий суконный берет... Цель достигнута, жена повеселела; но Полежаеву и этого мало: через минуту

он наденет валенки, ватник, подпоясется веревкой, вооружится топором и бодро, под звуки рояля, пойдет в подвал за дровами. И это не наигрыш, это все та же «яркая сердечность порыва».

Кстати, лирическая окраска этого эпизода родилась из очень любимого мною стихотворения Блока «Мы забыты, одни на земле». Его строки звучали для меня непрерывно, пока я писал одиночество Полежаевых, особенно место, когда Полежаев, желая помочь жене, которой мешают слезы, сам берется вдеть нитку в иголку:

Но когда ты моложе была,  
И шелка ты поярче брала,  
И ходила игла побыстрей,  
Так возьми ж и теперь попестрей,  
Чтобы шелк, что вдеваешь в иглу,  
Побеждал пестрою эту мглу...

Кажется, никому, в том числе и режиссерам, я тогда не рассказывал об истоках этой маленькой сценки. Но нам было не до выяснения корней тех или иных подробностей своей работы. Было слишком много других, более насущных задач.

Одна из трудностей заключалась в том, что действие в фильме охватывало всего несколько дней 1917 и 1918 годов,—как при этом дать понять зрителю об остальных семидесяти годах жизни Тимирязева? Неважно, что наш герой именовался теперь Полежаевым: основа в нем обязана быть тимирязевская, иначе грош цена всем надстройкам и домыслам... Где его неподкупное прошлое? Где его любимая наука? Где дружба с Сеченовым, Мечниковым, Лебедевым? Где встреча с великим старцем Дарвином? Где собственный триумф на международных конгрессах? Где сражения с царскими чиновниками и министрами? Где чтения для народа? Ничего этого в фильме не покажешь, и это порой приводило меня в отчаяние. С трудом находились приемы для того, чтобы, не выходя из рамок сюжета и единства времени, показать ученого в человеке и человека в ученом. Приведу два примера.

В своей речи в финале Полежаев напутствует идущих на бой с Юденичем делегатов Петросовета: «До свидания, красные воины! А ведь красный цвет непобедим—это не только цвет крови, это единственный животворящий цвет в природе, наполняющий жизнью по-

беги растений, согревающий всё... До свидания!» Так в гражданскую, почти митинговую речь вдруг вошла заветная мысль ученого о том, что красный цвет — самый активный цвет спектра; так неожиданно завершился стародавний спор с учеными оппонентами...

Другой пример. Матрос Куприянов, находясь под впечатлением лекции Полежаева на корабле и заметив, что, поднимаясь по лестнице, тот тяжело дышит, сочувственно спрашивает:

— А что, деревья тоже дышат?

— Дышат листьями, — отвечает профессор, забывая в этот момент о своей одышке.

Мне хотелось, чтобы в этих двух фразах, кроме человеческой теплоты и заботы, была видна еще и любовь к природе, какую умел внушать своим слушателям Тимирязев в любой аудитории.

Не все, далеко не все шло гладко, умильно-сладостно, на сплошном вдохновении. Так не бывает, тем более что кинематограф не литература, где автор сражается в основном с самим собой: кино — дело коллективное, требующее индивидуальных жертв и соборных споров. Настал момент, — такой момент наставал потом не однажды! — когда сценарий попал на кинофабрику. И кто знает, что с ним стало бы, повторяю, если бы на «Ленфильме» не было Пиотровского.

Да, «Ленфильм» назывался тогда еще кинофабрикой, а не киностудией. Кабинет худрука тоже не был похож на сегодняшние студийные апартаменты, обставленные в модерновом стиле... Огромная мрачноватая комната. Всего два окна, почти всегда горят лампочки под потолком и на стенах. Стены темные, стулья старые, канцелярские. Нет крытого щегольским сукном или полированного стола для заседаний, каждый ставит свой стул где хочет. Все придвигаются ближе к хозяину, который с непринужденной, я бы сказал, античной простотой (в «миру» он прирожденный филолог, переводчик Катулла и Аристофана) возвышается над письменным столом монументальной формы и старомодного вида. Стол не завален бумагами, не загроможден телефонами, лишь перед Адрианом Ивановичем лежит листок, где он кратко, одним-двумя словами что-то иногда отмечает, пока говорят другие.

Худрук кинофабрики меньше всего напоминал кинематографического босса, продюсера, инженера живых теней, в нем не было решительно ничего от индустрии,



И все же именно здесь, в этом безличном и неудобном кабинете, сидя в скрипучем кресле, он почему-то ассоциировался для меня с генератором: внешне спокоен, статичен, а внутри вырабатывается гигантская энергия. Вероятно, теперь пришло бы на ум сравнение с атомным реактором!

Пиотровский сидел и молчал, сидел и слушал, а от него исходили токи, которые сразу передавались присутствующим, всех возбуждали, заставляли усиленно напрягать свои умственные способности. Атмосфера была так наэлектризована, что в воздухе пахло, казалось, не табаком, как на большинстве заседаний, а озоном, как это бывает в помещениях, где работают электрические машины!

Вместе с тем эта комната была полностью раскрепована от диктата, от всякого проявления власти или гнетущего авторитета, хотя каждый отлично понимал, что имеет дело с хозяином мысли. Конечно, последнее решение было всегда за Пиотровским, но нас подкупало, что он удивительно умел слушать, когда вокруг него говорили и спорили. Слушал не осуждающе, не снисходительно, наоборот — поощряюще, но странная вещь: самоупоенной болтовни, часто свойственной заседаниям подобного рода, при нем тоже не было. Говорили свободно, откровенно, но даже профессиональные краснобаи не растекались в словоизвержениях, были максимально собранны. Все с нетерпением ждали, что скажет наконец этот терпеливо молчащий человек с крупно вылепленной красивой головой, с темными, слегка косящими глазами. Никто не сомневался, что его слово будет и новым, и неожиданным, и вберет в себя все, что до него было сказано ценного, и отбросит чепуху, бредни, вообще поднимет разговор на высший уровень.

Хотя многих спорщиков и проектантов в итоге постигал разгром, ни у кого не опускались руки, не появлялось ощущение, что он подавлен, раздавлен, обижен, оскорблен, — известно, до чего мнительны и самолюбивы работники художественного фронта, как легко их ввернуть в уныние. В словесных битвах нередко участвовали самобытные, оригинальные художники, но и они почему-то не испытывали горького чувства, когда Адриан Иванович чуть ли не до основания разрушал столь милую им постройку и предлагал возвести на ее месте новую, относилось ли это к отдельному эпизоду или ко всей

композиции в целом, к одному образу или к стилю всей вещи. Покоряло художественное бескорыстие Пиотровского и напор его артистического темперамента. Если надо, не останавливаясь перед самыми дерзкими переделками, радикальными изменениями в замысле, которых обычно страшатся все авторы, он уверенно шел вперед, отчетливо видя перед собой идеальный результат (которого мы пока еще не видели), и эта превосходная убежденность, граничившая с визионерством, действовала безотказно.

В первоначальных набросках сценария были лишние персонажи, побочные сюжетные линии, стремившиеся порой вылезть на первый план, занять много места. Так, долгое время по страницам сценария мыкалась профессорская дочка. Появилась она отчасти из-за того, что автор боялся оставить зрителей будущего фильма без молодой женской роли (своеобразный «хвостизм» начинающего кинематографиста!), отчасти же — и это, пожалуй, главное — из-за авторского желания как можно больше драматизировать положение, в котором оказался Полежаев, сделать его одиночество еще более полным и горьким: от него уходит не только близкий ученик, но и родная дочь. Передовую курсистку отшатнул от отца тот же самый октябрьский ветер, который его увлек за собой; сыграло роль и влияние Воробьева, которого она любит или воображает, что любит. Но с приездом Бочарова в ее настроении совершается перелом, и по первому снегу, по декабрьскому Питеру Бочаров привозит ее на салазках (едва оправившуюся после простуды) в родительский дом... Все это было складно и довольно поэтично, как мне казалось, изложено, но на деле отдавало нестерпимой традицией и лирико-драматическим штампом. Удивительно, как это Адриан Иванович долго терпел мою Зою — лишь весной 1936 года она, как Снегурка, бесследно растаяла. Сперва я еще намеревался восстановить ее в пьесе, и в первой картине, действие которой происходит еще до событий фильма, в 1916 году, Зоя присутствовала, но затем улетучилась и отсюда.

Второй случай был в ином роде: персонаж не исчез, а трансформировался. Когда в ту же весну мы с И. Хейфицем и А. Зархи трудились над завершением сценария, в какой-то момент работа застопорилась, даже пошла вспять: многое становилось мельче, обыденнее (бытовала всю вещь и существовавшая еще Зоя), важ-

ные мысли не получали пластического решения. Что делать? Возвращаться к первооснове, восстанавливать вычеркнутое, в чем-то наивное, а в чем-то дразнившее воображение? Пиотровский решил по-иному, по-революционному.

В первых вариантах сценария эксцентричный и аполитичный ученый Бочаров приезжал из Казани в Петроград в разгар октябрьских событий и мирно засыпал перед дверью профессора Полежаева, постеснявшись стучать в дверь, поскольку электричества не было и звонок не звонил. И вот такого-то чудака Пиотровский рекомендовал в партию! Пусть будет большевиком и пусть явится к профессору не из Казани, а прямо с фронта, куда его, предположим, год назад отправили царские власти за участие в студенческих беспорядках и агитацию среди матросов. Но при этом по-прежнему останется учеником Полежаева...

Поразительное действие произвел в моем камерном сценарии этот новый «фермент», внесенный, казалось, весьма произвольно. Сценарий сразу стал набирать необходимую для изображения той бурной эпохи взрывную силу и масштабность. Родились новые эпизоды — в Смольном, в Петросовете; у Бочарова завязались близкие отношения с Лениным и с матросом Куприяновым, а сам Бочаров, отлично сыгранный в фильме Борисом Ливановым, настолько «забыл» о своей бывшей беспартийности, что в первой же картине пьесы легко и естественно шагнул в 1916 год: его арестовали как раз на той лестнице, перед полежаевской дверью, «чтобы не беспокоить профессора»...

И тут я хочу немного отвлечься от Тимирязева и Полежаева и рассказать о другой работе, которую мне поручил Пиотровский в те месяцы, когда снимался «Депутат Балтики».

Начну с того, что однажды летом, придя со службы домой, моя жена в изумлении застыла на пороге: комната была полна незнакомых людей. На стульях, частично занятых у соседей, на диване, на подоконниках сидело человек двадцать пять, у каждого в руках была кружка пива, почти все были уже немолоды, большинство обладало порядочными усами, но главное, что объединяло всех и больше всего поразило мою жену, это их единообразная форма. Все в черных тужурках с синими кантами и с молоточками на петлицах — двадцать пять железнодорожников! Так как на улице и в комнате бы-

ло тепло, то некоторые из гостей позволили себе растегнуть форменные тужурки. Все усердно дымили папиросами и трубками и неспешно прихлебывали пиво.

Дело объяснялось просто. «Ленфильм» заказал мне сценарий железнодорожной комедии и организовал у меня на дому, в обстановке как можно более далекой от служебной казенщины, встречу-беседу со старыми железнодорожниками — машинистами, кондукторами, диспетчерами, дежурными по станции. Потом я встречался с этими людьми на их работе, ездил на паровозе, сидел рядом с ними на дневных и ночных дежурствах, нервничал в часы перегрузок, когда прибывают и уходят десятки дальних и дачных поездов и не хватает путей или когда нужно товарный тяжелогрузный состав пропустить вперед, не задерживая вместе с тем пассажирский.

Откуда возникла мысль о сценарии на таком далеком от «Депутата Балтики» материале, да еще к тому же в комедийном жанре? Как-то я рассказал Адриану Ивановичу, что провел детство не в Ленинграде, а в маленьком уездном городке, где единственным признаком урбанизма была железная дорога и любимой прогулкой горожан было посещение станции. Даже коза, наша кормилица-поилица в 1919 году, привычно бегала каждый день на вокзал и шныряла под вагонами, потому, что мы купили козу у станционного сторожа. Немало я покатался на тормозных площадках маневрирующих «товарняков», и меня нещадно сгоняли с них точно такие же усатые кондуктора, каких через полтора десятка лет я угощал на встрече-беседе «жигулевским» пивом.

Рассеянно выслушав мой беглый рассказ, Пиотровский не подал и виду, что заинтересовался, как вдруг через месяц вызвал меня на кинофабрику: «Пишите сценарий о железнодорожниках. Разумеется, не о детстве, а о сегодняшнем дне. Идет?» Тут же намечены были режиссеры будущей картины — Э. П. Гарин и Х. А. Локшина — и исполнитель главной роли — Эраст Гарин. Вот с этой-то ролью и произошел непредвиденный казус.

Мне казалось, что я придумал для характера машиниста великолепное противоречие: медлительного, задумчивого, меланхолического Антошу Цветкова гонят с транспорта за лихачество! Правда, меня немножко огорчало, что я не нашел в истории транспорта ни намека на подобный случай: уж лихач, так лихач, ничуть не

похож на Бестера Китона. Но с другой стороны, успокаивал я себя, я пишу эксцентрическую комедию, мне позволены любые отступления от ползучей эмпирики...

Зато я нашел нечто общее у двух женщин, с которыми познакомился в это лето: у молодого диспетчера Соколовой, работающей на линии Ленинград—Москва, и актрисы Зои Федоровой, намеченной режиссерами для исполнения этой роли. Что ж, думал я, если кипучая Зоя однажды выпала (слава богу, благополучно) из плохо закрытой дверцы автомобиля, то пусть она же и прыгнет на всем ходу поезда на последнюю тормозную площадку, как это происходит в сценарии. Это вполне в ее характере.

Настал день обсуждения сценария. Читая его вслух, я старательно подчеркивал соответствующими интонациями наиболее удавшиеся (как я полагал) места, где действует и говорит мой герой Антоша Цветков. Я даже пытался свой голос сделать похожим на гаринский, — сомневаюсь, удалось ли мне это хоть на йоту... Когда выразительное чтение закончилось, редакторы принялись обсуждать сценарий, как обычно вяло ища в нем достоинства и пылко находя недостатки. Адриан Пиотровский, как всегда не вступая в спор, терпеливо молчал.

Наконец все выговорились, устали, умолкли, и Пиотровский взял слово. Оно было кратким. Адриан Иванович пропустил мимо ушей все, о чем до него тут рассуждали и спорили, — он сказал лишь о том, что я считал основной, пусть единственной, удачей сценария.

— Похож, — сказал Пиотровский. — Очень похож. Говорит, смотрит, движется — вылитый Эраст Павлович! — Он повернулся ко мне. — Вам это очень нравится. Вы этим гордитесь. Так это же недоразумение. Неужели вы не догадались, списывая этот характер с Гарина, что Эраст Павлович просто еще не вышел из-под влияния последней сыгранной роли? Он все еще чувствует себя в меловом круге, который он очертил, исполняя Подколесина в гоголевской «Женитьбе»... Это бывает с актерами, — Адриан Иванович бросил косвенный взгляд на Гарина, и тот, как ни странно, кивнул, хотя роль Антоши ему до этого нравилась. Потом он мне клялся, что не кивал.

— Это надо разрушить, — продолжал Пиотровский, — разрушить контрастом, а не подпадать под тот же гипноз. В роли вашего сомнамбулического Антоши Гарину

не в кого перевоплощаться, нечего играть — какой же смысл ему браться за такую роль?

Конечно, я не помню точных слов, но смысл был такой, и главное — таков был окончательный приговор. Что скрывать, этот остроумный и беспощадный разбор было нелегко пережить. Хотелось опустить голову, тихо выйти и тихо исчезнуть. Надолго. Навсегда. Гарин и Локшина тоже впали в удрученное состояние: подумать только, опять все начинать сначала... да и, наверное, Пиотровский прав — чаще всего он бывает прав! Выйдя из ворот кинофабрики, мы поплелись в разные стороны, они — к себе на Пушкарскую, я — на Васильевский остров.

Но двадцать восемь лет — не возраст для пессимизма. Пока я брел, спотыкаясь, по Большому проспекту Петроградской стороны, через Тучков мост и далее, в голове уже начали пошевеливаться кое-какие живые мыслишки. В самом деле, какого черта мне показался соблазнительным парадокс — делать моего машиниста каким-то лунати́ком вместо динамичного и активного существа?

— Встряхните его так, чтобы в голове зазвенело, — сказал еще Пиотровский. — Пусть прыгает с парашютом. Пусть стремится быть летчиком. Нынче тысяча девятьсот тридцать шестой год. Скорость — влечение века. И все-таки он останется паровозным машинистом, это у него в крови...

— А что делать с диспетчером Верой? — нерешительно спросил я. — Ведь ее озорной характер тоже не очень подходит для...

— А диспетчерка пусть такая, как есть, — отрезал Пиотровский. — Это же не стилизация, не манерничанье. Просто у человека такой нрав. Ладно, действуйте.

И Неистовый Адриан (как звали его друзья) отвернулся, его уже занимали другие дела и вопросы. Впрочем, этот наш разговор вообще состоялся позднее, когда я начал сам постепенно пробиваться к верным решениям. Но судьба сценария зависела уже не от нас — не от Пиотровского и не от меня. Судьба служила в большом кабинете, в Москве, в Наркомате путей сообщения. Мы возили туда злосчастный сценарий не раз и не два, и он с каждым разом становился все меньше комедией, а все больше гибридом тяжелогрузной производственной драмы и передовицы газеты «Гудок»: по страницам его при-

нялись гулять всезнающие резонеры-начальники и зловещие инженеры-предельщики. Какое уж тут веселье! До эксцентризма ли!

Помню, если вначале, читая с эстрады крохотную сценку о том, как диспетчера на его посту обследуют психотехники, Эраст Гарин исторг из слушателей шестнадцать (!) реакций смеха — таково волшебство его чтения, — то последний раз нам довелось смеяться в приемной замнаркома, когда Гарин в расстройстве чувств надел по ошибке чужое пальто. Боже, как искренне мы веселились, когда он, сунув руку в карман, обнаружил там незнакомые папиросы! Оказалось, что и папиросы и пальто принадлежали известному композитору, который тоже ждал своей очереди в приемной, чтобы пропеть заместителю наркома путей сообщения свою новую железнодорожную песню и получить указания.

Через несколько дней я, смеясь, рассказал Пиотровскому об этом юмористическом эпизоде. Он воспринял мой рассказ безразлично, — не рассеянно даже, как это нередко бывало, когда его мысли были заняты чем-то другим, более интересным или неотложным, а именно безразлично, словно я говорю о чем-то абсолютно его не касающемся. Скоро я уяснил, что это равнодушие означало.

Я не часто встречался с Адрианом Ивановичем, но и тех незначительных наблюдений, какими я располагал, было достаточно для того, чтобы понять, что это человек сложный и страстный, отнюдь не благодушный дядюшка, склонный дарить свои художественные идеи и свое благоволение. Про него ходило множество изустных рассказов. Любили рассказывать о его рассеянности, приводили в пример анекдотические случаи. Не исключено, что большинство этих рассказов были плодом фантазии их авторов. Но, с другой стороны, легенды никогда не слагаются по поводу людей «средних», незначительных, малопрофильных. Адриан Пиотровский во всем, во всех своих проявлениях, человеческих и художнических, был настолько *личностью*, человеком, ни на кого не похожим, что легенды и мифы роились вокруг него, как пчелы...

Бывал он и вспыльчив, и нетерпим. Во время одного из наших рабочих разговоров дверь в кабинет приоткрылась (как-то не доглядела секретарша, добрейшая, среброкудрая, всеми нами любимая Люси Ивановна) и в щель просунулось нахальное личико (точнее говоря,

«Нюхало») только еще начавшего подавать надежды, но уже развращенного похвалами, до крайности бойкого и циничного молодого артиста.

Я впервые увидел на лице Пиотровского гнев. Куда исчез его юмор, олимпийское спокойствие! Дрожа от негодования, он закричал:

— Ступайте прочь! Я вам сказал, что никогда не приму! Не показывайтесь мне на глаза!

«Нюхало» мгновенно исчезло, дверь закрылась. В кабинете на минуту воцарилось молчание. Вероятно, многие, как и я, подумали: «Какую же подлость должно было совершить это юное дарование, чтобы Пиотровский его так отшил?»

В этот год у Адриана Ивановича имелись причины мрачнеть, терять выдержку — он чувствовал, что над ним, над «Ленфильмом» сдвигаются тучи. Помню, в конце апреля я был у Адриана Ивановича дома. Мы ужинали, на столе стояла бутылка шампанского, но Пиотровский был невесел. Хозяйка дома, завлит театра, для которого я писал пьесу, предложила выпить за успешное ее окончание. Мы молча выпили, и я поехал домой. Настроение было неважное, несмотря на шампанское, но оно было бы еще хуже, если бы я знал, что это последняя встреча. Скоро Пиотровского не стало, а столь обязанный ему «Депутат Балтики» начал свой путь и той же весной был показан бойцам республиканской Испании и делегатам Конгресса мира в Лондоне.

В своей тогдашней статье для газеты я отдал должное всем участникам работы над фильмом: актеру Черкасову, оправдавшему, как я писал, «и самые робкие и самые смелые мои надежды», режиссерам Зархи и Хейфицу, как и Черкасов, сразу шагнувшим в творческую зрелость, опытному драматургу Дэлю (он же — прекрасный актер Нового ТЮЗа Любашевский), немало помогшему нашему общему делу на одном из трудных его этапов — в реализации советов Пиотровского. Не мог я только поблагодарить самого Пиотровского, и с особым чувством сердечной признательности делаю это теперь.

...Но главная моя благодарность — все-таки Тимирязеву. Я писал тогда (пусть не покажутся мои слова выпренными): «Что главное, что поддерживало нас в работе? Увлечение героем. Мы полюбили его так, что нельзя было прожить один час без мысли о нем. Прощенься в середине ночи и сразу подумаешь с неж-



ностью и беспокойством: «А Полежаев-то сейчас, наверно, не спит...» Конечно, это смешно и наивно, но так должно быть обязательно. Нужна молодая, запальчивая увлеченность своим героем (это не самообольщенность, не авторское самолюбование — ничего общего!), чтобы его полюбили читатель и зритель. Здесь торжествует прямая пропорциональность, и щадить себя в этой любви не приходится...»

Строками из своей давней статьи я и закончу:

«У меня было и до сих пор остается сыновнее чувство к профессору Полежаеву. Я переживал его горе и радости, с трепетом следил за каждым его шагом. Когда я писал ссору с Воробьевым, я внутренне убил этого мерзавца, бросившего рукопись в лицо моему отцу. Мне хотелось, чтобы у зрителей, особенно у молодежи, возникло похожее чувство... Можно себе представить, какую степень благодарности — не знаю, как иначе назвать это чувство, — испытываю я к Тимирязеву. Стоит произнести это имя, и сразу со мной счастливые дни, проведенные с Тимирязевым-Полежаевым. Эти дни дали мне ощущение личной встречи с Климентом Аркадьевичем, и мне иногда хочется повторить слова, сказанные Тимирязевым после посещения Дарвина: «Во всяком случае, я неповинен в том, что величайший ученый оказался в то же время и самым приветливым из людей».

Скромность Климента Аркадьевича, называвшего себя лишь одним из последователей и учеников Чарлза Дарвина, не позволила бы оставить в применении к нему самому слово «величайший», но в духе этой почти-тальной мысли я, думается, не погрешил.

# СОДЕРЖАНИЕ

Каверин В. Стрела провеса (О творчестве Л. Рахманова) . . . . . 3

## ПЬЕСЫ. ПОВЕСТИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Базиль. <i>Печальная повесть</i> . . . . .	8
Беспокойная старость. <i>Революционная повесть</i> . . . . .	122
Даунский отшельник. <i>Добрая повесть</i> . . . . .	180
Камень, кинутый в тихий пруд. <i>Военная повесть</i> . . . . .	251
Пожары . . . . .	320
Старый дом и его хозяйка . . . . .	336
Семейный альбом . . . . .	351
Соседи . . . . .	358
Гости . . . . .	376
Воронцова . . . . .	392
Скрипка . . . . .	405
Книги . . . . .	417
Отец . . . . .	429
Мосты . . . . .	455
Стрела провеса . . . . .	459
Тимирязев. Полежаев. Пиотровский . . . . .	474

*Леонид Николаевич Рахманов*

ИЗБРАННОЕ

ПОВЕСТИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Редактор Г. Антонова. Художественный редактор В. Куприянов  
Технический редактор Н. Литвина. Корректор Л. Никульшина

ИБ № 3053

Сдано в набор 07.01.83. Подписано в печать 23.11.83. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.  
Бумага кн.-журн. Гарнитура «Литературная». Печать высокая, 26,04+вкл. 0,05=26,99 усл. печ. л. 26,09 усл. кр.-отг. 27,47+вкл.=27,54 уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз. Изд. № ЛП11-55. Заказ № 954. Цена 2 р. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение, 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3